

Юрий
Трифонов

1

Юрий
Трифонов

МОСКВА

«Художест-
венная
литература»
1978

Юрий Трифонов

Избранные
произведения
В ДВУХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1978

Юрий Трифонов

Избранные
произведения
ТОМ ПЕРВЫЙ

РАССКАЗЫ
И ТЕРПЕНИЕ

Роман



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1978

Вступительная статья
А. ТУРКОВА

Оформление художника
Ю. АЛЕКСЕЕВА



Герой давнего романа Юрия Трифонова «Студенты», впервые — и весьма удачно — выступив на собраниях, «испытывал чувство успеха», — «но в то же время он угадывал в этом успехе тревожное знамение новых, предстоящих ему боев — гораздо более трудных и значительных для него».

Не берусь судить, ощутил ли нечто подобное сам автор, когда этот первый его роман, появившийся в 1950 году, был отмечен Государственной премией. Да и не диво, если молодой писатель и не замечал тогда со всей остротой, что в этой книге ему, подобно главному герою в его школьные годы, пока что довелось еще лишь «подпевать вполголоса хоровой песне» тогдашней литературы.

Все складывалось на редкость удачно: первые наставники, руководители семинаров в Литературном институте имени Горького, где учился Трифонов, — Паустовский и Федин; первый читатель рукописи романа — Твардовский, главный редактор журнала «Новый мир», где и состоялась «премьера» трифоновской книги.

«Записки соседа» — назвал впоследствии Трифонов свои воспоминания о Твардовском. Он имел в виду соседство «по времени, в котором досталось жить», но, пожалуй, уместно вспомнить, что на фронте «соседом» именовали рядом действующую воинскую часть. «...Вы теперь должны поднять новый пласт, — настойчиво советовал «сосед» отличившемуся новичку. — ... Чуть у кого такую сеньский успех, он сейчас на этом плацдарме окапывается, строит долговременную оборону. А надо дальше идти».

Это, вероятно, Трифонов отчасти понимал и сам. Но успешный дебют совсем не обязательно становится трамплином для новых немедленных удач. От первой поездки писателя в Туркмению весной 1952 года до появления в печати его «туркменских рассказов» прошло несколько лет — и каких лет!

«За новым трудным перевалом» века (если опять воспользоваться словами Твардовского) по-иному открывалось все прежнее сделанное, все пережитое — и те пласты жизненного опыта, кото-

рые дотоле лежали втуне, теперь все настойчивее просились под перо.

Роман «Утоление жажды» (1963), а также предшествовавшие и сопутствовавшие ему рассказы были знаменательны открытием не столько новых для автора географических краев — Средней Азии с ее большими стройками, — сколько возможностей по-иному увидеть и все окружающее, и прежде испытанное не только современникам, но и их предшественникам, ближним и более отдаленным во времени.

Один из героев романа, горячо увлеченных всеми перипетиями стройки канала, столь насущно необходимого в пустыне, тем не менее говорит, что «есть жажда не менее сильная, чем жажда воды, это жажда справедливости». В жарком споре о времени и его проблемах, который ведется на страницах романа, звучат разные голоса — и пылкие, и опасливые:

«— Вы знаете, как туркмены утоляют жажду? Вот послушайте: сначала утоляют «малую жажду», две-три пиалки, а потом, после ужина, — «большую жажду», когда поспеет большой чайник. А человеку, который пришел из пустыни, никогда не дают много воды. Дают понемногу.

— Иначе ему будет плохо, — сказал Платон Кириянович.

— Да не будет никому плохо! Чепуха это! Не верю! — говорила Тамара возбужденно. — Как может быть чересчур много правды? Или чересчур много справедливости?»

Книга еще не претендовала на «утоление жажды», а декларировала ее, нащупывая те пути, образы и сюжеты, которые ведут к долгожданному утолению. Перечитывая роман сегодня, отчетливо видишь, что в нем, особенно в истории журналиста Петра Коришева, уже пробиваются родники будущих трифоновских книг.

«Кажется, только что было утро, а вот уже поздний вечер. Когда-нибудь я с таким же удивлением подумаю о жизни. Так быстро? Неужели?.. меня пестит поток, бросает на камни, и годы проплывают, как берега, поросшие редким лесом...»

Это уже голос то ли Дмитриева из «Обмена», то ли Геннадия Сергеевича, подводящего свои невеселые «предварительные итоги» (кстати, в тех же местах, что и Петр Коришев). А бунт и выпрямление Коришева, которые происходят в романе, — не та ли мечта, за которой «бросится в дорогу» Гриша Ребров в «Долгом прощании»?

Петр сетует на то, что его бывший одноклассник Саша Зурабов, с которым он теперь работает в редакции местной газеты, все время «предается воспоминаниям», «вспоминает общезитие, ребят, какие-то паши вечеринки... шутки, розыгрыши, скапдалы на экзаменах» («Бар номер четыре помнишь? А капустники помнишь?»).

Однако раздражает его не сама эта склонность к воспоминаниям, а то, что Зурабов помнит «всю эту чепуху» и забыл многое другое, драматическое и «не вписывающееся» в идиллическую картинку «хорошего времечка» и «лучшей полосы» жизни.

Так беспечно вспоминать могли бы некоторые персонажи «Студентов», хотя бы дурашливый и легкомысленный Лесик; но, быть может, в досаде Корышева есть и нечто лично авторское, обращенное к себе самому, некогда заполнившему страницы своего первого романа такой же веселой «чепухой» студенческих будней, а другое нарисовавшему неглубоко или даже неверно. Пройдут годы, и уже не Корышев Зурабову, а автор «Дома на набережной» напомнит автору «Студентов»: «А ты забыл...»

Многогеройность, даже некоторая «перенаселенность» «Утоления жажды» были, пожалуй, не столько издержками не во всем реализовавшейся попытки создать широкую панораму современной жизни, сколько обладающими свидетельством писательской жадности к разнообразию характеров и судеб!

«На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опалляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех. История полыхает, как громадный костер, и каждый из нас бросает в него свой хворост».

Этими словами открывается не только книга «Отблеск костра» (1966), но, пожалуй, новая страница творчества писателя вообще.

«Отблеск костра» — это не воспоминания об отце, или дяде, или бабушке, тоже старой коммунистке. Во-первых, автору было всего лишь одиннадцать лет, когда погиб отец. Юрий Трифонов почти никогда и не показывает его в семейном, домашнем быту. Лирика детских воспоминаний сурово и целомудренно отстранена. Источник авторского вдохновения иной: это — сохранившиеся в отцовском сундуке бумаги: «В них гнезвился факт, они пахли историей...» Валентин Трифонов собирался написать мемуары или исторический очерк о петроградской Красной гвардии, одним из создателей которой он был. Работа, сделанная его сыном, в какой-то мере, в иных частях, является как бы реконструкцией этих воспоминаний, но в целом далеко выходит за эти рамки.

«Я пишу книгу, — размышляет автор, — не о жизни, а о судьбе. Не только о своем отце, а о многих, многих, о ком я даже не упоминал. Их было очень много, знавших отца, работавших рядом, похожих на него».

Действительно, эта книга многолюдна, и каждый новый «персонаж» интересует автора не тем даже, что играл какую-то роль в «собственно трифоновской» истории, а тем, что и на нем лежит отблеск «того громадного гудящего костра, в огне которого сгорела вся прежняя российская жизнь».

Пространное (во всяком случае — по масштабам этой маленькой книги) повествование о старом коммунисте А. А. Сольце еще может быть объяснено тем, что, «пожалуй, у отца и не было друга ближе» (хотя, в сущности, для Юрия Трифонова важное качество Сольца — «несокрушимая вера в силу справедливости», его страстная «жажда» ее в самые разные периоды его жизни). Но рассказ о судьбах людей, к которым В. Трифонов относился сдержанно, если не неприязненно, говорит о стремлении автора вдумчиво разобраться в давних событиях, различить отблеск костра и там, где его подчас не видели современники.

«На каждом человеке лежит отблеск истории...» Его характер, судьба — результат сложнейшего взаимодействия между заложенными в нем возможностями и историческим «климатом», выступающим в разнообразном опосредствовании. И, рисуя характер, сформировавшийся в такую бурную эпоху, как наша, писатель обязан быть вдумчивым исследователем.

Перефразируя приведенное выше рассуждение одного из героев Трифонова, можно сказать, что без утоления этой «малой жажды» — постижения сути обычных, рядовых людей — вряд ли можно полностью удовлетворить и «большую» — понять общий смысл нашей эпохи, все видоизменения ее исторического климата.

В дискуссии, вызванной появившимися в 1969—1971 годах «московскими повестями» Трифонова («Обмен», «Долгое прощание», «Предварительные итоги»), критик В. Соколов обратил внимание на известную программность высказывания одного из героев: «...Друзья мои золотые, научитесь сначала писать о двухэтажных домишках, о бараках, о комнатках в цветочных обоях, где живут Петры Ивановичи и Марии Ивановны, а потом уж кидайтесь на сорок пять этажей!» («Долгое прощание»).

Не надо, разумеется, истолковывать эти слова как некое абсолютное кредо писателя хотя бы уже потому, что, будучи поняты слишком буквально, они подразумевали бы некий наивно-иерархический взгляд на искусство, когда сказанное о «двух этажах» является собой все-таки лишь подступ к повествованию о «сорока пяти». Между тем, как известно, один лишь пример Чехова, чьи имя, мысли и образы, конечно, не случайно нередко возникают в трифоновской прозе, опровергает подобную «концепцию».

«Продолжительные уроки» — назвал Трифонов свои воспоминания о Паустовском. Уроки же, взятые у Чехова, еще продолжительнее и, конечно, многообразнее. Из этого источника во многом пристекают внимание Трифонова к быту, его обостренная чуткость к значимости и драматизму повседневного течения жизни и то освежающее веяние высокого гуманистического идеала русской литературы, которое «разрезает» самые тяжкие картины действи-

тельности. Вспомним, что, когда герой «Обмепа» полюбил Таню, ему казалось, что он «приобщился к тому нормальному, истинно человеческому состоянию, в котором должны — и будут со временем — всегда находиться люди». Мысль, очень близкая чеховской записи: «То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние».

От Чехова — и тяготение к объективной манере повествования, предоставляющей читателю бесконечный простор для самостоятельной работы мысли.

Начало трифофовских «хождений» в «двухэтажную» страну сперва обозначилось в рассказах. В «Путешествии» это было прямо декларировано: намерение броситься в какое-либо спасительное страпствие претерпевает примечательную метаморфозу — от предлагаемых в редакции дальних маршрутов на места больших, если не грандиозных событий до внезапного обнаружения целых неисследованных материков поблизости, рядом с собою, в самом себе, наконец: «...я вышел из троллейбуса возле своего дома... остановился и поглядел кругом... На скамейках, расставленных кольцом вокруг фонтана, сидели, подставив солнцу лица, десятка четыре пенсионеров, стариков и старух... Я не знал никого из них...»; «...внизу, на пятом этаже, где жила какая-то громадная семья, человек десять, кто-то играл на рояле. В зеркале мелькнуло на мгновение серое, чужое лицо: я подумал о том, как я мало себя знаю».

Новое качество трифоповской прозы зарождалось и в тех рассказах, которые на первый взгляд по материалу выглядели еще несколько экзотическими: «Маки», «Кепка с большим козырьком», «Самый маленький город». Так, в последнем из названных рассказов, написанном в несколько прихотливой форме (сам автор справедливо усматривает в нем «влияние не русской классической прозы... а скорее Хемингуэя»), затаенная боль личного горя перерастала в размышления о жизни и истории вообще.

Трагический эпизод из далеккого прошлого — возвращение на родину из плена ослепленных врагами болгарских солдат, державшихся за руки, чтобы не сбиться с дороги, — не затмевает переживаний героя-рассказчика и его дочери, возникает по «в наказание» им, а создаст ощущение некоего братства во времени, исторической преемственности.

«...Какой-то слепой солдат был, быть может, мой предок, — размышляет друг рассказчика. — Если бы он упал духом от горя и бросился в реку, я бы не был на свете... Та день, которой шли слепые царя Самуила, держась за руки, она не прорвалась и дотянулась до нас, и мы держим их за руки, тех слепых болгар.

— А они держат нас,— сказал я.

Рассказывая об истории публикации этого рассказа, Трифонов вспоминает повадку знакомого литератора спрашивать при появлении каждого нового произведения: «Против чего?» — и пишет о «Самом маленьком городе»: «...я-то считал, что «против чего» там было. Ну, может быть, так: против горечи жизни, против несправедливости судьбы, против... да бог знает против чего еще! Против смерти, что ли. Против обыкновенного житейского ужаса и где и никогда, с чем мы примиряемся и живем».

Именно эта сложность, «нерасчлененность» жизни или, уж в всяком случае, трудная расчленяемость ее на составные и взаимодействующие части, своеобразнейшее и часто неожиданное преломление общего в частном, крайняя пестрота и неоднородность «отблесков истории», лежащих на людях, упорное «сопротивление материала» реальной действительности в значительной степени отвлеченным, абстрагированным от нее критериям и оценкам и привлекают Трифонова как художника.

В рассказе «Вера и Зойка» героини, не очень удачливые женщины, подрядившиеся убирать чужую дачу (вернее даже — дачку), с жадным любопытством слушают историю ее владелицы: «...жизнь, о которой рассказывала Лидия Александровна, была так же похожа на их собственную жизнь, но чем-то странно напоминала ее».

Лидия Александровна и пообразовавшей своих собеседниц, и поудачливее их, но в прошлом у нее немало трудностей и мытарств, да и ее сегодняшнее благополучие не лишено весьма понятных Вере и Зойке опасений и суеверных предчувствий (не прпехал, как обещал, в воскресенье на дачу муж,— почему? что случилось? а вдруг...).

Можно сказать, что подобная «диалектика» различий и сходств человеческих судеб, характеров, катастрофического времени непонимания чужой души, «глухоты» к ней и внезапного острого сопереживания, соучастия, живейшей догадки о том, что в ней делается, составляют одно из сильнейших и привлекательнейших свойств трифоновской прозы последних лет, создающее в его произведениях своеобразную игру психологических светотеней.

Обмен — слово, прочно закрепленное за определенной сферой нашей жизни, сразу же вызывающее у большинства людей привычные ассоциации, порожденные и собственным опытом, и окружающим бытом: мелкий петит газетных объявлений, вибрирующий муравейник человеческих кучек — стихийной «биржи жилья», возникающей то тут, то там...

Деловитое слово это неожиданно выносится Трифоновым в заглавие, к негодующим современным ревнителям «высокого сти-

ли», вселяясь из литературных «подвалов», из разряда редко и чуть ли не брезгливо упоминаемых «мелочей» и второстепенных деталей, в «парадные комнаты» целой повести.

На зеркальце писательского микроскопа колеблется капелька пресловутого моря житейского.

Можно усомниться в необходимости столь скрупулезного исследования. Все, мол, и так ясно чуть не с первого абзаца: мать героя повести Дмитриева, Ксения Федоровна, безнадежно заболела, и тут ее певестка Лена «решила срочно съезжаться со свекровью, жившей одиноко в хорошей, двадцатиметровой комнате на Профсоюзной улице». Последние слова выдержаны в деловитом стиле одного из бесчисленных объявлений, которые постоянно встречаются нам то в газете, то на специальном стенде.

Но так же, как деловая проза этих объявлений — только часть, а порою даже маска кроющихся за ними житейских историй и драм, напрашивающаяся квалификация Лены как завязтой мешапки — всего лишь доли правды.

Когда Лена впервые делится своим планом с мужем, тот не испытал «ни гнева, ни боли»: «Мелькнуло только — о беспощадности жизни. Лена тут ни при чем, она была частью этой жизни, частью беспощадности».

Конечно, нелепо спрашивать с героя полной объективности в таких оценках. Ведь он, убитый внезапной материнской болезнью, всеми хлопотами, с нею связанными, и жеппы слова воспринимает в череду тех ужасных неожиданностей и с железной необходимостью протекающих из них следствий, которые — одни ясные, другие туманные — маячат в его сознании и воображении.

Конечно, лишь в результате всей истории с обменом сделается для него полностью ясным горестный итог его семейной жизни, серии его мелких капитуляций перед принципами Лены и ее родителей, Лукьяновых, и его собственное постепенное «олукьянивание», как жестоко, по метко выразилась однажды сестра Дмитриева — Лора.

И все же есть свои объективные основания и для первой дмитриевской реакции на слова жепы. Чтобы убедиться в этом, достаточно вдуматься в обстановку ежедневной жизни Дмитриевых, которая как бы невзначай встает перед нами в сцене их ссоры:

«Дочка спала за ширмой в углу. Там же за ширмой стоял ее письменный столик, за которым вечером она готовила уроки. Дмитриев смастерил и повесил над столиком полку для книг, провел туда электричество для настольной лампы — сделал за ширмой особую комнатку, «одиночку», как пазывали ее в семье. Дмитриев и Лена спали на широкой тахте чехословацкого производства, удачно купленной три года назад и являвшейся предметом зависти

знакомых. Тахта стояла у окна, ее отделял от «одиночки» дубовый, с резными украшениями буфет...» Подробно описывая эту комнату, где одно время еще помещалась и нянькина раскладушка, Дмитриев полуюмористически упирает на весьма специфические, крайне неприятные стороны подобного семейного общежития. Но читатель легко дорисует и прочие его «удобства» (очередное захватывающее лапшами повседневного быта словечко!) и представит себе эту жизнь, которая уже много лет, как дерево, если ему мешают окружающие деревья или дома, виртуозно-уродливо изгибается, протискиваясь в любую щель, в которой чудится просвет в небо или просто на соседний двор.

И не в этом ли причина той, удивившей и даже слегка скандализовавшей критику «списходительности», которую Трифонов проявил к своей героине в споре с писавшими о его повестях: «Автор осуждает не Лену,— утверждал он,— а некоторые качества Лены, он неавидит эти качества, которые присущи не одной только Лене...»

Повторяю, оценки Дмитриева не могут считаться объективными, так как он — «лицо заинтересованное». Глубоко задетый словами сестры об «олукьянивании», он, вольно или невольно, не прочь, так сказать, улизнуть с единоличного места на скамье подсудимых и затесаться в толпу себе подобных, как это с ним происходит в будни, по пути на службу, «среди мокрых плащей, толкающих по колену портфелей, пальто», «когда шаркающая толпа несла его по длинному коридору» метро.

И вот уже глядя на резко изменившиеся окрестности старой дмитриевской дачи, герой философски размышляет: «Все изменилось на том берегу. Все «олукьянилось»... Но может быть, это не так уж плохо? И если это происходит со всем — даже с берегом, с рекой и с травой,— значит, может быть, это естественно и так и должно быть?»

Можно, разумеется, с металлом в голосе «одернуть» новоявленного мудреца и посоветовать ему «на себя оборотиться».

Или, напротив, в тон ему несколько элегически повздыхать о минувшем и о былых обитателях ныне запущенных дач, значительно более симпатичных, чем пресловутые Лукьяновы, в пользу которых совершил герой свой главный, не квартирный, а жизненный обмен («Ты уже обменялся, Витя»,— говорит ему мать в минуту последней горькой откровенности).

Однако даже дед героя, этот «мопстр», как шутливо, но, в сущности, вполне серьезно называет его Лена, это смешное и отнюдь теперь для Лукьяновых не опасное чудище давно минувшей поры, со всеми его бедами и болями, «с корявыми, изуродованными тяжелой работой, пегнувшимися руками» (подобные «мельчайшие го-

меопатические подробности» справедливо кажутся автору особенно драгоценными), твердо убежден, что «нет глупее, как искать идеалы в прошлом».

И действительно, к примеру, невозможно считать идеалом братьев отца героя. Больше того, сам конфликт Дмитриева-старшего с ними в чем-то предвещает нынешний, разворачивающийся в повести: отец «корил братьев за жадность, за сытую жизнь, издевался... над вечной по выходным дням автомобильной возней... Ссоры между ним и братьями бывали большие — месяцами ни он к ним, ни они к нему».

Похоже, что обмен — удел не одного лишь героя. И то, что впоследствии его «обменявшимся» предшественникам самим пришлось худо, не может задним числом приукрасить происходящее с ними («А в Козлове родные тетки голодали...»).

Конечно, никак не возможно снять с Дмитриева его личную долю вины за соучастие в «обмене», но отнести все происшедшее исключительно за счет самого героя или Лены с семейством означало бы поступить столь же несправедливо и цинично, как сделала в аналогичном случае Ксения Федоровна, которая «считала, что в ссорах и всех последующих несчастиях братьев виноваты были жены, Марьяшка и Райка, зараженные мелкобуржуазным мещанством».

Привычное слово, обыденная история внезапно заиграли совершенно новыми отблесками.

В определенном смысле можно даже сказать, что тема «обмена» проходит через все «московские повести» Трифопова. «Предварительные итоги» своей сделки с собственным талантом и совестью подводит литератор-переводчик Геннадий Сергеевич. Самым тяжким испытанием подвергаются эти же качества у Гриши Реброва, и само название — «Долгое прощание» — говорит не только о затянувшейся любовной драме, но и о нависающей над героем опасности распрощаться со всем тем, о чем теперь горюет Геннадий Сергеевич.

Недаром в последние дни московской жизни Реброва его посещает воспоминание о давнем детском испытании: «...трое пацанов стали молча крутить руки, отпимать пакет, он боролся отчаянно, раскидал, вырвался, побежал вниз по улице и, только добежав до метро, заметил, что весь перед его нового осеннего пальто висит ключами: порезан бритвой. Но гордость тем, что раскидал, вырвался... была больше мелкой неприятности: подумаешь, пальто...»

Ребров и теперь «вырывается» — бежит из Москвы, от безвыходной сложности личных отношений, от «сватасмого» ему союза с процветающим литературным дельцом Смоляповым, открываю-

щего соблазнительные возможности поправить житейские обстоятельства.

«Одна жизнь кончилась, другая начнется», — думает герой уже в вагоне поезда. Но в нем так много «порезано», что он вправе сомневаться, «будет ли другая».

Да и сам его уход от Ляли вряд ли можно оценить однозначно.

Говоря о коротком, одностраничном эплоге повести, критики с удовлетворением отмечали конец смоляновской славы и то, что Ребров, как слышала Ляля, «процветает». Но их настораживал и огорчал авторский комментарий: «...он часто думает о своей жизни, оценивает ее и так и сяк... и ему кажется, что те времена, когда он бедствовал, тосковал, завидовал, недоволен, страдал и почти нищенствовал, были лучшие годы его жизни...»

В критике звучала даже мысль, будто это «неверная, невыверенная нота», которая «подвергает сомнению истинность внутреннего содержания «другой», сегодняшней жизни Реброва, открывает возможность для такого толкования, при котором сводится на нет уже показанная прежде антиобывательская стойкость героя».

Но ведь значительность, «истинность» новой жизни героя автором никак не декларируется, и этот симпатичный персонаж вовсе не возводится в ранг стойкого противника «обывательщины»! Недаром в недосказанности эплога звучит не то укор Реброву, не то сожаление о нем.

Когда-то в разгар Гришиных бед бывлой однокашник утешал его: «А ты не расстраивайся. Через двадцать лет все будет наоборот. Вы с этим режиссером, Сергеем Леонидовичем, помещаетесь местами, я тебе обещаю...»

С режиссером — не с режиссером, ибо тот сам в описываемое время оказался жертвой, но со Смоляновым Ребров действительно «поменялся местами» — в смысле успеха и положения.

Писатель оставляет нас в неведении, произошло ли при этом в душе героя какого-нибудь «обмена». Но одна потеря, во всяком случае, существует, и в том, как Трифонов тончайше дает ее почувствовать, сказывается мастерство и такт художника, недаром бравшего уроки у Чехова.

Какой все-таки «конец — делу венец» в повести? Закат Смолянова и триумф Реброва? Так сказать, наказанный порок и торжествующая добродетель?

А Ляля? Конечно, нетрудно и, с известной точки зрения, соблазнительно расценить ее «послеребровское» существование как соответствующее всем ходовым определениям мешательства и обывательщины. Только — верно ли? Неизбывная доброта и тепло

исходят от этой простодушной женщины, потерявшей мужа, вытесненной из театра, которая, слыша о нынешнем процветании Реброва, «радовалась за него». И можно ли забыть, что из истории своего головокружительного «фавора» Ляля вышла с честью, раскусив своего покровителя Смолянова и даже встав в решительную минуту на защиту его противников — и не в отместку, а из чувства справедливости! В своем последнем объяснении со Смоляновым она обнаруживает поистине высоту души, а Реброва в ту же пору потрясает — и отпугивает — отчаянной откровенностью, искренностью.

Жизнь многосложна и многозначна, и уход Реброва от *такой* Ляли, в момент драматический отнюдь не для него одного, оборачивается предательством. В конце концов — даже по отношению к себе самому. Не потому ли, независимо от наших гаданий о других «обменах» в новой жизни Реброва, прошлые времена вспоминаются ему как «лучшие годы»?

Разноречия в толковании финала «Долгого прощания» — лишь характерная частности оживленных споров о новых повестях Юрия Трифонова, неизменно вызывающих большой читательский интерес.

Столь же неизменно некоторые критики ставят в вину писателю, что герои его повестей «авторской волей... изъяты из процессов реальной, действительной трудовой жизни и заключены только в быт», что «действие, ограничиваясь семейной обыденностью, полностью замкнуто в квартирные рамки», что он «весьма ярко и достоверно изображает картины быта, но, к сожалению, почти не подходит к воспроизведению бытия» и т. п.

В одной из статей Юрий Трифонов справедливо ответил на эти упреки:

«Быт — это великое испытание. Не пужко говорить о нем презрительно, как о паземпной стороне человеческой жизни, педостойной литературы. Ведь быт — это обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявляется и проверяется новая, сегодняшняя нравственность.

Взаимоотношения людей — тоже быт. Мы находимся в запутанной и сложной структуре быта, на скрещении множества связей, взглядов, дружб, знакомств, неприязней, психологий, идеологий».

И, помимо того очевидного обстоятельства, что и Гриша Ребров, и Сергей из «Другой жизни» все время ищут как раз пути к «высокому», полноценному бытию, разве сам быт не есть форма проявления бытия?

И разве не знакомы любому из нас не столь уж редкие случаи, когда люди фактически «изъяты» из трудовой жизни и «заключены только в быт» — и никаким не авторским насилием,

а «волей судеб», по причине различнейших реальных обстоятельств, склада характеров, семейной жизни и т. д. и т. п.?

И все мы согласны, что не должны бы быть изъяты, а вот па деле, в той самой реальной, действительной жизни, к которой апеллируют оппоненты Трифонова,— изъяты! Бывает такое, и этого не обойти, если не хочешь игнорировать подлинную жизнь народа, его быт и бытие во всем их многообразном содержании.

«Понимаете ли, какая штука,— увлеченно обсуждает с Гришей Ребровым занимающую того судьбу пародовольца Клеточникова режиссер Сергей Леонидович.— Для вас восьмидесятый год — это Клеточников. Третье отделение, бомбы, охота на царя, а для меня — Островский, «Невольницы» в Малом, Ермолова в роли Евлалии, Садовский, Музиль... Да, да, да! Господи, как все это жестоко переплелось! Понимаете ли, история страны — это многожильный провод, и когда мы вырываем одну жилу... Нет, так не годится! Правда о времени — это слитность, все вместе...»

Точно так же, говоря о художественном мире произведений Трифонова, «не годится» вырывать то одну, то другую жилу и механически противопоставлять его «бытовым» повестям «Отблеск костра» или более поздний роман о пародовольцах «Нетерпение».

Легко обнаружить, что коммунальный мирок «Долгого прощания» или «Другой жизни» полон живейшими отголосками и «реальной трудовой действительной жизни», и исторического бытия (даже помимо того знаменательного обстоятельства, что в «Нетерпении», так сказать, подхвачен и разработан «ребровский» сюжет).

Сергей размышлял о том, что «человек есть жить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое».

Можно сказать, что собственная судьба героя в изображении Трифонова и есть, выражаясь безжалостно, литературное осуществление этого эксперимента. И «ставится» он в условиях, во многом для своих задач невыигрышных: история и характер Сергея даны в восприятии и понимании (чаще — непонимании!) его вдовы Ольги Васильевны, в ее горестных, мучительных воспоминаниях, куда как далеких от объективности.

Горячо любимый муж для нее одновременно «вечно рвущийся куда-то неудачник». Она думает об этом с болью, с обидой за него — но и с досадой на те «метания», которые «его сгубили», и на упрямство, с каким он гнул свое.

В отличие от Гриши Реброва Сергея неудачи преследовали до конца жизни, «из года в год добивали его, вышибали из него силу, он гнулся, слабел, но какой-то стержень внутри него оставался нетронутым — наподобие тоненького стального прута,—

пружинил, по не ломался». «И это было бедой», — считает Ольга Васильевна. Она и в судьбе всей мужниной семьи видит нечто столь же бедственпо-роковое: «Какая-то внутренняя несуразность и желание делать только то, что им правилось, губили этих людей...»

Но то, что для бедной Ольги Васильевны выглядит как своеволие и каприз, в читательском восприятии отражается совсем иначе. «Метания» Сергея несравненно интереснее, содержательнее, человечнее, чем та целеустремленная поступь, которой шествуют его процветающие коллеги во главе с бывшим другом Гепой Климукком. Да и благополучие Сергеева тестя, отчима Ольги Васильевны, художника Георгия Максимовича основано на измене самому себе, своему прежнему творчеству. «Бедственное» «желание делать только то, что... правилось» самому художнику, не возобладало в нем: как вспоминает на его похоронах друг молодости, «лучшее Георгий Максимович съел собственными руками в тридцатых годах... минута слабости, и жизнь раскололась... пошла какая-то труха, заседания, комиссии, заказы...».

Своеобразие писательского замысла — в том, что даже из воспоминаний убитой горем, донимаемой то ревнивыми подозрениями, то запоздалыми сожалениями женщины вырисовывается образ человека, в котором, при всех его житейских слабостях, не угасало стремление к полной реализации себя как личности, жили неудовлетворенность сделанным, собой, жизнью вообще и бесстрашная готовность начать все сначала, если «вдруг сверкнет, как догадка, как слабая заря за стволами — другая жизнь».

Правда, этим стремлениям не суждено было проложить себе в жизни Сергея твердо обозначенное русло, а «слабой заре» — разгореться в ясный день. Но спасибо ему и за то, что он, к огорчению Ольги Васильевны, не следовал ее трезвым советам и «не хотел ломать то, что было внутри него».

Бесплодная жизнь? Кто знает... Не сразу сказываются итоги и плоды прожитого и сделанного человеком. Да нет ли даже в позднем, горящем счастье, в «другой жизни» самой Ольги Васильевны, наступившей после смерти Сергея, какого-то зерна, некогда брошенного этим «несуразным» человеком и ее собственными, страстными попытками уразуметь все случившееся за «их жизнь»?

Итоги человеческой жизни, уроки ее... Не затем ли, чтобы еще раз задуматься над ними, оценить, взвесить их, совершает писатель головокружительный прыжок во времени?

«Громадная российская льдина не раскололась, не треснула и даже не дрогнула. Впрочем, что-то сдвинулось в ледяной толще, в глубине, но обнаружилось это десятилетия спустя».

Так, почти бесстрастно, вещает на последних страницах романа «Нетерпение» богиня истории, в современном духе имснуемая автором «Клио-72», рассказывая об истории казни Александра II народовольцами. Казалось бы, голос Клио звучит как монотонные удары часов, как некие куранты, играющие все ту же мелодию, которая звучала и потерпевшим пораженне декабристам:

Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула,—
И не осталось и следов.

(Тютчев)

Но нет — все-таки уже «что-то сдвинулось в ледяной толще»! И тот же человек, который несколько лет спустя пропзнес вещие слова о необходимости идти другим путем, считал, что «эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа»¹.

Именно сложная и драматическая диалектика этого исторического процесса и привлекает Трифонова.

Нетерпеливость — черта, которую некоторые мемуаристы считали личной особенностью Андрея Желябова, — осмысливается писателем по-своему, широко, становясь выражением, проявлением разнообразнейших исторических обстоятельств.

Естественное нетерпение покончить с ужасающей нищетой и отсталостью русской жизни, нетерпение добиться нормальных условий для человеческого существования, тяга к скорейшему «утолению жажды» социальной справедливости.

Нетерпение, обостряемое и удесятеряемое всевозможными полицейскими стеснениями, которые, как не раз подчеркивали и тогда и впоследствии народовольцы, делали невозможной даже самую скромную легальную деятельность и прямо-таки вынуждали сосредоточиваться в узкой области террористических попыток взорвать «давящую льдину» царизма.

Нетерпеливое желание разбудить, вызвать к жизни дремлющие в народе силы, привести в движение, раскачать этот неподвижный маховик. Нетерпение вооружить соотечественников программой действий, дать им верное направление, даже слегка «подтолкнуть» их.

¹ В. И. Лепин. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 315.

Нетерпение, о котором писала впоследствии одна из самых ярких деятельниц «Народной воли» Вера Фигнер: «...когда жить приходится мало, так что результаты идейной работы могут быть еще не заметны, у деятеля является желание видеть какое-нибудь конкретное, ослзательное проявление своей воли, своих сил; таким проявлением тогда мог быть только террористический акт...»¹

Мы часто говорим о первомартовцах как о мучениках, причем обычно имеем в виду по преимуществу их трагическую гибель на эшафоте, в казематах и «в мрачных пропастях земли».

Однако еще большее мученичество их — в трудных и опасных дорогах, какими им приходилось идти, в лихорадочных, торопливых размышлениях на перекрестках, в горестных расставаниях с ближайшими друзьями и родственниками и с вчерашними химерами, в трагической предрешенности многих их поступков. «...Мечтаем о мирном процветании, а выпущены убивать, стремимся к земскому собору, чтоб убеждать словами, а сами готовим спаряды, чтоб убеждать динамитом», — с горечью констатирует в романе Желябов.

В созданной Трифоновым картине героического единоборства «Народной воли» с царизмом эта напряженная работа мысли, чувство своей нравственной ответственности за совершаемое, прозрения и ошибки революционеров закономерно занимают равноправное место рядом с описанием их ошеломительно дерзких подвигов и тяжкого «черного» труда, потребного для осуществления любого из этих подвигов.

«...В одном я уверен, — замечает как-то Желябов, — на эшафоте я буду держаться великоленно!»

Суд истории оказывается часто страшнее эшафота. Случается, что Кляно, как палач, совершающий гражданскую казнь, безжалостно срывает с патентованных героев все знаки отличия и регалии, некогда им преподнесенные льстивыми современниками или историками.

Многим рыцарям «Народной воли» еще при жизни пришлось убедиться в ошибочности или несбыточности многих своих убеждений и надежд, увидеть горькие плоды некоторых вынужденных и софистически оправдывавшихся моральных уступок и с ужасом и презрением отшатнуться от таких былых собратьев, вроде Дегаева, в которых махровым цветом расцвели семена, посеянные особой, тягостной атмосферой, окружавшей действия тогдашних революционеров.

¹ Вера Фигнер. Запечатленный труд. Воспоминания в двух томах, т. I. М., «Мысль», 1964, стр. 285.

Однако даже честно держа тягостный, неизбежный ответ за все это, народовольцы остаются одной из самых драгоценных нитей в «многожильном проводе» истории нашей родины.

Как все это удивительно переплетено, думаешь, перечитывая написанное Трифоным за последнее десятилетие, почти словами одного из его героев: Быт — и бытие... Человек и история... Утоление «малой» и «большой» жажды справедливости...

А. Турков

Рассказы



ПУТЕШЕСТВИЕ

Однажды в апреле я вдруг понял, что меня может спасти только одно: путешествие. Надо было уехать. Все равно куда, все равно как, самолетом, пароходом, на лошади, на самосвале — уехать немедленно. Почему мне стало так худо — это другая история, рассказывать ее долго и ни к чему. Просто вдруг на рассвете, когда меня томила бессонница и стеснение в груди, — врачи объясняли это вегетативным неврозом, но я-то знал, что дело в чем-то другом, может быть в том, что где-то бродит гроза, что волны теплого воздуха подошли уже к Подольску и движутся на Москву, — мне почудилось, что я задыхаюсь, что мой мозг обескровел, что если я не вырвусь завтра же из этой клетки из сухой штукатурки, обоев с абстрактным рисунком, лакированных книжных полок, переплетов, творожников, жидкого чая, газет, разговоров, звонков, квитанций, болезней, обид, надежд, усталости, милых лиц, — я умру.

Трудно объяснить, что делается с человеком на рассвете, в апреле, когда открытая рама слегка раскачивается от ветра и скребет по подоконнику сухой неотодранной бумажной полосой.

Пришел день. Он был сер. Лишь немного погода оказалось, что он сине и безоблачен. Первый раз в этом году я вышел без шапки на улицу и отправился в редакцию одной газеты, чтобы взять командировку и немедленно уехать. Люди из этой газеты однажды предлагали мне командировку, но сейчас они не могли понять, чего я хочу. Заведующий промышленным отделом, маленький болезненный человечек в рубашке джерси, рассказывал о том, что в Соликамске и Кондопоге полным ходом разворачивается стройка громадных комбинатов по производству бумаги, а в Тюменской области открыты новые месторождения нефти. Еще более интересные дела творятся в Иркутской области, где создается новый промышленный

бассейн. А если говорить о большой химии, сказал он, то нельзя не упомянуть о Навоинском химическом комбинате, где досрочно введены в строй корпуса аммиака, синтеза и конверсии.

Я сказал, что все это для меня одинаково необыкновенно интересно. Но именно поэтому мне трудно сделать выбор. Я намекнул, что мне хотелось бы познакомиться с какими-нибудь конфликтами, страстями, производственными драмами, в которых раскрывались бы судьбы людей и разные точки зрения на жизнь.

— Это вы найдете где угодно,— быстро проговорил заведующий отделом. На его лице застыло странное двойное выражение: скорби и надменности одновременно. И, разговаривая со мной, он все время катал пальцами по столу заграничный шариковый карандаш.

Я поблагодарил его и вышел, сказав, что подумаю. Молодой человек, молча присутствовавший при нашем разговоре, вышел вместе со мной в коридор. Мы стали спускаться по лестнице.

— Вам нужны впечатления? — спросил молодой человек неожиданно.

— Ну конечно! — сказал я. — В том-то и дело, что мне нужны впечатления, черт бы их побрал! Я остался совершенно без впечатлений. Это как-то глупо звучит, но это так.

Мне было немного стыдно: я как будто признавался в том, что оказался без денег, и просил в долг. Но молодой человек искренне хотел помочь, я это чувствовал.

— Если вам нужны впечатления,— сказал он,— тогда вовсе не обязательно ехать куда-то далеко, в Тюмень или в Иркутск. Поезжайте поблизости, в Курск, в Липецк, там не менее интересно, чем в Сибири, ей-богу.

— Вы так думаете? — спросил я, втайне обрадовавшись. Он высказал мои собственные мысли. — Конечно, вы правы: дело не в километрах...

Когда я вышел на улицу, солнечный полдень был в разгаре. Перед входом в кинотеатр стояла толпа. Я прошел через толпу, повернул налево, миновал памятник, возле которого всегда стояло несколько провинциалов в длинных пальто с фотоаппаратами в руках, и пошел вниз по широкой улице. Навстречу мне двигался густой и медленный, весенний поток людей. Я всматривался в лица,

бесконечно возникавшие передо мной и исчезающие сзади, за спиной, исчезающие бесследно, для того чтобы никогда больше не появиться в моей жизни, и думал: зачем ехать в Курск или в Липецк, когда я как следует не знаю Подмосковья. Я никогда не был в Наро-Фоминске. Не знаю, что такое Мытницы. Да и в самой Москве есть улицы и районы, совершенно мне неведомые.

Через полчаса я вышел из троллейбуса возле своего дома. На углу Второй Песчаной, где находится диетический «гастроном», я остановился и поглядел кругом: я увидел сквер с нагими деревьями, сырые ветви которых искрились на солнце. На скамейках, расставленных кольцом вокруг фонтана, сидели, подставив солнцу лица, десятка четыре пенсионеров, стариков и старух. Они сидели тесно, по пятеро на скамейке. Я не знал никого из них. Солнце ласкало их старую, в мешках и складках кожу. Некоторые из стариков улыбались, лица других казались окаменевшими и тупыми, некоторые дремали.

Постояв немного, я направился к своему подъезду, сел в лифт и поехал на шестой этаж. Там, на шестом этаже, из квартиры напротив вышел Дашенькин, мой сосед. Он молча протянул мне свою руку, всегда немного дрожащую, и побежал вниз по лестнице. Он всегда торопился, ходил сутуля плечи, и в глазах его тлеяла какая-то безумная озабоченность. Он работал жестянщиком в трамвайном депо. Его соседка по коммунальной квартире считала его сумасшедшим и написала заявление в психдиспансер с требованием, чтобы его забрали. Несколько дней назад она пришла ко мне и попросила тоже написать заявление или хотя бы подтвердить, что Дашенькин изводит свою жену и дочку, ученицу третьего класса, нескончаемыми скандалами. Шум скандалов и даже драк доносился в мою квартиру часто, иногда соседка, ее муж и Дашенькин с криками выскакивали на лестничную площадку, что я и подтвердил. Потом спохватился: зачем я это сделал? Ведь человека могут действительно забрать в больницу. В тот же вечер я пошел к соседке и попросил вернуть заявление, мной подписанное, но она сказала, что уже отослала его. Она успокоила меня: Дашенькина не заберут, только поугадают. По-видимому, заявление еще не начало действовать, ибо Дашенькин пожал мне руку с чувством, как доброму другу. Я слышал, как он, стуча тяжелыми башмаками, бежал по ступеням вниз и где-то на четвертом или на третьем этаже громко откашлялся и харкнул на

лестницу. У него никогда не хватало терпения добежать до улицы.

Я открыл дверь своим ключом и вошел в квартиру. На кухне жарили павагу. Внизу, на пятом этаже, где жила какая-то громадная семья, человек десять, кто-то играл на рояле. В зеркале мелькнуло на мгновение серое, чужое лицо: я подумал о том, как я мало себя знаю.

1969

Босоногая девочка поставила на стол кувшин холодной воды, миску с кислым молоком и круглый туркменский хлеб. Гриша и два его товарища набросились на кислое молоко. Хлебали ложками из одной миски. Вошли две женщины в сарафахах, с голыми, крепко загорелыми плечами и поздоровались. Одну из них, черноволосую, с сухим смуглым лицом и сухими икрами, звали Фаиной, она была тут радисткой. Другую, полную и высокую, звали Ольгой. Потом пришла начальница метеостанции Глафира Степановна.

Женщины улыбались, глядя, с какой жадностью топографы едят. И топографы тоже улыбались и кое-как, наспех, подшучивали друг над другом. Жадность, охватившая их, была не только жадностью к еде, но и к этой тенистой террасе, запаху сырого пола, прохладе, отдыху, женским лицам...

— У вас тут чудесно,— говорит Лобутев.— Прямо как в Сочи.

— Какое там! В тысячу раз... лучше! — с пабитым ртом возражал ему Рейф.— Скажите, а вы тут одни, без мужчин?

Фаиша, более бойкая, ответила, что они действительно, можно сказать, без мужчин. Их метеостанцию так и называют «женская». Николай Макарович, муж начальницы, не в счет. Он вообще такой скромный, незаметный!..

— Когда спит,— сказала Глафира Степановна. Она курила и угощала топографов папирсами.

С террасы был виден песчаный двор перед станцией с ветродвигателем и какими-то приборами на высоких подставках, похожими на пчелиные ульи. Вечернее солнце делало песок яично-оранжевым. Барханы вокруг станции были залиты красной пеной, миллионами цветущих маков. Ярко-красное, коралловое море, горящее под лучами солнца, застилало глаза, как кровь.

Стоял апрель, пустыня цвела.

Никто, кроме Гриши, не видел этой ошеломляющей красоты. Он был новичком. Его изумляли маки, изумляла жизнь в этом заброшенном деревянном домике в глуши песков, о которой так спокойно рассказывала Глафира Степановна.

— Я ведь самоучкой выучилась, тринадцать лет уж работаю. Здесь — что! Здесь, мы считаем, как в доме отдыха живем. Пресное озеро, аул неподалеку — шестьдесят километров. А вот в Чишмах мы с мужем работали, там и правда как на острове. Первые шесть лет вдвоем жили — он да я. Он и детей принимал — за акушера.

Голос у Глафиры Степановны низкий, сильный, совершенно мужской. А сама — плотная, невысоковьякая и круглолицая, как кукла матрешка. Пятерых детей вырастила. А чего делать в песках? Время есть...

В Гришиных мыслях было странное волнение, он не мог сосредоточиться — то ли от усталости, то ли кислое молоко пеноватым образом ударило в голову. Он испытывал чувство, похожее на легкий хмель. А скорее всего виной была Ольга.

Она сидела в стороне от всех, прислонив спину к деревянному барьеру террасы. В линиях ее полных рук, плеч и бедер, туго обтянутых сарафаном, была какая-то спокойная ленивость, что-то бесконечно женское, вызвавшее тоску. Она молчала и смотрела чуть улыбающимися зеленоватыми глазами то на Рейфа, то на Лобутева, то на свою начальницу, Глафиру Степановну, и бог знает о чем думала. О чем она думала?

— Курить я в Чишмах привыкла. У нас там зубы очель болели, — рассказывала Глафира Степановна, — а лечения никакого, кругом пески. Вот меня и научили чабаны терьяк курить, ихний опиум. Он, правда, боль тишит, но зато от него зубы ужасно разрушаются. Это я уж потом узнала... Видите?

Она открыла рот, показывая металлические зубы.

— Нет ли у вас горячей воды побриться? — спросил Рейф.

— Я дам, пойдёмте, — сказала Фаина.

Они ушли в дом. Лобутев сказал, зевая:

— Завтра раненько, часов в пять отправимся...

— А пожалуйста, гостите, — сказала Глафира Степановна. — Потом, значит, к нам старичка Мигунова прислали, учителя физики. И дочка с ним. Он через полгода за-

болел цингой и помер. Опять мы с Николаем одни остались...

— А вы, Ольга, кем работаете? — вдруг спросил Лобуев.

— Я — агрометеонаблюдатель, — сказала Ольга.

— Это что такое?

— Наблюдение за травой, за птицами, рыбой, когда рыба икру мечет, и так далее, — объяснила Глафира Степановна. — Она у нас недавняя, Ольга Сергеевна. Здесь место хорошее, воды много, деревья. А в Чишмах вода за три километра была и насквозь серная. Крепко мучились, особенно таскать.

Ольга молчала, слушая объяснения начальницы, и улыбалась скрытно, одними глазами.

А Глафира Степановна рассказывала о землетрясении сорок восьмого года, как у них кладовка потрескалась, и о том, как она одна оставалась, совсем одна с детьми, и к ней два бандита пришли, из тех, что в песках скрываются, и на ночь просились, а она их радиостанцией отпугивала (они радиостанции пуще всего боятся), и о том, как муж лапты плел, чтоб по пескам ходить, и как его черная фаланга укусила и они в Ашхабад радиовали: «Вреден ли укус черной фаланги?» — все события долгих тринадцати лет.

На дворе кто-то ломал саксаул. Слышно было, как дерево сухо трещит, расшибаясь о камень. Запахло дымом. Босоногая девочка внесла на террасу самовар, потом появился Николай Макарович — мелкий сутуловатый человечек с морщинистым, коричневым от многолетнего загара личиком. Он молча и как-то наныщенно пожал руки топографам, налил себе кружку зеленого чая и начал пить, громко откусывая сахар и чавкая. Глафира Степановна продолжала рассказывать. Потом пришел Рейф, и топографы тоже припаялись за чай.

Сумерки пастушили вдруг, будто свалились с неба. Лобуев уже откровенно зевал и оглядывался, ища, на что бы прилечь. Как все толстяки, он любил поспать. Две старшие дочери Глафиры Степановны втащили раскладную алюминиевую кровать и черную большую кошму, от которой душно запахло бараньей шерстью.

Женщины вышли. Грише спать не хотелось. Посидев минуточку и отчаянно собираясь с духом, он вдруг вскочил и выбежал вслед за Ольгой.

— Оля, вы — спать? — Голос его прозвучал развязно и фальшиво. Она удивленно оглянулась.

— Я? Нет.

— Может быть... Не хотите пойти к озеру?

— Пойдемте. Я что-нибудь накину. Сейчас...

Он стоял во дворе и смотрел в небо. Оно было прозрачно-зеленое, с чайным желтоватым отливом на западе. Ольга вышла в темной кофте. Руки она держала сложенными под грудью, отчего грудь ее казалась еще пышнее. Сказала просто:

— Пошли.

Она была одного с ним роста. Когда они прошли через калитку в деревянном заборчике, в доме хлопнула ставня.

— Ты надолго? — спросил чей-то резкий голос.

— На четверть часа, Фаечка, — ответила Ольга, оглянувшись поспешно.

Берег озера был растоптан скотом. Из-за бархапа выглядывала низкая, оранжевая луна, но свет ее не достигал озера, и оно светилось бледным, зеленоватым отражением неба. Вокруг на десятки, а к северу и на сотни километров простирался песок, это озеро было случайностью, изумительным чудом Каракумов, и таким же чудом, казалось Грише, была встреча с Ольгой. Она ленинградка, биолог. Где-то на севере остался муж. Нет, детей у них нет и не будет, наверное. Так уже сложилась жизнь...

Вскоре совсем стемнело. Они вернулись на ставню. Говорили о скучных пустыках: об уровне воды в озере, о том, что цветы тут не пахнут, а звезды необыкновенно крупные. Возле террасы остановились. Гриша взял Ольгу за руку, спросил шепотом:

— Вам хочется спать? — и медленно потянул к себе.

— Немножко уже хочется. Мы тут рано ложимся.

Он взял ее за локоть другой руки и привлек еще ближе. Она придвинулась.

— Вы с Фанной живете?

— Нет. Фанна — вои в той комнате, угловой...

Говорил шепотом. Лицо Ольги было совсем близко, он слышал, как пахнут ее волосы: земляничным мылом.

— А вы где?

— Я здесь, возле террасы... Видите, открытая ставня?

Ольга отворачивала голову, а он тянул губы, стараясь поцеловать. Гриша обнимал ее большое, легкое тело обеими руками, прижимая к себе все плотнее. Она не сопротивлялась, только отворачивала голову.

— Меня ждет Киррилл...

Гришины пальцы разжались.

— Где?

— Дома. Хотите, познакомлю с ним?

Помолчав, он вздохнул:

— Хочу.

Поднялись по крыльцу на террасу, где храпели Рейф с Лобутевым, потом на цыпочках через маленький коридор проскользнули в комнату со скрипучей дверью. Повсюду было темно. Натыкались на вещи. Ольга опустилась на колени и стала бросать под кровать горящие спички.

— Кир, Кир, Кир!

Гриша смиренно стоял в потемках, потом тоже опустился на колени. Киррилл оказался маленьким зайчонок, не желавшим знакомиться. Гриша полез под кровать. От волнения никак не мог зажечь спичку. Зайчонок промчался мимо его щеки и скрылся в другом углу комнаты, за чемоданом. Ловить его было нелегко, тем более в темноте. Он поился, как пуля, между кроватью и чемоданом. Но ловить его почему-то было необходимо. Наконец Гриша схватил теплый тщедушный комок и передал Ольге, и они сели, задыхаясь и тихо смеясь, на кровать и гладили его, зажатого в подоле сарафана, невероятно дрожащего, и Гришино сердце тоже колотилось, как заяц...

Утром, как и вчера, горели на солнце маки. В лпзипках между барханами красный цвет был особенно насыщенным, выпным, к вершинам он редел, а на самые гребни забирались отдельные цветы. Казалось нелепым, что это море цветов ничем не пахнет.

— Я не могу уехать от вас, Оля, я просто болен...— глухо говорил Гриша и мял в руке ее мягкие, ленивые пальцы.— Можно, я останусь здесь? Навсегда?

Она осторожно высвободила руку, цапнула и сорвала мак. Тронула пальцем черное сердечко, потом стала обрывать лепестки.

— Правда, красивые? — Последний лепесток она подняла высоко и отпустила.— А через месяц начнется жара и все сгорит. Все, все... Ничего не останется.

Она смотрела на него со спокойной улыбкой, как смотрят взрослые, грустные люди на игрушечное горе детей.

Верблюды уже были павьючены. Рейф и Лобутев стояли рядом с ними на вершине бархана и махали руками. Рейф что-то кричал.

Гриша поплелся наверх. Он чувствовал себя разбитым, безнадежно несчастным...

В середине июля экспедиция возвращалась из песков в Казанджик. Пятнадцать человек, две грузовые машины и семь верблюдов остановились на несколько часов на берегу озера. Гриша за три месяца почернел, исхудал, спекся на солнце, отпустил рыжие усы, успевшие уже выгореть, и голос у него стал грубый, простуженный ветрами и водкой — настоящий землемерский бас.

— Ой, вас не узнать, Гриша! — изумленно сказала Ольга, когда они встретились. Она тоже изменилась. Гриша заметил, что у нее низкая, неряшливо подобранная грудь, утомленное лицо, на платье под мышками круги от пота. И все же в ней было что-то, что тянуло к ней, но совсем не так, как прежде.

Они сидели в тени на крылечке террасы.

— На станции все по-прежнему, — рассказывала Ольга, — только вот Фаину уволили. Глафира Степановна приревновала ее к своему Николаю, скандалила ужасно. Глупость, конечно, но Фаину жалко. Она ведь такая одинокая...

Гриша не мог вспомнить лица Фаины. И не старался вспомнить. Мысленно он уже был в Ашхабаде, а через четыре дня — дома, в Москве.

Стоял удушающий зной. Песок выгорел до белизны, и барханы вокруг станции были пустынные, голые, как гробы. Кое-где торчал из песка пыльный кустарник. Никогда тут не было ни маков, ни зеленой травы, ничего, кроме песка и зноя.

Арташез приехал в С. пять лет назад с твердым намерением за короткий срок заработать шестьдесят тысяч денег (это было в 1955 году) и купить дом в Кисловодске. Он очень хотел купить дом в Кисловодске. Сам он в Кисловодске не был, но знал, что там красиво, хороший воздух, курортное снабжение, много армян, кроме того, там жил дальний родственник Арташеза и еще один знакомый человек, земляк Арташеза, из одной с ним деревни, которые оба имели ту же профессию, что и Арташез, и от них доходили слухи, что в Кисловодске работы много и можно жить хорошо. Арташез родился и прожил до двадцати лет в глухой карабахской деревне. Детство его попало на военные годы. Он привык к иссушающему солнцу, к пыльным дорогам, к бедности, к темным вечерам без света, к козьему молоку и к тому, что он старший в доме. Его отец умер до войны от укуса змеи, мать была больная жепщина, у неегноились глаза, в сорок лет она почти потеряла зрение. Арташез с трудом закончил четыре класса деревенской школы, потом работал землекопом, возчиком на арбе, одно лето подрядился ремонтировать дорогу, по все это ему не нравилось, потому что труд был тяжелый, а платили за него мало, и к тому же Арташез не чувствовал себя достаточно крепким для такой работы. Потом вернулся с работы брат матери, дядя Ашот, инвалид с покалеченной рукой, и он-то выучил Арташеза ремеслу парикмахера. Он сказал, что это золотое дело: везде нужно и везде за него платят деньги. Наверно, это было так, по только в карабахской деревне никому это дело не было нужно: стричь и брить было некого. Каждый думал как бы постричь другого. Потом, года через два, начались разговоры о том, что за морем, в Туркмении, можно хорошо заработать на нефтяных промыслах и что туда уехало много людей, у которых были родственники в Баку, а те знали некоторых, кто возили картошку за море и

продавали на Красноводском рынке. Арташез, не долго думая, собрался и поехал. Полтора дня он шел пешком, потом на попутной машине достиг Нахичевана, оттуда поездом приехал в Баку. Он никогда прежде не был в Баку, никогда не был вообще в большом городе. Но его ничто не интересовало, кроме того чтобы найти людей, родственников которых он знал и которые могли бы ему кое-что посоветовать. Он нашел этих людей, один из них работал парикмахером на пляже. Это было порядочно далеко от вокзала, за городом, и Арташез замучился, пока дотащил туда свой узел с вещами. Самой тяжелой в узле была громадная баранья кошма, которой Арташез покрывался ночью в дороге, еще там лежали сапоги, зимняя шапка, вязаные носки и парикмахерская машинка.

Пляжный парикмахер оказался в некотором роде родственником Арташеза: его первая жена, как выяснилось после недолгого разговора, приходилась племянницей двоюродной сестре Арташеза. Арташез никогда раньше не видел пляжа и не знал, что на земле есть места, где сразу собираются так много голых женщин и на них можно смотреть. Но сейчас его ничто не интересовало: он должен был ехать дальше. Пляжный парикмахер рассказал Арташезу, как ему купить билет на пароход, и дал адрес одного человека в Красноводске, который мог бы помочь. Он сказал, что, будь он помоложе, он бы тоже поехал в Туркмению. там люди делают хорошие деньги, но там пустыня и жить тяжело. Надо иметь здоровье, как у верблюда. «А у тебя,— сказал парикмахер,— по-моему, как раз такое здоровье». Сам же он был высокий, с грудями как у женщины, с большим животом, с толстыми волосатыми руками. Здоровье у него было, конечно, в два раза лучше, чем у Арташеза. Но Арташез не стал возражать. Он видел, что этот человек просто ленив, привык к сладкой городской жизни и даже собственную работу делает неохотно. Когда в его будку входил клиент, он с таким неудовольствием поднимался со стула, так медленно двигался, что смотреть на него было неприятно.

Ночь Арташез провел на набережной. Вечером на другой день сел на пароход «Туркменистан» и наутро приплыл в Красноводск. Город был гораздо меньше Баку, и Арташез почти не устал таскать свой мешок, разыскивая пужный дом и нужного человека. У этого человека было совсем не армянское имя — Поль. Он долго жил во Фран-

дни, воевал в партизанском отряде с немцами и прислал в Советский Союз недавно. Жена у него была русская. Он женился тут, в Красноводске. Поля и его жена оказались добрые люди, Арташез провел у них три дня, спал на полу в их маленькой комнате, обедал вместе с Полем в портовом ресторане: жена Поля работала там официанткой. Поля сказал, что мог бы устроить Арташеза в Красноводске, что сам он зарабатывает неплохо, работы хватает, и что он вовсе не рвется на восток, в пустыню, как некоторые, кого мучает жадность, и что всех денег все равно не заработаешь. Верно, на востоке мастеров мало и люди гробут там большие деньги. И чем дальше в глубь песков, тем больше можно заработать. «Но мне ничего не нужно, кроме хорошего радиоприемника, — сказал Поля. — Я коплю деньги, чтоб купить хороший радиоприемник и слушать Францию. Французские песенки, французский разговор и какие там футбольные команды идут впереди». У Поля была гитара, вечерами он играл и пел для Арташеза французские песенки, при этом смешно подмигивал, а его жена, веселая толстая женщина, подпевала ему громким голосом, хотя и без слов.

Конечно, они были хорошие люди, но немного пустые. Арташез думал о них с жалостью, а когда они пели, его клонило в сон.

Арташез не остался в Красноводске и отправился дальше, на восток. Он сел в поезд и доехал до Небит-Дага. Поля дал ему адрес человека, который заведовал парикмахерскими в этом городе, он был хорошим знакомым Поля. Этот человек, по фамилии Вартанян, сказал, что мастера ему очень нужны и он может принять Арташеза на работу немедленно. Но Арташез был не из тех, которые порют горячку. Он присмотрелся, поговорил с одним, с другим и понял, что Небит-Даг — еще не самое лучшее место для парикмахера. На нефтяных промыслах, сказали ему, на юг от Небит-Дага, в пустыне, был один парикмахер, который за два года собрал шестьдесят тысяч и купил дом в Кисловодске. Нефтяники люди богатые, деньги в песках тратить некуда, вот и кидают парикмахерам по тридцатке да по полсотенной за простую работу, поневоле озолотишься. Но, конечно, и жить там нужна привычка: кругом песок, ни дерева, ни травинки, вода привозная, все привозное. Арташез решился, поехал. Сначала на рейсовом автобусе до Кум-Дага, оттуда на попутном самосвале в С.

Стоял октябрь, но в воздухе была сушь, солнце калило по-летнему. Горизонт был синий, слоился и плыл, как живой. Асфальт, по которому ехали, то и дело заливался языками песка: сосед, ехавший в кузове, сказал, что это наносит ветром за ночь. Потом асфальт кончился, дорога пошла вырять меж песчаными горбами. С обеих сторон стлались пески, белые, немые, ни человека, ни жилья, и чем дальше шел самосвал, чем более диким казался Арташезу окружавший его простор, тем сильнее он радовался: ему хотелось забраться в такое место, где на сто километров кругом он был бы единственным парикмахером. К концу дня самосвал остановился. Арташез увидел нефтяные вышки, десятка полтора деревянных барачков, груду белого строительного камня, цистерну, радиомачту и несколько палаток. Он спросил у первого встречного рабочего: где тут баня? Тот показал на деревянную постройку. Старик в меховой шапке рубил топором кривые сучья. Арташез еще не знал, что это дерево называется саксаул, что оно замечательно горит и дает много тепла. Арташез спросил у старика, есть ли тут, при бане, парикмахер. Старик долго не понимал, потом понял, сказал «йок» и покачал головой. Арташез сказал: «Тогда я буду тут парикмахером». Старик кивнул и вновь стал рубить топором сучья.

Когда я приехал в С., это был уже город. Во всяком случае, после долгого блуждания в песках он показался мне большим городом. Было много двухэтажных домов из белого камня «тюша». Были больница, школа, магазин, была площадь с почтой и телеграфом, были диетическая столовая и еще одна, обыкновенная столовая, которую с легкой руки каких-нибудь москвичей называли «Арагви», и еще закусочная в «парке»: столы под открытым небом в окружении трех десятков молоденьких тополей. В общем люди тут жили, работали, рожали детей, пили водку в «Арагви», смотрели кинофильмы, покупали холодильники в кредит и мечтали о чем-то, когда оставалось свободное время. Но свободного времени было у них мало.

Я поселился в одном из двухэтажных домов, снял комнату у Арташеза. У него была еще одна комната, побольше, метров в тринадцать, где он жил с женой Ларисой и двумя сыновьями дошкольного возраста. Сыновья целую неделю находились в детском саду, Лариса шила дома платья, а Арташез трудился в парикмахерской. Он был худой, жилистый, с лицом синевато-смуглым, поход-

кой и фигурой напоминал мальчика, и волосы у него были, как у мальчика, черной лохматой шапкой. Поглядев на него, можно было догадаться, что этот человек одержим страстью. Он был молчалив, быстро двигался, почти не пил вина, не курил, не читал книг, да, пожалуй, и газет, не интересовало его и кино; в доме было радио, но он его никогда не слушал. Как ученый, фанатично преданный своей идее, он был поглощен одним: работой в парикмахерской. Он вставал в шесть утра, в половине седьмого начинал работать и возвращался домой в восемь. Так было изо дня в день. За пять лет он ни разу не был в отпуске и ни разу не болел. В воскресные дни он тоже работал.

За две недели, что я прожил в доме Арташеза, я разговаривал с ним лишь дважды. Он рано ложился спать. Да и разговаривать с ним было трудновато: он едва выдавливал слова от застенчивости. Однажды за ужином он спросил, не знаю ли я, какое напряжение тока в Кисловодске. Я не знал. Он объяснил, что ему это важно знать вот почему: брат в Кисловодск старый холодильник или продать его и купить на сто двадцать.

— Значит, день переезда близок? — спросил я.

— На будущий год, — сказал он гордо и улыбнулся.

Я подумал о том, какое это могучее свойство, может быть, самое могучее в человеке, — целеустремленность. Нас обуревают слишком много желаний, но люди, подобные Арташезу, выбирают что-нибудь одно. Они знают, зачем живут. Они не порют горячку в этой жизни, столь приспособленной для горячки, они не суетятся, не разбрасываются, а с муравьиным упорством продвигаются вперед и достигают чего-то ведомого им одним.

У Арташеза не было друзей, был лишь один приятель, с которым он иногда встречался и выпивал стаканчик красного, — его карабахский земляк: тоже парикмахер, приехавший в Туркмению на год позже. Его звали Хачик. Это был совсем другой парень, гуляка и озорник, но беззлобный, даже несколько придурковатый озорник. Работал Хачик в еще более глухом месте, в Гулым-Тепе, где недавно возник нефтяной промысел, и в С. приезжал изредка, как в столицу, погулять и пропить деньги. Я видел однажды, как он разгуливал по поселку в женском платье и за ним шаталась толпа его прихлебателей, которые хотели и улюлюкали, желая доставить ему удовольствие. На голых руках Хачика было надето штук восемь часов,

восточные танцовщицы. Говорят, он был добрый малый, у него было несколько жен, одна на родине, другая в Баку, третья еще где-то, и он обо всех заботился, всем посылал деньги.

Жена Арташеза, Лариса, родилась и выросла в Туркмени. Она не хотела уезжать в Кисловодск. Жалела деньги. С Арташезом она спорить устала, а мне тихонько жаловалась:

— Подумаешь, курорт! А что в нем хорошего? Нефтяников не хуже снабжают. У нас тоже можно прекрасно жить, правда же? А в жару занавесочку мокрую повесишь, зеленый чай пьешь понемногу, и ничего страшного. Это только дураков пугают — пустыня, пустыня... Да моего пшачка разве переспоришь...

И так я уехал из С., который вначале показался мне большим городом, а потом с каждым днем делался все меньше и меньше и, наконец, превратился в убогий, знойный, пропахший запахом нефти, иссушаемый ветрами и пылевыми бурями клочок пустыни, где, как мне почудилось, я не мог прожить больше ни одного дня, и так и не узнал, кто победил в споре жены и мужа. Наверное, думал я, победил Арташез. Ведь люди, подобные ему, охваченные страстью к достижению цели, не придают большого значения мнениям других людей, и тем более мнениям своих близких.

Через полтора года я вновь попал в этот край и заехал в С. нарочно, чтоб повидать Арташеза или что-нибудь узнать о нем. Все-таки он мне крепко запомнился. Он так не походил на меня и на всех, кого я знал. Он был какой-то удивительно цельный.

В квартире Арташеза жили новые люди — буровой мастер с женой и детьми, они недавно переехали из Челюска и ничего не знали о прежних жильцах. В поселке была теперь настоящая парикмахерская, где работали четыре мастера, и один из них, сидевший на крылечке в тени, рассказал мне про Арташеза.

В прошлом году весной Арташез заторопился с отъездом, собрал деньги в кучу и приготовился ехать в Кисловодск оформлять сделку. Сначала решил поехать один, все устроить, а потом перевезти семью. Поторопиться ему следовало, потому что военный комиссар, который все время давал ему отсрочку от армии, как раз тогда был снят с должности и попал под суд за какие-то дела. За взятку,

что ли. Приятель Арташеза, Хачик, устроил Арташезу проводы. Они сидели в закускойной в компании человек шести хачиковых прихлебателей, много веселились, выпили несколько бутылок ашхабадского красного, и Хачик стал задира́ться к одному парнишке, незнакомому, который сидел за соседним столом и скромно обедал. Парнишка этот был, видимо, приезжий, армянин из Тбилиси. На нем была светлая кепка с очень большим козырьком, какие носят в Тбилиси. По такой кепке можно сразу узнать грузина. Но этот парнишка был армянин. Армянин из Тбилиси. А ведь известно, что между теми армянами, тбилисскими, и этими, из Карабаха, всегда бывают какие-то несогласья. Что-то они между собой не поделили. Никто не знал, зачем этот парень приехал, что он делал в поселке, он просто сидел себе один-одинешенек и обедал, даже без вина. Но кто-то пустил слух — так, для смеха, — что это, мол, известный тбилисский парикмахер, что он получал дипломы на международных конкурсах, а сюда прибыл организовать большой парикмахерский салон, самый большой в Западной Туркмении. Ну, и Хачик стал к нему задира́ться. Сперва спросил, так это или нет. Парнишка ответил, что ничего подобного, он никакой не парикмахер. Хачик стал передразнивать его тбилисский выговор, потом начал издеваться над его кепкой с большим козырьком, а парнишка — он и правда приходил на парикмахера, такой худенький, миловидный, с проборчиком, — ничего не отвечал и держался спокойно. Тогда один из хачиковых дружков подошел к нему, сорвал кепку и бросил на пол. Все, смеясь, смотрели, как кепка с большим козырьком лежит на полу, а тбилисский парнишка продолжает молча обедать, как ни в чем не бывало. Потом он встал и говорит: «Поднимите кепку». Никто, конечно, не поднял, а все только громче захохотали. Арташез тоже хохотал. Он никогда за последние пять лет не был так пьян и так не веселился, у него даже слезы текли. Тот парень постоял и ушел. Он пошел в гостиницу, взял, что нужно, и через десять минут вернулся в закускую. Его кепка все еще лежала на полу. Он подошел к столу и ударил первого, кто сидел ближе, пожом в сердце. Первым был Арташез. Потом ударил второго, третьего. Все произошло в секунду, никто ничего не успел сделать, к тому же люди были пьяные. И только когда третий человек упал на пол, на этого парня кинулись остальные, свалили, вырвали пож, стали топтать ногами. Его убили

бы сразу, но прибежал милиционер и спас его от смерти — на несколько часов.

Арташез был убит на месте, двое других остались живы, а тот парень с проборчиком — он оказался тбилисским бандитом, который, как рассказывали потом, пробирался поближе к границе, хотел бежать в Иран, — умер в больнице, вечером. Перед смертью попросил послать телеграмму в Тбилиси на почтамт, до востребования, какой-то жейщине, всего два слова: «Жорик умер».

А жена Арташеза уехала из С. очень скоро. Говорят, она вышла замуж, живет в Кизыл-Арвате и на деньги, скопленные парикмахером, ее новый муж купил легковую машину.

Людей в поселке стало гораздо больше. Старые каменные дома уже успели кое-где потрескаться, зато выросли новые. Заметно поднялись деревья в парке, но некоторые засохли.

Я сидел в закуской, возле ограды из тонких металлических труб, пил воду, смотрел в небо — был вечер, соляце, невидимое за домами, садилось, — смотрел, как по небу на большой высоте летело едва различимое облачко, такое прозрачное и маленькое, что на нем почти не удерживался розовый рефлекс заходящего солнца, и оно быстро, как кусок сахара в кипятке, на глазах таяло.

Он — курд, Бако Ивапович Агапуров. Все зовут его просто Бако. Приземистый, темнокожий, с мощными плечами и грудью, с лицом оливкового оттенка, носатым, пугающе некрасивым, лицом разбойника. Он лучший водитель автотранспортной конторы и член месткома. Когда в позапрошлом году контора задержала выплату денег рабочим, Бако, не долго думая, бахнул в Москву телеграмму: «Москва. Кремль. Верховный Совет. Рабочие такой-то конторы месяц не получают зарплаты, примите меры, накажите виновных — член месткома Агапуров». Через два дня пришел приказ из Москвы, и деньги были выплачены.

Жена у него немка, но совершенно обрусевшая, из давних переселенцев, рыхлая голубоглазая женщина огромных размеров. Она ленива, перьяшливо одевается, курит папиросы, и лицо у нее всегда измятое, утомленное и какое-то двусмысленное. Регулярные абортс не могут укротить эту могучую плоть. Мужа она называет Бобик. У них трое детей.

Бако счастлив. Когда Лиза беременна, он заявляет шуточно и не без гордости:

— Плохо, опять Лизавету бить нельзя! — и ухарски подмигивает.

В конторе он человек уважаемый. Он справедлив, никого не боится, зато многие боятся его необузданной вспыльчивости и привычки резать правду в глаза. Про себя говорит: «Мы, курды, мстительные». Впрочем, Бако ни одному человеку не сделал зла, никого не ударил напрасно, а вот поддержал, выручил из беды, защитил от несправедливых нападков — многих.

Я увидел его впервые на вокзальной площади в Небит-Даге. Подъехал автобус, и началась давка. Очередь смешалась, все полезли друг на друга, передавали вещи через головы, брапились, кричали истошными голосами.

И вдруг все прекратилось. Какой-то человек молча раскидывал толпу возле входа. Я увидел его не сразу, он был слишком невысокого роста. Одних он отпихивал, других совал вперед, кому-то дал по шее — и в минуты навел порядок. Последнего человека он вмял в дверь, как вминают вещь в набитый битком чемодан.

Затем, ударом ладони проверив, хорошо ли закрылась дверь, побежал к кабине.

Это был регулярный рейс Небит-Даг—Кум-Даг. Автобус бросало на дырах асфальтового шоссе. И пассажирское бросало друг на друга. Здесь ехали рабочие с нефтяных промыслов, командировочные из Ашхабада и Красноводска, старухи с детьми, колхозники в громадных меховых шапках, везущие на рынок в Кум-Даг мешки с луком и вяленую воблу.

На полдороге возник скандал. Трое парней отказывались платить за билеты. Они говорили, что у них нет денег, что они отдадут двадцатого, после получки. Кондуктор дернул за проволоку. Автобус остановился посреди пустынного, белого от солнца солончака.

Человек с оливковым лицом выскочил из кабины. Он был в майке, мокрой насквозь. От его голых плеч, волосатых рук и черной волосатой груди шел запах солярки и пота.

— Чего такое? — спросил он, влезая в кузов.

— Вот эти трое не платят за билеты, — тонким голосом ябедника сказал кондуктор. — Вот эти. Да, да.

— Платите, ребята, или выматывайтесь из машины, — сказал шофер.

— Сейчас. Разбежались, — сказал один парень.

— Откуда ты такой, не нашего бога? — спросил другой.

— Он из зоопарка, братцы!

Парни сидели в ряд на заднем сиденье, дымили папиросами и веселились от души. Шофер взял крайнего за ворот рубахи и поднял с сиденья. Двое других вскочили на ноги, они были на голову выше шофера. Казалось, начинается драка, но никакой драки не произошло. Все случилось как-то нелепо и быстро. Шофер спиной отодвинул людей, загораживающих выход, и начал выбрасывать парней через дверь на землю, одного за другим, как мешки с луком. И они почему-то ни разу его не ударили, только отбивались нескладно, махали руками и матерились.

Спрыгнув на землю, шофер деловито отругнулся и побежал вперед. Через четверть часа в знойной свинцовой дали всплыли первые качалки Кум-Дага.

Кто не бывал в маленьких нефтяных городках Западной Туркмении, выросших среди песка и такыров, тому трудно понять их суровое волнующее своеобразие. Ведь недавно, пять и восемь лет назад, здесь была пустыня. Она и сейчас вокруг на десятки и сотни километров. Рыжая, она сквозит между домами, гнетет сухим жаром, сугробами наметает песок — по утрам здесь откапывают двери лопатами. Но город укореняется с жестоким упорством. Возникают улицы, растут дома с квартирами не хуже московских: с балконами, газом, электричеством. А во дворах между домами бродят верблюды, перскликаются дикими скрипучими голосами.

Я жил в этом странном городе, где все перемешалось: трухлявые кибитки, дома с балконами, верблюды и самосвалы, горький аромат пустыни и запах нефти. И — люди отовсюду: туркмены, русские, казахи из кибиточного «казах-аула», азербайджанские нефтяники, евреи, осетины, персы и латыши; все они были чем-то похожи, и не только темной смуглотой лиц, прокаленных в одном каракумском горниле. Так делаются похожими люди, творящие сообща великое: новую религию, революцию или новый маленький город.

Все они верили, что их город когда-нибудь станет великим. Таким же, как Небит-Даг.

Много дней я не видел Бако. Потом мне сказали, что у Бако несчастье: толстуха его бросила, убежала с каким-то железнодорожником в Ашхабад. Это случилось недавно.

Моя соседка, Валентина Семеновна, очень сочувствовала Бако. Она работала плановиком в той же автотранспортной конторе — одинокая немолодая женщина, заброшенная в этот край превратностями судьбы. Валентина Семеновна читала по-французски, ее любимым поэтом был Иннокентий Анненский.

Бако любил бывать у Валентины Семеновны. Его тянуло к высокой интеллигентности. Кроме того, они оба были членами месткома. Бако приходил к ней с тремя детьми; теперь он повсюду ходил с детьми — на рынок, в столовую и даже в забегаловку, когда привозили пиво. Дети убегали во двор, где жаркий ветер послал песок и всегда пахло хлором, которым заливали уборные, а Бако

сидел в комнате Валентины Семеновны и советовался с жизни. У него теперь одна мысль: «Как бы ей отомстить?»

— Не могу понять, чего Лизе не хватало,— изумлялась Валентина Семеевна.— Вы так ее любили, и зарабатываете вы хорошо...

Бако не знал, чего ей не хватало. Но однажды у него вырвалось с горечью:

— Ей, дуре, не хватало деревьев!

Бако пытались женить, знакомили с разными женщинами, но ему никто не нравился: одна чересчур худа, другая стара, третья плохо на детей посмотрела. Про одну очень толстую армянку он сказал:

— Она ничего, фигуристая. Но о чем я буду с ней разговаривать?

С Лизой он любил разговаривать о международном положении, особенно если бывал «под мухой».

В конце концов детей устроили в детский сад. Они находились там всю неделю, и только на воскресенье Бако забирал их домой. А Лиза не вернулась даже тогда, когда в городе появились деревья. Первые деревья привезли при мне на двух грузовиках. Из открытого заднего борта торчали тоненькие голые прутья, а корни вместе с землей лежали в кузове, бережно запеленатые серыми пыльными тряпками.

Самое трудное в этой работе — научиться ходить не утомляясь. Ходить приходится много, иногда по десять — пятнадцать километров в день. Ноги вязнут в песке, каждый шаг требует усилий. Лучше всего ходить босиком, по песок за день так накаляется, что босой ногой не ступишь. Опытные люди соорудили себе легкие войлочные тапки вроде туркменских чувяков.

Молодецкий рабочий Ашир, прикрепленный к Гале, скачет по барханам, как ящерица. Он изнывает от сострадания к Гале и желания ей помочь.

— Ты не думай, ходи, как верблюд! Совсем не думай!

У Гали это не получается. Она думает слишком много. Все время думает о разных вещах: то вспоминает мать, то московских знакомых, то думает о людях, с которыми вместе работает уже третий месяц и не перестает им удивляться. Странные они, пестрые какие-то. Хорошие или скверные — не разберешь. От зари до зари в поле, ночью зябнут, днем пекутся на солнце, ссорятся из-за планшетов, ругаются, хитрят, поют песни... Пьют не часто, но с удовольствием. А часто пить и нельзя: шофер Миша ездит в Казанджик раз в месяц, привезет полдюжины коньяку — надолго ли хватит? Коньяк — не водка, его и женщины пьют.

Многому научилась Галя, от многих городских предрассудков помаленьку отвыкла, например, от глупого принципа, чтоб мужчина делал даме любезности. В пустыне все равны, все в штанах ходят. Научилась Галя сама о себе заботиться. За едой, когда все садятся как попало вокруг котла, научилась, не деликатничая, брать куски побольше, не ожидая, пока предложат или все съедят. Научилась ловко перелезть через борт грузовика и занимать место возле кабины, где меньше трясет, — кто опоздал, пусть мотается сзади, сам виноват.

А вечером от ходьбы поясницу ломит и ноги гудят, все равно как после первого за зпму выхода на каток.

Вечером чаевничают в палатках при свете керосиновой лампы, потом — кто спать сразу, кто в карты, кто письмо пишет. Галя живет в одной палатке с поварихой Катей и Марией Андреевной Фепичевой, инженером-мелиоратором Катя укладывается раньше всех, потому что и встает первая. Марья Андреевна ложится последняя, иногда за полночь явится, а иногда и вовсе не ночует. Здесь не город чего стесняться? Все и так знают. Малаев как начальник отряда живет в маленькой отдельной палатке, где хранятся карты, документы и стоит радиоприемник «Урожай».

Утром, когда Марья Андреевна сидит на койке и расчесывает свои длинные русые косы, Галя любуется ее складной фигурой, гибкими руками, черно-белыми до запястий и глянцеви́то-смуглыми, обветренными в кистях. И делается грустно, когда подумаешь, что ласкать это тело досталось лысому, неряшливому, с грубым испитым голосом старику. Малаеву сорок семь лет, в Галином представлении он старик. Напряженно волнует Галю загадка: что привлекло в Малаеве эту молодую красивую женщину? Известно о ней немного. Был муж, полярный летчик, которого она, по собственным словам, «любила безумно». Он погиб шесть лет назад, Марья Андреевна еще училась в институте. Потом было несколько романов, но все неудачные. И вот — Малаев. Почему? С какой радости? Если это так, без любви, то, по мнению Гали, Сергей Павлович совсем неподходящий партнер. А если это глубоко, по-серьезному, тогда вообще ничего не понятно.

Несколько раз, мучимая любопытством, Галя затевает разговор с Катей, но рябая повариха не проявляет интереса к проблеме.

— А я почему знаю? Присохла, видишь...

— Что вы говорите, Катя! — ужасается Галя. — Как можно «присохнуть» к Малаеву?

Иногда Марья Андреевна приходит вечером в палатку, и лицо у нее такое счастливое, что Гале делается неловко. Почуввав это, Марья Андреевна заводит с Галей надменный, официально-сухой разговор о работе. Как все люди, привыкшие долго жить в одиночестве, Марья Андреевна необыкновенно чутка и самолюбива. Она может вдруг резко спросить:

— Почему вы на меня так смотрите?

— Я? На вас? — изумляется Галя.

— Да, да. Я знаю все ваши взгляды, хоть вы и очки носите. Только мне паплезать с высокой горы.

Или незаметно появится из-за угла палатки и бросит подозрительно:

— Вы о ком, обо мне судачите?

Как-то вечером Галя и Марья Андреевна сидели вдвоем в палатке и разговаривали о Махонине, бородатом геодезисте, который презирает все науки, кроме геодезии, и всегда ходит в поле особняком. В отношении к геодезисту у женщин единство взглядов: его считают грубияном и занайкой. Марья Андреевна с возмущением говорила о том, что Махонин, стараясь доказать, что он работает вдвое быстрее других, стал за последнее время картировать с ошибками и такие пикеты второпях ставить, что их надо два часа отыскивать. В углу палатки что-то зашуршало.

— Марья Андреевна, по-моему, у нас фаланга, — сказала Галя.

Керосиновая лампа чуть освещала две койки и большой Галич чемодан, служивший столом. Шуршанье слышалось вновь и громче, а затем фаланга — небольшой мохнатый комок — прыгнула на край чемодана и оттуда под койку. Все это произошло мгновенно. Марья Андреевна ахнула, схватила лампу и выскочила с ней на волю, чтобы осмотреть свое платье. Галя осталась в темноте. Минуты две она сидела не шевелясь и дрожа от страха, каждую секунду ожидая, что фаланга прыгнет на нее. Но шуршанья больше не слышалось. Марья Андреевна тоже не обнаружила фаланги и вернулась с лампой в палатку. Она была темного смущена. Женщины с величайшей осторожностью, то и дело взвизгивая, осмотрели палатку, перевернули все вещи, но фаланга исчезла бесследно.

— Почему вы не выбежали из палатки? — спрашивала Марья Андреевна парочито сердитым тоном. — Я думала, вы бежите за мной!

Галя промолчала, но это маленькое предательство поразило ее почему-то очень больно. Потом, темного уснокоившись, она мысленно простила Марью Андреевну. Что же, она такая же-трусиха, как большинство женщин. Галя сама дико боялась фаланг и скорпионов, от ее близорукости они мерещились ей повсюду. Каждую ночь перед сном она тщательно осматривала постель и поверх спального мешка покрывалась еще кошмой: по словам чабанов, науки боятся барашьей шерсти.

На запахах лагерной кухни фаланги набегали со всей округи. Галя видела крохотных желтеньких паучков, которые легкомысленно прыгали и резвились в траве, и толстых, брюхатых, с волосатыми лапами, совершавших огромные скачки в полтора метра и сипло стрекотавших. Но случаев укуса пока не было, и Галя понемногу преодолела отвращение и страх перед этим мохнатым паучьем. Относительно вредности фаланг среди туркменов были различные мнения: одни считали, что фаланги вообще безвредны, другие говорили, что укус их опасен лишь в том случае, если фаланга недавно питалась падалью и на зубах у нее сохранился трупный яд. Ашир говорил, что надо опасаться только черной фаланги.

Среди туркменов у Гали много друзей. Большинство рабочих — молодые, двадцатилетние парни, выглядящие еще моложе благодаря тому, что все они по-мальчишески худенькие и безусые. И тем не менее почти у каждого есть жена и дети... Рабочие относятся к Гале как к сестре и называют ее — Галя-джан. Им нравится, что она сразу запомнила, как кого зовут (Малаев до сих пор путает имена), нравится, что она советуется с ними в работе, интересуется их языком и уже выучила порядочно туркменских слов.

Самый близкий друг — Ашир. Он тихий, меланхоличный, всегда погруженный в свои думы. Ашир, единственный из рабочих, принадлежит к племени юмудов, все остальные — текинцы. Его работа у Гали несложная, он носит гербарную сетку, отмеряет площадку и садится где-нибудь па пригорке в виде живой вешки. Он может сидеть так, не шевелясь, часами, в то время как Галя ползает по земле, выщипывая растения. Иногда ему приходится копнуть разок-другой лопатой, извлекая какос-нибудь крупное растение с корнем. Пустынную флору он знает великолепно.

И вдруг Галя узнает — от других рабочих, товарищей Ашира, — что Малаев собирается Ашира уволить. Режим экономии. Сокращение штатов. Но почему Ашира? Почему не уволить одного из четырех махонинских рабочих?

Происходит долгий отчаянный спор. Малаев, Марья Андреевна, геодезист Махонин — все заодно против Гали. Ее обвиняют в том, что она белоручка, боится патродить гербарной сеткой пальчики, что ей чужды интересы кол-

лектива и что настоящие комсомольцы так не поступают.

Галя упорствует. Она вовсе не белоручка, ей жалко терять Ашира: он прекрасный помощник, а кроме того, хороший парень, добрый, мягкий...

Но об этом Галя не говорит. Она ставит вопрос принципиально: почему от сокращения штатов должна страдать именно она, геоботаник? Если она молодой специалист, с пей можно и не считаться — так, что ли?

— А гербарную сетку я буду носить сама!

— Ох и упрямая вы женщина, — говорит Марья Андреевна со злой усмешечкой. — От вашего упрямства сами же и страдаете. И всю жизнь будете страдать.

— Почему — страдать? Не понимаю, Марья Андреевна.

Галя делает наивное лицо. Она понимает только, что Марья Андреевна хочет съязвить, сказать что-то злое, заглазное. Ну-ка, пусть выскажется!

— Я вам потом объясню, — свысока общается Марья Андреевна.

Малаев устало машет рукой.

— Ладно, договаривайтесь с Махониным. Если согласится сократить кого-нибудь из своих, не тропем вашего Ашира...

Но геодезист не тот человек, с кем можно договориться. Он заявляет, что, хоть он и не кончал университетов, обхитрить его никому не удастся, даже академику. Дудки! Где сядешь, там и слезешь!

Огорченная, Галя заходит вечером в палатку рабочих. Ашир лежит на войлоке, закрыв руками голову. Реджеп и Бегенчи играют на тьюдуках, остальные пьют чай.

— Ну что, Галя-джан? — спрашивает Реджеп.

Ашир садится и смотрит на Галю.

— Пока яман. Но я буду бороться... Ты не печалься, Ашир!

— Не печалимся, — усмехается Ашир. — Мамка совсем печалится...

Реджеп пододвигает Гале пиау.

— Пей чай!

— Не хочу, сагбол. Завтра опять пойду к Малаеву. Это какое-то безобразие! Я даже не понимаю!

— Ай, Галя-джан! — Ашир делает слабое движение рукой, говорящее «что тут понимать?» — и снова ложится на войлок.

Когда Галя выходит из палатки, за ней выскакивает Реджеп. Догнав ее в темноте, шепчет возбужденно:

— Галя-джан, скажи Малаю: Ашир нельзя уволить, никак нельзя. Он бедный человек, у него мамка старый, жепя, сестра есть. Он самый бедный, ему нельзя уволить. Пускай другой уволт, скажи...

— Я знаю, знаю,— шепчет Галя, кивая. От внезапной жалости горло ее спазмирует спазма.

Галя поспешно уходит. Впервые в жизни она чувствует себя начальницей, ответственной за судьбу человека, и это чувство тяжестью ложится на сердце. Что она может сделать? Как помочь?..

Перед сном происходит объяснение с Марьей Андреевной.

— Вы спрашиваете, почему вы будете страдать? Я вам объясню. Вы чересчур гордая и мнительная, Галина Ивановна. Поэтому вы не можете найти общий язык с людьми. Всегда вам кажется, что вас ущемляют.

— Неправда,— говорит Галя.— Просто я чувствую, как ко мне относятся люди, и плачу им тем же.

— Ну как, например, я к вам отношусь?

— Вы? — Одно мгновение Галя смотрит в синие, широко открытые глаза Марьи Андреевны.— Вы равнодушны, вот и все.

Марья Андреевна возражает. Ничего подобного, она искренне желает Гале добра, ведь она сама недавно была молодым специалистом.

— Видите, какая вы! — возмущается Марья Андреевна.— Уже обвинили меня в равнодушии. А ведь я всей душой хочу вам помочь — и в работе и в личной жизни.

— О последнем можете не беспокоиться,— говорит Галя несколько высокомерно.

— Пожалуйста, я не беспокоюсь. Но я старше вас, пусть немного, на пять лет...

«На семь»,— мысленно поправляет ее Галя.

— ...у меня есть жизненный опыт, я знаю, что такое любовь, что такое материнство,— у меня была девочка, она умерла пятимесячной,— и что такое все остальное. И я вам говорю: вы живете неправильной, неполной жизнью. Смотрите, даже рябая Катя, такая уж невзрачная, и та утешается с нашим шофером Мишей. А как же иначе? Женщина не может жить без любви.

Галя уже залезла в спальный мешок, сняла очки и, лежа на спине, глядит в низкий пахнущий резиповым кле-

ем брезентовый потолок палатки. На воле раздаются глухие удары о землю, сухой треск: Катя ломает дрова на завтра. «А ты воровка,— думает Галя.— Украла на полгода чужого мужа и радуешься. Воровка, воровка! Боже мой, разве это любовь? С Малаевым...»

— Вы скажете, паверно, что вас интересует работа? — продолжает Марья Андреевна.

— Да. Интересует.

— И меня интересует, и Сергея Ивановича, и Махопина — мы все работаем увлеченно. Это в порядке вещей. Мы все работаем для будущего этой земли, хотим превратить ее в сад, украсить зеленью — мы тоже романтики, Галина Ивацовна. Но нельзя же себя обкрадывать...

— А вы разве счастливы, Марья Андреевна? — хочется спросить Гале, но она понимает, что это было бы зло и жестоко. Эта женщина хочет убедить всех и, главное, самое себя в том, что она счастлива. Но стоит ли записываться разоблачениями? Галя молчит. Нет, она не решится обидеть Марью Андреевну. Не имеет права. Ведь на стороне Марьи Андреевны огромное оправдание — опыт жизни.

И вдруг Галя говорит:

— А почему вы знаете? Может, я тоже счастлива — с Аширом.

— Что? Ну, неправда... — Марья Андреевна неуверенно улыбается.

— Хотите верьте, хотите нет.

Марья Андреевна даже села на койке. В глазах ее жадное изумление.

— Галя, расскажите!

— Рассказывать я не буду. Вам этого не понять.

— Почему «не понять»? Вы что, из другого теста, что ли? — Голос Марьи Андреевны вздрагивает от обиды. Кажется, Галя сказала лишнее и сейчас вспыхнет ссора, но Марья Андреевна почему-то молчит и Галя тоже молчит.

Входит Катя, медленно раздевается и со словами: «Спокойной ночи, девочки» — задувает керосиновую лампу. И только после этого в наступившей тишине в темноте раздается робкий, смеющийся шепот Марьи Андреевны:

— А я смотрю: она так его защищает, так отстаивает... Какая скрытная, подумайте!

На следующий день специалисты отправляются с утра на близкий «ключ», в пяти километрах от лагеря. Рабочие заняты свертыванием палаток, укладкой вещей: лагерь перебирается на новое место.

Днем на «ключ» приезжает грузовик. Галя, Марья Андреевна, почвовед Домрачевы залезают в кузов и навсегда прощаются с этой холмистой песчаной равниной, где им знакомы каждый куст, каждая сусличья норка. Почвы, растительность, впадины и возвышения — все занесено на карту, оконтурено, тщательно описано в цифрах.

— Прощайте, песчаные горы! — дурашливым тенором поет Герман Домрачев. У всех веселое настроение. Новое место, говорят, будет веселее: рядом с лагерем геофизиков, а у тех патефон, волейбольная площадка, молодежи много...

В лагере суматоха. Малаев орет на верблюдишек, Катя в огромные узлы увязывает посуду. Ошалело носятся рабочие. Гремит бас геодезиста:

— Если кто-нибудь трронет мои теодолиты!..

Галя вдруг обнаруживает, что у нее пропали очки. Они остались в песках, на «ключе». Близорукость у Гали несилая, она надевает очки только во время работы и в кино, и все же без очков жить нельзя.

Эта потеря вызывает у всех почему-то улыбку. Гале сочувствуют, но как-то глупо, легкомысленно. Герман плоско острит насчет того, чтобы Галя не расстраивалась, ее очки пригодятся очковой змее, и т. д.

Люди с хорошим зрением вообще отличаются тупостью и самодовольством, когда дело касается очков.

Галя рассказывает о своей неприятности Малаеву и просит дать грузовик съездить на «ключ». Начальник смотрит испуганным, непонимающим взором: «Нет, нет! Что? Грузовик пойдет первым рейсом в Теза-Кую...» Его обуревают тысячи забот, ему нет дела до каких-то очков. Подумашь, происшествие! Но Галя крепко хватает Малаева за локоть.

— Сергей Павлович, поймите, я без очков не работник...

— Ну, завтра съездите, послезавтра. Я не знаю, что вы хотите — чтоб я родил ваши очки?

— Отпустите на полчаса грузовик...

— Да вы с ума сошли, Галина Ивановна! Что? — И он произносит отчетливо и раздраженно: — Страшный человек: то вы скандалите из-за рабочего, который вам совер-

шепно не нужен, то теряете очки — и кто-то виноват, ей-богу!

Закусив губы, Галя поворачивается и убегает. Ее душат слезы. Ей кажется, что ее обижают нарочно, никому нет дела до ее неприятностей и все вокруг — равнодушные, желчные эгоисты. Она убегает за бархап и плачет там, сидя в ложбинке на корточках, чтобы никто не видел.

Через несколько минут она встает и, все еще глотая слезы, бежит по пескам в обход лагеря к автомобильной колесе. Некоторое время Галя слышит за спиной голоса, шум мотора, потом все стихает. Она одна среди барханов. Следы грузовика бегут по песку — то взлетают на гору, то вьются по подножью, замысловато огибая бархапы.

Тишина песков понемногу успокаивает Галю.

Она смотрит на часы; половина пятого. За час двадцать минут она добегит до «ключа», возьмет очки и часам к восьми вернется в лагерь. Дорога легкая, ветра нет и не жарко. Надо только ни на шаг не отклоняться от колеи, и все будет в порядке.

А в лагере пусть-ка поволнуются эгоисты! Интересно, какая физиономия будет у Малаева, когда ему сообщат, что Стрелкова исчезла, сгинула, провалилась в песок, как песчанка. Хотя до восьми часов никто, наверно, и не хватится.

Галя размышляет о людях. О здешних и о московских, о всех, кого она знает. Вообще о человечестве. В здешних пока разобраться трудно. Иногда Галя чувствует, что Марья Андреевна пылает к ней какой-то темной, бабской ненавистью, совершенно необъяснимой, а иногда удивляется ее доброте, щедрости и желанию искренне чем-то помочь. Малаев страшно мелочеп, спорит из-за копейки, когда собирают взносы на общую кухню, а то вдруг пританцит из города вина и закусок на пятьсот рублей и ни с того ни с сего угощает весь лагерь. Геодезист Махонин грубиян, презирает женщин, разговаривает хамским тоном, зато влюблен в свою работу, и влюблен бескорыстно, красиво. И у других так же — хорошее и плохое вне ремешку. А может, все люди такие? Но ведь мама, например, определенно хорошая, и Тамарка, самая близкая подруга, тоже очень хорошая...

«Наверно, я мало их знаю,— решает Галя.— За три месяца не узнаешь».

Она приходит на «ключ» в почти намеченный срок: за полтора часа. Вот свежая яма, шурф, откуда Герман брал

сегодня почвенные пробы. Вот кустики селина, стебли песчаной осоки — Галя ползала сегодня по этому склону и считала, считала... Вот серые угли утреннего костра... Банка пз-под сгущенки... Очков пока не видно.

Полчаса, час ходит Галя по маленькому участку, глядя под ноги, то и дело нагибаясь. Очков нету. Уже около восьми, надо возвращаться в лагерь, но ведь глупо возвращаться ни с чем, проделав путешествие в десять километров!

И Галя ходит, ищет, заглядывает под каждый стебель, пытается вспомнить...

И вдруг вспоминает: на обратном пути грузовик подобрал их не на самом «ключе», а шагах в двухстах к востоку. Утром Миша с трудом преодолел гряду барханов и поэтому днем остановился как раз перед грядой. Галя быстро пробегает этот короткий отрезок, спускается с бархана, видит место, где Миша разворачивался, — но и здесь ничего не находит.

Галя бежит назад, к «ключу». Спешит, спотыкается. Солнце село, небо быстро сереет. Как у всех близоруких людей, зрение у Гали резко ухудшается в сумерки. Теперь ей приходится передвигаться чуть ли не ползком для того, чтобы разглядывать землю. От усталости и волнения подкашиваются ноги, она садится на песок. Ей становится страшно. Она понимает вдруг, что темнота наступит очень скоро, — надо бросать поиски и бежать, бежать немедленно!

Пока можно различить в сумерках дорогу, Галя бежит быстро. Странная вещь: она отчетливо сознает, что ее поступками руководит сейчас не разум, а смятенное чувство. Бежать ведь некуда. Время упущено. И все-таки, уже не различая дороги, она продолжает бежать, потом идет шагом.

Барханы налились тушью, а небо еще светится.

Стоп! Вот здесь, не отходя от дороги, она будет спать, а завтра на рассвете пойдет дальше.

В лагере, конечно, тарарам. Переезд отменен, рабочие ушли на поиски, жгут костры. Малаев радирует соседям...

Галя складывает ладоши рупором и кричит:

— Я здее-е-есь!

Потом просто:

— Аааа!..

Молчат барханы. Галя ложится на песок прямо там, где стоит. Спать, спать! Скорей бы прошла ночь.

Песок твердый и такой холодный, что Галию бросает в дрожь. На боку лежать неудобно, на спине тоже. Галя сгребает песок руками, делает из него нечто вроде изголовья, съезживается, поджимает колени. А может быть, зарыться в песок, как ящерица?.. Главное — без папики. И не терять чувства юмора. Завтра утром, в лагере, она будет смеяться, вспоминая сегодняшние страхи. Ха-ха, сбегала за очками. Прекрасная тема для письма Тamarке. Маму пугать нельзя, а Тamarке можно написать со всеми подробностями, даже название есть: «Первое приключение в пустыне Каракум», или лучше: «Приключения идиотки».

Галя закрывает глаза. Горько, одуряюще пахнет пылью...

Всю ночь снятся кошмары. Галя то и дело просыпается от страха и, проснувшись, не может вспомнить, что именно ее напугало. Отвратительно сияют звезды. Нет конца их сиянию, нет конца их бессмысленному множеству. Это называется — бесконечность. Дрянь и глупость, никому это не нужно.

А нужно тепло и солнце...

Она просыпается от солнца. Оно уже в небе, бирюзово-сером, рассветном. Галя вскакивает на ноги. Ее трясет озноб. Пять часов утра.

Что такое? Следов автомобиля не видно. Она спала на голом песчаном склоне. Значит, вчера вечером, в потемках, она потеряла дорогу. Где это случилось? Галя взбирается на высокий бархан и оглядывается, но без очков увидеть след автомобиля довольно трудно. Надо идти назад, по своим следам. Главное — без паники. Она еще вернется на «ключ» и, кстати, найдет очки. Вот ее следы, и вот, и вот... А дальше? Дальше ничего. Ровный, чистый песок. Что она, летела тут по воздуху, что ли?

В пустыне всегда ветер, вот и пропали следы.

Покружившись вокруг последнего следа и паделав новые следы, Галя окончательно запутывается и решает идти в лагерь на страх и риск. Лагерь должен быть, если вспомнить карту, на юго-юго-востоке от «ключа». Примерно определив по восходящему солнцу, где юго-юго-восток, Галя отправляется в путь.

Она пересекает могучие, грядовые пески. Чтобы не сбиться с направления, Галя не обходит барханы, а все время идет напрямик. Каждый раз взбираясь на высокий гребень, она надеется увидеть автомобильный след, или

палатки на горизонте, или кибитку верблюджика, но видит только барханы. Очень жарко. Галя снимает вязаную кофту, обматывает ею голову, чтобы не напекло.

Она идет все медленнее. Первые признаки отчаяния и голода, слабеют ноги, хочется лечь. Но останавливаться нельзя, надо идти. Говорят, это умеют кочевники: идти по прямой.

Плавится песок. Душный, знойный воздух в низинах. На припеке греется здоровенная, с желтой шкурой, змея.

Галя идет весь день.

Опять наступают сумерки. Галя ложится на спину и закрывает глаза. Она думает: я умерла в тридцать три года, потеряв очки. Меня искали, искали, но без очков не нашли. В сумерках идти нельзя, потому что куда-то исчезает дорога. Хотя это уже не важно.

Как всех людей, погибающих в пустыне от жажды, Галю преследуют видения воды. Утром она встает с трудом. Солнце парит всюю. Толстое, с мясистым стволом растение туркмены называют «чомуч» и едят его, нарезая ломтиками, как колбасу. Вырвать из земли нет сил, надо сломать ствол, как можно ниже, обтереть пыль и сразу в рот, где все болит, сухо...

Галя видит червый мохнатый клочок бороды. В рот ей суют флягу, она пьет, но очень немного. Фляги уже нет.

— Дудки, — слышит она знакомый голос. — Хорошенького поемножку.

— Я заблудилась, — говорит Галя.

Потом они сидят рядом на песке, Махонип что-то говорит, а Галя пьет воду. Махонип опять отнимает флягу. Галя смотрит на его прекрасную черную бороду и плачет.

В лагере первая подбегает Марья Андреевна. У нее ошеломленное, красное от слез, незнакомое лицо, она вскрикивает тонким голосом:

— Господи, да вот она! — и, подхватив Галю под руки, бережно ведет куда-то, так бережно, как будто Галя может рассыпаться. Потом ее окружают рабочие, Катя, Герман Домрачев, подбегает Малаев — родные, милые лица. А Миша с грузовиком и верблюджика еще в песках.

— Она, видишь, в круговую шла, — говорит Махонип. — В первый день километров восемнадцать да сегодня семь. Хорошо, свалилась без памяти, а то чеши за ней до Ашхабада...

Рабочие смеются. Ашир протягивает Гале очки: он их нашел на «ключе», засыпанные песком. И первое, что замечает Галя, надев очки: бледное, с вымученной улыбкой лицо Малаева, постаревшее как будто на десять лет. А Марья Андреевна обнимает Галю страстно и шепчет непонятное:

— Не волнуйся, Галочка: твоего Ашира решили оставить. Сергей Палыч не против...

Чертиком выскочила на дорогу рыженькая песчанка и понеслась впереди машины, охваченная ужасом и загишпотизированная ревом мотора. Сапар Мередович задумал: если песчанка свернет с дороги влево, значит все останется по-прежнему, если вправо — произойдут перемены. Очумелая песчанка мчалась по колее в двух метрах перед радиатором, не находя сил свернуть ни вправо, ни влево, и вдруг исчезла, точно провалилась. Сапар Мередович решил дождаться второй. Будущее было тревожно, и Сапару Мередовичу не терпелось получить хоть какой-то ответ.

Вторая песчанка появилась скоро и, так же как первая, с идиотическим упрямством заплясала перед носом машины. Сапар Мередович впился в нее глазами. Но тут Реджеп неожиданно дал сильный газ и пересекал рыжую тварь колесами.

— Зачем? — с досадой спросил Сапар Мередович.

— Я эту пакость всегда давлю, Сапар Мередович. Только заразу разносят, пропади они совсем...

— Машину надо жалеть, — проворчал Сапар Мередович.

Третья песчанка появилась через полчаса. Она отчетливо увильнула с дороги влево, но Сапар Мередович уже успел забыть, что означало — если влево, и что — если вправо. Таким образом, будущее осталось неясным.

Сапар Мередович Мередов, заведующий райотделом культуры, ехал охотиться. Это был рослый полный мужчина, с гладко выбритым шарообразным черепом, с той бледной смуглотой кожи, которая присуща большим начальникам, проводящим дни в кабинетах. Охоту Сапар Мередович считал лучшим средством против служебных неприятностей. Пески успокаивали, исцеляли его, возвращали душевное равновесие.

А сегодня Сапар Мередович нуждался в душевном равновесии больше чем когда-либо.

Последние две недели он испытывал неотвязное и почти необъяснимое чувство тревоги. Это чувство не было вызвано никаким конкретным событием. Оно возникло как бы из воздуха, из мелких и безобидных на первый взгляд примет. Например — ревизоры. В конце мая приехали двое из областного отдела культуры, потом явился один из облопо, а еще через несколько дней — из обкома комсомола. Не успел уехать последний, как на один день мелькнул подобно метеору товарищ из столицы республики. Все это были люди знакомые, и действовали они знакомо, с обычной торопливостью, с обычной жадностью к бумаге и всему бумажному. Интересовали их разные вещи: кого — библиотека, кого — культпросвет, кого — кинофикация в сельских районах. Насытившись бумагой, они уезжали стремительно и с видимым удовлетворением.

Само по себе нашествие ревизоров не встревожило Сапара Мередовича: оно было так же безвредно и немного парадно, как метеоритный дождь в августе. Мелькнули — и сгинули. Но Сапар Мередович почувал за этим нашествием какую-то неясную, отдаленную угрозу — это было смутное предчувствие, ничего больше.

Одновременно разнесся странный слух. Кто-то приехал из областного центра и рассказывал, что видел человека, вернувшегося из Ашхабада, которому говорил один его близкий знакомый, прилетевший из Москвы, что в Москве уже с полмесяца ответственные работники ездят исключительно на такси. На душе у Сапара Мередовича сделалось неуютно. Особенно насторожили его разговорчики насчет перераспределения легкового транспорта. Старый, замызганный ГАЗ-67, приданный райотделу культуры и являвшийся по существу собственностью Сапара Мередовича (с той разницей, что Сапар Мередович платил шоферу и за бензин не из собственных денег, а из казенных), был главной приманкой, соблазнившей Сапара Мередовича взять на себя легкий труд заведования райкультурой.

Шесть лет назад Сапара Мередовича перебросили с зампреда областного исполкома на замдиректора подучлища, затем он заведовал отделом культтоваров в министерстве и после одной неприятной истории попал в район. Ему предложили на выбор: замзавоблотделом или же заврайотделом. Сапар Мередович выбрал район, ибо лучше быть первым человеком в районе, чем вторым в области. Кроме того, в области Сапар Мередович не был бы полновласт-

ным хозяином машины, а начальник без машины — какой же начальник?

И вот теперь старенький райотдельский «газик», этот символ власти и благополучия, подвергался опасности. Сапару Мередовичу и раньше приходилось держать ухо востро, давая отпор покушениям на свою драгоценность. На «газик» претендовали, например, работники райкома партии, у которых была одна машина на всех, райпрокурор и заврайздравом, у которых не было машин вовсе, и еще несколько влиятельных лиц. Сапар Мередович хитрил: он велел своему шоферу Реджепу содержать «газик» в затрапезном виде, не мыть его, не красить, не чистить порванный брезентовый верх, чтобы не вызывать зависти. «Газик» был вполне исправен и хорош на ходу, но внешний вид его был так ужасен, что, казалось, машину вытащили со свалки и она вот-вот развалится.

После трехчасового тряского путешествия по барханной дороге «газик» выбежал на солончак. Реджеп предложил Сапару Мередовичу отправиться на этот раз в отдаленную местность за колодцы Теза-Кую, Кзыл-Кятта и еще дальше к северу, где простирался обширный такыр, называемый жителями «Алым-такыр». Четыре года назад там работало много экспедиций, огромный такыр избороздили автомобильными колеями, истыкали скважинами, а пустынное зверье распугали. Потом экспедиции уехали, сделав свое дело. И пустыня вновь воцарилась на прежних местах. Стерлись следы машин, засыпало песком скважины.

Напоминаям об изыскателях, некогда поливавших потом эти пески, осталось только название, данное такыру чабаами: Алым-такыр, что значит — Такыр учебного.

На этом такыре, по словам Реджепа, должна быть пропасть джейранов. Кишмя кишат джейраны, и никто не охотится: далековато.

Июньский полдень давил эпосом. «Газик» шел на большой скорости, и, хотя драпый брезентовый верх его был открыт (чтобы стрелять стоя), движение воздуха почти не приносило пролады. Вот оно, время охоты: одурев от жажды, джейраны выходят из глубины песков в поисках водопоя. Сапар Мередович не страшился жары. Только пыхтел и вытирал платком лоб и шею. Пусть прячутся от солнца изнеженные арийцы или чарджоусские эрсари, избалованные водой, а он настоящий туркмен, его деды были «кумли» — жители песков, выносливые, как ящерицы.

Сапар Мередович чувствовал себя отлично. Жадно вдыхал он душный и горьковатый запах пустыни, запах истлевших на солнце трав. Целебные силы песков начали действовать. Прошло каких-нибудь четыре часа, а Сапар Мередович уже не смотрел на жизнь так уныло, как прежде.

В самом деле, размышлял он, откуда взялась тревога? Что произошло? Ничего ровным счетом. Все на своих местах. Третьего дня он нарочно ездил в область, чтобы проверить, нет ли каких перемен в руководящих организациях. Нет, повсюду сидят прежние знакомые люди: Чары Мурадович, Девлет Курбанович, Иван Васильевич... А если все они на своих местах, значит и тревожиться нечего.

Могучее спокойствие пустыни, солнца и неба вливалось в Сапара Мередовича. И вскоре он совсем перестал думать о служебных делах и мыслями его овладела охота.

Джейраны что-то не бежали навстречу.

Сапар Мередович шарил биноклем по знойной дрожащей кайме горизонта, выискивая добычу, но пока ничего не видел. Он знал, как трудно заметить джейранов на большом расстоянии: палевая окраска делает их почти неразличимыми на фоне песка. Только белые подпалины на ляжках выдают джейранов, но увидеть подпалины можно лишь тогда, когда животное повернется задом к охотнику.

Сапар Мередович смотрел в бинокль с таким напряжением, что у него заслезились глаза. Безжизненно и пустынно белел такыр. Кайма горизонта слоилась, трепеща от жаркого воздуха, и казалось, что впереди маячат гребни барханов, но это был все тот же плоский глиняный стол такыра, изрезанный трещинами и побеленный там и сям пятнами соли.

Неожиданно Реджеп сказал:

— Воп рогаль стоит. Видите, Сапар Мередович?

Сапар Мередович перекинул бинокль по направлению взгляда Реджепа и действительно увидел на горизонте застывший на мгновение силуэт сторожевого самца-джейрана. Через секунду рогаль исчез из поля зрения.

— Поворачивай против солнца, — сказал Сапар Мередович, и голос его дрогнул от знакомого внезапного волнения.

Реджепа не надо было учить. Он превосходно знал все хитрости автомобильной охоты. Он знал, что преследовать джейранов по следу — пустое дело; надо кружить спиралью вокруг добычи, приближаясь к ней осторожно и как

бы нехотя. Поэтому Реджеп изменил направление, погнав машину на запад и постепенно забрав чуть к северу. Через четверть часа на горизонте мелькнуло стремительно мчащееся стадо джейранов, семь или восемь голов. Они были как тени, легкие и призрачные, — вот-вот растают в знойном тумане.

— Так держи... Не ближе, не ближе! — закричал Сапар Мередович, нервным движением выхватывая с заднего сиденья дробовик.

Реджеп и сам знал, что приближаться рано. «Газик» ехал сейчас параллельно бегущему стаду. Почуввав преследование, джейраны ускорили бег и начали быстро удаляться. «Газик» тоже понесся на предельной скорости, но заметно отставал от дьявольских антилоп: ведь они мчались сейчас со скоростью ста с лишним километров в час. Но этого темпа им хватит на пять минут. Затем они неминуемо и быстро начнут сдавать.

— Нажми! Жми!.. Еще нажми! — орал Сапар Мередович, захлебываясь от возбуждения и ветра, бьющего в рот. Он вскочил на ноги и стоял, держась свободной рукой за борт.

«Газик» начал медленно вагонять стадо. Он все еще шел параллельно, но уже ближе к джейранам, и с каждой минутой придвигался к ним все более. Сапар Мередович мог теперь сосчитать джейранов, растянувшихся веревочкой: их было пять голов. Они стались над землей, как птицы: движения их ног были почти неуловимыми для глаза.

Реджеп упорно избегал решительного наступления. Он точно испытывал терпение Сапара Мередовича. Расстояние между машиной и последним джейраном, замыкавшим летучую пятерку, сократилось до ста метров, до восьмидесяти, до семидесяти...

Железный грохочущий аппарат с бензиновым сердцем и нежно-палевые маленькие, легконогие существа неслись сейчас рядом, словно в честном соревновании. Уже можно было стрелять. Мелкая картечь — двадцать две дробины, забитые в патрон двенадцатого калибра, — берет метров на восемьдесят. Уже можно... Сапар Мередович вскинул дробовик, целясь заднему джейрану в лопатку.

«Газик» слегка подпрыгивал на неровностях почвы. Корпус его дрожал от скорости. И колени Сапара Мередовича неумоимо дрожали, и его все время тянуло назад. Поэтому он промазал.

— Выворачивай руль же, черт... подрал! — крикнул Сапар Мередович диким голосом.

Реджеп послушно вывернул руль. Джейрап шарахнулся в сторону, и Сапар Мередович снова выстрелил в розовую лопатку и увидел, как джейрап подпрыгнул, кувырнулся через голову, беспомощно сверкнув белым брюхом. «Есть шашлык!» — пробормотал Сапар Мередович, хотя был не уверен, что попал хорошо, а проверять было некогда. «Газик» пагонял уже второго джейрана. И опять у Сапара Мередовича не хватило выдержки, и он поспешил выстрелить. Второму джейрану выстрел отнял переднюю ногу, но он продолжал бежать по-прежнему быстро, а перебитая нога болталась под животом, как плеть. Пробежав метров сорок на трех ногах, подрапок свалился.

— Берн того! — крикнул Сапар Мередович, дулом ружья указывая на третьего, молодого джейрапчика с яркой, почти оранжевой шерстью. — Загоняй, загоняй его...

— Подождите вы стрелять, — огрызнулся Реджеп.

— Ладно! Гоня!..

Машина шла на одной скорости с джейрапчиком, постепенно и боком приближаясь к нему. Вот он уже совсем близко: видна его тонкая, вытянутая в безумном усилии шея и круглый, косящий, темно-вишневый глаз. Затем маленькая голова на вытянутой шее начала клониться книзу, движения ног замедлились. Джейрап «загорался». Неодолимая сила притягивала его голову к земле — верный признак того, что силы покидают животное.

Теперь автомобиль ехал паравпе с джейраном, в двух шагах от него. Джейрап уже вяло перебирал ногами, голова его безнадежно опустилась. Готов! Стоит ткнуть его дулом под ребра, и он тут же испустит дух. Сапар Мередович аккуратно прицелился, выстрелил. Джейрап подогнул передние ноги и покорно и мягко, точно только и ждал этого, покотился, чертя мордой, по земле.

Охотники вдруг заметили, что такыр кончился и впереди желтеют пески. Два передовых джейрана уже цыряли в барханах, в спасительном отдалении. Сапар Мередович засуетился, выстрелил и, конечно, не попал. Пришлось повернуть назад. Оранжевый джейрапчик был убит наповал. Реджеп положил его на заднее сиденье, где был разостлан брезент. Первый джейрап, подстреленный с большого расстояния, еще дергался и хрипел, выдувая из рта кровавую пену, и Реджеп прикопчил его и тоже поло-

жил в машину. Исчез только второй джейран, подранок с перебитой ногой — по-видимому, ушел в пески.

Пока Реджеп свеживал добычу, Сапар Мередович занялся приготовлением ужина: разостлал на земле небольшой коврик, достал из походного баула бутылку коньяку, две стопки, кастрюлю с кусками холодной баранины, хлеб, лук, пучок редиса и поллитровую стеклянную банку, наполненную паюсной икрой, которую привез ему в подарок один земляк с гассанкулпйского побережья.

Руки Сапара Мередовича дрожали от недавнего возбуждения и голода. Не дожидаясь Реджепа, он глотнул коньяку и с жадностью принялся за баранину, круто посоленную, липкую от застывшего сала; не успев прожевать мясо, совал в рот редиску, обмакивая ее вместо соли в банку с икрой и, сделав вздох облегчения, вновь опрокидывал в рот коньяк, чувствуя, как ободряющий жар охватывает тело. Вскоре и Реджеп подсел к коврику.

Покончив с едой, охотники легли отдыхать.

Ночью охота должна была возобновиться. Правда, Реджеп, осмелев от коньяка, начал было уговаривать Сапара Мередовича удовольствоваться дневной добычей и повернуть к дому. Он даже высказал сомнение в том, хватит ли им бензина для ночных блужданий, и напомнил, что жена Сапара Мередовича умоляла их именем детей не охотиться ночью. Однако Сапар Мередович разгадал за этими доводами обычную Реджепову лень и желание поспать лишних два часа. Он сурово сказал, что только ради ночной охоты он и поехал в пустыню, и велел разбудить себя ровно в полночь. А слушаться женщин в делах, касающихся мужчин, сказал он, — великая глупость.

Завернувшись в плащ, накрывшись ковриком и подсунув баульчик под голову, Сапар Мередович очень скоро заснул. Реджеп улегся рядом с пачальником. Он видел как из-за темного бархапообразного живота Сапара Мередовича выползали в сумеречное небо звезды. Они были не яркие по-вечернему и мерцали робко: свет их то исчезал в сиреневом тускнеющем сумраке, то опять возгорался. Реджеп боялся спать, зная, что наверняка проспит всю ночь, и тогда пачальник страшно рассердится.

И вот он лежал и слушал оживающую к ночи пустыню — какие-то шорохи, шелесты, похрустывания — и думал о всякой всячине. Он думал о том, что вентиляторный ремень встrepался: менять надо, пропади он совсем, и том, что детей пора отправлять в лагерь в Чули, и сег-

дня следовало бы съездить в областной центр, купить детям летнюю обувь и кое-что из белья, чтобы не были хуже других, а он вместо этого проводит воскресенье в пустых забавах. С обидой подумал он о том, что его приятели-шоферы спят сейчас в теплых домах, а он, паломавшись за день, точно это и не воскресенье было, а будний день, должен зябнуть на такыре и, не смыкая глаз, сторожить полночь. И какой шайтан придумал эту охоту на джейрапов? Правильно, что запретили ее законом. Очень правильно, пропади она совсем!

Потом он стал думать о том, что лето запоздало, слишком долго стояли прохладные дни, и что для людей это хорошо, а для хлопка худо. И что лучше было бы наоборот. Потому что, если будет хорошо для хлопка, то и людям в конце концов будет хорошо.

И так он думал о разных вещах, пока не пробрал его почной холод. Тогда он встал и выпул из-под сиденья машины коротенькую истертую кошомку. Он был худ и очень долговяз, и поэтому кошомка укрывала что-нибудь одно: спину или ноги. «Это хорошо», — подумал он. Если он укроется весь, то, наверное, заснет в тепле и проспит полночь, и начальник утром страшно рассердится.

Долго крепился Реджеп и все же не удержался и задремал перед самой полночью. Проспал он минут пятнадцать, а может быть, двадцать, и увидел, как громадный самосвал, выскочив на повороте арчманского шоссе, проломил ему левый борт, опрокинулся и потащил, словно щепку, колесами вверх...

Сапар Мередович тряс Реджепа за плечо.

— Какой же ты человек неверный, Реджеп! Можно ли иметь с тобой дело?

Реджеп вскочил, дрожа от озноба. Протер кулаками глаза. Роскошная звездная ночь цвела над такыром.

Выпив для бодрости стопку коньяку, Реджеп сел за руль. И почная охота началась. Сапар Мередович стоял рядом с шофером, держа в руках специально приспособленную автомобильную фару: главное оружие почной охоты. Санару Мередовичу очень нравилось стоять в машине; он сам себе казался похожим на джигита, летящего на резвом ахалтекинце. А какая темнота вокруг! Едешь неизвестно куда, точно в пропасть. Вай, замечательное дело! И умник, должно быть, был тот человек, который придумал почную охоту с фарами!

«Газик» ехал не быстро, но и не очень медленно. Как раз так, чтобы Сапар Мередович получал наибольшее удовольствие: не раздражаясь на медленность и не слишком опасаясь быстроты. Луч автомобильной фары скользил по такыру, за одно мгновение обшаривая огромное пространство. Он был щупальцами и прищипкой одновременно. Глухой джейран всегда попадает на эту простую уловку: лишь бы они заметили друг друга, джейран и охотник. После часа бесплодного кружения по такыру Сапар Мередович радостно вскрикнул: «Есть шашлык!»

На конце луча, метрах в ста от машины, засветилась крохотная посеребренная фигурка. Джейран стоял как вкопанный. Он смотрел на удивительный свет, возникший из темноты и медленно приближавшийся в сопровождении страшного шума... Любопытство сковало его. Теперь уж он будет стоять, глаза с дурацким интересом на фару, до последней своей минуты.

«Газик» тихо катился ему навстречу. Реджеп прибавлял обороты, заставляя мотор реветь что есть мочи и распаяя тем самым любопытство джейрана. Так охотники приблизились к своей жертве на расстояние плевка. Шерсть джейрана, видимая до малейшей шерстинки, казалась седой под электрическим светом; стройные и тонкие, как тростник, ноги были широко расставлены, и выглядел он поразительно спокойным. Его изящно поднятая мордочка и круглые мигающие глаза выражали панвное изумление — и только.

И из-под брюха его, склонив голову набок, выглядывал длинноногий, как паучок, ягпенок.

Реджеп осторожно взял из рук пачальника фару. Сапар Мередович поднял дробовик и выстрелил в джейрана в упор.

Таким же образом Сапар Мередович застрелил до рассвета еще двух джейранов. На этом решили кончить. Реджеп развернул изрядно потяжелевшую машину, и охотники помчались домой, на юг.

Водянисто-зеленый, словно плохо заваренный кок-чай, вставал над пустыней рассвет попельника. Шофер и пачальник ехали молча. Сапар Мередович зевал, пожевывая и с удовольствием раздумывал о том, что он будет делать с добычей. Три тушки отдаст жене в хозяйство, одну подарит Давлету Курбановичу... А пятую? Сапар Мередович искоса взглянул на худое, обтянутое фиолетово-черной эфюпской кожей лицо Реджепа. По справедливости, одно

го джейранчика падо бы отдать шоферу. Только Реджен не стоит того. Во-первых, он уговаривал вернуться домой, значит, он не заинтересован в добыче. Во-вторых, ему и так неплохо живется. Должен быть счастлив тем, что работает на чистой работе, а не трясется в грузовике по сельским дорогам и не возит камни с карьера.

Сапар Мередович еще раз подозрительно взглянул на Реджепа и, прочитав на его сонном, равнодушном лице полное отсутствие каких-либо претензий или желаний, кроме единственного желания — спать, отвернулся успокоенный. Пятого джейранчика надо подарить Клычу Амапычу, председателю райисполкома. Это будет правильно.

Сапар Мередович был вполне удовлетворен охотой. Пять джейранов — отлично! И, главное, пустыня не обманула его надежд. Тревог и сомнений как не бывало. Все остается по-прежнему. Ни единая звездочка не сдвинулась со своего места в необъятном пустынном небе, вечном небе, которое он помнит с детства.

Хорошее настроение не могли омрачить даже мысли о предстоящей неделе с ее нудными заботами, сидением в душном кабинете и необходимостью постоянно что-то писать, решать, о чем-то совещаться под жужжащие вентилятора. Один из ревизоров (тот самый, что мелькнул метеором) требовал принятия срочных мер по коренному улучшению лекционной работы. Сапар Мередович привык к тому, что от него всегда требуют не просто улучшения, а коренного улучшения. Надо будет поработать. Мобилизовать актив. Самому прочитать пару-тройку лекций на предприятиях и в колхозах. Что поделасмы! Жизнь состоит не из одних удовольствий.

...Солнце уже поднялось высоко. Стало жарко.

Когда подъехали со стороны такыра к колодцу Кзыл-Кятта, Сапар Мередович заметил в тени колодезного домика знакомый мотоцикл с коляской, выкрашенный в яркий маково-красный цвет. Это был мотоцикл Ага Нияза, областного инспектора по делам охоты.

Сапар Мередович велел Реджену остановиться. Ему захотелось повидать старого приятеля Ага Нияза — вот уж кто по достоинству оценит джейранчиков!

Подходя к дому, он еще издали услышал несколько возбужденных голосов, говорившихся наперебой. В темной комнате с низким потолком и земляным полом стояли трое мужчин: грузинский, сидящий, с багровым лицом Ага Нияз в своем куцем холщовом костюмчике и с полевой

сумкой через плечо, какой-то старый чабан и незнакомый молодой парень в ковбойке и белой соломенной шляпе. И еще — босоногий мальчишка лет двенадцати, который стоял рядом с чабаном, вцепившись пальцами в его грязный халат.

Все эти люди замолчали и оглянулись на дверь, когда вошел Сапар Мередович.

— Где, где он тут? — весело, с начальственной фамильярностью заговорил Сапар Мередович с порога. — Где начальник над всеми джейранами, фазанами и песчаными кошками, старый басмач Ага Нияз?.. — и, подойдя к Ага Ниязу, дружески шлепнул его по спине.

— Салам, Сапар Мередович, салам! Кургум... — хриплым и быстрым говорком отозвался Ага Нияз, обеими руками пожимая руку Сапара Мередовича.

— Как живешь, старый басмач? Все водку пьешь, а? В песках жена не видит, а? — и Сапар Мередович подмигнул пезнакомцам.

— Не пью, Сапар Мередович, некогда. Познакомьтесь, — Ага Нияз повернулся к молодому парню в ковбойке. — Это товарищ Мередов, наша райкультура...

«Зачем рекламировать?» — удивился Сапар Мередович и с некоторым беспокойством взглянул на молодого человека. Тот назвал себя:

— Хангельдыев.

Ладно, пусть Хангельдыев. Ни о чем не говорит.

Чабан, стоявший в стороне, выглядел отцепенцем. Опираясь на ружье, он угрюмо смотрел в раскрытую дверь на волю, где слепил глаза пылающий, накаленный солнцем песок. Мальчишка с челкой на лбу, обозначавшей особую родительскую любовь, испуганно выглядывал из-за его спины.

— Ну! Штраф платить будешь? — грозно двигая бровями, обратился к чабану Ага Нияз.

— Я не стрелял, начальник. В песках его нашел... — пробормотал чабан.

— В песках нашел! Джейран — черепаха, что ли?

— Правда, начальник. Подбитый был, умирал... Не знаю, кто стрелял...

— «Не знаю, кто стрелял!» — повторил Ага Нияз с презрением передразнивая грубый выговор чабана. — А это кто стрелял — тоже не знаешь?

Ага Нияз подошел к лежащему в углу джейрану (Сапар Мередович только теперь заметил это) и ударом ноги

перевернул мертвую голову, мотнувшись на тонкой, грядничной шее. Морда джейрана была запачкана темной кровью, над ухом чернела ружейная рана.

— Правда, я,— ответил чабан,— застрелил его, чтоб не мучился. Все равно волку достался бы!..

— В общем, плати штраф. Охотпродукцию мы отбираем согласно закону.

Чабан покачал головой. Его темное, иссеченное морщинами и плоское, как такыр, лицо выражало упорное недоумение. Он нагнулся, вытер нос полою халата и вновь встал в прежнюю позу, обхватив руками свое старое кустарное ружье с граненым стволом.

— Не будешь платить?

— Йок,— цокнул языком чабан.— Кто стрелял, не знаю. Зачем буду платить?

Сапар Мередович уже успел сообразить, в чем дело. Этот жалкий охотник нашел в песках раненого джейрана,— верно того подрабка, которого они упустили вчера вечером, прикончил его и подобрал. В другое время Сапар Мередович мог бы пожалеть чабана и попросту объяснить все Ага Ниязу, но сейчас он чувял опасность в этом незнакомце Хангельдыеве, да и сам Ага Нияз вел себя как-то неестественно строго и придирчиво. Поэтому Сапар Мередович счел за благо промолчать.

Ага Нияз гневно кричал на чабана, называя его обманщиком и нарушителем закона, обвинял его в хищническом истреблении джейранов и угрожал передать дело в суд, если чабан не уплатит штрафа. Он совал ему под нос только что нацарапанный акт и требовал, чтобы старик подлисал бумагу. Старый чабан растерялся от этих угроз и криков. Он твердил одно: «Я не знаю, начальник»,— и бормотал что-то насчет сына, который приехал к нему на летнее время из аула, хорошо умеет читать и, может быть, поймет, что написано в бумаге. Он стал подталкивать вперед мальчишку, но тот заплакал, уткнувшись лицом в отцовский халат.

Хангельдыев молча наблюдал за этой сценой.

И вдруг глаза старика загорелись, и он закричал неожиданно высоким, бабьим голосом, обращаясь к Сапару Мередовичу и почему-то ища у него сочувствия:

— Скажи, человек, правильно так: чабан не охотился — и чабан штраф плати, а начальник из города придет, настроляет полный грузовик — и штрафа не боится. В пустыне закона нет, что ли?

— Кто, кто стрелял? Кто? — скороговоркой выпалпал Ага Нияз.

— Зачем обманывать, скажи? Чабан совсем глупый, не понимает, что ли? — кричал старик, протягивая к Сапару Мередовичу худую руку со сжатыми пальцами и отчаянно трясая ею. — Пускай начальник штраф платит, а я ничего не буду платить! Я в город пойду. Ключ Амапычу буду жаловаться! У меня сын в школе учится, тоже может бумагу написать...

Сапар Мередович туго и холодно смотрел на раскричавшегося старика, обдумывая, как бы поскорее избавиться от этого ненужного разговора. Но тут спокойно заговорил Хангельдыев:

— Помолчи, отец. Если ты не охотился, никто тебя не заставит платить штраф. Сейчас посмотрим, кто его подстрелил. — Хангельдыев подошел к убитому джейрану, но, прежде чем нагнуться к нему, сказал, глядя на чабана с улыбкой: — А насчет закона ты не волнуйся, отец. Я тебе обещаю, что никакой начальник и никакой чабан больше не смогут охотиться безнаказанно.

Став на одно колено, Хангельдыев припался изучать перебитую ногу джейрана, а Сапар Мередович решил, что сейчас самое время уйти, не прощаясь.

— Черт знает!.. Безобразие... — сердито пробормотал Сапар Мередович, хотя пепоятно было: па что он мог рассердиться. Он вышел из дома и быстрым шагом направился к машине. Реджеп спал, положив голову на руки, а руками обняв руль.

— Дома будешь спать, — встряхнул его Сапар Мередович. — Поехали!

Не успел «газпк» тронуться, как из дома выбежал Ага Нияз и торопливо подскочил к кабине. Взгляд его скользил по груде убитых джейранов, чуть прикрытых брезентом. Нагнувшись к уху Сапара Мередовича, он зашептал:

— Сапар Мередович, хотел тебя попросить... Нет ли в городе какой работы для меня? Я ведь теперь не инспектор.

Сапар Мередович смотрел на него, ничего не понимая.

— С первого числа... Это я сейчас нового инспектора вожу, знакомя... Очень тебя прошу...

— Да? — Сапар Мередович помолчал. — А новый кто такой?

— Да вот... этот,— Ага Нияз кисло скривил губы.— С дипломом. А я думаю: рука у него в Ашхабаде.

Сапар Мередович только теперь заметил, как Ага Нияз сдал, осунулся, глаза его, воспаленные от долгой жизни в песках и пристрастия к спиртному, болезненно помутнели. Сапар Мередович почувствовал нечто вроде сожаления к Ага Ниязу, но в действительности это была инстинктивная, мгновенная жалость к самому себе. Он рассеянно обещал посодействовать насчет работы.

Машина поехала, и колодец Кзыл-Кятта открылся за облаком густой пыли. Сапар Мередович обдумывал новост.

I

В один из апрельских дней со станции К. выехал легковой автомобильчик ГАЗ-67, а попросту «козел», взяв направление на север, в глубь пустыни. В машине, кроме шофера, ехали доктор Ляхов, возвращавшийся в свою экспедицию после двухнедельной отлучки, и московский студент-энтомолог Бочарников, который по болезни отстал от своих в К., и, случайно познакомившись с доктором, попросился в попутчики — их экспедиции оказались соседями.

На полдороге между колодцами Чотур и Керпели машину захватил дождь. Было три часа дня, но сразу стемнело, как в сумерках. Сильный восточный ветер, дувший уже вторые сутки, бросал в кабину волны холодных дождевых капель, и Ляхов, который сидел рядом с шофером и оказался, таким образом, на наветренной стороне, очень скоро и основательно вымок.

— И это называется пустыня... Безводье, пекло, черт побери... — ворчал Ляхов, кутаясь в коротенький летний плащ. — Какого дьявола вы сняли боковины? Я же предупреждал вас, что снимать боковины рано. Считаете себя старожиллом и вечно попадаете виросак со своими прогнозами.

Это замечание относилось к шоферу Мите, с которым у Ляхова произошел крупный спор в К. из-за брезентовых боковин на машине. Митя предсказывал наступление и ближайшие дни настоящей каракумской жары, когда в закрытой машине невозможно будет проехать и километра и в конце концов настоял на своем и снял боковины.

Борис Иванович Ляхов, худощавый, начинающий лысеть кудрявый блондин с узким и черным, красноватым от загара лицом, казался старше своих тридцати лет. Он работал в Туркмении всего лишь второй год, но любил изображать из себя бывалого каракумца, щеголял местными словечками и усвоил манеру со всеми и обо всем раз

говаривать ворчливо-поучительным тоном. Ему казалось, что такой тон придает солидности.

— Я ведь предупреждал, что этот ветер кончится плохо. Всегда надо слушаться, когда говорят,— бубнил он, уткнувшись носом в сырой воротник плаща.— Целепо, что я был прав и я же первый мокну, как цудик...

— Садитесь за баранку, Борис Иванович. Хотите?

— Ладно уж, езжайте, не отвлекайтесь!

— Я не отвлекаюсь...

— И не спорьте никогда, если не знаете.

— А я и не спую.

— Нынешняя весна в самом деле поразительна обилием влаги! — раздался с заднего сиденья топкий голос Бочарникова. Студент умиротворял споры Ляхова и Мити тем, что переводил их из житейской плоскости в научную.

— По старому восточному летосчислению, существуют «год барана», «год змеи», «год коня» и так далее, всего двенадцать лет. Нынешний год считается «годом рыбы» и должен быть, следовательно, очень дождлив. Так оно и есть, как видите.

— Мне от этого не легче,— пробормотал Ляхов и, помолчав, добавил угрюмо: — Я не рыба.

Студент, толстый, румяный юпоща в лыжном костюме бордового цвета, чем-то смутно раздражал Ляхова. Может быть, своим всезнайством, своей академической деликатностью, от которой Ляхов давно отвык, или тем, что он все время делал какие-то записи в тетрадке и обнаруживал радостный интерес ко всему окружающему, в то время как Ляхову было лень даже просто смотреть по сторонам. Еще в первый день знакомства Ляхов решил, что эпитомолог ограничен и недалек, как многие «заучившиеся» молодые люди. Он говорил только о своей профессии и выражался таким напыщенным языком, что Ляхов не мог слушать его без улыбки.

— Небезызвестный Мальниги,— говорил он, папример, с важным видом,— сказал однажды крылатую фразу: «Нет такого растения, нет такого органа на растении, который не был бы способен к восприятию галла...»

Он занимался изучением галлов, страшных бородавок на растениях, создаваемых насекомыми, и был убежден в том, что история этих бородавок представляет волнующий интерес для всего человечества. Словом, Ляхову попался на редкость скучный попутчик. Полчаса они вяло

беседовали, затем Ляхов начал вздыхать, зевать и наконец решительно замолчал.

Сумеречное небо и бурые от влаги барханы, однообразно убегающие в обе стороны до горизонта, запах бензина, тряска — все это нагоняло сон, и Ляхов действительно вскоре услышал за спиной похрапывание студента. Он и сам бы мог подремать, если б не холод. Внутри кабины нахлестало воды, и на полу образовалась лужа, поэтому Ляхов сидел в неудобной позе, сгорбившись и упираясь приподнятыми и согнутыми в коленях ногами в стенку кабины. Когда машину встряхивало на ухабе, ноги его соскальзывали и падали в мокрое, и Ляхов брезгливо чертыхался. «Как приедем на место, что-нибудь приму. Водки выпить, что ли, — подумал Ляхов. — Еще пневмонию тут заработаешь».

Мысль о пневмонии напомнила ему о том, что из Ашхабада до сих пор не прислали обещанной партии пенициллина, а железнодорожная К-ская поликлиника делится медикаментами очень скупно, каждую мелочь приходится выпрашивать слезно или со скандалами. Этим выпрашиванием он и занимался все дни своей командировки.

Доктор вспомнил о том, как он приехал в Туркмению, ехал без радости, по воле «распределения», но все же с некоторой надеждой. Он надеялся заняться какой-нибудь областью эпидемиологии, пописывать статьи в «Медицинский журнал» (это звучит солидно: «Д-р Ляхов, Кара-Кумы») и готовить потихоньку диссертацию. Однако бесконечные разъезды, вакцинации, тысячи административных забот так утомляли доктора, что ни на какую научную деятельность не оставалось ни сил, ни времени. И сама жизнь в пустыне оказалась тяжелее, чем он думал. До сих пор большая часть его душевных сил уходила на то, чтобы ежедневно, ежечасно примириться с пустыней, с ее убогим бытом, неустроенностью, одиночеством.

В Туркмению Ляхов приехал с молодой женой. Она была пианисткой, не бог весть какой, довольно слабенькой пианисткой, но она окончила училище в Москве и намеревалась преподавать. Однако в поселке, где они жили, музыкальной школы не было, а перевестись в Небит-Даг или Красноводск Ляхов не мог. Вероника плохо переносила жару и отсутствие овощей. Ляхову что? Он мог жить на одних консервах и луке. Луку здесь было вдоволь. Но Вероника страдала без картошки (картошку привозили армяне из Баку морским путем, и она была очень дорогая

на рынке), и без музыки, и без речки, и, главное, без дела. И вообще она переоценивала себя, когда согласилась отправиться с мужем в пустыню. Полгода назад Вероника уехала в Москву к родителям, и это было похоже на разрыв...

— Вот и шор Керпели,— произнес после долгого молчания Митя.

Машина выбежала на широкое гладкое пространство, похожее на дно обмелевшего озера,— это был солончак, по-местному «шор».

Справа и слева возвышались высокие песчаные гряды. Почва шора была странного розового цвета, окрашенная выходами солей. Эта розовая земля тянулась впереди до самого горизонта, постепенно теряя свой цвет и сливаясь вдаль со мглистым сереющим небом.

Через полчаса «газик» остановился возле двух низеньких глиобитных домиков с плоскими крышами. Керпели — обычный пустынный колодец. Все голо вокруг, растительность выбита скотом, который сгоняют сюда на водопой. Домики возле колодца — это своеобразная гостилица пустыни, где ночуют пастухи и путешественники, и под ветхой крышей всегда можно найти кизячное топливо, клочки старых газет, завалившиеся в мусоре кусочки сахара и одного-двух скорпиончиков, прилепившихся к притолоке.

Сейчас в домиках никого, по-видимому, не было, зато метрах в ста от колодца белело несколько палаток. Грузовик с брезентовым пологом мок под дождем, обмытые крылья его поблескивали. В кабине, обляв руль, спал шофер.

— Мелиораторы с Дарганжика,— сказал Митя и заглянул в кабину.— Хотя парень какой-то незнакомый...

На шум мотора из палаток вышли двое: один — приземистый, бритоголовый, с круглым, опухшим, как бы мешковатым лицом, на котором терялись узкие глазки, узкогубый рот, нос пуговкой и сразу заметны были лишь оттопыренные уши, придававшие лицу выражение пасторскости, и другой — худощавый рябой старичок в очках с железной оправой. Человек с оттопыренными ушами оказался начальником мелиоративной партии Петуховым.

— Куда путь держите, дорогие гости? — вежливо спросил он, когда приехавшие вошли в палатку и, сняв с себя мокрые плащи и телогрейки, уселись по-туркменски

на кошмы. В палатке сидел еще третий мужчина, смуглый мрачноватый туркмен, и листал какие-то бумаги при свете керосиновой лампы.

Ляхов сказал, что они едут на Ясхан и рассчитывают приехать на место завтра в полдень.

— Боюсь, что не попадете, — сказал Петухов. — Дорога — гроб. Денек обождать надо.

— Нет, нет! — воскликнул Ляхов. — Это невозможно! Я должен быть именно завтра, и не позже.

— У меня, товарищ, у самого машина стоит за продуктами ехать, и вот не решаюсь. Теперь шор непроезжий, чистое болото.

— Но мы ведь как-то к вам проехали? — сказал студент, вопросительно улыбаясь и мигая красными заспанными глазами.

— Сегодня, товарищ, одно дело, а завтра — совсем другое. К завтраму окончательно развезет. Да вам еще Узбой переезжать, а в Узбое вода. Конечно, дело хозяйское. — Петухов пожал плечами. — Я только предупреждаю по-товарищески.

Ляхов вскочил на ноги, отвернул полог палатки, выставил зачем-то руку под дождь и снова сел на кошму.

— Ну, что будем делать, Митя?

Митя, несмотря на свою молодость, считался одним из лучших каракумских шоферов-следоытов. Он был местный уроженец, бахардевский, и в армии служил здесь же, на иранской границе, и по-туркменски говорил так же хорошо, как по-русски.

Митя поднес ко рту костлявый кулак, кашлянул солидно и сказал:

— Я думаю, Борис Иванович, в Керпелях все одно ночевать придется. А завтра поглядим.

II

Бочарников ушел спать в соседнюю палатку, а Митя шепнул Ляхову, что у него есть тут знакомая повариха, и тоже исчез.

В палатке было зябко, накурено, чадила лампа, подвешенная на проволоке к потолку, и пахло сладким керосиновым дымом и сырой обувью. Дробно, разгонисто стучало по брезенту дождь. Вошла женщина в ватнике, в сером

платке, скрывавшем лицо так, что виден был лишь острый нос и некрасиво поджатые обветренные губы. Очевидно, это была повариха, и к тому же сердитая. Она поставила на кошму чайник и молча вышла. Петухов принялся разливать кипяток в пиалы. Все придвинулись к чайнику: Петухов, старичок в очках, Ляхов и туркмен, отложивший свои бумаги в сторону.

— Она и ничего! — проговорил старичок, улыбаясь и потирая руки. На руках у него были надеты старые, засаленные перчатки с дырявыми пальцами. — Как туркменцы говорят: пиала выпьешь — два часа думать будешь, еще пиала выпьешь — еще два часа думать будешь.

Некоторое время все молчали, и только слышно было, как шумно, с прихлебыванием пьется чай и хрустит сахар. Потом Петухов спросил:

— А вы, товарищ, кто будете?

— Я врач, — сказал Ляхов.

Снова молчание. Старичок снял очки, запотевшие от чайного пара, протер их полой парусиновой куртки, надетой поверх ватника, и сказал, продолжая улыбаться:

— У нас, слава богу, все здоровеньки.

— Не жалуемся, — сказал Петухов. — Народ подобрался исключительно здоровый.

— Что ж, прекрасно, — сказал Ляхов.

Мрачноватый туркмен вновь взялся листать бумаги. По-видимому, он был начальством, потому что и Петухов и старичок обращались к нему почтительно, в каждой фразе именуя его по имени-отчеству — Караш Алиевич.

Они говорили о каком-то геодезисте Савченко, который задержался в поле и без которого Карашу Алиевичу было трудно разобраться в делах. Ляхов понял, что Караш Алиевич был здесь в качестве ревизора или, может быть, в качестве третейского судьи и сейчас выражал недовольство отсутствием геодезиста.

— Когда Савченко должен был вернуться? — спросил туркмен.

— Сегодня утром ждали, — сказал Петухов. — Он на дальнем ключе работает, километров пятнадцать отсюда.

— Почему машину за ним не послали?

— Никак нельзя, Караш Алиевич, — вздохнул Петухов. — Через шор машину пускать нельзя, не имею права рисковать. Вот какое дело-то...

— Ждать надо, — сказал старичок.

После минутного молчания Петухов заговорил негромко и осторожно:

— Вы говорите: он спальный геодезист. Согласен, сильный. Пусть работает в другой партии, я ведь не возражаю...

— Надоело, Караш Алпевич! Окончательно надоело наблюдать его нетактичное поведение! — запальчиво и тоже вполголоса проговорил старичок. — Сил нет! Он всех шельмует, всех грязью обливает, а сам семейственность развел, и ты ему слова не скажи...

— Какую семейственность?

— А как же! Женился на Зарковской, нашем геоботанике. Еще осенью расписался, в Небит-Даге.

Караш Алпевич усмехнулся вскользь:

— Ну, это называется не семейственность развел, а семью завел...

Мелиораторы разговаривали между собой, не обращая на Ляхова никакого внимания. Потом старичок, придвинувшись к нему, сообщил доверительно:

— Это у нас тип один проявился, очень неприятный. Вот и разбираем по-товарищески, вы уж извините!

— Пожалуйста, пожалуйста! — кивнул Ляхов. — Разбирайте. Я спать лягу.

Он вышел из палатки, чтобы взять спальный мешок и свой докторский чемоданчик из машины. На воле было совсем темно, дождь ллел по-прежнему. Из дальней, пвидимой в сумерках палатки доносился невнятный говор и пликаше тюйдука — туркменской дудочки. «Какое одиночество! — вдруг подумал Ляхов, остановившись под дождем и оглядываясь с чувством внезапной, необъяснимой тревоги. — Ведь эта тьма, безмолвие на сотни верст вокруг и ни одного звука, кроме шума дождя и этой унылой дудки...»

Он поспешно вернулся в палатку, расстелил мешок на брезентовом полу, снял намокшие башмаки и, не раздеваясь дальше, залез в свою тесную дорожную постель. Как всегда в таких поездках, он страдал от чувства физического неудобства и нечистоты и, чтобы избавиться от этого чувства, старался поскорее заснуть. Но сделать это было нелегко. Мелиораторы возбужденно разговаривали о делах, потом в палатку пришла худенькая молодая женщина с длинным восточным носом и, сильно жестикулируя, очень гордо и зло пачала ругать Петухова за то, что он не послал куда-то машину. Петухов оправдывался, старичок в чем-то обвинял женщину, а Караш Алпевич пытался всех

успокоить и примирить, по его никто не слушал. Потом женщина неожиданно исчезла, а мелиораторы продолжали жужжать...

Ляхов не слушал их, думая о своем.

Он думал о том, что уже скоро месяц, как от Вероники нет писем. Ах, не надо было привозить ее сюда! Первый раз она уехала, когда началась летняя жара, второй раз — зимой, когда разыгрались бураны, ухудшилось снабжение и вообще ей стало тоскливо в этом милом городишке, где имелось только три развлечения: чайхана, баня и железнодорожный клуб. И третий раз она уехала осенью, и, по-видимому, навсегда. Что ж, у других это выясняется десятилетием, а ему повезло — чем раньше, тем безболезненней. Ему замечательно повезло, если подумать трезво...

Но Ляхов не мог заставить себя думать трезво. Он ворочался с боку на бок, насколько это позволял мешок, пахнущий дезинфекцией, потом выкурил несколько папирсов, чтобы успокоиться, и понемногу задремал.

Среди ночи его разбудили громкие голоса. В палатке появился кто-то новый, большой, в громоздком плаще и грязных сырых сапогах. Лица его Ляхов не видел. Человек был очень высок и стоял горбясь, так что голос его глухо уходил в землю.

Мелиораторы говорили все вместе, и понять их было трудно. Пронзительно и остро звучал голос женщины с длинным восточным носом; она цеплялась за рукав громоздкого плаща и тянула его к выходу. А плащ отмахивался, из брезентовых педер его гудел голос:

— Я пустыни не боюсь... Меня никакая хворь не берет...

— Спать идите, отдыхайте, товарищ Савченко, — говорил Караш Алиевич.

— Я только сусликов ненавижу и разных гадов ползучих...

— Вы конкретно говорите! — выкрикивал из угла старичок.

— Вася, завтра! Завтра, я тебя прошу! — умоляла женщина. — Двадцать километров отагал, ведь ты сумасшедший.

— Они чего хотят, суслики? — гудел плащ. — Чтоб я в другую партию ушел, или вовсе из экспедиции, или как-нибудь иначе рот мне заткнуть. Потому я их насквозь

понял и каждую их махинацию вижу. Я их на мелкую воду выведу...

Голос Савченко звучал тяжело и глухо, точно бубен, и Ляхову представлялось, что лицо человека с таким голосом должно быть угрюмым, серым, с каменными скулами. Но когда Савченко повернулся, Ляхов увидел совсем незлое лицо молодого парня, очень светлые и нагловатые глаза, мягкий мальчишеский рот.

Смешно вел себя старичок в железных очках. Он больше всех нервничал, — то подымался с кошмы, то вставал на колени, то садился, и непрерывно с возмущением качал головой, вздыхал и охал вполголоса: «Ой нахал, ой нахал...» Петухов сидел неподвижно, засунув руки в карманы ватных брюк, и исподлобья следил за Савченко. Тот вдруг начал кашлять и кашлял долго, усердно, и когда он утих, наступила пауза. Ляхов чиркнул спичкой, закуривая.

— Какой же вы человек грубый, ай, боже мой! — сказал старичок шепотом. — Видите, чужой человек отдыхает, а вы шум подняли, безобразие...

— Правду говорю, чего стесняться, — хрипло сказал Савченко. — Люди душу кладут, пшачат, как дьяволы, а сусликам что? Суслики только рубли грызут. Рубль в пустыне длинвый. И за дальность, и за климат, и полевые — ишь рублище какой!

— За слова ответите, ответите за слова, — торопливо проговорил Петухов, делая рукой успокоительный жест. — Люди разберутся. Все ваши чудеса палицо: и хулиганство, и пьянство, и семейственность ваша прелестная...

— Ты жену не трогай, — тихо сказал Савченко. — Татьяна тебе худого слова не сказала. Она в стороне, и ее не трогай, понял?

— А все равно не имеее права. Оттого все склоки и есть, что семейственность. Да, да! — запальчиво затараторил старичок. — Потому она хоть молчком-молчком, а всегда мужа поддержит. И муж то же самое. Вы, к примеру, со мной в поле не ходите, чтоб меня уязвить, и планшеты свои уклоняетесь мне показывать, а ей — всегда пожалуйста. Это как называть?

Разговор затягивался и принимал тот бессмысленный и тоскливый характер, какой возникает, когда сталкиваются давние, зачерствевшие в своей вражде и непримиримые противники. Ляхов наблюдал за бровями Караша Алиевича: они то всползали высоко на лоб, то медленно опуска-

лись, то начинали вдруг трепетать, как будто охваченные волнением. Это было забавно — смотреть только на брови...

Наконец женщина ушла, и за ней ушел Савченко.

Оставшиеся продолжали разговор, понизив голоса. Петухов достал бутылку водки, разлил в те же пиалки, из которых пили чай.

— Ах, боже мой! Перед чужими людьми за такого арапа стыдно, — громко, чтобы услышал Ляхов, сказал старичок и зацокал языком.

Ляхов повернулся к стене. Его начал одолевать сон. «Странные люди, — думал он в полудремоте. — Вокруг пустыня, мрак, безлюдье на сотни верст, а они ругаются, интригуют, точно в коммунальной квартире. Зачем? Люди не должны жить в разлуках. Это ужасно, когда нет писем. Так можно бог знает до чего дойти...»

III

Когда Ляхов утром проснулся, дождя уже не было. Теплый туман стоял над барханами. Небо оставалось облачным, без солнца, но за этой ровной и белой, как пар, завесой облаков уже чувствовалась незримая пока голубизна. Митя сказал, что к полудню небо очистится и станет жарко. Воодушевленный улучшением погоды, Ляхов собрался ехать тотчас после завтрака, но Петухов несколько охладил его пыл.

— Советую денек у нас перебыть, пока подсохнет. Сядете в Узбое, кто вытаскивать будет?

— Нет, не могу. Я и так опаздываю, — сказал Ляхов, помедлив. — Наш водитель знает окружной путь. Верно, Митрий?

— Найдем, Борис Иванович! Как пташки долетим. В то лето я здесь профессора Редькина возил. Только вот чего... — Митя позизил голос и повернулся к Ляхову, хотя вопрос его должен был относиться к Петухову и Петухов стоял рядом. — Нам бы, Борис Иванович, литриков тридцать бензинчику призанять, тогда, аллах с ним, можно и кружным попытать.

— Вы нам одолжите, товарищ Петухов? — строго спросил Ляхов.

— Рад бы! — Петухов развел руками. — Сам сижу на мели. Я же говорил: в К. надо посылать за горючим. С удовольствием бы...

— Я вам папшу расписку, в любое время получите на нашей базе. А? Ведь тридцать литров — пустяк,— продолжал Ляхов настойчиво.— Мы в пустыне, товарищ Петухов, учтите этот момент.

— Да что ж, я не понимаю? Ясно...

Петухов сморщил лицо, точно от кислого, и с ожесточением заскреб затылок. В другое время он, не колеблясь, сразу бы отказал в просьбе, тем более что у него действительно было худо с бензином, но сейчас он колебался, потому что ему не хотелось перед доктором, который слышал неприятный для Петухова почной разговор, выглядеть скверным, скупым человеком. И все же он вздохнул с решимостью и сказал:

— Нет, товарищ. К сожалению, даже пяти литров вам не дам. Не смею права. Представьте, сегодня опять полет, значит, я и завтра через шор не проеду. А бензин я жгу, каждый день людей в поле отправляю. Что же я им скажу, если послезавтра ни бензина, ни хлеба не окажется?

— Доезжайте до Куртыша, там геофизики стоят. У них бензину залейся,— посоветовал Караш Алиевич.— Сто километров отсюда.

— Некогда мне по пустыне ездить попрошайничать,— сказал Ляхов сердито.— Ладно, обойдемся. Но вы, товарищ Петухов, поступаете не так, как следовало бы истинному каракумцу.

— Позвольте! Но я же объясняю, товарищ...— забормотал Петухов, и оттопыренные уши его налились краской.— Я же с радостью... Не имею права, абсолютно не имею. Я вам предлагаю: оставайтесь, будьте гостями!

— Нет! — отрезал Ляхов.— Мы едем. Благодарим за приют, и всего хорошего.

И он решительно направился к машине.

Люди петуховской партии тоже готовились к отъезду в поле. Молодые туркмены-рабочие, одетые в одинаковые казенные ватники щавелевого цвета, складывали в кузов грузовика треногу, ящик с теодолитом, ручной бур, обмотанный тряпкой, и что-то съестное в корзине, а потом полезли в кузов сами. За ними влезли старичок в железных очках, две женщины, какой-то молодой черномазый парень в спортивной куртке и последний Савченко — без шапки, взлохмаченный, бледный, но улыбающийся.

Ляхов подошел к своему «козлу». Студент уже сидел на месте, что-то жевал и тут же предложил Ляхову сахар.

— Спасибо, я не ем всухомятку,— пробормотал Ляхов хмуро. Он заметил, что студент переменял рубашку, побрился, и это почему-то ему не понравилось.

— Как спали? — спросил он, сев впереди, спиной к студенту.

— Благодарю вас. Я всегда хорошо сплю в путешествиях. Это, так сказать, счастливое свойство моего организма...

— Как спал, Митя? — спросил Ляхов тем же тоном, как бы подчеркивая, что вопрос его был обращен к другому.

— Нормально, Борис Иванович.

— Как повариха?

Митя самодовольно хмыкнул:

— Порядок...

Ляхов знал, что Митя отчаянный хвастун, и понял, что никакого «порядка» не произошло, потому что иначе Митя не ограничился бы одним словом, а завел бы туманный и многозначительный рассказ, которого хватило бы километров на десять. Начинать день с уличения Мити во лжи Ляхову не хотелось, и вообще с утра ему было лень разговаривать.

— А я спал неважно,— сказал он, зевая.— У меня в палатке черт те что, всю ночь кричали...

Машина тронулась. Впереди по раскатанной дороге ехал петуховский грузовик, потом он свернул вправо и пополз медленно и валко по барханам. Люди в кузове сидели рядком. Грузовик кренился, и они все вместе качались то в одну сторону, то в другую. Издали они производили впечатление очень дружной компании. Старичок в железных очках все время кивал доктору, как будто прощался со старым знакомым, и помахивал рукой в перчатке. Вскоре и грузовик и домики колодца исчезли из виду.

День постепенно светлел. После дождя ехать было легко, сыроватая колея пружинила, и Митя все время поддавал газку. Студент кончил грызть свои сухари. Ляхов слышал, как он тщательно вытер рот бумагой, потом скомкал ее и выбросил.

— Так-с...— студент вздохнул.— О чем же, интересно, кричали в вашей палатке?

Ляхов ответил не сразу.

— Не знаю. Меня это мало интересовало.

— У них тут вообще склоки громадные,— сказал Ми-

тя. — Народ капризный попался, вот и бунтуют один с другим.

— А без этого скучно. Все-таки развлечение — поругаться, подражаться, рапорт на кого написать. Верно, Митя? — сказал Ляхов насмешливо.

Митя пожал плечами.

— Кто его знает? Мне ни к чему, Борис Иванович...

После паузы студент заговорил с неожиданной серьезностью:

— Странное дело! Ведь вся соль комплексных экспедиций, подобных этой мелиоративной, состоит в том, что изыскатели выходят в поле вместе. Геодезист, почвовед, геоботаник, мелиоратор — все вместе, комплексом. Но если почвовед дуется на геоботаника, а геодезист не показывает своих планшетов почвоведу, и каждый работает сам для себя, тогда что ж получается? Чепуха какая-то!

— У них начальник хитрован большой. Петухов самый. У, хитрован! — сказал Митя. — Из-за него вся склока идет. Такой хитрован — дай боже.

— Да ты-то, Митя, откуда знаешь? — спросил Ляхов.

— Знаю я. У него шофер работал Кульмамед, так он его осенью уволил, а он мой корешок, бахарденский. Он мне и рассказывал. Как вышло-то? Они тогда возле Кум-Дага стояли. Там место живое, не то что здесь, глухота. Там и вышки, и рабочих-нефтяников много, и шоссе на Небит-Даг. Кульмамед часто в Небит-Даг ездил. Ну и подвозил, конечно, то рабочих, то туркмен на рынок, то еще кого. Левачка, одним словом. Ну, а тот стал с него требовать. И не как-нибудь, а прямо за горлец прихватил, — и Митя для наглядности взял себя за кадык двумя пальцами. — Как езду сделал, так полтинник отдай.

— Почему полтинник? — спросил студент удивленно.

— Пятьдесят рублей, одним словом. Кульмамед сперва давал, а потом — всё. Тем более и выручки не стало, четвертак в день от силы. Кому же интересно? Ну, и он его уволил. Придрался к чему-то и уволил. Он его, кощепло боялся, потому что он его все дела знал.

Ляхов, усмехнувшись, передразнил:

— Он ему, он его... Рассказывать ты, Митя, мастер.

— Нет, Борис Иванович, верно: хитрован жуткий. У него вообще шофера не держатся. Сейчас, гляжу, опять парень новый.

— Черт знает что! — с возмущением произнес студент и слышно было, как он заерзал на сиденье. — Почему же

ваш Кульмамед не заявил об этом куда следует? Ведь такого жулика в тюрьму надо!

— Это понятно, почему не заявил,— сказал Ляхов.

— А потом другое: поди докажи,— сказал Митя и, поджав губы, сделал выразительное движение шеей, обозначающее: вот ведь что, никак пельзля.

Однако студент не унимался.

— Нет, товарищи, это безобразие! — говорил он с горячностью.— Научную работу возглавляет какой-то случайный малограмотный тип и к тому же — жулик! Я встретил здесь знакомую по университету, Таню Зарковскую, она сейчас Савченко по мужу. Она уговаривает мужа перевестись в другую партию, потому что нет возможности серьезно работать. Петухов подобрал себе подходящую компанию: почвовед-старикашка — полный профан...

— Ох, он комичный, старикашка этот! — сказал Митя, засмеявшись.— Ему бы кладовщиком где или в канцелярии по-тихому, а он в пустыню погнался. Жадный, дьявол. Я спрашиваю: «Не тяжело, говорю в ваши годы песочки мерить?» — «Ничего, говорит, приспособился. Одно, говорит, плохо — женскому полу недостаток». Комичный!

Студент и Митя носили Петухова, а заодно и старикашку в два голоса, и Ляхов в душе соглашался с ними, но ему неприятно было, что он не сумел раскусить Петухова так быстро, как они, и теперь вынужден молча слушать и выглядеть человеком недалеким и отнюдь не психологом. Поэтому, воспользовавшись паузой, он проговорил с нарочитой небрежностью:

— Некрасиво, товарищи! Он вас приютил, ночевать оставил, а вы его так поливаете. Неэтично, я бы сказал.

— Меня не он приютил,— резко ответил студент,— я у практикантов ночевал. А сегодня утром я прямо сказал Петухову: я, говорю, возмущен вашим бесчеловечным поступком с Савченко. Ведь он парочко не послал за ним машины, чтобы Савченко не встретился с этим туркменом из штаба!

— Вы думаете, вы его панугали? — иронически спросил Ляхов.

— Что? Я не собирался его пугать, я сказал то, что думаю.

— Ну, а какой толк? Что-нибудь изменится?

Наступило минутное молчание. Студент как будто рас-

терялся, а когда он заговорил, голос его звучал негромко и примирительно:

— Да, мы боремся не только с пустыней, но и с людьми вроде Петухова, с карьеристами, рвачами, которые приехали сюда за паживой. Это гораздо труднее. И я, может быть, не гожусь для этой борьбы. Но Савченко годится. И рано или поздно он выворотит этого проходимца, как глилой пень, вот увидите.

Ляхову вспомнились светлые, абсолютно бесстрашные и пагловатые глаза Савченко, его упорно гудящий голос и сырой землистый запах дождя, который исходил от его плаща и сапог. Ему хотелось бы возразить студенту, но он чувствовал, что студент прав, а он, Ляхов, оказался невнимательным и равнодушным зрителем. Он ничего не ответил и стал думать о лагере, о делах, которые ждали его на медпункте, и эти мысли свергли его в состояние привычной полутревожной озабоченности. Поглядывая на часы, он торопил Митю: к вечеру надо было прибыть в Ясхан.

Митя вдруг сказал:

— А я у них одной баночкой все же разжился, литриков десять.

— Как разжился? — спросил Ляхов.

— Да у шофера попросил по-свойски, пока вы Петухову мораль читали. Парень хороший попался, не то что этот жмот, начальник.

— Это неплохо, Митя, что вы взяли бензин, — помолчав, сказал Ляхов. — Но, я думаю, Петухов вовсе не жмот. У него есть другие недостатки, но он не жмот. В другое время он дал бы мне и сто литров, я уверен в этом.

Он нарочно произнес последнюю фразу с особенным ударением. Ему хотелось дать понять Мите и, главное, сидевшему сзади студенту, что нельзя так грубо и односторонне по первому впечатлению судить о людях, и что он, Ляхов, все-таки больший психолог, чем они. Однако студент никак не отозвался на тонкую диверсию Ляхова, а Митя проговорил с неожиданной злобой:

— Тридцать литров пожалел, зараза! Разве начальник шофера понимает? Ему ведь не сидеть где-нибудь на такыре или на шоре без бензина. Он в палатке сидит. А шофер — загорай себе с пустым баком как знаешь. Шофер конечно, всегда шофера поймет.

— Ну не болтайте, пожалуйста, глупостей, — сказал Ляхов, хмурясь. — Взял бензин, и хорошо. А болтать нечего...

— А чего болтать-то? Жмот он, жмот и есть.

— Ну хорошо! Вас ведь не переспоришь.

— Я не спорю, я правильно говорю...

Развлекаясь такой беседой, они продолжали быстро двигаться к западу. К середине дня небо очистилось, и полдненное солнце принялось за свою работу. Стало жарко. Все сияли с себя сначала плащи, потом телогрейки и остались наконец в одних рубашках.

Барханы быстро высыхали. Темный, грязно-бурый цвет, который они принимали под дождем, сменился яично-желтым. Пустыня обретала привычные краски: солнечная охра песков и пылающая синька неба. Распрямились прибитые дождем травы, и сразу стало заметно, как много в весенней пустыне цветов: пурпурные пятна маков, сиреневые гроздья кзыл-казалька, скромные желтенькие цветочки, похожие на лютик, — поля, поля эфемеров. В низинах, на солончепеке, багрово краснел сочный ремень, расластанный на плоских и широких, как у доуха, маковых листьях.

И с приходом солнца сразу оживилась вся жизнь в песках. То и дело, испуганные шумом мотора, выскакивали из своих норок суслики и песчанки, обалдело мчались перед машиной, вихляясь то вправо, то влево, и вдруг бесследно проваливались под землю. На голом песке зачертили пунктирчики крохотные ящерицы, тоненькие, как сички, а ящерицы побольше осмеливались даже наблюдать за людьми, застыв в боевой позе с закрученным вверх хвостом. Порхали трясогузки в траве, и вдаль от дороги на гребне бархана возвышался изваянием черный степной орел, — он совсем был бы похож на камень, если бы не маленькая голова, которая чуть приметно, с надменной онасливостью поворачивалась вслед машине.

Теперь часто останавливались: мотор перегревался на солнце, и его следовало охлаждать время от времени. Все выходили из машины, наслаждаясь внезапной тишиной. Слышно было лишь, как шумит вода в радиаторе да пошвыстывают птицы. И вдруг чувствовалось, как знойно в воздухе.

Во время одной из таких остановок решили съездать привал и пообедать. Митя расстелил на бугорке свой плащ клетчатой подкладкой наружу, выложил завернутый в газету хлеб, банку крабов, несколько луковиц и два огромных малосолевых огурца, величиной с небольшие кабачки. Доктор поставил фляжку с водкой.

Пока Митя, орудуя складным ножом, готовил закуску, студент предложил доктору сфотографироваться. Тот встал на барханчик, и, насупившись, уставился в объектив.

— Чудесный фон — весенняя пустыня! — говорил студент, оглядываясь вокруг с блаженной улыбкой. — И не верится, что вся эта зелень сгорит через месяц дотла. Вы чувствуете, как пахнет цветущий астрагал?

Ляхов потянул носом, но не услышал ничего, кроме душного запаха полыни.

— Слегка напоминает ландыш. Очень топкий запах, — сказал студент. — Вообще растения здесь пахнут еле слышно, большинство людей не слышит этих запахов.

Во время еды Митя принялся расспрашивать студента о змеях, фалангах и скорпионах, чьи укусы вреднее и как их надо лечить, на что тот отвечал охотно и очень обстоятельно.

— Словом, я никогда не слышал достоверного факта смерти от укуса фаланги или скорпиона, — заключил он неожиданно.

Это заявление показалось Ляхову обидным, так же как и то уважительное внимание, с каким Митя слушал студента.

— То, что вы не слышали, еще ни о чем не говорит, — сказал он. — Вы здесь без году педеля, а я знаю десятки случаев.

— Сомневаюсь, — сказал студент, улыбаясь.

— Мало что вы сомневаетесь! — вспыхнул Ляхов. — Вы знаете пустыню по книжкам, а я тут живу. Она у меня вот где! — он хлопнул себя по щеке. — Хорошо быть туристом и разглядывать пустыню в объектив ФЭДа, это замечательно!

Ляхов вдруг отчетливо почувствовал происхождение своей неприязни к студенту: его мучила зависть. Он завидовал спокойствию, благовоспитанности, нежному юношескому румянцу этого молодого человека, но, главное, он завидовал тому, что студент был свободен и в любое время мог уехать в Ашхабад, а через сутки оказаться в Москве, на Внуковском аэродроме. Желая еще чем-то уколоть студента и вызвать к нему Митино пренебрежение, он сказал насмешливо:

— Какой же вы путешественник, дорогой мой, если водку пить не умеете?

— Я умею, — сказал студент. — Только не получаю от нее удовольствия.

— Это значит — счастливый человек, — сказал Митя, вздохнув. — Лучше нет если ей не пить, проклятой...

Сам он уже выпил два стакачика и, часто моргая покрасневшими веками, с наслаждением хрустал огурцом. Ляхов, тоже выпивший рюмку, подлил себе еще па донышко, лихо опрокинул и закашлялся. Внезапно ему стали противны и водка, которую он не любил и всегда пил через силу, и свое нелепое, смешное бахвальство.

Стараясь не глядеть на студента и Митю, он поднялся и, продолжая кашлять, направился к машине и сел на место. Минуты через три поехали.

...И вновь побежали справа и слева пятнистые, желто-зеленые грядовые пески, зашмыгали суслики из-под колес, и так же одиноко торчал на далеком гребне степной орел — соглядатай пустыни. Солнце переместилось на левую сторону, знойная синева у горизонта полиловила. Вместе с ветром в машину влетал душный, дурманящий запах полыни, и Ляхов, сморенный этим запахом, жарой и рюмкой водки, начал дремать.

IV

Через час Митя увидел на горизонте облако пыли и быстро приближающуюся автомашину. Это был старый, помятый, серый от пыли порожний грузовик, громыхавший на ходу всеми своими цепями и разболтанными бортами. Когда он поравнялся с «козлом», обе машины, по обычаю пустыни, затормозили. Из кабины грузовика выпрыгнул маленький горбоносый шофериска в майке, взмокшей от пота.

Митя вышел ему навстречу.

— Куда едешь? — спросил шофер с восточным акцентом, глядя на Митю круглыми вороньими глазами. Он взял протянутую Митей папиросу и жадно закурил.

— На Ясхан.

— Э, далеко! Туда утром ГАЗ-63 прошел, и его встретил. Слушай, а на Куртыш-Баба я верно еду?

— Верно. Жми по моему следу до Керпелей, а там одна дорога. Куда так торопишься-то?

— Слушай, не тороплюсь я! — горбоносый шофер мах-

пул рукой п выругался первно.— Я из Баку вообще. Вербованный. Вторую педелю в песках...

— А! — сказал Митя.— Не привык, значит?

— В том и дело. Едешь, едешь всю дорогу — ни души живой, ни дерева, прямо жутко вообще...

Он опять выругался, глядя на Митю с жадной и заискивающей улыбкой, точно ожидая от него чего-то. Митя понял, что маленький шофер охватен необыкновенным страхом, и почувствовал необходимость ободрить его.

— Так... Из Баку, говоришь? Сам-то кто: азербайджанец или армянин, что ли?

— Армянин я.

— Так. Ничего, парень, привыкнешь. Это всегда поначалу,— сказал Митя покровительственно.

Горбоносый шофер пробормотал тоскливо:

— Дороги нету, едешь по следу — вот чего здесь плохо. Заблудиться легко, слушай.

— Свободная вещь,— согласился Митя.

— Потерял след — и до свиданья... Так ведь? — дрожащим голосом спросил шофер.

— Точно, точно,— закивал Митя.— Ну ладно! Будь здоров, парень. Надо ехать.

Горбоносому шоферу ужасно не хотелось прощаться. Он взял у Мити еще одну папирску. Потом отсыпал несколько спичек себе в коробок, потом стал просить «литриков хоть десять бензинчику». Митя, пожалев его, отлил ему полбанки, которую сам выклянчил в Керпелях; при этом он правоучительно говорил о том, что «шофер всегда должен шофера понимать, тем более паходящийся в данных условиях пустыни Кара-Кум». Горбоносый шофер сел в кабину с напряженным, почти отчаянным лицом, включил скорость со скрежетом и сразу дал сильный газ. Грузовик взревел, рванул, как подхлестнутый, и в одно мгновение исчез за бархапом.

«Газик» тронулся в другую сторону. Теперь ехали вдоль Узбоя. Старое русло лежало в высоких песчаных берегах, заросших поверху сухим и блеклым пустынным кустарником, черкезом и эфедрой, а полизу — тростником. Изредка попадались рошцы саксаула с корявыми и пыльными, обглоданными солнцем веточками. Дно Узбоя было залито водой, оставшейся после дождя и окрашенной в красноватый цвет.

Первый переезд через Узбой прошел благополучно:

Митя включил переднюю ось и на большой скорости, с треском ломая тростник, пробился по вязкой почве на противоположный берег. Ляхов только сопел и отплеывался, закрывая лицо от комочков грязи, которые вылетали фонтаном из-под колес.

Остался второй, наиболее опасный переезд — у колодца Декча. До него, по Митиным расчетам, было не меньше семидесяти километров.

День между тем уже склопался к вечеру. Жара спадала. Небо оставалось ясным и голубым только в зените, на востоке оно уже тусклоело, подернутое дымкой, а западный край неба золотисто светлел.

Автомобильная колея свернула в сторону от Узбоя, в пески. Эту часть дороги (тут-то и начинался кружной путь) Митя, очевидно, знал неважно. Несколько раз, когда дорога неожиданно ветвилась, он тормозил у развилки, выходил из машины и подолгу вглядывался в автомобильные следы, определяя, куда ехать.

Ляхов забеспокоился.

— Может, не туда взяли, — а, Митя? Правильно едем?

— Доедем, Борис Иванович! Как пташки долетим! — отвечал Митя с небрежной уверенностью, которая казалась доктору напускной и потому подозрительной. Он нескоса поглядывал на Митю, замечая, каким сосредоточенным сделалось его лицо, и видел, что Митя едет сейчас скорее по догадке, чем по твердому знапию.

Дорога снова разветвилась, и Митя остановил машину и выпрыгнул на землю. Студент тоже вышел из машины, сладко потянулся и сделал два приседания, разминая затекшие ноги.

— Левее надо брать, по-моему, — сказал он, зевая.

Митя не ответил. Он разглядывал дорогу, низко нагнувшись к земле, потому что уже смеркалось и стало плохо видно.

— Левее, левее. Непременно левее, — повторил студент.

— А вы-то откуда знаете? Из каких путеводителей? — спросил Ляхов из кабины.

— Я предполагаю. Все-таки я второй сезон в пустыню езжу. Правда, в этих именно местах я впервые, по у меня такое ощущение, что нам не следует удаляться от Узбоя.

Ляхов промолчал, удивленный известием о том, что студент вовсе не новичок в пустыне. Тем временем Митя нашел какой-то свежий след от грузовика ГАЗ-63 и по расположению отпечатанного на песке узора покрышек опре-

делил, что машина шла в направлении на Ясхан. Уверившись в том, что неизвестный грузовик и есть тот самый, о котором говорил горбоносый шофер, Митя решил держаться этого следа и поехал направо.

— Точно, точно! Он и есть! — приговаривал он, убеждая спутников и главным образом самого себя. — След свежий, после дождя один такой, — он и есть, больше некому.

Еще полчаса ехали песками, а затем газовский след пошел по такыру.

— А такырчик-то совсем сухой, дождя тут не было, — сказал Митя неопределенным тоном, не уточняя, хорошо это или плохо.

Однако Ляхов понял вскоре, что это плохо. На ровной и твердой, как асфальт, поверхности сухого такыра, где автомобильная колея почти незаметна, след можно было легко потерять. Ляхов, как ни вглядывался, не видел впереди ничего похожего на след автомобиля, хотя Митя уверенно гнал машину вперед.

Начало быстро темнеть, померкла светлая полоса на западе, и в синем, густеющем небе заблестали первые звезды. Ляхов и Митя давно уже надели телогрейки, а студент лыжную куртку, но все равно им было холодно и делалось все холоднее. Теперь, когда стемнело, Митя часто останавливал машину и подолгу отыскивал след, нагибаясь так низко, точно он нюхал землю. Иногда он уходил далеко и всегда возвращался бегом.

Проехали еще километров десять, но Узбоя не было и в помине. Длительное молчание нарушил Ляхов.

— Кажется, заблудились, — сказал он полувопросительно.

Митя промолчал. Он включил фары, и вокруг сразу стало черным-черно, точно в один миг наступила ночь. Ляхов закурил папиросу, потом прижег от нее вторую, как он это делал обычно, и отдал Мите.

— Мы едем по фальшивому следу, — сказал Ляхов, — и можем приехать куда угодно, в Ташауз или в Куния-Ургенч, но только не в Ясхан. — Проявляя хладнокровие, Ляхов сделал паузу, затянулся табачным дымом и продолжал: — Но, к сожалению, мы не приедем ни в Ташауз, ни в Куния-Ургенч, потому что у нас нет бензина.

— Еще не известно, — мрачно сказал Митя.

— Вам не известно, а мне известно. Как вы думаете, профессор, что нам следует делать? — обратился Ляхов к

студенту, который молча сидел сзади и что-то жевал.—
Дайте-ка мне сухарь!

— Я думаю, надо вернуться назад,— сказал студент, протягивая Ляхову кулек с сухарями.— К тому месту, где я советовал ехать влево.

— Вернуться? А ты как считаешь, Митя?

Митя не ответил. Ляхов надкусил сухарь и тут же сунул его в карман.

— Сколько мы проехали после Узбоя? — спросил Ляхов.

Митя осветил спичкой спидометр.

— Восемьдесят два.

— Ну, ясно! — Ляхов напряженно рассмеялся.— Совершенно ясно. Мы едем по фальшивому следу. Да и есть ли вообще след? Был ли мальчик? Может, мальчика и не было? Вы посмотрите внимательней: может быть, мы едем по пустому такыру. Остановите-ка, посмотрите, посмотрите!

Митя, не отвечая, продолжал гнать машину вперед.

— След есть,— сказал он после долгого молчания.

Ляхов заерзал на сиденье, как будто собираясь вспылить, но сказал с неожиданным безразличием:

— А, делайте, что хотите! Я буду спать.— И он действительно запахнулся в свой плащик и поднял воротник.— Но имейте в виду: как бы там ни было, а утром я должен быть на Ясхане. Это непременно.

«Газик» продолжал ехать, окруженный тьмой, по зыбкой, ныряющей световой дорожке, которую он сам прокладывал перед собой и которая казалась от этого еще более зыбкой, еще более призрачной. И снова Митя останавливался, выскакивал из машины, куда-то бежал, что-то выплывал и возвращался, запылавшись, и гнал дальше. Такыр кончился, опять пошли барханы, заросшие кустарником. Маленькие кустики черкеза, низкорослые саксаульчики, выхваченные из темноты фарами, были похожи на толстые комли каких-то огромных деревьев, вершины которых терялись во мраке. Казалось, что машина идет через лес.

Но это была пустыня.

И Ляхову, который вовсе не хотел, да и не мог бы заснуть, вспоминались разные неприятные истории, связанные с пустыней. Один из геологов рассказывал, как он однажды потерялся в Кызыл-Кумах, блуждал два дня. Когда дошел до людей, выпил,— клялся, что не преувеличива-

ет, — ведро воды. В прошлом году где-то севернее Бала-Ишема погибли два пижонера и шофер, тоже заблудились на машине и погибли от жажды. Самое странное было то, что в радиаторе машины, когда их нашли, оказалась вода. Почему ее не выпили — непонятно. Вероятно, надеялись, что смогут найти дорогу и доехать. Про какую-то девушку рассказывали недавно — тоже заблудилась, причем совсем близко от лагеря. Когда ее нашли, вся кожа на ее лице была в морщинах и складках, как у старушки...

От этих воспоминаний у Ляхова пересохло в горле и невольно захотелось пить. Он пытался отбросить от себя зловещие мысли. «Все это не имеет к нам отношения, — думал он сердито. — Бензин у нас есть, воды полный челек. Бояться нечего. Хуже всего, что опаздываю в лагерь». И, однако, чем больше он себя успокаивал, тем тревожнее становилось у него на душе. Бензин пока есть и воды пока полный челек. А если они проплутают еще сутки или двое? Ведь это может случиться. Черт возьми, и надо же было этому простопиле послушаться какого-то перенуганного шофершкки с его грузовиком! Да почудился ему этот грузовик. галлюцинировал на почве страха, вот и все. Мог и мираж быть, ничего удивительного. В прошлом году один шофер разогнался на такыре и вдруг увидел прямо перед носом деревья, рожицу турапги и затормозил резко. Машина кувырком, а шофер — насмерть. Из-за невидного миражика. А этот олух еще одалживал ему бензин.

Ляхову хотелось изругать Митю последними словами, но он сдерживал себя, понимая, что, как бы там ни было, но сейчас вся надежда на Митю, на его опыт, сообразительность и шоферский инстинкт. Студент между тем заснул. Ляхов слышал за спиной его мерное посапывание. Оно казалось Ляхову возмутительным. Нарочно громким голосом он сказал:

— Митя, а если в самом деле вернуться к тому месту и поехать влево?

— К которому месту? — отрывисто и довольно грубо спросил Митя.

— Вот к тому, где тебе говорили — налево.

— Кто говорил — налево?

— Кто, кто! — передразнил Ляхов нервно. — Да вот то место, где ты остановился, не зная куда ехать, поехал направо, а тебе говорили — налево. После Узбоя — ну?!

Митя помолчал некоторое время, потом сказал спокойно:

— Разве его пайдешь теперь, то место? Теперь уже куда крпвая вывезет.

Ляхов, пораженный откровенностью этого ответа, почувствовал, будто внутри у него все обдало холодом.

— Просто безобразие... — сказал он ослабшим голосом.

После этого он умолк надолго. Митя, несмотря ни на что, продолжал упорно ехать по следу, который он отыскивал вновь и вновь, то и дело остаивая машину. Кустики начали постепенно редеть и скоро совсем исчезли из полосы света. Машина шла по голым барханам. С каждым метром она двигалась все тяжелей, колеса буксовали на подъеме, со свистом прокручиваясь на песке, и наконец движение прекратилось. Митя потянул на себя ручку демультипликатора, включив переднюю ось; мотор взревел, и «газик», протациввшись еще несколько метров, стал окончательно.

Митя дал задний ход и попробовал взять бархан с разгона — безуспешно. После третьей попытки он выключил мотор, съехал бесшумно вниз, вылез из машины и стал откручивать привязанные к борту узкие деревянные бревна — «шалманы», без которых ни один шофер в пустыне не отправляется в путь. Все это он делал быстро и ловко, и хотя Ляхов не видел в темноте его лица, но догадывался, что оно выражает сейчас злую спокойную сосредоточенность. Сам же Ляхов как-то обмяк и утратил всякое желание и волю действовать. Когда Митя попросил его выйти из кабины, он покорно вышел и встал возле машины, горбясь от холода.

— Что такое? Сели? — хрипло спросил проснувшийся студент и соскочил на землю. — Ну шалманить, так шалманить!

Митя включил мотор, и «газик» пополз в гору; студент подкладывал «шалманы» под колеса, потом стал толкать машину руками. Ляхов тоже принялся подталкивать сзади. Студент и Митя отрывисто переговаривались между собой, мотор ревел, со свистом вылетал из-под колес песок, а Ляхов, машинально упираясь плечом в кузов машины, со странным чувством отчуждения думал: «Зачем эти страдания? Почему надо влезть именно на этот бархан? А что дальше — разве кто-нибудь знает?»

После первого бархана таким же образом пришлось форсировать второй и третий, пятый, десятый... Это был бешеный, изнуряющий труд, то самое знаменитое каракумское «шалманство», о котором Ляхов часто слышал, но ко-

торого ему, по счастливому случаю, еще ни разу не пришлось испытать. Он обессилел вконец, ноги его подгибались и скользили по песку; он уже не толкал машину, а просто лежал на ней, опираясь на нее всем телом, чтоб не упасть. Митя и студент возлились в темноте с «шалманамп», совещались, спорили, кричали друг на друга азартными голосами, и студент командовал, когда приходилось раскачивать машину: «А-а!.. Два-а!.. Взяли!»

Прошло больше часа, пока наконец миновали небольшую косу голых барханов метров сто шириной. Дорога опять пошла по заросшим пескам, и все трое, измученные, взопревшие, сели в машину, и «газик» двинулся своим ходом. От усталости никому не хотелось разговаривать, но все думали об одном: насколько приятней все же ехать в машине, чем толкать ее руками! Великое изобретение — автомобиль! Они блаженствовали.

У Ляхова слипались глаза, но он крепился, а Митя начал уже клевать носом. Как только его одолевала дремота, он, повинуясь инстинкту, машинально убавлял газ, и движение замедлялось. Его толкал локтем доктор или будил неожиданно глохнувший мотор, и Митя, встряхиваясь, кричал сладко и шумно. Как и прежде, он часто выходил из машины, отыскивая след. Но иногда «газик» довольно долго полз со скоростью пяти километров в час, Ляхов не замечал этого, обуреваемый своими мыслями, и Митя дремал безмятежно.

Во время одной остановки Митя ушел вперед и долго не возвращался. Студент и Ляхов тоже вышли из машины. Ночь была в зените. Светящееся, рябое от звезд небо низко висело над черными барханами.

— Дмитрий Васильевич! — позвал студент.

Митя не откликнулся. Минуты через две он появился в полосе света и крикнул издали, махнув рукой:

— Все! Приехали.

— Как приехали? — спросил Ляхов.

— Лагерь тут какой-то был, стоянка. Чуть подале...

Митя подошел к машине и выключил зажигание. Стало тихо.

— То есть, мы приехали в чей-то покинутый лагерь? — спросил студент.

— Так точно, — сказал Митя и, сев на корточки возле машины, стал доставать что-то из-под сиденья, гремя инструментом.

— Ну? — сказал Ляхов после паузы. — И что же?

— А ничего. Спать будем, завтра дальше поедem.

Пройдя немного вперед, Ляхов попытался разглядеть при свете фар какие-нибудь следы оставленного жилья, но увидел лишь обычный микроскопический пейзаж пустыни: муаровый песок, редкие кустики на нем, отбрасывающие гигантские тени, и несколько головок маков, казавшихся сейчас черными. А дальше все было скрыто темнотой.

Он вернулся к машине и в изнеможении сел на подножку. Ни возмущаться, ни ругать Митю, ни что-то советовать у него не было сил.

— Кому нравится в машине, а я на воле буду спать, — сказал Митя и, достав из-под сиденья кусок юртового войлока, бросил его на землю. Ему, собственно, не так уж нравилось спать на воле, по в машине трое не улеглись бы. Отвязав и вытащив с заднего сиденья маленькую туркменскую бочку — «челек», Митя налил воды в чайник. Студент тем временем, ползая на корточках в темноте, ломал саксаульные ветки для костра и сносил их в одно место, на свет фар.

Из темноты доносился его голос:

— Жители пустыни предпочитают путешествовать ночью, когда силы велики, звезды высокие, вода недорога, а песок крепче. Но они к тому же очень педантичны и никогда не отклоняются от привычной караванной тропы. Это осторожность, выработанная веками.

«Господи, какой недалекий человек! — думал Ляхов апатично. — Болтает, болтает, точно на экскурсии в Сокольниках. Что-то в нем есть шизоидное».

Митя и студент начали спорить о том, как действовать завтра: студент предлагал вернуться к Узбою, а Митя клялся, что он возил кружным путем профессора Редкина и если где и сбился с дороги, так только на такыре. С упрямством твердил он, что все время ехал правильно, только на такыре оплошал. Ляхов не вступал в спор, и никто не интересовался его мнением.

Разожгли костер. Сухой саксаульник разом взялся огнем, пламя пынуло и взметнулось, потом уже зашахло дымом. Все сели вокруг огня в ожидании, пока закипит чайник. Студент вывалил на газету сухари, на которые Митя набросился с жадностью, и оглушающе захрустел. Доктор теперь тоже не отказывался от сухарей, он был голоден, а у них с Митей не осталось ничего, кроме водки и чая.

Чуть брезжил рассвет, когда Митя вскочил на ноги. Его взбудрил холод. Земля была еще теплая, в низинках между барханами по-ночному густел сумрак, и только небо и зеленовато светилось, и в нем, как крупницы льда в воде, псталивали звезды.

Бегом, чтобы согреться, Митя бросился осматривать окрестность. Он понимал, что не увидит ничего радостного, но все же надеялся на что-то. Отбежав довольно далеко от машины, он сделал широкий круг по барханам. Никаких следов — ни машины, ни человека, ни верблюда.

Барханы, барханы...

Однообразные фполетовые горбы холодного песка. Однообразные полулуння с западной стороны и мощный покатыи склон с восточной. Однообразная игра ветра. Жалкая растительность: хвостики плака — песчаной осоки, полузадушенные веточки черкеза, торчащие кое-где из песка. Это и есть пустыня. Ее царство. Ее мертвое торжество.

Когда Митя вернулся к машине, студент сидел на подножке и, кривя рот, ожесточенно тер щеки и лоб ваткой, смоченной одеколоном. В нескольких шагах от него стоял Ляхов с насупленным, спяющим от холода лицом и делал руками какие-то вялые взмахи, изображавшие утреннюю гимнастику.

— С добрым утречком! Как спалось? — громко, с превеличенной бодростью сказал Митя.

— Слушайте, где же лагерь? — спросил Ляхов. — Я что-то никаких следов не обнаружил.

— Да я соврал насчет лагеря, Борис Иванович. Чтобы вы не расстраивались на почь глядя.

Митя произнес это очень спокойно, а Ляхов ошеломленно замер в середине упражнения, с раскинутыми в стороны руками. Несколько мгновений он напоминал фигуру распятого Христа, потом руки его беспомощно опустились.

— Значит, что же такое... просто-напросто...

— Я виноват, Борис Иванович! Я, я, я! — Митя ударил себя в грудь. — Режьте, бейте меня. Что ж теперь делать? Сейчас будем мотор прогревать...

Он подошел к машине, вытащил заводную ручку и начал возиться с мотором. Студент молчал. По-видимому, он знал или догадался о том, что для Ляхова оказалось новостью.

Все трое понимали: положение серьезное. Наиболее правильным, вероятно, было бы податься назад по своему же следу, но это удлинит путешествие еще на сутки, сожрет дефицитный бензин и заставит возвращаться в Керпели к Петухову. Кроме того, никому не улыбалась перспектива вновь «шалманить» на том же месте. Митя предлагал более рискованный план: ехать сейчас к западу — там барханы пониже и легче будет проехать, а затем при первой возможности поворачивать на юг, круто на юг. Узбой остался на юге. Надо ехать к Узбою.

— Как, Борис Иванович? Согласны? — спросил Митя.

— Пожалуйста. — Ляхов, кисло усмехнувшись, пожал плечами. — Я уже ничего не понимаю.

— Ясно одно, — сказал студент, — ехать надо сейчас же, пока не наступила жара.

Подуло ветром — в пем была свежесть утра и неизбежная песчаная пыль. Вершины барханов дымились. Ветер выгонял из них тоненькую желтоватую струйку песка, и они были похожи на небольшие вулканчики. Все сели в машину, прячась от ветра. Доктор отхлебывал из кружки холодный чай, и на зубах его хрустел песок.

— Где-то за холмом должны быть цветы. Море цветов... — говорил студент, высываясь из машины и шумно втягивая в себя воздух. В его голосе слышалась тоска по этому морю цветов, которое он оставил. — Запах лилейных — вы чувствуете? Когда их много, они пахнут мощно и сладко...

Помолчав, он сказал:

— Всегда грустно расставаться с местом, где ночевал или провел несколько часов. Даже вот с этой бедной котловиной, с этим костром, с запахом цветов из-за холма. Здесь остается что-то мое, неповторимое... у вас нет такого чувства?

— У меня нет, — сказал Ляхов, сжав зубы, и после паузы добавил: — Странный вы человек, ей-богу! Сейчас надо думать, как выбираться из этой бедной котловины и вообще доехать живыми. А вы...

— Живы будем — не помрем! — отозвался Митя весело. — Будь уверен, Борис Иванович, как птички долетим.

— Это я уже слышал, — пробормотал Ляхов.

Небо стремительно алено на востоке, но западный край неба, который путники видели перед собой из машины, еще туманился сумеречной синевой. Но сумрак быстро редел и там, и небо прояснилось и голубело, голубе-

ло, точно промываемое ветром. Вспыхнули кустики, по-дожженные первыми лучами, багряно засветился песок на вершинах, и Митины затылок и уши залило вдруг алым светом, хлынувшим пз-за спины. Теперь, ныряя с бархана на бархан, машина то попадала в прохладную тень, то, вылетая на гребень, вся озарялась красным, пламенеющим светом. В воздухе потеплело.

Вскоре Митя повернул машину на юг. Барханы стали положе, по по-прежнему были безжизненны, ничто не напоминало здесь о присутствии человека. Солнце ползло все выше, голубизна ливяла, день наливался зноем.

Теперь по целине машина шла очень медленно, километров двенадцать в час. Все трое молчали, угнетенные тревогой и голодом. Митя и сейчас часто останавливал машину, взбирался на какой-нибудь высокий бархан и оглядывал горизонт. Потом возвращался молча, и ехали дальше.

У Ляхова от куренья натоцак начиналась тошнота, и он решил не курить, но каждый раз забывал об этом и машинально вытаскивал новую папироску.

Около полудня сделали привал. Досели студентовы сухари и последний огурец, разделив его на три части. Пока Ляхов и Митя отдыхали, лежа на песке, студент бродил по барханам, что-то прилежно высматривая.

— Смотрите, какая штука! — вдруг раздался его громкий голос из-за холма. Он подошел, держа в руках страшный красноватый предмет размером в небольшую дыню. — Возле саксаульчика из песка выкопал.

Ляхов только скосил глаза и не шевельнулся, а Митя спросил лениво:

— А жрать ее можно?

Студент серьезно покачал головой:

— Ну нет, вряд ли. По всей видимости, это паразит саксаула. — Он торопливо счищал песок, разглядывая находку. — Да, это безусловно паразит. Пожалуйста — редуцированные листочки. Интереснейший экземпляр!

Он положил растение в машину и что-то записал в свою книжечку. «Последние часы его жизни были озарены радостью необыкновенной находки», — подумал Ляхов.

Вновь тряское, фыркающее, черепашиное движение на юг. Какая пропасть черепах! Они греются на солнце, поблескивая бутылочным панцирем, и некоторых «газик» переезжает колесами, вдавливая их в песок. Жара. Вся

дрянь повыползала из пор: снуют ящерицы, там и сям чернеют пятнами скарабей, вон стремительно скатилась по бархану змея — и пропала. Только чуть подрагивает кустик селища...

VI

Через час или два Митя увидел вдали первого верблюда. Он маячил на гребне бархана, расставив ноги треугольником, как тригонометрический знак. Проехали еще немало и увидели второго, третьего. Пески неожиданно кончились, впереди расстился огромный, слепящий белизной такыр.

У кромки песков черпела кибитка. В песках и на такыре вокруг нее стояли верблюды. Их было очень много, по стояли они как-то разрозненно, каждый особняком, в задумчивом оцепенении. Все они были облезлые, с вылинявшей шерстью, спины их напоминали старые, пыльные кушетки, из которых клочьями торчит вата. И все же это были живые верблюды, и при них должны были быть живые люди!

Тихо, стараясь не распугать верблюдов, Митя подвел машину к кибитке: возле входа лежали в тени две здоровенные туркменские овчарки с грязно-белой курчавой шерстью; бока их тяжело ходили от жары, из разинутых пастей вывалились арбузно-розовые языки. Собаки почему-то не лаяли.

Зайскиваяще улыбаясь и подмигивая собакам, Митя осторожно направился ко входу в кибитку. Студент шел за ним следом. Собаки не шевельнулись. Митя, а за ним студент беспрепятственно пролезли сквозь темную дыру, наполовину завешенную ковром.

Через минуту Ляхов услышал Митин голос:

— Борис Иванович! Взойдите сюда!

Ляхов вошел в кибитку. Сразу окунулся в полутьму, где застойно клубились вечные запахи пастушеского жилья: бараньей шерсти, дыма, кислого молока. Сквозь прорехи в крыше косо пробивались лучи солнца. На конице лежал старик в кургузом халате, рядом с ним стояли две миски — одна с водой, другая с чаем, кислым верблюжьим молоком.

— Что с ним? — спросил Ляхов.

— Шут его знает. Ни мычит, ни телится... — ответил

Митя и громко сказал: Ясхап! Бабай, на Ясхан как ехать?.. Ясхан надо!

Он повторил то же самое по-туркменски. Старик чуть приподнялся и сделал слабое движение рукой — по-видимому, желая показать направление на Ясхан.

— Этак нам непонятно, — проворчал Митя.

— Старик еле дышит. Отдает богу душу, — сказал студент вполголоса. — А вы пристаёте к нему с Ясханом.

— Да нет, просто болеет. Может, у него папатач, а может, чего похуже — чума, например... Как думаете, Борис Иваныч?

Ляхов опустился на одно колено и взял руку старика, чтобы прощупать пульс.

— Вот не везет! — Митя даже сплюнул с досады. — Прямо беда как не везет.

Пока Ляхов ощупывал старика, Митя поднял миску с чаем и, держа ее двумя руками, как огромное блюдо, шумно чавкая и всхлипывая, начал пить. Он опорожнил сразу полмиски и, отдуваясь, протянул миску студенту, но Ляхов внезапным, командным голосом произнес:

— А ну, бросьте всё! Давайте его к свету.

Митя подхватил чабана под мышки. Старик отчаянно задергался и попытался упасть на кошму. Но его все-таки вытащили на воздух и посадили, прислонив спиной к кибитке.

— У него отек под левой щекой, видите? — сказал Ляхов. — Вероятно, флегмона в горле. Потому и жар, и озноб, и рта он открыть не может... Рыбу вяленую ел? Балык, балык ел, признавайся?

Старик, не отвечая, моргал слезящимися глазами.

— Мог и чем-нибудь другим поцарапать. Ничего, ата, все будет в порядке... Минутку терпения, ата... — Ляхов, точно прицеливаясь, изучал изрытое морщинами, глянце-вито-коричневое лицо старика, не выражавшее ничего, кроме испуга. Старик мотал головой и что-то невнятно, одними губами, шептал.

— Что он говорит? — спросил студент, у которого от жалости к старику лицо тоже приняло испуганное выражение.

— Сынок ишел, Ясхан ишел... — шлепал губами старик.

Митя наклонился к нему и что-то громко спросил по-туркменски.

— Доктор ишел... Ясхан доктор...

— Да вот тебе доктор! Самый доктор и есть,— сказал Митя.

— Ясхан доктор... Ясхан доктор...— мотал головой старик.— Хорош доктор...

— Сын его, значит, в Ясхан поехал за доктором. За вами, то есть, Борис Иванович,— сказал Митя, засмеявшись.— Ой бабай, бабай! Не верит, понимаешь, что вы доктор, Борис Иванович. Не веришь, бабай? — И Митя с веселым изумлением смотрел то на старика, то на Ляхова, который уже вынимал из машины свой чемоданчик с инструментами.— Ведь он и есть тот доктор, за которым сын-то поехал! Понял, бабай?

— Йок, йок... Ясхан доктор...— упрямо шепелявил старик.

— Никак не верит! — хохотал Митя.— Да я ж тебе толкую, башка твой глухой...

— Замолчите! — резко сказал Ляхов.— Принсите лучше миску с водой, чем язык коверкать.

Митя, миг притихнув, кинулся исполнять приказание. Он знал, что, когда Ляхов занят делом, с ним спорить опасно. Повелительный топ и решительный вид Ляхова подействовали на старика, и он уже не сопротивлялся, когда доктор запрокинул ему голову и сильными пальцами разжал ему рот. Осмотрев горло, Ляхов быстрым, привычным движением протер скальпель ватой, смоченной спиртом, потом скрутил из сухой ваты тампон и плотно надел его на острие скальпеля, оставив свободным самый кончик.

Студент отвернулся, а Митя с интересом наблюдал за операцией. Она длилась не больше минуты — старик не успел крикнуть, как все было кончено, и он, тараща глаза, уже вылиевывал гной...

Через четверть часа старику стало заметно лучше: он встал на ноги, улыбался, ходил и послушно полоскал горло водой с содой, как того требовал доктор. А через полчаса, когда Ляхов и студент наелись чаю и Митя залил радиатор, старый «бильбрут-чапан» вызвался проводить гостей до ясханской дороги. Доктор воспротивился этому, говоря, что старику следует полежать, но так как тот ничего не мог объяснить на словах, решено было взять старика с собой, а потом подвезти его до кибитки обратно.

Старик нахлобучил высокую баранью шапку «тельпек», подпоясал халатик грязным вафельным полотенцем и сел рядом с Митяй, а доктор встал на подножку. Проехали по такыру километров шесть, и старик велел остановиться.

— Ясхан! — сказал он, показав рукой на юго-восток.

На иссохшей, растрескавшейся от зноя земле пролегал автомобильный след. Митя развернул машину и погвал обратно к кибитке.

— Ну как, ата, поверил теперь, что это доктор? — спросил Митя на прощанье.

Старик с некоторым смущением взглянул на Ляхова.

— Ясхан доктор, большой доктор есть, — тихо сказал он и, пожав руку Ляхову, добавил успокоительно: — Ты тоже хорош доктор...

Все засмеялись, старик тоже засмеялся, показывая голые, младенческие десны.

«Газик» весело побежал по своему следу, и долго еще, если посмотреть назад, видна была темная фигура чабана, и чем больше она удалялась, тем величественней — по странному оптическому эффекту — казалась на фоне пустынного, белого от соли и солнца такыра.

Митя узнал дорогу: это была та самая, по которой он возил в прошлом году профессора Редькина.

— Я ж говорю, правильно ехали! У меня память исключительная!

Доктор тоже прибодрился и начал, как прежде, ворчливо пикироваться с Митей и поучать его: «Дело не в такыре, а в том, что вы легкомысленно себя ведете. Пустыня не любит легкомысленных, учтите это». Студент сидел молча. Он думал о мясистом растении с редуцированными листочками, которое он покажет сегодня геоботанику Лиде Назаровой. Лида будет, конечно, отрицать, что это паразит саксаула. Она никогда не соглашается с ним, невозможная спорщица...

Машина неслась по такыру на предельной скорости. Жаркий ветер, завихряясь, залетал в кабину, кидал в лицо душную солоноватую пыль. Синька неба сленила глаза, текуче дрожала воспаленная зносом даль, и плывал над краем земли плоский миражик: какие-то деревца, светлая полоска воды. Час и другой мчалась машина по такыру, а деревца, не приближаясь и не отдаляясь, все так же плясали на горизонте, и не верилось, что этот волшебный лес возник из чахлах кусточков, разбросанных там и сям на такыре.

Когда переехали Узбой, Ляхов тоже стал узнавать дорогу. Но, странное дело, он не испытывал радости от того, что путешествие благополучно приближалось к концу. Он просто думал, равнодушно и спокойно думал о том, что он никуда не уедет из этой бедной, испепеленной зноем страны с ее горечью, духотой, солью, простором, миражами и человеческим упорством. Что-то незримо и прочно связало его со всем этим. И когда это случилось — неизвестно. Но он не уедет, так же как не уйдет из петуховской партии Савченко, как не уедет румяный студент, хотя он человек свободный и может в любой день отправиться в Ашхабад и через сутки оказаться в Москве...

Ляхов представлял себе, сколько дел накопилось в лагере за эти две недели, и сердце его тяжелело от предчувствия неизбежных забот. Ремонт медпуника не продвинулся, конечно, ни на йоту. Помощница Ляхова, молоденькая сестра Роза, слишком неопытна и слабохарактерна, чтобы добиться от начальника экспедиции людей и материалов, ежедневно наседать на него, требовать, угрожать, торговаться, а без этих мер ремонт затянется еще на два месяца. К вакцинации она тоже, конечно, приступить не решилась. Все это навалится сейчас на его плечи.

С неудовольствием вспомнил Ляхов манеру Розы смотреть на него в упор своими черными наивными глазами и при этом часто-часто, по-девчоночьи моргать. Роза вовсе не девчонка, ей двадцать восемь лет, но иногда она напускает на себя какую-то глупую конфузливость и манерность. Ей, видите ли, хочется быть девочкой, а на самом деле ей давно пора быть мамашей. Глупо. Надо сказать, она довольно миловидна и говорит с легким южным акцентом, тоже довольно миловидным. Ее лицо немного портит маленькая ямка посредине лба, след от пенички. И Роза ужасно стесняется своей пенички. Также глупо. Вот Вася Шарапов, долговязый рыжебородый геолог, его отнюдь не смущает маленькая ямочка на Розином лбу. Возвращаясь с поля, Вася всегда привозит Розе подарки: то букет тюльпанов, то маленького варанчика, который смешно шипит и злобно разевает рот, если его бить палкой по носу, то страшного песчаного кота с огненными зрачками.

И все это бесполезно. Хоть бы раз Роза покраснела, сконфузилась или заморгала бы наивно ресницами в присутствии Васи... А когда не нужно, она разводит сентименты. Вот сейчас она выскочит навстречу машине и чуть

ли не со слезами воскликнет: «Борис Иванович, что случилось? Ах, мы так волновались!..»

Начало смеркаться, когда «газик» подъехал к озеру. Дорога еще долго шла вдоль озера, прежде чем вдали показались кибитки туркменского аула.

— Эх, сейчас два борща! — сказал Митя мечтательно. — Три раза тефтели! И соответственно...

Проехали аул, и вот уже мелькнули впереди крыши поселка, тополя возле воды. Белые овчарки, казавшиеся в сумерках еще более громадными, с дурным лаем кинулись под колеса и потом припустились следом. Какая-то партия возвращалась с поля: впереди ковыляли трое мужчин, за ними на верблюде ехала женщина в светлой широкополой шляпе.

— Остановитесь, пожалуйста! — крикнул студент.

Митя затормозил. Студент вылез из машины и, держа в одной руке чемоданчик, другой прижимая к груди паразит саксаула, побежал навстречу женщине в светлой шляпе. Ляхов ждал, что он остановится и попросится. Но студент почему-то не остановился. Подождав минуту, Ляхов пробормотал:

— Вежливо, нечего сказать... Двигай, Митя!

И «газик» медленно покотил дальше.

Поезд из Ашхабада идет вдоль северного подножия гор. Горы унылые, голые, какого-то пыльно-коричневого оттенка. Не верится, что эти бедные вершины и есть тот самый экзотический Копет-Даг, где водятся тигры, перебегающие из Ирана, и в адской глубине рождаются землетрясения. Справа в окне, сквозь открытую для сквозняка дверь купе, желтеет песчаная степь. Никакого сквозняка нет. В вагоне ужасно душно и пахнет дезинфекцией.

В купе едут четверо. На верхней полке лежит старая туркменка в длинном темно-красном платье, обвешанном серебряными монетками, и дремлет всю дорогу. Когда она поворачивается с боку на бок, монетки тихо позванивают, и от старухиною платья разносится кислый, творожный запах. Внизу, под старухиной полкой, сидят рядом парень-туркмен и русская девушка, оба почерпевшие от загара, обветренные, со спекшимися губами. Должно быть, изыскатели и недавно из песков. Напротив них расположился худой мужчина в чесучовом пиджаке и чесучовых брюках. Он мается от жары, тяжело дышит, и лицо у него желчное и страдальческое.

В вагоне непрерывно кто-то поет по-туркменски: два голоса под аккомпанемент струнного инструмента. Это раздражает человека в чесучовом пиджаке.

— Черт знает, завели волюнку, — говорит он, сердито оглядываясь на дверь. — От самого Ашхабада воют...

Молодой туркмен неприязненно смотрит на человека в чесучовом пиджаке. Тот продолжает ворчать:

— Ну и порядки! Как будто нет других пассажиров, которые хотят отдохнуть... Им наплевать...

Тягучее однообразное пение становится громче. Поочередно, без пауз поют два высоких теноровых голоса, один молодой и чистый, другой — старческий, глуховатый. Юноша сидит, закрыв глаза. Он слушает пение.

Человек в чесучовом пиджаке вдруг срывается с места и выбегает в коридор. Слышен его раздраженный голос:

— Проводник! Где проводник?

Через пять минут он возвращается. Серое, мокрое от пота лицо выражает угрюмое удовлетворение. Но пение продолжается. Вскоре в купе заглядывает проводник — толстый усатый узбек в тубетейке.

— Сделать нельзя, товарищ. Народные певцы едут, бахши, — сообщает он тихо, извиняющимся голосом.

— Кто? Чего едет?

— Бахши, бахши. На республиканские соревнования едут, в Небит-Даг, и тренируются. Нельзя, товарищ...

Проводник исчезает.

— Ну и порядки у вас! — в пустую дверь говорит человек в чесучовом пиджаке. — Значит, я обязан всю дорогу слушать этот вой?

— Это не вой. Это народные песни, — негромко говорит юноша, и лицо его медленно покрывается краской.

— Для меня это вой, я извиняюсь.

— Мало что для вас! — вспыхивает юноша. — Если вы не понимаете, не надо оскорблять!

— Я вас не оскорбил, по-моему, а вы...

— Какой вой, слушай? Зачем так говорить?

— ... А вы ведите себя прилично, молодой человек. Я старше вас. Когда я хочу слушать пение, то покупаю билет на концерт, а не на поезд.

Человек в чесучовом пиджаке нервно ощупывает свои вещи, разбросанные по всей полке: портфель, газеты, футляр для очков, дешевую летнюю шляпу из белого картона, помятую и замусоленную пальцами. Глуховатый тенор остается в одиночестве. Юноша вновь закрывает глаза. Он слушает певца с напряженным вниманием, скулы его бледнеют, он стискивает руку девушки.

— Если бы ты поняла, как поет...

— А о чем он поет? — спрашивает девушка. Она белокурая, щупленькая, у нее облупленный нос и еле заметные выгоревшие брови.

Зажмуриваясь все сильнее, юноша раскачивается в такт пению, которое вдруг обрывается.

— Он пел про то, как строят канал. Как пустыня умирает...

В это время вступает второй голос, молодой и чистый.

— А, этот плохой! — досадливо говорит юноша. — Не умеет...

Человек в чесучовом пиджаке задыхается от жары. Вытирая платком шею и щеки, с которых струится пот, он невнятно бормочет, разговаривая сам с собой.

— Этот плохой! Да, да, конечно... Можно подумать...

— Ораз, молчи! — говорит девушка.

Юноша молчит. Он смотрит на человека в чесучовом пиджаке с тоскливой ненавистью. Бахши опять поют в два голоса. Придвинувшись к своему другу, девушка осторожно берет его руку с длинными смуглыми пальцами и бледными ногтями и гладит ее своей рукой.

— Ну, о чем, например, эта песня? — спрашивает человек в чесучовом пиджаке.

Ему никто не отвечает. За окном по-прежнему влачатся горы, сейчас желтые, как песок, ярко-желтые на фоне синего неба. Юноша отворачивается к окну. В его черных глазах блестят слезы. Помолчав, он говорит:

— Это старая песня.

— А слова ее?

— Слова... Я хочу быть чаем в твоей пиале, чтоб обжигать твои губы.

— Да? — спрашивает человек в чесучовом пиджаке. — Я хочу быть чаем? Не понимаю.

И он говорит искренне. Но девушка понимает. Она повторяет тихо:

— Я хочу быть чаем в твоей пиале... чтоб обжигать твои губы...

Потом они уходят вдвоем в коридор, и человек в чесучовом пиджаке остается наедине со спящей старухой. Жара спадает. Лиловая тень от поезда бежит по подножию гор. Человек в чесучовом пиджаке ложится на полку и накрывает лицо газетой. Он пытается задремать. А парень и девушка не возвращаются долго. До самых сумерек, до станции Искандер, где им надо сходиться, они стоят на площадке и поют эту старую песню — одними губами, пересохшими, обожженными солнцем.

Я познакомился с двумя герпетологами: Левиным из Москвы и Тереховым из Ташкента. Ночью герпетологи охотятся. Они уходят за город, на каменистую предгорную равнину и ловят ночных ящериц-теккопов, приманивая их светом карманных фонариков.

Герпетологи молоды, белобрысы, у них томатно-красные, загорелые лица и воспаленные от ночной работы тяжелые веки. Я провел с ними целый вечер. Говорили о змеях. Терехов поймал в окрестностях Иолотани около 2000 эф, в окрестностях Байрам-Алп — 1500.

Эфа — наиболее ядовитая змея Туркмении.

— ...Я наступаю на нее ногой и беру крепко за загривок. Ядовитых змей ловить легко: они не боятся человека и не убсают.

Терехов находится здесь в командировке, а у Левина отпуск: он приехал сюда, в пустыню, отдыхать.

По словам Терехова, местные жители поразительно плохо разбираются в змеях. Все они считают, например, стрелку (ок-плён) ядовитой, а на самом деле она абсолютно безвредна. Это небольшая змея с красивой, узорчатой, желтоватого цвета шкурой. По легенде, она пропзает, как стрела, грудь верблюда. И эту чушь повторяют из поколения в поколение...

А эфу в некоторых местах считают безопасной. Все это от того, что укусы бывают редко.

Терехов показывает свои коллекции.

В кухне под столом лежат холстяные, перевязанные бечевкой, мешочки, маленькие ящички, клетки. В ящичках что-то скребется, а мешочки забавно топорщатся и подрагивают, как живые.

— Вот самое ценное,— говорит Терехов, беря с пола небольшую клетку, на дне которой лежит ворох травы, а на сетке с внутренней стороны сидят две маленькие ящерицы. Засунув руку в траву и пошевелив там, Терехов

выпимает маленькую извивающуюся змейку. — Это афганские лотаринги. У них крест на голове, видите? Очень редкие экземпляры. В Советском Союзе было всего три штуки, а вот я нашел еще две. А ящерицы — им в корм.

Затем он берет холстяной мешочек, развязывает его.

— Ну-ка, пу-ка... Что там у нас? — приговаривает он, запустив руку в глубь мешка и копаясь там ощупью довольно долго. Потом вдруг вытаскивает пучок змей. Это стрелки. Туркмены, стоящие рядом, отшатываются. Терехов, чтобы доказать безвредность стрелки, берет змеиную голову в рот.

В другом мешке — полозы. Эти кусаются, но, находясь две недели в неволе, они утратили рефлекс укуса. В деревянном ящичке лежат сваленные друг на дружку ящерицы агамы. Они неподвижные, сонные: время позднее, двенадцатый час ночи, а ящерицы живут по режиму.

Вот маленькие, величиной с блюдечко для варенья, черепахи — для подарков в Москву. Вот привязанный к ножке стола небольшой варанчик «зем-зем». Он сердито шипит, падувая зоб, и бьет хвостом. Он похож на резиновую падувную игрушку. Затем извлекаются из мешков удавчики, гекконы, ящерицы «кызыл-кулак» и прочая гадость. Ядовитые змеи, к сожалению, отправлены сегодня в Москву. Герпетологи очень огорчены тем, что ядовитых змей не удалось отправить самолетом, они поехали в поезде.

Когда я спрашиваю, а куда, собственно, ядовитым змеям спешить, Левин озабоченно вздыхает:

— К ним на железной дороге относятся плохо. Ящики бросают как попало, кормят не вовремя — в общем, казенщина, без души относятся...

Незаметно разговор перебрасывается от змей к паукам. В Туркмении наряду с эфой и гюрзой очень опасен маленький черный паучок — каракурт или «мей», как его называют туркмены. А вообще здесь бесчисленное множество пауков, самых разнообразных. Каждый второй паук — неописанный, неизвестный науке. Можно настрять кучу диссертаций. Но никто пауками не занимается, потому что нет специалистов. Герпетологи рассказывают это, как смешной анекдот, и очень смеются...

Они славные ребята, но слегка однообразные. Говорят только о своем. Несколько раз я пытаюсь пробиться сквозь этот панцирь профессионализма.

— Кстати, насчет черепах, — говорю я. — Есть такие

стихи, кажется, Халифа: «Из чего твой панцирь, черепаха? — я спросил — и получил ответ...»

Щупленький, с красными глазами гнома Левин неожиданно перебивает меня:

— Между прочим, это неверно, что у черепах отсутствует слух.

— Послушайте, Левин! — возмущаюсь я. — Я читаю стихи, а вы перебиваете!

— Простите, — говорит Левин.

Я декламирую громко, с чувством:

«Из чего твой панцирь, черепаха?» —

Я спросил — и получил ответ:

«Он из мной пережитого страха,

И брони надежней в мире нет!»

Пауза. Герпетологи из деликатности молчат некоторое время. Затем Терехов говорит негромко:

— Панцирь черепахи состоит из кости и тонкого слоя рога.

А Левин немедленно продолжает свою тему о наличии у черепах слуха. Он горячится, он спорит с каким-то неизвестным мне противником. Черт возьми, у черепах отсутствует среднее и внешнее ухо, и, однако, исследованиями англичан установлено...

Но я не теряю надежды. Выбрав момент, говорю:

— А вы помните у Хемингуэя в «Иметь и не иметь», когда Генри Морган присаживает к жене, и она говорит насчет черепах? Она говорит, что хотела бы быть черепахой, потому что они делают это непрерывно в течение трех дней... — Тут я игриво подмигиваю, как бы приглашая, оттолкнувшись от черепах, открыть новую тему.

Герпетологи смотрят на меня серьезными, в красноватых веках глазами.

— Это неверно, — заявляет Левин. — Оплодотворение у черепах длится всего несколько минут.

— Может быть, имеется в виду процесс точки? — осведомляется Терехов.

Я невятно бормочу: «Да, да. Возможно...» Ах, милые люди эти герпетологи! Именно такими я всегда представлял себе герпетологов.

Мы продолжаем разговор о змеях. Я узнаю много интересного. Во втором часу почти все вместе выходим на улицу — герпетологи идут на почтовую ловлю, а я домой, спать.

В Копет-Даге, на горной дороге, мы встретили застрявший самосвал. Шофер ковырялся в открытом моторе. Рядом на земле сидели, положив кирки на колени, три рабочих-туркмена.

— Узнай, может, надо помочь, — сказал Ачилов.

Иса большой лентяй. Он с неохотой вылез из кабины и подошел к шоферу. Они стали ковыряться вдвоем. Мы с Ачиловым тоже спрыгнули на землю. Дорога блестела от каменистой пыли. С обеих сторон подпирали небо высокие, изъеденные ветром белые скалы, от которых катился по ущелью сухой известковый жар. Воздух был раскален, как в жаровне.

Рабочие спросили, нет ли у нас воды. Их мучила жажда. Ачилов достал две бутылки боржома и серебряный стаканчик. Увидев красивые наклейки, рабочие засомневались: не водка ли?

— Какая водка? Была бы водка, сами давно бы выпили.

— Обманываешь, аксакал...

— Зачем обманывать? — засмеялся Ачилов. — Вы туркмены, я туркмен... Вода, говорю!

Один из рабочих с опаской взял стаканчик, немного отпил. Поморщившись от газа, сказал с уважением:

— Ай, крепкая!

Другой тоже отхлебнул два глотка и сказал:

— Крепкая. Так в нос и бьет...

Все трое не смогли осилить одной бутылки боржома.

Что это было: наивное предубеждение или врожденное, воспитанное веками уважение к воде и древний опыт борьбы с жаждой?

После весенних дождей в пустыне остаются естественные водоемы. Они образуются во впадинах между барха-

памп и в пных местах держатся довольно долго. Чабаны чрезвычайно дорожат ими.

Однажды я наткнулся в песках на такой водоем, называемый чабанами «как»: большую лужу с мутной коричневатой водой. По нашей глупой российской привычке швырять в воду все, что попадает под руку, я бросил в как маленькую ящерицу, только что пойманную за хвост. Бросил без всякого умысла, машинально. Рядом стоял незнакомый чабан, старпк. Не говоря ни слова, он снял чуквяк, закатал штаны до колен и, осторожно зайдя в воду, выловил ящерицу и кинул ее далеко на песок.

Он проделал все это молча, не глядя на меня. Мне стало стыдно, я понял, что совершил пакость. Я понял, какая пропасть между моим равнодушным и его мудрым, благоговейным отношением к воде, вот к этой грязной, коричневой луже.

На пути к поселку Пионерный встречаем караван — верблюдов тридцать. Встреча редкая: сейчас в пустыне чаще увидишь тракторы и автомашины, чем постоянный караван. Медленно, с высокомерием покачивая своими маленькими головками вырожденцев, шествуют облезлые «корабли пустыни». Шерсть на худых боках торчит кустами.

— Казахи кочуют, — говорит Иса, останавливая машину.

Здесь, на востоке республики, есть несколько казахских колхозов. В жаркие месяцы лета казахские чабаны, так же как и туркменские, кочуют по пескам в поисках травы и воды. Приходится ждать, пока караван пройдет.

На верблюжьих горбах навьючены обручи и ребра кибиток, ковры, одеяла, черные от копоти котлы и треноги. Здесь же, среди скарба, качаются на горбах женщины и детишки.

— Куда кочуете? — спрашивает Иса.

Не отвечают. Ачилов тоже спрашивает, но и он не получает ответа. Женщины даже не поворачивают голов в нашу сторону. Рты прикрыты платками, глаза опущены. Только детишки стреляют в нас черными блестящими глазенками.

Иса одобрительно усмехается:

— Скромные!

— Не скромные, а говорить не хотят, куда идут.

В секрете держат, — объясняет Ачилов. — Наверно, хорошее место знают, с водой...

Невыносимо медленно плывет караван. Вяло поднимаются и опускаются тощие, мохнатые на сгибах ноги верблюдов. Жаркий ветер приносит запах свалывшейся шерсти. Жарко и сухо, убийственно сухо в воздухе.

От этой жары и суши так медленно движутся верблюды, от этой жары и суши поникли головами, молчат жещивны...

Позади всех едет на ишаке старый казах. Ачилов предлагает ему папиросу. Заодно спрашивает, куда направляется караван. Вместо ответа старик бормочет по-русски:

— Трава совсем нет. Верблюды худой, баран худой... Когда канал придет, скажи?

— Скоро, яшули! Очень скоро! — бодро отвечает Ачилов. — За Карамет-Нияз вода уже прошла. На будущий год здесь будет.

— Хорошо будет... — кивая, шепчет казах, но ни в глазах его, ни в голосе нет особенной радости. Просто он не очень-то верит. Как большинство здешних чабанов, он считает, что песок не пустит воду так далеко.

Подмигивая Ачилову, Иса говорит:

— На будущий год приедем — искупаем тебя в канале. Давно не мылся-то, яшули?

Оба хохочут.

Караван пылит дальше. Последний верблюд исчез за барханом в синей пустоте неба.

От поселка Пионерный, что расположен примерно на середине трассы, до поселка Ничка можно досхать на «газике» за три-четыре часа. А мы едем целый день. Сбилась с дороги, кружились на одном месте, потом вернулись обратно в Пионерный. Пески вдоль трассы изрезаны тысячами автомобильных следов — заблудиться не мудрено! С воплием ждем встречи с амударьинской водой. Она где-то близко, на сто девятистом километре. Мы путешествуем от города Мары, откуда канал ведется сухим путем. Мы видели все что угодно: новые города, дамбы, мосты, полчища бульдозеров и скреперов, рычащие в пыльных забоях, почти законченный гидроузел, готовый к приему воды, — не видели только самой воды.

Она еще там, на востоке. Она медленно ползет нам навстречу, а мы спешим к ней. Ее прохлада чувствуется в зной-

пом воздухе за несколько километров. Выскочив на гребень бархана, видим сверкающую на солнце чешую озера. Вода залила низины, повсюду островками торчат затопленные саксаулы. Вода теплая, чистая. На мокром возле берега песке — маленькие круглые следы джейранов. Уже приходят на водопой. Поразительно быстро приспособилась пустыня к воде. В воздухе пищат кулички, мечутся чайки. Наверно, и рыба пришла. И это в песках-то, в Кара-Кумах! Чайки в Кара-Кумах!

Вокруг тишина. Не видно ни людей, ни машин. И мы тоже стоим тихо.

1959

Проехали станцию Баба-Дурмыз, что значит «Дедушка не останавливается». Странное это название произошло, если верить легенде, вот откуда: когда-то давно два контрабандиста, дед и внук, переходили персидскую границу, внука ранили в перестрелке, он упал и звал деда на помощь... Но... Баба-Дурмыз! Дедушка не остановился и благополучно бежал, бросив внука на волю аллаха.

На месте дедушкиного вероломства возник железнодорожный поселок, разросшийся вокруг станционного здания. Жара. Раскаленный перроп. На раскаленной скамейке томятся в ожидании поезда три пограничника в пыльных зеленых панاماх с дырочками, а в сторонке от них пугливой стайкой колышется несколько женских фигур. На земле разложены миски и тряпочки с луком, редиской и яйцами.

У женщин необычайно яркие одежды: розовые, алые, яптарные. При нашем появлении туркменки прерывают свое щебетанье и все, как одна, закрывают рты платками. Это «яшмак», старинный обычай: туркменской женщине нельзя разговаривать с чужими мужчинами.

Но одна старушка сидит не шевелясь.

— А ты, мать, почему не надеваешь яшмак? — спрашивает Ачилов.

Старушонка машет гляцевитой сухонькой лапкой:

— Мой рот уже никто не хочет...

Женщины тихонько прыскают в платки. Среди них есть замечательно красивые, с черными огненными глазами: фарси, персидская кровь. Мы покупаем у старушонки пучок редиски.

Иса Ачилов работает в ашхабадском радиовещании. Он там заведует каким-то отделом и часто ездит в командировки по республике. А вообще он поэт и хороший парень, хотя немного важничает.

Я знаю его давно. Мы учились вместе в институте.

Дорога бежит вдоль иранской границы. Нырнем в чащобах пыли. Окна автомобиля закрыты наглухо. Мы сидим, как в парилке, по стоишь опустить стекло на сантиметр, и в кабину врывается удушающая пыльная гуща. Справа видны горы, уже иранские.

Небо не синее, не голубое, а какое-то белесое, обескровленное зноем. Настоящая синева бывает тут только по утрам.

Граница с Ираном совсем близко. Видны иранские дома, иранские деревья и белые, с купольной башенкой, пограничные посты. В Иране так же безлюдно, жарко и пыльно, как и на нашей стороне.

Следующая остановка — в Каушуте.

Пока Ачиллов звонит из почтового отделения в Кааха, я словяюсь по станции. Нестерпимый солнцепек. Здесь тоже базарчик: вянушки под солнцем редиска и лук, алые краски женщин, тихое щебетанье. Никто ничего не покупает. По-видимому, эта торговля — просто предлог, чтобы встретиться и поболтать. Нечто вроде женского клуба.

На ступеньках перед входом в чайхану сидят на корточках три старика. Они давно и пристально наблюдают за нами. Мы подходим к чайхане. Ачиллов здоровается по-туркменски. Старик с достоинством кивают. Они в дражных коротких халатах, и все трое — разные. Один худой, с черным негroidным лицом белуджа и острым пронзительным взглядом. Другой толст и неряшлив, у него огромные розовые уши, толстые губы распутника и глаза-щелочки. Третий старик похож на перса: длинное лицо коричнево, как каштан, крючковатый нос и сивая козлиная бороденка. Глаза у этого старика белые, бельмастые, и он все время моргает и поднимает лицо прислушиваясь.

Мы заходим в чайхану, в прохладу и тень. Буфетчик играет в нарды с мальчиком.

— Салам! — поспешно говорит буфетчик, вскакивая при виде нас, и сбрасывает с доски шашки.

Мальчик раздражается плачем. Буфетчик довольно сильно шелкает его по макушке и что-то сердито говорит по-армянски. Мальчик убегает, продолжая рыдать.

Мы едим мясной, с ливером, суп и рагу. Потом пьем чай. Старики переползают со ступенек в чайхану, к нам поближе. Они садятся невдалеке и наблюдают за нами по-птичь, повернув головы вполборота. Ачиллов приглашает их пить чай, — нет, они не могут. Ураза, великий пост.

Пока солнце в небе — нельзя ни есть, ни пить. Они просто сидят и слушают наши разговоры.

Буфетчик подсаживается за столик. Его интересует, куда мы едем и почему стоит картошка на рынках Ашхабада. Я спрашиваю у буфетчика:

— Что за медаль вон у того старика, самого черного?

— Это ему дали пограничники. Прошлой осенью он задержал нарушителя. Эй, Назар-ага, расскажи, как ты поймал нарушителя.

Старик, похожий на белуджа, что-то говорит по-туркменски.

— Он сказал, что ему неинтересно рассказывать. Это было давно, — говорит Ачиллов.

— Ай, почему давно? Недавно было. Я расскажу! — предлагает буфетчик.

Он рассказывает длинную историю о том, как Назар-ага заметил незнакомого человека; как он окликнул его, а тот не отозвался и побежал в пески, и как Назар-ага преследовал его по пескам и даже чувяки сбросил, чтобы быстрее бежать, и как это заметил другой старик, вон тот толстый, Сафар-али, который в это время был на кладбище, просто сел отдохнуть в тени мазара, возвращаясь из колхоза (у него там младший брат работает бригадиром), и как Сафар-али скорее побежал на станцию и сказал кому нужно...

— Это тот Назар-ага, который работал сторожем на хлебозаводе? — спрашивает Иса.

— Да, да. Он получил медаль, а Сафар-али и еще один рабочий, который сжал на дрезине и довез Сафара-али до станции, получили благодарность.

— Понятно. Это очень интересные старикки, — обращаясь ко мне, говорит Ачиллов и надевает шляпу. — Мы поехали. — Он встает. — Заверни нам бутылку водки и банку какой-нибудь консервы. Краб, что ли.

Ачиллов кивает старикам и направляется к двери. Он всегда входит в дверь первый.

Старикки опять перебираются на ступеньки и смотрят, как мы садимся в машину и уезжаем. Они сидят в чайхане или на ступеньках, в тени навеса, целыми днями, томясь ленью, жарой и старостью. Каждый проезжий человек, мимолетные разговоры слегка возбуждают их.

Когда мы отъезжаем довольно далеко от станции, Иса говорит:

— Того старика я знаю. Его брат был басмач, и этот, Назар-ага, был у него в банде, а потом перешел к нашим. И, говорят, не пустой пришел: брата своего, говорят, чиркнул: — Иса делает короткое движение пальцами по горлу.

— Про какого старика вы говорите? — спрашиваю я.

— А про черного. У которого глаза блестящие, как все равно у кота.

Маленький старый город невдалеке от иранской границы. Душный вечер. Городской парк. Сегодня здесь соревнования по народной борьбе — гюреш.

В глубине парка на небольшой площадке, освещенной двумя гирляндами электрических лампочек, зрители образовали четырехугольник, в середине которого лежит темный борцовский мат, покрытый ковром. Зрители сидят на скамейках. В первом ряду — белобородые старики, настоящие знатоки гюреша. Многие из них специально приехали в город из аулов, чтобы посмотреть районных богатырей-пальванов.

Соревнования еще не начались. Судьи с красными повязками на рукавах о чем-то азартно спорят, суетятся, бьются с какими-то бумажками, размахивают ими, требуют друг у друга каких-то новых бумажек. Я протискиваюсь вперед, нахожу место на первой скамейке: мне уступает его мальчуган лет десяти. Сам он примостился у меня в ногах, прямо на земле. Бумажки мелькают еще полчаса. Наконец, около восьми часов вечера, духовой оркестр ударяет туш. Начинается парад борцов.

Гусяком, вслед за судьями, проходят внутрь четырехугольника и выстраиваются вокруг ковра восемьдесят борцов. Много пожилых, лысых, бородатых, с сутулыми спинами, а есть и совсем мальчишки. Одеты обыкновенно, кто в чем. Специальная борцовская одежда лежит на ковре: два халата и два пояса на всех. Зрители радостно окликают земляков и знакомых.

— Эй, Мурад-Али!

— А, Бегеиче-е!

— Эй-йее!..

Борцы смущенно отмахиваются, скалят зубы. Вся эта торжественность и музыка угнетают их. Вот они выстроились, пеловко переминаются с ноги на ногу. Смуглые пастороженые лица, спаленные до черноты шеи, грубые

мужичьке руки — руки трактористов, кетмешчиков, хлопкоробов. Среди зрителей больше половины — колхозники. Сегодня воскресенье, многие приезжали на базар да так и остались до вечера.

Выходит первая пара: молодой парень из Векиль-Базарского района и сухопарый, костистый мужик средних лет из Туркмен-Калинского. Снимают ботинки, сбрасывают пиджаки и надевают короткие борцовские халаты — это даже не халаты, а длинные подпоясанные широкими кушаками рубахи, нечто вроде тех, что надевают борцы дзюдо. Прежде чем начать борьбу, гюрешисты проверяют, как у противника завязан кушак. Они могут перевязать его по своему вкусу, туже или слабее, с одним узлом или с двумя. Кушак тут основное орудие, поэтому важно проверить, как он завязан.

Борьба не начинается, пока оба не схватились как следует. Судья следит за этим, прыгает вокруг борцов, вертит их по-хозяйски, одного шлепает по руке, другому помогает взяться покрепче, наконец дает сигнал и отскакивает. Борцы начинают кружиться по ковру. Головы опущены, ноги отставлены далеко назад, а руки вцепились в пояс так крепко, что кисти побелели. Слышно, как тяжело дышит сухопарый туркмен-калинец. Молодой парень яростно кричит и наирает всюю. Его противник отступает, уходит все дальше. Земляки подбадривают его, но, кажется, он проиграл. И вдруг — мгновенный рывок, схватка вплотную, желтые пятки молодого парня сверкают в воздухе, на миг он касается коленом земли и тут же вскакивает. Но поздно, поздно! Судья дает свисток. Победил сухопарый. Вторую схватку он также выигрывает, и это дает ему общую победу. Земляки сухопарого, колхозники из Туркмен-Кала, выбегают вперед и, подхватив победителя на руки, уносят с ковра.

Всех следующих победителей тоже уносят на руках.

Схватки протекают очень быстро, ибо техника примитивна. Один бросок через бедро, или подножка, или же прием «мельница» — и победа. Достаточно, чтобы противник рукой или коленом чуть коснулся пола.

Эти правила сообщает мне мальчуган, который уступил место. Он сидит, скрестив ноги, на земле и все время подпрыгивает, точно его толкает снизу пружина. Иногда он сердито вскрикивает, грозит кому-то кулаком, иногда смеется, иногда изумленно ахает: «Ва-а!» Про одного борца он говорит: «Варац пришел. Как варац сосать будет».

И действительно, этот борец своими длинными жилистыми руками обвивает противника, «присасывает» его к себе, как варан, и, подняв в воздух, бросает на землю. Про другого борца мальчишка отзывается презрительно: «Ай, жулик этот! Сейчас будет подножку между ног делать, все ташаузские так делают...»

На ковре высокий бритоголовый борец с большим животом. По-видимому, это чемпион. Зрители, как везде, болеют против чемпиона. Ему кричат что-то обидное. Расставив толстые, с набухшими венами ноги, чемпион угрюмо смотрит на своего противника, нехотя натягивает халат, медленно подпоясывается. Лицо у чемпиона неприятное, отекшее, под глазами мешки. Ему лет сорок.

— Этого толстого как зовут? — спрашиваю у мальчика.

Мальчик бормочет что-то невнятное. Сидящий рядом со мной туркмен говорит:

— Клыч Дурды его зовут. Пять лет чемпионом был, теперь немножко старый стал.

— Какой старей! Водку пьет много, вот что, — вступает в разговор другой туркмен.

— Э, когда на той зовут, пить не будешь, что ли?

— Каждый день той у него...

— Он вообще шофером числится в Байрам-Али, — говорит третий голос.

— Да пигде он не работает! Вообще дурной человек.

— С гюреша кормится...

— Говорят, две жены у него, узбекки...

— Ай, зачем болтать? Бросил! Как волк, один...

Теперь уже говорят несколько человек, и все почему-то по-русски, точно все отвечают на мой вопрос. Клыч Дурды тут не любимец, это ясно. Я трогаю за плечо мальчика:

— Скажи, профессор, какой пальван победит?

— Откуда знаю? — шепчет мальчик и оглядывается испуганно.

И вдруг вспоминаю, что однажды видел чемпиона.

Три года назад я случайно попал на той в один из колхозов Марыйской области. Той делал председатель колхоза, известный в Туркмении «башлык» Ага Сафар Ниязов, по поводу того, что его сын защитил кандидатскую диссертацию. Сидели на дворе под виноградником, где были расстелены длинные ковры, а на них стояли блюда с пловом, каурмой, фруктами, чай и водка: то и другое пили вперемежку из одних пшалушек. Тут же, во время пирше-

ства, устроили гюреш. Всех побеждал колхозный тракторист, кудрявый, огромного роста русский малый, которого называли Антошей. Когда у него не осталось уже противников, вышел борец такого же богатырского сложения — Клыч Дурды. «Башлык» пригласил его на той, как приглашают музыкантов или шутов. Навял его за деньги. Клыч Дурды был уже сильно пьян и нетвердо стоял на ногах, однако куражился и отпускал громкие хвастливые замечания перед схваткой. Было удивительно, что он продержался против Антоши несколько минут, а не рухнул сразу. Ага Сафар очень рассердился. Я слышал, как вечером он ругался с Клычом Дурды из-за денег, потому что с гостей не удалось собрать суммы, на которую договаривался пальван с хозяином тоя, и теперь пальван требовал, чтобы Ага Сафар доплатил. Сын Ага Сафара, молодой кандидат технических наук, поддерживал в этом споре Клыча Дурды. Он был тоже пьян, и ему хотелось бороться. Одной рукой он выбрасывал из кармана мятые бумажные деньги, а другой хватал Клыча Дурды за ворот рубахи и кричал что-то вызывающее. Все были пьяны на этом тое. На другой день протрезвившийся чемпион боролся с Антошей и с легкостью победил его, но впечатление было испорчено. Говорили, что Клычу Дурды пришел конец: кто из пальванов начинает шататься по тоям, тот долго не протянет.

И вот я вижу его вновь. Он заметно постарел за три года, как-то огузнул и сторбился. Противник Клыча Дурды — черный лицом, коренастый борец с необычной для туркмена волосатой грудью и волосатыми ногами. Может быть, он азербайджанец, может быть, перс. Он нервничает и от волнения выкатывает белки и скрипит зубами. Чемпион борется равнодушно. Это возмущает зрителей, им хочется настоящего боя. Они начинают потихоньку свистеть и кричать оскорбительные слова: «Заплатите ему деньги, тогда он будет бороться», «Эй, Курбан, покажи ему...»

Курбан очень старается и, к всеобщему ликованию, побеждает в первой схватке. Зрители в восторге. В воздух летят шапки, старики трясут костылями, несколько человек подбегают к ковру, чтобы похлопать Курбана по плечу. И только мальчик сидит неподвижно, съежился, втянул голову в плечи...

— Молодец Курбан! — кричит мой сосед справа и бьет меня локтем. — Вот увидишь, Курбан победит! Я знаю, он

механиком работает на нашей фабрике. Ай, Курбан, дал жизни!

Волосатый Курбан жадно пьет из бутылки, потом полощет рот и шумно и далеко, как из шланга, выплевывает воду на песок. Клыч Дурды тоже пьет воду. В прежние времена борцы в перерывах пили чай: садились на ковер и дули чай досыта, а зрители терпеливо ждали. Теперь комитет физкультуры навел порядок, перерывы строго ограничены.

Рефери уже на ковре и жестами приглашает борцов. Вот они не спеша выходят, упираются друг в друга плечами, просовывают руки под пояс противника. Болельщики сразу же начинают орать. Они страстно желают, чтобы Клыч Дурды проиграл. И это не только злая радость толпы, получающей удовольствие от унижения чемпиона, но и неприязнь рабочих людей к ловкачу и «артисту», который умеет выколачивать деньги из безделицы, из игры.

Во второй схватке побеждает Клыч Дурды. Его никто не поздравляет, кроме мальчика, который робко, раза два, подбрасывает в воздух свою тубетейку. Борцы снова пьют воду.

Наконец рефери зовет их для последнего поединка.

Кряхтя, поднимается с земли Клыч Дурды. Его слегка пошатывает, когда он идет к середине ковра. Зрители что-то кричат ему, наверное «сдавайся» или «ложись». Однако победить чемпиона, даже усталого, нелегко.

Курбан опять скрипит зубами, выкатывает белки, прилаживается и так и этак, и вдруг — вот оно! — ему удастся плотно обхватить Клыча Дурды и оторвать от земли. Широко расставив свои мускулистые ноги, весь изогнувшись и побагровев от усилия, Курбан держит на весу семипудовую тушу и несколько секунд, как бы в перешительности, раскачивает ее, а затем нытается бросить на землю. Опытный Клыч Дурды увлекает соперника за собой, и они падают вместе. Кто же коснулся первый? Судья поднимает руку Клыча Дурды.

— Неправильно! — кричит мой сосед, вскочив с места.

Вслед за ним вскакивают и что-то кричат еще двадцать, сорок человек. Начинается суматоха. Двое судей ругаются между собой. Какой-то седобородый аксакал подходит к главному судье, сидящему за отдельным столиком, и тычет свой посох ему в лицо. И все же победителем признается Клыч Дурды: на долю секунды его противник коснулся ковра раньше.

Победителя не уносят на руках. Клыч Дурды идет сам, с трудом передвигая ноги, замученно дыша, и лицо у него серое и пыльное. Мальчик подскакивает к нему, берет его за руку, и они проталкиваются мимо скамеек к выходу. Отец не обращает внимания на ругань и крики, а мальчик плачет и тибетской закрывает лицо.

Соревнования продолжают, но я ухожу.

Высоко в небе стоит луна, одинокая серебряная луна в голубом и темном небе. За парком шумит поезд. Это скорый московский. Через четверо суток он будет в Москве.

На другой день утром я вижу Клыча Дурды в чайхане возле парка. Парк опустел, чайхапа тоже почти пуста: вчерашние борцы разъехались по домам, по колхозам, уже начали сегодня трудовую неделю. Сторож шаркает по песку, сгребая воскресный мусор. Клыч Дурды пьет водку в компании каких-то стариков, а мальчик сидит поодаль возле стены на стуле и дремлет, склонив голову лобок.

Недалеко от поселка есть старинная могила, где похоронен один из полководцев Омара. Какого Омара? Того ли блестящего халифа, преемника Абу Бекра, кто открыл великую эру арабских завоеваний и уже двенадцать веков причислен к лику мусульманских святых? Или еще какого-нибудь Омара, из тьмы знаменитых и безымянных, что топтали конями эту землю, наводили ужас, превращали города в песок и сами давно превратились в песок, уйдя в страну «Пойдешь, не вернешься», как выражаются арабские хроники.

Молодой туркмен, экскаваторщик, не может дать толкового ответа. Он нездешний, из Гассан-Кули. Кроме того, он озабочен ремонтом своей машины, а все экскаваторщики, вынужденные «загорать» в ремонте, — люди большей частью неприветливые и раздражительные. Ему известно только, что в могиле похоронен некий Кызылча-Баба, что значит по-туркменски «Красенький дедушка», а кто он, откуда и почему красенький — шут его ведает.

— Кибитка возле могилы есть? Там старичок живет, сторожит могилу. Он вам даст справку...

Мы приехали сюда час пазад после утомительной полудневной качки по барханам. Утром отправляемся дальше, а пока, делать нечего, — пойдем посмотреть могилу и наводить справки насчет Омара.

Здесь был когда-то заброшенный чабацкий колодез. Песчаные дебри, глухомань, как раз середина расстояния между Аму-Дарьей и Мургабом. Сейчас сюда пробилась строители канала, идущие со стороны Мары, приволокли деревянные, обшитые фанерой жилые будки, поставили электростанцию, на месте старого колодца соорудили цо-вый, механизированный, с бетонированным бассейном, в одном бараке открыли столовую, в другом — магазин, в третьем — клуб с библиотекой и малецким щербатым

биллардом — и возник поселок, названный по имени колдца Кизылча-Баба.

Могилы расположена в полукилометре от поселка.

Во впадине между барханами высится небольшой холмик, на котором растет несколько саксаулов и два-три ко-рявых, иссохших куста черкеза. Эта бедная зелень и есть надгробный памятник. Вероятно, здесь стоял когда-то глинобитный или каменный мазар, но время рассыпало его. Продравшись через кустарник, поднимаемся на вершину холма. Там, на тесной песчаной площадке, лежат черепки глиняной посуды, битое стекло, какие-то тряпичные лоскуты — обычный мусор туркменского кладбища. В консервной банке медные деньги, пожелтевшая трехрублевка. Вот и все...

Разочарованные, мы спускаемся с могилы «одного из полководцев Омара». Много десятилетий, а может быть и столетий, эта святыня царила над всей округой, влекла кочевников и благочестивых купцов, заставляя их делать крюк на долгом пути в Бухару из Мерва, а теперь люди живут рядом и не замечают ее. Она сделалась мелкой, несущественной подробностью пустыни.

Когда идешь по бархану вниз, ноги погружаются в песок до щиколоток. Это похоже на ходьбу в воде. Тихо шуршит, струится белый песок, пластами сползая вниз. Мне кажется, что я погружаюсь в вечность, плыву в песке огромных песочных часов. Цивилизации и царства, орды завоевателей, народы бесчисленные, как песчинки, — все перемолото временем, все превратилось в тихо шуршащий, белый, безмолвный песок...

От этих мыслей возникает исподтишка чувство приятного превосходства. Черт возьми, моя очередь еще не скоро!

Прыжками сбегая вниз. Ачилов стоит на одной ноге, вытряхивая песок из ботинок. В прозрачном небе исстает саксаульный дымок. Мы слышим его сладостный, гниловатый запах. Сторож святой могилы, тощий длиннопольный старик, встречает нас у входа в кибитку. Собственно говоря, он не встречает нас, а выходит из кибитки и направляется к очагу, держа в руке обугленный кумгал.

— Салам, — говорит Ачилов, подходя к старику.

Ачилов всегда очень солиден, вид у него пачальственный. Он толст, хотя и молод, на нем белый шелковый пиджак, полотняные брюки и шляпа из настоящей рисовой соломки.

Старик певнятно отвечает на приветствие. Присев на корточки возле очага, он медленными движениями бросает в костер веточки саксаула.

— Та-ак... Хорошо-о...— говорит Ачилов до-русски и тоже садится на корточки. Говорить ему лень, вся эта история насчет Омара не слишком его интересует, по все же ради меня он заводит со стариком длинный разговор.

Они говорят по-туркменски. Ачилов несколько раз повторяет слово «Омар», и это единственное, что я понимаю из пачала разговора. Затем старик оживляется, он встает, голос его звучит все громче и все более сварливо. Он явно чем-то недоволен. Теперь он говорит один, выкрикивает отрывистые, редкие фразы, а Ачилов только кивает и вставляет одпосложные замечания. В клокочущей речи старика я улавливаю слово «справка». Каждый раз, произнося его, старик гневно и презрительно взмахивает ладонью. Да, он разозлился не на шутку.

Ачилов объясняет что-то неуверенным тоном и тоже произносит слово «справка». Их беседа звучит для меня как шум бурлящего ручья и слово «справка» мотается в этом потоке, как щепка.

Старик плюет в костер, хлопает себя по ляжкам и вповь садится на корточки. Разговор, по-видимому, окончен. Мы прощаемся и уходим.

— Что же выяснилось насчет Омара?

— Ай, пичего не знает,— говорит Ачилов.— Он сейчас о пепсии хлопочет. Колхоз должен дать ему справку, что он работал чабапом, и почему-то задерживает. Волокита, слушай...

Ачилов записывает что-то в блокнот. Он обещает помочь старику. А я думаю о том, что еще недавно у старого чабана не было этих забот. Не было ни капала, ни бетопированного колодца, ни пепсий.

Шуршит и льется песок в песочных часах вечности, и мы не замечаем этого, как не замечаем, например, вращения земли. Но иногда бег времени становится поразительно ошутимым, и вдруг мы слышим его, как нашу кровь, стучащую в висках.

1959

I

Полдень в Ясханской столовой, где я сосу четвертую кружку пива, ожидая машинку на Казанджик. Пиво тут редкость. Утром привезли две бочки из Казанджика, сейчас буфетчик доливает остатки. Прослышав о пиве, работники набежали издалека, даже с метеостанции, а это семь километров отсюда. Пиво неважное, теплое. Рабочие толкуются возле стойки, пьют с жадностью, не садясь, сопят, крикают, обсуждают вкус, запах, количество пены, сравнивают с другим пивом, которое они пили когда-то в других городах, и в общем поругивают, но, опустошив кружку, сейчас же тянут руку через головы с просьбой повторить.

За столом в углу сидит коренастый, крепко загорелый мужик лет за сорок, со светлыми висячими усами, и тянет из кружки не торопясь, помалу. Это плотник Фарафонов, человек на Ясхане почтенный.

Степешным голосом плотник говорит, обращаясь к сидящему рядом с ним туркмену в стеганой п, кажется, невыносимой в такую жару, телогрейке.

— Я ведь с этой женщиной жил. Она была тогда хорошая, полная... — Напротив плотника за столом сидит женщина в темном платке, в истрепанной и коротковатой для нее, должно быть детской, лыжной курточке, с ребенком на руках. Лицо не по-здешнему бледно, изнурено, большие матово-черные глаза смотрят на плотника с усталой и какой-то оцепенелой покорностью.

— Да, хорошая была женщина, полная, — повторяет плотник, вполоборота повернувшись к женщине и глядя на нее презрительно. — И ребенок был хороший, такой полный... И вот — на тебе.

— А ребенок тоже твой? — спрашивает туркмен.

— Не. Зачем? Ее. Гляди, до чего себя довела. Одни мослы да кожа... И вот спроси ее теперь: зачем приехала? И сама не знает. Потому я ей никто, ни муж, ни родствен-

ник, чужой человек, можно сказать. Абсолютно чужой, вот как ты, к примеру, или вон тот мужик. У нее на меня никакого закона нету, понял?

— Понял,— сказал туркмен.

— Это же надо дотумкаться: мослы да кожу привезла из самых из Бронниц. Одной дороги сюда — понял? — две недели с лишком. Оборвалась вон, срамота глядеть...

Плотник говорит негромко, потягивает пиво и курит, сбрасывая пепел деликатно: не на пол, а в тарелку с остатками еды. Женщина тупо молчит. Туркмен смотрит на нее, хмурия брови и стараясь сделать свирепое лицо, он заметно пьян. Плотник тоже пьян, но держится хорошо.

— А все почему? — спрашивает плотник, обращаясь к туркмену. — Не путайся! Все через это, товарищ. Одно тебе слово скажу: не путайся. Понял? И — все. Не стыдно? — Он вновь поворачивается к женщине. — Не стыдно, спрашиваю? Эх ты, женщина, до чего себя атрофировала...

Он встает и, слегка пошатываясь, с пустой кружкой идет к буфету. Брюки у него очень широкие, волочатся по полу. Перед ним расступаются и пропускают его к стойке. Через минуту, наполнив кружку и берсикпо держа ее на уровне лица, плотник возвращается, садится и некоторое время смотрит на кружку с задумчивостью, затем подносит ко рту.

Женщина вынимает из кармана скомканную тряпочку, вытирает глаза.

— Чиво плачешь?! — рычит туркмен, желая понравиться плотнику, и грозно вращает глазами.

Плотник слабо машет рукой и отворачивается. Лицо у него гордое и презрительное.

В столовую всгает шофер, кричит: «Кто в Казанджик? Давай заряжай!» Я поднимаю рюкзак с пола и поспешно выхожу на улицу, в зпой.

II

Однажды, застряв на ночь, до рассвета, в маленьком лагере мелиораторов, я сидел в палатке и читал дневник женщины. Не знаю, зачем она мне дала его. Она видела меня впервые, я ее тоже. Утром я должен был уехать из этого лагеря и вряд ли когда-нибудь вернулся бы сюда. Я был не то что случайный гость, я был — никто, человек с лупы. И, может, именно поэтому, зная, что утром я ис-

чезну, женщина и дала мне тетрадь. Женщине было лет пятьдесят, у нее было сильно обветренное, морщинистое лицо, в волосах седина, но глаза блестящие, и она все время улыбалась, разговаривая со мной.

Она была из Москвы, коренная москвичка, инженер-агролесомелинатор, одиннадцатый месяц в песках. В Москве осталась дочь-студентка, недавно вышедшая замуж тоже за одного студента.

У меня всегда щемило сердце, когда я встречался в пустыне с людьми, которые обязаны были там жить и работать долгие месяцы, годы, а я, едва познакомившись, быстро прощался с ними и уезжал навсегда. Мне казалось, что я чем-то виноват перед ними. Я слишком быстро прощался. А они оставались — на долгие месяцы, на годы...

Ночь была холодная, я сидел в плаще. Кто-то храпел в дальнем углу, куда не попадал свет электрического фонаря, загороженного куском фанеры. Бородатый человек лежал рядом со мной на животе и что-то писал на листе, вырванном из школьной тетрадки: может быть, письмо домой. А я читал дневник женщины.

«Сегодня 8 марта. В штабе состоится вечер, но я отказалась пойти: во-первых, я не люблю веселиться со штабистами, во-вторых — там будет «он»...

...Я, кажется, сошла с ума! Я думала, что у меня все сгорело внутри, но, оказывается, нет! Я вхожу и — о ужас! — «он» сидит с дамой.

...Мне уже 52 года, но все дают мне 40—45. Говорят, что у меня хорошая фигурка, красивые ноги, особенно если на высоком каблучке. У меня очень красивый подъем ноги, пышные волосы...»

И рядом — трогательные слова о дочери, совершенно искреннее, материнское чувство:

«...Как там моя дочурка? Я так жалею, что позволила им купить телевизор — они будут хуже заниматься. Я боюсь, что у них не залажен как следует быт. Девочка моя, как я еще нужна тебе!»

Все это перемежано с деловыми записями о работе: «Сегодня прошли два визира, заложили два шурфа и взяли три геоботанические площадки». «Непогода. С утра был выезд на работу, но из-за сильного ветра с песком выпущены были вернуться домой и заняться камеральной работой». В обычный день они выходят в поле рано, работают часа четыре под палищим солнцем и потом, в перерыв бе-

гут скорей к машине, ложатся под раскрытые борта, в тень...

В палатку кто-то вошел. По тому, как женщина заговорила — у нее изменился голос,— я понял, что вошел «он».

Ему было тоже лет пятьдесят. Он был маленького роста, невзрачен, сутул, с каким-то кривым лицом. Он ходил по палатке, потирал руки и говорил: «так-с, так-с».

1959

Он единственный доктор на площади примерно в пятьдесят тысяч квадратных километров. Правда, эта площадь — пустыня. Его знают все чабаны, верблюдчики, изыскатели, шоферы и буровщики, блуждающие на пространных от Донаты до Казанджика и на север, до самых дальних колодцев. И все они называют его «доктор Гриша».

В тот день, когда привезли чабана со сломанной ногой, доктора Гриши не было в лагере. Он уехал в Ашхабад. Его вызвали для того, чтобы перевести на другую работу, в город Н. Все в лагере были опечалены. Ходжа-Кули Насруллаев — так звали чабана — сломал ногу, упав с ишака. Это случилось далеко в песках. Ходжа-Кули пополз к тропе, но вскоре выбился из сил и лег. Он снял свою комсатую, из черного бараньего меха шапку «тельпек», надел ее на чабанскую герлыгу и стал ждать, когда кто-нибудь его заметит. До конца дня его никто не заметил, и он переночевал в песках. Ишак куда-то ушел. На другой день в полдень чабана заметил шофер грузовика Липатов, который вез в лагерь рабочих, укладывавших сучья саксаула на тропе, и подобрал.

Медсестра Лариса определила перелом и вызвала по радио самолет санитарной авиации. К вечеру прилетел ПО-2. В столовой появился молодой загорелый летчик с глазами светлыми и треугольными, как у рыси.

Он пил пиво и рассказывал о катастрофах, которые случались с ним в песках. Начинал он так:

— Погода была следующая: низкая облачность, метров триста — четыреста, ветер северо-западный...

Сложность заключалась в том, чтобы заставить Ходжа-Кули сесть в самолет. Он не хотел никуда ни лететь, ни ехать до возвращения доктора Гриши. И вообще он не хотел знать никакого врача, кроме доктора Гриши. Утром в воскресенье мы пришли его уговаривать: медсестра Лариса, местный учитель Чарыев, летчик и я.

В юрте было дымно. Ходжа-Кули лежал в углу юрты, выставив из горы кошм и тряпья свою черную бороду и глядя на нас подозрительно. Его жена, совсем старуха с виду, сидела на корточках перед очагом, разложенным посреди юрты, и пекла хлеб. Он был уже почти готов. Женщина валяла плоскую лепешку в золе, переворачивая ее так и этак, потом обмахнула и отбила лепешку тряпкой, разломилась на несколько кусков и, не глядя на нас, подала каждому из нас по куску. Хлеб был такой горячий, что обжигал пальцы.

Учитель Чарьев говорил по-туркменски. На все его уговоры Ходжа-Кули мотал головой и цокал.

— Говорит, доктор Гриша приедет — сделает, как надо, — объяснил Чарьев и в раздражении закричал на чабана: — Доктор Гриша тебе святой Аллах, что ли? Все может сделать? Тебе в больницу надо!

— Ай, доктор Гриша знает...

— Доктор Гриша не может наложить вам гипс! — закричала медсестра Лариса. — Понимаете? У вас серьезная травма! Вы останетесь хромым на всю жизнь!

Все было бесполезно. Летчик, стоявший сзади, зашептал мне в ухо:

— Берем его пахалом: вы за ноги, а я под микитки...

— Да нет, — сказал я. — Нельзя же за ноги.

— Ну его к черту! — сказал Чарьев, бледный от злости. — Пускай остается, если такой человек!

Когда мы вышли из юрты, Лариса разрыдалась. Она сказала, что доктор Гриша будет ее сильно ругать. Летчик поглядывал на небо: надо было скорее лететь, начавшаяся сильный ветер.

Через день приехал доктор Гриша. Я был знаком с ним раньше. Он высокого роста, седой и такой сутулый, что кажется горбатым. У него водянистые голубые глаза в красноватых веках. Доктор Гриша и Лариса прошли в юрту Ходжа-Кули, и вскоре оттуда раздались громкие голоса и крики.

Первым появился доктор Гриша. Размахивая длинными руками, он гневно орал:

— Какого дьявола! Не увидеть простейшей симуляции! И вам не стыдно? Позор! К тому же вы не знаете людей: этот Ходжа-Кули сам — лучший костоправ.

Лариса спотыкаясь бежала сзади.

— Какой срам! Будущий врач!

Он орал так громко, что из соседних юрт повылазили люди и где-то залаяла собака.

Перед сном я зашел к нему сыграть партию в шахматы. Он лежал в очках на койке и читал книгу. Я спросил, как его дела и остается ли он в лагере. Он сказал, что остается.

— Куда я от них уеду, от этих бандитов? На кого их оставляю? Вы же видели сегодняшшний срам...

Мы расставили шахматы. Доктор Гриша играл в шахматы азартно, но плохо. Он подолгу, мучаясь, думал над каждым ходом. Я спросил, зачем Ходжа-Кули понадобилось симулировать перелом ноги.

— Зачем понадобилось? — спросил доктор Гриша.

— Ну да, — сказал я. — Зачем ему это?

Доктор Гриша помолчал, глядя на доску.

— Вы спрашиваете, зачем ему это?

— Да.

Он взял фигуру и стал тереть ею лоб. Руки у доктора Гриши были такие же коричневые, как у чабана, и на одном пальце — кольцо. Доктор сделал ход и посмотрел на меня с тайным торжеством: ему казалось, он сделал очень глубокий ход.

— Интересно, — сказал я. — Подумаем... Так зачем ему это понадобилось?

— Зачем? Это, понимаете, такая дурацкая демонстрация любви ко мне. Когда я сказал, что остаюсь на медпункте, он вскочил на ноги и стал трясти мою руку. Разве, говорит, отец бросит своих детей? Нет уж, говорю, избавьте меня от таких детишек...

Я вспомнил, что мне рассказывали про детей доктора Гриши. У него было четверо: три дочери и сын. Они все погибли десять лет назад в одну ночь, во время ашхабадского землетрясения. Жена доктора тоже погибла. Доктор Гриша спасся совершенно случайно: в минуту толчка он стоял в дверях и поперечный косяк каким-то чудом удержался. Доктора Гришу засыпало так, что он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, но он остался жив, и его откопали утром. После землетрясения доктор Гриша уехал из Ашхабада и стал работать в пустыне.

— Нет уж, избавьте меня от таких детишек, — повторил доктор Гриша. — Кто должен ходить: вы или я?

— Вы.

— Ага. — Он склонил над доской седую голову. — А что я должен делать? Как по-вашему, что я должен делать?

Выходим на улицу втроем: Яков, Ачилов и я. Ждем такси, которое вызвали час назад. Пустынная улочка окраины Ашхабада. Одноэтажные домишки. Теплая темь. Редкие фонари вдали, за деревьями. И — небо, полное звезд.

Как всегда в южных городах, откуда-то тянет запахом уборной.

Мы немного навеселе. Громко разговариваем. Какой-то человек приближается к нам из темноты и говорит что-то невразумительное, вполголоса. Вот он подошел, остановился.

Мы удивленно смотрим на него.

— Что вам нужно?

— У вас есть топор? — наконец внятно спрашивает человек. Он маленького роста, сухой, темнолицый, в темном костюме и кепочке, какие носят рабочие.

— Зачем вам топор?

— Нас два товарища: один — русский, другой — испанец. Я испанец, — торопливо объясняет человек и зачем-то вынимает бумажник, достает паспорт.

— Не падо, мы вам верим. Ну и что?

— Мы живем одна комната. Он куда-то ушел, дверь закрыл, а я что должен — на улице почевать?

Испанец говорит заикаясь, нервным тихим голосом и таким тоном, точно мы виноваты в том, что он оказался на улице. Глаза у него круглые и светлые: это видно даже в темноте. Может быть, он пьян. Может быть, он вовсе не испанец. Всё это как-то нелепо и неожиданно.

— А зачем все-таки вам топор? — помедлив, спрашивает Ачилов.

— Дверь ломать! Зачем топор? Дверь ломаю, войду в комнату!

Испанец глядит на нас обиженно и сердито, и вместо с тем в его хрупкой фигурке, в его глазах и маленьком сухом ротике — что-то жалкое, детское.

— У тебя есть топор? — спрашиваю я Ачилова.

— Не знаю. Где-то был без ручки...

— Дайте без ручки, хорошо! — Испанец говорит на таком же ломаном русском языке, как Ачилов.

Толстый Ачилов не торопясь идет в дом. В одной из комнат зажигается свет. В остальных окнах и во всех домах на улице темно. Третий час ночи.

— Значит, вы испанец? — спрашивает Яков.

— Я испанец, да. — Он снова лезет за бумажником.

— Да мы верим вам!

— Нет, если вы думаете, что я вор или кто-нибудь...

— Вы из тех испанских детей, которые приехали в тридцать восьмом?

— Нет, я не детей! Я взрослый приехал.

Он и сейчас похож на подростка. Сколько же ему было лет, когда он приехал? Девятнадцать. Он приехал из Франции в 1941 году.

— Я работаю бетеринар. Колхоз Чапаева, далеко...

— А учились в Москве?

— Почему Москве? Франция учился! Бетеринарная школа.

Каждую фразу он произносит с обиженным недоумением. Желая блеснуть эрудицией, Яков заводит разговор об испанской войне. Узнав, что наш собеседник — наваррец, он утверждает, что Наварра, Астурия и вообще север были самыми надежными районами республики. Испанец вдруг необычайно оживляется. Он говорит о войне так, точно она была вчера. Он горячится. Он ругает Даладые и генерала Миаху, восхищается Барселовой и Мадридом и клеймит Толедо.

Боже мой, как это было давно! О, магические, волшебные имена детства: Каса дель Кампо, генерал Вальтер, генерал Лукач... А что было потом? О, потом! Целая жизнь. Миллион жизней. Потрясения и надежды. Но для испанца не существует «потом». Он все еще бредит выжженной Сиеррой-Невадой, и прокликает Франко, и горячится. Сердитый маленький человечек, вечный юноша, вечный испанец...

И так странно слышать его воспаленную речь — может быть, он действительно кемпного пьян? — на этой почной ашхабадской улице, где лают собаки, и пахнет уборной, и все еще нет такси (шофер, наверно, заехал домой полить чайку), и огромное азиатское небо полно звезд и

одинаково равнодушно к генералу Вальтеру, и к генералу Миахе, и ко всем псапцам на свете!

— Парле ву франсе? — жадно спрашивает он у Якова. Тот отрицательно качает головой.

— Есть тут еще испанцы?

— Нет. Я один Ашхабад.

— А семья у вас есть?

— Жена есть. Она на Украине, в Херсоне. А здесь я один.

Почему он здесь, а жена на Украине? И почему он выбрал Ашхабад? Испанцев много, он мог бы жить в других городах и встречаться с соотечественниками, говорить с ними о Каса дель Кампо и генерале Вальтере. Я не решаюсь спрашивать.

— Жена у меня украинка, — говорит он.

— А почему вы не живете с ней? Вы могли бы работать ветеринаром и в Херсоне, — говорит Яков. — Или она могла бы приехать к вам.

— Могла бы? — переспрашивает он, загадочно усмехаясь. — Нет...

— Почему же?

Он вновь усмегается и пожимает плечами. Вид у него очень таинственный.

— Человек не живет сам, — говорит он тихо и несколько напыщенно и поднимает палец. — А жизнь сама знает, как лучше. Правильно?

— Безусловно.

— Ну вот. И не надо спрашивать.

Из дома выходит Ачилов.

— Топора пет, — говорит он. — Искали, искали — пет пигде. У нас ремонт дома.

Испанец вздыхает.

— Ну что ж... Буду почевать на улице.

Он не уходит, а мы продолжаем стоять.

— Хотите закурить? — спрашиваю я.

— Нет. Я не курю. Спасибо.

— Вы — испанец? — говорит Ачилов и издали деликатно тычет в маленького человека пальцем.

— Да, да. Я испанец.

Помолчав, Ачилов говорит:

— Это хорошо...

И мы слова молчим. Испанец все еще не уходит. Мы ждем такси. И наконец оно подкатывает. Испанец садится с нами, с Яковым и со мной: он тоже хочет поехать

в гостиницу. Он не хочет почевать па улице. Ачилов прощается, и мы едем. В машине душно даже теперь, ночью.

— Теплая ночь,— говорю я.

— В Испании еще жарче, чем здесь,— говорит испанец.

— Жарче?

— Да. Гораздо жарче.

— Ну, не везде! — говорит Яков, желая еще раз блеснуть эрудицией.— В горах Невады, вероятно...

— Жарче,— говорит испанец твердо.— Всегда жарче.

В буфете аэропорта, где всегда суета, первность, пассажиры отсчитывают минуты, где пахнет борщом, который некогда есть, где офицпапки мечутся между столиками, где летчики в кожаных куртках пьют возле стойки сметану из граненых стаканов, встретились два человека, которые не виделись много лет. Один из них сидел в компании молодых людей в клетчатых пиджаках за столиком возле окна, пил коньяк и ел заливную рыбу, густо приправляя ее хреном. Другой пил чай, сидя за столом возле двери. Они оба заметили и узнали друг друга, но еще не решились подойти и поздороваться. Слишком долго они не виделись.

Потом тот, что пил чай, поднялся и, посмеиваясь издали, медленно пошел к столику возле окна.

— Здравствуй, Величкин Толя! — негромко сказал он, останавливаясь в трех шагах от столика.

Человек, которого называли Величкиным Толей, повернулся вполоборота. Он был крупного роста, большоголовый, рыхлый, лет сорока пяти. Судя по его галстуку, значкам, приколотым к пиджаку, по пачке сигарет, лежавшей на столе, он летел из-за границы. Может быть, из Японии или из Вьетнама. Увидев подошедшего, он сделал вид, что заметил его только сейчас, сию секунду.

— Галецкий? Аркадий? — спросил он, привстав, и вдруг порывисто, с некоторой театральностью вскинул руки. — Аркашка! Как ты здесь очутился?

— Что значит — очутился? Я не очутился...

— Постой, постой! Ты сначала садись и выпей. Мы тут празднуем прибытие на родную землю. Ребята, познакомьтесь: это Галецкий, мой одноклассник, мы вместе учились в Институте физкультуры в Москве лет примерно... сколько же?.. лет восемнадцать назад.

— Да говори уж двадцать, — сказал Галецкий. — Двадцать годков как копчили.

— Ну двадцать — двадцать пять — какая разница? Для этих молокососов все это одинаковая древность. Называется «до войны». Они тогда в песочек играли на Тверском бульваре. А мы уже гоняли в футболешик за первенство вузов, вот этот Аркашка Галецкий стоял в голу сборной института, а я, представьте, играл на краю.

Кто-то из молодых людей недоверчиво хмыкнул.

— Когда ты играл на краю? — спросил Галецкий.

— Я? Конечно, играл! Только не в первой команде, а во второй. Еще Петька Щипанов со мной играл, Проценко, Михай Белобородов... А где Михай сейчас?

— Не знаю.

— Говорят, где-то здесь, в Сибири. Кто-то мне говорил.

— Не знаю. Я человек тасжный, ничего не знаю. Это вы, столичные деятели...

— Да мы, столичные деятели, тоже ничего не знаем. Всех разбросало. Я тут встретил как-то Сою Кудинову на курорте. Помнишь ее? С внуками отдыхала. Она про Михея что-то рассказывала, но я уже забыл что.

Галецкий присел к столу. Он был худощав, с сутулой спиной, с обветренным, в жестких морщинках, грубо затопорелым лицом старого спортсмена или охотника. Когда он улыбался, обнажались два ряда металлических зубов.

Деловязые молодые люди в клетчатых пиджаках оказались волейболистами. Они возвращались из месячной поездки в Японию. Величкин был у них руководителем. Нет, не тренером, а именно руководителем, то есть он руководил всеми, всей делегацией. Тренер скромно сидел в углу стола — щупловатый, смуглый, с черными галочьими глазами юноша по имени Марат. Спортсмены по очереди вставали, пожимали Галецкому руку и называли себя. Они делали это довольно небрежно. Галецкий не вызывал у них интереса, он казался им старым и провинциальным. Они сейчас же заговорили о чем-то своем, а Величкин и Галецкий начали вспоминать прошлое.

Величкин по временам прерывал воспоминания и вскрикивал возбужденно:

— Позволь, в чем дело? Почему ты не пьешь?

— Я уже выпил, Толя.

— Что ты выпил? Какую-то каплю!

Галецкий морщился, крутил головой и одновременно водил своей огромной красной рукой перед носом. Кожа

на его руках была в садинах и царапинах, как у деревенского жителя, которому часто приходится иметь дело с дровами и топором, а кощы пальцев были желтые от табака. В своем коротком пиджачке, в старых полинялых лыжных штанах он выглядел невзрачно рядом с толстым, солидным Величкиным. Но Галецкий не замечал этого. Наоборот, он все время чему-то радостно улыбался, перебивал Величкина и с фамильярностью шлепал его по толстой ноге: «А ты, Толя, разжирел безобразно! Куда это годится!»

Говорили они сбивчиво, торопясь, прерывая друг друга. Особенно спешил Галецкий. Самолет на Москву должен был отлетать через тридцать пять минут, а в поселок Чижму, куда летел Галецкий, самолет уходил еще раньше.

Два человека не виделись двадцать лет. Они расстались юношами, а встретились поседевшими, помятыми жизнью мужчинами. Война, потеря близких, годы труда, надежд, устройство дома, маленькие удачи, которые когда-то радовали, а сейчас забылись, — все это они пережили порознь. Они стали совсем разными людьми. И жили за тысячи километров друг от друга. И ничто их не связывало, кроме давнишних воспоминаний. Величкин пошел по административной линии, работал в центральном совете крупного спортобщества, часто ездил за границу — был, одним словом, человеком начальственным, а Галецкий давно уже стал рядовым винтиком огромной физкультурной машины. Он работал преподавателем физкультуры в Чижминском лесном техникуме. Вот куда докатили его волны моря житейского. Ему очень нравилось жить в тайге. И своей работой он был доволен. А Величкину нравилось жить в столице и разъезжать по разным странам. Они оба были в общем довольны.

Сейчас они пытались рассказать друг другу о том, как они прожили эти двадцать лет, и чего добились, и как они в общем довольны. Но разве можно рассказать жизнь!

Разговор был бессмысленный. Они говорили о чем-то пустяковом, вспоминали всякую чушь, перебирали в памяти людей давно забытых, пенужных, о которых оба не вспоминали годами и, не встретясь сейчас, не вспомнили бы еще десять лет. Никто, кроме щуплого тренера, не прислушивался к их разговору. Тренер смотрел на них пристальными круглыми, как у птицы, черными глазами

и улыбался в душе. Итог жизни этих старых людей казался ему незавидным. Один стал чиновником, другой прозябал в глуши. Тренер был молод, честолюбив и наделен волей. Говорили, что он «далеко пойдет».

Усмехаясь незаметно, уголком рта, тренер слушал, как Величкин рассказывает о своих поездках за границу: он объездил уже восемь стран. В некоторых странах бывал по три-четыре раза, даже надоело. Больше всего ему понравилась Швеция — очень дешевая страна. Швеция не воевала полтора года. Если покупать шерстяные вещи, так только в Швеции. Вот уж действительно дешевка, так дешевка! А в Италии...

— У нас, между прочим, тоже встречаются шведские вещи, — сказал Галецкий. — В Дудинку заходят шведские корабли, моряки продают барахлишко, а к нам это попадает по Енисею.

— А в Италии, — продолжал Величкин, — очень дешевое вино. — Вот, например, вермут «Чинзано», который в Чехословакии стоит пятьдесят крош...

— Толя, знаешь что? — перебил его Галецкий. — Я хочу познакомить тебя с моими ребятами, учениками. Ведь я, кроме общей физкультуры, веду занятия с футболистами — в порядке, так сказать, общественном. Вот два моих орла сидят...

— А сколько у нас времени? — спросил Величкин у тренера.

Тот взглянул на часы и сказал, что надо расплачиваться, времени осталось семнадцать минут. Волейболисты стали поспешно допивать пиво. Кто-то из них подозревал официантку. Молоденькая пышногрудая девушка с ярко накрашенными губами подбежала к столу, облокотилась на него голой до плеча, крепкой белой рукой и начала что-то шептать и чиркать карандашом в блокноте.

Галецкий энергично жестикулировал, подзывая к столу двух своих учеников, которые все еще сидели возле двери и пили чай. На стульях рядом с ними лежали два туго набитых мешка. Ученики стояли в нерешительности, не зная, что делать с мешками.

— Тащите их сюда! — закричал Галецкий. От возбуждения и нервозности лицо его покрылось потом.

Два коренастых пареня, насуленные и побагровевшие от смущения, подтащили мешки к столу и встали рядом. Галецкий сказал, что в мешках находится двадцать

пар футбольных бутсов. Достали их с большим трудом. Из-за этих бутсов он с ребятами мытарился в городе восемь дней, прожились до копейки, но зато своего добились. Не стыдно возвращаться в Чижму. Парни переминались с ноги на ногу и смотрели на волейболистов с немym мучительным интересом.

— А вот с этим толстым пожилым товарищем мы когда-то гоняли в футбол. Он, как видите, потерял форму, — Галецкий шутливо приосанился. — А я, кхе-кхе, еще держусь.

— Да, да. Ты держишься, — проворчал Величкин, которому замечание Галецкого не очень понравилось. — Ну, а что это за молодые люди, кому ты меня представляешь так торжественно?

— А это, Толечка, мои питомцы, игроки чижмипской юпошеской команды. Могу похвалиться — они чемпионы края, завоевали приз крайкома комсомола.

— Поздравляю. Это замечательно.

— Замечательно не замечательно, а все же приятно. Не зря хлеб жуем. Верно, ребята? И могу еще похвалиться, — продолжал Галецкий, разгорячась и торопясь все высказать за оставшиеся минуты. — Слышали такого футболиста — Ивана Краснококова?

— Я не слышал, — сказал Величкин.

Трепер пожал плечами.

— И я нет.

— Неужели не слышали? — Галецкий смотрел на них огорченно и с изумлением. — Ведь он сейчас у вас, в Москве... Краснококов Иван...

— Краснококов? Первый раз слышу, — сказал Величкин.

— Погодите! — сказал один из волейболистов. — По-моему, есть какой-то Краснококов в «Крыльях Советов». Только он в дубле играет.

— Верно, верно! Он в дубле пока что! — обрадованно воскликнул Галецкий. — Значит, вы знаете? Есть такой?

— Вроде есть...

— Так вот, они взяли его из Красноярска, а в Красноярск он попал в позапрошлом году из нашей Чижмы. Играл у меня целый год. Парень золотой. Вы увидите, он еще в этом сезоне прогремит.

— Дай ему бог, — сказал Величкин. — Хотя Москву удивить трудно. Сколько с нас, девушкака?

Официантка все еще чиркала в блокноте. Волейболисты смущали ее своими расспросами и комплиментами, которые они сыпали наперебой, щеголяя друг перед другом. Больше месяца они не видели русских девушек. Величкин расплатился за весь стол: он отдал семь пятьдесят и еще полтинник на чай. Девушка не сразу поняла, что ей дают на чай, а когда поняла, то покраснела и почему-то прошептала: «Пожалуйста». Потом Галецкий заплатил сорок восемь копеек за себя и за двух своих питомцев.

— Будешь в Москве, Аркадий, прошу ко мне, — говорил Величкин. — Живу я на Фрунзенской набережной, в новом доме. Квартира у меня хорошая, большая, и Лужники рядом.

— Спасибо, может, и приеду на спартакиаду. А ты бы ко мне погостить, а? Охота у нас отличная! А рыбы у нас!

— Ты не пропадай, Аркаша. Запиши свой адрес.

— Где записать-то?

— Да вот... Ну, здесь хотя бы, на пачке сигарет.

— Толя, старик...

— Счастливо, дорогой! Рад был тебя увидеть.

Ученики уже понесли мешки с бутсами к выходу. Галецкий и Величкин долго трясли друг другу руки, обещали писать, не забывать, говорили, что хорошо бы как-нибудь встретиться всем вместе в Москве или где-нибудь на юге, вызвать Сою, Михея, Васю Проценко, если он жив-здоров. Потом Галецкий пожал руки волейболистам и тренеру, сделал еще один общий прощальный жест и быстро зашагал к выходу. Держался он прямо, и походка у него была бодрая, молодецкая, и совсем бы он казался молодым человеком, если бы не торчавшие сзади из-под кепки седые клочковатые волосы.

Тренер взглянул на часы.

— Через пять минут нам пора, Анатолий Кузьмич, — сказал он.

Величкин сидел, задумавшись, и ковырял спичкой в зубах. Помолчав немного, он сказал:

— Вот этот самый Аркашка Галецкий всегда был неудачником. И в институте и вообще... И черт его знает почему! — Он вздохнул сочувственно. — Как-то не везет ему всю жизнь... Помню, мы ухаживали за одной девчонкой вместе, он и я. Был такой период. Очень люто соперничали.

— Ну и чем кончилось? — спросил тренер.

— Это целая история. В конечном счете я, кажется, победил.

Разговаривая, они встали из-за стола и пошли к выходу. Впереди шли волейболисты в клетчатых пиджаках и ярко-голубых тренировочных брюках. Все женщины, сидевшие за столиками, украдкой смотрели на этих высоченных парней.

Величкину хотелось, чтобы тренер проявил интерес к истории его соперничества с Галецким, стал бы его расспрашивать, и он бы вспомнил кое-какие подробности, которые приятно оживить в памяти, но тренер только сказал скучным голосом: «Это здорово, Апатолій Кузьмич, что вы победили», — и, вдруг сделав два быстрых шага, догнал волейболистов и заговорил с ними о волейбольных делах. Через две недели в Москве им предстояла встреча с командой Польши.

Величкин обиделся и парочно отстал от волейболистов. Заложив руки за спину, он медленно шел позади всех и смотрел то по сторонам, то в небо. Было ветрено, и пахло влажной после дождя, осенней землей. Величкин подумал о том, что в Москве он еще застанет теплые дни. Можно будет пожить на даче.

Треща мотором, низко пролетел маленький щавелевого цвета почтовый АНТ. «Аркашка полетел в свою Чижму, — подумал Величкин. — И как он там живет? Убей — но пойму...»

Величкин даже не спросил Галецкого, женат ли он и есть ли у него дети. Надо в следующий раз спросить. В какой следующий раз? Он вдруг понял, что следующего раза не будет. Никогда больше он не увидит Галецкого. Никогда в жизни...

В кабине почтового самолета на откидных стульях сидели шесть человек: Галецкий со своими питомцами, молодая женщина, похожая на доктора или медсестру, державшая на коленях маленький чемоданчик, и два рабочих леспромхоза в одинаковых темно-фиолетовых плащах. Один из рабочих читал растрепанный «Огонек», другой сидел бледный, пахляк, приготовившись к качке. Мотор ревел, разговаривать было трудно. И все же Галецкий громко кричал, обращаясь к своим ребятам:

— Когда-то он был влюблен в мою жену! В Наталью Дмитриевну! А парень он очень хороший... Жаль только,

жизнь у него сложилась как-то неудачно... Ведь он талантливый человек, а стал администратором...

Ученики Галецкого молча смотрели в окна. Им не казалось, что жизнь Величкина сложилась неудачно, но они и не завидовали ему. Нет, они были уверены, что им предстоит жизнь еще более заманчивая и прекрасная. И они с жадностью смотрели вниз, как будто надеялись увидеть свое будущее там, внизу, где проплывало рыжее бескрайнее, залитое прозрачным осенним солнцем таежное редколесье. С высоты трехсот метров каждое дерево было видно отчетливо, и тайга была похожа на мох.

Перед обедом пришла одна знакомая клиентка, пятьдесят два восемьдесят,— аккуратная такая, чистенькая, в плаще «болонья», белье сдавала тоже всегда чистенько, аккуратно и мужского много,— и спросила у Веры, не поедет ли она с субботы на воскресенье за город — убрать дачу. Вера спросила: много ли дел? Виду не показала, что обрадовалась. А обрадовалась очень, потому что деньги нужны были до зарезу, и этот зарез обозначился именно сегодня, утром, и Вера до сих пор не могла прийти в себя и, бегая от прилавка к полкам, цеплялась за выбитую половицу. Это уж как закоп: чуть понервничает — всегда за эту половицу цепляется, чтоб она пропала, зараза.

Клиентка объясняла: помыть полы в четырех комнатах, три внизу, одна наверху, вымести сор, открыть рамы, ну как полагается после зимы. Говорила она быстро, небрежно, как о чем-то легком и пустяковом, о чем не стоит распространяться подробно, но Вера-то поняла, что она хитрит, ей важно получить согласие, а на самом деле работы там, конечно, будь здоров сколько, и работы тяжелой, тем более что зимой в доме никто не жил, не убирались. Но никакой работы Вера не боялась и поэтому подумала даже с радостью, что это хорошо, что работы много: заплатят больше. Деньги были очень пужны. Утром одна клиентка, старуха, сорок восемь сорок четыре — и цифр-то гадостная, одни четверки, — подняла шум из-за одеяла: подменили, мол, сунули вместо шестирублевого какое-то чужое, дешевое. Старуха была права, но спохватилась поздно, когда уже расписалась на двух квитанциях. Напутали упаковщицы, Вера была виновата только в том, что, выдавая, не проверила тщательно, а лишь пошгучно. Да ведь всегда так проверяла, и ничего не случалось. Искали-искали шестирублевое, нигде не нашли. Предлагали старухе замену, она отказывалась, требовала свое, и тут

Вера вспыхнула — потому что упаковщицы ее виноватили — и сказала, что старуха, мол, уже расписалась и мое дело маленькое. Та пошла к заведующей, к Раисе Васильевне, вызвала Веру, упаковщиц, орали, шумели — упаковщицы на Веру, она на них, насчет крика Вера всех могла переорать, потому что голос у нее хотя и хриплый, но очень дробный, пронзительный, — и, главное дело, было обидно, что ее одну виноватят, а упаковщицы как будто ни при чем. А сколько раз она упаковщиц выручала? Сколько раз чужое отдавала: возьми, не грехи, мне чужого не нужно. Ничего знать не хотелц, ничего не помнили: плати шесть рублей, и точка. А шесть рублей — деньги не маленькие. За них Вера три дня горбатится. Могли бы, кажется, войти в положение: у обеих мужья зарабатывают, могли бы по рублю кипуть, все легче. Куда там! А Евдокья, старшая упаковщица, еще насмежалась: ничего, мол, на два поллитра Сережка пострадает, и все дела. Такая ехидная, зараза: се это касается, на что Вера деньги тратит! Сама, паразитка, живет за мужвиной спиной, а как другие мучаются, об этом у нее понятия нет...

— Так как же, Вера? Беретесь? — спросила пятьдесят два восемьдесят (Вера успела в квитанции прочитать фамилию: Сивницына). — А то я с другими буду договариваться.

— Отчего же? Возьмусь. Где наша не пропадала!

— Может, вы помощницу найдете? Все-таки вы такая, ну — маленькая...

— За это вы не беспокойтесь, что маленькая. Я никакой работы не боюсь. Я на заводе с мужиками работала, заготовки таскала. — Вера немного шепелявила, у нее получалось так: «жаготовки ташкала». — А помощницу можно и найти. Найдем!

Вера сразу подумала про Зойку. Она всегда сразу вспоминала про Зойку: и когда работа подворачивалась, и когда гулянье, и если в продовольственном воблу выбрасывали или гречку. А Зойка — нет. Но Вера на нее не обижалась. Она знала, что Зойка больная, у нее печень испорчена, оттого она всегда злая, недовольная, да и забот у нее больше: двое ребят на руках и бабка старая. Кроме того, Вера понимала, что они с Зойкой никакие не подружки — подруг у Веры сроду не было, если не считать одной давнишней, Настеньки, с которой вместе во второй класс ходили, — а просто соседки, обе безмужние: у Веры

вовсе мужа не было, а Зойкин ушел лет пять назад, платил алименты.

Женщина сказала, что ждет Веру в субботу к четырем, дала адрес на бумажке, туда же телефон записала и фамилию: Сеницына Лидия Александровна.

В обед Вера поскорей побежала домой, надеясь застать Зойку дома и заранее спросить насчет субботы. Зойка работала уборщицей в школе. В воскресенье она наверняка была свободна, а насчет субботы пужно было узнать, если нет — договориться с кем-нибудь еще. Жила Вера в бараках, от прачечной через двор. Работа удобная, прекрасная, две минуты ходьбы — и дома.

«Бараками» жители Песчаных улиц называли пять деревянных двухэтажных домов, которые странным образом затесались в гущу многоэтажных корпусов, возникших тут — на месте пустырей, свалок, огородов, домиков сезонных рабочих — после войны, в начале пятидесятых годов. Никто не знал, почему эти пять барачков уцелели. Скорей всего произошла какая-то ошибка строителей. Лет десять назад жители пяти барачков еще пытались изменить судьбу, требовали сноса, переселения, ссылались на то, что их «неказистые строения портят общий замечательный вид района», им было обидно, что жители остальных барачков давно получили квартиры в новых домах, — а чем они, собственно, лучше? — но исправить ошибку было, видимо, нелегко, стройка ушла из этих мест, сметы закрылись, и неудачникам пришлось мириться со своей участью. Бараки были стиснуты высокими шестиэтажными домами с четырех сторон. Они напоминали деревушку в горной долине. И жизнь там шла своя, деревенская: с палисадничком, грядками с луком, сиренью в окнах.

На скамейке перед входной дверью сидела, как всегда, баба Люба — Зойкина бабушка, старуха лет под девяносто, в черном платке до глаз. Вера спросила, дома ли Зойка. Баба Люба кивнула, медленно опустив желтоватое лицо в глубоких морщинах, и рот, сжатый, без губ, тоже был как морщина. Рот вдруг разжался, баба Люба решила что-то сказать, но Вера уже не слышала, бежала по лестнице: она жалела бабу Любу, защищала ее иной раз от Зойки, но не любила стоять с ней и разговаривать. Ей казалось, что от бабы Любы пахнет как-то пехоронно, могильно.

Зойка в своем длинном байковом халате, в резиновых тапках на босу ногу стояла на кухне, варила кашу для

ребят. Услышав насчет уборки дачи, она сразу грубо ответила: дураков, мол, нет за город ехать, а уборки и в Москве завались. Вера привыкла к тому, что Зойка все ее предложения встречала в штыки, подозревая за ними какой-то умысел, невыгодный для себя и чересчур выгодный для Веры, и спокойно ответила:

— Смотри, я и одна могу.

Стала картошку разогревать, которую со вчерашнего дня пажарила. Полную сковороду навалила, подсолнечным маслом полила, япчко туда кикнула и остаток колбасы «отдельной», гузку граммов в пятьдесят, настрогала: вот и обед готов — дай бог всякому! Вера знала, что через минуту Зойка, одумавшись, спросит, как, да что, да за сколько договорилась. И верно, спросила. Вера сказала, что насчет цены разговору пока не было, а работа примерно такая-то. Рублей двадцать взять можно. Почему-то втемяшилась Вере именно эта цифра.

— Ладно, поглядим завтра, — буркнула Зойка и, взяв кастрюлю, с сердитым лицом пошла из кухни. И уже из коридора, скрывшись, вдруг крикнула: — Тебе бабка передала? Николай приезжал.

— Николай? — ахнула Вера. — А что сказал?

Вот человек: нет чтобы сразу сказать! Вера метнулась в коридор. Зойка шла к своей комнате и, не оборачиваясь, ответила:

— А я знаю? Он с бабкой разговаривал, у нее спроси.

Вера — опрометью вниз, к бабе Любе. Та подтвердила: приезжал Николай, огорчался, что не застал Веру дома, и велел сказать, что приедет в воскресенье вечером обязательно. Вера разволновалась и от радости даже чмокнула бабу в щеку. Она не видела Николая месяцев пять и думала, что никогда уж больше не увидит. На улице это было, после кино, смотрели в «Дружбе» какую-то картину, потом Вера хотела сбегать в продовольственный за бутылочкой, а он вдруг сказал: спасибо, ничего не пужно, и давай, мол, попрощаемся по-хорошему, потому что я иду. Вот как люди прощаются, которые четыре года гуляют: прямо на улице. Пожали друг другу руки и разошлись. Целый месяц потом Вера была как больная, трагиться хотела, но Зойка отговорила.

В субботу, в четыре, как было условлено, Вера и Зойка пришли к Синицыной на квартиру, в восьмизэтажный дом напротив «Гастронома». Зойка взяла своего Мишку, одиннадцатилетнего малого, который неделю назад

закончил учење и сейчас без дела шатался по дворе в ожидании лагеря.

Синицына поздоровалась приветливо, пригласила зайти в дом, по заходить было некогда, да и сама она стояла уже одетая, в плаще «болонья». Вера успела осмотреть переднюю, очень красивую, с большим овальным зеркалом, висевшим возле вешалки, как в театре. Передняя Вере поправилась, и она сразу сказала:

— Как у вас хорошо-то. Я у одной артистки убираюсь — здесь, на Чапаевском, — у нее тоже красиво отделано. Только у них коридор не так расположен, а вот так, так... — Вера стала показывать руками.

— Мальчик тоже с нами поедет? — спросила Синицына.

— Если вы разрешите, конечно, — сказала Зойка, улыбаясь лстыиво, и, как просительница, склонила длинное худое лицо набок. — Он у нас смирный! И помочь может.

Миша стоял, глядя в пол. В правой руке он держал сачок для ловли бабочек.

— Ага, он хороший мальчик, очень хороший, — подтвердила Вера. — Лида Александровна, только знаете, мне в воскресенье часам к шести надо непременно чтоб вернуться.

— Зависит от вас, девушки. Если кончим рапо, может, и к обеду вернетесь.

— А вот... ты насчет цены, Вера, не спрашивала? — робко подала голос Зойка.

— Нет еще. Насчет цены увидим на месте, какая работа. Верно, Лида Александровна? Вы нас, я думаю, не обидите, и мы вас тоже. А вообще денег побольше берите! — И Вера захохотала по-своему, дробно, раскатисто.

В коридор вышел молоденький черноватый паренек в очках, в белой рубашке. Он вежливо кивнул Вере и Зойке и сказал:

— Ну что, отправляетесь в путь?

— Кирилл, я тебя прошу завтра приехать, — сказала Синицына.

— Не знаю, там поглядим. А я тебя прошу не надрываться, — слышишь, мать? Я же знаю, будешь ишачить до потери сознания, а кому это нужно?

— Не буду, не буду ишачить, у меня вон какие замечательные помощники, но я тебя завтра жду. Ты понял,

Кирилл? Анатолий Владимирович поедет на машине, он тебя заберет. Тебе необходимо отдохнуть, подышать воздухом.— Сын подошел к пей, она взяла его за руку. Он был выше, смотрел на нее свысока и слегка улыбался.— И я надеюсь...

— Все будет нормально, мать. Но у меня масса дел, ты же знаешь...

— Анатолий Владимирович поедет утром.

— Хорошо. Как-нибудь доедем.

— Ну, до свиданья! — сказала Вера и улыбнулась молоденькому пареньку в очках так, как она привыкла улыбаться мужчинам, поджимая губы: впереди у нее не хватало двух зубов. Оттого она и шепелявила.

Вера взяла две швабры, ведро, где лежали пакеты порошка для мытья окон, и стала спускаться по лестнице. За нею пошла Зойка, неся две сумки: одну с едой, другую — большую клетчатую, в которую были набиты какие-то занавески, коврики, чайник, электроплитка и сверху лежала черная настольная лампа. За матерью ковылял, изогнувшись, волоча тюк с одеялами, Мишка. Последней шла Сивицына, несла еще одну сумку, маленькую сумочку и толстый рулон зеленой бумаги, который держала бережно, боясь помять. Спустившись на несколько ступенек, Сивицына сказала:

— А насчет цпы я не знаю, право... В прошлом году за такую же примерно работу я заплатила пятнадцать рублей.

— Вы прошлый год с нынешним не равняйте, Лида Александровна! — крикнула Вера снизу.

— Я не равняю, просто сказала, как платила в прошлом году. Но вам тоже спорить не резонно: вы же работы не видели.

— Конечно, конечно, — сказала Зойка рассудительно. — Надо посмотреть, а потом уж договариваться. Чудная ты, Верка...

— А сын у вас черпешкий. В отца, наверно? — крикнула Вера.

— В отца, — сказала Сивицына.

— Ага, я и гляжу, вы светленькие, а он — черпешкий-черпешкий!

Возле «Гастронома» на стоянке взяли такси, Сивицына села с шофером, остальные сзади, Вера к окошку, вещи положили в багажник, поехали.

День был ясный, теплый, середина июня, на сквере цвела зелень, народу повсюду было полно, как бывает в субботу в эти часы: и на троллейбусной остановке, мимо которой проехали, и у входа в продовольственный, и возле табачного киоска, у старика Моисейча. Вера радостно, во все глаза глядела через стекло, как бы узнавая свой тысячи раз виденный и знакомый до последнего окошечка, до кирпичика район заново, и сообщала:

— А у Моисейча-то какой хвост, гляди-ка! Во мужиков наставилось! И за мороженым, у Клавки... А вон мой клиент идет! Пятьдесят восемь десятых! Вон, вон, вон! — закричала она вдруг так азартно, что Синицына вздрогнула и обернулась, а шофер матюкнулся тихо.— Лида Александровна, гляди, вон мой клиент идет! С портфелем, с портфелем — вон, вон, вон! Пятьдесят восемь десятых! Очень хороший человек. Всегда сам приходит, а жена редко когда придет. Жена у него тоже симпатичная женщина, я ее знаю. Она здесь, у Сокола, в институте работает...

Выехали на Ленинградский проспект, Вера продолжала болтать. Настроение у нее было прекрасное, она как будто забыла о вчерашних невзгодах, рыданиях из-за одежды, о необходимости платить шесть рублей ни за что ни про что и о том, что вместо отдыха ей предстоит целые сутки работать; ей казалось, что она едет гулять на дачу, в лес, где поют птицы, а завтра вечером к ней придет Николай. О чем бы она ни говорила, о чем ни думала, она помнила одно: завтра придет Николай.

У Беговой свернули направо, поехали через мост, мимо Ваганьковского кладбища, и Вера вспомнила, что тут у нее тетка лежит, царство ей небесное, надо бы навестить, цветочков принести, а то с прошлого лета не была. На Красной Пресне спосили старые дома. Некоторые просто жгли, как жгут весной мусор. С правой стороны черными плоскими кучами лежали кострища, кое-где еще дымившиеся, а за этой полосой пепелищ, шагах в двухстах от дороги, возвышались новые блочные дома в пять этажей.

— Отмучились наконец,— сказала Зойка.

— А мне жаль эти домики. Все-таки старая Москва, к тому же историческая: Красная Пресня,— сказала Синицына.— И так их безжалостно жгут...

— И правильно! Чего их жалеть, клоповники эти? — с неожиданной злобой сказал шофер.— Там люди друг на дружке жили, по десять человек на семи метрах. Нужна

им ваша история! По крайности жплмье человеческое получают.

Спицына поглядела в окно, помолчала.

— Но эти новые дома тоже, знаете, не украшение, — сказала она. — Довольно уродливы. И без лифтов.

— А шут с ними, давай без лифта, — сказал шофер. — Народ рабочий. небаловавый, мы и пешком походим.

— Конечно! — сказала Зойка. — Мы вон какой год ищем, чтоб наши бараки снесли...

— А чего? Мне наши бараки нравятся, — сказала Вера. — У нас очень хорошие бараки. Во-первых, у нас тепло. Во-вторых, зелень кругом, никакой дачи не нужно, верно, Миш? — Она толкнула Мишку плечом и захохотала.

Зойка махнула рукой.

— Да ну, болтай...

— Я не болтаю, я верно говорю, наши бараки очень даже замечательные, крепкие, они еще сто лет простоят. — И Вера вновь еще пуще захохотала, как взорвалась, она прямо-таки стреляла хохотом и в промежутках вскрикивала тоненьким голосом: «Ой не могу... Ой, верно, еще сто лет простоят!» Кроме нее, никто не смеялся. Зойка сердито ворчала, потом попросила у шофера папироску и закурила. Вера понемногу успокоилась, повторяя хриплым шепотом, в изнеможении: «Ой не могу...» — и вытирая ладонью наслезившиеся глаза.

Выехали к Трехгорке, на набережную, через большой мост — на Ленинский проспект, вскоре с обеих сторон появились деревянные домики, за ними громоздились кирпичные стены новостроек, подъемные краны, потом повостройки исчезли, остались одни домики, а потом и домики исчезли и остались поля, холмистые, нежно-зеленые под вечеряющим солнцем.

Лидия Александровна опустила стекло, машина наполнилась густым, ошеломительно свежим полевым воздухом, и все почему-то примолкли, дышали этим воздухом, а Мишка стал дремать.

Как всегда, когда наступало молчание или когда Вера оставалась одна и болтать было не с кем, приходили мысли о неприятном. Опять вспомнилось шестирублевое одеяло. Придется заплатить, дьявол с ними, она не крохоборка, но теперь уж будет за ними следить: чуть где промашку дадут, она их сразу прищемит. Если они так, тогда и она так. Теперь она им, паразиткам, спуску не даст. А деньги возьмите, подавитесь, кинет в рожу Раисе Ва-

сильевне, вы от моих шести рублей не разбогатеете, а я не обедняю. Хорошо, Лида Александровна подвернулась, по десятке если заплатит — как раз отдать, кинуть в рожу. И еще четыре рубля останется, Николая встретить.

Вера стала думать о Николае, и от этих мыслей сделалось жарко, радостно, и в то же время томила тревога. Чем дольше она думала, тем больше томила тревога. Зачем он, черт проклятый, объявляется? Зачем душу мутит? Пятый месяц уже Вера гуляла с Сережкой, хорошим человеком, татарином, слесарем из института: он и зарабатывает прилично, и пьет мало, вообще очень хороший человек, только болезненный, сердцем болеет. И стала Вера забывать Николая и мечтать о том, как они с Сережкой поженятся. Сережка-то больше ей подходит, по годам ровня, тоже тридцать шесть, а Николай на три года моложе, все корил ее: ты, мол, для меня старая. Старая-старая, а четыре года гуляли и на молоденьких не смотрел. Для чего ж он, проклятый, объявился? Может, новая жена не по вкусу, к старой потянуло? Ох, Коля-Николай, такой лафы уж тебе не будет...

И много еще о чем думала Вера: и о том, как сынишку Юрку сдала в интернат, Николай потребовал, как было горько вначале, а потом привыкла, и о том, как болела после аборта, лежала в больнице, ко всем женщинам приходили мужики, несли гостинцы, передавали письма, а ей ни гостинцев, ни писем две недели, одна такая дура была на всю палату, женщины ее жалели, но она виду не показывала и только почью редела, а на четырнадцатый день вдруг явился, стучит в окно со двора, сияет во всю рожу, с букетом, — говорил, что в какую-то командировку угнали, в дальнюю, а может, так и было, — и много еще разных разностей, обид, счастливых дней, разговоров, ласк вспоминала Вера и не заметила, как машина свернула с шоссе на проселок, пошли дачи, березки, заборы, проехали деревянный мост через речку, поднялись на гору, свернули направо — Лидия Александровна командовала, — потом еще направо и остановились возле калитки в ветхом, кое-где покосившемся заборчике.

Дача оказалась большая, деревянная, но старая и запущенная. На терраске были выбиты стекла, дверь заколочена доской. Участок тоже был запущен, меж нескольких высоких соседей густо росли кусты бузины, мелкий ельничок, осина.

— И какой же трудяга такую дачку спроворил? Эх-

хе-хе... — сам с собой разговаривал шофер. Он помогал переносить вещи из машины в дом.

Лидия Александровна не слышала, искала ключи в сумке, а Вера отозвалась:

— А кто спроворил, тот и молодец, — верно, Лида Александровна? Тот и жить будет! Верно я говорю?

Работали все четверо дотемна: разбирали хлам, носили мусор, терли тряпками отсыревшую за зиму мебель, трясли и колотили пропылившиеся старые ковры, циновки, от которых пахло затхлостью, выметали, мыли, скребли. Лидия Александровна повязалась платочком, надела штаны, свинье, грубые, вроде брезентовых, майку безрукавную и возила без отдыха, так же как Зойка с Верой, не отставала. Зойка даже больше филонила — то присядет на минутку: «Поясницу схватило», то курить пойдет в сад. В двенадцатом часу решили кончать. На другой день осталось только окна помыть на втором этаже.

Мпшку, который уморился скорей всех, уложили спать наверху, в самой теплой комнате, и он мгновенно заснул, а сами сели ужинать на терраске. Оказалось — нет заварки, забыли взять из Москвы. Лидия Александровна пошла куда-то к соседям. Вера и Зойка сидели тем временем на терраске — окна были закрыты от комаров, да и прохладно стало, хотя прохлада и комары сочлились сквозь разбитые стекла, — и ели лапшу, которую Вера привезла в кастрюльке.

— Как думаешь, сколько Лиде Александровне лет? — спросила Зойка.

— А лет тридцать пять, думаю. Мне ровесница. Эх, лапша-красавица! Мало взяла, правда? Лида Александровна — хорошая женщина, очень хорошая, трудолюбивая.

— Конечно, хорошая, когда жизнь хорошая, — сказала Зойка, и ее длинное худое лицо приняло знакомое Вере выражение скрытой обиды, после чего Зойка обычно говорила что-нибудь злое. Зойка поглядела на потолок терраски, на желтый, из воценой бумаги абажур и на его отражение в черном стекле... — А я думаю, под пятьдесят есть. Сын-то какой здоровый...

Когда Лидия Александровна вернулась с заваркой, Вера спросила, сколько ей лет. Та ответила: сорок четыре. Кириллу уже восемнадцать. Ходит на первый курс института. Вера очень изумилась.

— Ну, не скажешь, Лида Александровна, ни за что не скажешь! Я против вас старуха, у меня и зубов нет, и морщины кругом, а ведь я на восемь лет моложе. Почему ж такое? Наверно, у вас характер покойный, а я изо всего переживаю.

Зойка молчала, все с тем же выражением скрытой обиды разливала чай в чашки.

— По-моему, вы на себя наговариваете, Вера, вы очень симпатичная, кругленькая такая. Как колобок, — сказала Лидия Александровна и засмеялась. — И, наверно, мужчинам правится, правда?

Вера тоже засмеялась, польщенная.

— Вот как сказать, Лида Александровна: когда в кино пойдешь, обязательно какой-нибудь увяжется провожать. Даже девочкой называют. В потемках-то не видать!

— Опа им, конечно, правится, потому что она их на свои деньги кормит, — сказала Зойка.

— Кого я кормлю?

— Да всех. Что ж я, не знаю?

— Ну, кого я кормлю? Кого, кого?

— Кольку кормила всю дорогу? Кормила. Аркашу-милиционера кормила? Скажешь, нет? А теперь Сережку кормишь.

— Вы, верно, Вера, чересчур добрая?

— Да не слушайте вы ее, Лида Александровна! Врет она. Она вообще такая завистная.

— Уж чему завидовать...

— Конечно, завистная, потому что меня навещают, а к пей — раз в год по обещанию. Меня мужчины уважают, Лида Александровна, очель даже уважают, я с ними как товарищ: я и выпить могу — ну, пемного, конечно, зачем много пить, правда же? — и закусить, и одолжить, если до полочки. Конечно, сколько одолжить? Ну, полтора рубля или три, как обычно. Я с ними как товарищ, ей-богу, Лида Александровна.

— Дура, у тебя комната отдельная! — сказала Зойка. — А нас четверо на двенадцати метрах.

Вера хотела было ответить, но вместо этого начала вдруг икать. Минуту-другую она боролась с икотой, потом махнула на Зойку рукой: чего, мол, с тобой говорить? Продолжая икать, она положила на колени свою круглую старомодную сумку, подарок артистки, когда-то красивого темно-зеленого цвета, а сейчас сильно потертую, с расшатанным замком, и стала торопливо рыться в пей, выклады-

вая на стол разные предметы: гребень, зеркало, какие-то бумажки, отрывки карандашей, которыми она писала квитанции в прачечной, и наконец вынула покоробившуюся, на глянцевой бумаге фотографию.

— Прочтайте вот, Лида Александровна. Это мне Коля подарил в День Военно-Морского Флота.— Она еще раз кинула и прошептала: — Ой господи, спаси и помилуй...

Лидия Александровна взяла фотографию, прочтала вслух:

— «На добрую память в День Военно-Морского Флота от Николая З.». Да,— сказала Лидия Александровна.— Ну что ж, очень хорошая подпись. Девушки, а что, если погасить свет и открыть окна? Сейчас чудесный воздух в саду.

— И вот представьте, Лида Александровна,— сказала Вера, вставая, чтоб погасить свет.— Четыре года с ним гуляли, и ничего у меня не осталось, одна фотография. Хоть бы колечко какое или сережки, например. А мне ничего не нужно.

Как только погасла лампа под желтым абажуром, стало видно, что небо еще светлое, как бывает в июне. На терраску вместе с прохладой вливался чистый, хвойный, травяной, уже сыреющий по-почпому воздух леса.

Вера взяла чайник и пошла на кухню подогреть на плитке. Вечерами Вера любила попить чайку как следует, стакапа по три. Пока ее не было, Зойка успела рассказать Лидии Александровне, что Вера не такая уж простенькая, как кажется, что она все «хихом» да «хэхом», а дела свои обделывает очень ловко, сына вои сдала в интернат: одна клиентка помогла, из райисполкома. Самой бы ни за что не устроить, а вот клиентка помогла. Сумела, значит, упротить. Одпой-то жить, копечно, в тысячу раз легче. Наварила лапши на три дня, и вся забота. Она и в кино успеваает, и в ГУМ, и к ней гости придут, а у нее, у Зойки, трое на руках, старый да малый, и крутись как хочешь.

Пришла Вера с чайником, и Зойка замолчала. Лидия Александровна стала рассказывать о своей жизни: ее первый муж умер восемь лет назад от туберкулеза, человек был очень хороший, научный работник, и Лидия Александровна после его смерти жила трудно, бедствовала, болела, сынишка был маленький, хотели продать эту дачу, потому что нечем было платить в кооператив, но кое-как перебились, стали пускать жильцов на лето, а потом Ли-

дия Александровна встретила хорошего человека, тоже научного работника, и он взял ее с сыном, и теперь она живет хорошо. А она уж не надеялась жить когда-нибудь хорошо. Женщина никогда не должна терять надежды. У нее есть одна знакомая, художница, ей пятьдесят лет, и она недавно вышла замуж за одного человека моложе ее на восемь лет, тоже художника, который совершенно ее боготворит. У нее тоже было отчаянное положение: муж бросил ее внезапно, крупный военный, они прожили двадцать лет. Влюбился в одну балерину, ленинградку из театра Кирова, и уехал в Ленинград. А эта женщина, художница, живет сейчас замечательно и счастлива. Муж у нее очень талантливый, он декоратор, оформляет наши выставки за границей, без конца разъезжает, навез ей массу вещей...

Вера и Зойка слушали жадно, молча. Обе устали, зевали по очереди, им хотелось спать и одновременно хотелось слушать: жизнь, о которой рассказывала Лидия Александровна, была так не похожа на их собственную жизнь, по чем-то странно напоминала ее. Особенно поразили их слова Лидии Александровны насчет того, что женщина не должна терять надежды. Это было именно то, что они обе смутно чувствовали, но никогда не догадались бы выразить так ясно и четко. И постепенно они обе, уже не слушая Лидии Александровны, стали думать о себе, о своих надеждах.

Надежд у них было много, и они их никогда не теряли. Все свои надежды, начиная с давнишних, юных и глупых, они несли с собой.

Потом стало холодно, Лидия Александровна закрыла окна, и все пошли спать. Спали плохо, мерзли, дом был сырой. Вера и Зойка поверх пальто накрывались еще коврами и циновками.

А утром было тепло, солнечно, пели птицы. Мишка и Вера бегали по саду, по влажной траве, ловили сачком бабочек. Посмотреть издали: оба маленькие, белоголовые, мальчишка с девчонкой.

Зойка, пекумая, с лицом серым, отекиным, стояла на крыльце, чесала волосы.

— Хватит вам проклаждаться! Мишка, беги за водой! — кричала сердито. — Кончаем по-быстрому — и домой. Нечего тут...

Лидия Александровна рано утром ушла на станцию звонить в Москву, вернулась веселая: к двенадцати придут оба, муж и сын. По словам Лидии Александровны, муж ее был человек добрый, но бесхозяйственный и больше всего на свете любил тишину и покой. Поэтому Лидия Александровна старалась все работы по дому делать в его отсутствие. К одиннадцати часам окна наверху были помыты, но пришлось еще разобрать сарай и выносить поломанную кушетку со второго этажа в сад, к забору.

Никто не прехал ни в двенадцать, ни в час. Вера с Зойкой все копчили и теперь ждали приезда мужа, он должен был привезти деньги. У Лидии Александровны было с собой только семь рублей.

В середине дня стало очень жарко. Вера и Зойка, умывшись у колодца, сидели на скамейке перед крыльцом и совещались вполголоса, просить ли прибавки. Вера сомневалась, а Зойка говорила, что просить надо непременно, потому что насчет сарая не договаривались и насчет веранды тоже. Двадцать шесть рублей должна дать, это законно. И еще Зойка подбивала Веру спросить у Лидии Александровны, можно ли взять пустые бутылки из-под вина, которые за сараем, их там шестнадцать штук и вроде они брошены как на свалку, а если их помыть да сдать — все ж таки полтора рубля. Можно их в сетки паковать и в Москву свезти.

— Ну и спроси, — сказала Вера. — Спроси, спроси!

— Зачем я? Ты спроси. Ты ж договаривалась.

— А мне ни к чему. — Вера беспечно махнула рукой. — Таскаться...

Зойка даже побледнела от злости.

— Ах ты, барыня дерьмовая, таскаться ей, — зашипела она. — Конечно, тебе свободно, парня сдала, можно и не таскаться. А мне как же жить?

— Я и говорю: спроси...

Подошел Мишка, в руке у него был странный овальный предмет, оплетенный соломкой.

— Мам, гляди, походная фляжка! — заговорил Мишка тихо, радостным голосом. — Это я там, в углу, где мусорный ящик, нашел. И совсем новая. Давай возьмем?

— Не смей ничего брать без спроса! — Зойка вырвала у него из рук фляжку и положила на скамейку. — Отнесешь, где взял.

— Да ее ж выбросили...

— Значит, дрянь какая-то, и печего дрянь подбирать. Не бегай никуда, мы через пятнадцать минут поедem.

— Ма-ам, а мне в лагере в походы ходить, фляжку пужно... — заныл Мишка.

— Сунь в сумку, и все дела, — сказала Вера. — Если выбросили — значит, не нужна. Подумаешь, разговору.

Мишка сделал робкое движение к фляжке и протянул руку, но Зойка сильно шлепнула его по руке.

— Я тебе что сказала? А ты, дура, его не учи.

Мишка надулся и отошел в сторону. Постояв немного, он вдруг решительными шагами пошел к калитке.

— Не уходи далеко, скоро поедem! — крикнула Зойка.

— Ага, а купаться когда же?

— Без меня на речку не смей! Слышишь? Я тебе запрещаю!

— Ага, сама обещала... — Сварливый Мишкин голос все удалялся.

— На речку не смей! Михаил! Слышишь, что ль?

Калитка хлопнула. Лидия Александровна высунулась из окна второго этажа, крикнула обрадованно: «Приехали?» Вера ответила: «Нет, это Миша пошел». А Зойка ворчала зло: «Приедут, дождайся... Полное воскресенье тут потеряли... А пегу денег — не панимай людей...»

Но когда Лидия Александровна спустилась вниз, Зойка заговорила с ней своим льстивым, умяльным голосом, склонив голову набок:

— Лидия Александровна, я вот чего хотела спросить — пачет посуды...

Никто не приехал и в три часа.

Зойка потребовала себе семь рублей, взяла пустые бутылки и уехала с Мишкой, а Вера осталась ждать. Долго сидела она с Лидией Александровной на терраске, пила чай с хлебом — ничего больше у них не осталось, и денег не было, чтоб купить, — и советовалась о жизни: как ей быть, когда Николай придет? Соглашаться ли, если он снова гулять захочет, или послать его, проклятого, куда подальше? Сережка, татарин, человек очень хороший, добрый, но там мать путается. Мать мечтает ему татарку пайти, а они матерей очень слушаются, татары: он попереk матери ни за что не поидет. Он и почевать-то у Веры редко когда остается, а все воровит, как ни поздно, домой пойти. Не хочу, мол, чтоб мать волповалась. А чего ей волноваться? Она Веру прекрасно знает. Сколько раз Вера к ним заходила, картошку с рыпка приносила и белье

стираное всегда сама им привозит, а по субботам полы моет, во всех комнатах, у них семья большая, три комнаты в деревянном доме. На Волоколамке живут. Иной раз уж троллейбус не ходит, второй час ночи, так Сережка пешком до Волоколамки идет. А если б не мать, говорит, я бы с тобой сию минуту расписался. Так что вопрос этот очень сложный и разобрать его тяжело.

Лидия Александровна ничего не могла посоветовать, да и голова у нее была занята другим, и только говорила: «Главное, Вера, помните о своем женском достоинстве». Вера согласно кивала: «Точно, точно, Лида Александровна! Это уж обязательно...» Вера рассказывала и о своей прежней жизни, о детстве в селе Богородском, о сиротстве, о войне, о том, как в ремесленном училась, как тетка померла и Вера осталась хозяйкой в комнате, как к ней сватался один старичок, шестьдесят пять лет, из города Камышина, но Вера его прогнала: догадалась, что зарится на комнату. Рассказывала Вера, а сама думала про Николая и вдруг решила, что ничего хорошего от сегодняшней встречи не будет. Нет, не будет. Не может ничего быть хорошего. Пятерку до полочки попросит, вот и все. Пятерку либо десятку. И как пришла к ней в голову эта внезапная простая мысль, она сразу замолчала. Лидия Александровна тоже молчала, сидела задумавшись.

Вера вздохнула.

— А может, Лида Александровна, какое несчастье случилось?

Лидия Александровна покачала головой.

— Нет, Вера, никакого несчастья.

В пятом часу пошел дождь, и когда он кончился, очень скоро, Вера собралась схать. У нее было своих денег рубль двадцать. Шестьдесят копеек она оставила себе, шестьдесят одолжила Лидии Александровне, а то ей не па что было возвращаться.

На станцию Вера шла проселком через луг. Высокая, готовая для косьбы трава с обеих сторон проселка едва заметно шевелилась, дышала, ее колебало парным дождевым воздухом, поднимавшимся снизу. Вера сняла туфли, пошла босая. Много лет не ходила она по такой теплой летней дороге босыми ногами, она шла медленно, совсем одна на большом лугу, и куда не хотелось ей торопиться.

На семьдесят четвертом году жизни Ольга Робертовна решила съездить на родину. Много лет собиралась она это сделать, но ее собственная жизнь и жизнь века складывались таким образом, что сделать это никак не удавалось. Вышло так, что с тех пор, как Ольга Робертовна уехала из родного города в 1906 году, она больше там не была. Родной язык она уже немного позабыла, он был ей не пужеп: муж и дети говорили по-русски, и сама она за пятьдесят два года жизни в России превратилась в русскую, выдавали ее лишь отчество «Робертовна» и легкий акцент, от которого прибалтийцы не могут избавиться до самой смерти.

Летним вечером, в июне, Ольга Робертовна приехала на вокзал, провожали ее невестка и внучка. Внучка была беременна, на шестом месяце, посила тяжело, лицо ее постарело, сделалось худым, некрасивым, Ольга Робертовна беспокоилась за нее и была против того, чтобы внучка приезжала с дачи на вокзал. Вечер был душный, за Москвой громыхала грова. Ольга Робертовна любила внучку, а к невестке относилась прохладно, в глубине души считала ее недалекой, мешанкой и была уверена, что сын не прожил бы с пей и пяти лет. Сын Ольги Робертовны покончил с собой в тридцать девятом году. Были у Ольги Робертовны три дочери: одна умерла в раннем детстве, две другие выросли, вышли замуж, нарожали детей, но жили от Ольги Робертовны отдельно. Ольга Робертовна не могла жить с ними: старшая дочь поселилась в Баку, там было слишком жарко, а другая жила в Москве, но в большой семье мужа, вместе с его родителями.

Невестка, рыхлая дама с красным пористым лицом, в поцсне, однообразно повторяла, чтобы Ольга Робертовна остерегалась резких перемен погоды, которые могут поднять давление. «По вечерам не выходите из дома, я вас умоляю!» У нее был такой вид, словно она очень трево-

жится, отпуская Ольгу Робертовну одну в путешествие. На самом-то деле она, разумеется, радовалась тому, что Ольга Робертовна уезжает хоть ненадолго, хоть на несколько дней, и муж невестки тоже радовался. Но Ольгу Робертовну это не трогало. Она любила внучку, и внучка любила ее, она это знала, хотя внучка не говорила никаких слов, выражавших заботу, а только просила купить фарфоровые банки для крупы с надписями «рис», «пшено», «манная». Внучка видела такие банки у своей подружки, они были куплены как раз в том городе, куда ехала Ольга Робертовна.

Когда поезд тронулся, невестка и внучка шли некоторое время рядом с окном и махали Ольге Робертовне, им пришлось идти быстрым шагом. Ольга Робертовна вдруг испугалась за внучку, жестами показывала им, чтоб они остановились, но они не понимали, и дура невестка даже слегка побежала, махая изо всех сил. Впрочем, с ее стороны все это было искрепке. Наконец поезд тихо рванул, они скрылись. Были сумерки, в купе зажегся свет. Ольга Робертовна долго сидела у окна и думала о невестке, о своих дочерях, о молодом муже внучки, который поселился в их квартире недавно и своим поведением уже несколько пастораживал Ольгу Робертовну: он казался ей недостаточно скромным и себе на уме. Вполне могло быть, что он женился на внучке только для того, чтобы получить московскую жплплощадь. Он был из Ростова, жил в общежитии. Ольге Робертовне показалось, что он разговаривает с нею малопочтительно, и она резко приструнила его, когда он вздумал назвать ее «бабушкой».

Поезд вошел в полосу грозы. По крыше стучал ливень, свет в купе померк. Лежа под одеялом в темном купе, озарявшемся иногда блеском далекой молнии, Ольга Робертовна задремала. Ей приснилось вдруг давнее: салон-вагон, потрескивавший красным деревом, с бронзовыми бра, с запахами кожи и махорки, топот бегущих по крыше, стрельба на каждой станции — лето девятнадцатого года, поездка на Южный фронт. Сергей Иванович был во сне не такой, каким был летом девятнадцатого, а молодым, совсем молодым, каким был когда-то давно, когда они встретились на мызе пасмурным летом; их познакомила Эльза, он носил очки в тонкой стальной оправе и золотисто-рыжую бородку, как у немца. Они сели на велосипеды и поехали по узкой тропинке к морю, был ветер, полы его светлого полотняного пиджака раздувало, а она, как

всегда, когда ехала на велосипеде, боялась остановиться. Но он был рядом, он ехал в двух шагах от нее, и это ее успокаивало. Вдруг она подумала, что этого не может быть: ведь он умер! Он умер давно, он не мог ехать рядом с ней на велосипеде.

Среди ночи Ольга Робертовна проснулась. Два ее пугачика храпели, наверху что-то методически звякало, какая-нибудь пряжка или ключик от чемодана раскачивался от хода поезда. Ольга Робертовна вдруг подумала, что, паверно, она сделала глупость, согласившись на эту поездку. Если бы еще лет на двадцать раньше, а сейчас слишком поздно, она стара, жизнь кончается, а жизнь ее близких кончилась давно. Кого она там встретит? У старух не бывает детства. Старухи вспоминают детство своих детей. Уж очень ее дожимали приглашениями, слали письма, телеграммы, особенно старался Никульшин. Он был очень любезный, этот Никульшин, но встречи с ним были для Ольги Робертовны тягостны. «Господи, зачем я согласилась? — думала она с тоской. — Говорят, там тяжелый климат, без конца меняется давление...» Она не замечала, что думает о своей родине как о чужой стране.

Утро было ясное, светило солнце, город приближался. Ольга Робертовна с волнением смотрела на маленькие дома в зелени, черепичные кровли, людей на велосипедах, фабричные трубы, заборы, старые, из потемневшего кирпича стены со следами полустертых вывесок.

На перроне Ольгу Робертовну встречали Никульшин, пионеры с цветами, молодой человек — сотрудник музея — и три седые женщины, которых Никульшин называл «наши ветеранки». Седые женщины растрогано сморкались, вытирали платком глаза и целовали Ольгу Робертовну. Она не ожидала ничего подобного. Ее фотографировали. Пионеры запели песню на родном языке. Ольга Робертовна напряженно вслушивалась, стараясь понять каждое слово и кивая в знак того, что понимает. Но два-три слова она все-таки не поняла, песня была повад, дети пели не очень внятно, а может быть, за пятьдесят лет немного изменилось произношение. Потом Никульшин посадил Ольгу Робертовну в свой маленький автомобиль и повез в гостиницу.

Она смотрела из окна автомобиля на улицы, их старинные повороты, излучки, изгибы, исчезающие дома, раскрытые и темные в глубине парадные двери, и она знала, что все это она когда-то видела и теперь должна вспо-

мнить. С тихим и все растущим волнением она заставляла себя вспоминать, но почему-то ничего не вспоминалось. «Я же видела когда-то этот двухэтажный дом с башенкой, — убеждала она себя, — и эту площадь с фонтанчиком, и этот облезлый многоэтажный дом, где оконные переплеты напоминают кресты, и даже этих двух старичков — счастливые, дожили вместе до старости! — сидящих на скамейке возле парадного».

Никульшин спросил:

— Ну, как родные пенаты? Узнаете?

— По-моему, вы знаете... По-моему, ничего не узнаю! — Ольга Робертовна даже засмеялась. — Склероз.

— А! — сказал Никульшин и тоже засмеялся. — Ничего, это сначала. А потом вспомните. Я ведь сам из Грозного и вот после окончания института приехал к родным пенатам, и знаете, что характерно...

Он был довольно молодой, этот Никульшин, лет сорока пяти, но уже полный, седоватый, с висячими багряненькими щечками. Ольга Робертовна еще в Москве заметила, что он глуп, озабочен своими личными делами, но она все это простила ему: ведь Никульшин был первый человек, который после стольких лет молчания сказал добрые слова о Сергее Ивановиче и теперь писал брошюру о нем.

Она знала, что и это приглашение ее в родной город он выхлопотал — с большим трудом, через Министерство культуры, — имея в виду какие-то свои личные, ерундовые, коммерческие цели, и все равно она была ему благодарна.

Из гостиницы, где Ольга Робертовна немного отдохнула и привела себя в порядок, Никульшин повез ее к себе домой обедать. Ей не очень хотелось сразу идти в гости, но отказаться было пеловко. Ей хотелось побыть одной и пройтись по улицам. Она начала вспоминать их, не какую-то одну или две, а все вместе. Что-то забытое поднималось в душе, что-то такое, о чем она даже не подозревала, что это еще есть в ней. И возникло это от воздуха улиц, от его запаха: она распахнула окно в своем номере, увидела очень близко старые, потемневшие с краев черепичины в известковых пятнах голубиного помста, дымчатое небо, и вдохнула сыроватый воздух, и вдруг вспомнила его.

Но весь первый день Ольге Робертовне не удалось побыть на улице, она провела его до вечера в гостях

у Никульшина. Долго обедали, было много людей, какие-то школьные учителя, их жены, молодежь, потом привели одного беленького красноглазого старичка, утверждавшего, что он знал Сергея Ивановича по вологодской ссылке и встречался с ним во 2-й армии, в двадцатом году. Ольга Робертовна не помнила этого старичка, и фамилия была ей незнакома. Она не любила людей, которые знали Сергея Ивановича, но о которых она сама ничего не знала: ей чудились недостоверность, фальшь, претензия на что-то принадлежавшее только ей. И она была суха с красноглазым старичком. Все гости к вечеру ушли, но Никульшин попросил Ольгу Робертовну остаться и послушать первую главу брошюры о Сергее Ивановиче. Глава рассказывала о возвращении Сергея Ивановича из Петербургского университета в Двинск в 1902 году и называлась «К родным пенатам». Никульшин писал очень высокопарно, как пишут в газетах, и Ольге Робертовне это не нравилось, но она промолчала, зная о том, что о революционерах принято писать высокопарно и что важно не то, каким языком будет брошюра написана, а то, что она вообще появится, с портретом, после стольких лет молчания. Но жена Никульшина, полная маленькая брюнетка, которая во время чтения сидела здесь же в комнате и чистила клубнику, вдруг стала спорить с Никульшиным из-за какой-то фразы. Никульшин возражал с неожиданной резкостью. Спор из-за фразы внезапно перешел в ссору, нелепую, мелкую и настолько привычную, что ее не могло сдержать присутствие чужого человека. Жена Никульшина схватила таз с клубничкой и убежала в другую комнату. Никульшин пошел за ней. Все это было неприятно и знакомо: Ольга Робертовна наблюдала много таких ссор между своей невесткой и ее нынешним мужем, нечто похожее, в зародыше, уже было однажды между внучкой и этим молодым из Ростова. Эти нелепые, мелкие ссоры происходят, наверное, оттого, что люди нелепо, мелко живут. Ольга Робертовна спокойно пошла в соседнюю комнату, где вполголоса бранились супруги, и примирила их. Они примирились легко. Им было целовко.

Весь этот длинный день, волнения, разговоры утомили Ольгу Робертовну, и в гостинице она почувствовала сердцебиение и боль в голове. Она сразу легла в постель, приняв две таблетки дибазола. Ночью проснулась в испуге. Было сильное сердцебиение и трудно дышать. Ольга Робертовна позвала на звонок горничной, но никто не при-

шел, звонок не работал. Ольга Робертовна зажгла свет, приняла сорок капель валокордина, открыла окно и села возле окна в кресло.

Был четвертый час утра. Белая ночь гасла. Светлое небо казалось пустым, бесплотным, в нем не было ни облаков, ни спив, ни звезд,— одна светлота. Дома на противоположной стороне улицы верхушками выплывали из белого тумана, а внизу туман густел, скрывая улицу. Ольга Робертовна толкнула раму, за окном были сырые черепицы, дома с темными окнами, спящие голуби, ночь. Кто-то шел по тротуару, стуча палкой. Сердцебиение понемногу утихло, и голова стала ясней. Ольга Робертовна увидела такую же ночь в этом городе, когда ей было восемнадцать лет, а Сергею Ивановичу двадцать один; они возвращались с вечеринки, он что-то нес в портфеле, что нужно было передать кому-то, кто уезжал в Питер. Они познакомились недавно, между ними еще ничего не было. Тогда была первая ночь, белая ночь, такая же, как эта. Он был высокпй, выше ее на голову, ходил в студенческой фуражке, хотя уже два года не учился в университете. Она плохо говорила по-русски, он учил ее, и она смеялась, очень много смеялась в ту ночь, потому что он говорил смешное и они выпили вина на вечеринке. Вот так же вставала улица из тумана, только близко у моря, и пахло морем, каменная лестница вела на второй этаж, в комнате было полукруглое окно, и они оба знали, что делают плохо, потому что тот человек, уезжавший в Питер, ждал их, но ей было восемнадцать лет, а ему двадцать один. Он снимал комнату у одной старенькой немки, немецкие изречения готическим шрифтом на деревянных дощечках были разбросаны на ступах, на столе. На полке, прикрепленной к спинке дивана, стояли в ряд десять маленьких слонов из яштаря, они прыгали, когда полка тряслась, и падали один за другим. Она смотрела, как они сползают с полки и падают. Этого никто никогда не узнал, не узнает, это никому не нужно знать, но она запомвила на всю жизнь, как падали маленькие слопы. Они упали все десять, сначала на него, потом на пол, она боялась, что они разобьются, но ни один не разбился. Потом у них долго существовало такое выражение: «Что падали слопы». Никто не понимал, что это значит. Иногда он говорил, когда приходили гости, за обедом: «И пусть падают слопы!» — и подмигивал ей. Гости думали, что за тостом кроется какой-то значительный смысл, с удоволь-

ствием чокались с ним и повторяли: «Да, да, пусть падают снопы!» — не подозревая того, что он хулиганит. Он был большой озорник. Никто не знал, какой он озорник. За обедом он всегда выпивал одну-две рюмки настойки. Разве кто-нибудь может все это описать так, как было? Туман рассеялся, небо еще посветлело, и стали видны нижние этажи домов. Уже можно было прочесть вывеску над темным провалом ворот: «Приемный пункт».

На другой день Никульшин повез Ольгу Робертовну в музей, потом, после обеда, — в библиотеку, и все следующие четыре дня Ольга Робертовна непрерывно где-то выступала, с кем-то встречалась, рассказывала о Сергее Ивановиче и терпеливо слушала длинную, высокопарную лекцию Никульшина о 1905 году. Потом Никульшин привез ее в давно не крашеный, старинный дом на набережной — из окна автомобиля она увидела гладь воды, парусные лодки, такие же, как были когда-то, солнце дробно сверкало в том месте, где купальщики прыгали с лодок, и вдруг вспомнился двоюродный брат Яц, прочно забытый уже пятьдесят лет; он возник от парусных лодок, он был бесстрашный, мальчишкой ходил на яхте в Германию, потом уехал в Америку, его мать очень плакала, темно-рыжие волосы с пробором сбоку и медное, нагое, доброе, с белыми ресницами мальчишеское лицо, — поднялся с Никульшиным по лестнице на второй этаж, прошли по коридору, и из маленького окошка Ольге Робертовне дали пятьдесят рублей. Никульшин тоже получил какие-то деньги. Ольга Робертовна была смущена, в первую минуту даже хотела отказаться от денег, но подумала о том, что отказываться глупо, что это так же приятно, как все остальное, и своим отказом она может обидеть Никульшина.

В тот же день Ольга Робертовна купила в комиссионном магазине очень красивый шарф для внучки. Он стоял как раз пятьдесят рублей.

Ольга Робертовна старалась разыскать — Никульшин помогал ей — нескольких людей, которых она знала в юности. Их было немного. Она уехала отсюда слишком молодой. Ни одного человека не удалось найти: одни умерли, другие кинулись в Россию в годы революции и след их пропал, одна семья погибла во время последней войны в гетто.

В пятницу Ольга Робертовна поехала на киностудию, где обсуждался киносценарий Никульшина на революци-

онную тему (одним из действующих лиц, правда в эпизоде, был выведен Сергей Иванович, и потому присутствие Ольги Робертовны было очень важно), а в субботу решила ехать домой. Ночами она плохо спала: думала о внучке, и думала как-то тягостно, беспокойно. Сценарий на революционную тему почему-то не привяли, и Никульшин так расстроился, что слег с сердцем и в субботу не смог Ольгу Робертовну проводить. Она попрощалась с ним по телефону. Поезд уходил вечером. День был совершенно пустой, никто никуда не приглашал Ольгу Робертовну все покупки она сделала, в том числе купила фарфоровые банки с надписями «рис», «пшено», «манная», и она села в автобус и поехала за город на старую фабрику, где работала когда-то работницей.

Автобус долго шуршал по шоссе, моросил дождь, яблоки в садах стояли темные, помятые, и вокруг них круговым, едва заметным облаком реял дождевой пар.

Кирпичные ворота фабрики были те же, что пятьдесят лет назад. Ольга Робертовна вошла во двор, справа увидела двухэтажное длинное здание с широкими окнами, его раньше не было, а слева, за рядом лип — деревья стали громадными, разрослись необыкновенно — увидела забор, выкрашенный темно-зеленой краской, и за ним же железную крышу, один вид которой как будто толкнул ее в сердце. Эта железная крыша внезапно выпрыгнула из памяти, как двоюродный брат Ян. Под крышей должен был быть барак, деревянный барак, в котором Ольга Робертовна молоденькой девушкой жила почти год. Она напроцень забыла этот барак. Никогда не вспоминала о нем.

Ольга Робертовна быстро пересекла двор, прошла через ворота в темно-зеленом заборе и увидела барак. Он был оштукатурен и покрашен охрой. На крыше стояли телевизионные антенны. Но это был тот самый барак, в одной из комнат которого жила Ольга Робертовна с двумя подружками.

Через двор, шлепая ногами в галошах, шла маленькая сторбленая старушка. Она несла сумку с двумя бутылками молока и булочкой. На голове старушки и ее согнутой спине лежала как защита от дождя голубая хлорвиниловая клеенка.

Ольга Робертовна увидела старушку и остановилась. Потом пошла ей навстречу.

— Марта! — сказала Ольга Робертовна, и старушка подняла древнее лицо в глиняных складках, с большими

серым носом и голубенькими лупками вместо глаз. У Ольги Робертовны замерло сердце.

— Хельга, это ты? Я тебя узнала.— Старушка улыбнулась. Голубенькие лунки наполнились водой.— Боже, ты совсем старая, Хельга! Как ты поживаешь?

— Очень хорошо,— сказала Ольга Робертовна, задыхаясь.— А ты?

— Почему ты не вернулась, Хельга? Ты обещала вернуться. Я ждала тебя. Ты не прислала ни одного письма!

Старушка, перестав улыбаться, склонила голову пабок. Клеенка начала сползать с ее плеч, и Ольга Робертовна обняла старушкину сухонькую, навсегда потерявшую способность разгибаться спину и осторожно взяла из ее рук сумку.

— Я тебе помогу,— сказала Ольга Робертовна едва слышно, потому что силы еще не вернулись к ней.— Ты живешь там?

— Да, да,— сказала старушка.— Разве ты забыла?

Они медленно двинулись к бараку по дорожке, мощеной кирпичом и огороженной низкой деревянной оградой. Дождь все еще моросил. Навстречу бежали люди. Несколько парней, сокращая путь, перепрыгивали через ограду и бежали по траве. Две старушки шли молча. Ольга Робертовна поддерживала Марту под руку и видела, как они прощались здесь, во дворе; тогда не было асфальта, была пыльная земля, летний полдень, Сергей Иванович ждал на извознике, Марта с белыми-белыми вьющимися волосами плакала; обещались писать, никогда не писали, все оборвалось навсегда, началась Россия, ссылки, вода к утру замерзала в ведре, дети росли здоровые, пароход по Енисею бежал ярким июньским днем, и шла война, и потом был Питер, квартира на Лиговке, толпы людей во дворе Таврического, орущие всю ночь «ура», он был ранен в июле, чуть не умер от тифа, потом фронт был три года, вагоны, митинги, пайки хлеба, Москва, «Альпийская роза», потом Гнездииковский, голод, театры, работа в книжной экспедиции, дети росли; в октябре поехали однажды в Крым, без детей, поездом до Симферополя, там в эвакуационном пункте Сергею Ивановичу дали машину «форд» с карбидовыми фонарями, ночью машина то и дело ломалась, вещи привязали сверху, и один чемодан потерялся в дороге, и море лежало внизу жемчужно-серого цвета; они сидели вдвоем на обрыве долго, пока шофер бегал куда-то ремонтировать тягу, а чекист искал чемодан, так и по на-

шел, и лучше этого рассвета над морем не было ничего никогда в ее жизни; потом исчезло много зим, лет, дней, июльских вечеров на терраске с открытыми окнами, куда втекал снизу, с клумб, сладкий дух табаков, мешаясь с разговорами вполголоса, чтобы дети не слышали, но дети знали, и как-то он сказал: «Будь готова, это случится со мной тоже», но случилось не с ним, а с нею, он умер внезапно, в собственной квартире на Воздвиженке, а она узнала о том, что он умер, через три года на Дальнем Востоке; предки дали ей медленную балтийскую кровь, ее руки не боялись труда, стали корявыми, как у батрачки, она работала, вынесла все, вернулась, сына не было, дочери смотрели чужими глазами, говорили «вы», она вынесла и это, вынесла всю долгую дорогу, которая началась здесь, на пыльном дворе, жарком от прямого солнца, замусоренном обрывками пряжи, и вот она пересекла этот двор.

Она стояла перед крыльцом барака. Марта протягивала руку, чтобы взять у нее сумку.

— Почему ж ты не написала письма? — спросила Марта, глядя на Ольгу Робертовну почти с отчаяньем.

— Извини меня, — сказала Ольга Робертовна. Ей было жалко маленькую старушку, и она наклонилась и поцеловала ее в висок. — Извини меня, Марта. Так получилось. Я не виновата, честное слово.

— Ну ладно, хорошо, иди на кухню, Хельга, и поставь чайник. Ты помнишь, где кухня?

Ольга Робертовна поднялась по ступеням крыльца, нажала на дощатую дверь. Она распахнулась. Коридор был темн и не имел конца.

А в понедельник утром Ольга Робертовна стояла в очереди за молоком в «гастрономе» и рассказывала одной знакомой женщине из соседнего подъезда, какая погода в Прибалтике: все пять дней почти сплошь дожди.

После двух часов езды в Станке Димитрове остановились на площади. Сыпался мелкий, вдруг исчезающий дождь, облачное от самой Софии небо кое-где разрывалось, в разрывах сверкала голубизна. Посреди площади стояла очередь крестьян, ожидавших автобус на Самоков. Мы зашли в сладкарницу, где было дымно, пахло кофе, за столиками сидели старики, очень много стариков, они ничего не ели, не пили, а просто курили, смотрели друг на друга и молчали.

Когда мы вошли, они стали смотреть на нас. Они смотрели на то, как мы снимаем плащи, садимся, как Пенчо закуривает, как Аля хмуро глядит в окно, как подходит официант и Пенчо заказывает три кофе «по-турски» и как потом мы с Пенчо оглядываемся кругом и видим всех этих стариков, глядящих на нас. Болгарские старики отличаются от русских тем, что любят собираться в кучу. Русские старики более пелюдимы и в то же время более болтливый. Они могут разговаривать сами с собой. Некоторые старики в одиночку гуляют по скверу на Песчаной улице или сидят на скамейках напротив фонтана и тихо рассуждают сами с собой. Я редко видел, чтобы русские старики собирались больше чем по три, четыре человека. В Болгарии же встречаются громадные сборища молчаливых стариков. Аля очень подошла бы к компании болгарских стариков. За весь сегодняшний день она сказала всего одну фразу. Утром в гостинице, когда мы ждали Пенчо, она спросила: «Зачем мы сюда поехали?»

Я сам не знал, зачем мы сюда поехали. Пенчо пригласил нас, и мы поехали. Надо было куда-то поехать. Алпы каникулы начинались двадцать девятого, а мы вылетели двадцать седьмого. Пенчо встретил нас в аэропорту на своем старом «репо», на том самом, на котором мы ездили когда-то к морю, а в другой раз — возвращались с моря по южной дороге, сдoлав крюк, чтобы заехать на Шипку.

И думал, этого «рено» уже нет на свете. Он и тогда еле скрипел, а дорога от Пловдива до Софии, сто пятьдесят километров, запомнилась мне как ночной осенний кошмар: четыре раза садился задний левый баллон, Пенчо убегал куда-то в темноту, и мы его ждали по часу в машине, потом он возвращался, стучал ключами, клеил, бубнил, чертыхался, просил нас то выйти из машины, то сесть, мы ползли со скоростью двадцать километров в час, каждую секунду страшась того, что снова что-то лопнет и мы остановимся. Это было четыре года назад, в октябре, мы возвращались с моря, где никто уже не купался, кроме нас и нескольких немцев, на пляже было безлюдно, тяжелый лекарственный запах осеннего моря разносился ветром и долетал до шоссе, где изредка пробегали полупустые автобусы, где, шурша, бродили по асфальту сухие листья, а над шоссе, над виноградниками, на самой вершине горы дед Кириак скучал в своей халупе, курил трубку и слушал по радио Стамбул. Виноград он снял, люди разъехались, и дела его копчились. Иногда мы поднимались к нему по каменистой тропе, такой крутой, что приходилось идти согнувшись, и садились на маленькой площадочке перед халупой, где помещались скамейка и стол, и дед Кириак выносил брынзу, пахнущую овцой и морем, и бутылку мутного молодого вина. Подмигивая так, что одна сторона его беззубого, смуглого, крючконосого лица сжималась, как рукавица, дед Кириак жестом предлагал нам зайти в халупу и воспользоваться его деревянной кроватью, застеленной клетчатым грубошерстным пледом, одним из тех прекрасных родопских пледов, которые не изнашиваются век. Мы говорили, что нам не нужно, спасибо, у нас есть отличная кровать в отеле, чья плоская крыша белест вон там внизу, между шоссе и морем.

Дед Кириак согласно качал головой и бормотал:

— «Так» — говорят поляки, «Ано» — говорят чехи, «Гут» — говорят немцы. «Добре» — говорим мы, болгары, «Да» — говорят русские...

Он подчеркивал этим, что связи его безграничны, что ему ничего не стоит завести дела с немцами или поляками, лишь бы они платили деньги или давали вино, сигареты, что-нибудь. Но с тех, кто ему правился, как, например, тот длинный Януш и его черноволосая, похожая на туркиню девушка замечательной красоты, он не требовал ничего. Халупа деда Кириака была известна на побережье. Но нам она была не нужна.

Мы сидели на скамейке, пили вино и смотрели на море, на почти неподвижный, километрах в десяти от берега, смутно-голубой пароход, идущий в Констанцу, на мыс Калиакрия с его восковой зеленью. Дед Кириак рассказывал, как в детстве он нырял в море возле этого мыса, мечтая найти сокровища погибших здесь древнегреческих кораблей. Много людей приезжало сюда из Софии, некоторые даже из Вены и из Парижа, занимали ныряльщиков и водолазов,— это было до войны,— но никто не нашел сокровищ. Деду Кириаку попалась один раз золотая монета, вот и все.

— И хорошо, что я не нашел сокровищ,— говорил дед Кириак.— Они бы сделали меня несчастным. Я уехал бы в другую страну, бросил бы свою Величку, заболел бы там и умер. А сейчас мне шестьдесят восемь лет, но я еще крепкий, веселый, меня любят толстые женщины, и я люблю толстых женщин и буду жить долго.

Однажды я встретил толстую рыжеволосую женщину: она спускалась по каменистой тропе. На ее пляжной сумке, наполненной виноградом, была надпись «Gott mit uns». Ее толстые ноги ступали твердо, ее толстые руки, покрытые свежим, багровым загаром, делали плавательные движения, а ее глаза смотрели туманно. Два раза в месяц приезжала к деду Кириаку из Варны его жена Величка, рыхлая отечная старуха, страдавшая одышкой. Она с трудом, отдыхая подолгу, взбиралась по тропе к халупе и потом лежала час на кровати, успокаивая сердце. Она приезжала забрать деньги.

Дед Кириак любил Величку. Он целовал ее в губы, гладил ее обвисшие щеки и говорил: «Моя красавица македонка!»

В середине октября, когда приехал Пепчо с Марией, мы последний раз зашли к деду Кириаку выпить вина перед дорогой. Шел слабый дождь. Тропа, обычно в дождь непреодолимо скользкая, не успела даже намочиться. Облачное небо стояло над морем, как пар. И мыс Калиакрия был не виден. Дед Кириак говорил, что накануне был у него дурной сон: будто держит двумя руками две громадные, высотой с человека, амфоры, они качаются, вырываются из рук, и наконец одна падает и бьется на мелкие кусочки, все вино проливается на землю, а другая хоть и падает, но остается цела, только часть вина вылескивается. «Этот сон — к смерти,— сказал дед Кириак.— Кто-то умрет из моих близких. Я думаю, это весть о смерти

отца, ему девяносто два года, он живет в городе Мелник на греческой границе».

Тогда я впервые услышал о Мелнике, о самом маленьком городе Болгарии, становящемся все меньше и меньше, о городе угасающем, как человек. Мне захотелось увидеть его: на Земле так мало угасающих городов. Большинство городов Земли предполагает жить вечно. Но тогда мы спешили в Софию, оттуда в Москву, где нас ждали дела, Аляка, перемена квартиры, и я не знал, приеду ли я еще раз в Болгарию, был почти уверен в том, что не увижу Мелник, хотя в глубине души жила странная надежда, какая-то тень надежды на то, что когда-нибудь я увижу его.

Это было четыре года назад. И вот что случилось с тех пор: я остался один. Мария ушла от Пепчо к югославу и живет в Тресте. Дед Кириак умер. Я остался один со своей молчаливой Алей. И в Софии была зима. Я ехал по городу, не узнавая его. Ненужно торчали платаны и тополя — голые, ободранные зимой. Через три дня предстоял Новый год, и повсюду на домах, в витринах магазинов видны были буквы ЧНГ, обозначающие три слова «Честита нова-та година». Отель «Болгария» был пуст: иностранцы разъехались встречать рождество по домам. А мы с Алей приехали из дома сюда, в пустой отель. «Что мы будем тут делать?» — спросила Аля в первый же вечер, когда мы с Пенчо поужинали, он уехал и мы остались одни. Аля сидела у стола и вырезала из болгарского журнала портреты киноартистов, а я лежал на диване и смотрел в окно. «Не знаю, что мы будем делать, — сказал я. — Посмотрим. Что-нибудь придумаем. Можем поехать, например, в город Мелник. Очень интересный город. Его население неуклонно уменьшается». — «Ну и что?» — спросила Аля.

От Стапке Дмитрова, где старики смотрели на нас в сладкарнице, до Мелника оставалось не меньше ста двадцати километров. Дорога шла прямо на юг, снег исчезал, земля обнажалась, голубые прорехи в облаках становились все просторней, солнце по-летнему освещало луга, башни из брикетов светло-зеленого прессованного сена, ровные, убегающие до края холмов ряды фруктовых деревьев; вдруг все меркло и вновь наступала зима, серая равнина, одетые по-зимнему люди стояли на каменных тротуарах деревни, женщины полоскали белье в луже,

над которой дымился пар горячего источника, дорога поднималась, слева на горизонте вставали горы — то была Рила. Впереди нас все время шел черный «мерседес» с греческим номером, в заднее стекло был виден сидящий за рулем мужчина в белой рубашке, рядом с ним курчавый темноволосый мальчик, а может быть, это была маленькая женщина, мужчина иногда обнимал мальчика или маленькую женщину правой рукой за плечи, придвигал к себе, несколько километров они ехали обнявшись, и Пенчо сказал, что утром они будут в Афинах.

Автострада вошла в горы. Мы ехали теперь вдоль Струмы, она струилась в камнях, она стремилась на юг, к Эгейскому морю, которое болгары называют Белым; мы ехали то справа от Струмы, то слева, — я почему-то не замечал, каким образом мы перескакивали с одного берега на другой, и каждый раз удивлялся: «Почему мы справа? Ведь только что были слева». Когда-то в незапамятные времена, шесть лет назад, я ехал в Родопях, и меня как мгновенным холодом овеяло вдруг то ощущение счастья, которое тогда было со мной. Это было сложное и одновременно такое ясное, полное, вбиравшее в себя все остальное, но неосознаваемое ощущение покоя, простое, как сон души, и в этом сне были дорога, узпавание, мысли о деле, о моем деле, только о моем и ничьем больше, и упругость руки, и ожидание встречи, и любовь, которая жила со мной так же незаметно и привычно, как дыхание, и сумерки, и прохлада ущелья, и шум реки, и еще то, что за поворотом, за горами, за годами.

Слова было ущелье, другое ущелье, по такое же сумеречное, и шум реки. Но того ощущения, похожего на сон, не было. Как всё, и это бывает у человека однажды. Проклятое, единственное однажды, о котором не догадываешься, когда оно есть, а потом оно возникает уже как воспоминание.

— И когда царь Самуил увидел своих воинов, — говорил Пенчо, — которых император Василий отпустил из плена, он упал на землю и умер от горя...

Я видел, как они брели долиной Струмы из византийского плена, цепляясь друг за друга, и те, кто падали, оставались лежать. Василий Второй, прозванный Болгаробойцем, ослепил все войско царя Самуила, разбитое при Беласице, пятнадцать тысяч болгар, оставив кривым каждого сотого.

Аля, дремавшая на заднем сиденье, вдруг проснулась и спросила:

— А зачем — кривым каждого сотого?

— Как же! Чтобы кривые могли видеть дорогу и вести остальных. Ты повимаешь? Один кривой шел впереди, — с воодушевлением заговорил Пенчо, — а девяносто девять слепых, держа друг друга за руки, шли цепочкой за ним. Это было тысячу лет назад, осенью. Они шли через горы, леса, вдоль рек...

— И по этому ущелью тоже?

— И по этому ущелью тоже. Они шли везде. Царь Самуил перенес столицу в Охриду. Это гораздо южнее. Сейчас там Югославия.

— Но как могли девяносто девять... Ведь это ужасно длинная цепочка! Как же они шли?

— Им было очень трудно, — сказал Пенчо.

Он напрягал память, стараясь вспомнить школьную историю. Ему казалось, что он должен развлекать нас.

— Я не понял, при чем тут Мелник, — сказал я.

— Как же! Я говорил, что Мелник был осажден этим Василием Болгаробойцем и долго не сдавался. И только благодаря коварству одного грека...

Камни вдоль Струмы лежали в тех же нагромождениях, что и при царе Самуиле. И еще раньше, до царя Самуила — при фракийцах, при греках, римлянах, готах — всё было здесь так же, как сейчас, если не считать асфальтированного шоссе, построенного недавно. Из тысячелетнего котла, в котором кипели и мешались племена и пароды, выплыл смуглый, курчаво-седой, голубоглазый громадный Пенчо, мой милый Пенчо, который зачем-то вызвал нас из Москвы, зачем-то вез зимней дорогой в Мелник, вместо того чтобы сидеть сейчас в Русском клубе или у журналистов и пить ракию, закусывать салатом по-шопски, кусочком белого сыра, потом взять кофе, еще кофе, и еще ракию и снова кофе, потому что все время подсаживаются новые люди, каждый что-то заказывает, приносит новые слухи, новый смех, огорчения, страхи, анекдоты, разговор не смолкает; после часу можно поехать в Венгерский, там открыто до двух, а оттуда в «Асторию», которая, разумеется, есть лишь пародия на настоящий бар, но там можно встретить забытых друзей, и снова кофе, еще раз кофе, потом, на исходе ночи, долго ковыряться со старой ключей, — она не заводится, что-то в карбюраторе, или вдруг сел баллон, левый задний, и

придется оставить ее до утра там, где она стоит, и идти домой пешком. Прекрасно идти домой пешком на рассвете. От брусчатки идет запах травы и даже тянет росой. Мимо собора вниз, а потом направо по темной узкой улице, где нет ни одного фонаря и ни одно окно не горит.

— И все-таки они хотели жить? — спросила Аля.

— Как же! — сказал Пенчо. — Конечно, они хотели жить.

— Я бы не могла. Я бы бросилась в реку.

— Нет, — сказал Пенчо. — Человек может пережить все. Ты не понимаешь еще. Не дай бог тебе это понять когда-нибудь. — Аля не ответила. Пенчо помолчал. — Они дошли до своих домов, те, кто не умерли по дороге, их встретили жены, и они родили детей. Они могли родить много детей, эти слепые. Какой-то слепой солдат был, может быть, мой предок. Если б он упал духом от горя и бросился в реку, я бы не был на свете. Как же! — Снова помолчал, он сказал:

— Та цепь, которой шли слепые царя Самуила, держась за руки, она не порвалась и дотянулась до нас, и мы держим их за руки, тех слепых болгар.

— А они держат нас, — сказал я.

— Они держат нас, как же! — сказал Пенчо и покачал головой, что у болгар означает не отрицание, а как раз наоборот: утверждение и согласие.

«Мерседес» с греческим номером исчез: мы свернули с автострады на восток. Мельник лежал в котловине, окруженный грязно-белыми скалами. Дома теснились по берегам обмелевшей речонки, которая была сейчас просто рвом, заваленным большими камнями. Пенчо медленно вел машину по вязкому берегу. Дома были старые, с прочными толстыми стенами и маленькими окнами, они карабкались по склону, нависали один над другим, их крыши напоминали лестницу.

Возле длинного здания, похожего на барак, с вывеской «Ресторант Мелнишна Лоза», Пенчо остановился. Здесь, наверное, был центр. На другой стороне речонки, куда вел деревянный, заляпанный грязью мост без перил, стояли два дома с какими-то вывесками, неразличимыми с нашей стороны. Мы вышли из машины. Было холодно.

В ресторане, имевшем продолговатый, с высоким потолком зал, за столами не сидело ни одного человека. Перед входом стояла железная печка-временка, а в ней горели дрова, и два парня в черных свитерах, в грубых рабо-

чих брюках сидели возле печки, сгорбившись, как два старичка, и грелись. Они даже не посмотрели на нас. На стенах зала еще сохранились новогодние украшения: гирлянды из золотистой бумаги и разбросанные кое-где буквы ЧНГ. В углу стояла елка. Ее украшало множество маленьких бутылочек, среди которых было и несколько больших бутылок и даже две двухлитровые, оплетенные соломой бутылки из-под вина «Мелник». Наверное, в новогоднюю ночь это бутылочное украшение казалось забавным, а сейчас, в пустом зале, выглядело глупо.

Аля сказала, что ее укачало и она немного постоит на воздухе. Она вышла, а мы с Пенчо сели за стол. В окно я впдел, как Аля подошла к берегу, нагнулась, подняла с земли какую-то палочку и стала чертить на земле. Издали она была похожа на взрослую женщину.

— Я был здесь семнадцать лет назад,— сказал Пенчо.— Мы с Марпей были тогда студентами.

Оглянувшись на дверь, он проговорил быстро:

— Знаешь, два года я ждал ее каждый день. Я не спал ночи и ждал, что она позвонит. Два года!

— Ты надеялся.

— Нет, не надеялся, а мучился. Это было страдание. Ты не понимаешь, как же! — Он продолжал вполголоса, потому что приближался официант. — Непереносимое страдание. Знать, что она где-то есть, но — не со мной...

— А знать, что — нигде? И никогда?

— Ах, нет! — Он махнул рукой.— Это другое! Это — природа, мироздание, как же...

Официант, не понимая по-русски, слушал наш разговор и улыбался. Пенчо заказал три кибачета и бутылку вина «Мелник». Вошла Аля, и я по ее глазам понял, о чем она думала; ее лицо было бледно и ничего взрослого, такое маленькое, детское, бледное, гордое лицо, и мое сердце рванулось и сжалось, но я ничего не сказал. Следом за Алей вошел мужчина в брезентовой куртке, наброшенной на плечи, и присел к железной печке. Теперь там было трое. Они сидели молча.

— Им все ясно! — сказал Пенчо, подмигнув мне и Але.— О чем им говорить? — Затем, вспомнив, что он должен развлекать нас, он сказал: — Это лесорубы. Здесь все мужчины работают в горах лесорубами или на виноградниках. В Мелнике самый сладкий виноград в Болгарии. Сирийская лоза, ее вывезли из Сирии.

Мы съели кибабчета, выпили вино, потом Пенчо куда-то отошел. Аля перегнулась через стол и спросила шепотом:

— Папа, зачем мы сюда приехали?

— Как — зачем? Мелник очень интересный исторический город. Его население неуклонно уменьшается...

Пенчо вернулся к столу вместе с официантом, который сказал, что директор школы Боржиков, сосед официанта, может рассказать кое-что об истории Мелника. Если нужно, он, официант, может за ним сбегать. Сейчас капикулы, и директор должен быть дома. Тут же, не снимая форменной куртки, официант выскочил на улицу и — я видел в окно — перемахнул мостик и побежал по крутой тропинке в гору.

Довольно скоро он вернулся так же бегом и, задышавшись, сообщил, что директора нет дома, он гонит ракию. Если мы желаем, он может нас проводить к «казану».

«Казан» был каменным сарайчиком с трубой, из которой валил дым. Земля вокруг «казана» была топкая, в лужах, и лужи все увеличивались благодаря струйке воды, сочившейся из водопроводной трубы вниз, у цоколя. Прыгая с камня на камень, мы прошли ко входу. Там было полутемно, посреди в земле был очаг, где тлела гора угольев, справа стояли два чана, соединенных перегонными трубами. Сухой и жаркий от тлеющих угольев, насыщенный спиртовым запахом воздух сразу обнял нас и одурманил. Мы остановились у двери. Четверо — учитель Боржиков, его взрослая дочь, сын-подросток и родственник Боржикова — быстро работали, едва поздоровавшись с нами. Сын-подросток бросал уголья, дочь заливала воду, Боржиков и его родственник поднимали большую тяжелую кадку, наполненную выжатой виноградной кожурой, называемой «джибри» — из нее-то и получалась ракия — и опрокидывали кадку в чан. Потом так же быстро накрывали чан крышкой и замазывали щель вокруг крышки глиной.

Слева на лавке сидели три старика. Они держали руки над очагом, шевелили черными пальцами, потирали ладони, и двое из них смотрели на работающих, а третий, совсем древний старик в круглой шапочке, был слеп: он вытягивал темное сморщенное личико в сторону чана и нюхал воздух. Старики ждали ракию. Аля тихо подо-

шла к ним и села на лавку, а мы продолжали стоять у двери.

Прошло не больше четверти часа, и учитель Боржиков дал старикам и нам по «голяме» — большой рюмке — прозрачайшей виноградной водки. Потом пошли к нему в дом. Снова пробовали ракию, ели сливовое варенье, и Боржиков рассказывал кое-что об истории Мелника. О виноторговцах, торговавших с арабами и с Испанией, о богомилах и турках. Я не понял одного: почему население Мелника неуклонно уменьшается? Пенчо торопил нас: небо посерело, было похоже, что пойдет дождь или снег.

Боржиков почти бегом повел нас смотреть самые старые дома Мелника. Пришлось забираться наверх по кручам, по каменистым разбитым ступеням. Жители этих верхних домов таскали воду снизу. Я увидел старика — того древнего, слепого, в круглой шапочке: он карабкался по крутизне, медленный и задумчивый, как жук. Мы стояли наверху, ожидая, пока он подползет к нам. Ему было лет сто. Когда он приблизился, стало слышно, что он что-то напевает под нос. Все-таки он немного видел и остановился, подняв к нам лицо, которое нельзя было назвать человеческим: это было лицо природы, лицо мироздания.

Пенчо взял его под руку и заговорил по-болгарски. Старик жил еще выше, его дом врос в землю, как дерево. Пенчо повлек старика, они карабкались вдвоем минут десять.

Вернувшись к нам, Пенчо сказал:

— Старик немножко, как у вас говорят, таво... — Он покрутил пальцем у виска. — Это отец деда Кириака. Ты помнишь деда Кириака?

Я помнил.

— Он даже не знает, что деда Кириака нет в живых. Сказал, что сын в Варне, капитан большого парохода. И что у сына есть жена Величка, замечательная красавица македонка.

— Ему сказали про сына, — сказал Боржиков. — Но не верит. Не хочет верить и — ничего!

Боржиков засмеялся и тоже покрутил пальцем у виска.

Снеговая туча спустилась низко, набухла, окупула в себя вершины гор, стало трудно дышать. Пенчо сказал, что если скоро не уедем, то застрянем где-нибудь в доро-

ге: снегом завалит шоссе. Я взял Алину холодную руку: «Ты замерзла?» Она покачала головой. «Хочешь подняться к этому старику? Поговорить с ним. Мы ходили к его сыну, и он угощал нас вином, брынзой. Мы очень любили ходить к его сыну в гости. Он был такой милый старик». Аля снова покачала головой, в ее лице мелькнула слабая гримаса, и она сказала: «Нет, не хочу». Она взяла меня под руку, и мы стали спускаться вниз. Мы прошли берегом до площади, перешли мост без перил и остановились возле машины. Земля была уже белая от снега.

1967

Однажды утром, уже одевшись, в шапке, Сергей Иванович подошел к окну, чтобы посмотреть, какова погода и надевать ли галоши, и увидел голубя. Голубь был похож на борца: могучая спина и крохотная головка. Он сидел на узеньком железном отливе и, склонив головку набок косым, шпшонским взглядом засматривал в комнату. День был сырой, всю ночь шел мокрый снег, окна запотели, голубь не много смог увидеть через стекло.

Он увидел грязную вату между рамами, пролежавшую там ползими и успевшую почернеть от копоти; две поллитровые стеклянные банки на подоконнике, одну с клюквой, другую с кислой капустой, и на одной банке он увидел блюдце, на котором лежал кусочек масла в вощеной бумаге; и веревочную авоську, прикрепленную к замку форточки и висевшую между стеклами, в которой хранилось несколько сморщенных сосисок. И еще он увидел старомодно заметно опухшее со сна лицо Сергея Ивановича, его седые брови, немигающий взгляд и желтые от табака пальцы с широкими, плоскими и тупыми ногтями, почесывающие подбородок. Это увидел голубь. А Сергей Иванович увидел то, что привык видеть по утрам в течение многих лет: семиэтажную пропасть, кирпичную, с дождевыми и протеками изнанку дома, и крыши напротив, утыканные трубами и антеннами, и внизу, на дне пропасти, — туманный, заваленный серым снегом двор, беззвучную суету людей, бегущих по утренним своим делам кто куда. И голубя на карнизе. Дымчато-синего, с розоватым отливом цвета остывшей после горна стали. Странный нежданный гость! Никто поблизости не держал голубей, и вдруг пожалуйте.

Сергей Иванович, размышляя, продолжал чесать ногти подбородок. Потом стукнул по стеклу мундытук трубки. Голубь подергал туда-сюда головкой, но не двинулся с места.

— Глянь-ка, мать, кто к нам залетел,— сказал Сергей Иванович.— А погода собачья, хуже вчерашнего.

Он зажег трубку, сунул ноги в галоши и вышел поспешно, ибо уже запаздывал минуты на три против обычного. А Клавдия Никифоровна, проводив мужа до входной двери, вернулась в комнату, подошла к окну и тоже увидела голубя, прибитого непогодой. Внизу, на дворе, чернела мокредь. По стеклу змейками сочился истаявший снег. «Ах ты господи, склизь-то какая,— огорчилась Клавдия Никифоровна.— И верно, хуже вчерашнего». Она открыла форточку и бросила на карниз горсть хлебных крошек, думая о своем старике: как бы не поскользнулся дорогой.

...Жили одипоко. Сын Федя погиб на войне, дочка с мужем, механиком по автоделу, лет девять назад завербовалась на Север, да так и прикрепилась там, писала редко. Сергей Иванович, несмотря на года — седьмой десяток на половине,— трудился на той же фабрике, где полжизни отработал, теперь, правда, не мастером в кроватном цехе, а кладовщиком в инструментальной кладовке. А Клавдия Никифоровна хозяйство вела. Хотя какое в Москве хозяйство? В «гастроном», да в молочную, да сапожнику обувь снести.

Клавдия Никифоровна и пригрела печального голубя: начала подкармливать мимоходом, а потом и привыкла. Ядрицу для него покунала, булку крошила, обязательно белую: от черной голубь клюв воротил. Сергей Иванович шутил: что, мать, забаву нашла? Скоро, спрашивал, на крышу полезешь — свистеть в два пальца и тряпкой махать?

Шутил-шутил, а, приходя с работы, стал между прочим интересоваться:

— Ну, как наш иждивенец? Прилетал пынче?

Голубь прилетал ежедневно и вскоре совсем освоился на седьмом этаже и даже голубку привел, белую, как молочный кипец, с черными глазками в аккуратных яптарных оболочках. Когда потеплело и можно было открыть окно, Сергей Иванович смастерил — так, скуки ради, чтоб руки занять,— деревянный ящик с круглым очком и выставил на карниз:

— Вот вам, уважаемые, квартира от Моссовета. И безо всякой очереди.

В квартире этой скоро запищал птенец, блелький, в мамашу, очень прожорливый и ленивый. Через месяц он

стал размером со взрослого голубя, но все еще не умев ворковать и летал, как курица.

Особенно полюбились голуби соседской Маришке, девочке лет девяти, которая по болезни неделями не ходила в школу и слонялась, скучая, по большой, безлюдной дневные часы квартире, не зная, чем заняться. Клавдия Никифоровна жалела эту Маришку — бледненькую, с тонких мушиных ножках, — всегда зазывала ее к себе, она сидела у окна, грызла морковку и смотрела на голубей. А родители Маришкины были люди занятые, пропадала на работе до вечера: Борис Евгеньевич работал библиотекарем в самой главной библиотеке, а Агния Николаевна учила в школе, в старших классах. И была еще у них бабушка, Софья Леопольдовна, старушка лет под восемьдесят, совсем почти глухая, но еще крепкая, на ногах — и всех готовила и в магазины ходила.

Весна между тем забирала круче.

Расталкивая облака, гуляло над городом влажное серое небо. В овощном магазине, где всю зиму торговали консервами и черной картошкой, появился парниковый лук. По утрам мимо окна проносились стремительные, прогнавшие Клавдию Никифоровну серые тещи, внизу ухал наверху гремело железо: рабочие сбрасывали снег с крыш.

Несколько теплых апрельских дней дотла сожгли хороводившийся кое-где снег, залили Москву мутной быстрой водой, по солнцу высушило эту сырость очень скоро, и майю тротуары были сухи. В мае на балконе седьмого этажа появился мальчишка в бордовом свитере и в зеленых брюках от лыжного костюма. Мальчишка готовил на балконе уроки. Он сидел на стуле, положив одну толстую ногу на другую, и, жмурясь от солнца, что-то зубрил и царапал карандашом в тетрадке. Но чаще он держал карандаш в рту, делая вид, что курит трубку, или же строгал карандаш пожичком, а заодно подравнивал пожичком стул. Время от времени из двери высовывалась рука и протягивала мальчишке бутерброд или яблоко. Съев яблоко, мальчишка мотал огрызок в балкон четвертого этажа, целясь в алюминиевое ведро, стоявшее там, и, если выстрел бывал удачным, ведро отзывалось гулким колокольным звуком. Иногда он просто кидал огрызок вниз, но обум, и, подождите немного, выглядывал через перила: в кого попал?

А скоро мальчишка обнаружил голубей, стал приходить на балкон с рогаткой и стрелять в голубей абрикосовыми косточками и кусочками цемента, которые он отколуши-

вал от балкона. Сергей Иванович как-то заметил это, пристыдил из окна:

— Эй, дяденька большой, ты что ж хулиганишь?

Мальчик засмеялся, покраснел и убежал в комнату.

Однако через день или два мальчик вновь появился на балконе и вновь готовил уроки и стрелял из рогатки. Потом неделю шли дожди, и голуби получили передышку. А в середине мая, когда снова наладилась солнечная погода, однажды утром пришла неожиданная посетительница: высокая молодая дама в шуршащем плаще и с длинным цветастым зонтиком.

— Здравствуйте, я Моргунова из шестого подъезда, — сказала дама, с треском складывая зонтик и входя в коридор. — Я пришла относительно голубей.

— Заходите в комнату, милости просим, — сказала Клавдия Никифоровна.

— Нет, спасибо, я на минутку. Я только насчет голубей. Голуби ваши, да? Дело в том, что ваши голуби, эти милые существа, играют совершенно роковую роль в нашей семье. Нет, поймите меня правильно! Я против голубей в принципе ничего не имею... — Моргунова говорила таким громким, жизнерадостным голосом, что из своей комнаты вышла соседка Мария Алексеевна, и даже старушка Софья Леопольдовна, — глухая-глухая, а тоже услышала, — приползла из кухни.

Сергей Иванович не сразу сообразил, чего хочет дама с зонтиком. Упорным взглядом исподлобья он рассматривал ее полное румяное лицо с маленьким ротиком, красиво обрисованным розовой помадой, ее шуршащий переливчатый плащ, сопел трубкой и думал: до чего же народ стал балованный, это на удивленье! И то им не так, и другое, и черта лысого не хватает, а как в войну переживали — об этом уж никто не помнит. Вникнув, догадался: дама просит, чтоб голубей убрали. А спроси ее — зачем? Почему такое это пужно, чтоб убрать? Кому птицы мешают? Она и не ответит, потому что одна блажь в голове, баловство.

Все это Сергей Иванович подумал про себя, а в разговоре не пророчил ни слова. Клавдия Никифоровна очень вежливо и разумно отвечала даме. Она сказала, что ученику необязательно готовить уроки на балконе и что от голубей никому не может быть беспокойства, если не обращать на них внимания и не шмалять в них из рогатки. Конечно, сказала она, с учепиками хлопот довольно, кто

говорит. Сама, слава богу, двоих вырастила, и внучка уже в третий ходит, в Мурманске живет. Конечно, кто говорит: учиться нынче не сахар. Хоть в Москве, хоть где. С ребят требуют очень крепко...

Моргунова сказала, что ей, к сожалению, некогда разговаривать, она должна идти по делам, но напоследок повторила:

— Вы уж, пожалуйста, ваших птиц уберите. Это наша категорическая просьба. А то муж хотел обратиться к общественности.

И, улыбнувшись приветливо, она ушла.

Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна были несколько озадачены последними словами Моргуновой, но, поразмыслив, сочли все происшествие пустяком, не стоящим внимания. А Мария Алексеевна, женщина деловитая (одиннадцать лет кассиршей на одном месте, в «гастрономе»), сказала, что она хоть эту Моргунову не знает, но слышала, что у нее в прошлом году работала в домработницах такая Даша, хроменькая, которая сейчас работает у одного профессора в доме, где овощной магазин, и вот она, Мария Алексеевна, однажды познакомилась с этой Дашей в химчистке, и та порассказала ей всякого-разного про этих Моргуновых: сама, говорит, колотит мужа почему зря, и он ей тоже не дает спуска. Каждую субботу у них гости, выпивка, музыку на полную силу запускают, так, что соседи стучат в стенку и жалуются. Так что, если она что скажет, можно и про нее сказать. Можно эту Дашу в крайнем случае разыскать, она в доме, где овощной, ее там каждый знает, она хроменькая, приметная.

Старушка Софья Леопольдовна тоже была возмущена и кипятилась:

— Какая наглость, вы подумайте! Я бы на вашем месте, Клавдия Никифоровна, ей ответила хорошенькой! На мой характер, я бы ей задала перцу, нахалке этойкой!

Сергей Иванович махнул рукой и ушел в комнату. В окно увидел, как по двору идет Василий Потапович, направляясь к деревянному столу, врытому подле забора, а за столом, в окружении мальчишек, уже сидят старик Колесов и молодой парень Мишаля Жабин, игрок хитрый и прижимистый: собираются воскресного «козла» забивать. Сергей Иванович играл обычно вечером, когда сходились люди солидные, испытанные годами и злопамятные друг против друга противники. Но сейчас, коли Василий

Потапович нацелился играть, да и старик Колесов тут, грех не выйти.

— Пойду, постучу до обеда, — сказал Сергей Иванович, выходя в коридор, где Клавдия Никифоровна продолжала пустой разговор с женщинами. — Позовешь тогда...

Прошло несколько дней, и Клавдия Никифоровна опять заметила, как мальчишка в голубей стреляет. Только начала она ему выговаривать, как на балконе появилась Моргунова в длинном, из блестящего китайского шелка халате и, не говоря ни слова — раз! раз! раз! — отхлопала парня по рукам. Тот в слезы, а Моргунова повернулась к Клавдии Никифоровне и пригрозила па весь двор: если, мол, до завтра голубей не уберете, будете иметь дело с домкомом.

Сергею Ивановичу, конечно, и не подумал голубей убирать. Да и куда их? В шкаф? Суп из них варить? Тут, правда, про голубей па короткое время забыли: за Борисом Евгеньевичем пришли ночью и увели. С понатыми. Шум был, топот, разговоры, жильцы, конечно, проснулись, вышли в коридор. Агния Николаевна стояла нечесаная, белая и смотрела дяко, как пьяная, а старушка Софья Леопольдовна кричала в голос. И только Маришка была спокойная, зевала спрpsonья, Борис Евгеньевич держал ее па руках до двери. Жильцы с ним прощались. Клавдия Никифоровна сказала:

— Да что ж это, Борис Евгеньевич?

А он посмотрел, улыбнулся:

— Разве не знаете, Клавдия Никифоровна, я же вчера человека убил!

Потом долго, часа два, Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна не могли заснуть, грели чайник па плитке, обсуждали шепотом: мог ли Борис Евгеньевич человека убить? Вообще-то он был шутник, скорей всего пошутил. Скорей всего в библиотеке что-нибудь допустил, может, ценные книги портил или еще что.

Спустя день-другой после этого случая пришел член домкома Брыкин. Этого Брыкипа, полковника в отставке, все в доме хорошо знали: с утра до вечера топтался он во дворе, следил за порядком, подгонял дворников пли же сидел в домоуправлении и командовал как общественник слесарями и водопроводчиками, которые ему вовсе не подчинялись и часто даже не желали его слушать, но он никак не мог жить без того, чтобы кем-нибудь не командовать. Было ему лет семьдесят, но оттого, что он днями гу-

лял на свежем воздухе, цвет лица у него был, как у милиционера, очень красный и здоровый. Еще этот Брыкин ходил по квартирам и воевал с неплательщиками, а на самых злостных писал заявления в те места, где неплательщики работали.

Зайдя в квартиру, Брыкин в первую очередь спросил:

— Сысойкина дома?

— Нету,— сказала Клавдия Никифоровна.

— Передайте, что если в течение двух дней не оплатит мартовскую жировку, будем разбирать в товарищеском суде. И напишем по месту работы.

— Хорошо, товарищ Брыкин, обязательно передадим. А мы-то уж давно!

— Вы-то — я знаю. Насчет вас тоже есть разговор. Можно к вам пройти?

Не дожидаясь ответа, Брыкин шагнул в комнату, сразу к окну, посмотрел на голубей и сказал:

— Это надо убрать, граждане. Соседи протестуют, из шестьдесят второй квартиры. Согласно положению не имеете права.

— Согласно какому такому положению? — спросил Сергей Иванович, который недавно пришел с работы и сидел за столом, пил чай.

И тут же за столом сидела маленькая Маришка и тоже пила чай.

— Имеется положение,— а как вы думали? — если соседи протестуют, то не можете держать никаких домашних животных, и птиц то же самое. Касается одинаково домашних животных или птиц, это безразлично. Могут до штрафа довести, так что советую убрать.

— Ну что ж.— Сергей Иванович вздохнул.— До штрафа мы, конечно, не допустим, товарищ Брыкин. Мы их не заводили, нам что были они, что нет, все едино. Вот девочка с яями занимается, а нам — что ж, пускай.

— Девочка тем более не ваша. Это не причина.

— Наша, наша,— сказала Клавдия Никифоровна и погладила Маришку по голове.

— Где ж ваша? И масть не та.— Брыкин усмехнулся, передние зубы у него были золотые. Наклонившись к Сергею Ивановичу так, что красные щеки его свесились, как два мешочка, сказал вполголоса: — А приваживать не советую.

Тут в комнату заглянула Агния Николаевна, позвала Маришку ужинать.

— А она уж ужинает, — сказала Клавдия Никифоровна. — Вот как хорошо ужинает.

— Нет, нет, не надо мешать чужим людям, Мариша, скажи спасибо, и пойдем.

Агния Николаевна вошла в комнату, поздоровалась с Брыкиным, на что тот как-то неопределенно, не глядя, кивнул, а может, просто опустил голову и вышло похоже, что кивнул, и взяла Маришку за руку. Но девочка не хотела вставать, неспешно допивала чай с блюдца и заедала баранкой.

— Нам ваша дочка несколько не мешает, — сказал Сергей Иванович.

— Я понимаю, но у вас люди, а ей пора домой.

— А ничего, пускай чайком погрееется.

— Мариша, я тебя прошу — быстрее!

Все, даже Брыкин, смотрели на девочку, уплетавшую баранку, с улыбкой, только мать стояла мрачно, глядя на дочь совсем не материнским, холодным взором.

— Ну? — сказала Агния Николаевна.

— Мам, а дядя говорит, что голубков надо убрать.

— Надо — значит, надо.

— Мам, а мне их жа-алко!

— Мало ли что жалко. Вставай! Скажи спасибо и пойдем. Нас бабушка ждет. — И она потянула Маришку за руку из-за стола.

— Да, да, голубков ваших надо убрать непременно, — сказал Брыкин.

Бледное личико Маришки вдруг скривилось, глаза закрылись, и она заревела. Клавдия Никифоровна стала ее успокаивать, совала баранку. Сергей Иванович тоже встал из-за стола, Агния Николаевна тащила Маришку силой, а та ревела все отчаянней. Агния Николаевна не говорила ни слова, лицо ее как будто застыло, и только у самых дверей она вдруг стала кусать губы.

Брыкин сказал, когда мать и дочь скрылись:

— Ну и соседи у вас! — И pokrutil головой. — А насчет птиц не затягивайте. К завтраму чтоб.

Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна особенно не огорчились: жили без голубей и проживут. Штраф платить никому не охота. Клавдия Никифоровна сгребла все голубиное семейство — и птенца великовозрастного, который уже летать начал, — и отнесла вместе с ящиком одному знакомому малому, сыну лифтерши. Вот малый обрадовался-то!

Вечером о голубях не говорили. Точно их и не было никогда. После ужина пошли к Марии Алексеевне в дурачка перекинуться. Потом, когда вернулись и уже спать постелились, старушка Софья Леопольдовна постучала: Маришка плачет, не засыпает, хочет на голубков посмотреть.

— Нету голубков! Все! Улетели! — сказал Сергей Иванович сердито.

А на другой день, лишь только вошел Сергей Иванович в дом, Клавдия Никифоровна ему радостно:

— А у нас гости!

— Кто такие?

— Погляди вот...

Очень смеялись в тот вечер Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна.

— Мы-то их жалели, мы-то их кормили, а они нас разорить хотят, под штраф подвести!

Вскоре и малый, лифтершин сын, прибежал испуганный:

— Тетя Клава, у вас голуби?

— Здесь, здесь. Забрай свое добро и береги лучше...

Отдали ему голубей, а Сергей Иванович взял молоток и подбил железный отлив таким образом, чтобы, если прелетят голуби в другой раз, сесть им было невозможно.

Утром Сергей Иванович прямо из постели, босой, подошел к окну, глянул — мать честная! — голуби тут как тут. Сидеть им нельзя, так они прицепились к железу и повисли. Все трое повисли. И как ухитрились, на чем держались — непонятно. Эти висящие голуби выглядели так страшно, жутко и трогательно, что Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна растерялись. Марию Алексеевну с племянником пригласили смотреть и Маришку позвали. Маришка оказалась больной, лежала в постели, вместо нее старушка Софья Леопольдовна пришла — совсем согнутая, голова трясется. Племянник Марии Алексеевны, человек ученый, студент института, сказал, что у голубей действует особенная привычка. Им, сказал, отбиться от вашего окна так же трудно, как, например, Сергею Ивановичу бросить трубку курить. Старушка Софья Леопольдовна тоже удивлялась, ахала, потом сказала Клавдии Никифоровне шепотом:

— А у нас беда: Агнью с работы сократили. Как жить будем — не знаю. Книжки продаем, ковер продали... —

И громко: — Нет, ваши птицы исключительно редкие! На мой характер, я бы их ни за что не отдала!

Сергей Иванович хмурился, глядя на голубей.

— Ничего, ладно, — ворчал. — Долго не провисят, устанут...

И голуби правда улетали куда-то, но потом возвращались и снова, прицепившись к отливу, терпеливо висели. Так провисели они целый день. И тогда, пораженный этой удивительной преданностью, Сергей Иванович решил: будь что будет, пускай птицы остаются. Нельзя таких птиц отдавать. Два дня прошли спокойно, а на третий явился Брыкин.

— Что ж, граждане? Акт будем составлять?

Ему показали, что ящика нет и даже отлив подогнут нарочно, и рассказали про лифтершина сына и про то, как голуби возвращаются и висят, окаянные, и сделать с ними ничего невозможно. Брыкин разглядывал висящих голубей, качал головой, и его красные щеки тряслись, как два мешочка. Он спрашивал, который тут голубок и которая голубка, пытался взять их в руки и даже положил несколько крошек на карниз.

Поиграв с голубями, вздохнул, сказал тихо:

— А все равно, граждане, убрать надо неминуемо. И зачем вам, ей-богу, эту пакость держать, прости господи? Если ради девчонки, то могу сказать вполне ответственно, — он понизил голос, — не жильцы они тут. Ясно?

-- Какая девчонка! — Сергей Иванович махнул рукой. — Это нас не касается.

— А нам, видишь, поступило заявление, и мы обязаны прислушаться и принять меры. Так что голуби считаются птица подозрительная, ненужная в наше время. И тем более ученик занимается, и они ему мешают.

— Ну, понятно, чего говорить. У вас тоже служба...

— А как вы думали? Легко ли мне, старику, какой раз к вам на седьмой лезть да вниз топать? Одни вы, что ли, у меня? — Красное лицо Брыкина стало еще гуще, малиново-красным, голос возвысился, белые стариковские глаза с неожиданной злобой уставились в Сергея Ивановича. — Зачем столько уговоров? Пригласить вас повесткой на товарищеский суд, акт составить да штраф влепить — и вся недолга!

Едва упробил Сергей Иванович отсрочку на два дня.

В субботу вечером Сергей Иванович посадил голубей в корзинку, накрыл тряпкой и поехал на Ленинградский вокзал. Он решил отвезти голубей своей сестре, которая жила за Калпом, в ста пяти километрах от Москвы. Клавдия Никифоровна очень тревожилась за своего старика, особенно огорчилась тем, что не заставила Сергея Ивановича надеть вязаную телогрею и взять зонтик. Последнюю неделю зачастили грозные дожди, в воскресенье тоже была гроза. Клавдия Никифоровна проклинала голубей, соседей, Брыкина. ей мерещились всякие напасти.

Сергей Иванович вернулся за полночь — продрогший, измученный, но довольный и с букетом сирени. Он рассказал, что голуби устроены прекрасно, лучшего и желать нельзя. Обе племянницы, девочки, счастливы до невозможности. Голубям отвели квартиру на чердаке, со всеми удобствами, с окном в сад — не то что ржавый отлив, где даже сесть некуда. А там-то помещение богатое, простор, воздух, сирень цветет, воркуй на здоровье хоть сто лет.

— Так что попали наши птахи как в дом родной, — закончил свой рассказ Сергей Иванович, усмехнулся устало. — Теперь уж не воротятся...

Воротились голуби во вторник.

Клавдия Никифоровна плакала, встречая мужа в дверях. Она сказала, что голуби прилетели днем, незадолго перед обедом, и мальчишка уже стрелял в них из рогатки.

Сергей Иванович на цыпочках, боком, подходил к окну, охваченный странным чувством, смесью восторга и испуга. Голуби висели в своей излюбленной позе, опрокинутые навзничь, зацепившись за ржавый отлив. Их крохотные бисерные глаза метали на Сергея Ивановича любовные взгляды.

В третий свой приход Брыкин принес повестку в товарищеский суд: на субботу, на семнадцать часов, в помещении красного уголка.

Был сухой, жаркий, уже клонившийся к вечеру день начального лета. В пустынном дворе — детвора разъезжалась по дачам и лагерям — легкий ветер мел по асфальту невесомый прозрачно-серый тополиный пух. Отдельные пушилки достигали седьмого этажа, залетали в окна, а самые отважные, подхваченные теплым воздухом, подымались еще выше, над крышей, над палками антенн, в синее

небо. Клавдия Никифоровна смотрела из окна, как ее старик плетется по двору, помахивая корзиной.

Через час он вернулся. Корзина была пуста. Клавдия Никифоровна сразу заметила, что от Сергея Ивановича пахнет вином и у него дрожат руки.

— Отдал? — спросила Клавдия Никифоровна, почему-то испугавшись.

— Не волпуйся, мать. Теперь — все, порядок... Порядок, мать.

— С какой же ты радости наклюкался? Постой-ка... — Клавдия Никифоровна осторожно сняла прицепившееся к пиджаку Сергея Ивановича маленькое белое перышко.

— Это пух, мать. Пух с тополей — поняла? Поняла, старая, чего тебе говорят? Ух ты, мордаха! — Сергей Иванович с глухой пьяной суровостью взял пальцами Клавдию Никифоровну за щеки, сжал их и потряс грубовато, как делал когда-то давно, в молодости. И Клавдия Никифоровна вдруг вспомнила это, что было когда-то, и улыбнулась.

Белое перышко, которое она сняла с пиджака, медленно плыло в воздухе, кружилось, снижалось, но ветер из окна подхватил его, и оно взмыло вверх и тихо — никто не заметил — село на плечо Сергея Ивановича.

А потом — что ж?

Было лето, долгое и сухое, была осень с дождями, были холода, испортилось отопление в третьем подъезде, приходил Брыкин, составляли акт, две ночи спали в шубах, Клавдия Никифоровна мучилась с зубами, Агнию Николаевну с девочкой и старушкой Софьей Леопольдовной переселили куда-то на край Москвы, а в их две комнаты вселились новые жильцы, семь человек, все из Тулы, потом зима кончилась, еще одно лето прошло, объявили амнистию, Сергею Ивановичу назначили пенсию, и он ушел с работы и теперь садился за домино с раннего утра. Потом вышел приказ насчет голубей — разводять их как можно больше к фестивалю, встречать иностранцев, — и за них теперь не то что штраф, а спасибо говорили. И разводилось их видимо-невидимо. Повсюду их кормили, на площадях, во дворах, ходили они стаями, толстые, вперевалку, летать ленились, а только ворковали целодневно да гадили где попало, особенно в углах дворов, по балконам и карнизам, и спасу от их пакости, желтовато-свинцовой, не было никакого. А в плохую погоду Сергей Иванович сидел

дома и плел для удовольствия маленькие корзинки из цветного полиэтиленового провода. Обрезки такого провода — то ли он был телефонный, то ли еще для каких нужд — приносил Сергею Ивановичу сколько угодно племянник Марии Алексеевны, который уже закончил институт и работал на предприятии.

1968

Надя возвращалась с Колюшкой и Витей из Москвы, куда ездили на день купаться, а Антонина Васильевна оставалась на даче — сентябрь стоял ясный, грибной, решили пожить до холодов, ребятам последний вольный годик до школы. Было около семи, уже чуть свечерело, кое-где зажглись окна, и Надя лишь только зашла с ребятами на участок и стала подходить к дому, бессознательно заметила темную веранду и темное окно в кухне, что в следующую секунду показалось ей странным, но не очень, потому что мама забывчива и могла задремать, хотя обычно она зажигает свет рано. Надя поднялась по крыльцу, ребята за нею, она постучала в запертую дверь веранды — никто не отозвался; стала стучать сильнее, потом звать громко, ребята весело, изо всех сил орали: «Ба-ба! Ба-ба!» — и, сцепив руки, размахивали ими, глядя друг на друга, как два восторженных дурачка, а Надино беспокойство вспыхнуло внезапно и жутко, и она задыхаясь сбежала по крыльцу вниз и стала кричать с клумбы. На втором этаже стукнула ставня, высунулась белая голова Веры Игнатьевны. Надя спросила, не видела ли Вера Игнатьевна сегодня маму, старуха ответила, что видела утром: Антонина Васильевна колола возле сарая полешки. «Зачем же она это делала? — крикнула Надя с возмущением. — Почему не могла подождать нас? Я столько раз говорила!» Сердце ее сильно колотилось, она снова взбежала по крыльцу вверх, стала рвать дверь, та не поддавалась, тогда Надя побежала к дому Евлентьевых — она задыхалась уже не только от волнения, но и от физического напряжения, при ее восьмидесяти пяти килограммах и нетренированном сердце бегать было тяжело. На дверях Евлентьевых висел замок, но лестничка лежала, как обычно, прислоненная к стенке гаража. Надя схватила лестничку — правую Надину руку все еще оттягивала сумка с хлебом, помидорами, бутылками кефира и туфля-

ми мальчишек, взятыми из починки,—и потащила лестничку к веранде. Ребята стояли, притихнув, и испуганно смотрели на мать. «Господи, господи...» — повторяла Надя шепотом. Она бросила сумку на землю, приставила лестничку к тому месту веранды, где, Надя знала, было окно, которое легко можно было открыть снаружи, и забралась на лестничку. толкнула раму, с трудом взгромоздилась коленями на подоконник и рухнула оттуда на пол веранды с таким громом, что на втором этаже могли подумать, что опрокинулся гардероб. Хромая от острой боли в ступне, она бросилась к двери, ведущей в комнаты: кухня была пуста, печка не горела, возле печки на железном листе, прибитом к полу, валялись лучинки и кусок полуобгоревшей газеты, в следующей за кухней комнате в странной позе на полу, прислонившись к краю кушетки и запрокинув голову, сидела Антонина Васильевна. В ее глазах оставалась жизнь. Антонина Васильевна ждала Надю, чтоб умереть. Но Надя осознала это позже, а в тот миг, когда она увидела мать сидящей на полу, когда бросилась к ней, нагнулась, упала на колени, обняла ее за плечи, закричала: «Мама, я здесь! Я сейчас!» — когда оглядывалась по сторонам незрячим взором, ища что-то, еще в тот миг не определенное сознанием, но смертельно нужное, лекарство, или стакан воды, или книжку с адресом доктора, живущего на 3-й линии, который уехал в Серпухов,— господи, он же уехал позавчера в Серпухов! — она все делала, повинаясь какой-то темной, подземной силой возникшей внезапно, как ураган, которая с этого миг овладела ею.

В комнате совсем смерклось, но Надя, не зажигая света, одеревеневшими руками стала втаскивать тело Антонины Васильевны на кушетку, шепча одно и то же: «Сейчас, сейчас, мама, сейчас, сейчас, сейчас».

Надины руки и все ее существо дрожали от напора этой сверхчеловеческой силы, с которой никогда прежде не соприкасалась Надина жизнь, и вдруг она поняла, что эта сила есть время, превратившееся в нечто совершенно реальное, вроде ураганного ветра, оно подхватило Надю и несет. От платья Антонины Васильевны шел сильный запах валерианы, а из кухни пахло горелой бумагой.

И как у каждого человека, у нее был поступок, осевший всю жизнь: двадцать пять лет назад она прогнала мужа, которого любила, но он стал пьяницей, и жизнь

ним сделалась невозможной. Он уехал в другой город, на край земли. Наверное, он там погибал. У него была женщина. Иногда он писал детям странные письма: «Милая Надюша! Дом, в котором я сейчас живу, представляет собою деревянный барак в два этажа с двадцатью четырьмя окнами, тремя дверями, водоразборная колонка педалеко, дымоходы отличаются хорошей тягой...» Надя показывала письма матери, та читала, мучаясь, но не выдавая себя — по аккуратному и бессмысленному слогу понимала, что письма писаны в пьяном виде, — и плакала украдкой, но сделать ничего было нельзя. А когда-то была хорошая жизнь, мать вспоминала ее, она плакала, вспоминая, а не жалея: отец был главным инженером завода, ездил в «эмке», приносил паек, была дачка в Крюкове, казенная, от завода, и на участке росли яблони. И вдруг все разрушилось так внезапно и быстро. Мать постарела, выбивалась из сил, особенно в войну, изобретала, металась от одного занятия к другому — работала нормировщицей на фабрике, секретарем-машинисткой в конторе ОЗГУПа, ходила с группой детишек на бульваре, была шеф-поваром в столовой, красила дома шелковые платки для одной артели — тянула детей, никто не помогал: старшая сестра, тетя Фрося, хотя жила богато (муж ее, дядя Лева, тридцать лет по министерствам) и была бездетна, но в чужую жизнь не вникала. Ах, бог с ней, с тетей Фросей! Она будет рыдать. Их оставалось двое из большой семьи, она и мама. Она такая завистливая. Чему завидовать? Она находила, и завидовала маме. Мама говорила, что у Фроси дурной глаз. Только раза два в голодные годы, дойдя до точки, мама стучалась к Фросе за помощью, и та одолжала самой малой малостью, но с разговорами («Кто ж тебя neroлил детский сад заводить?» или «Кто тебе виноват, что ты женихов гоняешь, о детях не думаешь?», намекая на одного ветврача, родственника дяди Левы, приезжавшего из Ориши в надежде тут прописаться), и мама заклилась когда-нибудь у Фроски просить.

Мама ее жалела. Говорила, что дядя Лева подлец, обманывает ее, а она все знает и терпит. Пусть она приезжает завтра, сегодня не надо, сегодня один Володя. Никого не хочу, не могу видеть, кроме Володи. Господи, если только он дома, если не ушел играть в шахматы к Левипу!

Темный ветер гнал Надю по шоссе. Она бежала на станцию звонить в Москву. Навстречу шли люди только

что с поезда, нагруженные сумками, свертками, портфелями — из другого мира, где можно идти медленно, можно быть усталым. Некоторые из них с изумлением смотрели на Надю. Что-то было в ее лице, заставлявшее их смотреть: может быть, она шевелила губами.

Она сейчас думала об одном: о том, что Володи может не быть дома. Когда они ссорились, он всегда уходил из дома — на футбол или к Левину играть в шахматы. Надя была уверена в нем. Ничего другого быть не могло. Однако, когда мирились, она спрашивала, томясь тайным непобедимым страхом: «А где вы были вчера, молодой человек? Скажете, опять играли в шахматы у Левина?» «Какже там шахматы! — говорил он. — Мы были у девочек. Чудесно провели время». Обрывалось и холодело внутри, хотя она твердо знала, что это шутка, примитивная шутка. Ничего не могла поделать с собой. Он тут же старался поцеловать ее, а она закрывала глаза и отворачивала лицо. Когда касалось Володи, его отношения к ней, что-то происходило с сознанием, какое-то затмение мозгов: она становилась тупа, теряла чувство юмора. Проклятая дача! Еще в мае, когда приезжали спать, она не понравилась Наде — место невзрачное, хозяйка какая-то угрюмая и ханжуга, триста пятьдесят за две комнаты с верандой, — но Володя и мама настояли, потому что близко от станции, и хозяйка до октября уезжала на юг, и надоело искать, а для мамы было главное, что рядом базарчик. Как чуяло Надино сердце, что дача проклятая. Они с Володей почти и не жили там: завезут продукты на неделю и исчезнут, мама одна управлялась. Вечерами играла в карты с ребятами на кухне, где было всего теплее, а так-то дача холодная, даже летом подтапливали, стены дощатые — и за доски такие деньги дерут! «Где же наши гулены? Верно, в концерт пошли. По радио передавали — сегодня большой концерт в Москве...» Но Надя и Володя ходили в концерты редко. Чаще в кино, к приятелям на чай или на футбол, а то сидели дома и телевизор смотрели. И как раз больше всего Надя любила дома сидеть, чтоб с Володей вдвоем, никаких приятелей, и чтоб знать, что дети в порядке — дышат сосной, едят вкусно и правильно, потому что мама великая кулинарка, — и полежать на тахте в тихой квартире с книжкой в руках под верблюжьим одеялом, и чтоб Володя спустился в «гастроном», купил бы сырку, колбаски, и пораньше лечь спать, часов полдесятого нырнуть в свежие простыни, — по зачем же, зачем мам!

выбрала это проклятое место, куда душа не лежала приезжать?

Он был дома. Надя услышала родной недовольный голос. Не смогла договорить, он закричал на другом конце провода: «Надя, я еду! Меня ждет Левин! Я к нему на секунду и сейчас же беру такси!» Зачем к Левину на секунду? Она силилась понять. Ссора вчера была ничтожна: она рассердилась на то, что он собрался идти в субботу на день рождения своей двоюродной сестры Риты, вместе с Надей, разумеется, но Надя должна была ехать на дачу, дать передохнуть маме, и, кроме того, Надя не любила Риту, считая ее фальшивой и скрытно недоброжелательной. Не простила ей, что когда-то давно, когда они с Володей еще не были знакомы, Рита хотела женить Володю на своей подруге. Подруга могла там быть. Конечно, все это вздор, подруга давно замужем, родила детей и превратилась в драную кошку.

И Володя сам не пошел бы, но тут он впал в амбицию. Решил, что ущемляют его свободу. «Ну, конечно! — говорил он. — Я должен делать только так, как тебе угодно!» Мама умела их мирить. Всегда держала сторону Володи. И сколько раз Надя злилась на нее из-за этого, называла «оппортунисткой», а мама была просто умница, самая настоящая умница. Что ж теперь будет? Как жить? Вдруг Надю охватил страх: она оставила ребят у Веры Игнатьевны, старуха рассеянна, и у нее открытый балкон. Телефон тети Фроси все еще был занят.

Надя побежала в другой конец здания, где принимали телеграммы, и отправила срочную брату Юрию в Петрозаводск. Потом вернулась, и тут как раз дали Москву, но номер не тети Фроси, а Ларисы, Надиной лучшей приятельницы. Лариса похоронила свою мать полтора года назад, она сразу сказала дельное: «Обязательно достань снотворное и прими на ночь. Завтра у тебя будет очень тяжелый день». Надя подумала: завтра? Наконец дали номер тети Фроси. Надя не понимала, говорит она тихо или кричит. Когда она вышла из кабины, к ней подошла незнакомая женщина и, глядя ей прямо в глаза, сказала тихо: «Выдержать, выдержать!» Наверное, Надя кричала.

Только одна фраза, сказанная ею самой, как только она прибежала на почту, врубилась в сознание: «Девушка, мне пужно срочно в Москву: умер человек!» Почему она назвала маму человеком? Ужаснуло даже не это,

а то, что она смогла произнести эту фразу, не пресекся голос, не подломились ноги, она стояла спокойно, протягивая девушке рубль, и потом взяла у нее сдачу.

На улице было темно. Надя перешла через пути: аптека находилась в другой части поселка. Из пашлычной вышли два человека. У одного на груди болтался транзистор, из которого раздавалась музыка. Надя отчетливо подумала: «Это Моцарт». И еще: «Он давно умер». Когда Надя проходила мимо, человек с транзистором сделал движение, чтобы схватить Надю за руку, и позвал: «Эй, чудачка!» Надя увернулась и побежала. Она слышала за спиной музыку Моцарта и ругань, но оба пьяницы едва стояли на ногах. В аптеке Надя попросила капли Зеленина, валокордин и снотворное. Она задыхалась, сильно щемило сердце, и она посидела две минуты на стуле, приняв валокордин. Она подумала о том, что все ее болезни, ее полнота, гипертония, все, что ее гнело и мучило, теперь будет гнест и мучить ее одну. Но страх перед всем этим, ее привычный страх исчез: она подумала, что могла бы легко расстаться с жизнью, вот сейчас же, здесь, в аптеке. Ничто не остановило бы, даже дети. «Лариса так же убивалась в прошлом году,— вдруг вспомнила Надя.— А сейчас бегают по Москве, ищет осеннее пальто». Но и эта подлая мысль, которая пришла парочно, чтоб облегчить, ничего не облегчила. И было что-то, о чем Надя не могла думать, что она отталкивала всем существом, всей кожей, всем своим несчастным и пустым сердцем.

Володя приехал в двенадцатом часу вместе с Левиным. Они где-то выпили, как видно, на скорую руку: Надя почувствовала запах водки, когда Володя поцеловал ее. Левин работал в том же НИИ, где и Володя, но в другой лаборатории. Надя его не очень любила, считала, что он дурно влияет на Володю, и хотя прямых улик такого влияния не было, но теоретически они могли быть: Левин был холостяк, игрок, а Володя легко поддавался чужой воле.

В первую минуту Надя болезненно поразились, увидев Левина, но потом ей стало все равно. Левин, стягивая берет с лысой головы и целуя Наде руку, бормотал слова соблезнования и извинения за свой приезд, в котором виноват Володя. В маленьких карих глазах Левина, как всегда, что-то посверкивало.

— Может быть, я окажусь чем-то полезен, — говорил Левин. — Куда-нибудь съездить, что-нибудь привезти. Нет? Не нужно? Я все знаю, дорогая, все понимаю. У меня самого столько потерь за последнее время. — Он поправил манжету, вытянул здоровенную руку и стал загибать крепкие толстые пальцы. — В начале шестьдесят пятого — мама. В июле того же года — родной дядя, брат отца. И сразу через неделю — бабушка. Представляете? Крематорий стал для меня, простите, родным домом. А в прошлом году — мой старинный друг, со школьной скамьи. Скоротечный рак, и ни-че-го нельзя было сделать! Красавец парень, семья, малютки дети. Талантливейший биохимик. И ни-че-го! А как умирала моя мама? Тоже кошмар. Десятимесячные мучения. Кто-то сказал: «Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить». Теперь скажите вот что: вы отсюда повезете или с городской квартиры? Я советую отсюда. Во-первых, вам не надо будет дважды заказывать машину. Во-вторых, зачем вам лишние волнения, перенос тела вверх, вниз? Теперь так: этот дачный эскулап, который констатировал смерть, для вас ничто, пустое место, вам нужно вызвать врача официально, и тот напишет заключение, причем вызывайте сейчас же, тогда у вас с утра будут развязаны руки и вы сможете действовать. Только надо решить: отсюда или с городской квартиры?

Надя смотрела на Левина, как будто не слыша вопроса. Она встала и вышла в соседнюю комнату, где было темно. Володя пошел за ней. В темноте он обнял ее, и они стояли несколько минут обнявшись, посредине комнаты.

— Ничего не понимаю, что он говорит... — сказала она дрожащим шепотом. Было похоже, что у нее начинается озноб.

— Ну, ладно. Сейчас ни о чем не думай. — Он обнимал ее одной рукой, а другой гладил ее спину.

Она прижималась к нему. Зубы ее стучали, она не могла остановиться. Она чувствовала его ладонь, нежно и твердо ласкавшую ее тело, сотрясаемое ознобом, и что-то громадное, как тот темный ураган, обнимало, наползло ее, и, наверное, это была любовь, но такая, какой она еще никогда не испытывала: может быть, это была любовь к жизни и одновременно любовь к смерти или, может быть, любовь к себе.

Было слышно, как Левин, скрипя ботинками, ходит по кухне. Он передвинул стул, что-то унало.

— Кстати, машину надо заказывать тоже с утра, — раздался из кухни его голос. — Там всегда очереди. И заказывайте только на Смоленской.

Володина рука замерла.

— Дурак, как же его привез? — прошептал Володя.

— Ничего. Пусть...

Ребята спали наверху, у Веры Игнатьевны. Часа в три ночи Надя разделась и легла спать, приняв снотворное. Левин и тут оказался на высоте. «Что вы глотаете? Дайте сюда! — Почти силой он вырвал из Надиных рук таблетки. — Выкиньте и забудьте. Вот что пьет интеллигенция...» Володя посидел немного на кровати, держа Надину руку в своей. Надя лежала, закрыв глаза. Спл не было. Вдруг она заснула. Проснувшись, испуганно вскочила на кровати, отбросила одеяло: ей показалось, что давно уже утро или вторая ночь, что она проспала что-то бесконечно важное. В следующую секунду услышала голос из сна: умерла мама. Эти слова были бредом, не имели смысла, но прошла еще одна секунда, еще, и еще, и смысл возникал, рос, становился гигантским, отчетливым, опрокинул, она упала навзничь и лежала, неживая, со стиснутым сердцем. Часы рядом на стуле показывали без четверти четыре. В щелке двери, которая вела на кухню, был виден свет. Надя надела платье, босая подошла к двери и приоткрыла ее. За кухонным столом сидели Володя и Левин и играли в шахматы.

Через два дня погода испортилась, полил дождь, и после похорон все приехали озябшие, тетя Фрося забыла зонт в траурном автобусе, ругала за это дядю Леву и погнала его в гараж искать пропажу. Сидели на кухне. В комнате уложили мальчишек, которые все равно не спали, а хулиганили: то и дело прибегали на кухню, нацепив волчьи маски, и рычали, утихомирить их не удавалось. Кончилось тем, что Надя сильно нашлапала обоих, Володя заступался, они ревели, тетя Фрося со словами «Ах, бедные мои сиротки!» бросалась целовать влючатых племянников, те ревели пуще, с ними случилось что-то вроде истерики, никто не мог успокоить, и Надя с тяжелым отчаянием думала: «Господи, как все разваливается без мамы!» Она долго сидела в комнате, разговаривая с сыновьями, напрягая силы, чтобы говорить спокойно, и проделала весь традиционный — когда-то она улыбалась и

душе, а сейчас было невыносимо, потому что вспомнилось, с какой серьезностью это делала мама,— обряд примирения: плетая ладонями о раскрытые ладошки сыновей, повторяла трижды: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться».

Наконец заснули, а Надя все сидела в потемках на стуле. В кухню идти не хотелось. Заходил Володя, спросил шепотом: «Ну, что ты?», она отослала его к гостям: «Иди, а то неудобно». Через стенку было слышно, как он разговаривал с Аркадием, мужем Надиной двоюродной сестры Зины, о парапсихологии. «Примерно за час до Надюшкиного звонка я почувствовал очень сильную боль в сердце. Причем никогда в жизни я на сердце не жалуюсь. Потом я вычислил...» Голос тети Фроси: «Ребята оч-чень тяжелые. Не ребята — бой...» «Абсолютно точно вычислил: это было именно в ту минуту, когда у Антонины Васильевны случился удар. Другой случай был со мной в Гурзуфе...» Аркадия и Зину, так же как мать Зины, Евгению Глебовну,— все это была семья погибшего на войне брата Антонины Васильевны — Надя видела раз в пятилетку, а то и реже. Встреть она Аркадия на улице, наверное бы не узнала. И вот эти чужие люди сидели на кухне, ели, пили, смотрели сочувственно, что-то вспоминали, лица их были скорбные, но, вдруг забывшись, они начинали говорить оживленно и совсем о другом. Все время слезилась одна тетя Фрося, которая пришла вдвоем со старухой Марией Давыдовной, дальней и мало известной Наде родственницей. А от Юрия пришла телеграмма из Петрозаводска о том, что он болен воспалением среднего уха и находится в госпитале. Была еще одна женщина, которую Надя не знала по имени: она когда-то работала с Антошиной Васильевной в артели, красила шелковые платки. Эта женщина пила водку наравне с мужчинами и несколько раз порывалась рассказать, какая прекрасная была эта работа — красить на дому шелковые платки анилиновыми красками — и как выгодно за нее платили. Была там еще Лариса, Надин подруга, и Левиц, которые раньше не были знакомы, но сегодня, в крематории, нашли друг друга и весь вечер разговаривали вдвоем. Но почему же они не уходят? Уже одиннадцать часов.

Надя еще и потому тяготилась идти к гостям, что все это происходило на кухне. Весь вид этой комнатки, где с утра и до вечера проходила мамина жизнь, был нестерпим и ранил каждой своей подробностью. Надя слышала через

стенку, как кто-то открывал ящик кухонного стола — задрезжали ножи, вилки, — и Надя в сердце содрогнулось потому, что Надя мысленно увидела этот ящик, который мама так часто приводила в порядок, застилала внизу чистой белой бумагой, в особые отделения складывала ножи, в особые — вилки, ложки, а в углу ящика хранила стопку бумажных салфеток. Сидя в темноте с закрытыми глазами, Надя видела всю кухню, вещь за вещью: полки большого чешского шкафа, где внизу в правом отсеке лежали кастрюли, терки, чугуны, старинная медная ступка, принадлежавшая еще маминной маме, а в левом отсеке — разные снадобья, лекарственные травы в пакетах, банки с сушеной малиной, цикорием, содой, аккуратно связанные кусочки шпагата, которые мама берегла, за что Надя звала ее Плюшкиным, и там же стояли пустые поллитровые банки и баночки из-под майонеза и сметаны, вымытые маминными руками и припрятанные для чего-то. Все это осталось, все жило. Остались газеты, сложенные кипой на столе рядом с гладильной доской и успевшие выцвести за лето. Передник из темно-красного ситца висит, как всегда, возле раковины на фаянсовом крюке. Только нет, нет, нет. Нет ни в ванной, ни в прихожей. Нет на даче. Там темные комнаты, все закрыто, на этой проклятой даче, по деревянному крыльцу льет дождь. Нет нигде. Нигде, нигде.

В кухне задвигали стульями. Кто-то уходил. Надя встала с осторожностью и вышла на цыпочках из комнаты. Левин и Лариса уже стояли в коридоре. Надя прошла мимо них, Лариса шепнула ей очень ласково: «Ну как, уснули ребятки?» — и поцеловала Надю в шею. Щурясь от света, Надя вошла на кухню. Она сразу увидела сонные, в красных веках, замученные Володиные глаза. Появля, что он выпил лишнее, что ему худо, тоскливо, по, как подобаает хозяину, он продолжает вести с гостями разговор. От телепатии уже перешли к грибам. Все в эту осень помешались на грибах.

Зина подвинула Наде тарелку с салатом: «Ешьте, Надя. У вас должны быть силы». Володя палил ей водки. Его рука легла на могучую Надю спину. Надя любила, когда он трогал ее. Но сейчас она ничего не испытывала. Его рука была как чужая, а ее собственное тело было бесчувственно, и она движением плеча слегка сдвинула его руку. Ей стало неприятно от того, что он говорил о грибах.

Тетя Фрося упорно смотрела Наде в глаза. Лицо тети Фроси было рыхло, вислощико, густого розового цвета, какой бывает у хорошо промытого в воде парного телячьего мяса. Из глаз тети Фроси катились слезы — она тоже говорила о грибах, но при этом вытирала щеки платком, — и Надя вдруг сердцем почувствовала, что тетя Фрося единственный тут родной ей по крови человек. Увидела знакомые, похожие на мамины, пальцы, знакомую неуволвимую скуластость. И испытала к тете Фросе внезапную нежность, как никогда прежде.

— Наденька, — сказала мать Зины Евгения Глебовна. — А ведь я в этой вашей квартирке первый раз. Это вы выменяли свои комнаты на Мытпой?

Надя кивнула.

— Там у вас, кажется, были две комнаты в коммунальной квартире? В старом доме?

— Да, — сказала Надя.

— А тут однокомнатная?

Надя кивнула.

— Сколько же метров тут?

Так как Надя не отвечала, а сидела как бы в оцепенении, глядя на блюдо с салатом, Володя сказал:

— Двадцать четыре вроде.

— Я почему спрашиваю, Володя, — сказала Евгения Глебовна, — потому что мы тоже загорелись меняться. У нас ведь прекрасные две комнаты. Ну, я потом, потом! — Она вдруг замахала рукой и зашептала: — Потом спрошу! Как-нибудь. Ладно, потом!

— Тоня-то где спала? — спросила старушка Марья Давыдовна.

— Здесь, — сказал Володя.

— Где же ей спать? — сказала Евгения Глебовна. — Там у них дети, и их двое. А здесь очень хорошо и отдельно. Только, конечно, газом чуть отзывает, но можно проветривать.

Мария Давыдовна с сомнением оглядывала кухню, где сейчас нельзя было повернуться.

— Это как же здесь?

— Стол сдвигаем сюда, к рукомойнику. А здесь ставим раскладушку, — показал Володя. — Неудобно, конечно, да выхода не было. Мне квартиру обещают на будущий год.

Мария Давыдовна кивала.

— Очень хорошо, верно, верно...

Тетя Фрося вдруг грубым и долгим голосом всхлипнула, закрыла лицо платком и залилась рыданьем. Надя, тоже едва сдерживая слезы, обняла ее, стала успокаивать:

— Тетя Фросечка, милая, ну не надо же, миленькая...

— Заездила мать! — рыдающим голосом проговорила тетя Фрося, локтем отодвигая Надю.

— Ну что вы, тетя Фрося! — еще не почувствовав удара, все так же вежливо и успокаивающе говорила Надя.

— Заездила, заездила мать, — повторила тетя Фрося, тряся головой.

— Зачем такое говорить? Ах ты, боже мой! — сказала женщина, красившая с Антонпой Васильевной платки.

Тетя Фрося сделала слабое движение рукой, означавшее: «Да что говорить...» Ее лицо перекошилось от нового приступа рыданья; она захлопала, засморкалась и, посмотрев на Надю, заговорила плаксиво:

— Ты прости меня, Надежда. Я очень Тоню любила... Я правду говорю, истинную правду...

Надя почувствовала лицом, как побелела: так бывало у нее в часы мигреней, когда она валялась на кровать колодой. Спинула ладонями лоб. И удивленье: «Почему никто не возражает?» Она видела со стороны свое белое лицо, такое белое и невозможно маленькое по сравнению с грузным, отяжелевшим и старым телом. Потом услышала, как заговорили, задергались. Возник Левин, ухватил Надю под мышки. Потащил из-за стола вверх. Володя кричал: «Вы! Злобная тварь! Чтоб вашей ноги!..» Надю увели в комнату. Она лежала в темноте, слыша сквозь забытье, озноб, как кричат в коридоре.

Очнулась глубокой ночью. Володя спал рядом. Все ушли. Надя встала, вышла, шатаясь, в прихожую — посмотреть на себя в зеркало, — оттуда на кухню. Грязные тарелки были сложены в раковине. Ходики показывали три часа. Надя открыла кран горячей воды, взяла свившуюся жгутом тряпочку из обрывка капронового чулка, висевшую на кране, намылила ее и принялась за посуду.

На другой день, в четверг, Надя должна была выходить на работу. Она работала на заводе за Крестьянской заставой, ездила в один конец час двадцать минут, метро и автобусом, и обычно выходила из дома в половине седьмого. Но в четверг она договорилась по телефону — позвонила своей начальнице в ПТО, — что придет к десяти часам, потому что надо было устроить ребят. Детский сад «Ласточка» при ЖЭК № 4 был самый близкий, одна оста-

новка троллейбусом, а можно и пешком. Говорили, что дети там часто болеют. Но выхода не было. На работе Наде выражали сочувствие, каждый по-своему. Знакомая старуха гардеробщица сказала Наде: «С печалью тебя!» Одни целовали ее, и Надя даже видела мелькавшие на миг слезы, другие молча трясли руку, а некоторые просто смотрели чуть пристальней обычного Наде в глаза, стараясь что-то понять. Были и такие, которые делали вид, будто ничего в Надиной жизни не произошло. Одна женщина сказала, что Надя за эти дни заметно похудела и что ей так гораздо лучше.

1968

Мы слышим шум катящегося по паркету кресла, дверь отворяется. Сначала появляются ноги в клетчатых домашних туфлях, лежащие на нижней перекладине кресла; ноги выдвигаются сбоку, затем поворачиваются носками к нам, и мы видим все кресло и сидящего в нем маленького старика. За спинкой кресла возвышается тот усач, что отворял нам ворота. Старик смотрит на нас без улыбки, ничего не говоря. Его лысая голова вставлена в плечи без помощи шеи. Она как бы утоплена в плечи и напоминает глубоко ввинченную в горлышко бутылки пробку. Есть такие приземистые, пузатые бутылки, которые затыкаются глубоко сидящими пробками, пробками-айсбергами. Вытащить такую пробку бывает адски трудно. Кончается тем, что она крошится, ее проталкивают внутрь и пьют с крошками. Похоже, что голова старика имеет как бы продолжение под воротником. Во всяком случае, стариковского подбородка мы не видим, он утоплен, сидит где-то впризму, заматанный фуляровым платком. Кроме всего прочего, старик тотально лыс. Мало того, что лыса его голова, так же лысы его глаза без ресниц и руки, плоско лежащие на коленях, и, когда он улыбнулся, мы видим его совершенно лысые десны.

Усач ловко и аккуратно приподнимает кресло, чтобы преодолеть небольшой порожек, несильным, рассчитанным движением подталкивает его, и оно, катнувшись по полу, останавливается точно на середине комнаты.

— Voilà, — говорит усач и уходит.

Базиль заговаривает со стариком по-французски. Старик слушает, едва заметно кивая, отчего кажется, что его голова еще глубже всаживается в плечи. Он мог бы, наверное, всю голову спрятать внутрь. Когда ему надоест слушать болтовню Базилья, прекрасно говорящего по-французски, он скажет «адью» и втянет голову, как черепаха.

Обернувшись к нам, Базиль объясняет:

— Я сказал, что мы о нем много слышали, специально приехали из Гренобля и так далее.

Старик что-то бормочет.

— Он говорит, что рад нас приветствовать,— говорит Базиль.

Следует еще одна длинная фраза.

— Говорит, что всегда интересовался Россией. У него был один русский друг в Марселе, хороший человек, который умер от лихорадки... *La fièvre?*

— *Oui.*

— Ну да, от лихорадки.

Старик еще что-то добавляет.

— Умер от лихорадки в Алжире,— говорит Базиль.— Хотел поехать в Болгарию, но умер.

— Кто хотел поехать в Болгарию? — спрашивает Борька.

— Его друг. Из Марселя.

— Зачем в Болгарию?

— Какая тебе разница? Не задавайте пустых вопросов, у нас времени мало! — грубо говорит Базиль.— Я не хочу возвращаться ночью. Мне еще надо заправляться, учтите.

Мне хочется сказать: «Не пужно было так долго обедать, чертов обжора», — но я молчу, поняв, что бесполезно. Мы у него в плену. Когда-то с Базилем мы жили в одном общежитии, его звали тогда Васькой, Потапычем или просто Хорьком. И он был худ, я тоже был худ, хотя мы пили много пива в подвале на Негливной, теперь этого подвала нет. Шесть лет уже Базиль тут, во Франции. Он работает, как бешеный паровой молот: почти через день я читаю его корреспонденции. И он стал похож на француза: такой толстый, суетливый, раздражительный, завел себе крохотные усики, постоянные французские усики, какие были в моде в двадцатые годы, а сейчас появились вновь, так же как брюки клеш.

В местной газете Базиль прочитал, что в городе Кулоз, недалеко от Гренобля, живет старец, участвовавший в парижских Олимпийских играх 1900 года. Занял последнее место в беге на четыреста метров, по делу не в месте, а в том, что участвовал и жив. Мы с Борькой загорелись пайти этого Мафусаила, хоть посмотреть на него, и убедили Базиля, обладавшего казенным автомобилем, свезти нас в Кулоз. Он долго упорствовал, говоря, что не может тратить время на пустяки, что в Гренобль со дня на день

ждут президента и уезжать нельзя, что бензин нынче дорог и что вся затея пахнет дешевой сенсационностью. Ну, девяносто четыре, ну, участвовал в каких-то играх, ну и что? Смысл? Идея? Если б он знал Лафарга или слышал Жорса. Старость еще не тема, даже такая чудовищная, никому не нужная старость, как этого неудачника, заявившего последнее место в бог знает каком году, когда летали матерчатые самолеты и еще не было радио. Но затем выяснилось, что президент в Гренобль не приедет, что бензин не так уж дорог, тем более что квитанции прикладываются к отчету и оплачиваются валютой, и что по дороге в Кулоз на берегу озера есть ресторан, знаменитый рыбными супами и каким-то особенно прекрасным вином. Мы выехали в двенадцать, в час были у озера и в седьмом часу, когда уже стемнело, примчались в Кулоз. И вот мы сидим и смотрим на старика, голова которого похожа на туго забитую пробку, а в глазах — темная, как вода в стоячем пруду, усталость от вековой жизни.

О чем говорить с ним? Он ничего не помнит. Войны, смерти, болезни, революции, праздники перепутались в его мозгу, уже где-то цепенеющем и откликающемся на что-то одно, случайное, как полумертвый радиоприемник, в котором все лампы вышли из строя, кроме одной. Но я не могу уловить, на что же откликается этот мозг, что теплится в нем, чем он живет. Он помнит, что победители на Парижских играх получали в награду зонты и трости. Что в Булонском лесу шел дождь. Что была выставка. И что-то еще, невнятное, туманное. Мелькают бесвязно какие-то имена, возникают лица, но он не уверен, что эти лица оттуда, а не откуда-то раньше или позже, когда он лежал в госпитале, был жаркий летний день, и один человек, пробегая мимо окна, крикнул, что какой-то русский застрелил президента.

— Спроси у него, как он относится к делу Дрейфуса, — говорит Борька.

Базиль спрашивает.

— Он возмущен, — говорит Базиль.

— Скажи, что лучшие люди нашей страны, например Чехов...

— Спроси, что он думает об англо-бурской войне? — говорю я. — Победят ли англичане?

— А как он относится к Метерлинику?

Губы старика раздвигаются, мы опять видим его лысые десны. Может быть, он понял нашу шутку, а может,

улыбается чему-то своему, тайному. Усач входит в комнату с граненой бутылкой виски и четырьмя стаканами. Базиль и усач начинают оживленную трепотню, оба смеются, говорят громко и после каждого глотка виски все громче. Усач хохочет, Базиль шлепает его, как старого приятеля, пятерней по животу. Иногда Базиль кое-что нам объясняет.

— Этот тип, мсье Жозеф, муж женщины, которая за стариком ходит... Она получает четыреста сорок франков... Работа тяжелая, потому что старик... *salisson?*.. Ага, очень грязный, большой грязнуля... Он совсем один, детей не было. Люди становятся грязными от одиночества... Мсье Жозеф не понимает, зачем нам понадобился этот старый... *marchand déngrais*. Старый навозник? Пожалуй, нет, старый ассенизатор — это будет точнее... Я тоже, кстати, не понимаю, зачем понадобился. Про Олимпийские игры мсье Жозеф слышал, но не верит, считает, что враки, брехня, *les sornettes*... Старик утверждает, что занял первое место, все это *les sornettes*... Сказать можно все. Мсье Жозеф работает шофером на полицейской машине...

Усач уже красный, глаза его слегка раскорячиваются, он выпил, по-видимому, недельную норму. К тому же он не привык к неразбавленному, безо льда, а Базиль с его вечной спешкой и бесцеремонностью потребовал пить так, побыстрее и поударней. Для Базиля-то, имеющего опыт подвала на Неглинной и двухлетних скитаний с экспедициями по Уралу, все это, конечно, «что слону дробина». Поразительный персонаж наш Базиль! В свои тридцать семь лет он уже пережил два инфаркта, одно кораблекрушение, блокаду Ленинграда, смерть родителей, его чуть не убили где-то в Индонезии, он прыгал с парашютом в Африке, он голодал, бедствовал, французский язык выучил самоучкой, он виртуозно ругается матом, дружит с авангардистами и больше всего на свете любит рыбалку летом на Волге.

Продолжая улыбаться, старик повторяет что-то невразумительно, но настойчиво. Он бубнит одну фразу несколько раз, пока наконец Базиль не обращает на него внимание.

— Он говорит, что он — победитель Олимпийских игр.

— В каком виде? — спрашивает Борька.

— Во всех, — говорит Базиль, выслушав ответ старика. — Когда-то он занял последнее место в беге на четыреста метров, но теперь он победитель. Все уморяти, а он жив.

Я вижу, как в глазах старика возникает огонь, безумный огонь. Вот лампа, которая еще теплится в этом полупстлевшем радиоприемнике. Тщеславие старости! Гордость Мафусаила! Пережить всех. Победить в великом жизненном марафоне: все, кто начал этот бег вместе с ним, кто насмеялся над ним, причинял ему зло, шутил над его неудачами, сочувствовал ему и любил его, — все они сошли с трассы. А он еще бежит. Его сердце колотится, его глаза живут, он смотрит на то, как мы пьем виски, он дышит воздухом сырых деревьев февраля — окно открыто, и, если он повернет голову, он увидит в глубоком, густо-синем прямоугольнике вечера дрожание маленькой острой звезды серебряного цвета. Никто из тех, кто когда-то побеждал его, не может увидеть этой дрожащей серебряной капли, ибо все они ушли, сами превратились в звезды, в сырые деревья, в февраль, в вечер.

— Просто надо жить долго, вот и все. Надо жить долго! — говорит Борька, когда мы, выйдя из дома, идем гуськом впотьмах по каменистой дороге к воротам.

Усач провожает нас, светя фонариком. Они вполголоса разговаривают с Базилем. Базиль переводит: усач сказал, что здесь очень здоровый, крепкий климат, а старик почти всю жизнь прожил в Кулозе.

— Не надо жить долго, — бормочет Базиль, открывая дверцу машины. — И тот малый, который выиграл тогда четыреста метров семьдесят лет назад, — пускай он сгнил потом где-нибудь под Верденом или на Марне, — все ж таки он... А этот со своим долголетием слоновой черепахи...

Сразу же Базиль дает сильный газ, отлетают назад дома, фонари, спящие на узкой улице — два колеса на тротуаре, два на мостовой — скособочившиеся автомобили, и вот уже город позади, мы среди поля, во тьме. Потом начинаются подъем, виражи, туннели, дорога вдоль озера напоминает крымский серпаптин, но Базиль гонит, не сбавляя скорости. Нас кидает, стучает о стенки, мы молчим, мы у него в плену. Он включил радио и слушает какую-то политическую передачу, два голоса беседуют негромко, наперебой, то и дело слышится: «Вильсон», «Кизингер», «Помпиду». Через полчаса, миновав растянувшееся на двадцать километров озеро, мы останавливаемся на шоссе. Выходим из машины. Слева — гора, справа — долина, огни. Какое-то голое, деревенское шоссе, ни одной машины, тишина, холод и близкая ночь. Мы стоим на некотором отдалении друг от друга под небом ошеломительно

бледным и пестрым от звезд. Пахнет землей, пролитым на асфальт бензином и какой-то гарью, вроде прелых, чающих в костре сучьев. Жгут костер на склоне, это далеко, но ветром доносит запах. Меня знобит, не могу унять дрожь во всем теле. На холоде после вина всегда чертовски знобит. И я думаю о том, что можно быть безумнейшим стариком, одиноким, опоздавшим умереть, никому не нужным, но ощущать — пронзительно, до дрожи — этот запах горелых сучьев, что тянется ветром с горы...

1968

Мы знали их всех по именам, нас же не знал никто. Мы были просто: «Эй, мальчик! Принеси мячик!» Еще мы были «Спасибо, мальчик», или же «Вон там, за кустом! Левее, левее!». Они играли с четырех часов до сумерек, а мы сидели на изрезанной ножами скамейке — я и мой друг Савва — и вертели головами направо-налево, направо-налево, направо-налево. У нас болели шеи. Это длилось часами. Ни голод, ни жажда, никакие земные желания не могли отвлечь нас от этого замечательного занятия. Направо-налево, направо-налево мелькал маленький, направо-налево белый, направо-налево теннисный мячик вместе с тугими ударами, которые равномерно направо-налево, направо-налево, направо-налево вколачивались в наши мозги и укачивали, завораживали, усыпляли: мы становились как пьяные, не могли ни уйти, ни встать, хотя дома нас ждали головомойки, и продолжали, одурманенные, сидеть, вертя головами направо-налево, направо-налево, направо-налево.

С другой стороны корта — если б кто-нибудь хоть раз взглянул на нас! — мы напоминали двух китайских болванчиков, так неумолимо и плавно двигались наши головы, стриженные под полубокс. И верно, мы были болванчикам. Даже не болванчиками и вовсе не китайскими, а самыми настоящими, подмосковными, дачными, одиннадцатилетними болванами, которые тратили июльские вечера на верчение головами.

Рядом была река, песчавый скат, отмель, плоскодошки — запахи воды и крики купающихся доносились до нас, не проникая в глубь сознания. Это были запахи и шум отдаленного мира, ненужного нам.

В сумерки наступал наш час. Первым сдавался долговязый очкарик, которого мы с Саввой прозвали Дрожачий. Дрожачий очень нервничал на корте, при каждом неудачном ударе вскрикивал «Ах, черт!», хватался за

голову, рассматривал с изумлением обод своей ракетки и качал головой или же бормотал что-нибудь вроде: «Да в чем же дело? Что со мной?» Но ничего особенного с Дрожащим не происходило. Он всегда играл одинаково. Почти одновременно с Дрожащим прекращал игру Татарников, лучший игрок, аристократ, владелец велосипеда «Эренпрайз» и образец во всем для нас с Саввой. Молчаливый, ироничный, ходивший в элегантных полосатых рубашечках, с гладко зализанными волосами, — такая прическа почему-то называлась «политзачес». Татарников настолько пренебрежительно относился к партнерам, что мог прекратить игру когда вздумается, даже в середине гейма при счете «меньше». Неожиданно поднимал ракетку и со словами: «Все, господа! Не дворянское это дело — портить глаза», — уходил с корта. И с ним никто не решался спорить. Все глотали это хамство молча и как бы даже мысленно благодарили Татарникова за то, что он вообще приходит играть. Ведь Татарников однажды играл с самим Абри Коше, и тот сказал про него: «Хороший парень».

Татарников садился на свой «Эренпрайз» и укатывал, и сразу начинала собираться Апчик. То есть не то чтобы она тут же бросала ракетку, но видно было, как все ей становилось неинтересно, она переставала стараться, мазала и пререкалась. Апчик была смуглая, как индианка. Иногда она очень веселилась, хохотала и всех задирала, а иногда делалась мрачной и раздражительной. Бедная Апчик! Я жалел ее. И Савва тоже. Хотя Савва сказал однажды, что ему не нравятся кокетки, я видел, что он лукавит. Я замечал, как он папужничивался и покрывался пятнами, когда Апчик нежным голоском, но совершенно равнодушно обращалась к нему: «Мальчик, если тебе не трудно...» С угрюмой поспешностью он кидался за мячом, гораздо быстрее, чем обычно. Я же, наоборот, сидел молча и неприступно. Как только прекращала игру Апчик, сейчас же уходили с корта Профессор и Гравинский (он был, может быть, Крамипский, Кравинский или даже Брабинский, мы точно не знали, потому что имена и фамилии улавливали на слух). Профессор и Гравинский обычно провожали Апчик до ее дачи на 3-й линии.

Дольше других оставался играть маленький темноволосый человек в квадратных очках, владелец японской ракетки. Мы с Саввой подозревали, что он шпион. Но

еще позже «шпiona» торчала на корте одна отвратительная парочка, муж и жена, которым теннис был нужен только затем, чтобы сгонять жиры. Играли они очень плохо, но упорно и долго, до темноты. Я заметил, что чем хуже игроки, тем они жаднее к игре. Мы с Саввой их ненавидели. Они отнимали у нас последние, драгоценные секунды, потому что их, как и нас, настоящие игроки не пускали на корт, но поздним вечером они не пускали нас, нахально пользуясь своей привилегией взрослых: «Ребята, ребята! Вы здесь крутились целый день...» Но наконец убирались и они. Я вынимал из чехла свою динамовскую ракетку в двенадцать унций, а Савва свою немецкую, чудную, со стальными струнами, и мы выбегали на пустынный корт. В эту минуту не было людей счастливее нас.

Корт был цементный, он белел в сумерках, как просторный и чистый луг. Мы очень торопились. В темноте часто промахивались. Нам хотелось ударить по сильнее. То и дело сильные мячи, по которым мы не попадали, ударялись с барабанным гулом в деревянную стенку. Ни задней линии, ни квадратов уже не было видно. Летящий мяч выносился из темноты так неожиданно, что я подставлял ракетку инстинктивно, для самозащиты. Мы наслаждались минут двадцать, пока не возвращался с купанья хозяин сетки Николай Григорьевич, снимал сетку и уходил. Мы еще некоторое время продолжали кидаться без сетки; собственно, в темноте было уже все равно — что с сеткой, что без сетки.

И потом долго, разговаривая о всякой всячине, брели берегом домой. На другой стороне реки, на лугу, слоями лежал туман. В реке кто-то плавал, а кто-то стоял на берегу и кричал: «Как водичка-а?» И еще кто-то бегал, согреваясь после купанья, по гладкой песчаной полосе вдоль воды, и шлепанье босых ног по сырому песку раздавалось четко и мягко, как удары ладони по голому телу. Было слышно, как этот, шлепающий босыми ногами, говорил: «Бр-бр-бр!» И звездный июльский и ненужный нам мир лежал вокруг нас, среди сосен и за рекой, где на горизонте дрожали сквозь теплый воздух огни Тушина. Давно это было. Еще в те времена, когда Москву-реку переходили вброд, когда в Серебряный бор с Театральной площади ездили на длинном красном автобусе «Лейланд», когда носили чесучовые толстовки, брюки из белого полотна и парусиновые туфли, которые по вечерам натирали

зубным порошком, чтобы утром они делались белоснежными, и при каждом шаге над ними взвивалось облачко белой пыли...

Сейчас трудно сказать, кем были эти люди, сколько им было лет. Они исчезли из моей жизни, а тогда я ничем этим не интересовался. Только про Гравинского знал, что он сын какого-то работника Коминтерна. Дрожащий и Профессор были, кажется, студентами, но, может быть, и нет. Татарников где-то работал, но, возможно, он и нигде не работал, потому что часто приходил на корт днем. Анчик была десятиклассницей, что, впрочем, тоже недостоверно, и вполне вероятно, что она была уже студенткой. Я знал, что ее отец ездит в черном «ройлс-ройлсе». Однажды я видел, как черный автомобиль остановился возле дома на 3-й линии — был страшный ливень, и я, посланный на круг за молоком, промок до нитки и плелся по шоссе, никуда не торопясь, — и из машины выпрыгнула Анчик, сняла туфли и, взвизгивая, захлопала босыми ногами к калитке. Следом за ней вылез человек в черной шляпе. Он вдруг остановился прямо в луже, снял шляпу и стоял несколько секунд в странной задумчивости, глядя в землю, подставив лысую голову дождю.

Анчик была высокая, стройная, с осиной талией, с черными как смоль волосами и с большими глазами, черными и глубокими, как ночь. Она мне очень нравилась. Конечно, не так, как могла бы нравиться девочка, как например, Марива, моя одноклассница. Анчик нравилась мне платонически, как женщина. Мне нравился ее хриплый голос, нравились ее платья, сарафаны и майки, которые были как будто прошлогодние, немного малы и туго врезались ей в тело. Мне нравилось, как она ходит: размахивая руками и раскачиваясь, как матрос. Нравилась ее привычка над всеми шутить и разговаривать свысока. Нравилось, как она поднимает, не нагибаясь, мячи с корта: ловко и быстро, ободом ракетки и ногой. Я тоже умел поднимать мячи таким способом, но только с помощью левой ноги, а Анчик одинаково легко делала это и левой и правой. Мяч словно прилипал к ее ракетке. И она никогда не роняла мячи на корт. А мы с Саввой роняли часто.

Не знаю, может быть, из-за Анчик мы и притаскивались каждый вечер на корт. Тогда мне это не приходило

в голову, но теперь я думаю, что так и было. Из-за Анчик и еще из-за Татарникова, который нам тоже нравился. Ведь мы могли бы приходить днем, в жару, когда никто не играл, но пустой корт и пустые скамейки нас не устраивали — нам хотелось публики, шума, страстей, борьбы, красивых женщин и чтоб мы смотрели на все это, как в театре.

В середине лета у Саввы умер отец, и мать повезла Савву в Ленинград. Он оставил мне свою ракетку со стальными струнами. Обещал вернуться в конце лета, но не вернулся. Никогда в жизни я больше не встречал Савву и ничего не слышал о нем. И он не видел, как однажды я играл в паре с Дрожащим и что произошло следующим летом, когда открыли канал Москва — Волга: река стала полноводной и по ней начали ходить пароходы. На теннисном корте появились новые игроки, но Татарников оставался чемпионом Серебряного бора и окрестностей. С некоторыми он играл на деньги. Давал фору четыре гейма и выигрывал.

То лето — когда пошли первые пароходы — было очень жаркое вначале, а потом зачастили дожди. Какие-то беглые, мимолетные дожди, они выпадали внезапно и шли недолго. Но полчаса или час приходилось ждать, чтобы корт высох. Теннисисты собирались под навесом, устроенным возле корта, играли в шахматы, в «города» или сидели просто так, рассказывая анекдоты. Я любил сидеть на скамейке между ними и слушать. Как-то сидели все вместе — я, Татарников, Профессор с Гравинским, Анчик и еще кто-то — и пришел один парень, Борис, и сказал, что утонул наш знакомый. Этот Борис появился на корте недавно, играл неплохо, но как-то крикливо и нахально. Спорил из-за каждого мяча. Его отец был директором завода, а раньше они жили в Тбилиси. И вот он пришел и сказал, что утонул наш знакомый. Потом-то оказалось, что никто не утонул, он все плавал, но в первую минуту все, конечно, взволновались, Анчик даже вскрикнула, и тогда этот Борис шагнул к ней — он был коренастый, небольшого роста, ниже Анчик, с очень запоминающимися, круглыми, как коленки, скулами, они двигались, потому что он разговаривал всегда сжав зубы, — и он сказал, сжав зубы: «Получай, дрянь», и ударил Анчик наотмашь ребром ладони в лицо. Тут все зашумели:

— Что такое? В чем дело?

Борис не отвечал, смотрел злобым взглядом на Анчик, а она стояла, закрыв руками лицо. Она не плакала,

не двигалась. В том, что Анчик ударили, и в том, как она приняла этот удар, было что-то настолько невероятное, что я остолбенело застыл на скамейке, в то время как все повскакали с мест, толкались и кричали. Профессор или Гравинский, а может быть, оба вместе хватили Бориса за грудь, а тот отмахивался и говорил спокойно:

— Не суйся. Уйди, говорю. Уйди, а то...

— Позвольте,— сказал Татарников.— Но утонул кто-нибудь или нет?

И тут Борис еще раз ударил Анчик, по рукам, закрывавшим лицо, но с такой силой, что она вся перекосилась, выгнулась назад, как ветка, и едва не упала. Потом быстро пошла, почти побежала прочь, и Борис пошел с ней рядом. Они шли через сосняк, по кустам, не разбирая дороги, деловито и устремленно, не глядя друг на друга, и каждый был в одиночестве, но их связывало что-то ужасное и простое. Они были как бы один человек, который мелькал среди сосен, уходя от нас.

Корт просох, кто-то вышел играть, но я не мог смотреть на играющих. Не мог видеть бледного лица Татарникова с его «политзачесом». Теннисисты возмущались и, я слышал, договаривались никогда больше не играть с Борисом, с этой скотиной. «Бить женщину! Дойти до такой низости! Жалко, что он ушел, мы бы ему натерли физиономию!» Но я чувствовал, что они возмущаются чем-то другим.

После этого жизнь на корте стала как-то быстро, непоправимо меняться. Одни вообще исчезли, перестали приходить, другие уехали. Приехали новые. Много новых. Говорили, что Анчик с младшей сестрой, братом и бабушкой жила на станции Лось. Но по-прежнему приезжал на своем «Эрепрайзе» Татарников, иногда приходили Дрожакский и тот человек, кого мы с Саввой считали японским шпионом. Рядом с кортом устроили волейбольную площадку, и вечерами там собиралась орава крикунов, человек сорок, играли на вылет. Галдеж стоял как на базаре.

Эта скотина Борис пришел однажды в воскресенье с приятелем как ни в чем не бывало. Оба были в жокейских шапочках. Борис спросил: кто последний? Ему не ответили. На корте было четверо, и еще четверо ждали очереди. Борис и его приятель посидели полчаса, потом стал назревать скандал. Могла быть настоящая драка, если б вдруг не услышали страшный шум со стороны реки. Лес трещал под ногами сотен людей. Громадная толпа

двигалась в нашу сторону с музыкой, песнями, впереди бежали мальчишки, которые сообщили, что к берегу пристал теплоход, эта толпа оттуда, и сзади идет шумовой оркестр. Теннисисты продолжали невозмутимо играть. Через минуту орда гуляющих окружила корт, некоторые были заметно навеселе, сажались прямо на траву, кто-то плясал, кто-то играл в «жучка», звучала гармошка, несколько человек вошли на корт и стали требовать, чтобы теннисисты сняли сетку. Те, разумеется, отказывались это сделать и говорили, что позовут милицию. Дрожащий особенно кипятился и кричал:

— Мы будем жаловаться! Назовите номер вашего предприятия!

Приземистый человек в панаме тоже кричал, размахивая руками:

— А вы хотите вчетвером играть, и чтоб четыре сотни людей на вас смотрели? Да? Так вы хотите?

— Вы нарушаете!

— Нет, вы нарушаете!

— Товарищи, где милиция?..

— У нас договоренность с дачным трестом!..

Пока они спорили, оркестр вышел на корт, расположился у деревянной стены, кто-то уже сдирал сетку, и первые пары зашаркали по цементу, пока еще без музыки. Но вот и вальс грянул: «Крутится, вертится шар голубой». Я видел, как Борис, надув свои желваки, потянул за руку какую-то худую некрасивую женщину, совершенную уродину в платочке, и пошел с ней танцевать. Теннисисты еще кипятились, пытались мешать оркестру, и только Татарников не кипятился: сел на «Эренпрайз» и уехал.

Во время войны деревянную ограду корта разломали на топку. Однажды, через десятки лет, я приехал туда и поднялся на холм, чтобы увидеть то место, где начиналось так много всего, из чего потом составила моя жизнь. А тогда были только обещания. Но некоторые из них исполнились. На вершине холма я наткнулся на величественный, белеющий толстыми известковыми боками легкий кинотеатр. Все, что осталось от корта, была цементная плешка, на которой толклись, разгуливая шеренгами под ручку, дачники и дачницы в ожидании начала сеанса. Впрочем, какие уж дачники! Тут была Москва, и пахло как в Москве: бензином и пыльной зеленью. Я спросил у человека в красивом, наполовину кожаном,

наполовину шерстяном пуловере, не знает ли он, откуда здесь цементная площадка. «Это с войны! — ответил человек уверенно. — Тут находились какие-то укрепления. Немец когда летел Москву бомбить, его как раз тут, над Серебряным бором, расшибали. Это с войны, ага».

Я подошел к реке, сел на скамейку. Река осталась. Сосны тоже скрипели, как раньше. Но сумерки стали какие-то другие: купаться не хотелось. В те времена, когда мне было одиннадцать лет, сумерки были гораздо теплее.

Куда-то мы едем облачным апрельским днем, может быть, на запад или на юг, трудно понять, солнца не видно, рассеянный белый свет вокруг пашей машины, холмы, сухая проволочная трава, бескрасочная, обвевная пылью, и на земле, задом к дороге, неподвижно сидят степные коршуны, которых монголы называют «сар». То же, что наш полевой лунь, белесовато-серый, мышатник. Да ведь и луна по-монгольски «сар». А как будет «желтый»? Желтый — «шар».

Мой спутник, старик с висячими седыми усами, с печально-глуховатым голосом и движениями плавными, как у жепщины (когда он просит спички и я протягиваю ему коробок, он прикладывает обе руки крестообразно к груди и с почительностью благодарственно кланяется), отвечает на мои вопросы терпеливо, но с какой-то тайной, глубочайше внутри запрятанной презрительностью. Что можно узпать и понять на этой земле, пребывание на которой кратко, как вздох? И есть ли смысл вглядываться в колодец? Вчера я был за десять тысяч километров отсюда, там, где родился, где воздух пахнет сырм асфальтом, каменноугольным дымом из котельных и отработанным бензином и где все так попятно мне, так смертельно попятно — до того попятно, что не замечаешь ничего вокруг, — а сейчас куда-то еду степной дорогой, полощется на ветру пыль, поблескивает проволочная трава, старый монгол прячет под усами презрение, и завтра же я улечу отсюда, назад, назад, к своим асфальтам, дымам, бензинам.

Мой спутник говорит, что худшее время здесь — весна.

Нет других стран на земле, где бы так не любили весну. Старик произносит это почти с гордостью, но все равно я слышу в его голосе тайну. Весною разгул ветров, пыльные бури, трижды в день меняется воздух: то дохпёт

Гоби, минутный зной, то вдруг холод, встродуй, тайга. Все непрочно, ничему нельзя верить. По утрам сипе, дшем начинает задувать, к вечеру трясутся стены и на подоконнике, напротив щели между створками рам, навевается — как плотно ни затыкай шпингалет — темным веером пыль. Запах у пыли гнусный, могильный. Это запах вссны. Откуда он, этот тяжкий подпольный дурман, когда пыль — неумоимо легкая — летит из свежайших пространств, где только синева и песок?

Пыль — бывшая жизнь, забвение, печто, превратившееся в ничто.

Мы говорим о движении, которое зародилось когда-то на этих буграх. Однажды содрогнулся мир. Но тут загадка. Что двигало? Зачем было нужно идти куда-то так далеко? Ведь я летел на ИЛ-18 целых девять часов с посадкой в Иркутске. Этакая далища. Земля? Рабы? Женщины? Золото?

Но земли хватало. Рабство было неведомо. Женщин ценили мало, гораздо ниже коней. А чужое богатство, где оно? Куда делось? Где города, храмы, статуи, где клады разбойного золота? Нет ничего, кроме сопок в жесткой траве и степных коршунов «сар», стерегущих жалкую добычу.

— Чтобы это понять, — говорит мой спутник, — надо иметь в виду религию древних монголов: культ предков.

«Куп» по-монгольски человек. По мнению старика — а он кое-что понимает в этих делах, он поэт и историк, — аоп (хупу, куп) были предками монголов, и они дали знак, зов оттуда, куда их забросило волной. Движение было ответом на зов. Мертвые призывают, и живые идут. Но мглист и глубок колодец, нету дна, гаснет эхо. Кто были предки предков и на чей зов откликнулись гунны?

Город далеко за холмами. Исчезли трубы, истаял дым. Кругом — бескрайняя степная голь, и катятся, подгоняемые ветром, темные клубки перекати-поля. Монголы называют эту высохшую, помертвелую траву «хамхол». Весна — пора хамхола. Ветры гоияют по степям полчища перекати-поля, иногда чудовищно громадных, ростом с собаку, иногда маленьких и прытких, как заяц. Но чаще это скачущее былье, эти скрученные колесом травяные труники, давно потерявшие цвет, ставшие пылью, тепью, движутся медленно и как бы сонно. На мгновение остановка, потом легкий скачок, потом снова пехотя катится колесо, катится, катится, обрастая колочками, ветками, сором,

все дальше и дальше, пересекая нашу дорогу, пропадая за бугром, катится бесконечно, в Гоби, в Китай, через океаны, на острова Огненной земли, в Антарктиду. Большое седовласое колесо преследует другое, маленькое, темное, вот наступило, навалилось, вцепилось, и теперь катятся — еще медленнее, через сплу, — но вместе. Облака вдруг распались, вышло солнце, и мы видим нежное тело долины, рыжевато-смуглое от прошлогодней травы, изогнувшееся к горизонту, и в невероятной дали на склоне холмов стоящие, как два сосца, две юрты.

Гонгуру было три месяца, когда его отец умер. У матери осталось девятеро, она не знала, как жить дальше, и отдала Гонгура бездетным знакомым, таким же бедным араатам: у них было всего тридцать коз и две лошади. Они жили в шестистах километрах к югу, в южногобийском аймаке. Прошло три года, началась война с китайцами, недолгая, но отчима Гонгура взяли на войну и успели убить. Препная мать тоже вскоре умерла. Гонгур остался сиротой. Его подобрала соседка, которые жили километров на двести южнее. Богатый человек держал лошадей для скачек, и Гонгур был у него пастухом, а зимой пас барапов. Когда ему стало шестнадцать лет, он сел на лошадь и поехал в Улан-Батор.

Он работал на стройке, копал землю, был извозчиком, познакомился с советскими людьми, один из них научил его работать электросварщиком. В 1932 году в западных аймаках поднялся мятеж. Враги хотели свергнуть народную власть. Было тревожно, строительство комбината прекратилось, советские специалисты уехали. Гонгур уже был тогда членом революционного союза молодежи. И вот его пригласили вместе с другими молодыми рабочими в один дом и спросили: кто хочет идти против врагов, лам и чиновников? Гонгур поднял руку. Еще двадцать человек подняли руки, но на другой день нужно было снова прийти в этот дом, и пришли только трое. Может быть, остальные испугались или их кто-то отговорил. Гонгура переодели в монашескую одежду, сбрили волосы, он стал мальчиком-хворуком, прислужником, какие есть во всех буддийских монастырях. Потом вместе с одним человеком по имени Зувсан сели на лошадей и поехали на запад, к буддийскому храму Шумуултын-хурээ, где началось восстание и спрятались главные мятежники. Ехали несколько

дней и почей. Потом, когда приблизились к храму, Лувсан попрощался с Гонгуром и велел ему идти одному. Он должен был идти по тропинке и непрерывно молиться. Если бы его спросили: «Что ты тут делаешь?» — он должен был сказать, что умерла мать и он молится о том, чтобы она попала в рай.

Бывший прислужник храма Шумуултын-хурээ — невзрачный желтолицый мужчина неясного возраста, ему можно дать и шестьдесят и сорок. Он неплохо говорит по-русски, в силах объясниться по-немецки, знает несколько французских слов и говорит по-китайски, как китаец. Его взгляд полужадрнут шторкой монгольского века. Такие веки бывают у младенцев и птиц. Они прикрывают глаза у переносицы. Монгольское веко придает взгляду выражение какой-то застылой внимательности. Гонгур прошел за двадцать лет полсвета: жил и работал в Москве, на Печоре, валил лес в Архангельской области, плавал моряком на полярных судах, зимовал на Шпицбергене, воевал с немцами, был ранен почти смертельно, бежал из немецкого лагеря в Бельгии, попал во Францию, оттуда в Алжир... Теперь он бригадир животноводческой фермы. За стеною юрты — блеянье ягнят, одичалые вопли маток, у которых отобрали детенышей: сейчас окот, горячее время.

Я сижу на почетном месте напротив входа в юрту, на низком табурете, и пью жирный горячий чай с молоком и без сахара, «сютэ-цай». Слева на таком же табурете сидят прямо и гордо мой спутник, старый поэт; он какой-то дальний родственник Гонгура, впрочем, может, я ошибаюсь, не родственник, а добрый знакомый. У входа сидит наш шофер Сухэ, а с другой стороны входа — слепая старуха, курящая длинную трубку. Все, кроме старухи, пьют «сютэ-цай». Железные кровати стоят друг против друга у стен юрты, на шкафчике я вижу транзисторный приемник «ВЭФ», а над головой — большое круглое отверстие, окно, в которое выходит дым от очага.

— И я должен был каждую ночь находить того человека, Лувсана... — рассказывает Гонгур.

— Который привел вас к монастырю?

— Он ждал меня на горе. Я рассказывал ему все, что видел. Таких монастырей, как тот дацан, было очень много в Монголии, но ни в одном, наверное, не было так много лам и столько оружия. Особенно мучили меня три ламы; один из них, родом джунгарец, был громадного роста

п обладал силой верблюда. Они заставляли меня работать, как мула, и делали со мной, что хотели. Я был у них рабом. И я терпел все это. Когда пришли наши цирки, я отомстил...

Единственный дацан сохранился в Улан-Баторе.

Шел снег, по мокрому двору бродили люди. У них был вид людей, не знающих, как убить время. Только две простоволосые женщины, одна старуха, другая молодая, с одпаковым рвением молились на продолговатых, наклонно поставленных лежаках: падали на эти лежаки почти плашмя, тут же поднимались, делали быстрый молитвенный жест и вновь опускались на вытянутые руки, споро-висто, как опытные физкультурницы. Их высоко подносающие дэли и волосы были мокры от сырого снега. Внутри, в полутьме дацана, пахло каким-то приятно-свежим ароматическим дымом. Потом я узнал, что этот запах дают топкие свечки «гуч», приготовленные из смеси трав и особого масла. Только один лама во всем дацане, сказали нам, умсет готовить такие свечки. Он научился давпо, когда был мальчиком-ховруком в одном из тибетских монастырей.

Ламы сидели в ряд, забравшись с ногами на пары — сидели прочно, мешками, — и, раскачиваясь, бормотали молитвы. Все были старообразны, с бритыми головами, в грязных блекло-красных дэли; лица их были как вымокший в воде пергамент. Казалось, все эти ламы страдают болезнью почек.

Они бормотали, качались, вскрикивали сонно, передавали друг другу длинные листики священных тибетских книг, гудели, жужжали, — у одного был глубочайший бас профундо; время от времени он заводил что-то, как оргап, — и не замечали молящихся, теспившихся у входа, вдоль стен, не замечали друг друга. За стеклом в шкафах мерцали бронзой и позолотой разного размера будды. А этот запах! В нем была сладость и что-то слегка одуряющее. Горели лампадки над фигурками будд, повсюду лежали горы спичечных коробков. Казалось, здесь должно было пахнуть перепрелой одеждой, пемытым телом, но — воздух был свеж.

Тот лама, что один умел делать «гуч», встретил нас в библиотеке. Его пальцы перебирали ветхие ленты книг, а глаза — полузашторенные складкой у переносицы, как у Гопгура, — смотрели немигающим птичьим взором. Он сообщил нам, что дацан является коллективным членом

общества монголо-советской дружбы. Потом сказал, что запах «гуч» успокаивает нервы. «Вам, писателям,— сказал лама,— очень полезен запах «гуч». Я взял две тошкые, как травинки, палочки и, переломив их, положил в верхний карман пиджака.

Вечером в гостинице я читал в старой книге о том, что как раз в моем возрасте («лет в сорок пять») ламаисты отрекаются от мирских деяний и отказываются: убивать какое-либо существо, хотя бы паразита, вести брачную жизнь, говорить лживые слова и употреблять вино; кроме того, они обязываются произносить ежедневно от десяти до десяти тысяч раз мистическую формулу: «Ом мани падмэ хум», смысл которой никому не известен.

Внизу, под моим помером, был ресторан.

До поздней ночи гремел джаз и не давал спать. Чтобы заснуть, я повторял про себя «ом мани падмэ хум». Повторяя, я думал о том, как трудно никого не убивать, не вести брачную жизнь и все остальное. Те люди, что прощались когда-то косматым ураганом по миру, не знали этих трудностей: они верили шаманам и чтили мертвых. Повторив «ом мани падмэ хум» раз двенадцать, я заснул и увидел паш пруд, сразу, если выйти из калитки на лесную дорогу и повернуть налево; трава была желтой, сосны раскачивались, ноги вязли в земле; там, возле пруда, земля всегда мягкая, пахнет болотом, и на старой скамейке, стоявшей чуть выше берега под орешником, сидели трое, две женщины и мальчик. Одна из женщин читала вслух книгу. Мальчик качал ногой и прутиком пытался подкинуть с земли лист орешника. Все эти люди, сообразил я во сне, уже умерли. Они присоединились к большинству. Мальчик тоже умер, потому что от него ничего не осталось в том взрослом человеке, в которого он превратился. Я видел их явственно, мое сердце сжала боль, и я проснулся. Джаз умолк, ресторан, наверное, уже закрылся. Мертвые не должны и не могут никого никуда звать. От этого происходят все заблуждения мира. И еще что-то важное, какую-то важную чепуху — вызвавшую бессонницей, монгольской водкой «архи» и разреженным воздухом — я обдумывал почью, пока боль не проходила.

— Я был совсем один,— рассказывает Гонгур.— Вернулся на родину, и — никого, нигде...

Он рассказывает длинную историю о том, как нашел свою мать. Что-то запутанное, половину я прослушал.

«И этот человек, по имени Гомбо, — он служил в авиации, техником...» Когда в первый раз Гонгур увидел Должинсурэн, так зовут мать, была осень, выпало много воды; тогда как раз кончилась война с Японией; Гонгур приехал один, на лошади, — матери было семьдесят лет. Он нарочно приехал один. Не хотел ничего брать с собой. Ведь Гомбо был его братом! Он увидел Должинсурэн и не мог поверить, что чужая старуха — его мать. И смеялся про себя, думая о том, что прошел весь мир, прыгал с парашютом, жил в полярных странах и в Африке, а Должинсурэн никуда не выезжала из своего аймака. Конечно, он привез ей подарок: семь метров шелка на дэли.

Должинсурэн встретила его очень хорошо: поцеловала в лоб, дала «сютэ-цай» в серебряной чашке и угостила сладостью «арол», вот такой же, как здесь, ее делают из молочных пенек.

Слепая старуха с трубкой и есть Должинсурэн. Ей девяносто три года. Все смотрят на нее, а старуха курит.

— Гонгур, — говорю я, — как вы думаете: что заставило вас так мотаться по белому свету?

Гонгур глубоко задумывается. На этот вопрос ответить трудно. Тут много причин. Наверное, человек чего-то ищет, но потом возвращается к тому, что у него есть. Надо спросить Должинсурэн: ведь все началось с того, что она отдала его чужим людям в другой аймак. Старый поэт заговаривает со старухой по-монгольски.

Выходим на волю, где ветер свирепо возрос, надо возвращаться. Слепая Должинсурэн выходит следом. Садится на землю, что-то бормоча. Монголы прислушиваются к ее бормотанию внимательно, старый поэт кивает, потом Гонгур обращается ко мне.

— Она сказала, — говорит он, — что здесь всегда сильный ветер.

И после этого мы уезжаем. Наступили сумерки, степь кажется живой: на ней происходит Великое переселение хамхолов. Тысячи темных клубков катятся в ту сторону, где небо еще светлеет. Большие клубки тяжело переваливаются, маленькие почти летят по воздуху. Под светом фар пролетают ключья разодранных ветром хамхолов, иногда мелькают плотно сбитые, с волчьей седой щетиной комья веток, они бьются о радиатор, хрустят под колесами, мы их давим, крошим, но набегают, летят из тьмы все новые и новые. Чем темнее становится, тем их больше. Все причудлившей формы, все гуще строй. Иные гривасты, как

кони, другие круглобоки. как походные шатры; мчатся оперенные пиками летучие отряды, движутся танки, орудия, колесницы, боевые слоны, радарные установки, качается море темных касок. И все это хамхолово шествие слилось во тьме, сплочено ветром, и нет ему меры, нет края, нет числа. С трудом пробиваемся в этом потоке. Кажется, застряли. Мотор заглох. Летящий по воздуху тлеп со всех сторон окружает нас. Остовы веток стучатся в окно, истлевшие корни колотятся в днище, лезут под капот, прах бывшей жизни и великих азиатских пустынь набивается в кабину. Я задыхаюсь от могильного запаха пыли. Ведь я говорил, предупреждал. Тысячелетняя пыль — новое страшное оружие.

— Это ничего, пройдет.— Старый пост открывает дверцу машины. Фонарь в проволочной сетке раскачивается над подъездом.— Примите валидол. Здесь недостаток кислорода. Сначала все задыхаются, а потом привыкают.

Октябрьской ночью 1942 года после одиннадцатисуточного переползания с одной среднеазиатской станции на другую эшелон дотянулся до Куйбышева. Откочевали назад то знойные, то ледяные ржавые казахстанские степи, отдышала полынь в открытые двери тамбура, отмаячили навсегда старухи, сидевшие на корточках с мисками по десятке, где в тинистой жиже плавали бараньи кишки и что-то еще баранье, черное. Пошли дожди, настал холод. В Куйбышеве мертво стояли в тупике, никто ничего не знал. Разнесся слух, что на Москву отправят не раньше, чем в понедельник. Внезапно на рассвете объявили, что отправляется какой-то непредвиденный воинский эшелон, к нему прицеплены два вагона, и надо спешно, не теряя ни минуты, пересаживаться туда. Прыгали, бежали, спотыкаясь, волокли узлы в серой зпобящей мгле. Игорь тащил очень тяжелый, из толстой кожи отцовский чемодан, набитый вещами, бельем, банками, фруктами, сахаром, одеялами — бабушка насовала все, что можно, чтобы ей и Женьке было меньше везти — и мешок с двумя зимними пальто, своим и Женькиным, двумя парами валенок, и еще веревочную авоську, где лежала буханка черного хлеба и книжка очерков Эренбурга «Война», купленная в Ташкенте на вокзале. Игорь читал книжку в дороге, лежа в духоте и кислом воздухе под потолком. Чемодан и мешок Игорь связал поясным ремлем и перекинул через плечо. Сумку с черной буханкой нес в руке. Ремешь лопнул, не выдержав тяжести. Спутники Игоря проходили мимо, сочувственно вскрикивали, но помочь не могли: каждый тащил свое.

Одновременно нести чемодан и мешок не удавалось тогда Игорь решил передвигаться короткими перебежками. Оставив мешок, он перенес чемодан на пятнадцать шагов вперед, затем вернулся к мешку. Все его товарище уже пробежали вперед. Взяв мешок, Игорь двинулся к чемодану и увидел, что высокая фигура, неясно различ-

мая в рассветной мгле и слегка скривившаяся от веса чемодана, торопливо удаляется в глубь перрона. Бросив мешок, чтобы идти быстрее, Игорь последовал за удалявшейся фигурой; он не побежал, не закричал, ибо и то и другое показалось ему пеловким и преждевременным. Человек с родным отцовским чемоданом ускорил шаги, теперь все стало ясно — мысли работали затрудненно, все это папомпало тяжкий утренний сон перед пробуждением, — и Игорь побежал. Но было поздно, похититель нырнул вправо, за вагоны, и исчез. Преследовать его было странно: можно было упустить эшелоп. Игорь бегом вернулся к тому месту, где он оставил мешок, но мешка уже не было. В руках у Игоря осталась сумка с буханкой черного хлеба и книжка очерков Эренбурга. Перрон опустел. С обеих сторон стояли глухо и темно стены товарных вагонов.

Игорь побежал, в страхе от мысли, что отстанет от своих. Куда же они провалились? Он бежал сквозь строй вагонов и кричал, звал. Дверь одного товарного вагона с тихим визгом сдвинулась, и на уровне пола показалась голова в лохматой шапке, страшная голова, лежавшая на боку, щекой к полу, и как будто не имевшая туловища, отрезанная голова, и гаркнула матом. Сейчас же Игорь услышал другие голоса, заплакал ребенок, его успокаивала женщина. Игорь бежал вперед уже не по перрону, а по земле, но с обеих сторон по-прежнему стояли не имевшие конца эшелоны, он бежал как по дну ущелья, вдруг показалось, что он плывет по реке, стиснутой узкими берегами, и тонет. Нечем стало дышать. Тело спикло, он понимал, что надо действовать, двигаться, махать руками, но сил не было: такое же мгновенное, мертвящее оцепенение он испытал однажды, когда тонул на Габайском пляже, в июле: шагнул и потерял дно. Он остановился — будто кто-то невидимый с силой дернул за руку, тогда, на Габае, это был Володька — и понял, что надо вернуться к тому месту, откуда начал бежать. Кинулся назад. Вдруг подумал: «Хорошо, что нет чемодана и мешка. Я бы не смог бежать!» Как ни странно, эта мысль придала сил, и он побежал быстрее, останавливаясь, молотил в двери закрытых товарных вагонов, орал: «Эй, кто живой?»

На площадке одного вагона возникла фигура в тулупе, с выптовкой, зажатой в сгибе локтя, и хриплый голос — не поймешь, мужской ли, женский — стал незлобно ру-

гаться: чего орешь, шалопут? Игорь объяснил, что ищет воинский эшелон на Москву. Тулуп сказал, что тут все воинские и все на Москву, но дал совет: «Спроси вон того мужика, по той пути ходит, колеса стучает. Сигай сюда!» Игорь вскочил на площадку, протолкался мимо тулупа, так и не разобрав, мужчина в него закутан или женщина, прыгнул на другую сторону и стал оглядываться, ища мужика, что стучает колеса, но никого не было видно ни там, ни здесь. Игорь напрягал зрение, тянул пальцем глаз — он был близорук, а очки остались в чемодане — потом закричал с отчаяньем:

— Где ж твой мужик?

В то же время раздался нежный звук стали, ударяемой о сталь, и Игорь побежал туда, на звук, все еще никого не видя, совсем ослепнув от тяжести, сдавившей грудь: отстал! отстал! Железнодорожник с фонарем, стоявший на карачках возле колеса и оттого не видный издали, выслушал и махнул рукой:

— Через два пути на третий, и бежи вбок!

Игорь прыгал, пролезал под платформами, на которых стояли накрытые брезентом орудия, ждал, пока пройдет какой-то бесконечный состав из одних цистерн, бежал, спрашивал, звал и, наконец, нашел, вскочил на подножку и влетел в вагон — это был темный, теплый, пахнувший жильем и махоркой некупированный вагон, все полки которого были, кажется, заняты, но Игоря это несколько не расстроило, он с радостью повалился прямо на пол, в проходе.

Спутники Игоря — их было шестеро, четыре парня и две девушки, все москвичи, оказавшиеся в Ташкенте в эвакуации и так же, как Игорь, завербовавшиеся там на военные заводы, чтобы вернуться в Москву — спрашивали, что с ним было и куда он, чертов сын, подевался. Никто не знал, что у него свистнули чемодан и мешок, да и никто не поверил бы этому, глядя на то, с каким радостным видом он растянулся на полу. Когда же он рассказал историю в подробностях, все изумились, в первую минуту пожалели его, а потом стали хохотать. По вагону ходили военные с фонарем, кого-то искали, потом прошли два контролера — проверяли билеты и пропуска на въезд в Москву, — они тоже смеялись. Поезд вдруг тронулся, веселье стало всеобщим, хохотали незнакомые люди, лежавшие на дальних полках, и те, кто из любопытства подошли поближе, и кто пробирался в другой

вагон и остановился лишь на минуту узнать, почему смеются. Игорь почувствовал себя в некотором роде знаменитостью. Кто-то пашел ему место: «Эй, юморист, полезай сюда!», еще кто-то послал ему кусок сала с хлебом.

Игорь забрался на третью полку, положил сумку с черняшкой под голову и стал жевать сало. Он сильно проголодался. Хотя сало было не очень свежее, источало почему-то запах табака, Игорь грыз и сосал его с удовольствием. Кроме того, положение знаменитости и гусара, которому шлевать на потерю багажа, обязывало есть какое угодно, пусть самое рискованное сало. Если бы Игорю предложили сейчас стакан водки, он бы хватил разом, не моргнув.

— Малый, а тебе сколько лет? — спросил кто-то, лежащий на полке напротив.

Игорь посмотрел: человек был укрыт шинелью, вроде как больной или раненый. Пристально и неприятно он глядел черными глазами на Игоря, и тот ответил не сразу и без охоты:

— Шестнадцать...

— В Москве у тебя кто есть?

— Ну, есть... А что?

— Ждут тебя?

Игорь грубо спросил:

— А вам какое дело?

— А никакого, конечно, до тебя, дурака, нет... — сказал человек тихо и закрыл глаза.

Игорь сопел, размышляя: оскорбиться или нет? Решить: не стоит. Человек был жалок. Может быть, умирал. Но гусарское самочувствие исчезло, сделалось тоскливо. Колеса стучали по мосту, проезжали Волгу. Внизу говорили о сводке, кто-то слышал на вокзале в Куйбышеве шестичасовое радио: тяжелые оборонительные бои в районе Сталинграда и Моздока. То же самое, что все последние дни. Слишком уж скупо. А что там на самом деле? Еще говорили о боях в Ливии, о том, что англичане хитрят, а американцы не умеют. В Москве, говорили, за жиры дают хлопковое масло, только не такое, как было в Ташкенте, а более светлое, обезжиренное. Чаю нет, все пьют кофе черный, желудевый или ячменный.

Голоса снизу доносились рвано, в промежутки, когда колеса стучали тише. Вдруг голоса возвысились, зазвучали сварливо, вперевой.

— А вас не спрашивают!

- Нет, я спрашиваю...
- В чужой разговор...
- Распространяете...
- Брось ты с ним! Не видишь, что ли...

Игорь думал о тех, кто его ждет в Москве. Впрочем, было неизвестно в точности, ждут его или нет. Бабушка написала письмо своей двоюродной сестре Вере, еще более старой, чем бабушка, и совсем больной старухе — поэтому она не могла никуда тропуться из Москвы — о том, что Игорь получил пропуск в Москву и придет в октябре, по ответа ни от бабушки Веры, ни от ее дочери тети Дины пока не было, так что не знали, можно ли у них остановиться, здоровы ли они и живы ли вообще. Игорь мог, конечно, жить и один в комнате на Большой Калужской (цела ли комната?), но бабушка считала, что ей будет спокойней, если Игорь поселится у бабушки Веры. Все это были подробности, не имевшие значения. Главное то, что он возвращается. И эта дурацкая, из чаплинской комедии, история с чемоданом и мешком — лишь малая цена за возвращение, ничтожная цена, пустяки, не надо огорчаться. А все-таки что же там было? Ну, пустяки, барахло, ну, валежки, зимнее меховое пальто, переделанное из отцовской бекешки. Ну, какие-то кофты, одеяла, простыни, скатерти, всякая мура. Очки вот жалко. Без очков — хана. Но можно заказать новые. А вот что действительно жалко — дневники, вся школьная жизнь с седьмого класса по девятый. Три толстых общих тетради. Все, начиная с переезда из того дома на Большую Калужскую, когда они остались втроем — оп, бабушка и Женька, — новая школа, ребята, Дом пионеров, два лета в Серебряном бору и одно лето в Шабанове. Сколько там дорогого, ценного, смешного, забавного! Как часто он смеялся, перечитывая некоторые страницы. Все остальное мура. Заснуть и забыть. Завтра вечером будет Москва. И оп заснул, хотя в вагоне серело, загорался день.

Ему приспичила старая квартира — та, где они жили раньше с отцом. Большая темноватая столовая, рядом с нею комната бабушки, отгороженная от столовой портьерой болотного цвета; в бабушкиной комнате всегда было очень солнечно, окно во всю стену и дверь на балкон, а там стоял платяной шкаф, тот самый, из которого однажды зимой перед Новым годом совершенно неожиданно — никто его не трогал, — выпало большое, вделанное в дверь зеркало и разбилось.

Елка стояла в столовой посреди комнаты, обеденный стол сдвинули к пианино. Комната сделалась тесной, запахло лесом, дачей, лыжами, собакой Моркой, верандой с белыми окнами и грязным, мокрым полом, где стучали валенками о доски, бросали рукавицы на голый стол, без клеепки — все вещи на веранде имели какой-то жалкий, промерзший вид — и, распахнув обитую войлоком дверь, вбегали в тепло, в домашний, темного дымный, кухонный, сухой уют с треском печи. Всем этим пахла хвоя, это был запах каникул. Через два дня Горик и Женя должны были ехать на дачу, но не к себе в Серебряный бор, а к Петру Варфоломеевичу Спякину, дяде Пете, старому товарищу отца и бабушки еще по ссылкам и гражданской войне. У дяди Пети тоже были внуки, двое мальчишек, но Горик знал их мало, и, хотя его очень привлекал неведомый Звенигород, называемый Русской Швейцарией, возможность покататься на лыжах с гор и пожить на прекрасной спякинской даче, про которую мама говорила, что это не дача, а дворец, а бабушка с легким неодобрением рассуждала о том, как меняются люди, было немного грустно уезжать от привычного Бора.

На елку пришла Женкина подруга, маленькая черпоглазая девочка Ася из ее класса, которая очень важничала, но Горик не обращал на нее внимания, и пришел двоюродный брат Горика — Валера со своим отцом дядей Мишей. Из школьных товарищей не пришел никто: Леся-Карась с матерью уехал в Ленинград, он часто ездил в Ленинград к родственникам, у Марата-Скамейкина самого была елка с гостями, а Володька-Сапог уехал на дачу в Валентиновку. Но Горик не жалел о том, что никого из них нет. Не прочь был отдохнуть от них: Леся-Карась с его выдумками и тайнами порой угнетал Горика, он чувствовал, что впадает в зависимость, в какое-то рабство к нему; Сапог был малый компанейский, но любитель врать и хвастать, а Скамейкин был большой хитрец. Без них Горик жить не мог, он любил их, они были лучшие и единственные друзья, но от этой дружбы он уставал.

С Валеркой Горик виделся редко — дядя Миша жил за городом, в поселке Кратово, — но уж когда братец приезжал в Москву, они с Гориком устраивали такой «тарарам», или «бедлам» по выражению мамы, что у соседней виллы качались люстры. Часами они могли кататься по полу, сидеть друг на друге верхом, кружиться и пыхтеть, стискивая один другого что есть мочи, стараясь вырвать

крик боли или хотя бы еле слышное «сдаюсь». И чем больше они потели, разлохмачивались, растрепывались, изваживались в пыли, чем сильнее задыхались и изнурили друг друга, тем радостнее и легче себя чувствовали; это было как наркотик, они делались пьяные от возни, понимали умом, что пора остановиться, что дело кончится скандалом, но остановиться было выше их сил.

Возня происходила рядом с елкой, на большом диване, от которого, если елозить по нему носом, шел слабый запах дезинфекции, и его твердая, шершавая ткань скребла щеки, и на нем были два валика, которыми братья дрались, тихо смеясь, норовя ударить друг друга посильней по больному месту. Девчонки по другую сторону елки играли в какую-то настольную игру. Они были сами по себе, а Горик и Валера сами по себе. Но в миг паузы Валера прошептал Горикку на ухо: «Знаешь, почему мы тут возимся?» «Ну?» — спросил Горик. «Потому, что перед этой Асей показываемся». Горик промолчал, пораженный. Горикку было одиннадцать с половиной лет, а Валерке просто одиннадцать, и он не такой уж сообразительный, гораздо меньше читал, но сказал правду. Как же он так угадал про Асю? Уязвленный чужой провицательностью, Горик спрыгнул с дивана и крикнул: «Айда в кабинет!» Они побежали в отцовский кабинет, там было темно, зажгли свет, все взрослые собрались зачем-то в комнате у бабушки и разговаривали, совсем забыв о ребятах.

Кабинет был велик, полон таинственных вещей. Там в четырех шкафах теснились книги, тысячи книг, многие из которых были совершенно неинтересны, в бумажных переплетах, растрепанные, старые, пыльные, но были и очень красивые энциклопедии в коже, с золотыми корешками и множеством картинок внутри, с которых Горик давно уже для разных нужд подирал прозрачную папиросную бумагу. Там висело в простенке между одним из шкафов и окном отцовское оружие: английский карабин, маленький винчестер с зеленой лакированной ложей, бельгийское охотничье двуствольное ружье, шашка в старинных познах, казацкая плетеная пагайка, мягкая и гибкая, с хвостиком на конце, китайский широкий меч с двумя шелковыми лентами, алой и темно-зеленой (этот меч отец привез из Китая, им рубили головы преступникам, и Горик видел в альбоме, который отец тоже привез оттуда, фотографию такой казни; отец по утрам, а иногда и днем делал специальную китайскую гимнастику с этим

мечом, размахивал им, становился в позы, однажды, когда пришла в гости тетя Дина, Горик вздумал показать ей редкостное зрелище, отца, размахивающего мечом, и распахнул дверь кабинета — тетя Дина вскрикнула: «Ах, боже!» — прикрыла дверь, а отец больно шелкнул Горика по макушке, сказав: «Идиот!»). В углу кабинета стояла пика с длинным бамбуковым древком, четырехгранным наконечником и клочком сивой гривы, привязанным чуть пониже наконечника. Пикю отцу подарили в Монголии, когда он путешествовал в пустыне Гоби. Этой пикой было удобно закрывать форточки, а иногда мама использовала ее для других целей: заметив где-нибудь высоко на стене клопа, мама брала пикю, нацепляла на нее кусочек ваты, смоченной водой, и клоп бывал достигнут. У мамы Горика было замечательно острое зрение. Более острым зрением обладала лишь бабушка, которая у себя на работе в секретариате занималась в стрелковом кружке и даже получила значок «Ворошиловского стрелка».

Пол кабинета застилал толстый и громадный, во всю комнату, персидский ковер. Возиться на ковре было гораздо удобнее, чем на диване. Горик и Валера опустили шторы, чтобы в комнату не проникал свет даже от дальних окон, и устроили «японскую дуэль»: поединок, который обязан происходить в полном мраке. Противника надо было угадывать по шороху, по дыханию. Несколько раз они набрасывались друг на друга в темноте и после короткой яростной схватки разбежались по углам. Однажды кинулись друг на друга так неловко, что стукнулись головами и оба завоняли от боли. Вбежали взрослые, включили свет. У Горика был здоровенный «фингал» на лбу, у Валерки из носа хлестала кровь.

Поднялся шум, забегали, закричали, оказывали первую помощь и одновременно ругали нещадно. Злее всех ругался дядя Миша.

— Здоровенный оболтус! — кричал он Валерке. — Чем ты думал? Каким местом? Почему не мог спокойно посидеть и почитать книжку?

— Наш тоже хорош, — сказала мать и сильно дернула Горика за руку, чтобы он повернулся к ней другим боком: она вправляла его рубашку в штаны. — Когда приходят ребята, всегда пачинает беситься. Смотри, что ты сделал с белой рубашкой.

— Неужели у вас нет других, более интересных занятий? — спросила бабушка.

Их повели в ванную комнату, продолжая осыпать упрёками. Дядя Миша грозил сейчас же забрать Валерку и увезти в Кратово. Было ясно, что взрослые возбуждены чем-то помимо драки (и драки-то не было), уж очень они взбеленились. В конце концов Валерка приходил в гости нечасто, сегодня был праздник, они имели право побужить. Подумаешь! Горик надулся и отвечал матери односложно. Она не должна была так сильно дергать его за руку. Тем более раненого человека. Вместо жалости подняли такой крик.

Когда вернулись в столовую и сели на диван, дядя Миша стал рассуждать о прошлом. Горик заметил, что дядя Миша любил вспоминать прошлое, когда немного выпьет; лицо его покрывалось красными пятнами, на лбу выступал пот, и он расхаживал по комнате и рассуждал, грозя кому-то пальцем. Теперь он рассуждал — специально для Валерки и Горика — о том, как он и его брат, то есть отец Горика, жили в молодые годы, как они мыкались по чужим домам, зарабатывали себе на хлеб и так далее и тому подобное. Конечно, они жили плохо, никто не спорит: ведь они жили в царское время. Ничего нового он не открыл. Валера даже демонстративно отвернулся и рассматривал корешки книг на черной этажерке, стоявшей возле дивана. Горик уважал дядю Мишу, который был героем гражданской войны, краснознаменцем, воевал с басмачами и до сих пор имел звание полковника, ходил в военной форме, в гимнастерке с широким командирским поясом, но отчего-то Горика бывало иногда его жаль. Может, оттого, что он был уже не боевой командир, а работал в Осоавиахиме, а может, оттого, что Горик часто слышал, как отец говорил матери: «Вот черт, Мишку жалко...» У дяди Миши непреставно случались неприятности, то на службе, то дома. То он ругался с начальством, то влезал в долгие тяжбы, защищая кого-то от мерзавцев и негодяев или же выводя кого-то на чистую воду, то ссорился с женой, выгонял ее из дома, снова привозил, и Валерка мотался с квартиры на квартиру.

Мать Горика говорила: «Михаил не умеет ладить с людьми. У него тяжелый характер. Вот удивительно: два брата, а совсем разные!» Но Горика казалось, что дело в чем-то другом. Однажды он видел, как дядя Миша с отцом играли в шахматы. Дядя Миша приехал тогда тоже с какой-то неприятностью, кажется, на него один мерзавец и негодяй написал донос в Общество политкаторжан, и дя-

де Мише надо было оправдываться и что-то доказывать — вместо того, чтобы просто пойти и «натереть ему рыло», — и отец кому-то звонил по телефону насчет дяди Миши, долго говорил, сердился, пазывал кого-то дураком, потом они с дядей Мишей оделись и пошли в соседний подъезд к одному старому товарищу, с кем отец был в ссылке, пришли через два часа и сели играть в шахматы. И дядя Миша проиграл отцу пять партий подряд. Он так разозлился, что ударил кулаком по доске и все фигуры разлетелись. «Конечно, я тебе проигрываю! — сказал он. — Потому, что у меня башка занята другим».

И вот Горик у казалось, что у дяди Миши всегда башка занята другим. Поэтому у него и неприятности. Сегодня тоже наверняка была какая-нибудь неприятность. Он ходил, скрипя сапогами, блестя стеклами пепсине, на щеках и скулах пунцовели пятна — не от гнева, а оттого, что выпил на кухне рюмку-другую водки, — говорил сердито и много, но было, однако, видно, что он думает о другом.

— Хотя мы с Николаем о такой жизни, как ваша, лоботрясы вы этакие, даже мечтать не могли...

— Не знаем мы, какая у них будет жизнь, — ввернул отец. И, как показалось Горик, ввернул очень умно.

— Как же не знаем? Великолепная жизнь, им все дано, — сказала бабушка, расставляя блюда и чашки для чая на столе. На нем стояли две вазы с самодельным бабушкиным печеньем и лежала раскрытая коробка круглых, в виде раковин, вафель с шоколадной начинкой. Это были любимые вафли, Женька их уже потихоньку таскала, но Горик, как находившийся под следствием, вынужден был сидеть не двигаясь и пожирать вафли глазами. Женька взяла пятаю. Правда, две она отдала Асе. — У них все права, — продолжала бабушка. — Кроме одного права: плохо учиться. Женечка, ты же не мыла рук. Ася, Женечка, бегите в ванную и мойте руки.

Через полтора часа всех ребят, кроме Аси, которую мать Горика проводила домой, уложили спать в детской. Валера, бедняга, сразу захрапел, Женя тоже заснула, а Горик долго лежал, прислушиваясь к звукам и голосам. Он слышал, как пришел другой дяди, мамин брат Сергей, студент университета, с ним какие-то мужчины и женщины, наверное, тоже студенты, много голосов, один жен-

ский голос смеялся очень звонко и нахально; весь этот шум прокатился в глубь коридора, из столовой раздалась музыка, кто-то заиграл на пианино и сейчас же перестал. Через дверь с матовым стеклом сочился из кухни тонкий, свежий запах печенья. Бабушка всегда пекла одно и то же печенье, сухое, коричневого цвета, в виде ромбиков, нарезанных зубчатым колесиком, и с одним и тем же запахом. У Горика запыло сердце: ему захотелось печенья. Захотелось в столовую, где разговаривали студенты. Захотелось увидеть собаку Морку, почувствовать запах снега, побежать на лыжах через речку к холмам и чтобы Ася увидела, как он летит стремглав с самого высокого холма, где два трамплина.

Тихо открылась дверь, и вошла мать Горика. Она стояла неподвижно в темноте, прислушиваясь и стараясь понять, спят дети или нет. Женя и Валерка спали, а Горик лежал с открытыми глазами. Он сказал шепотом: «Ма, я не сплю». Мать подошла на цыпочках и села на край кровати. Она притронулась ладонью ко лбу Горика, где была шишка: рука ее была холодная. «Сынок, мы поедем послезавтра к себе, в Серебряный бор». «Правда? — Горик обрадовался. — Ух здорово! Мне так не хотелось ехать в этот самый Звенигород! А ты поедешь?» — «Конечно. И я и папа. И, может быть, Валерку возьмем, если Миша его отпустит и если вы дадите слово, что будете вести себя хорошо». — «Конечно, дадим! Непременно дадим! Обязательно дадим! Ура-ура-ура! Да здравствует наш любимый, несравненный, драгоценный Серебряный бор!» — в возбуждении восклицал шепотом Горик. Он уснул счастливый.

На другой день, тридцать первого декабря, когда все сидели утром за завтраком в столовой, в бабушкиной комнате раздался внезапно оглушительный грохот. Было похоже, что кто-то выбил балконное окно. Побежали туда и увидели, что разбилось не окно, а зеркало. Весь паркет был усыпан сверкающими осколками. Никто не мог понять, каким образом и почему старинное толстое зеркало выпало из двери платяного шкафа, запертой к тому же на ключ. Это была загадочная история. Домашняя работница Мария Ивановна сказала, что это к войне. Отец Горика сказал, что война с Гитлером и Муссолини, разумеется, будет, но не скоро. А Горик подумал о том — и это поразило его, — что в мире происходит венци, которые не

может объяснить никто: даже отец, самый умный человек на свете, и мать, тоже очень умная и самая добрая. Ни один человек, никто и никогда не объяснил Горикю, почему в то утро упало зеркало.

От вокзала до Страстного бульвара, где жила тетя Дина, Игорь шел пешком, совсем налегке: хлеб он доел, а книжку Эренбурга сунул в карман. Москва поразила тишиной, малолюдством — даже на вокзальной площади людей почти не было, троллейбусы шли пустые, — и чем-то глубоко и тяжело растрогала. Он словно увидел родное лицо, но изменившееся и настрадавшееся в долгую разлуку. На площади перед метро «Кировская» стояло несколько человек и слушало радио из репродуктора, установленного на фонарном столбе. «Немцы болеют от гитлеровских эрзацев, — читал торжественным голосом диктор. — Как заявил в Женеве прибывший из Германии голландский врач, долгое время практиковавший в одной из дрезденских клиник...» Лица слушающих выражали сосредоточенное, несколько оупелое внимание. Может быть, они и не слушали, а думали о своем. Или терпеливо ждали что-то важное, что должен был сказать диктор.

Пошел слабый дождь. Игорю не хотелось садиться в трамвай. Он шел бульваром, заваленным опавшей, гниющей листвой, останавливался у газетных витрин, читал. Умер художник Нестеров. Рязанская область закончила уборку картофеля. Волнения во Франции. Исполком Моссовета одобрил инициативу жильцов дома № 16 по Н. Басманной и № 19 по Спартаковской улицам по активному участию в подготовке к зиме: участие в ремонте отопления, крыши, утепления зданий, завозе топлива, его хранения, эксплуатации. 450 лет назад Христофор Колумб открыл Америку. Этому знаменательному событию посвящена выставка, открывшаяся на днях в библиотеке. А дочь Татьяну и внука Юру фашистские изверги загнали в погреб и забросали гранатами...

Дом на Страстном знакомо, громадно чернел сквозь дождевой туман. Внутри, в клетках дворов, было пустошно. Когда-то эта цепь проходных дворов была оживленнейшим местом: по ним проходили, сокращая себе путь, с Большой Дмитровки на Страстную площадь, а по утрам здесь толпами шли хозяйки за покупками в Елисейский магазин и навстречу им, снизу, шли другие на Палашев-

ский рынок. Игорь свернул направо, в тупиковый двор, и подошел к подъезду. Это был, впрочем, не подъезд, а небольшая, довольно грязная и старая, много раз крашеная дверь с железной ручкой, лестница за нею была такая же грязная и старая, она поднималась вверх короткими зигзагами и по своей крутизне напоминала винтовую. Лестница огибала пустое вертикальное пространство, такое узкое, что если бы кто-то вздумал кончать тут счеты с жизнью, то должен был бы лететь вниз стоямя, солдатиком. На третьем этаже была выбита ограда, край лестницы висел над обрывом; Игорь прошел эти несколько ступеней с осторожностью, прижимаясь к стене. «Ну и пу! Как же тут бабушка Вера ходит?» — подумал он с изумлением.

Он нажимал кнопку звонка и улыбался.

Его радовали этот сырой день, пустые дворы, перекрещенные бумажными лентами окна. Это была Москва. Он вернулся. Дверь не открывалась. Он позвонил еще раз и ждал, продолжая улыбаться. Потом, догадавшись, что звонок не работает, сильно постучал. Сразу же зашаркали, завозились с замком, женский голос спросил:

— Кто там?

— Я — к Дине Александровне...

В первую секунду он не узнал тетю Дину: худая старушенция. Какое желтое, опавшее лицо! На плечи тети Дины был наброшен, как у боксеров, выходящих на ринг, махровый халат, который совсем гнул ее и заставлял вытягивать шею вперед. Выражение лица у тети Дины было испуганное. Она вскрикнула: «Ах, Горик! — и сейчас же, оглянувшись назад, очень громко и напряженно: — Мама, Горик приехал! Это Горик!»

Вышла бабушка Вера. Она ничуть не изменилась. Она тихо шла по коридору, вдоль стены, подняв сухонькое, кивающее, детское личико в мелко кудрявом, седом венчике, и улыбалась издали. Подойдя, обняла Игоря легкими руками, пригнула голову и поцеловала, и он вспомнил этот старушечий запах комода, лежалости и сухих духов. Обе принялись хлопотать вокруг него, сняли с него пальто. «Я принесу чайник!» — «Мама, не суетись. Принеси лучше полотенце. Ходи медленно!» — «Я вовсе не суюсь, и даже не суюсь. Видите, этот глагол мне чужд, я даже не знаю, как его спрягать...»

— Баба Вера, ты молодчина, — сказал Игорь радостно.

Он сидел на стуле и стаскивал башмаки, несколько

прохудившиеся. В Ташкенте, где месяцами не бывало дождей, они служили неплохо, но в первый же час в Москве сдались, он промочил ноги.

— Почему ты шел пешком? — спрашивала тетя Дина.

— Я так проголодался, так соскучился по Москве! Читал афиши, объявления. Знаю, например, что производится набор аптекарских учеников для аптек Москвы. А что? На худой конец! Вечер Хенкина в Театре эстрады — рядом, на Малой Дмитровке...

— Постой, Горик. А где твой багаж?

Он рассказал. Лицо тети Дины заметно побледнело. Она опустила на сундук и сказала:

— Я получила письмо три дня назад. Тети Нюта написала очень подробно, что она с тобой посылает — ты же знаешь свою бабушку — по пунктам...

— Да, барахла было много.

— И продуктов тоже, она писала.

— Да, — сказал Игорь. — Продуктов тоже...

Тетя Дина сидела на сундуке, с удивленным видом разглядывая пол.

— Как же так, я не понимаю? — сказала она тихо и развела руками. — Как можно быть таким рассеянным? Как можно, зная, что едешь в голодный город...

Игорь стоял перед нею босой, в мучительном оцепенении. В правой руке он сжимал влажные носки. Только сейчас он внезапно осознал, как ужасно, отвратительно, жестоко было то, что произошло с ним и в чем он был, конечно же, виноват. Как всегда, осознание приходило к нему позже, чем следовало, и тем сокрушительней. Он готов был тут же, босой, кинуться бежать из дома. Бабушка Вера прилепала с полотенцем в прихожую и остановилась, не понимая, почему Игорь замер в такой странной позе, а тетя Дина сидит на сундуке.

— Дина, что случилось? — спросила она. — Что-нибудь с Нютой?

— Нет, нет, ничего с твоей Нютой, — сказала тетя Дина. — Иди, пожалуйста, в комнату. Он будет мыться, а потом мы станем пить чай, и я тебя позову.

Бабушка Вера нащупала рукой гвоздь в стене, на который были наколоты какие-то квитанции, повесила на него полотенце и зашла к нему обратно в комнату.

— Мама совсем почти не видит, — сказала тетя Дина. — И стала в последнее время очень плохо слышать. Вообще мы живем... я не знаю, как мы живем. Мы живем

на одну служащую карточку! Ты представляешь? Маринка поступила на курсы иностранных языков при военном ведомстве. устроить было невероятно сложно, я пажала все кнопки и устроила. ее приняли, но не успели дать ни карточек, ничего, и она заболела. Больше месяца лежит. Какое-то глеющее воспаление легких, каждый день температура. Она — там, в комнате, ты потом к ней зайдешь, ты ее не узнаешь. Нужно давать мед. А где его достанешь? Я ждала тебя, скажу тебе честно, еще и потому с таким истерпенцем, что тетя Нюта писала, что посылает с тобой банку меда.

— Мед я тебе достану... — пробормотал Игорь сквозь зубы.

— Где ты его достанешь, мой милый? Ты не представляешь, как живет Москва. Надо иметь очень большие связи или очень большие деньги. У меня уже нет ни того, ни другого. Одного я все-таки не понимаю: как можно допустить, чтобы у тебя на глазах... Ах, бог с ним! — Она порывисто поднялась с сундука. — Сейчас согрею воду. Помоешься, и будем пить чай. Что случилось, то случилось. Не будем огорчаться, правда, Горик! — Она шлепнула Игоря по щеке, это был шлепок примирения и прощения, но все же он оказался чуть сильнее, чем нужно, как слабая пощечина. — Сядь на стул, я поищу какие-нибудь носки Бориса Афанасьевича.

Через полчаса Игорь помылся, переоделся в сухое и пил чай на кухне вместе с тетей Диной и бабушкой Верой. Собственно, пили не чай, а отвар шиповника с сахарином. «Хорошо, что нет соседей. Можно посидеть на кухне, — говорила тетя Дина. — К нам жуткую парочку подседели. вот уже год. В комнату Марии Адольфовны. Ты помнишь Марию Адольфовну?» Еще бы он не помнил Марию Адольфовну! У нее были добрые, овечьи глаза, всегда немного слезящиеся, длинные пальцы, длинное лицо, сама была длинная, сутулая. «Hände waschen, Zähne putzen, schlafen!» Она была настоящая немка из Гамбурга, по почему-то выдавала себя за датчанку. Три года она жила каждое лето с Игорем и Женькой на даче, а зимой приезжала раза два в неделю. «А что с Марисей Адольфовной?» — «Ее куда-то выселили из Москвы еще в прошлом сентябре. Она ведь была совершенно одинока. Не знаю, что с ней».

Тонкие ломтики черного хлеба лежали на красивой фарфоровой доске, имевшей форму лопатки с короткой

ручкой. У тети Дины всегда было много красивой, старинной посуды. Чашки, из которых пили отвар шиповника, были, наверное, столетнего возраста, на их доньшках красовались замысловатые вензеля. Тети Дина брала ломтики хлеба, наносила на них изящным серебряным ножиком почти незримый слой масла и давала Игорю и бабушке Вере.

Возбуждение все еще не покидало тетю Дину. То она, махнув рукой, говорила: «Ну, конечно! Не будем переживать. Кто первый заговорит, с того штраф» — и рассказывала о новых соседях, жуткой парочке, о своей работе в музыкальном издательстве, о каком-то полковнике, который ухаживает за Мариной, и вдруг, в середине рассказа начинала иронически улыбаться и прерывала себя: «А если посмотреть на всю историю с комической стороны? Вообразите: идет этакий шляпа...»; то в ней просыпался гнев и она проклинала подлецов и сволочей, которые пользуются людской бедой; то возникали неожиданные идеи, она предлагала написать заявление в Министерство внутренних дел или же начальнику милиции Куйбышевского вокзала. «Что ж, что война. Они обязаны заняться и начать розыск...»

Бабушка Вера молча пила отвар и жевала хлеб. Зубов у нее, наверное, почти не осталось, и она жевала, не переставая, помогала деснами и даже губам. Ее лицо при этом сжималось и разжималось, как гармошка, и, когда сжималось, принимало выражение забавно-вапыщенное. Бабушка Вера отставила чашку и стала медленно, сторбленной спиной вверх, подниматься из-за стола.

— Дяночка, — сказала она. — Целый час ты не можешь съехать с этих чемоданов. Стыдно, ей-богу. Ну, привез бы он провизию или нет — какая разница? Через десять дней все равно бы все съели.

Тети Дина взглянула на мать отрешенно.

— Ты права, мама. Конечно, мамочка. Стыдно, стыдно, невыносимо стыдно! — Она закрыла лицо ладонями. — Стыдно, что ни о чем другом я не могу говорить. Стыдно, что я так раскисла... Очень стыдно, но я думаю, Горик меня простит. Ты простишь, Горик? — Голос ее задержался. — Ведь я одна забочусь о том, чтобы всех накормить. Я одна привожу хлеб в дом. Ты понимаешь, Горик? Я должна бегать по очередям, добывать, продавать; керосин, лекарство, доктор, карточка, последний день талона на крупу, талон на табак меняю на мыло — у меня голова

кругом! У меня нет сна. И меня все обманывают, я все теряю, ничего не успеваю.— Лицо тети Дины исказилось гримасой, рот растянулся, и она заревела, продолжая говорить нелепым, орущим голосом: — Тебе хорошо, ты — старуха. Ты можешь сидеть дома и ждать. И говорить: «Это не стыдно! А то стыдно!» А мне ничего не стыдно, понимаешь? Потому что я должна бороться! Я должна спасти свою дочь! И тебя! Ни одной секунды мне не может быть стыдно, нехороший ты человек...

Бабушка Вера не спеша, держась за стенку и мелко-мелко кивая головой, двигалась из кухни в коридор. Тетя Дина кричала ей вслед:

— Как же у тебя хватило совести? Злая ты, злая жепщица!

Последнюю фразу тетя Дина выкрикнула особенно яростно и громко, чтобы бабушка Вера, уже скрывшаяся в коридор, услышала. Потом тетя Дина подошла к кухонной раковине, открыла кран и стала мыть лицо холодной водой и сморкаться.

Игорь, все время сидевший за столом, поднялся и пошел в коридор. Он не знал, можно ли ему сейчас идти в комнату и в нерешительности топтался в прихожей, делая вид, что ищет что-то в карманах пальто. Потоптавшись, он сел на сундук. Тетя Дина не появлялась. Он слышал, как она гремела в кухне посудой, двигала стулья. Наверно, ей было стыдно после всего этого. Вот сейчас ей было по-настоящему стыдно. А что, если надеть пальто и тихо уйтп? Игорь думал о тете Дине с жалостью. Он помнил ее совсем другой. Нет, уйти было бы проще всего.

Он рассматривал висевшие на стене в прихожей несколько старых фотографий и гравюр в темных рамках. Без очков он видел плохо, и пришлось встать с сундука, чтобы подойти к картинкам ближе. Когда-то он все их видел, но совершенно забыл, и теперь они всплывали в памяти — этот старик с цилиндром, женщина в пышном белом платье с такой тонкой талией, что женщина была похожа на песочные часы, поэт Баратынский, вид города Пармы. Все эти картинки принадлежали исчезнувшему времени, тому жаркому лету за три года перед войной, когда он гостил в Шабанове, в музейной усадьбе. Дача в Серебряном бору тогда уже не существовала, и бабушка попросила тетю Дину взять его на лето к себе. А Женя уехала тогда с другой родственницей на Украину. Тетя Дина жила в самой усадьбе композитора, в маленькой

компате на первом этаже, с окнами в сад, сырой, темный сад со столетними елями, с липовой аллеей, спускающейся вниз к реке; на лужайке по утрам стояла художница, бледная женщина с надменным лицом, и писала кусты сирени; они были на холсте розовые, хотя давно отцвели, а небо почему-то зеленое, но Игорь не решался спрашивать, что это значит. Он слонялся по музейным залам, где потрескивали сами собой полы, где в шкафах за стеклом блестели старинные переплеты; вечерами на открытой веранде пили чай из самовара, всегда на столе были подогретые белые булочки и черносмородиновое варенье, и внучатый племянник композитора, очень похожий на него, с такой же бородкой, рассказывал о том, как жили в Париже перед первой мировой войной. Были и другие люди, они тоже рассказывали интересные истории, был одип музыковед, пьяница, но добрейшая душа, был австриец, бежавший из Вены от фашистов, он умел держать тарелку на лбу, и он ухаживал за художницей с надменным лицом, а тетя Дина играла на рояле «Времена года». Иногда, очень редко, приезжала Марина на велосипеде. Она мало занимала Игоря. Ему шел тринадцатый год, а ей девятнадцатый, она была толстая, нахальная, всегда с нею были кавалеры. Шабаново она называла «деревней». Тетя Дина страдала из-за нее, говорила, что она «с фокусами». А Игорю нравилось жить в музейной усадьбе, сидеть до ночи за столом на веранде — вот только комары дожимали — и слушать малопонятные разговоры. Однажды он слышал, как тетя Дина и внучатый племянник композитора о чем-то спорили на скамейке в саду, тетя Дина сердилась, тот ее успокаивал, и вдруг закричал на Игоря: «Что за манера торчать рядом, когда взрослые разговаривают!» Прошло несколько дней, Игорь с музыковедом ходили на речку купаться — как раз тогда Игорь выронил в воду свои ботики, когда переплывал речку, и музыковед спас их, нырнул и достал — и под секретом, а также под градусами, музыковед сообщил Игорю, что тетя Дина отказалась от мужа. «Прости меня, Егор, по твоя тетушка с этих пор для меня — тьфу», — сказал пьяный музыковед. Игорь знал, что тетя Дина жила с мужем, отцом Марины, плохо. Все говорили, что в молодости тетя Дина была очень красива, а муж ей попался неудачный. Однажды Игорь застал тетю Дину плачущей, потом она уехала в Москву, вернулась, снова были прогулки, купание в холодной, с глинистым берегом, речонке, вечерами снова си-

дели за самоваром, ели подогретые булочки, и тетя Дина играла на рояле «Времена года». Вскоре появился Борис Афанасьевич, очень большой, толстый, в очках, с черной бородой и усами. Игоря переселили в комнату рядом с чердаком, тетя Дина сделалась веселая, пела песни и играла с Борисом Афанасьевичем в серсо, Марина перестала приезжать, а музыковед устроил однажды пьяный скандал, и вызывали милицию.

— Такой стал Горик? Ого! Потрясающе! — Игорь увидел бледную, с большим носом, рыжеволосую девушку, стоявшую в дверях прихожей. На девушке был халат с кистями, она держала руки скрещенными на груди, обнимая ладонями худые плечи, словно ей было жабко. — Никогда бы тебя не узнала...

— Я тоже вас... — Он запинулся, почувствовав, что говорит что-то не то, но все же мужественно закончил: — Наверное, не узнал бы!

— Так ужасно я изменилась?

— Нет, но тетя Дина... Вы же болеете...

— Да, да. Я болею. Совсем забыла, что я болею. — Она понизила голос до шепота. — Что тут было? Почему мама так орала на бедную бабушку?

Игорь пожал плечами.

— Может быть, из-за этой очень смешной истории, которая случилась с твоим багажом? Мне бабушка рассказывала. Боже, это же драгоценнейшая история! Ее можно вспомнить всю жизнь и каждый раз получать удовольствие. Ты гений, Горик. Ты поступил гениально. — Прижав ладонь к губам, она прыскала. — Ах, как жаль, что тебе не удалось все-таки опоздать на свой поезд...

Тетя Дина вышла из кухни, неся на подносе что-то, покрытое полотенцем.

— Зачем ты встала? — спросила она дочь. — Я несу тебе питье и лекарство.

— А зачем ты кричала? Я думала — грабители, воздушная тревога или Бочкин вернулся. Ты меня разбудила. Я спала!

Последнюю фразу она произнесла с вызовом и прошла мимо матери и мимо Игоря в ванную, горделиво подняв свой большой нос и распушив движением головы рыжие волосы. За ней прошла волна ее запаха: лекарств и свежего тела. Игорь почувствовал, что между матерью и дочерью есть какая-то напряженность, и он, неожиданно и невольно, эту напряженность почему-то усилил.

Тетя Дина сказала, посмотрев на него со слабой улыбкой:

— Вот чепуха, правда же? Такие-то чемоданы в голове, а немцы на Волге, Ленинград в окружении... Ты помнишь Свирского? В Шабанове он жил одно лето вместе с тобой. Ленинградский музыковед, чудный человек. Погиб в августе под обстрелом. Иди сюда, я покажу, где ты будешь спать... От Бориса Афанасьевича никаких вестей уже четырнадцать месяцев...

Из ванной раздался крик Марины:

— Постели ему в моей комнате на кушетке! Мы будем с ним разговаривать!

— Ай, иди ты! — Тетя Дина с досадой махнула рукой. — Он рабочий человек, а ты бездельница. Он будет вставать в шесть утра. Идем, Горик...

Из прихожей шел коридор, заставленный какими-то фанерными ящиками, мешками, банками, корытом, шкафчиками; всего этого хлама раньше тут не было, по-видимому, привезли неведомые Бочкины, занимавшие комнату Марии Адольфовны. Эта комната находилась в глубине коридора, на ее беленой двери чернел большой висючий замок. Справа по коридору были две двери. Игорь вошел вслед за тетей Диной в первую. Увидел комнату и вспомнил, что близко под окном должен быть виден железный скат крыши, но теперь окно было закрыто светомаскировочной бумагой. Бабушка Вера сидела за столом и, держа у глаза лупу, читала книгу.

Нетерпение

Роман

Глава первая

К концу семидесятых годов современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна. Спорили лишь о том: какова болезнь и чем ее лечить? Категорические советы, пророчества и проклятья раздавались в стране и за границей, на полутайных собраниях, в многошумных газетах, модных журналах, в кинжальных подпольных листках. Одни находили причину темной российской хвори в оскудении национального духа, другие — в ослаблении державной власти, третьи, наоборот, в чрезмерном ее усилении, одни видели заразу в домашних ворах, иные в поляках, третьи в бироновщине, от которой Россия за сто лет не могла отделаться, а великий писатель полагал, что виноват маленький тарантул, *piccola bestia*, то бишь Биконсфильд, забежавший в Европу. Были и такие, что требовали до конца разрушить этот поганый строй, а что делать дальше, будет видно. Да что же происходило? Вроде бы все шло чередом: росли города, бурно раскидывались во все стороны железные дороги, дельцы нагребали состояния, крестьяне бунтовали, помещики пили чай па верандах, писатели выпускали романы, и все же с этой страной творилось пеладное, какая-то язва точила ее. Всю Россию томило разочарование. Разочарованы были в реформах, разочарованы в балканской войне, власть разочаровалась в своих силах, пародомобцы разочаровались в народе. Появилось много людей, уставших жить. «Русская земля как будто потеряла силу держать людей!» — говорил с горечью писатель, что страдал всех тарантулом.

Повясть, что происходит, современникам не удавалось: не замечая причин, они со страхом и изумлением наблюдали следствия. Лишь десятилетия спустя эта пора душевной смуты, разочарования и всеобщего недовольства будет определена как назревание революционной ситуации. А начиналось все это порядочно давно. Еще в те, паверное, времена, когда пиному и в голову

не могло прийти, что что-либо начинается. В 1866 году (едва ли тут было начало!) в царя, освободителя и реформатора, стрелял злоумышленник...

Спустя двенадцать лет зимою, в Одессе, молодой человек по имени Андрей Желябов должен был принять тяжелое решение: расстаться с женой, с которой прожил шесть лет и которая, он знал это, очень сильно его любила. Но у них был сын, и о нем следовало думать. Жена была еще молодая женщина, певица, музыкантша, правилась мужчннам, отец влпятельный господин, сахарозаводчик, гласный городской думы, который другому зятю устроил бы отличную жизнь. и судьба жены могла бы перемениться. А какая жизнь с ним? Полунищенство в Одессе, два стула и кровать, крестьянская воловья работа в Николаевке, от зари до зари (однажды видел, как, лежа на меже, плакала). тревоги, неустройства, непутевые друзья без гроша в кармане, какие-то подозрительные женщины, развязные, с наглым взглядом, с папиросками, разговаривающие с нею свысока, ночью громыханье сапог, обыски, уходы, уводы, исчезновения, сначала на четыре месяца, потом на семь месяцев, унижение перед родителями, чтобы взять на поруки... Да зачем же все это терпеть? Конца не видно. Впрочем, виден. И даже — явственно.

Вот уже никого из старых друзей нет в Одессе: Волховский в Сибири. Петро Макаревич, Сережка Жебунев и Соломон там же, в Тобольской губернии, Сережкин брат Владимир под надзором на Харьковщине, а Никола, третий из Жебуневых, удрал в Париж. И Аня где-то там, далеко, в Европе, а Иван Ковальский казнен в августе.

Поэтому, если рассуждать спокойно и здраво, руководствуясь логикой, а не чувством...

— Зачем ты пришел сюда?

— Мы должны расстаться.

— Мы и так расстались. Это все знают. Летом ты сбежал от нас к Митьке, прекрасно там жил на бахче, торговал арбузами, мне все известно, тебя видели на базаре в Брацлаве... Зачем ты нас мучаешь? Что тебе нужно?

Из соседней комнаты, тихо приподняв занавеску, вышел маленький мальчик. Он был очень бледен, с круглой обритой по-казацкому головкой. Остановился и смотрел с каким-то робким и страстным вниманием на отца

Мать протянула руку, как бы вовя мальчика к себе и одновременно загоразивая ему дорогу к отцу.

— Что мне нужно? Во-первых, вот что... — Он смотрел на мальчика. — Взять то, что я оставил летом в мешке. Где-то там, возле окна, под полом.

— Ничего нет, я не хотела рисковать и все выбросила. Еще что?

— Еще то, что я уже сказал: расстаться.

Он произнес это твердо, глядя на мальчика. Только твердость была спасением. Потому что все уже кончено, надо немедленно и навсегда. И мальчик, который еще колебался, не знал, подойти ему к отцу или нет, сделал шаг к матери, она обняла его и прижала загорелой красивой рукой. Другой рукой закрыла лицо.

— Андрейка, ступай в комнату, — сказала мать.

Он ощущывал в кармане железную немецкую игрушку, бородатого рождественского гнома, купленного по дороге сюда. Сжал в кулаке, сломал. Они должны его возненавидеть. Мальчик вышел, она сказала сломанным голосом:

— Тебе пужно непременно добить... до конца...

— Ты ничего не понимаешь! У нас выхода нет.

Она плакала. Он терпеливо ждал, сидя на стуле у окна. Смотрел на улицу. Нужна была ее ненависть, безоглядная, полная — тогда, может быть, они спасутся. Ольга поглядела с внезапной улыбкой.

— Я знаю, о чем ты думаешь! Понимаю все твои благородные хитрости. Но ты себя не обманывай. Дело простое! Ты меня никогда не любил! — Ждала возражений, хоть каких-то, из вежливости, чтобы немедленно обличить. Это было неправдой. Но он промолчал.

Вдруг вспомнилась та осень в Городище, шесть лет назад, когда он приехал в имение будущего тестя, еще ни о чем не догадываясь, еще полный ожесточения от неудачи с университетом — одесские власти были согласны его восстановить и даже ходатайствовали, но министерская сволочь в Петербурге ни за что не соглашалась, и пришлось терять второй год — и там, в Городище, обе ученицы, Оля и Тася, горячо ему сочувствовали и жалели его, и первые несколько дней он только и делал, что рассказывал всю эпопею в подробностях. Сейчас, вспоминая то, как он рассказывал, да и саму эту историю с профес-

сором Боггишчем, он понимал, что тщеславился и петушился сверх меры, хотя гордиться было нечем. Подумай, событие! Профессор, старый болван, сделал замечание Абрашке Беру (Абрашка задремал на лекции): «Вы что, в кабаке? Не хватает еще подушек! Воп!» Абрашка пытался что-то пищать в свое оправдание, но Боггишч заорал: «Молчать! Вон!», топал ногами, как генерал на денщика, ну и, разумеется, оставить такое скотство без последствий было нельзя. Сначала бойкот, потом ждали объяснений, ректор пытался замять, Боггишч уклонялся, но министр, граф Толстой, требовал грозных кар. Смешно все это. Во-первых, вздор: какие в кабаке подушки? Полуграмотный серб, по-русски-то говорить не научился, но такие слова, как «Молчать!» и «Вон!», уже знал прекрасно.

Тася дразнила: «А, так и надо! Не вступайтесь за какого-то Бера!» Он вступался не за Бера, а за принцип. Студент есть человек со своим кодексом чести, и никому не должно быть дозволено топтать на него ногами. Ольга, старшая сестра, слушала с молчаливым восторгом. И от восторга — даже пятна на щеках, под смуглым румянцем. «Признайтесь, Андрей, вы были руководителем? Громче всех кричали «Долой!» Ничего подобного, он как раз написал в письменном объяснении — начальство добивалось узнать, кто коновод — коноводом не был, потому что их нет между студентами. Тася хохотала: «И нам боится сказать! Почему вы нам-то не скажете? Из университета только двоих исключили, вас и Белкина: значит, вы и есть коновод!»

До приезда в Городище было два учительских опыта: в Одессе учил грамоте еврейских девочек, раздражался, не хватало терпения, и в лето накануне городищенского жил в Симбирской губернии, в имении Горки, учил мальчишек Мусьяных-Пушкиных. Там была трудовая жизнь, вставали с петухами, купались в холодной воде, работали в поле, косили, сгребали сено, и при этом: литература, история, Колумб, Галилей, Петр Великий, собиранье в окрестностях преданий о Пугачеве. Хозяин имения, дядя мальчишек, старик не злой, но убежденный крепостник вечно задирался: «А почему полагаете, молодой человек что история движется революциями? Откуда сие известно, кто доказал?» Споры бывали изрядные. Старик сердился, называл Андрея «висельником», «Сен-Жюстом».

В Городище все было иначе. Отец Ольги и Таси страдал почти теми же муками, что и Андрей, хотя излечить их надеялся по-своему. Все разговоры за обедом вертелись вокруг гласности, земства. А после занятий — в рощу, к реке или к тайному месту, в карьер, где ломали камень лабрадор. Там было темно, жутковато. Тасе вскоре наскучило. Они ходили вдвоем. Среди камешных стен Ольгин голос звучал сказочно низко, она пела украинские, из опер, и удивительно хорошо один романс: «Не уходи, побудь со мною!» Глаза северяпок, блеклые, не видны ночью, но украинские, черные — светятся. И в них было сострадание, постоянное, с первого дня. А за что было его жалеть? Он здоров, могуч, верил в себя, ничего не боялся: на набережной поколотил однажды сразу троих моряков, пьяных греков. Но вот тогда — в первый год их жизни — она его непрерывно жалела. У нее это слилось: жалость, гордость им — тоже непонятная — и какая-то совершенно слепая, безответная преданность. Сразу была готова бросить дом, отца, все самое дорогое, фортепьяно, ноты, сестру, и — куда угодно, за ним. Тесть, умный хол Яхненко, сказал однажды не то смеясь, не то со скрытой родительской горечью: «Ну и любишь ты своего карбонара!» Это и было и есть самое тяжкое — потому что истинное.

Мать, которая не слишком-то Ольгу привечала, признавала ее худой хозяйкой, называла барыней, косоручкой, все же отдавала должное: «У нее без тебя жизни нет». И когда перед вторым арестом все как-то напряглось, он стремился в Одессу, Ольга протестовала, плакала, умоляла прекратить, пожалеть — мать чутьем поняла, что дело плохо, и пыталась уговаривать и мирить. Уж лучше с барыней, с косоручкой, чем с теми озорниками, страшными, от которых ее сыну одни папасты и беды.

Озорников мать в глаза не видела, если не считать Михаила Тригопи, который залетел однажды в Николаевку, когда кончили Керченскую гимназию и до отъезда в Одессу были свободные дни. Но Мипа тогда еще настоящим озорником не был. А вот отец прибыл как-то в Одессу по делам имения, где служил управляющим, и застал в доме сына шумное сборище. Недавно проишли внезапные аресты: Феликса Волховского, Жебуневых, Глушкова, Петра Макаревича. Никто еще толком ничего не знал. Прочисился слух, что выдает Трудницкий. Вот это и обсуждалось, с возмущением, изумлением, стараясь догадаться

и что-то себе объяснить. И у Андрея уже начались неприятности: в сентябре был обыск, допрос, выясняли — по доносу этой твари Солявниковой, соседки Петра Макаревича. — бывал ли он на собраниях у Петра. Удалось отделаться, убедить, что не бывал, ошибка, он благонамереннейший молодой человек, зять гласного думы и члена городской управы. Конечно, пмя Яхненко кое-что значило, Андрея отпустили в тот же день, но тревога не исчезала, наоборот — росла. В любую минуту все могло повториться гораздо более грозно. Ведь собрания на квартире у Петра действительно были, и он, Андрей, там витийствовал, просвещал рабочий люд, почитывал разные книжонки и брошюрки, за которые по головке не гладят, а дают, не глядя, ссылку, а то и крепость. Было, было! И с тем же Петром и Соломоном Чудновским книжки эти добывали из-за границы, через контрабандистов, и сплавляли дальше, на север — тоже было.

Ольга требовала тотчас покинуть Одессу, уехать в Городище, отец — не понимавший половины того, о чем толкуют, но чуявший главное, опасность сыну — звал с собой, пароходом в Феодосию, отсидеться дома.

Они не понимали! Ладно отец, человек далекий, но — Ольга! Она-то должна сообразить, что уехать из Одессы ему, оставшемуся на воле, было невозможно. Все нити, еще не оборвавшиеся, держались на нем. Он передавал, предупреждал, сообщал в другие города, писал шифром Ане Макаревич, жене Петра — она спаслась от ареста случайно, перед августом уехав из Одессы в Киев. И вот примчалась, взволнованная, и вместе с Машей Антоновой, женой другого арестанта, Волховского, сразу же — к Андрею, на Гулевою. Узнали, что Волховского перевезли в Москву, в Бутырки, и от Кравчинского уже пришла весть, что будут пытаться освободить. Ну и Маша, конечно, не могла усидеть в Одессе ни минуты.

Был в тот вечер Виктор Малинка, только что исключенный из университета за невзнос платы, были еще кто-то, двое или трое, жены арестованных. Разгром в ту осень был жесточайший, живых людей в Одессе не осталось (и все по вине этого подлеца или сумасшедшего Егора Трудницкого! Как в дырку из мешка вдруг просыпалась вся картошка.). Потом уж Андрею рассказали, что в Петербурге великие революционные умы, узнав об одесских делах, приняли своим синедрином решение: признать одесский кружок несуществующим.

В эту кутерьму и смуту, в разговоры о Трудницком, о том, как быть и куда податься, попал отец. Тут, конечно, были и вино, и карты, Ольга садилась к фортепьяно и пела без воодушевления — сосед, чиновник, обязан был полагать, что у господина Андрея Ивановича и его супруги Ольги Семеновны гости, веселье. Отец смотрел на все это с некоторой оторопью. Поражало его, что, когда одна молодая дама плакала и вытирала слезы, другая в это же время что-то рассказывала, смеясь, а его невестка Ольга сидела за фортепьяно и пела. Особенно удивительной показалась ему Аня Макаревич, франтиха, во всем парижском. Такой высокой белолицей красотки с длинными косами, властным, уверенным разговором — она перебивала мужчин, жестами приказывала замолчать, — бедный Иван Желябов в жизни не видел и не предполагал, что эдакие царицы бала могут быть в друзьях у его сына. Аня рассказывала о швейцарском житье-бытье, два года назад, в Цюрихе, куда Трудницкий увязался со всеми — кажется, был в кого-то несчастно влюблен, но тщательно тайл, в кого. «А может быть, Анечка, в тебя? — спрашивала Ольга. — Ведь в тебя все влюбляются».

Ольга цепляла ее весь вечер. Она ее не любила. Что-то неукротимое, женское, и как всегда у женщин: не просто нелюбовь, а скрытая ненависть. Когда бывали ссоры с Андреем — а они начались как раз той осенью, из-за его отказа уехать, — Ольга называла Аплю «твоя Розенштейн». Ей казалось, что между Андреем и Аней что-то непременно было, не могло не быть: ведь они знакомы с гимназических времен, а в Олином представлении ни одна женщина не в силах устоять перед Андреем, и он, в общем-то равнодушный ко всем, готов пойти навстречу любой. В тот вечер она говорила Ане всякие колкости, даже грубости, но Аня, умница, ее просто не слышала. На одном сошлись: Аня тоже считала, что Андрею нужно исчезнуть. Но это было невозможно. Ведь еще ничего не сделано. Не от чего бежать! У других было хоть что-то. Хоть чем-то могли гордиться. Кружки на рабочих окраинах? Перевозка книг? Все лишь в зачатке, в намеках, и вдруг — бежать. Начинать с такой похвальной осмотрительности.

Заплакал Андрюшка, оп чем-то тогда болел. Ольга пошла к нему со словами: «Забыли, забыли про нас! Как всегда...» Это «как всегда» было произнесено с нажимом. И Аня сказала тихо: «Я понимаю твою Ольгу, она слиш-

ком женщина. Она женщина *par excellence*¹, в отличие от всех нас. И она будет драться за тебя, зубами вцепится, не отдаст, и — права». Ему это не понравилось. Что значит права? «Права как женщина. Потому что ты — такой, как ты, понимаешь? — довольно редкое сочетание молекул. Таких без борьбы не уступают». Он сказал, что не понимает, зачем за него надо драться, будто он гроб господеи... Подумал: вот Маша, тоже женщина *par excellence*. влюблена в Феликса безумно, сейчас кипится в Москву в надежде взорвать тюрьму вместе с московским Кремлем, а ведь у них тоже ребенок, Сонечка трех лет, куда ее денут — непонятно, и сама большая, слабая, суставной ревматизм или что-то другое, тяжелое. (Бедная Маша, ее уж нет! В прошлом году умерла где-то в Европе, куда сбежала с горя, так и не освободив своего Феликса. Но попытку, отчаянную и чисто женскую по безумию и непрактичности, она все-таки сделала: наняла лихача, помочь брался Всеволод Лопатин, брат Германа, условились с Феликсом, его везли на допрос, он бросил в глаза жандарму пригоршню табаку, выпрыгнул из саней, схватили, борьба, лихач унесся пустой, и все кончилось конфузом и несчастьем.) Тогда, в октябре, он еще не мог знать всего этого, но по Машиному окаменело-слезному лицу видел, что так и будет. Знал, что она пойдет на все, до конца, когда другие станут колебаться.

И он подумал: а Ольга? Способна ли на такое, беззаветное, когда дело пойдет о жизни и смерти? Маша старше, у нее опыт, привлекалась еще по нечаевскому делу, но ведь в этой последней решимости, в жертве всем — собою, Сонечкой — не опыт и не теория, а любовь. То самое, о чем говорила Аня. Вдруг он спросил, как бы шутя: «Оля, ты меня станешь вызволять, когда меня, такого-сякого...» — и пальцами изобразил решетку. Ольга, засмеявшись, покачала головой: «Ну, пет уж! Пусть тебя товарищи вызволяют. Это их дело». Малинка куражился: «А что? Вызволим! Пустяки!» Аня же произнесла очень веско: «Я с тобой совершенно согласна, Ольга. Но вот Маша как раз и есть товарищ Феликса».

Потом, когда все ушли, это замечание поминалось долго, и Аня называлась не иначе как «эта ехидная Розенштейн». Отца очень интересовало, кто такая Аня, и Андрей шепотом объяснил: «Это наша атаманиша. Приказы-

¹ По преимуществу (*франц.*).

вает, кого казнить, кого миловать». Про Малинку отец тоже спросил, Андрей ответил: «А это главный наш палач». Отец обиделся. Вот после этого вечера, послушавшись всяких страстей, дурачеств и шуток, встревожившись, но толком ничего не уяснив, отец рассказал матери, что сын озорует, связался с дурной компанией, все больше бабы, разбойницы, голову ему закрутили.

А Ольга накалялась все сильнее ненавистью к Апе, хотя та вскоре уехала в Херсон, потом в Киев, но от нее приходили известия, ей что-то передавалось через Андрея, забыть о ее существовании никак не удавалось, а в ноябре того же, 1874 года произошел второй допрос с обыском в связи с Рафаилом Казбеком, петербургским студентом-технологом, которому Андрей отослал для передачи Апе шифрованное письмо. Вот это письмо и было захвачено у Казбека. Андрей сообщал важное: ту версию, которую гнул на следствии Петр Макаревич и которую Аня, в случае ее ареста, должна была бы повторить. Письмо до нее не дошло, но схватить Аню не успели, она скрылась.

После перехваченного письма Андрей уже не мог отрицать знакомства с дворянином Петром Макаревичем, но говорил, что на квартире у него не бывал, почти с ним не встречался и, более того — избегал встреч. Причина, которую Андрей после некоторого колебания высказал жандармскому полковнику Кнопу, была вполне натуральная и житейская: с юных лет он был увлечен теперешней женой Петра Макаревича, дочерью симферопольского купца Анной Макаревич, урожденной Розенштейн. И хотя он в данное время женат, старое чувство не угасло и причиняет боль. Письмо, отосланное через Казбека Апле Макаревич, было вызвано порывом давних лет, а разъясненный о лицах, упомянутых в письме, он по тем же причинам илтимного свойства дать, разумеется, не сможет.

Начальник Одесского жандармского управления полковник Кноп был человек мало проникательный, а может быть, не слишком злобный. Теперь пришли люди куда чудовищней. Четыре года прошло, а как все переменилось! Два громадных процесса, убийства, казни... Кноп поверил и даже как бы одобрил рыцарские побуждения Андрея. Поверил и тому, что Андрей избегал встреч с Макаревичем, и стало быть, не мог принадлежать к его кружку. Да и Соляникова, соседка Петра, по чьему ого-

вору Андрея схватили, признала, когда ей показали Андрея, что это совсем не тот человек, кого она видела на сходках у Макаревича и имела в виду под именем Желябова. Кажется, тут схитрил тесть: вдове посулили тридцатку. Ольга в те дни действовала решительно: помчалась в Городище, привезла отца, тот пошел к Кюпу, и полковник, под залог двух тысяч рублей, согласился отпустить Андрея на поруки. А может, главной причиной полковничьей снисходительности было другое: Трудницкий не вписал Андрея в свой кровавый реестр. Бес его знает почему! Виделись мало, не запомнил, забыл.

Так или иначе полковник любезно попрощался с тестем, крепко и многозначительно, даже с каким-то задорным подмигиваньем пожал руку Андрею, и они вышли на улицу. Отчетливо запомнился день: ясный, холодный, с сильным запахом осеннего моря, какой бывает в Одессе в ноябре. Медленно шли по солнышку, тесть был взволнован, дышал тяжело — в минуты волнений его астма усиливалась, — но старался шутить и никак не показывал своего истинного состояния. А ведь, пожалуй, был сильно напуган. Сначала говорил, как бы ободряя Андрея, что, мол, ничего страшного, пустяки, каждый порядочный человек в наши дни непременно должен побывать в кутузке — на самом-то деле ободрял себя, — а затем свел на любимую тему: единственное, за что стоит бороться и принимать муки, это расширение самоуправления и земство. Андрей и не думал спорить. И то и другое было близко его сердцу. Однако как бороться? Какими средствами? Только гласностью! Но не бессмысленной возней в кружках, в артелях, не пропагандой в народе — ибо сие болтовня и сотрясение воздуха. Андрей и тут не спорил, сам подходил к той же печали — только с другого края. Да, конечно, болтовня в народе ни дьявола не поможет, так же, впрочем, как и болтовня в верхах.

Тесть вскинулся: «Вы называете труды земства болтовней в верхах?! А кто добился постройки сиротского дома? Кто заставил пачать ремонт набережных? А назначение мировых судей?» Ольга ждала их в тревоге, а они спорили, теперь уж до крика, и дважды прошли мимо дома. Почему-то не было никакой радости от того, что гуляет на свободе, по солнышку, а мог бы сидеть под замком. Ведь все товарищи там, а он — только потому, что удачно женился... И не мог слушать спокойно яхненковских поучений. Две тысячи рублей залога и роль спаси-

теля еще не дают права... «Какое добро народу сделали вы вашей хвалепоной пропагандой, кпижонками и листками? — кричал тесть, багровея, размахивая короткими, панскими, по наследству от панов доставшимися ручками.— А мы, презренные либералишки, земские краснобаи, делаем добро реальное! А не метафизическое! Народу не пужны журавли в небесах, дайте ему синицу в руки». Андрей, озлившись, тоже орал: «Да вашего добра народ не заметил! Все это чепуха, капля в море!» — «Но если такую каплю во благо народа будет отдавать каждый...» — «Благоустройство тюремной камеры! Вы кладете половички на каменный пол и вешаете занавески на окна». — «А что вы предлагаете?» — «Разбить на окнах решетки, а не вешать па них занавески». — «Да как вы это сделаете, сударь мой?» — «Я еще не знаю!» И правда, не знал. И не знает, кажется, до сих пор.

За обедом спор продолжался, но менее воинственно, без грубостей: Ольга пугалась, когда отец с мужем начинали петушиться. Ей казалось, что может дойти до ссоры. Но никогда не доходило и дойти не могло: и после второй отсидки, и во время Балканской кампании, когда работали в комитете по организации добровольческих дружин, и на собраниях украинофилов, «Молодой Громады», всегда и везде между Яхненко и зятем обнаруживались разногласия, всегда они в чем-то упорно друг другу не уступали, но вражды не было, разрыва никто не хотел, потому что сохранялось какое-то взаимное, невысказываемое уважение. Пожалуй, так: старик ненавидит очень многое из того, что ненавидит Андрей. Но выводы из этой ненависти они делают разные. И кроме того, тесть не желал, чтобы Ольга и Андрей расставались. Мать Ольги и вся яхпенковская родня очень скоро решили, что произошла ошибка, но старик упорствовал до последнего, даже тогда, когда уж и Ольга сдалась. Все надеялся, что зять образумится. Кто-то слышал, как Яхненко с горечью говорил про зятя: «Ведь в любой стране с его умом, ораторским дарованьем он стал бы членом парламента, министром. А у нас? Загонят куда-нибудь за Можай, в ссылку, и будет там гнить...» За глаза-то рассуждал здраво, а дома, за рюмкой чаливки, плел в целях воспитания душеспасительную ахипею.

«Я, конечно, не марксид, хотя не чужд социалистских идей. Но революции я не понимаю! Что в ней хорошего? Ведь революция это *revolté*, мятеж, взрыв. А взрыв есть

уродство, противоестественность. Природа не терпит взрывов, она живет медленно. Взрыв есть адово исчадьє, землетрясєньє, пзверженьє Везувия». — «Но рождение человека — это взрыв, и смерть человека — взрыв. Накапливаются силы смерти или силы новой жизни, и происходит *revolté*. Шестьсот лет, начиная с татарщины, русский народ медленно превращался в рабов. Хотите, чтоб так же медленно шло раскрепощение?» — «Да бросьте, сударь! Рабы, татарщина — это мы любим вспоминать. А наше казачество? Запорожская республика? Да ведь такой вольницы мир не видел!»

Спорили, упрямлись, каждый оставался на своем — а ведь было ясно, что тут не просто прения под наливку, а набросок судьбы и жизни — и все-таки две тысячи под валог подписал, не колеблясь.

Через два дня после вызволения из лап Кюпоа Ольга встретила Андрея в слезах: «Ты меня обманывал! Ты мне лгал! Я была права, у тебя роман с этой жидовкой, с Анькой Розенштейн! Совести у нее нет: муж в тюрьме...» Откуда сие? Накануне приходил человек от Кюпоа и втайне расспрашивал ее про Андрея и Макаревичей, сообщив, что Андрей сам признался — даже в письменной форме, — что у него интимные отношения с Аней Макаревич. Полковник-то вышел подлецом. Но это значило и то, что там не успокоились и будут рыть дальше. Он объяснял, бесполезно — рыданья и слезы весь день. Терпения у него никогда не хватало, и он, разозлившись, ушел из дома и почевал на Молдаванке у знакомых столяров. Была тяжелая, гнусная ночь, без сна. Потому что понял: всегда это будет, вместо главного мелкое, вместо помощи обиды, попреки. Встретил на улице тестя, и тот, славный мужик, тоже стал корить вполголоса: «Голубчик, разве так делают? Вы же конспиратор, такие вещи надо уметь скрывать...» Смешной человек! Не стал ничего объяснять, махнул рукой: «Хорошо, в другой раз...»

Через неделю пришли жандармы, новый арест. Оказывается, генерал Слезкин — тот, кто раскручивал все дознание по делу о пропаганде, — не удовлетворился объяснениями Кюпоа и велел Андрея взять на цугундер. Ольга плакала, пока обыскивали, он был спокойен, гораздо спокойней, чем в первый раз, только раздражал плач жены, вдруг сказал: «Оля, я тебя очень прошу, перестань плакать!» Эта простая фраза подействовала удивительно: Ольга, будто обидевшись, перестала плакать мгновенно.

Он отсидел в тюремном замке четыре месяца, вышел в марте семьдесят пятого — опять под поручительство тестя и под залог трех тысяч рублей. Тесть являл знаменитое казачье упорство: бился за Андрея до последней пули. Уехали с Ольгой в деревню, в Крым. Сначала было что-то вроде блаженного медового месяца, ни тяжкий крестьянский труд, ни неустройство, ни темные вечера ее не пугали, она радовалась тому, что они вдвоем, нет вокруг коварных баб, зловредных приятелей, но потом, когда кончилось лето, наступила тоска. Вернулись в Одессу. Тут были бурные месяцы: украинofilы, Балканы, добровольцы, новые люди, надежды. Нет, слом произошел не в деревне, которую Ольга будто бы не смогла вынести — так она говорила своей родне, — и не позже, во время балканской трескотни и одурения, поездок в Киев, встреч с «громадянами», Драгомановым, суеты вокруг журнала «Громада», и даже не тогда это случилось — окончательно, — когда он встретился в Киеве с Аней. Провели вместе целый день, ночь. Петр был в Петербурге, где шло следствие по делу об Одесском кружке. Аня его жалела, говорила, что он долго не выдержит, слаб, немужествен, очень дурно влияет мать, которая проклинает всех его друзей, и вообще по складу характера он не революционер, а бухгалтер. Она говорила о нем, как говорят о добром знакомом, но не о муже.

Зато с восторгом рассказывала о «кневских бунтарях»: Стефаловиче, Мокриевиче, Костюрине, Дейче. Те затевали какую-то неслыханную авантюру, о которой Аня рассказала глухо: с помощью самозванства и подложных манифестов, будто бы от имени царя, поднять крестьянское восстание за душевой передел земли. Намечали для этого опыта какой-то уезд в Малороссии, кажется Чигиринский. Андрей про себя посмеивался. Он знал мужика лучше всех этих дворян и полудворян, преисполненных к мужику пылкой любви. Они-то знали мужика «по Бакунину», верили в то, что мужик всегда готов восстать против царя, что он смотрит на землю, как на божий дар, и одного этого достаточно для того, чтобы восстание вспыхнуло: нужна, дескать, малая искра. Ой, как все это было далеко от истины! Но отговаривать не брался, тем более, что никто с ним в открытую не советовался. Его знали тут мало, и только Аня, старая подруга, была с ним более откровенна. Она была окрылена важной миссией: поехать в Европу, достать части для типографского станка,

чтоб отпечатать «царские манифесты». Ехать надо было через два дня. И вот тогда, ночью — это была ее последняя ночь в Киеве, — когда они подумали, что все равно о них так говорят, тут ничего исправить нельзя, они правились друг другу, это правда, но никогда ничего не было, кроме шутливых поцелуев. однажды он послал ее на руках, но теперь они расставались, может быть навсегда, и кроме того они взрослые люди, отвечавшие за свои поступки, ему было двадцать пять, ей двадцать два, и они расставались, расставались, и самое главное — это бесконечное доверие, и вот потом, уставшие от разговоров, любви и некоторого страха, потому что могли внезапно прийти люди, они лежали молча, окно было открыто, и пахло ранней весной, ночной весной, и она вдруг сказала: «По-моему, самое большое счастье — полюбить человека, которому ты можешь всегда, во всем, каждому его устремлению сказать: «Да! Да! Да!»

Он понял: это мечта. Поняв, поразился: совершенно то самое испытывал он. Почувствовал внезапную, спокойную благодарность. «Может, еще будет у нас с тобой». Она согласилась: «Может быть. Если хватит нашей короткой жизни». Вот и все, и утром расстались. Возможно, если б он сразу примкнул к «бунтарям», к делу, которым она горела, он бы и стал для нее тем единственным, с кем делит любовь и смерть. О смерти они думали много. Ведь вся эта затея с душевым переделом, о которой они хлопотали, должна была кончиться столкновением с войсками и гибелью. Их — первых! Аня ни минуты не сомневалась в том, что все «бунтари» погибнут, но подыметесь восстание, охватит страну, сметет троп... Андрей понимал, что ни добра, ни пользы от этой провокации с благими целями не будет, да и, по правде сказать, была усталость от слишком страстной и бесплодной веры в близкое народное восстание. Нужно было что-то иное. Нет, не мог идти к «бунтарям» — там был обман, пахло печалью.

В начале лета встретил Аню в Одессе. Она недавно вернулась из Швейцарии, все устроила, добыла станок, шрифт, все это находилось теперь в Румынии, и Стефанович уже сидел в Кишиневе, готовясь принять драгоценный груз. Настроение у Ани было какое-то смутное. В Швейцарии посетила Бакунина, рассказала ему про план восстания с помощью «царского манифеста», но великий революционер почему-то не одобрил: «шитое белыми нитками скоро обнаруживается».

В Одессу Аня приехала с Костюриным, добрым малым, которого Андрей хорошо знал по кружку Феликса. Нет, никакой ревности к скуластому молодцу «Алеше Поповичу» не было. С первого взгляда на Аню было видно, что и тут не то. Она спокойно и как-то издалека интересовалась: «Ну, как ты живешь, мой милый? Как Ольга Семеновна?» И звучало это несколько свысока.

Она и Костюрин были теперь за чертой, дышали другим воздухом: нелегалы. Она уже и не Розенштейн и не Макаревич, а какая-то Иванова, Анна Михайловна. Про Петра не говорили. Про чигиринское дело — а они его, видно, не бросали — тоже молчок. Андрей свой, но не до конца, не до последней жилки. Аня даже подчеркнула это в полунасмешливой фразе: «Ты, конечно, как государственный...»

Нет, не Аня Макаревич со всем ее бесстрашием, и умом, и женской погубительной прелестью была причиной того, что с Ольгой — слом. Причина — в нем, в том, что он передумал, перестрадал за последний год и что сделало его другим человеком. Когда это происходит не вокруг, не в обстоятельствах жизни, а в самом человеке, тогда — конец и возврата нет. Он не мог вернуться к Ольге, так же как не мог бы вернуться к себе — прежнему.

В прошлом, семьдесят седьмом году привезли в Петербург, в Дом предварительного заключения: в июле, сразу после боголюбовской истории. Тюрьма еще кипела, протесты не отгремели, кто-то избитый и покалеченный, лежал в больнице, кто-то сидел в карцере, арестанты отказывались гулять. Он сразу попал в атмосферу безысходной борьбы, которая всегда идет в тюрьмах, большей частью скрытно, но иногда прорываясь наружу с дикой и отчаянной силой. Вот такой взрыв, извержение вулканической ярости произошло за несколько дней перед его привозом. В тюрьму явился градоначальник Трепов. Эти господа чрезвычайно гордятся Домом предварительного заключения: почему-то считается, что это лучшая тюрьма Европы. Бог их знает почему! Надзиратели говорили: «в нашей образцовой тюрьме, лучшей в Европе...» Для их собачьей службы тут были, вероятно, преимущества. Стоя посредине двора, можно было видеть окна камер всех шести этажей. Коридоры и лестничные переходы устроены так хитроумно, что надзиратели, ведущие арестантов, могут замечательно маневрировать, избегая самого по их людоедским законам страшного: случайных встреч

арестантов. Трепов вышел во двор в сопровождении тогдашнего заведующего тюрьмой Курнеева и увидел нескольких арестантов, гулявших вместе. Те поклонились, приподняв шапки. Трепов сделал Курнееву выговор: почему обвиняемые по одному делу гуляют группой? Политические преступники — а их громадное большинство в ДПЗ — по три, четыре года ожидавшие суда, сидели в одиночках и обязаны были гулять тоже в одиночку, каждый в своем загончике. Но, пользуясь некоторой снисходительностью коменданта Федорова (в июле он был в отпуске, его замещал Курнеев), арестанты обыкновенно перелезали через решетки загонов и гуляли по двору вместе. Услышав слова Трепова, один из гулявших, Боголюбов, сказал: «А я по другому делу».

Сказал спокойно, без вызова, и сущую правду: был привлечен не к делу о пропаганде, а к делу о демонстрации на Казанской площади. Той самой, в семьдесят шестом году, зимой, когда впервые было поднято красное знамя «Земли и воли», а потом разгорелась драка с полицией. Долговязого Боголюбова прижали тогда за другого парня, тоже великана ростом, который порядочно поколотил фараонов и благополучно исчез. Боголюбов-то (его истинная фамилия Емельянов) был чистый пропагандист, отнюдь не драчун, однако в отместку за того, исчезнувшего, его притащили в участок и зверски избили. Да шут с ними, натешились бы да выпустили, а то ведь какой драконовский приговор: за участие в демонстрации лишит всех прав состояния и на каторжные работы в рудники на 15 лет! И вот этот царень, двадцатипятилетний сын священника, изувеченный в участке и уже осужденный с невероятной жестокостью, позволил себе смиренное замечание: «А я по другому делу».

Трепов почему-то пришел в бешенство и заорал: «Молчать! Не с тобой говорят!» Узнав от Курнеева, что Боголюбов был осужден, распорядился: «В карцер!» Тюремные власти не сразу бросились выполнять приказание, и Трепов, сделав круг по двору, вновь столкнулся с длинной фигурой Боголюбова. И тут раздражительно настроенному генералу показалось крайним оскорблением для себя то, что Боголюбов — мерзавец, каторжник — не поклонился ему при встрече и не снял шапки. А Боголюбову, вероятно, представлялось достаточным один раз поклониться и один раз снять шапку, что было сделано несколько минут назад. «В карцер! Шапку долой!» — закричал Тре-

пов и замахнулся, чтобы сбить шапку с головы Боголюбова. Тот отпрянул, шапка упала. Видевшие эту сцену из окоп заключенные решили, что генерал ударил Боголюбова по лицу. В ту же секунду начался тюремный бунт. Сотни людей в бешенстве колотили в стены, ломали мебель, орали: «Палач! Подлец Трепов! Вон подлеца!», бросали вниз, во двор, все, что могло пролезть сквозь решетки. В ответ Трепов распорядился: Боголюбова выпороть.

Об этом громко, так, чтобы слышали все камеры, прокричал Курнеев, когда разгневанный генерал ушел со двора: «Что вы наделали? Из-за вас Боголюбова теперь приказано высечь!»

Бедный малый! Сначала избили до полусмерти, приняв за другого, теперь, в отместку другим, приказано высечь. Боголюбова увели. Триста заключенных бесновались в своих одиночках, тюрьма трещала, выла, стонала, надзиратели растерялись, но затем началась расправа: врывались в камеры и усмиряли кулаками, сапогами, а то прикладами. Ах, любят у нас молотить беззащитных! Особливо когда трое, четверо, а еще лучше пятеро на одного. Приходилось видеть на базарах, как бьют воров, цыган, а то и вовсе и не воров даже, а так, сумнительных.

И вот теперь Андрею рассказывали — на прогулках и перестукиваньем в «клубах», через стульчаки, — как шло усмирение. Многих «доусмиряли» до потери сознания, кого сволокли в больницу, кого в карцер. Леонида Дическуло, товарища по Одессе, по кружку Феликса, засунули основательно избитого даже не в карцер, ибо карцеров не хватало, а в какой-то темный, жаркий, как баня, подвал. весь пол которого был в экскрементах — Дическуло сам рассказывал, встретились во дворе, Андрей в первый миг даже не узнал Леонида. Недавний красавец, белолицый бородач, он превратился в измученного старика с бегающим, полубезумным взглядом. Все повторял: «Еще одни сутки, и я бы сошел там с ума!»

Феликс Волховский тоже попал в больницу. Его-то уж изуродовали совсем ни за что: на Феликса временами нападала глухота, так бывало и в Одессе, кажется, это велось за ним еще с первой тюрьмы десять лет назад. Когда началось буйство и тарарам, Феликс как раз был глух, ничего не зная и стучая в дверь по какой-то своей случайной надобности. Надзиратели не слышали: были заняты

пзбиеннями смутьянов. Тогда Феликс стал колотить в дверь что есть силы, и надзиратели, решив, что и здесь бунтуют, ворвались в камеру и принялись, ни слова не говоря, увечить. Вот уж, наверное, была сласть! Увечить оторопевшего, не готового к сопротивлению, да к тому же больного, слабого... Андрей не видел Феликса долго, тот был в больнице, потом его вернули в камеру — Андрей узнавал от других, — потом наладили связь, сначала перестукиванием через общих знакомых, по трубам «клуба», потом запискам через уголовников, Андрей передал все главные одесские новости, в первую очередь, конечно, про Машу и Сонечку, но Андрей не знал о них почти ничего, кроме того, что они за границей, и, наконец, встретились во дворе. Андрей, увидев, содрогнулся. Феликс сгорбился, стал совсем седой. Но улыбка осталась прежняя — мягкая, виноватая. И в рассказе о том, как его избивали и тащили в карцер, а он ничего не понимал, была не злость, а насмешливость. «И долго же я, дурак, добивался: за что? Меня бьют, а я спрашиваю: «За что? За что?» И бьют-то ведь, подлецы, непременно по голове, словно это ни на что не годная для человека посудина...»

Тогда же, во дворе — был теплый день: конец августа, нежаркое солнце, и не хотелось кружить по двору, потому что половина его была в тени, а хотелось просто на солнцепеке, даже не двигаясь, и они стояли возле кирпичной стенки — Феликс читал тихим голосом стихи, много стихов, но запомнились четыре строчки: «Мы погибали незаметно, как погибает муравей, ногой досужею бесследно раздавленный среди полей». И еще он сказал тогда, в первую же минуту, как встретились: «Ну вот, ты здесь! А ведь все началось — помнишь? — когда Соломон предложил тебе вступить в наш кружок и ты думал три дня. Мы еще смеялись: добросовестный малый, обсуждает вопрос серьезно. Ты уж нас прости! Завлекли мы тебя, злодей, в геенну огненную... А то сидел бы сейчас со своей Оленькой в саду да груши околачивал...»

Непонятно было: шутит, что ли? Всегда так: тихо, усмешливо, вроде спроста, а непременно будто иголкой кольнет. Не забыл, что три дня Андрей не решался! На всякий случай ответил шуткой: «Нет, братцы, я злодейства вашего ни за что не прощу. По гроб буду благодарить...»

Придя в камеру, вспоминал. Верно, верно, все и началось с того дня — четыре года назад. Пришел Соломон

Чудновский и спрашивает: «Будешь или нет?» На прямой вопрос и отвечать прямо. Соломон — странная личность, всегда улыбается, глаза хитренькие, бородка круглая, шапка круглая, вид обыкновенного жуликоватого еврея, каких в Одессе полно, на базаре гуртуются, в порту маклачат, делишки обделывают. И у этого хитрость, жуликоватость, все есть, только на другое направлено — на других, для других. Был он где-то с Нечаевым связан, по Петербургу, по студенческим волнениям, и, кажется, даже с Нечаевым воевал на сходках, потом учился в Вене, терся вокруг лавровского «Вперед», вернулся в Одессу — Андрей знал его еще по университетским битвам семьдесят первого года, кухмистерским, библиотекам — и вот вопрос: «Будешь или нет?» Соломон уже числился в кружке Феликса, там же, где Макаревичи, Андрей Франжолы и прочая братия. Андрей все это знал. От него не скрывалось. Но для того, чтобы окончательно с ним и — нужно было решаться.

Тут не просто студенческий быт, кассы, библиотеки, стычки с профессорами, тут задачи пошире, государственной мерки: просвещать народ, внушать рабочему люду идеи политической экономии по книжкам Флеровского, Лассалья, с дальним и определенным прицелом. Бакуини говорил прямо: «Народ надо бунтовать». Но — как? Какими средствами? Любыми! Все средства хороши, лишь бы скорей, неотступней, кровавей. Другой кумир, рассудительный полковник Лавров, бежавший из ссылки в Европу, учил оттуда: прежде чем бунтовать, надо и народ и себя подготовить к бунту. И был еще третий учитель оттуда же, из-за рубежа, бывший нечаевец Ткачев, призывавший к заговору и перевороту. Кружок Феликса был пропагандистского толка, склонялся скорее к Лаврову, к петербургским народолюбцам. Значит, другими путями, более долгими, тише едешь, дальше будешь, зато уж наверняка, но конечная цель все та же: бунтовать народ! Все это было ведомо, слышано, Андрей сочувственно одобрял... Но — едва началась семейная жизнь, Ольга ждала ребенка, а дома, в Николаевке, доживали век старики, и он был опорой, непрочной, дальней, но единственной.

Так и сказал Соломону: «Думашь, легко?.. Дай срок три дня, подумаю и отвечу». Соломон удивился: «А за три дня что-нибудь изменится?» Измениться должно было многое. Он только что устроился на работу: учителем в одну из школ на окраине. Деньги небольшие, но — жить

можно, и даже старикам посылать. Кроме того, смущала нелегальщина. Нет, не страх, не боязнь наказания — ничего похожего не испытывал, а какое-то недоверие и даже отвращение ко всему, что делается тайно. Это уж свойство характера. Враги были всегда, потому что отношения к людям скрывать не умел, но враги знали точно, что он — враг, и были наготове. Он объявлял, как Святослав: «Иду на вы!» Как опытный уличный гладнатор, он знал закон драки: бить первым. А тут предстояло готовиться втихомолку, таиться, лгать, выдавать себя за другого.

Он не боялся говорить то, что думает, на сходках: честно, в открытую. В Одессе его знали. Говорили, что он оратор, каких мало. И то, что университет окончательно закрыт для него и в июне пришлось забрать документы, было отплатой за его прямоту и славу бойца. Теперь пришлось бы все это оставить, из гладиатора превратиться в крота и рыть во мраке подземные ходы. И все же на третий день он нашел Чудновского и сказал: «Да!»

Потому что все, что можно было сказать в открытую, было сказано. Дальше начнутся повторения. Дальше — надо было превращаться в крота. Ольге он намекнул: «Как бы ты взглянула на то, что твой муж...» Ольга смотрела, не понимая, потом поняла, в глазах мелькнул панический страх, но она сдержалась и ответила достойно: «Я бы мужа все равно любила». Она еще боялась тогда ошибиться и потерять его. Ему было важно: ничего не прятать, быть прямым до конца. На первом заседании сидел смиренный, как пай-мальчик, и только слушал, присматривался, поглощал. Поразило вот что: он действительно ощутил, что эти несколько человек, невзрачные молодые люди, рассуждавшие на отвлеченные темы, есть часть чего-то огромного, охватившего всю Россию, а может быть, Европу и целый мир.

Почти все были теперь здесь, в ДПЗ. Он видел их через окно, а иногда — минутное счастье — встречал на прогулке. Здесь был Соломон, серый от малокровия, в своей старой ермолке, был Андрей Франколи, истинно русский итальянец, добрейшая душа, отважный толстяк, совершивший во время путешествия под конвоем жандармов прыжок из вагона, покалечивший его на всю жизнь; помня об этом прыжке, жандармы упрятали Франколи, как опаснейшего преступника, в Петропавловскую крепость и только недавно вернули в ДПЗ, ибо суд, как

говорили, был близок. Здесь был Виктор Костюриц, Алеша Попович, так блестяще освобожденный Михайлой и Аней в марте и снова схваченный в июле; был тут и Миша Кац, неудачливый бондарь, который — вот смех-то! — объяснял на следствии, что из учителя сделался бондарем по причине геморроя: чтоб не вести сидячую жизнь...

Первые недели три совсем не было сна, ночами напролет вспоминал, размышлял: случайно он здесь или нет? Чем дальше думал, тем тверже укреплялся: нет, не случайно. Иного быть не могло. Не Соломон его сбил тем осенним днем, не седой умница Феликс Волховский соблазнил, как прельстительная сирена, а — его собственная жизнь и все, что творилось вокруг. Не попал бы в кружок Феликса, ушел бы к киевским «бунтарям», к херсонским пропагандистам, одесским сен-жебунистам, ведь все кругом клокотало, топорицилось, рвалось куда-то, и избежать общей участи было немыслимо — так же, к примеру, как выбежать из-под ливня сухим... И все же — откуда пошло, где пачало? Ну, крестьянин, простолюдин, отец крепостной, дед и вовсе раб, вековые обиды, темная, печеловечья жизнь, но ведь оп-то, Андрей Иванович — с десяти лет вольный казак, керченский гимназист, окончил с серебряной медалью, потом студент юридического факультета, уважаемый молодой господин... Откуда же эта непобедимая боль, эта невозможность примириться?

Было так — никому не рассказывая никогда — вечером в дедовском доме, на птичьем дворе в имении Кашика-Чекрак, рыдала тетка Люба, унав на пол, прижимаясь к дедушкиным погам: «Тяшенька, миленький тяшенька, спасите!» Дед запер дверь. Снаружи кто-то бухал что есть силы, кричали, стучали в окно, Андрей видел бородастого громадного мужика, Полтора-Дмитрия, приказчика, которого все боялись. «Отворяй, скотина. Все равно наша будет!» — орал Полтора-Дмитрий, видимо, пьяный, но дедушка отвечал: «Я вас застрелю!» А стрелять-то было не из чего, Андрей знал, было ужасно странно и очень жалко тетю Любочку, мамину сестру, она швея, самая красивая из всей фроловской семьи, добрая, шила ему рубашки — и куда-то ее хотят забрать. Андрей закричал: «Тетя Любочка!», заплакал, кинулся к тетке, но бабка оттащила в другую комнату, заперла там. Он колотился, кричал, стучал кулаками в дверь: «Не трогайте мою тетеньку! Не трогайте мою тетеньку!» Слышал, как за стенкой шумели, тетя Люба вскрикивала, потом стало тихо, он выбрался

через окошко, побежал, увидел: Полтора-Дмитрия вел тетю Любу за руку, и она, такая маленькая рядом с ним, шла медленно и спокойно, с распущенными волосами, и даже не делала попытки вырваться, а с другой стороны шел конюх Степан, по кличке Черкес. Андрею было восемь лет, но он все понял: тетю Любу вели к помещику Лоренцову. Андрей слышал раньше, как тетя Люба жаловалась дедушке: помещик пристаёт, грозитя выдать за горбатого Миньку, если она не согласится к нему «ходить».

Что значило «ходить» к помещику, Андрей в точности не знал, но примерно догадывался: это значило п а с и л и е, нечто еще более страшное, чем избивание и даже с е к у ц и я, которой подвергся однажды дядя Василий, служивший у Лоренцова лакеем. Андрей слышал вопли дяди Василия, которого пороли на конюшне. С е к у ц и е й занимался Полтора-Дмитрий (рассказывали, что одного тарина заporол до смерти), Степка-Черкес и второй конюх. Особенно ненавидели все Полтора-Дмитрия, дедушка называл его почему-то «мамон» и говорил, что своей смерти «мамону» не видать: и верно, помещичьего холуя подстерег однажды другой желябовский дядя, брат отца, живший близ Кашка-Чекрака на оброке и считавший себя человеком полувольным, независимым, и в драке проломил голову холую. Но это было позже. А в тот вечер, когда тетю Любу тащили к Лоренцову и Андрей видел ее слезы, метавья бабки, слышал бессильные проклятья деда, дал себе клятву: когда вырастет, убить Лоренцова. Лоренцов был грек, высокий, толстый, с каким-то сонным, синего цвета лицом, всегда полузакрытыми в тяжелых веках глазами. Отец его, простой каменщик, делал надгробные памятники, разбогател, купил дворянство и право иметь крепостных, и вот теперь этот новый помещик — сын могильщика — должен был лишиться своих рабов, воля была близка, о ней все говорили, мечтали. «Хотят натешиться напоследки, — говорила бабушка. — Чуют, что власть их кончается, вот и сильничают впрок».

Приехали из Султановки отец с матерью; они работали на другого помещика, Нелидова, отец был управляющим имением, хотя все еще числился в оброке. Лоренцову принадлежало семейство дедушки, все Фроловы, и жить в Кашка-Чекраке, на птичнике, было куда хуже, чем в Султановке, но Андрей провел здесь почти все детство, любил деда и бабуку, особенно деда, и не хотел уезжать

к отцу. Да отец и не слишком звал. Он все учил тестя с бабкой, как жить. Мать с ним не соглашалась. Мать очень убивалась из-за Любы, убеждала отца и деда идти в суд, в Феодосию, а не то грозилась подговорить беглого солдата, чтоб он Лоренцову отомстил. Отец сердился: «Экие вы все, Фроловы, брыкастые! Ну чтоб ей, дуре, не сходять потихоньку, никому бы беспокойства...» А дед ему зло: «А вы, Желябовы, холопы!» Мать тоже на отца напускалась, тот ворчал: «Подумаешь, добро! Ты вот стоила пятьсот рублей и пятак медный, а за сестру и того не дали». Этим он часто мать корил, иной раз в том смысле, что дорого за нее плачено (что, мол, спишь? Поворачивайся! Пятьсот рублей стоишь!), а иной раз в том смысле, что дешева матушка, небогат товар: пятак медный. Цена была истинная, за которую помещик Нелидов по слезной просьбе отца и за его деньги купил мать у Лоренцова. И вот совещались семейно: как быть? Тетка Люба стинула куда-то, бабушка сказала: «провалилась со стыда». И Андрею представлялось страшное: тетка Люба забирается на гору, где пролом, куда бегать не велено, и нарочно проваливается.

Отец с дедом переругались, отец сказал: «От вашей дурости и гниете тут, в куряном дерьме». Сел, очень гордый, в бричку казенную, нелидовскую, забрал мать, и — уехали. А дед в тот же день пошел в Феодосию, жаловаться на помещика. Как они его ждали с бабушкой! Два вечера все сидели на горке, над почтовой дорогой, и смотрели, смотрели. Дед обыкновенно, когда возвращался из города, еще издали поднимал шапку на палке, и Андрей, увидав его, мчался навстречу версты две. А тут — нет и нет, на третье утро пришел, мрачный, согнувшийся. Только и сказал: «Рази с ими поспоришь?» Оказывается, Лоренцов прискакал к мировому еще раньше и объявил, что дочка птичника напилась пьяная, учинила драку, пришлось ее поучить, что оба конюха подтвердили. Клятва насчет того, чтоб убить Лоренцова, помпилась крепко и долго, лет до двенадцати, пока однажды в Султановке мать не сказала: «Все они собаки, мучители». И он задумался. Понял вдруг, что если убивать, то не грека с синей мордой, а кого-то другого, или уж — всех.

Вспомнилось, потому что — неистребимо, навсегда, как у старого солдата осколок гранаты, который мучит в дурную погоду, и потому еще, что — похожее. Лютая обида, оскорбление родного человека, и невозможность спасти,

отомстить. Ну что он, мальчишка, мог сделать громадному Полтора-Дмитрию или помещику Лоренцову? Если б еще у деда ружье исправное. Да и где пули взять? Топор поднять сил не хватит. Ночью, думал, пробраться к Лоренцову с ножом, заколоть, как кабана, ударом в шею, самое верное, но там псов полный двор, загрызут. И так же теперь, слыша рассказы про Трепова, про то, как надзиратели готовились к порке Боголюбова и нарочно на глазах арестантов складывали посредине двора пучки розог и жестами показывали, как будут пороть, ощущал ту же самую пытку: ненависть и бессилие.

Думал: а если бы с ним так? Генерал бы замахнулся и сбил шапку? И потом — с е к у ц и я, объявленная во всеуслышание... схватили за руки, поволокли, заголили — а? Жить можно? Нет, ничего бы такого не было. Генерала бы тут же убил, кулаком в висок, пускай стреляют, жить нельзя. Они ведь так считают: дворянина пороть не положено, а мещанина, крестьянского сына даже рекомендуется. Боголюбов-то из донских казаков, его можно. Так вот, попробуйте: кулаком в висок. Несколько дней на прогулках, в «клубах», записками на шнурках, которые выбрасывались из окон, «ковьями», обсуждался вопрос: как отомстить за Боголюбова, что делать с Треповым? Начальство струхнуло, было ясно, но одного крика и ломанья тюрьмы недостаточно. Мерзость не должна была сойти с рук. Предлагались такие планы: в какой-нибудь определенный день броситься и бить чем попало всех представителей администрации, которые появятся в камерах, или же написать заявление на имя градоначальника о том, что плохая пища, не разрешают держать инструменты, и, когда Трепов придет к кому-нибудь из написавших заявление в камеру, напасть на него, задушить или хотя бы изуродовать. Последний план предлагался старейшим революционером, шестидесятником Муравским, известным всей тюрьме по кличке Дед. Андрей двое суток бредил — входит Трепов: «Вы писали заявление?», покорно кивать, тихо подойти и — кипуться. Двое суток кулаки сжимались, лихорадило, будто заболел. Вдруг пришло сообщение: все прекратить, партия «Земля и воля» берет организацию мести на себя. Мечь грянула на всю Россию, но через полгода.

Нельзя забыть этот дом, бубнящий стенами, гудящий трубами, как улей, одиночество крохотных сот и одновременно чувство единенья со всеми и, значит, правоты, це-

сокрушимости. Каждый день отпадала жизнь, отмирала долею молодость — и все же, все же! Нигде не было таких людей, как там. Были знаменитости, о которых Андрей слышал раньше — Ипполит Мышкин, пытавшийся освободить Чернышевского, Войнаральский, сын княгини, бросивший все свои деньги на пропаганду, Рогачев, артиллерийский офицер, ставший пильщиком и бурлаком, легендарный храбрец и силач, Сергей Ковалик, сын полковника, мировой судья, замечательный конспиратор и умница (о нем рассказывал Дебогорий), и были никому не известные, прекрасные люди, какие-то изумительные женщины, старые друзья по Одессе и Клеву. Их согнали сюда, тщательно изловленных — да они и не хоронились особо! — по всей России, вина только в том, что слишком самоотреченно любили народ, мечтали к нему приблизиться, чему-то его научить и чему-то у него научиться. Ах, злодеи, разбойники! Их томило чувство долга. Они изнывали от желания отдать народу то, что задолжали сами, что задолжали их родители, их предки до седьмого колена. Ждала суда, например, дочь бывшего петербургского губернатора Перовского, юная, но, говорили, решительная и много успешная девица, ведущая родословную от графа Алексея Разумовского. А в предварилке сидел Коля Морозов, очкастый, невероятно худой юноша — Андрею показали его на дворе, — сын богатейшего ярославского помещика и потомок чуть ли не Петра Великого. Можно представить, какой величины долг накопился у этих господ!

Андрей посмеивался, когда слышал разговоры о долге. Аристократы, дворяне не вызывали доверия, ему казалось, что тут больше игра и дань моде. И даже, когда ему передавали слова Синегуба, подарившего рабочим деньги и мебель: «У меня деньги тоже крестьянские, мне их присылает отец, такой же мироед, как все помещики», Андрей морщился: уж больно театрально! Не деньги швырять, не мебель дарить, а — что-то другое. Но что именно, было пока неясно. Хотелось поговорить с Синегубом, но никак не удавалось оказаться вместе с ним на прогулке, а когда начался суд и свели всех в кучу — в первый день, — сразу возникло столько друзей и знакомых, что голова кругом и по-настоящему поговорить не пришлось ни с кем. И все же, хоть и посмеивался и морщился, а не уважать и не восхищаться не мог! Вся Россия была тут, все сословия, но главная сила: дети

дворян, священников, отставных военных, домовладельцев, купцов, мецан, коммерции советников, а преступление их заключалось в том, что в одно безумное лето они вздумали превратиться в сапожников, бондарей, пахарей, ткачей, акушеров.

Они наплевали на все, чем жили прежде, покинули дома, забыли родителей. Им казалось, что революция близка, содпальный взрыв неминуем: стоит только тронуть пучину народную, всколыхнуть ее, распатать. Где-то дают «Прекрасную Елену»? Граф Толстой написал новый роман? Это, что ли, про барыню, изменившую мужу? Шепот, робкое дыханье, трели соловья? Все вздор и невозможность — пока рабочие на фабриках по двенадцать часов, три губернии голодают, крестьянство обмануто, выкупные платежи непосильны, и грядет главное страшилище, сатана: капиталист. По камерам ходило стихотворение, сочиненное кем-то из арестантов: «Стук по стенам, стук по трубам, ночной разговор. Заседания по клубам, в воздухе — топор... Жизнь без дела и движенья, в камере мороз, и желудка несваренье, и понос, понос...» Вот и все, на что сгодился Фет.

Многие из тех, кто по три, четыре года сидели в ожидании суда, привыкли к этому смраду, к жизни без дела и движенья и, самое страшное — к бессмыслице тюремного прозябания. Нет, не сдались, не стали на путь «откровенных показаний», чтобы усладить судьбу — предателей из нескольких сот, привлеченных к процессу, оказалось лишь четверо или пятеро, подлец Низовкин, на чьей квартире в Петербурге собирались, Горинович, выдавший киевлян, ему уже отомстили Виктор Малинка с Дейчем и Стефановичем, облили серной кислотой, проббили голову, но тот, ослепший от кислоты, с развалившимся лицом и пробитым черепом, остался все-таки жив и стал теперь особенно страстным предателем, и еще двое или трое, — но для большинства эта мнимая жизнь стала бытом, самые упорные к ней приспособились и готовились показывать и дальше титаническую выдержку и слоновье терпение. Многие получали письма, посылки (Андрею никто не писал, лишь однажды к рождеству прислала открытку Ольга), к другим приходили на свидание жены, невесты, матери, женихи, с испуганными и печальными лицами появлялись иногда на галереях в сопровождении медных жандармских касок, и каждый раз, когда Андрей, проходя на прогулку, видел эти скованные тайным ужа-

оом, жалкие фигуры с в о б о д н ы х людей, спрашивал себя: хотел бы он, чтобы здесь появились мать или Ольга? И каждый раз твердо: нет, не хотел бы. Не хотел приспособливаться к этой полужизни, не желал ее длить: если бы, думал, пришлось тут жить еще год, он бы не вынес, разбил бы голову себе или надзирателю, чтобы уж сразу конец.

И еще: с новой, неиспытанной раньше силой понял вдруг, что счастье таких свиданий в одном — когда встречаются люди близкие беспредельно, понимающие один другого до конца. То, о чем говорила когда-то Аня. А если уж нет, тогда — лишние муки, ненужные слезы. Ну что, кроме страданий, принесла бы мать? А Ольга — ненавидела бы товарищей, проклинала бы всех...

...И с завистью, которую скрывал даже от себя, смотрел на людей, у кого было это счастье. Однажды увидел пару, он из камеры ДПЗ, она с воли, где находилась до суда на поруках. Получили право на свиданье, как жених с невестой: Тихомиров, желтый и больной на вид, сидевший уже четыре года, и Перовская, дочка губернатора, совсем молоденькая, с детским наивным личиком. Они шептались, сидя на скамейке близко, почти прижавшись друг к другу. Жандарм стоял в двух шагах и тупо глазел на них с хамским любопытством. Все равно по их лицам было видно, что счастливы. Познакомился он с ними позже, во время суда, но увидел впервые и отличил как-то остро, до боли, тогда, на галерее, когда шел с надзирателем вниз: они-то, конечно, его не заметили.

В октябре началось долгожданное, о чем мечтали, как об избавлении: суд. В первый день всю массу подсудимых длинной вереницей в окружении жандармов повели подземным ходом (образцовая тюрьма, все предусмотрено!) в здание Окружного суда. Двигались медленно, потому что было много больных, ослабших, иные только из лазарета, иные на костылях, но все были возбуждены, переговаривались, шутили, радостно узнавали друг друга, знакомились, передавали новости, и этот гам и взбудораженность продолжались в зале, где толпа подсудимых, человек около ста сорока, заняла места для публики, а нескольких, наиболее лютых, по мпению судей, преступников посадили на возвышении за особой загородкой, которое тут же называли «голгофой». Там, на «голгофе», Андрей впервые увидел могучего Рогачева, высокого, с бледным лбом и с каким-то необыкновенным, пронзительным

взглядом Ипполита Мышкина, угрюмо-сосредоточенного Войнаральского, белокурого, насмешливо улыбающегося Ковалюка, который своей спокойной, крепкой внешностью действительно напомнил мирового судью, еще какого-то худого блондина, который оказался Рабшновичем, и, к изумлению своему — Костюрина. Алеша Попович оброс бородой, его лукавая физиономия молодого казачка выглядела очень важно и сурово. Ох, и гордился он, видно, тем, что сидит не в зале, а там, среди именитых революционеров! То, что Виктора арестовали летом, почти одновременно с ним, Андрей знал из обвинительного акта, но ни встретиться, ни что-либо узнать о нем не удалось: Костюрина держали не в предварилке, а в Петропавловской крепости, как большого. Вот это и было удивительно. Что же на него навешивали? Кроме бегства из тюрьмы, еще и покушение на Горюновича, что ли?

И у каждого были какие-то сомнения, удивления, вопросы, поэтому зал непрестанно гудел, трепетал от жажды общения: после одиночек, после того, что мечтали хоть об одном собеседнике, вдруг этот океан друзей, можно разговаривать, смотреть в глаза, держать за руки. Первый день ушел на опросы: звание, вероисповедание, возраст, занятия, обязательная болтовня. Некоторые на вопрос о последнем местожительстве отвечали: «тюрьма». Другие, говоря о возрасте, отвечали так: «Когда был арестован, было девятнадцать, теперь двадцать три». На второй день Желиховский, злобнолицый гномик, едва видный за пюпитром, начал бубнение обвинительного акта, но никто не слушал, да и слышно не было: весь зал разговаривал.

Доносились иногда отдельные фразы: «Старались сблизиться с рабочими, преимущественно фабричными... и посредством возмутительного содержания книг, привозимых из-за границы... Приверженцы Бакунина полагали, что пропагандисты должны немедленно идти в народ, организовывать для революции... Лавров же признавал... Чудовищные учения Бакунина и Ткачева... С наступлением лета члены петербургских кружков...»

Смысл стараний Желиховского был ясен: представить две сотни привлеченных к делу людей, якобы связанные с ними другие сотни и, может быть, тысячи, как единое громадное общество. Уже и название было придумано: «Большое общество пропаганды». Во всех жандармских управлениях, полицейских участках были отысканы и собраны в кучу аресты, обыски, доносы, выражения недо-

вольства, факты и фактики, даже письма подозрительно-го содержания, полученные позорным путем перлюстрации; а в такой стране, как Россия, это добро, как известно, не переводится! Горы фактов, даже гигантские, были никому не нужны. Требовалось доказать существование общества. Ведь нет большего пугала для правительства, чем это слово: общество. Нашлись и истоки злодейской организации, они вели к кружкам Долгушина, Натансона и, разумеется, к зарубежным пропагаторам. И вот, сшитое из лоскутьев многомесячным, кропотливым трудом Желиховского, развертывалось перед сенаторами, перед кучкой родственников, немногочисленной публикой и гудящей толпой обвиняемых это пелепо-величественное одеяло: обвинительный акт. По мелочам, по лоскутьям оно было, может, и правильное, но все вместе — громадная ложь. Еще до суда в камерах обсуждалось: как вести себя на процессе? Многие полагали, что надо вовсе отказаться от судебного следствия и последнего слова, не поддерживать всего этого вранья, лживой комедии. Состав суда, адвокатов — всех к черту. Не признавать! Другие считали, что надо воспользоваться возможностями открытого суда, крикнуть на весь мир. Среди «голгофцев», сидевших в Петропавловской крепости, большинство было за то, чтобы не выступать, и только Мышкин заявил, что пусть с ним делают, что хотят, но он не откажется от последнего слова. «Я не могу молчать! Как хотите, а я буду говорить,— твердил Мышкин.— не могу не сказать подлецам всей правды о них самих. Позвольте мне всего раз, всего одну речь...»

Он набросал будто бы речь на клочке бумаги, набросок ходил по рукам в крепости, обсуждался, дополнялся. Все это под секретом рассказал Андрею Феликс Волховский, которому сообщил Дед, Муравский, и теперь Андрею были понятны напряженно вытянутая фигура Мышкина, его особая бледность и то, с каким вниманием он слушал Желиховского и следил за всем, что происходило в зале. Казалось, он ждал минуты, чтобы вступить в дело. Андрей не мог оторвать от него глаз. Этот человек, всего на три года старше, а сколько успел! Сын военного писаря, он сделал блестящую карьеру, служил топографом при Генеральном штабе и был известен военному министру как отличный топограф и стенограф. Кто-то говорил, что он стенографировал печавевский процесс. И вот все похерил, военную службу бросил, устроил в Москве

типографию, где успел нашлепать порядочно нужных книг (Андрею кое-что попадалось), дело было налажено, брошюровали в Саратове, вскоре, разумеется, провал, бегство за границу. и новая идея: освободить Чернышевского! Приехал в Вилуйск под видом жандармского поручика, в мундире, попался, бежал, отстреливался, был схвачен, закован в кандалы. Такие люди, как Мышкин, не просто вызывали уважение, они заражали какой-то свирепой жаждой жизни, борьбы. У Андрея даже кулаки сжимались, когда смотрел в белое, нервное лицо Мышкина.

«И я бы так же! И я бы не стал молчать! Если уж все равно». О своей судьбе думал без волнения. У него и подобия таких угроз, как у Мышкина, не было: ведь ничего нового у них не набралось, все тот же донос Соляниковой насчет посещения квартиры Макаревичей, письмо Апе через Рафаила Казбека.

В первый же день встретился с Петром Макаревичем, которого привели из крепости, и они сидели вчетвером вместе: Андрей, Петр, Феликс и бледный, совсем хворый, с рукой на перевязи Андрей Франжоли. Феликс и в Одессе четыре года назад выглядел болезненно и старообразно, всегда был полуседой, сутулый, но ведь Франжоли был красавчик. Петр необыкновенно похудел, как-то изжелта потемнел лицом, был мрачен, желчен и все шептал Андрею: «Дело мое дрянь... Я чувствую, будет каторга...» Андрей угадывал что-то больное, скрытое, какую-то неясную зависть к себе — только со стороны Петра, одного Петра! — ибо ему каторга вряд ли грозила, но не обижался, не удивлялся. Все одинаково молоды, у всех разрублена жизнь. То была даже не зависть, а печаль по этой жизни, просто печаль. Петр почему-то ничего не спрашивал про Одессу — впрочем, ему многое мог рассказать Костюрин — и только на второй, кажется, день вдруг сказал: «Я получил известие, что Аня в Париже».

И прошел еще час или полтора — на трибуне длилось чтение акта, гудел какой-то лысый сенатор, — и Петр, наклонившись к уху Андрея, сказал тихо: «Ты знаешь, я очень долго думал: хорошо или плохо то, что Аня меня не любила? Не возражай, не надо. Я догадывался и раньше, но за три года все стало ясно. Ведь почти никаких вестей, не рвалась сюда, ничем не рисковала, чтобы хоть как-то... Я уж не говорю — как Маша, которая сделала несчастную попытку...» Андрею хотелось сказать: «Аня рисковала не здесь, а там. И рисковала отчаянно», но

промолчал. Он понял, что — невозможно. Ему доверялось самое горькое, что наболело за годы, и, может быть, так откровенно лишь потому, что Петр чувствовал — и у него чем-то похоже. Но у него было все-таки иное. Петр сказал: «Я вот к чему пришел: это хорошо. Это прекрасно. Потому что, будь не так, было бы невыносимо страдать, зная о других страданиях. А так — вдвое легче. А? Ты согласен?»

Андрей посмотрел сбоку и по горестно обгорелому лицу, померкшим глазам понял, что страдания были невыносимы и — еще продолжают. Он сказал: «Да, согласен». И вспомнились слова Анн, очень спокойные: «Он не выдержит. По характеру он не революционер, а бухгалтер». Что это значило — начнет выдавать? Сломается физически? По глазам Петра прочитал: тоска смертная. Он не был возбужден, как все вокруг, не принимал участия в спорах, шушуканье, выработке общей линии, сидел неподвижно, в то время как другие непрерывно менялись местами, кого-то искали, передавали записки. Некоторые умудрялись кидать записки даже за барьер, на «голгофу». Петр ожил немного и с напряженной гримасой стал слушать, когда сенатор читал одесскую часть. «А в июне 1873 года Макаревич поселился вместе с Франжоли у сапожного мастера Свечинского...» Дальше описывалось — с мерзкой полицейской дотошностью, — как раскрылась вся история с перевозкой книг.

«Старокопстантиновский еврей Мовша Шмулевич Сима, — читал сенатор, выговаривая несколько брезгливо, но отчетливо трудные еврейские имена, — содействуя проскуровскому исправнику в деле розыскания лиц, занимающихся ввозом в Россию через австрийскую границу запрещенных книг... вошел в сношения с Иос Эллером (он же Кантор), который и предложил... Сима, действуя по поручению исправника, согласился и условился с Эллером, чтобы книги были доставлены ему за пять верст от границы...»

Было странно слышать изложенное таким коровьим языком описание той незабываемой ночи, когда Сима заманил Соломона Чудновского в ловушку — стояла лунная, слабо морозная январская почь, вернее начало ночи, Андрей и Петр ехали в пролетке следом за извозчиком Соломона, тот как будто все предусмотрел, выведал о Симе все возможное, предупредил подлеца, что в случае чего его пристрелят, как собаку, документы у него были

в порядке. отличная фальшивая борода, и вот он несся куда-то в темноту на окраину, где Сима должен был передать книги, петлял чернейшими переулками, вдруг исчез, Андрей и Петр остановили пролетку на углу переулочка и услышали крик: «Кончено!» Соломон успел предупредить, они умчались, спаслись. А Соломон — он сидел рядом и слушал казенное изложение своих подвигов с обычной хитровой улыбкой, — с того января семьдесят четвертого пошел гулять по тюрьмам.

Одесскую часть все одесситы слушали, разумеется, со вниманием, но Соломон непрерывно комментировал и острит. Когда шел рассказ о квартире Макаревичей, где собирались подозрительные лица, одетые мастеровыми, и где, по свидетельству доносчицы Соляникова, во время собраний была такая тишина, что она, Соляникова, подумала — не делают ли там фальшивые ассигнации, Соломон шептал: «Феликс, признайся, таки немножко печатали? Немножко баловались купюрами, а?» В общем, было довольно весело, и даже история предателя Трудницкого, гадкая сама по себе и еще более неприятная от того, что читалось его «предсмертное объяснение», не могла испортить настроения: какой-то бесшабашности и первого веселья. Сенатор читал о том, что дворянин Георгий Трудницкий окончательно разошелся с кружком, когда понял, что только резня была у всех на уме («Резать, резать хочу!» — шептал Соломон, делая зверское лицо абрека, отчего все прыскали со смеху), и считал своим долгом рассказать о планах своих бывших единомышленников, выступить с показаниями на суде и затем лишить себя жизни. Таков был благородный план психопата. Однако, не силах дожидаться окончания дела, он лишил себя жизни весной 1876 года. Соломон пропел вполголоса: «пам-пам па-пам!» — начало траурного марша.

Петр оборвал раздраженно: «Перестань паясничать! Ведь мы накануне каторги!» Потом читалось про Андрея: «Желябов, исключенный из Новороссийского университета... знал лишь одну Анну Розенштейн (Макаревич), которую встречал несколько раз на улице... Евгения Петрова, на имя которой Желябов просил адресовать ему письма в Одессу, оказалась вдовой поручика Окуньковой, удостоверившей при следствии, что Желябов в сентябре 1874 года просил у нее позволения пользоваться ее адресом для любовной переписки...»

«Какая славная женщина! — юродствовал Соломон.—

Главное, сказала ведь истинную правду!» Андрей перехватил взгляд Петра: тяжелый.

Сенатор читал: «Владимир и Сергей Жебушевы, Франжоли, Макаревич, Кац, Голиков, Дическуло, Ланганс, Виктор Костюрич и Желябов виновными себя ни в чем не признали...» Чтение акта закончилось лишь в пятом заседании. Все были уморены, укачаны, казалось, эта пытка нудностью и гигантским количеством слов своего достигла: страсти улеглись, наступило уныние. Но прежде чем приступить к судебному следствию, первоприсутствующий Петерс объявил, что «ввиду тесноты помещения» все обвиняемые разбиваются на семнадцать групп по губерниям, и каждая группа будет судиться отдельно. И тут был миг вулканического пробуждения. «Нет! Никогда! Мы протестуем! — взорвались крики. — Недопустимо! Наши интересы нарушены!» Многие вскакивали на стулья, топали ногами. Особенно яростно протестовали те, что находились на «голгофе». Что это означало? Громадную отсрочку дела, все затягивалось на месяцы, на полгода, а выносить эту муку дальше не было сил. В зал вбежали жандармы с саблями наголо. Подсудимые повскакивали с мест, какие-то женщины из публики вскрикивали, рыдали, было похоже, что там истерики. На «голгофе» поднялся Мышкин, и его голос, необыкновенно сильный, прорезал весь этот гам: «Даже ваши допосычки, — гремел Мышкин, — не могли дожидаться суда и покончили с собой! Наши товарищи умирают! Сходят с ума! Вы трусы! Боитесь судить нас вместе! А зачем же эта комедия обвинительного акта? Вы боитесь своего вражья!» Желиховский куда-то исчез, сенаторы бессмысленно топтались вокруг стола, вдруг было объявлено: заседание закрыто. Жандармы, все еще держа над головами сверкающие сабли, теснили подсудимых к выходу. «Отказываемся принимать участие! Не отвечать! Не придем! — раздавались голоса. — Никто не должен являться на шемякин суд!» И только два человека, пять дней сидевшие от всех поодаль, шли в хвосте толпы с равнодушным видом: предатели Низовкин и Ларионов.

На следующий день вызвали первую группу, петербургскую, «чайковцев»: почти все отказались принимать участие в суде и были тут же приведены обратно в свои камеры. 10 ноября пришла очередь Андрея. Он также заявил Петерсу, что в знак протеста против действий суда отказывается принимать в нем участие, и был удален из

зала. Тогда же, в коридоре, простался с Петром: того переводили из предварилки в крепость, где он сидел до суда. «Если увидишь Аню... Я-то не увижу, между нами будет верст тысяч шесть... Скажи: все хорошо, все по-доброму, желает счастья. И скажи еще, что лучшее, что было в моей жизни — тот вечер в Сен-Серге, в горах, под Женевои, она помнит... А больше ничего. Ну, и — ...» В глазах были слезы, он потряс руку Андрею и ушел быстро. Конвойный ждал его.

Что можно было сделать? Как помочь? Обреченность была в нем самом, в Петре, он уже с этим смирился и так жил. Однажды в Окружном суде, когда слушали чтение акта, он сказал Андрею: «Знаешь, я придаю большое значение фамилиям. Фамилии даются неспроста. В каждой есть тайный смысл, надо только его раскрыть. — Он говорил серьезно, как что-то очень продуманное. Мелькнуло даже: не тронулся ли потихоньку? — Возьми, пожалуйста, ваших Иуд. От Трудницкого — большие трудности, от Гориновича — горе, от Низовкина — низости...» Андрей спросил, а что, по его мнению, означает фамилия Макаревич. Петр, подумавши, вздохнул печально: «Означает одно: куда Макар телят не гонял...»

Все время думал о каторге. И как накликал: получил лишение прав состояния и пять лет каторжных работ на заводе. По ходатайству суда, правда, каторга заменялась ссылкой в Тобольскую губернию.

До приговора пришлось ждать месяца два: разбирательство по группам двигалось медленно. В конце ноября прогремела речь Мышкина, которую почти никто не слышал в суде — ведь большинство протестовали и на суд не являлись, — но немногие свидетели, потрясенные, пересказывали с подробностями. Несколько человек пришли с Мышкиным нарочно, чтобы защищать его и не пускать жандармов на «голгофу», когда те бросятся затыкать ему рот. Рассказывали, с каким умом и искусством была построена речь, как спокойно, с достоинством Мышкин говорил ее, Петерс был растерян, несколько раз, но как-то неуверенно пытался перебивать: «Об этом вы можете не говорить» или «Прошу не употреблять подобных выражений», но Мышкин гнул свое.

«Ипполит сказал за всех нас! От имени поколения! То, о чем все мы думаем! Гениальный оратор!» — передавали восторженные рассказчики. Кто-то неосторожно изумился: «Подумайте только — сын писаря!» На него

тотчас обрушились: «Именно потому он и смог. Голос России! Как вы не понимаете?»

Мышкин действительно сумел сказать много: и о задачах социал-революционной партии, насчет того, чтобы на развалинах нынешнего порядка установить новый строй, близкий народным нуждам, и о том, что строй этот должен быть — союз независимых производительных общин, и о том, что мирным путем ничего подобного достичь нельзя, ибо у народа нет других средств, кроме бунта, этого единственного органа народной гласности. Это ведь замечательно верно! Нет в России другой гласности, кроме бунта... Он говорил о двух революционных потоках, в интеллигенции и в народе, и о том, что все движения интеллигенции есть как бы отголоски волнений в народе, и о том, что прославленная крестьянская реформа привела к тому, что более двадцати миллионов крестьян из помещичьих холопов превратились в государственных или чиновничьих рабов. Народ доведен до бедственного положения, до хронических голодовок. Когда крестьяне увидели, что их наделяют песками да болотами, да такими клочками земли, на которых немислимо вести хозяйство, да еще требуют громаднейшие платежи... «Источник всех революционных движений — чрезвычайные страдания народа и недовольство его своим положением».

Петерс отклонял Мышкина от общих разговоров и возвращал к судопроизводству: «Извольте вести вашу речь к тому, признаете ли вы себя виновным или нет?» Мышкин упорно не отвечал, продолжая свои разоблачения, затем он сделал заявление о незаконных мерах, которые применялись к нему во время предварительного ареста, о заковке в ножные кандалы, в паручики, о том, что ему не давали не только чаю, но даже кипяченой воды, ни разу не позволили повидаться с матерью. Петерс твердил: «Ваши заявления совершенно голословны!» Наконец, Мышкин сказал, что это не суд, а простая комедия или нечто худшее, более позорное... Петерс закричал: «Уведите его!» Жандармский офицер бросился к Мышкину, «гогофцы» не пускали его, он прорвался, схватил Мышкина, началась драка, другие жандармы кинулись на помощь, Мышкин кричал: «Более позорное, чем дом терпимости! Там женщины торгуют телом из-за пужды, а здесь сенаторы из-за чинов и награды торгуют всем самым дорогим для человечества!» Жандармы избивали Рабиловича, Столани, еще кого-то, кто защищал

Мышкина, самого Ипполита потащили к выходу. В публичке были крики, истерический хохот. «Палачи, живодеры!» Говорят, Желпховский крикнул: «Это чистая революция!» Мышкина увезли в крепость. Двадцать третьего января был объявлен приговор: Мышкина в каторжные работы на десять лет, так же, как Рогачева, Ковалика, Войнаральского. Еще несколько человек получили каторгу на меньшие сроки.

Андрей, как многие, был оправдан. Полгода сидеть в одиночке для того, чтобы услышать: не виновен. Некоторые сидели по два, три года и тоже, как оказалось, были невиновны. А кто же ответит за годы, вырванные из жизни? О, господи, твоя воля! Из тех российских вопросов, над которыми смеялся Феликс: «За что?» Никто не знает за что, и никому неведомо, кто ответит. Говорили, что всем оправданным надо срочно бежать из Петербурга, потому что правительство может хватиться и что-нибудь перерешить. Тоже достопримечательность времени: сегодня освободят, а завтра опять спадают для порядка. На другой день после объявления приговора — слышали его немногие, большинство, продолжая демонстрировать презрение к суду, остались в камерах — пронесся слух, что кто-то стрелял в Трепова. К вечеру узнались подробности: стреляла Вера Засулич, дочь капитана, двадцати шести лет. Ни к «Земле и воле», ни лично к Боголюбову, за надругательство над которым мстила, она не имела отношения. Стреляла в приемной комнате градоначальника, почти в упор, но только ранила, бросила револьвер и спокойно отдалась в руки жандармов, которые едва ее не убили.

Все слилось: освобождение, впервые в жизни Петербург, свобода пахла сырой угольной гарью, громадные, из темного гранита, дома свободно возвышались в морозном тумане, ехали свободные конки, в них сидели и свободно разговаривали люди, и одновременно — восторг перед неведомой девушкой, чувство почти блаженства. Она не смогла вытерпеть надругательства над другим. О, если бы все, если бы каждый так страдал! Потом уж рассказали: в Питер, с целью отомстить Трепову, приехали южные бунтари, кажется, Чубаров и Фроленко, но дело затормозилось, то ли не могли по-настоящему организовать слежку, то ли ждали произнесения приговора по Большому процессу, боясь вызвать озлобление властей и ответную месть товарищам. И вот

две девушки, жившие в «женской коммуне» на Английском проспекте, Маша Коленкина и Вера Засулич, решили взять дело на себя. Маша должна была стрелять в Желиховского, Вера — в Трепова, в один день. Желиховского не оказалось дома, и Маша в слезах от неудачи прибежала в «коммуну». Вера тем временем ждала своей очереди на прием к градоначальнику...

Какой-то господин в конке говорил: «Бедная паша Россия! Уж если девицы берут пистолеты и стреляют в лиц, обличенных...» Было непонятно, чем господин задет: то ли самим фактом стрельбы в лиц, то ли тем, что это берут на себя девицы, за отсутствием мужчин. Это последнее соображение немного, надо сказать, царапало совесть. А где же гордые бунтари? Знаменитые вспышко-пускатели? Где итальянские кинжалы и английские револьверы, которые эти господа носят при себе неотлучно наподобие кисетов с табаком? И Вера и Маша были связаны с «южными бунтарями». Андрей вспомнил, что Аня Макаревич что-то рассказывала ему про Веру Засулич, про то, что Вера случайно и кратко была знакома с Нечаевым, жестоко пострадала за это: два года тюрьмы, лучшие годы юности. И главный киевский «револьверщик» Валерьян Осинский знал, наверное, о памерении девушек. К тому же как раз в то время, в январе, он был в Питере. Почему же позволили им броситься в одиночку? Тут было много неясного. И одновременно с чувством радости и острого торжества — а все-таки есть высший суд, паперсики разврата, помните и трепещите! — было какое-то смутное ожидание. Этот выстрел был не концом, а началом. Начиналось нечто неизведанное. Андрей еще не знал, как к этому новому относиться, но отчетливо ощущал его приход.

Володька Жебунев тащил Андрея в дом, где можно было побыть день или два перед отъездом в Одессу или хотя бы узнать адрес, где можно остановиться. Доехали конкой до Лиговки, подошли к громадному, со множеством подъездов, дому Фредерикса, взбежали на второй этаж. В квартире было полно людей. В одной комнате что-то пили и ели, в другой стоял дым коромыслом, шел жаркий спор, в третьей лобастый бородач, бурно жестикуюлируя, что-то рассказывал и даже изображал, чуть ли не прыгая посреди комнаты, и вокруг него стояли кружком и слушали. Он говорил о похоронах каких-то рабочих, которые погибли от взрыва на заводе, и о том, как поли-

ция не решилась арестовать ораторов, испугавшись толпы. Прошло это несколько дней назад. «Нет, нет, господа! Времена изменились! — восклицал бородач. — Полиция чувствует себя неуверенно! И, главное, изменилось настроение толпы!» И снова — о выстреле Засулнич, о подлости либералов, о том, что кто-то из «троглодитов» высказывал несодобрепие. Хозяйка квартиры Перовская была почти незаметна. Быстро и неслышно перебежала она из комнаты в комнату, кому-то что-то передавала, приносила папиросы, стаканы, вилки, кого-то, нагруженная одеялами, вела на кухню спать. И опять, глядя на нее, поразился: совсем девочка! Женща ее почему-то не было видно.

Подошла и спросила: «Вам есть где ночевать?» Он ответил: «Да, есть», потому что Жебунев уже договорился, они пойдут на Васильевский остров. Одно мгновение смотрел ей прямо в глаза и увидел, что глаза-то — не девочки. Темно-синий, глубокий и какой-то излишне твердый, даже несколько неприятный твердостью взгляд. Но вот улыбнулась как любезная хозяйка, и миг лицо стало милым, детским: «А то, пожалуйста, оставайтесь у нас. Место есть, одеяла найдутся». И шутливым жестом показала на пол. Позвали в другую комнату, она отошла. Второй разговор был, когда Андрей прощался. Перовская спросила: «Тяжело ехать домой? Почти все ваши друзья осуждены...» Он усмехнулся: «Что ж по этому случаю — оставаться здесь?» Ему почудился укор. Но затем понял, что никакого укора, а просто — она постоянно думала о тех, кто остался в крепости. Все веселились, радовались свободе, а она каждую минуту думала о тех. Сказала, что ей точно известно, что хотели заменить каторгу на ссылку, но царь оставил каторгу, и что Мышкипа, Войнаральского в Сибирь не отправят, будут умерщвлять в какой-нибудь из центральных каторжных тюрем. «Ну, мы еще посмотрим! — сказала она как-то неопределенно и рассеянно улыбнулась, подавая руку. — Привет Одессе! Это хорошо, что вы уезжаете сразу, правильно, благоразумно».

Жебунев ждал на извозчике внизу. Резко похолодало, дул ледяной ветер, и, когда ехали каким-то длинным мостом через Неву, Андрей продрог, даже стучал зубами. «Домой, домой! Не нравится мне эта Северная Пальмира. Вот уж действительно для троглодитов, не для людей...» Жебунев смеялся: «Э, братец, хитришь! Что-то

другое тебе не нравится, а не Северная Пальмира». Верно, другое: все эти петербургские умшики полагали, что только они обладают истиной в последней инстанции. Одни из них снова бессмысленно рвались в деревню, другие теперь уцвали на пистолеты. Да ведь ничего еще не было ясно, кроме того, что: надвигается новое. Через два дня он катился в вагоне третьего класса на юг, скоро снег кончился, пошли степи, он томился, пил пиво, никому ничего не рассказывал, думал о стариках, об Ольге, пароходы в Феодосию, наверно, не ходят, море штормит, слушал разговоры о ценах на хлеб, холере, московских пожарах, о том, что Одесса изумительно развивается, американский город, давно обогнала Киев, пассажиры менялись, все гуще звучала малороссийская речь, евреи трещали на быстром жаргоне, играли в карты, что-то пили из маленьких бутылочек, у поляков были надменные лица, но все равно видать, что голь перекатная, на перронах стояли бабы с детьми, то ли что-то просили, то ли торговали, мальчик с газетами бежал по вагону, крича про Бисмарка, моросили дожди, и, чем ближе к Одессе, тем сильнее пахло в вагоне чесноком. А в Одессе сверкало солнце, толпа кипела, все зачем-то кричали, куда-то шарахались, посильщики, чернобородые, с красными, зимними рожами, протискивались к чистой публике, а простой народ пер свою рухлядь сам.

Андрей остановился, глядел с изумлением: «Но ведь эти крикуны, торопыги — тоже парод. Нету ни конца, ни края. Вот и ныряй туда, в них, гребь, раскачивай. Много ли раскачаешь? Тут землетрясения нужны, чтоб горы рухнули, моря разлились...» Никто за всю дорогу в третьем классе, где ехала беднота, не говорил ни о Вере Засулич, ни о Большом процессе, никто, наверно, и не слышал таких фамилий: Мышкин, Войпаральский. Ольга, увидев его, вскрикнула: «Боже, какой худой!», и заплакала. Руки ее были в муке, и, обнимая, она оттопыривала кисти, не желая пачкать его пальто. От ее волос, лица, от всего мягкого и теплого, что он сжимал, шел жадный дух свободы, окончательной свободы, той, о которой он как будто забыл, но на самом деле не забывал никогда. И так он стоял, обнимая жену худыми руками, дышал, молчал и не двигался.

Был один день, вернулось старое, призрачное. Он любил жену очень сильно. Днем ходили с Андриушкой в гавань, вечером пошли к родственникам на ужин. Тесть был

мл., сразу предложил денег, острых тем избегали, никто из родственников не задавал бестактных вопросов, как будто Андрей вернулся не из тюрьмы, а из какого-то скучного путешествия. Единственный раз тесть не сдержался, когда кто-то, кажется, Тася, заговорила о Вере Засулич. Тася спросила: не еврейка ли Засулич? Андрей удивился: «Да вас, я вижу, сей вопрос мало интересует. Вы газет не читаете. Все газеты пишут: дворянка, дочь капитана». И тут тесть, побурев лицом, сказал сердито: «Нас сей вопрос не интересует, а возмущает, если угодно знать! Устраивать из России какой-то дикий американский запад — да что это за дело? Каждый сам себе прокурор? Чуть что не по нраву — бах-трах?! Да мы все друг друга перестреляем!»

Андрей не стал спорить: Ольга смотрела умоляюще. Сказал только, что в другой раз попробует объяснить обстоятельства этого происшествия, тут все не просто. Яхненко ворчал: «Не надо мне ничего объяснять, я отлично все понимаю...» Но — опасная тема заглохла. Когда ушли, тесть придержал Андрея за локоть и спросил вполголоса: «Вы — под надзором?» Андрей сказал, что не знает. Вероятно, под негласным. На самом-то деле знал твердо, но не хотел пугать. Тесть сказал: «Я вам советую уехать поскорее. На некоторое время исчезнуть, скрыться из виду совершенно! — В его глазах горела истинная озабоченность. — В городе беспокойно, Левашов всех подозревает в крамоле. Знаете что? Поезжайте за границу. Паспорта я попробую вам с Олечкой достать. Дам денег на первое время...»

Так как Андрей колебался с ответом, тесть с жаром разъяснял, по-видимому, давно продуманное и решенное на семейном совете: про какую-то родственницу, чудесного человека, она хорошо устроена, живет в Монтре. Андрей колебался только в одном: сразу отказать или, чтоб не огорчать старика, изобразить подавляемое желание, благодарность. Не было ни малейшей охоты бежать за границу. Это ведь именно бегство и в некотором смысле — предательство. Старик не знал, как часто на сходках, споря с учениями западных пропагандистов, особенно Бакунина и Ткачева, он говорил насмешливо: представьте, на лугу идет драка, свирепая, бьют кольем, убивают, а на другой стороне реки стоят мужики и кричат советы, как драться. «Левой бей! Правой лупи! Заходи сзади!» Яхненко понизил голос: «Если не удастся с пас-

портами, можно найти способ, через границу — понимаете ли? Есть надежные люди...» Андрей улыбнулся. У тещи был вид заправского заговорщика, правда, отчаянная решимость стояла ему волнений: он поблелел, даже покрылся испариной. Ах, как хотелось ему отправить зятя к тетушке в Монтре! И Наверное, безумно хотелось того же Ольге. «Нет, Семен Степанович, моя программа сейчас иная,— сказал Андрей.— Я поеду в деревню». — «Да? Как знаете... Вольному воля...» Тесть так расстроился, что сейчас же прервал разговор и отошел. На другой день утром был тяжелый спор с Ольгой, с рыданиями, просьбами, наконец с упреками в том, что по его вине разбита жизнь. Она не могла понять, почему нельзя уехать за границу. «Боже мой, но ведь можно и там заниматься революцией! — восклицала она в виде последнего аргумента.— И там есть рабочие, и там можно устраивать кружки!»

Он собирался в деревню не от того, что надеялся на возрождение старой мечты — хотя, если быть честным, мечта тянула, была убита не до конца, и, главное, не виделось чего-то замечательного и нового, — но просто от того, что стосковался по старикам, по крестьянской работе, по коням, земле. На юге уже пахло весной. Он не хотел ждать ни дня. В Одессе был разброд: кое-кто из разгромленного кружка Заславского пытался организовать рабочих, «бунтари» группировались вокруг Дебогория-Мокриевича и Ковалевской, но от них Андрей по-прежнему был далек (все они были нелегалы, но занимались рискованными мелочами), и была еще кучка радикалов вокруг Ивана Ковальского... Хотя сам Иван давно стал нелегальным и пропагандировал терроризм — Андрей знал Ивана несколько лет, уважал его и был с ним в приятелях, — но вся его компания, в которую входило несколько радикальных одесских дам, была настроена на старый народнический лад. Андрей вполне мог бы к ним примкнуть и придумать сообще что-нибудь вроде поселения, деревенской коммуны, хотя его смущала некоторая манлиовщина и прекрасодушие этих добрых людей: все они, как ему казалось, были мало приспособлены для работы «в пароде». Старая история! Все эти дети дворян, нотариусов, милостивые вдовушки, исполненные благих порывов... Саша Афанасьева, выпускница Смольного, в пенсне, тоненькая и изящная, как с картинки журнала «Парижское обозрение», говорила: «Я буду прачкой! Я буду стирать белье!» Как будто в деревнях кому-то нужны прачки.

Но он, наверное, присоединился бы к ним, если бы дошло до дела, однако — понял сразу, после первой же встречи с Иваном Ковальским — пока все ограничивалось разговорами на вечерниках с красным удельным вином. Ивана встретил на другой же день своего возвращения в Одессу. Встретил, конечно, на улице. Иван был человек уличный. Никто не знал, где он жил, спал, да и спал ли когда-нибудь. За год, что Андрей не видел его, Иван изменился мало: тот же неряшливый, «нигилистский» вид, нечищенные сапоги, плед на плечах, та же медведеватая, с легким прихрамыванием походка, длинные волосы и здоровенный, тугой румянец во всю щеку, каким отличаются одесские бродяги и биддюжники, проводящие дни на воздухе. Бывший семинарист и жизнеописатель сектантства (даже в «Отечественных записках» статейку тиснул), Иван был похож внешним обликом, да и, пожалуй, сутью, не на революционера, хоть и не расставался с громадным револьвером и кинжалом, а на беглого монаха, забулдыгу и чудака, вроде гоголевского Хомы Брута.

Когда-то вместе, в одном году поступали в Новороссийский университет, очень скоро Ивана исключили за невзнос платы. Иван поражал добротой, бескорыстием и какой-то особой способностью легко жить в совершеннейшей нищете. Когда выгнали из университета, он продолжал, как многие — как и Андрей, — вертеться среди студентов, на сходках, в кухмистерских, на бульварах, пропагандировал, спорил, предлагал сногшибательные идеи. Например: устроить кружок по спасению юных павших созданий, швей и портних. Зимой он заведовал буфетом в студенческой столовой, что было должностью общественной — получал лишь даровой обед в двадцать копеек, — и отличался крохоборческой честностью. Летом заведовал студенческой библиотекой, тоже бесплатно: лишь за то, что пользовался помещением библиотеки для ночлега. Часто встречали его в жару, на солнцепеке, бредущего с пачкой книг, где-нибудь в районе фонтанов, вдали от города. «Что вы тут делаете, Ковальский?» — «Да вот, несу товарищам...» Добросовестный книгоноша пер книги пехом верст десять! Потом он пропадал среди сектантов, вновь возник в Одессе году в семьдесят шестом, но был уже нелегальным, жил под чужой, какой-то польской фамилией.

Иван первый узнал Андрея, окликнул радостно и, оттащив его в переулочек — они встретились на людной Полицейской, между Греческим базаром и семинарией, — стал

расспрашивать о знакомых, о Феликсе, Макаревиче, о речи Мышкина и, конечно, о выстреле Засулич. Вид у него был какой-то расхлябанный, еще больше, чем всегда, не от мира сего. Почти не слушал, а говорил сам, взбудораженно, громко, нимало не заботясь о том, что могут услышать прохожие. «Вы не представляете, какое это произвело впечатление! Что ж остается нам, бедным? Стгелять, стгелять и стгелять!» — И он, хохоча, с лукавым видом похлопывал себя по животу, где бугрился револьвер.

Андрей не мог сдержать улыбки. Неисправимый Фра-Дьяволо! Где ты будешь «стгелять» из своего опереточного пистолета? Одесса, с ее солнцем, морем, свободой, лениво гуляющими людьми, казалась ему мирнейшим и счастливейшим местом, а одесские радикалы, даже нелегальные — милыми проказниками. Иван предложил пойти пообедать. Сказал, что знает недалеко от толкучего базара прекрасный трактирчик, где хорошо кормят за недорогую плату. Андрей видел: ему надо было что-то еще рассказать или даже показать, для чего улица не годилась, требовалось уединение. «Прекрасный трактирчик» оказался жалкой лавчонкой с крыльцом в две ступеньки и вывеской, наляпанной каким-нибудь базарным пьянчугой: изображались две жареные камбалы, огурец и по нижнему краю надпись «Белая харчевня». Что в этой харчевне было «белого», оставалось неясным. Внутри такая грязь, будто тут не мели, не чистили месяцами. И все же Андрей с удовольствием сел за грязный столик, огляделся, вдохнул чадный кухонный запах: впервые за полгода попал в харчевню, пускай даже в такой хлев! Подошел половой с салфеткой под мышкой. Андрей и на этого парня с тупым и вместе наглым лицом смотрел с удовольствием.

В харчевне не было ни души. Иван вытащил пз-за пазухи и показал Андрею то, ради чего они сюда и пришли: свеженапечатанную прокламацию с большим заголовком «Голос честных людей». Читать внимательно тут было не след. Андрей понял только, что это отклик на выстрел Засулич, стало быть, отпечатано днями, и пробежал несколько фраз насчет убийств шпионов, бегства из-под стражи и утверждения, что дух времени не тот, как прежде, и что настала «фактическая борьба социал-демократической партии с этим подлым правительством русских башибузуков». Вертелось на языке спросить: а что это за социал-демократическая партия? То же, что и социал-

революционная? И существует ли она въяве или же это лишь мечта нескольких удалцов? Иван поспешно рассказывал: сразу после известия о выстреле в Трепова было решено чем-то отозваться на это событие, «как-то себя обозначить», по выражению Ивана. «Ведь здесь было сонное царство! Эх, тяжело жить на свете...» — приговаривал Иван. Он собрал нескольких радикалов своего кружка, велел каждому написать текст, выбрали лучший — им оказался текст самого Ивана — и в тот же день напечатали, это было не далее как вчера. Типография у них жалкая, вся помещается в чемодане, в сигарных ящиках, кассы нет, и нужную литеру подолгу отыскивают в куче шрифта. А само «друкование» производится с помощью сапожной щетки или же попросту «филейными частями»: Иван привстал раза два и шлепнулся на лавку, изображая, как все это замечательно легко производить. Отпечатали уже две прокламации: одну про казнь разбойника Лукьянова, другую про недавно открывшегося предателя Краева. Но прокламацию про Краева, так же как «Голос честных людей», распространить еще не успели.

Половой принес две тарелки бурды, где плавало что-то капустное. Иван хлебал с жадностью, а Андрей вдруг почувствовал, что не может, — это было почти то самое, что давали в предварилке! Он спросил: «Вы что же, полагаете, что найден путь?» В прокламации не призывалось прямо «стгелять, стгелять и стгелять», но поступок Засулич приветствовался с восторгом. «А вы этого разве не полагаете?» — в свою очередь спросил Иван. Вся та недолгая встреча с Иваном, прокламация, харчевня, разговоры запомнились в малейших подробностях. И — какая-то мешкотная, пеуклюжая взбудораженность Ивана, его привычка повторять со вздохом: «Эх, тяжело жить на свете!», и то, что он куда-то спешил, ел с жадностью, и Андрею тоже было некогда, но успели поговорить о важном...

Ковальский сказал, что теперь многие считают, что путь найден. Но он-то как раз не уверен, что это так. Тут был Осипский, который яростно пропагандировал метод, как он его называл «дезорганизаторский». То есть убийства высших сановников, известных своей жестокостью к революционерам, казни шпионов, освобождение товарищей из тюрем. Но все это, кстати, вещи разные. Освобождать товарищей из тюрем можно и нужно, но сделать политическое убийство основной задачей партии —

нет уж, увольте! Обратитесь к Сергею Геннадиевичу Нечаеву. Главное то, что народ этого пути не поймет и не примет. «Вы согласны, надеюсь!» Андрей сказал, что давно был согласен, но события последнего времени начинают его несколько колебать. Ведь дело-то в том, что правительство не хочет идти ни на какие уступки. Наоборот: жмут все крепче, дают все туже. Как же противодействовать? Ну хотя бы, как ответить на экзекуцию Боголюбова? На расправу с теми, кто протестовал? На то, что почти семьдесят человек умерли, не дождавшись суда? На зверские приговоры, каторгу, ссылки — за что? Этих людей, которые в бешенстве хватаются за револьверы, можно понять. Ведь всякий человек, у кого есть хоть капля чести и способность сочувствовать чужому страданию... «Но все-таки? Ваше последнее слово?» — «Мое последнее слово... — Андрей раздумывал. — Зачем же эдак? Я ведь не подсудимый». — «А-а! — торжествовал Иван. — Не можете сказать прямо «Да»? То-то и есть! Кровь — дело серьезное. Вы же из мужиков, знаете, что станут говорить: «А, баре промеж себя «стгеляют»! В лучшем случае — безучастие...»

Иван говорил в тот день что-то мало одобрительное и о казни шпионов. Не в том смысле, что он против мести шпионам вообще, а в том, что определить, кто из этих господ достоин веревки, кто пули, кто, может быть, крепкого мордобоя или общественного презрения, бывает довольно трудно. Могут быть и ошибки. Между тем решения о казни принимаются скоропалительно, обычно тремя-четырьмя людьми юного возраста, и приговор, конечно, однообразный: смерть. Нечаев, помните, говорил точно: «Каждый шпион должен быть задушен, потом будет прострелена голова». Теперь все как будто отрицают нечаевщину, отрещиваются руками и ногами. Мы, мол, этого дьявола знать не знаем и ведать не ведаем, ая нет: кое-что знаете, помаленьку ведаете. Гориновичу даже и голову по уставу прострелили, только сукин сын оклемался. А ведь история с ним неясная. Не на сто процентов доказано, что следовало убивать, может быть — мордобоя достаточно...

«Зачем же носите револьвер и кинжал?» — спросил Андрей. Иван объяснил, что с единственной целью: собственной безопасности. Он твердо решил и повсюду об этом твердит: нельзя давать себя арестовывать. Надо сопротивляться! Когда революционеры покажут властям, что

они не кролики, которых можно брать голыми руками и сажать в мешок, а потом делать с ними что угодно, морить голодом, истязать, держать без суда годами, когда каждый при аресте станет сопротивляться оружием, стрелять, убивать, если нужно, обороняться кинжалом — тогда авторитет революционеров возрастет вдвое. Вот он выбил из Акция, на кинжал: «Oderint, dum metuant». Пусть ненавидят, лишь бы боялись.

«И кроме того, запомните! — ввухал Иван.— Вооруженное сопротивление есть дело святое. Это есть защита личности. Чего нам, русским, особенно и трагически не хватает, и тому есть исторические причины, это — умения защищать личность!»

Слушая тогда Королева...

шевский, которого Андрей должен помнить, один бывший юнкер, поляк, лишь месяц назад бежавший из херсонской тюрьмы, еще кое-кто.

Договорились, что Андрей придет завтра пораньше, часов в пять, чтобы сделать полный отчет о процессе. Расстались на улице, Андрей пошел к дому, на Гулевую, Ковальский зашлепал на Старопортофранковскую — башмаки его были стоптаны немислимо, каблуков не осталось, Иван не поднимал ног, а как-то вез их по земле. Бедный Диоген! Не знал, что последний раз идет по одесскому солнышку, дышит морем, запахом известковой пыли... Зачем-то Андрей сообщил Ольге, что собирается навестить Веру Виттея. Ольга и Виттенини, как называли

передает приветы. Расскажет, как они выглядели. Незвестно, вернутся ли они оттуда, из каторжных централов, из Сибири. Она не понимала. Нет, не понимала, и все. Еще раз убеждался в том, что непонимание не злобное, а глубоко натуральное, природное, победить которое нет возможности. Люди с этим рождаются и умирают. А другие люди рождаются с пониманием, и они-то, должно быть, и есть настоящие близкие люди. В ту ночь, когда он вернулся, рассказывал много часов подряд, она слушала с жадностью, со слезами на глазах, прерывая рассказ поцелуями и рыданиями, потому что страстно жалела его и всех его товарищей, а потом вдруг робко сказала: «Андрюша, но ведь Мышкин стрелял в казаков, правда же? Алешу Поповича тоже подозревают в убийстве? Но ведь есть закон и такие дела все-таки наказываются, правда же?» На эту ерунду он ответил: а ее собственный муж, который не убивал, не стрелял, за что просидел полгода в одиночке? Тогда она еще более робким и жалким голосом сказала: «Но ведь тебя оправдали же!»

Вот это и было то самое: которое победить нельзя.

Разговор насчет Виттев произошел уже после ужина у родственников и отказа ехать в Швейцарию. Он понял, что никакие разъяснения не нужны. Непонимание делало свое дело: все шло к концу. Он сказал, что узнал о пароходе: третьего февраля отходит «Трувор». Он поедет к старикам, в Крым.

Рано утром прибежал малознакомый студент, по поручению Дебогория, со страшной вестью: накануне, 30 января, поздно вечером — то есть через несколько часов после обеда в «Велой харчевне» — Иван Ковальский и члены его кружка арестованы на квартире Виттев, на Садовой. Ковальский сдержал слово: оказал вооруженное сопротивление. Кажется, убил жандарма. Другие тоже стреляли.

Подробности Андрей узнал позже. Много позже, когда был суд. Кто-то из близких кружку Ковальского оказался предателем. Полиции стал известен адрес Виттев. Агент проник в квартиру — в отсутствие Веры утром того же тридцатого, — обнаружил типографию в сигарных ящиках, которую только за день до того перенесли сюда, и нашел на столе кем-то предусмотрительно оставленную рукопись «Голос честных людей». У жандармского полковника Кюпа оказались в руках все улики. Он мог действовать паверняка. Для арестования преступников послал целый наряд жандармов, восемь человек со штабс-капитаном.

Обычно посылались два жандарма. Но тут знали наперед: и то, что захватят всех скопом, и то, что может быть сопротивление. У Виттен собрались человек семь, были две женщины. Сидели за столом, пили чай. Штабс-капитан Добродеев во главе своего отряда, да еще с толпой понятых в арьергарде, быстро занял опорные пункты квартиры, велел всем оставаться на местах, сел к столу и приступил к опросу. Паспорта у всех оказались в порядке. Добродеев переписал адреса и затем сказал, что должен каждого обыскать. Первым подозвал к столу Ковальского. Тот подошел нерешительно, путано отвечал, делая вид, что не понимает, что от него хотят, и вдруг выхватил из-под пиджака револьвер и звякнул курком: револьвер дал осечку. Штабс-капитан с криком «Жандармы! Жандармы!» бросился на Ковальского, повалил стол, опрокинулись лампы, в темноте раздались выстрелы — стрелял тот самый бывший юнкер, Свитыч, бежавший из херсонской тюрьмы, но стрелял, по-видимому, в потолок, для острастки жандармов. Ковальского повалили, отняли револьвер. Тогда он вырвал из-за пояса кинжал, ранил жандарма, штабс-капитана ударил в висок, но Свитыч и Виташевский кинулись Ивану на помощь в то время, как другие принялись жечь бумаги. Жандармы, испугавшись стрельбы, сбежали вниз. Дом был оцеплен. Снизу кричали: «Сдавайтесь!» Ковальский с кинжалом в руке пытался пробиться, ранил еще кого-то из жандармов, был схвачен, отчаянно боролся; остальные члены кружка видели с балкона, как его, связанного, избитого, втискивали в карету, и кричали прохожим, чтобы те помогли Ковальскому. Никто не помог. Ковальского увезли. Запертые в квартире долго ждали, пока прибыла рота солдат и начала правильную осаду. Прибыл, будто бы, сам градоначальник граф Левашов, руководил сражением, ругаясь при этом, как извозчик.

Иван в точности выполнил то, что обещал: сопротивлялся до последнего. Сначала стрелял, потом бился кинжалом, потом — голыми руками. Он шел на заведомую гибель. Был ли смысл в гибели? Об этом думал Андрей, стоя на палубе «Трувора» и глядя на отливную Одессу. Смысл был. Если сжимаются кулаки, когда думаешь об Иване, и злым парусом подымается ненависть, значит то же испытывают другие, и в этом — смысл. Иван знал, что предап, что за типографию и за «Голос честных людей» неминуема каторга. Если уж такой святой, как Иван, не

вынес, и поднял, и обагрил — что же это за мир, в котором досталось жить? Смысл этой нищеты, уличной, не стяжавшей и не желавшей ничего для себя несчастной жизни оказался в ее конце. Ибо ненависть — смысл. Когда-нибудь из этого смысла непременно что-нибудь родится: например, высокие многоэтажные дома, громадное множество домов. Он смотрел на удалявшийся город, и ему казалось, что там, у горизонта, в меловых сумерках толпятся тьмы и тьмы многоэтажных домов.

Где-то на набережной стояли Ольга с Андрюшей. Он вспомнил, как несколько лет назад отплыл отсюда в Крым, изгнанный и прославленный, толпа кричала «ура!», он был весел, полон надежд. Теперь провожали только жена и сын. Толпа на набережной приветствовала какую-то итальянскую певицу, уезжавшую в Ялту. Все это отодвигалось в глубь сумерек, покрывалось дымом, исчезало. Он никого уже не мог разглядеть. Ольга сказала, что приедет в Султановку в мае. Было ясно, что не приедет. Через трое суток сошел на феодосийский берег и сразу стал искать лошадей в Султановку. Почтовая карета шла на Симферопольский тракт только утром следующего дня. Нанимать бричку особо — не было денег, и он остался в городе, у старого рыбника Лулудаки, у которого отец всегда покупал рыбу для нелидовского имения. Старик был довольно добр и неглуп, но возбуждал неприятные воспоминания: был родственником того самого богача Афанасия Лулудаки, стипендией которого в Новороссийском университете (для молодых людей Феодосийского уезда) Андрей некоторое время пользовался. На втором курсе стипендию Лулудаки — 350 рублей в год, не шуточки — он почему-то получать перестал. Что там произошло, было неясно, а может быть, просто забылось: кажется, богач помер, а его душеприказчица решила найти деньгам другое применение. Но вот что запомнилось: чувство собственной жалкости в той борьбе за попранную справедливость, которую затеял отец. В Одессе Андрей, разумеется, и пальцем не шевельнул для того, чтобы вернуть стипендию. Готов был ночами работать в порту, на складах, добывая деньги, но не унижаться, не повторять проклятых слов «о звании моем и бедности, которые дают право...». Но когда приехал летом домой, отец тотчас пасел на него и потребовал действий. «Мы эту скрагу заставим раскошелиться! Позарилась! Покойник на святое дело положил, а ты, воровка, хочешь у детей украсть?» Весь гнев выплески-

вался дома, а в городе, куда таскались с Андреем, отец разговаривал просительно, слезливо, но с неотступным упорством. Ходили к мировому посреднику, в Феодосийскую дворянскую опеку, писали заявления, вытребовали копии обязательств и удостоверений из университетской канцелярии — атака на душеприказчицу, некую Марию Ивановну Лулудаки, велась грозная, но та не поддавалась. И вот останавливались тогда у рыбника, который был дальним родственником помершего богача и душеприказчицу ненавидел по каким-то причинам еще лютей, чем все лишившиеся стипендии. С этим стариком, Иваном Христофоровичем, отец даже советовался, как ему лучше действовать и больней Марию Ивановну ущемить.

Вспоминать все это муторно. Ведь не вынес хлопот, хождений в присутственные места, непременных жалоб на бедность и несостоятельность, поругался с отцом и сбежал в Одессу раньше срока.

Иван Христофорович заметил Андрея, который слонялся по базару, коротая пустой день, обрадованно окликнул. И пришлось пойти к рыбнику и ночевать у него. Как ни странно, в этом городе, почти единственном на побережье, не оказалось верных друзей. Гостиница была не по карману. Он возвращался домой, как блудный сын, голый, одинокий, без гроша. Если бы старый Христофорыч знал, какого бродягу и шелапуту он приютил на ночь! Но вид у Андрея был respectable, парочко приоделся, чтоб родителей ободрить: темное хорошее пальто, совсем еще не ношенное (год почти провисело в шкафу на Гуденовой), пиджак с отворотами, галстук бабочкой, шляпа, трость, кожаный немецкий саквояж. И в саквояже — ничего, кроме пары белья и нескольких книг. Что ж там было? Последняя книжка «Отечественных записок», Зибер о Рикардо, статистика Кольба, которую Андрей любил перечитывать, что-то по истории. Было, конечно, и несколько брошюрок возмутительного содержания, возить которые было рискованно, за любую дадут Сибирь, но уж очень Андрей к ним пристрастился, помнил, с каким успехом читались. Особенно «Чтой-то, братцы». Великая штука! На пяти страницах про все сказано: про то, как мужика лупят, сперва дубьем, теперь рублем, про землю и про Земский собор. В предварилке с автором познакомился: с тихим подслеповатым Шишко. Получил, бедняга, каторги десять лет.

И вот у старого рыбника Христофорыча...

Сначала ничего: пили вино, курили турецкие папироски, грек рассказывал про отца, тот стал приезжать в город реже, у помещика, господина Нелидова, дела плохи, хочет имение продать. Потом спросил: верный ли слух, что был какой-то суд в Петербурге и каких-то молодых людей царь опять в Сибирь сослал? Что-то слышал насчет Андрея, но, видно, не от отца. Отец, конечно, молчал. Андрей не любил лукавства и, видя, что старика разбирает безумное любопытство, ради которого и это приглашение, и молодое вино, и папироски, ответил прямо: так, мол, и так, все верно. Но — оправдан! Так что никакой опасности для купца первой гильдии нет. Старик смеялся: «Э, Лулудаки не боится! Турок не боялся, татарских абреков не боялся, холеры не боялся — теперь семьдесят лет, какой может быть страх...» Но затем осторожно принялся выяснять: чего же молодые люди хотят и во имя чего страдают?

Андрей обычно пользовался всяким случаем, чтобы говорить людям правду, объяснять, растолковывать. Мог говорить часами, спорить с десятью противниками и не уступать — так бывало на одесских сходках, до кулаков — мог терпеливо впускать истину, как тот «внушитель» из сказки, самым темным и непонятливым. Но рыбак, купчина и, разумеется, эксплуататор наемного труда, был неподходящим объектом для пропаганды. Кроме того — дойдет до отца, тот перелякается. Потому ответил кратко: «Во имя чего? Ну, скажем, во имя одного — справедливости».

Лулудаки опять смеялся: ха-ха, справедливости! Есть такие жещины, красивые и глупые, их все обманывают, и они всех обманывают. Вот это и есть справедливость. Худшие дела творились во имя справедливости: христиане резали турок, турки христиан, французы бомбили Севастополь, римские владыки жгли на кострах. Самое страшное зло на земле. Страшное тем, что его нет, оно не существует...

Что-то в таком роде говорил старый грек.

Значит, по-вашему, господин Лулудаки, бороться за справедливость нет расчета? Нет, нет. Совершенно никакого расчета. Разумеется, он молот вздор, но так как выпили целую четверть вина, разговор становился забавным. Мы, греки, говорил старик, — самые древние жители на этой земле, нас теснили дикие степные племена, помады, разбойники, генуэзцы, татары, потом вы, русские. Где же

справедливость? Может быть, надо бороться против вас всех? Ведь мы первые поселились на этом берегу! Нет, не надо. Мы хотим ловить рыбу в море, как две тысячи лет назад, вот и все. Потому что справедливость — то, что дает нам море и бог.

Ага, вы настоящий гегельянец! Вы оправдываете все сущее. Все действительное разумно, не так ли? Андрею было весело. Давпо не было так весело, легко и как-то заманчиво жить. Черт возьми, кроме справедливости существует еще много прекрасных вещей: например, море, вино, старики, пьяные разговоры! Итак, синьор Лулудаки, вы оправдываете любую действительность? Не понимаю, о чем вы там говорите, но, что бы вы ни говорили, я это оправдываю. Да, да, я оправдываю! Оправдываю, оправдываю!

И грек, смеясь и дрожа всем своим старым, пористым, как коричневая губка, лицом, подымал руки и взмахивал ими, благословляя что-то. Андрей радостно смотрел на него. Старик нравился ему все больше. Какой милый, веселый эксплуататор наемного труда! И он не глуп. Эти старики, прожившие трудную жизнь и кое-чего добившиеся, очень даже неглупы. Дорогой мосье Лулудаки, лет тридцать назад, когда вы были простым рыбаком, вам не казалось, что все в мире так уж замечательно. Но потом вы заплатили шестьдесят пять целковых, купили свидетельство второй гильдии — не так ли? — и решили, что мир стал немного лучше. А потом заплатили еще двести пятьдесят, стали купцом первой гильдии, оптовиком, и теперь вы уверены, что на земле все в отличном порядке.

Андрей хохотал, старик подливал вина и говорил грустно: нет, мои дела не имеют отношения к моим мыслям. Я говорю на опыте долгой жизни. Двенадцать лет назад я потерял жену, моложе меня, красивую русскую женщину — разве это справедливо? Один мой сын погиб в Сербии, другой живет в Петербурге и забыл меня. В старости я одинок, как Иов. Это справедливо? Ведь вся моя жизнь была для детей, а их нет у меня. Между прочим, это вино покупают для Ливадийского дворца, я знаю поставщика, он мой друг. И вот я говорю вам: справедливости нет! Ее просто нет в природе. Так как же, я вас спрашиваю, можно бороться за то, чего нет?

Они продолжали разговор утром. Старик провожал до почтовой станции, непрерывно щебеча и рассказывая

неглупые истории. Они расстались друзьями и крепко обнялись.

Отец побледнел, когда узнал, что Андрей гостевал у рыбака Лулудаки и проговорил с ним целую ночь. Да ведь старая жаба связана с полицией! Все выпытывал насчет Андрея у отца, не сам, конечно, а по поручению, и вот, поди ж ты — Андрея усмотрел, выловил! «Ах, ах, несчастье, несчастье! — бормотал отец, крайне огорченный. — Теперь исправник прикатит. Перед господином Нелидовым неприятности...» Верно, исправник прикатил на третий день. Очень строго: «Почему не явились и не отметились? По вашему положению, вы это хорошо знаете, обязанности отмечаться в течение двух суток, не позднее. Чем собираетесь заниматься?» Андрей сказал, что приехал помочь отцу по весне в крестьянской работе, а впоследствии намерен учительствовать. Исправник угрюмо заметил: «Ну это мы посмотрим! Надобно иметь разрешение».

Отец был напуган, мать потихоньку плакала, один дядя Павел, брат отца, сильно постаревший и ставший как будто горбатым, поглядывал на Андрея лукаво и подмигивал, как единомышленнику: «Мы, мол, с тобой люди лихие, этим не чета!» Дядя Павел в молодости бегал от помещика, шатался повсюду, чуть ли не до Сибири добрался, был усыновлен крестьянином, ходил от него коробейником, потом его открыли, как беспаспортного, и вернули помещику в кандалах. С детства помнилось, как помещик, господин Нелидов, топал на дядю Павла ногами и орал: «В Сибирь мерзавца!» Отец ужасно пугался. А дядя Павел — ничего, не трусил, говорил, что в тюрьме бывал, кандалы нашивал, не привыкать. Работал он тогда поваром, а теперь просто доживал дни на кухне. Вся эта жалкая, холопья жизнь — отец хоть и был управляющим, но холопьяго нутра не изжил, — и в детстве тяготила, а теперь сделалась вовсе невыносимой. Встретил два раза Нелидова. Тот невероятно распух, видимо, от болезни, едва ходил, перекатывая громадный живот. Когда-то сделал хорошее дело: первый объяснил Андрею гражданскую — не церковную, ту от деда узнал — грамоту и прочитал «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина. Взял Андрея с собой в Керчь, где жил тогда, и определил в приходское училище, из которого потом Андрей перешел в уездное. В общем, от Нелидова двинулось все Андреево учение. И осталась в душе, навсегда, как любовь к деду, жалость к матери, как сочувствие к слабодушному отцу, благо-

дарность к тому большому, с круглой, блестящей головой и громким голосом, всегда от него пахло сладким табаком, на животе болталась цепка, он властно хватал за руку и вел куда-то, от чего захватывало дух...

Теперь стояли и смотрели друг на друга, стараясь что-то вспомнить и узнать. Но ничего не могли узнать. Очень толстый, старый человек с отвисшей губой, тяжелым, хриплым дыханием глядел на Андрея холодным и большим взглядом. Смотрел долго, потом сказал: «Жалею, что когда-то учил вас грамоте», повернулся и ушел. В первый раз Андрей увидел его, когда уезжал в Кашка-Чекрак, к деду. Отец заложил бричку, сам взялся свезти: был рад, что сын уезжает! Нелидов, подойдя к бричке, сказал: «Такие, как вы, заставляют ненавидеть все лучшее, что дали России реформы!»

И в глазах — ненависть, истинная. Андрей опешил от внезапности, не нашелся ответить. Да и какой разговор? Кроме того, увидел согнувшегося, как бы ожидающего удара отца. Потом уж сообразил: было начало апреля, только что пришла весть об оправдании Засулич.

Так странно переменялось: Нелидов вовсе не деспот, мягкошляпный либерал, который и впрямь делал добро, глядел волком, ненавидел слепо, а скотина и насильник Лоренцов, которого Андрей хотел когда-то убить, встретил и разговаривал вполне благодушно. Впрочем, кроме баб и пьянства, старый пень по-прежнему ничем не интересовался. Наверное, и газет не читал. Поездка в Кашка-Чекрак удручила сильно. Дед был при смерти, одинок, несчастен. Бабушка умерла давно. Доживал дед в той же избежке при птичьем дворе на правах то ли божьего старичка, побирушки, то ли старой собаки, которую прогнать некуда и убивать жаль. Дедова невестка со своим новым мужем — настоящий ее муж, сын деда, пропал куда-то лет семь назад, Андрей его помнил — шкиляли и туркали старика, заставляли делать непосильное и ждали, когда помрет, чтоб завладеть избой. Они его вовсе не кормили. Иногда какую-нибудь малость деньгами присылала тетя Люба из Киева, где служила в прислугах, а то мать приезжала из Султановки, привозила чего-нибудь.

Андрей помнил деда высоким, рослым, со здоровой седой бородой, румянцем. Ходил он медленно, разговаривал не спеша и как-то очень горделиво, степенно. Все шурился старыми книгами, раскольничьими, в тяжелых перешлесах, и, как утверждала семейная легенда, библию

всю целиком прочитал дважды! Он и Андрея приучил к чтению церковных книг, заставлял учить наизусть, например, псалтырь. Шли в горы гулять или в лес за дровами, дед приказывал: «А ну, Фроленок, псалом какой-то!» И Фроленок барабанил без запинки, хоть и не понимал многого. Нравилось барабанить, потому что странно, задорно, иногда и страшновато звучало: «С тобою избодаем рогами врагов наших, во имя твое попрем ногами...» И всегда так: Фроленок, Фроленок, никогда Андрюшкой не называл. Гордился: фроловская кровь!

Потом много и часто думал о деду и вспоминал о нем. Потому что в старике воплотилось представление о том, что было надеждой, загадкой, мучило всю жизнь: русский мужик, что же он есть? Понять, какова суть его, Гаврилы Фролова, было то же, что понять себя, Андрея Желябова. Корень — там, и ветви тянутся из глубокой глубины, из тьмы темнущей, необоримой. Вспоминал с изумлением: откуда в нем, Гавриле Фролове, эта гордость несокрушимая? Ведь раб крепостной, во многих коленах, давно бы уж вся гордость переварилась да с кашей вышла. Худший из крепостных — из дворян! Из дворовых людей помещика Штейна (и второй дед, Желябов, из той же штейновской челяди). Ехали с помещиком из Костромской губернии в Крым, с долгими остановками, по-старинному, и где-то на Херсонщине то ли на Полтавщине Гаврила Тимофеевич нашел вольную казачку Акулину Тимофеевну, бабушку. А в Крыму, как говорила бабушка, помещик Штейн «опанкратился», продал своих крестьян кого куда, иных роздал дочерям в приданое. Так и попали: желябовское семейство к Нелидову, а Фроловы к грекам, сначала к Лампси, потом к Лоренцову. Бабушка вечно жаловалась, то в шутку, а то с истинной горечью, когда сердилась на деда: «И зачем это я пошла в неволю?» А дед дразнил бабушку трусихой, какая, мол, ты казачка, вороны боишься, и еще так: «Эй, Акуля, ты откуля?» И правда, бабушка жила в постоянном страхе, в ожидании бед, несчастий, вечерами прокрадывалась к окошку и прислушивалась, нет ли поблизости страшного Полтора-Дмитрия, приказчика и шпиона...

Все это — в давности.

Бабушка умерла, Полтора-Дмитрию пробили голову, тоже помер давно, а дед, усохший, с худым лицом, поредевшей и какой-то не белой, как раньше, а сивой бородой, лежал на полатях, ждал смерти. «Встать-то можешь?» —

«Могу». Поднимался медленно, накрывал плечи старым своим длиннополым сюртуком рыжего верблюжьего сукна, выходил, едва двигая ногами, на крыльцо и стоял там, качаясь, ноги гнулись, но — стоял. Не хотел помощи. Одна гордость и теплилась еще в ветхом теле. И у Андрея сжималось сердце, и такая тоска однажды взяла, не знал, что делать: выскочил из избы, увидел невесткиного мужика, схватил и затряс бешено: «Если ты, собака... моему старику!..» Мужик обмер от страха, повалился наземь. Да что можно сделать со смертью и старостью? «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались...»

Больше месяца пробыл Андрей со стариком, работал по крестьянству, вечерами разговаривал, ночами думал. Он чувствовал, как в его жизни происходит поворот, незаметный, но громадный, как звезды к лету поворачиваются все сразу, если не наблюдать внимательно, то ничего не заметишь, а если остановиться, поглядеть, подумать — тогда видно. Все как-то сдвинулось, куда-то сползло, и те звезды, что были наверху, скатились к горизонту, а наверх поднялись другие и заблестали. Надежды на скорый бунт, к которому призывал Бакупин — помер, бедный, так и не дождавшись ничего, кроме вздорной чигиринской затеи, — надежды эти угасли. Разбойники? Сектанты? Вольное казачество? Все было глухо, дремало или же было занято мелкою злобой, что довлеет дневи. Бунтари, величавшие разбойников истинными революционерками, мечтавшие о новом Пугаче и бегавшие по лесам в надежде встретить шайку душегубов, чтобы обработать их с помощью Прудоба, рассочились бесславно кто куда: одни в тюрьмы, другие за границу, третьи по домам. Разбойники продолжали помаленьку грабить обывателей, сектанты по гнездам своим бранили попов, а вольное казачество гоняло студентов и давило демонстрации. Все это переродилось и из силы превратилось в бессилие. Русская община? Дед Гаврила Фролов с его воспоминаниями о мирских сходах, о вековой правде мира? «Хоть па заде, да в стаде, отстал — сиротой стал». Было, было, сохранилось в преданиях, в драгоценном опыте: исконный славянский совет, свободная говорильня, право всех и каждого кричать свое мнение, то самое в е ч е, которое изумляло византийцев, высшее русское благо, раздавленное татарской пятой, и все же перемогшее татарщину, воскресшее могучей республикой, с колоколом на торговнице, с правом каждого звать в него, требовать суда и совета, и вновь

растерзанное своим же российским злодеями. Крестьянская община, говорил историк, есть сколок того утерянного рая, древней русской вольности. Народ зачем-то берег эту память. Так вот: вернуться в великую годину к своему идеалу, к жизни по закону и по правде. Но так же, как у древнего народовластья оказались слишком немощные мышцы для борьбы с железным Ивановым кулаком, так и община оказалась слаба — призрачно слаба! — для того, чтоб возлагать на нее хоть какие-то надежды в схватке с самодержавием. Она была тенью прошлого, музеем, где хранились забытые обычаи и печальные мечты.

И никто не хотел ничего другого! Когда Андрей прочитал одному умному, дельному мужику, с которым много беседовал об истории, о мятежах, происхождении крепостного права, статью из «Отечественных записок» насчет современных деревенских кулаков, которые обирают мужиков, сосут из них кровь, слушатель Андрея неожиданно разъярился: «Неправда это! Завидно им, что мужик на поправку пошел, вот и выдумывают про мужика!» Отлично знал, что правда, сам жаловался на местного мироеда, но в статье был скрыт намек на бунт, а это сразу вызвало отпор. Яков, невесткин мужик, с которым Андрей понемногу сдружился и которому объяснял про землю, про честный душевой передел, обрадованно воскликнул: «Вот бы хорошо получить землицы поболее! Принайму двух работников!..» Но и то, о чем толковал Лавров: медленное приготовление народа к социальному переустройству, выковка критически мыслящих личностей — не годилось, потому что затягивало все надолго, неизвестно на сколько поколений. А ждать долее нестерпимо! Гибли лучшие, народ дичал, тупел, и страшной угрозой вырастал кулак в деревне и капиталист в городе. Тургенев давно еще — когда угроза была лишь в намеке — сказал, что русский мужик носит зародыши такой буржуазии в дубленом тулупе, — что твой немцы! Они общину и пожрут, дубленые тулупы. И — страну разорвут, на куски растащат, дай им волю. Никакие умственные, интеллигентские силы не спасут общину от мироедства, ибо когда еще скажется эта долгая, муравьиная копотня, а тут — наскок, проворство, русские немцы окореняются не годами, а неделями. Яков с дедовой невесткой откупили у Лоренцова долю птичьего хозяйства и уже торговали яйцом и битой птицей в Керчи. Другому мужику, тоже бывшему крепостному, Лоренцов продал часть земли, бросовую, горы да буераки, а тот

затеял вырубать камень, дело пошло лихо, рабочая сила дармовая, бродяги и гольтепа стекались сюда, к теплу, со всей России, море близко: за два года обогатился неслыханно. Торопиться нужно! Иначе России — каюк.

Пока жил у деда в Капка-Чекраке, не знал толком, что творится в стране. Потом уж, в июне, встретившись в Одессе с товарищами и перечитав газеты, понял, что возбуждение и тревога одолевали многих. Каких-то успешных, решающих действий жаждали все: и революционеры, и охранители порядка. В феврале был убит еще один шпион, Никонов, в Ростове, и покушались на жизнь прокурора Котляревского. В марте братья Избицкие в Киеве оказали вооруженное сопротивление при аресте. В мае был убит кинжалом на улице жандармский офицер, барон Гейккинг, а в конце мая замечательно удался побег из киевской тюрьмы бунтарей-чигиринцев Стефановича, Дейча и Бохановского. Но власти от всего этого лишь стервнели: в апреле произвели массовую высылку студентов из Киева, без суда и следствия, скопом, в северные края, а когда везли студентов через Москву, устроили зверское избиение их охотнорядцами. 9 мая объявлено было высочайшее повеление о том, что преступления против должностных лиц изымаются из ведения суда присяжных (скорый и раздраженный ответ на оправданье Засулич!) и передаются судебным палатам, Особому присутствию Сената и Верховному уголовному суду. А через месяц, 9 июня, явилось новое великое благодеяние: по всей России введен институт урядников.

И все же окончательной решимости броситься к тем, кто видел спасенье в терроре, в кинжалной схватке с властями,— не было. Не что-либо иное, а только одно: неосновательность кинжалного выхода. Не на годы, не на века решалась этим способом судьба России, а — на дни, месяцы. Когда прощались с дедом, старик, собравшись с силами, пошел провожать далеко, сколько мог, и добрался до того взгорка над почтовой дорогой, где когда-то, сто лет назад, Андрей с бабушкой ждали его обычно из города. Ничто не изменилось кругом: так же убежала вниз жаркая, зеленая равнина, порыжелая от яркого весеннего солнца — через месяц вся изжелтеет, сторит,— так же петляла по холмам дорога, туманными горбами, в бледность, в марево уходила даль, серым зноем палило небо, трещали кузнечики, арба ползла далеко вниз. Тут начиналась его дорога, и теперь он прощался со всем

этим. Он знал, что никогда больше сюда не вернется. А этот мир, который он покидал, был свеж, напоен солнцем, равнодушен и непобедим. Дед вдруг сказал: «Ибо не на лук мой уповаю и не меч мой спасет меня...»

Долгий день потом, идя сначала горами, потом степью, думал об этих словах, забытых, и соглашался умом. Но сердце томилось: «Где же взять слова, кроме лука и кроме меча?» Старик уходил из этого мира в спокойствия. Его справедливость была — там, за земной гранью. Но тому, у кого не было ни малейшей надежды попасть туда и чья жизнь имела единственный смысл: добывание справедливости здесь — как быть? Нет, он не видел ничего, кроме солнечного блеска, пыльной дороги в черном горохе овечьего помета, не ощущал ничего, кроме жары, пота, слепившего глаза, боли в ногах и желания поскорее добраться до почтовой станции.

Митя Желтоповский, старый приятель, единственный из кружка Волховского, кто уцелел — таскали, выпытывали, но процесса избежал, был отпущен за недостатком улик, — позвал к себе на хутор, близ Брацлава, поработать на бахче. Стояла сердцевина лета. Одесса вымирала, задыхалась в каменном зное, в дурмане известковой пыли. Ольга с Андришкой жила у родственников в Городище и ехать в Брацлав, конечно же, отказалась. «Разве ты можешь нас прокормить? Тут мы хоть и христарадничаем, да у родных...» В насмешке была злая правда: прокормить не мог. «Андрей, да когда ж кончится? — Едва не плача. — Где твоя совесть? Не надо было заводить семью, если не желалось жить с нами. Андришка, милый, ведь я выходила замуж за правоведа, а не за батрака на баштане. Два года в твоей Николаевке — ну хватит, не могу, невозможно...» Все шло, как и быть должно. Он уехал к Желтоповскому. Работа на бахче оказалась адским испытанием: по шестнадцать часов в сутки трудился на солнцепеке, ходил за волами, носил воду, поливал, оканывал, таскал на горбе. Для пропаганды среди крестьян, на что Андрей надеялся и чем особенно завлекал Митя, не оставалось ни сил, ни времени. Вечерами, когда спадала духота, начиналась самая страда — полив, а к ночи на ногах не стоял. Митя работал вровень и только днями напролет на террасе, мучилась болезнью. Женщины добрая, терпеливая, с каким-то особенно ясным и покойным взором, какой бывает, Андрей заметил, у дочерей

сельских священников, и даже губительная болезнь, от которой она умирала, не сделала ее злой и мрачной. Все жалела Андрея: «Бедный вы! Как же вы живете, одинокий? Я без Мити и дня не смогла бы...» Андрей усмехался: «И моя Ольга так говорила. А сейчас, видите, живет и не тужит».

Ольга, жена Мити, заболела чахоткой в тюрьме, тоже отсидела около года по обвинению в принадлежности к противозаконному обществу и распространении запрещенных книг. «Крестным» ее был Иван Лобковский, который выдал многих, в том числе и Аню Макаревич. Митя не любил, чтобы жена теребила прошлое, особенно тюремное прошлое, а Ольге и Андрею иногда хотелось поговорить: например, об Ане, с которой Ольга была дружна. Улучали минуты и разговаривали. У этой тихой, ясноглазой женщины была довольно бурная жизнь: в юности вышла замуж за своего учителя по Каменец-Подольской гимназии, фиктивным браком, но увлеклась, полюбила, а он уехал лет семь назад в Америку с группой социалистов, мечтавших создать земледельческую коммуну по типу Фурье, обещал вызвать жену, но погиб от несчастного случая: товарищ случайно застрелил его, чистя ружье. Американцы судили коммунаров, оправдали. Впрочем, коммуна развалилась, почти все вернулись в Россию, нищие и разочарованные в Фурье. А Ольга тем временем — году в семьдесят третьем — прибилась к кружку Феликса. Митя Желтоновский был тогда энергичнейшим членом кружка, выпускал рукописный журнал «Вперед», ездил в Киев для налаживания связей с киевским и петербургским кружками. Ольга тоже занималась делом: переводила на украинский «Историю одного крестьянина» Эркман-Шатриана. Но после разгрома семьдесят четвертого года, после бесконечных дознаний Мити и тюрьмы Ольги, сокрушившей ее здоровье, оба отошли от движения: Ольга просто в силу болезни, стремительно развивавшейся, а Митя — разувевшись в успехе, ожесточась на судьбу.

Он рассказывал: в прошлом году, когда готовилось освобождение Костюрина из одесских жандармских казарм, у него, Мити, возникла ссора с Фроленко. Собственно, до открытой ссоры не дошло, но неприязнь обнаружилась. Кажется, Митю это мучило, и, рассказывая, он как бы ждал одобрения. У Алеши Поповича в то время, весною семьдесят седьмого, из одесских товарищей был на воле один Желтоновский: к нему Костюрин и стал посылать

записки, умоляя о помощи в смысле побега. Митя связался с двумя лихими ребятами, «Грыцкой» Попко и «Михайлой» Фроленко. Стали выработать план, дело затягивалось, Костюрин нервничал и умолял Митю спешить. Первый конфликт возник еще при обсуждении плана. А если помешает часовой? Устранить! «Как, вы не остановитесь перед кровью?» Оба совершенно спокойно: «А что прикажете делать?» Нет, нет, други мои, в таких делах я вам не товарищ! Митя полагал, что его оставят в покое, как принято между честными людьми, но через некоторое время опять появляется хитрый Фроленко и, как ни в чем не бывало: «Крайне нужно достать пятьдесят рублей!» Митя заинтересовался: «Вам на дело или на житье?» Михайло замялся, сконфузился и признался, что — на житье. Митя денег не дал. Потом уж узнал, что приехала Аня Макаревич, достала двести рублей, Михайло нанял лошадь в Татарсале, и побег был устроен.

Тема «крови» была для Мити больным местом. При жене сдерживался, но когда оставался с Андреем вдвоем, рассуждал об этом нервно и пылко. Убийство Гейкинга его ошеломило. Подкараулить, заколоть беззащитного человека на улице — да за что же? Только за то, что носит мундир жандармского офицера? Говорят, барон был вполне умеренных взглядов, во всяком случае не худший тип жандарма, кого-то из революционеров даже, говорят, предупреждал об арестах, а жена и вовсе либеральная дама — и вот его-то убивают. Ну, конечно: легкая добыча. Зато шум, звон, выпустили специальную прокламацию с каким-то штампом Исполнительного комитета. И кто убивал? Тот же Грыцко, мягкий, образованный, парижанин Попко, про которого говорили, что он мухи зря не обидит. В том-то и ужас: убийство и кровь становятся обыкновенностью, бытом русского вольнодумца... А Иван Ивичевич? Митя видел его весною в Киеве. Ведь это Иван убил предателя Никонова в Ростове, свалил его выстрелом из револьвера на улице, потом прострелил голову. За дело: мерзавец выдал многих. Но как же Иван об этом рассказывал! С какой простотой, веселостью, с таким удалством, словно и не об убийстве, а о какой-то гусарской шутке. И вот тогда, в Киеве, когда слушал похвальбу Ивичевичей, Ивана и его брата Игната, Митя понял: basta, тут я останавлиюсь. Хватит с меня моей разрушенной жизни, хватит того, что Ольга поплатилась страшной болезнью, теперь еще и кровь надвигается.

Андрей знал Ивичевичей по Одессе. Это были отчаянные смельчаки, мальчишки, без царя в голове, обаятельные своей удалью и готовностью в любую секунду умереть, или убить, или пуститься в бесшабашную гулянку. Но ведь в тот день, когда начнется восстание, таким людям, как Ивичевичи, цены не будет! А сейчас, конечно, они, как белые вороны, выглядят нелепо и страховидно.

«Ты мечтаешь о революции без крови? — спрашивал Андрей. «Нет! Нет! — восклицал Митя. — Но я отвергаю кровь без революции!»

В начале августа Митиной Ольге стало резко хуже. Желтоновский помчался за врачами, сначала в Брацлав, потом — кто-то рекомендовал хорошего доктора, немца — в Одессу. Немец был еще не старый, очень тучный, тяжело дышащий, того типа, который принято называть «апоплексическим». По-видимому, был сильно жадеп, если согласился ехать в такую даль и в жару на таратайке. Он привез какое-то снадобье на меду, но Ольге, кажется, уже ничто не могло помочь. Митя делал все, что мог. У него самого был вид покойника: загар как-то внезапно слинял, лицо посерело; он стал плохо соображать. Переговоры с доктором вел Андрей, а Митя сидел рядом и слушал с оцепенелым видом, изредка спрашивая невпопад. Вдруг он заплакал, бормоча: «Я знаю, это мне за грехи! Это божья кара мне...» Немцу заплатили восемьдесят рублей. Он хотел ехать назад немедленно, не желал почевать, так как волновался за семью: «Die schreckliche Zeiten¹ в нашей милой Одессе!» За ужином рассказывал всякие ужасы. Одесса, оказывается, переполнена революционерами. Туда съехались в июле отовсюду, из других городов, даже из-за границы: готовились поднять восстание во время суда над одним из своих вожakov, Иваном Ковальским, знаменитым разбойником. Знакомая доктора видела своими глазами, как с вокзала по Старопортофранковской шла целая толпа приезжих революционеров, они все были вооружены, по нескольку кишжалов и револьверов у каждого. В город прислали войска, три роты башкир и кавачий полк. Когда Ковальскому объявляли приговор, толпа стояла на улице и ждала в нетерпении, кто-то крикнул из окна: «Смертная казнь!» — и тут началась истинная революция. Крики, стрельба! Все это доктор хорошо слышал, видел бегущих людей, которых преследовали ка-

¹ Страшные времена (нем.).

заки: он живет в Лютеранском переулке, а суд и все действия происходили на Гулевой. Он запретил домохозяевам два дня выходить на улицу. Говорят, какая-то совсем юная девушка выступала на бульваре с речью, призывала громить тюрьму, освободить преступников: *die wirkliche Revolution!*¹ Полиция хотела ее схватить, но толпа отбила. Все-таки русская революция немножко *wild und barbarisch*:² эти разбойники с кинжалами, дети на баррикадах, казаки со своими длинными пиками. Убить невинного человека ничего не стоит. Два дня сидели дома, дрожали от страха, питались сыром и печеньем, это было мучительно. Страна, которая не может обеспечить покой своим гражданам, не имеет права причислять себя к европейским странам.

С этим заявлением немец укатил в таратайке. Митя сказал: «Он не рассказал главного: через день после казни Ивана, третьего дня, убит шеф жандармов Мезенцев. Заколот кинжалом в Петербурге на улице». Андрей вскопчил: «Кто это сделал?» — «Меня это не интересует!»

И Митя опять плакал и говорил, что судьба казнит его за грехи. Какие грехи? Он слишком любил Ольгу, так сильно нельзя любить женщину. В сентябре Оля Разумовская, по первому мужу Романько-Романовская, по второму — Желтоповская умерла в возрасте двадцати пяти лет. До последнего дня сохранились ясные глаза, несмотря на страдания. Однажды, когда Митя не было, вдруг спросила Андрея: «А зачем была нужна моя жизнь?» Он задумался, чтоб ответить добросовестно. «По-моему, так: человеческий род, кроме материальных вещей и духовных богатств, создает еще нечто, неосязаемое, неучитываемое. Может быть, это совесть в высшем каком-то значении. Нет, не совесть, а — производное совести. И это неуничтожимо, и накапливается, и всегда будет сопровождать людской род. И люди будут брать отсюда». Она улыбнулась: «У них не будет своего?» — «И это возможно...»

«Милый Гриша! (Звала его Гришей, как звали в рабочих одесских кружках, где они познакомились.) Ты говоришь со мной, как учитель с малыми детьми. Но все равно — спасибо...»

На другой день он должен был ехать в Брацлав на базар, продавать арбузы и дыни, Митя оставался с уми-

¹ Настоящая революция! (нем.)

² Дикая и варварская (нем.).

рающей. Если бы не эта смерть, не Митя, которого жаль, бросил бы бахчу и удрал в Одессу. Было ясно, что события назревали: бедный Иван! Казнь Мезепцева! Шеф жандармов получил за особые старанья: ведь именно он настоял на ужесточении приговора по Большому процессу. Значит, никто из палачей, как бы высоко ни сидел, не может избежать возмездия. Андрей был убежден в том, что убийство Мезепцева поведет к свирепым и немедленным мерам, а это в свою очередь поведет — и так далее, неостановимо. Как в лесном пожаре: молния ударяет в дуб, он загорается, и тут же начинают пылать десятки соседних деревьев. В Брацлаве узнал, что угадал верно: власти ответили указом о том, что все политические убийства и насильственные действия предаются военному суду, действующему по законам военного времени. Огонь хотели погасить огнем.

В октябре Андрей вернулся в Одессу, измученный деревенской страдой, разочарованный навсегда: как пропагандист он попросту потерял три с половиной месяца. Жизнь в деревне была трудом, тяжелейшим, конским, превращавшим человека в животное, ибо на человеческое не оставалось сил. Тут был тупик. Смерть Ольги Желтоповской и помешательство Мити с горя были каким-то глубоким, скорбным подтверждением того, что — тупик, жизнь остановилась. Почти без денег, потому что выручку от продажи бахчи отдал несчастному Мите, приехал в Одессу. Идти было некуда, и — пошел домой, хотя какой же там дом? За все лето Ольга не прислала ни одного письма, никакой весточки на хутор. Две комнатки на Гулевой, угол Дегтярного, где он жил когда-то и где бывали часы скромной молодой радости, теперь казались чужим помещением — он даже не стал подниматься сразу, а стоял на улице и смотрел, — где сгущалась какая-то муторная пелужность. Оглядывал улицу: все было, как обычно, ранним часом плелся к центру города на работы одетые в рабочее тряпье каменщики, плотники с инструментом, маляры с ведрами и кистями. Всегда они с Молдаванки тянутся здесь, по Гулевой. И обратно, вечерами, тут же, только застревают в Прокудинском трактире «Китай» — вон там, напротив здания военно-окружного суда. Все происходило здесь, рядом с большим домом: башкиры, вероятно, загородили выход к Соборной площади и открыли стрельбу. Убитых, как оказалось, было двое. Потом ему рассказали про девушку, которая говорила речь на

бульваре в тот вечер, 24 июля, когда объявили приговор: Виктория Гуковская. Вскочила на скамейку и кричала толпе: «Пока вы здесь гуляете, наслаждаетесь вечером, ваших товарищей приговаривают к смертной казни и каторге за то, что они добиваются вашей свободы, вашего благополучия!» Полицейский стащил со скамьи ее, она вырвалась, бросилась бежать. Градоначальник Левашов издал приказ о поимке преступницы (ей всего четырнадцать лет!), и по городу развесили объявления и просьбы о содействии обывателей. Иван был расстрелян на рассвете 2 августа. Викторю Гуковскую арестовали через двенадцать дней. В конце лета арестовали еще нескольких человек: Лизогуба, Чубарова, Попко, о которых с обидой рассказывал Митя. Да, жизнь тут клубилась темными электрическими облаками, воздух был душен, и все предвещало великое очистительное бедствие.

Когда Андрей вошел, Ольга, не поднимаясь из-за стола, за которым шила, поглядела с какой-то злобной насмешливостью: «Нагулялся? Выглядишь отлично, загорелый, худой. И борода к лицу...» Он спросил, была ли она в городе во время суда над Иваном. «Меня это мало занимало, не помню. Кажется, была в это время у Ляли в Городищах». Он оставил все деньги, сколько привез, рублей около двухсот, и ушел на Молдаванку. Где-то там, то ли в квартирке Васи с Миколой, то ли в бараке, где жил Макар Тетерка, его ждали друзья, по которым он соскучился. Потом возвращался на Гулеву, жил с Ольгой и сыном по нескольку дней, даже ходил с Ольгой в гости к знакомым, чаще всего к Семенюте, у которого брал книги, но все это без тепла, без необходимости, а так — холодным прозябанием. Негде было почевать, приходил. А то исчезал на неделю. Оба понимали, что конец близок, как смерть старика. И он ничего ей не рассказывал, ни с кем не знакомил, а она ни о чем не спрашивала.

И вот думал над ее словами: «Ты меня никогда не любил!» Неправда, тот студенческий бунтовщик, гуляка, драчун, которому все так легко давалось, и везло, и правилось жить, который еще не ведал тюрьмы, горя, гибели товарищей, не носил бороды, не знал, какая бывает истинная ненависть, перерождающая человека: тот когда-то любил ее. Но доказать и объяснить это теперь нельзя. Ведь невозможно сказать: «Просто перед тобой другой человек,

ты обращаешься не по адресу». Единственное, что должен сделать — спасти ее и сына от судьбы, ими незаслуженной.

— Тебе ничего не нужно, кроме твоей ужасной жизни...

— Нет, нужно многое. Но ты мне этого дать не можешь. Значит, надо расстаться, совершенно законно, чтобы ни я к тебе, ни ты ко мне не имели никакого касательства... — Она плакала, он продолжал говорить, не меняя тона: — Есть тысячи причин, по которым наш брак должен быть расторгнут. Хотя бы история с Аней Розенштейн. Не говоря уж о том, что я не даю вам средств...

— Мне наплевать на все! Я ничего не хочу от тебя! — кричала она. Прибежал из соседней комнаты сын, испуганный, тоже заплакал.

Потом зачем-то пошли к тестю, на Екатерининскую. Ольга его упросила, он согласился, сам не зная, хорошенько зачем. Видимо, стало очень уж жаль! Она металась, лепетала вздор. «Папа даст нам совет... По поводу того, чего ты добиваешься... — бормотала она. — Кроме того, он хотел поговорить». О чем? Ну хорошо, пожалуйста. По дороге возникло предчувствие: не надо идти. Это совсем ему не нужно. Но — шел, даже сына вел за руку, и, как всегда в минуты таких предчувствий, когда угадывалось неприятное, не в силах был остановить себя, а перуж до конца. Почти год не был он в этом доме: появилась железная ограда, медная табличка на белой квадратной колонне крыльца и, дорогое новшество из Петербурга, карселевые лампы в вестибюле. Незнакомая прислуга, дородная Гарпина в паколке и в переднике с малороссийским узором сообщила Ольге, что «батюшка у горницы, вечеряют с гостями».

Вот и неприятное: гости! Андрей помрачнел. Общаться с людьми яхвенковского круга, будь они хоть самые распролиберальные дельцы, ему не улыбалось. Бессмысленные разговоры, бессмысленное напряжение и испытание воли: ведь того, что думаешь, не скажешь, надо молчать дураком или поддерживать болтовню.

Гостей было троо: дальний яхвенковский родственник помещик Леман с женой, постоянно жившие в Петербурге, и Гералтовский, сотрудник «Одесского вестника», с которым Андрей шапочно был знаком. В «Вестник» Андрей иногда захаживал, раньше носил туда хрощику студенческой жизни, а в последнее время заходил к знакомым типографским рабочим, и еще — когда навещал

Семенюту, который жил в том же доме, где редакция. Гералтовский был из свиты Барона Икс, фельетониста «Одесского вестника», а сию знаменитость Андрей презирал, считал пустозвоном, и презренье свое распространял, разумеется, на все его «хвосты и аксельбанты», то есть на его прихлебателей. Мелкий характершко Гералтовского проявился в том, что, когда тесть представлял Андрея, этот рыжеусый таракан, с которым однажды пили чай в буфете и о чем-то даже разговаривали, сделал вид, будто незнакомы. Ну да шут с ним. Все было явно нехстати. Да и представлял тесть как-то скороговоркой, теща глядела холодно, едва кивнула, а Тася, Ольгица сестра, до сих пор девица, заметно подсохшая и пожелтевшая, улыбалась язвительно. И зачем догадался прийти?

Был какой-то разговор о войне, о Берлинском конгрессе, возмущались, как водится, тем что русская кровь проливалась ради выгод англичанки и австрияков, сетовали на недостаток «умов» в русской дипломатии и высшей государственной службе (Гералтовский: «Вы только представьте, какой бы куш сорвал Дизраэли, если бы англичане имели такие победы и понесли бы такие жертвы, как мы, грешные!»), потом от Берлина и Бисмарка перенеслись к Вильгельму, на которого в этом году было два покушения: в мае стрелял жестящик Гедель, а в июне доктор Нобилинг, причинивший императору несколько тяжелых ран.

Стали говорить о том, что — какая-то мировая зараза, и мы, русские, всякую заразу подхватываем, конечно, первыми. Леман уверенно объяснил: «Интернационалка мутит!» Яхненко сказал, что ни доктор Нобилинг, ни жестящик, как это достоверно доказано, не являются социалистами. Однако пострадали-то как раз социалисты. Тесть стал еще сильнее похож на Шевченко, еще больше полысел, пообвисли усы, попечальпел взгляд. Глядя печально-тяжелым взглядом на Андрея, тесть рассуждал — тихим голосом, вид у старика был больной — о том, что немецкий пример должен всякую критически мыслящую личность заставить задуматься. Что же принесли два эти покушения? Ничего, кроме бедствий. Жестокий закон против социалистов, принятый рейхстагом две недели назад — вот и весь прибыток.

— Да, мерзость, возмутительно! — подхватил Гералтовский. — Этакое немецкое, солдафонское...

— Позвольте, Доминик Францевич, что вы находите

возмутительного? — заговорил, краснея, Леман, и его крупное, брылястое лицо с оттянутыми вниз губами приняло выражение недоумения и брезгливости. — Странно слышать! Разумное, деловое решение, которому мы, русские, можем только завидовать. Именно этой разумности, этой железной бисмарковой крепости нам и недостает, если угодно знать. Вместо твердых мер занимаемся уговорами и увещеваьем. И — кого? Уголовный сброд, безумцев, которых надо — в смирительную рубашку и на цугундер.

— Ну уж, только увещеванием! — засмеялся Яхпекко. — Дело обстоит не так лучезарно, по-моему.

И он посмотрел на Андрея, и тому показалось, как будто даже подмигнул. Недурной старикан, прощаться с ним все-таки жаль. Андрею почему-то показалось, что весь разговор затеян нарочно для него, что было, разумеется, вздором. Гералтовский имел о нем смутное представление, а Леман, петербургский житель, редкий тут гость, — и вовсе никакого. Не надо было приходить сюда. Дамы щебетали в другом конце зала, мужчины продолжали спор, постепенно все более накалявшийся. Гералтовский в запальчивости, таким либеральным чертиком, наскაკивал на Лемана:

— Стало быть, Георгий Георгиевич, что же: возврат к шпицрутенам? Намордник на общественное мнение? Предварительная цензура и так далее?

— Господа, да освободитесь вы от власти слов! Россия гибнет от словоговорения. О чем я толкую? Я человек монархический, это всем ведомо, я безмерно уважаю царствующего монарха, ибо он открыл России большие горизонты — но! Но, господа! Надеюсь, тут нет агентов Третьего отделения? — Улыбаясь шутливо, он оглядел всех, остановившись взглядом на Андрее. — Эти первические судороги, эта истерия и бессмысленные метания, которые начинаются всякий раз, когда дело идет о борьбе с политическими противниками! Где достоинство? Где твердая, неукоснительная воля? Ведь обращение правительства к обществу, эта жалкая мольба о помощи в борьбе с крамолой, о чем мы узнали двадцатого августа — это же стыдобушка! Громадная империя, перед которой дрожит и склоняется полмира, имеющая великую армию, тайную полицию, арестные дома, крепости, централы, Сибирь, умоляет о помощи безоружных обывателей — да ведь просто хочется сказать: тыфу! Ведь бог знает что, господа. Если

и думать долго, то не придумаешь ничего более подрывающего веру и уважение к власти.

— А я мыслю совершенно иначе, — сказал Яхненко. — По мне так это мудрейший шаг за последние годы. Только совместные усилия властей и общества могут дать спасение. И — только доверие к силе общественного разума! Может быть, мы люди отсталые, провинциалы, чего-либо не понимаем...

— Я полностью на вашей стороне, Семеп Степанович! — опять пылко подхватился Гералтовский. — Если бы люди имели свободу общественной группировки, они, не колеблясь, соединили бы свои усилия с усилиями правительства. Но невозможно же! Руки связаны.

— Позвольте, у правительства достаточно сил...

— Георгий Георгиевич, между правительством и обществом образовалась пустота. Пустота, понимаете? — Гералтовский в азитации чертил руками в воздухе фигуры, изображая наглядно правительство, общество, а также пустоту между ними. — И в эту самую пустоту занесло с запада нигилизм. Понимаете ли, что произошло? Свято место пусто не бывает.

— Называемая вами пустота есть отсутствие крепкой власти! Есть повальная, сверху донизу, неуверенность! — сердито прокричал Леман. — Вот вам из последних фактов: мой добрый знакомец, вполне благонамеренный человек, но с неуживчивым бурсадским характером, отчего у него постоянные безурядицы на службе, долго добивался приема у Александра Егоровича Тимашева. Писал прошения, грозил, молил, наконец, добился. Когда он вошел в кабинет, министр быстро пошел ему навстречу, распахнул мундир и сказал: «Стреляйте! Я никого не боюсь! Не вы первый, не вы последний угрожаете мне, я покажу вам полный мешок угрожающих писем». Мой знакомый был совершенно фраппирован: его приняли за нигилиста и даже за револьверщика. Но каково поведение министра внутренних дел? Распахивает мундир и предлагает: «Стреляйте!» Честно вам сказать, господа, я был потрясен этим рассказом: какова же дряблость, какова степень растерянности, если такие фортели выкидывает министр — блюститель порядка, которого считают к тому же приверженцем твердой линии. Что же в таком случае остальные ланки блюстителя? Уму непостижимо! Дело зашло очень далеко.

Этот рассказ и Андрею показался занимательным.

И он решил про себя: нет, время не потеряно. Страшно, что он так долго оставался спокоен, как будто спорщики говорили о чем-то, не имевшем к нему касательства. Обычно он не вытерпивал роли слушателя и ввязывался в драку. Но теперь было особое положение: он пришел сюда ради Ольги... И, по всей видимости, последний раз в жизни.

Между тем мужчины говорили все громче, и дамы, прервав беседу о ротондах, стали прислушиваться. Госпожа Леман, высокая, бледная, очень петербургская дама с каким-то вогнутым, странно невыразительным лицом — подбородок и лоб выдавались, а все внутри вместе с маленьким чухопским носиком было как бы провалено — проговорила низким голосом строгую французскую фразу. Андрей понял смысл: «Жорж, мол, не волнуйся по пустякам». Затем, обращаясь ко всем, госпожа Леман сказала:

— Георгий Георгиевич всегда очень волнуется, когда речь заходит о молодежи. У нас еще несчастье с племянником, киевским студентом: в мае его высылали в Вологду, провозили через Москву, и он попал в эту ужасную бойню в Охотном ряду. Ему пробили голову, он оказался в лазарете, сестра Георгия Георгиевича, вдова, приезжала в Петербург, мы хлопотали. И Георгий Георгиевич с тех пор...

— Матушка, я мог бы и сам рассказать. У меня язык есть.

— А на мой взгляд, — повышая голос, проговорила дама с вогнутым лицом, — дело очень просто и не нуждается в длинных разговорах. Они действуют бесчестно, а с ними стараются поступать по чести. Вот и есть ошибка.

Эту дуру уж нельзя было снести!

— Вы полагаете, сударыня, что ссылать четырнадцатилетних девочек в Сибирь только за то, что они говорят речи на бульваре — поступать по чести? А держать без суда годами в тюрьмах, одиночках, а потом освобождать за недостатком улики — тоже по чести? Да тут честь и близко не почевала.

Андрей и сам не замечал, как голос его злобнел и креп, точно он где-то на сходке, а не в гостиной.

— Я не знаю, о каких фактах вы толкуете... — проговорила госпожа Леман, ошеломленная не столько смыслом слов, сколько тоном и напором Андрея.

— Я эти факты знаю, знаю! Мне они хорошо извест-

ны. — Леман делал успокоительные жесты жепе, как бы говоря: «Подожди минуту, сейчас мы этого господина прихлопнем». — И тем не менее ты абсолютно права. Попала в самую точку. Федор Достоевский, сам бывший бунтовщик, каторжанин, хорошо знающий всю эту музыку, писал в романе «Бесы» о том, что суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Я помню это место, даже выписал нарочно, когда читал в журнале. Потому что точнее уж не скажешь!

— Господин Достоевский тем отличается, что сначала утверждает одно, а спустя некоторое время совсем иное и противоположное. Так что у меня нет доверия к этому автору, — сказал Андрей. — Когда-то он сам был «старым печавцем», а теперь всех «печавцев» без разбора обливает грязью. В «Бесах» писал о том, что революционеры лишены чувства чести, а в дневнике своем, в «Гражданине», лет пять назад — об отсутствии чести у нас, у русских, как о черте характера. Это местечко вы забыли? Так вот вам мое мнение...

— Ответьте прежде: вы сами-то русский человек? — спросил Леман.

— Да, да, не беспокойтесь, Георгий Георгиевич, — ответил за Андрея тесть, бывший тесть, но все же милейший старикан, который глядел на Андрея со странным выражением неодобрения и восторга. — Андрей Иванович коренной русский человек, из крепостных крестьян.

— Ах, вот как! Итак, Андрей Иванович?

— Мое мнение таково: русские революционеры как раз возродили чувство чести в народе, если хотите знать. Все эти революционные вспышки, которые мы наблюдаем, есть взрывы оскорбленного чувства чести. Понятно вам? — Он нервничал и стал говорить грубо. — Помните гоголевского поручика Пирогова, которого выслал слесарь Шиллер? А потом Пирогов съел слоеный пирожок и танцевал мазурку на именинах. Так вот, пироговщина надо конец положить. И революционеры первые сказали довольно! Нельзя сечь русского человека безнаказанно. За это — пулю в лоб. Это что вам — не чувство чести? А девица, которая стреляла в Тренова, ни сестра, ни невеста, даже не знакома с Боголюбовым — что ее толкнуло на поступок, может быть безумный и ложный? Оскорбленная честь, ничего более. Не снесла поругания человеческого достоинства. Господин Достоевский не знает советской молодежи, пануган Нечасвым, а Нечасв-то —

вчерашний день, его и не помнят, другие люди пришли, другие идеи владеют умами. «Бесов» нынче никто не читает, кроме полицейских чиновников.

— Вы глубоко заблуждаетесь,— произнес Леман, смотря на Андрея остановившимся взором, точно разглядывая его со стороны.— Я слышал, вы судились по Большому процессу? Да, да, слава богу, все обошлось, это большое счастье для семьи. Но повторяю: вы заблуждаетесь глубоко.

— Верно Достоевский написал: нет у них чести, у этих людей,— вдруг заговорила из диванного угла мать Ольги.

— Мама! — сказала Ольга.

— Они семьи заводят, а жить семейно не могут. Разве это честно? Детей народят, и детьми не интересуются, не видят их месяцами,— дрожащим голосом, но все более громко говорила теща.— Деньги в дом не посят, трудиться не хотят и близких своих делают несчастными...

— Мама! Что ты говоришь?

— Я проклинаю этих людей! Проклинаю, проклинаю! — рыдая, кричала старуха. Все поднялись с мест, Гералтовский застыл с разинутым ртом, Яхненко бежал, спотыкаясь, к жене, она кричала: — Ироды! Проклинаю! Погубили твою жизнь!

— Уходите же! — Тася махала на Андрея рукой.

— Я с тобой! Я с тобой! — крикнула Ольга отчаянно.— Мама, Андрей честный, необыкновенный человек. Что ты наделала? Я уйду от вас, буду жить одна, не хочу вас знать...

Она словно помешалась, тянула Андрея к выходу, сын цеплялся сзади, старик Яхненко что-то кричал. На улице было холодно, Ольга прижималась к нему. Он обнимал ее одной рукой, другой стискивал ладошку сына. Как будто знал, что все это должно было случиться, и вот случилось, и он был спокоен. И только печаль сжимала сердце.

Пришли в свои темные комнаты, зажгли керосиновую лампу. Печка выгорела, он спустился вниз, во двор, чтобы наколоть немного дровишек. Ему хотелось, чтобы стало очень тепло. Ольга возилась с бельем, принимаясь за стирку. Лицо у нее было мятое от слез, но спокойное, даже счастливое. Он подошел к ней, обнял ладонями ее лицо и, глядя в глаза, сказал: «Оля, нам надо расстаться». Она, закрыв глаза, кивала. Сын из глубины комнаты смотрел на них.

Голос издалека: Семенюта П. П.

Я, Пимён Семенюта, часто задумывался: меняется ли человек в своей сути? К концу жизни решил, что — нет, не меняется. Человек рождается, как бы заклеенный особым зна́ком, и уж этот знак ни вытравить, ни смыть, ни переделать нельзя, а видимые изменения, которые в человеке происходят, есть лишь случайности, временное, наносное, то, что ложится поверх знака. Мы ведь судим о природе людей по нашим близким. Если нас окружают люди злые и несправедливые, мы считаем, что человечество несправедливо и зло, если же вокруг нас люди простые, добрые — мы верим в добро и полагаем, что человечество достойно лучшей участи. Кажется, я болтаю вздорности. Простите меня, я немолод, болен, истаскан и измордован жизнью — впрочем, как всякий русский человек, переживший последние три десятилетия. Кстати, я долго надеялся на то, что женщина, которую я когда-то любил (кстати, и Андрей Иванович был сильно увлечен ею), как-то переменится с течением лет, станет другой, и я буду любить ее еще больше. Но она не менялась. Надежды были напрасны. Самое странное, что я продолжал упрямо и нудно ее любить, и Андрей Иванович, между прочим — тоже! Он давно уж был женат, имел сына, но когда спустя лет восемь после нашего юного соперничества зашел ко мне домой — в конце семьдесят восьмого года — увидел эту женщину, я заметил, как он вмиг потемнел от прихлынувшей к щекам крови, глаза заблестали, это было так внезапно и открыто. Вообще, он был нервен, легко краснел, бледнел, впадал в гнев.

В тот вечер мы долго проговорили, сначала в присутствии женщины, что очень его возбуждало и тошировало, и он с необыкновенным талантом, живостью, остроумием рассказывал о своей эпопее незадачливого бахчевода, а потом остались одни, засиделись за полночь. Забавно, что, когда прощались, он строго и требовательно сказал: «Ты должен относиться к ней гораздо лучше, чем ты относишься! Я просто велю тебе это». Я перевел на шутку, но он, кажется, не шутил. Все его поступки и даже слова имели подоплеку какой-то глубокой, внутренней страсти. Имя женщины? Это не существенно. Важно то, что была. Нет, не Аня Макаревич (Аня в то время уже навсегда покинула родину), и не какая-либо другая из наших радикальных кружков. И то, что он расстался с

женой, Ольгой Семеновной Яхненко, милой женщиной, но чересчур домашней, не имело никакого отношения к истории, о которой я говорю.

Там дело другое: человек изменился. Вот об этом и речь. Наша встреча в конце семьдесят восьмого меня поразила. По своим взглядам, настроениям, характеру жизни этот человек неизмеримо удалился от юноши, которого я помнил по студенческим временам. Тогда прошумела громкая, хотя и вполне невинная история с профессором Богишичем, одним из тех служаков-«братушек», которые гнули линию графа Толстого: превращали университеты то ли в казармы, то ли в управу благочиния. Андрея Ивановича высылали пароходом в Крым. Помню толпу, праздничное клокоташье, чуть ли не пели «Марсельезу», и в этой толпе был я, тогда юный репортершико «Новороссийского телеграфа», и был ваш общий с Андреем Ивановичем предмет. Она еще не сделала тогда выбора, колебалась, была опечалена его отъездом, а он жал мне руку, говорил «Прощайте!», и в его темных глазах я читал страстную зависть: не тому, что я был независимый человек, а он отправлялся в ссылку, а тому, что я — с нею, держал ее под руку, оставался на берегу, а он отплывал. «Прощайте, прощайте!» — говорил я, сочувствуя ему и жалея его совершенно сердечно, по все же с некоторым облегчением. Тогда, помню, случилась невероятная давка, толпа провожающих притеснилась к самому борту. Задние пачирали, и, когда пароход стал отходить, люди едва не попадали в воду, были крики ужаса, возгласы «Помогите!», и я помню бледное лицо Андрея, который кричал нам с парохода: «Вы невредимы? Все в порядке?» — «Да, да! Прощайте, прощайте!» — кричал я радостно и махал шляпой.

Я знал его по одесским студенческим сходкам тех лет: агитатор, говорун, крикун, но не более того. И вдруг совсем иные речи. Он стал мощнее, плечистей, темная борода, крепчайшее рукопожатье. Говорил о положении рабочих: тяжкий труд и грабилька, которой рабочие подвергаются, ведут не только к парастанию недовольства, но и к отупению, безнадежности. Артели и союзы могли бы придать рабочим силы, но правительство неусыпно бдит, давит, громит всяческое объединение. «История движется ужасно тихо, падо ее подталкивать. Иначе вырождение нации наступит раньше, чем либералы опомнятся и возьмутся за дело». — «А конституция?» — спросил я. — «И

конституция пригодится». — «Что же ты предпочитаешь: верить в конституцию или подталкивать историю?» Он, помолчав, ответил: «Я теперь больше падеюсь на подталкиванце!»

Вот вам перемена: человек начал с того, что хотел учиться у парода, а пришел к тому, чтобы учить историю. В ту осень п зпму семьдесят восьмого — семьдесят девятого мы встречались с Андреем Ивановичем довольно часто. Раза два я бывал у него дома на Гулевой, в убогой квартирке — по-видимому, Яхненко вовсе отринул дочь, отказался помогать ей, она зарабатывала где-то как акушерка, — но чаще Андрей Иванович приходил ко мне. Тем более, что в конце ноября или в декабре он окончательно расстался с Ольгой Семеновной. Свое расставанье намеренно сделал широко известным в Одессе, об этом много болтали среди наших знакомых, жалели Ольгу Семеновну, которая его очень любила и надеялась, что все это не всерьез. Нет, он заботился о ней совершенно всерьез. Но это, как оказалось, не помогло.

В моем доме бывали одесские радикалы, бывал Валериан Осинский, когда появлялся в Одессе. Впрочем, Валериан бывал повсюду. Я не помню человека, который имел бы больше знакомств в самых разных слоях и кругах, чем Осинский. Удивительная для революционера общительность! Я хотел познакомить с ним Андрея Ивановича, но тот почему-то уклонялся. Меня это озадачивало, я спросил прямо: в чем дело? «Не люблю я этих белоручек и аристократов. У вас будет, небось, и Барон Икс со всей своей псарней? Не могу, не хочу видеть: противлю».

Люди у нас дома бывали разные, мог появиться и Барон Икс, фельетонист, популярный в Одессе, и не самый скверный человек. Все не аристократ. И уж во всяком случае Андрей Иванович отлично знал, что Барон Икс и Валериан Осинский — фигуры не равновеликие, и не следовало свое презренье к одному этак махом, небрежно, перебрасывать на другого. За Валерианом были уже очень крупные дела. Андрей Иванович должен был это знать, если знал и я. Ну как же: Валериан организовал убийство шпиона в Ростове, покушение на прокурора Котляревского, убийство жандармского офицера Гейкинга, и он же первый стал помещать в прокламациях печать Исполнительного комитета, которого не существовало в природе. Овальная печать, вокруг нее значилось: «Исполнительный комитет русской социально-революционной партии»,

а в середине переkreщивались револьвер, кинжал и топор. Иные смеялись над этой выдумкой, другие возражали, но Валериан-то оказался прав: власти сильно испугались картинки. Все допросы семьдесят восьмого года начинались и кончались такой фразой: «Что вы знаете об Исполнительном комитете?» Никто, разумеется, ничего не знал. Но через год это название взяли себе другие люди, так что выдумка оказалась пророческой.

Валериан Осипский был, конечно, человек замечательный, блестящий, и Андрей Иванович, чуя это, избегал встреч с ним в больших компаниях: ведь Андрей Иванович, скажу по секрету, был заметно честолюбив и не терпел чьего-либо превосходства. На улице, в трактире, на рабочей сходке он был, конечно, король, но в гостиной за чаем превешествовал Валериан. Он очень правился дамам (и та, о которой я говорил, не избежала соблазна), стройный, белокурый красавец, в пенсне, с небольшой золотистой бородкой, он быстро двигался, много говорил, любил болтать вздор, чепуху, смешное, но всегда с ироническим смыслом, любил мистифицировать, сочинять небылицы, в которые сам же легко верил, *Wahrheit und Dichtung*¹ были у него перемешаны, и он сам, вероятно, путался где что. Он рассказывал мне, что двенадцатилетним мальчишкой спас соседа, на которого напали бандиты, хотели убить, а он прибежал с ружьем, и те скрылись. Была еще такая легенда: будто бы в Петербурге, где Валериан учился в Институте инженеров путей сообщения, он гулял однажды в Летнем саду и, встретясь на аллее с царем, не уступил ему дороги. За это его будто бы таскали в участок, страшно на него кричали и грозили ссылкой, но он отговорился тем, что недавно в Петербурге и не знает царя в лицо: тот был в генеральской форме. Вероятно, тут была самая истинная *Wahrheit*, но от того, что Валериан слишком часто фантазировал по пустякам, мы и этот рассказ воспринимали как изрядной долей *Dichtung*.

Впрочем, дерзостью и отвагой Валериан обладал редкостными. В Петербурге даже слегка всполошил землевольцев своими «дезорганизаторскими» идеями, вплоть до царевубийства, и по длинному содружеству там, кажется, не получилось. Но об этом я знаю понаслышке, не стану говорить зря. Что же касается Одессы и Андрея Ивановича, то, как ни уклонялся Андрей Иванович от общения с

¹ Правда и вымысел (нем.).

Валерианом, обстоятельства толкали его к нему и даже вынуждали пользоваться его помощью. Деньги, оружие, документы: все это в конце семьдесят восьмого и в январе семьдесят девятого, до дня его ареста, можно было достать у Валериана. Более могущественного человека в этот период в Киеве, Одессе и окружающих городах не было.

Андрей Иванович, еще не будучи нелегальным, не считал себя вправе рассчитывать на деньги из фонда Валериана. А денег-то у Андрея Ивановича не было. Он зарабатывал той зимой очень скудно. Иногда, встречая его на улице, я замечал, что он попросту голоден, он исхудал, лицо приобрело какой-то землистый оттенок, всегдашний румянец спал. Это были недели его последних, мучительных колебаний.

Однажды я долго уговаривал его взять деньги, вырученные от какого-то концерта. Он отказывался, говорил, что не надеется отдать скоро и поэтому не считает возможным брать, но я знал, что его терзают долги и, главное, необходимость давать жене и сыну, с которыми он уже не жил. Я настаивал, мы препирались, наконец я сказал: «Считай, что это из фонда Валериана!» Он вспыхнул: «Тогда я тем более не возьму!» Я почувствовал в его голосе озлобление. Мало того, что Валериан был обаятелен, дерзок, интеллигентен, красив, он был еще и богат, то есть не угнетаем ежедневными заботами: где поесть и где заработать? Валериан какими-то одному ему известными способами умел добывать средства для организации. Он привлек Лизогуба с его громадным состоянием. У него бывали фантастические удачи: например, какая-то богатая полька обещала ему чуть ли не двадцать тысяч рублей, если удастся освободить из тюрьмы Стефановича с товарищами. Там была сложная, романтическая история, мне рассказывали: полька была, кажется, влюблена в кого-то другого, не из компании Стефановича, но тоже сидевшего в тюрьме, и ей хотелось наблюдать пример удачного освобождения, так как Валериан обещал освободить ее друга. Валериану удалось с помощью Фроленко, поступившего в тюрьму надзирателем, не только освободить Стефановича, Дейча и Бохановского, но и получить у польки обещанный приз! Наконец, поняв, что совершил оплошность, я стал убеждать Андрея Ивановича в том, что насчет фонда Валериана была шутка и что я предлагаю ему мои собственные деньги по праву десятилетнего знакомства и, разумеется, в долг, он с угрюмым видом со-

гласился. Вероятно, продолжал считать, что записывает у Валериана.

Еще раз ему пришлось побороть гордыню и просить помощи у Валериана, когда он окончательно решил стать пелегальным и понадобился документ. Такой документ добыл Валериан: на имя Василия Андреевича Черпявского. Было это, кажется, в самом конце семьдесят восьмого года. Во всяком случае не позже середины января семьдесят девятого, ибо в конце января Валериана схватили в Киеве. Документ был настоящий, испробован в Одессе и в Киеве в опаснейшее время. Достать его, видимо, было очень трудно. Когда донеслась весть об аресте Валериана, мы даже не поверили сразу: так нелепо все произошло. Городовой остановил Валериана на улице и под каким-то левинным предлогом попросил зайти в участок. Валериан, ничего подозревая и обладая к тому же хорошим паспортом, пошел за полицейским, но в участке вместо пристава или его помощника его встретил Судейкин. Валериан пытался выхватить револьвер, но Судейкин, обладавший громадной силой, навалился на Валериана, смял его и с помощью полицейских обезоружил. Вот убили барона Гейкинга, на смелу которому пришел Судейкин, а ведь барон этак-то ловко не сумел бы! Суд над Валерианом происходил в мае, я был тогда уже в местах отдаленных и читал в газете. «Осицкий дрался ногами, мы припуждены были его связать, — объяснял Судейкин. — Все это время Осицкий находился в каком-то иступлении, кричал, метался, изрыгал ужасные проклятья на полицию и жандармов, когда я ему сказал, что вы, господа, мастера убивать из-за угла, он заметил: «Все равно скоро всех вас, жандармов, будут убивать прямо на улицах». Через несколько времени он успокоился, тогда его развязали и приступили к допросу».

Последнее, что успел сделать Валериан перед гибелью (кроме того, что достал спасительный документ Андрею Ивановичу), была его помощь деньгами, оружием и связями Григорию Гольдепбергу, убийце харьковского губернатора Кропоткина и знаменитому разоблачителю революционной партии. Но об этом пусть расскажут другие. Я же рассказываю лишь о тех, кого знал близко и считал друзьями: об Андрее Ивановиче и Валериане. Помню, когда Андрей Иванович узнал об аресте Осицкого, он был очень подавлен и воскликнул с болью: «Как я ошибался! И как ругаю себя! Меня отчуждала от него глупость, мой веч-

ный отвратительный предрассудок: то, что его отец был в больших чинах, чуть ли не в генеральских...»

А я скажу иначе: Андрей Иванович, при всем его большом и сильном уме, часто промахивался в оценке людей. У него не было интереса к подробностям человеческих характеров. Он воспринимал людей как-то общо, округлял их, не замечал ни зазубрин, ни пзвитий, ни того, что в ядре характера может быть скрыто еще ядро, поменьше и потверже, а в том еще более твердое, маленькое ядрышко, которое и есть истинное. Словом, мне кажется, он не всегда умел разглядеть тот неуничтожимый знак на человеке, о котором я говорил прежде. Недаром же он не раз тянул в организацию лиц, которые потом оказывались сомнительной чистоты. Ну вот, вернемся к началу: к знаку. В «Одесском вестнике» в те времена вертелся некий Гералтовский, комнатный вольнодумец, который сочинил такой стишок: «Одни рождаются, чтоб делать революции, другие — чтоб испытывать поллюции». Сам он принадлежал, разумеется, к последним, хотя выдавал себя за сочувствующего революционерам, что считалось тогда в некотором роде *bon ton*. После первого марта он даже шептал горделиво, что был близким другом Андрея Ивановича и бывал у него дома. Но четверть века спустя у нас же, в Одессе, показал себя таким подлецом и охрапителем, что все ахнули — все, кроме меня. Я давно разглядел на нем знак подлости. Человек не меняется, знак остается прежним. Меняются только орнаменты вокруг знака, то припосное и уносное, что сопровождает человека всю жизнь и затуманивает мозги окружающим.

Андрей Иванович, я убежден в этом, был предназначен для судьбы, которая нашла его. То, что я поразился осенью семьдесят восьмого, увидев, как он изменился, значило лишь, что я недостаточно еще его разглядел. Человек не меняется, как это ни печально. Да господи боже мой, зачем ходить далеко? Я чувствую по себе: мне много лет, я болен, предвижу скорый конец, но какие нелепые, старые, детские ощущения я испытываю порой! Стыдно признаться. Я испытываю почти детские страхи, почти детское чувство зависти, почти детские огорчения и почти детские радости. Но главная радость моя совсем не детская: она в том, что я еще жив. Андрей Иванович стал мировой знаменитостью, я видел заграничные книги и журналы с его портретами (везде непохожими), кое-что

появляется и у нас после двадцатипятилетнего молчания, но самого Андрея Ивановича давно уже нет на свете, а я еще здесь. И сегодня, в апреле 1906 года, радуясь достижениям русской свободы, я не могу без чувства благодарности думать и вспоминать о тех, кто... Я мог бы многое вспомнить об Андрее Ивановиче — хотя бы о том, как он предупреждал меня об арестах, я отнесся несерьезно и был наказан, или же о том, как мы прощались, он дал мне на память золотую цепочку, подаренную ему когда-то родителями Ольги Семеловны, и эта цепочка стала мне дорогой реликвией на всю жизнь, она и теперь, когда я пишу, лежит на моем массивном, из темно-зеленого мрамора чернильном приборе, — но я умолкаю, ибо времена настоящих воспоминаний об Андрее Ивановиче еще не наступили.

И знаете ли, к какому странному выводу я пришел? Да, человек меняется, и порою непоправимо, но — после смерти. Посему: не будем увеличивать непоправимость.

Клио-72

Ничего, кроме событий, фактов, имен, названий, лет, минут, часов, дней, десятилетий, столетий, тысячелетий, бесконечно исчезающих в потоке, наблюдаемом мною, Клио, в потоке, не ведающем горя, лишенном страсти, текущем не медленно и не быстро, не бессмысленно, но и без всякой цели, в потоке, затопляющем все.

Анна Розенштейн, по первому мужу Макаревич, проживала в Париже под именем Кулишовой и в мае 1878 года за организацию секций Интернационала выслана из пределов Франции. Жила в Швейцарии, была женою итальянского анархиста Андреа Коста. Затем поселилась в Милане, стала женою Турати, вождя итальянских социалистов, и умерла в 1925 году глубокой старухой. Ей были устроены торжественные похороны. В Италии Анна Кулишова известна гораздо более, чем на ее родине в России. Весть о том, что Андрей Желябов казнен, как царевубийца, так потрясла его бывшего тестя Яхненко, что с ним случился удар и он умер. С семьей Яхненко никто не хотел знаться, они разорились, Ольга Семеновна почти нищенствовала, обезумела, просила об изменении фамилии, отрекалась от мужа и проклинала его, спасая судьбу

сына, но неизвестно, что ей удалось, есть намек, что она побиралась именем Христовым. И далее сведения о ней исчезают, как все исчезает в моем потоке...

Глава вторая

Поздней осенью 1878 года, когда Андрей Желябов добывал паспорт в Одессе, чтобы начать новую, подпольную жизнь, в Петербург приехал некий Клеточников Николай Васильевич, чиновник тридцати одного года, как будто еще и не старый, но по общей невзрачности, блеклому нездоровому цвету лица, темным очкам, манере горбиться и разговаривать тихим голосом выглядел куда старше. Зачем Николай Васильевич, внезапно сорвавшись, распродав вещи, оставив место кассира общества взаимного кредита в Симферополе, примчался среди зимы в гнилую Северную Пальмиру, он и сам толком не знал. Будто тут его ждали! Никто не ждал, ни единая душа, и в Крыму никто слез не лил, прощаясь. Вероятно, Николай Васильевич имел смутный расчет: как-то переменить судьбу. Уж очень все в его жизни получалось безуспешливо и досадно. Недоучился по болезни в Медико-хирургической, рано похоронил родителей, мотался бессмысленно из града в град, летал зачем-то за границу, докучивая малое родительское наследство, и все в одиночку. День и ночь со своей персоной наедине, врагу не пожелаешь, пошел служить, томился в присутствии, кашлял от крымской пыли, доктор Вернер советовал: «Попробуйте переменить климат!» А рожа у доктора кислая, гробовая: «Э, в сущности...» Да что ж климат, когда надо — судьбу.

Не успел еще расположиться в этой жизни, не распаковал чемоданов, а уже — собирайся, пора. И более глупого придумать нельзя: из сухой и теплой крымской зимы — в сляккий петербургский мороз, на тротуарах грязи наворочено, с неба ледяной грухой моросит, не то сырым холодом душит, самый смак для чахотки. Да ведь столица в Россия одна, выбрать не приходится.

Поселился в доме на Песках, знакомые курсистки присововетовали: знакомство сведено было в Ялте, минутная отвága под влиянием бутылки «Иоганнесберга», но адресок запомнил, записал, не надеясь, что пригодится и даже, честно признаться, не веря в то, что девицы сказали правду. Зачем бы им, милым, этаким перестарок очкастый,

морщинистый? Очень сильно оморщился за последние два года, и волос стал слетать. Кремы разные, притирания, снадобье доктора Гардпера, брюссельский эликсир, все по журналам вызнавал и выписывал, денег потратил, да попусту. И вот, подъехав к дому на Песках, с извозчиком не расплатился, велел ждать: так был уверен, что девицы падули. А они-то все трое дома и невероятно почему-то ему обрадовались! Там же на Песках нашли комнату, темноватую, в нижнем этаже, но для первого случая вполне удачную.

Искал работу, девицы помогали, доброхотствовали, звали вечерами пить чай, таскали с собой в театр, однажды и он водил всех троих в кондитерскую: угощал кофе с пирожными, замечательно вкусными, в виде миндальных трубочек с заварным кремом, но не просто белым, сливочным, а чуть с желтизной и запахом лимона. Каждая трубочка восемь копеек. Прокутил изрядно: рубль с лишком. Но Николай Васильевич не жалел нисколько, потому что к девицам все больше располагался. И это для ко дню убеждался, что девицы не такие уж собственно девицы, щебетушки, каких в Петербурге тьмы тьмушки, а самостоятельные молодые дамы, вольные не только в поведении (они ему, как родному, многие свои огорчения порассказали!), но и в мыслях и рассуждениях. А это для Николая Васильевича всегда было самое ценное. Были у них и какие-то связи секретные, знакомства удивительные, он догадывался. Одна проговорилась, будто знает студента, который дружен с кем-то, кто хорошо был знаком с кучером черного рысака, унесшего убийцу Меэсидева. Другая рассказывала про таинственную газету под названием «Земля и воля», которая вышла недавно первым номером. Держала ее в руках ровно одну минуту, тут же отняли, понесли кому-то показывать — человеку, близкому ко двору, но, говорят, либеральному и порядочному, — но даже беглого взгляда достаточно: за одно чтение такой газетки Сибирь и рудники обеспечены. Ах, загорелось: глазком бы взглянуть! Ведь судьбу переменить — не значило же опять куда-нибудь в присутствие затолкаться, штаны просиживать.

Была мечта скрытая, долго молчал, не решался, наконец попросил: нельзя ли познакомиться с кем-нибудь из тех? Недоумевали: это из каких же из тех? Ну, из тех, из ваших, знакомых с теми, которые знают тех, самых главных тех. Девицы смеялись: «Эх вы,

какой, Николай Васильевич, да еще Клеточников! А может, вы как раз насчет «клеточки» и хлопотете? Из того здания у Цепного моста?» Все смехом, шуточками. Никаких тех не знаем и знать не желаем. Мы честные девушки, нам это все неинтересно, мы любим кофе с миндальными булочками и французскую оперу... Но все же любопытно бы знать: а для какой корысти те бы понадобились? Кое-как объяснил. Насчет давешнего своего: переменить судьбу. «Скучно жить на этом свете, господа!» — как сказал тезка. Прошло дня три, девицы его находят, зовут. В комнатке сидит молодой человек, коренастый, лицо спокойное, незаметное, волос русый, глаз внимательный: Петр Иванович.

— Так что же, Николай Васильевич, в Крыму, стало быть, дела не нашлось? — На столе перед Петром Ивановичем бутылка пива, стакан, тарелка с огурцом и котлетой, и он, вилку вонзя, котлету ножом казнит. А ведь по правилам хорошего тона. И вдруг Николай Васильевич ухмыльнулся, сообразивши: если этот из тех, значит ему только так и никак иначе — ножом.

— Дела-то есть... Да — скучные дела...

И не может оторваться от ножа с котлетой, глядит, похолодев.

Поговорили про Крым, про то да се. Николай Васильевич набирался духу, наконец спрашивает: что бы такое найти, чтобы польза была? Очень бы хотелось именно такое, полезное, потому что — жизнь уходит, здоровья нет, да и ничего по сути-то дела нет, а есть одна голая бесполезность. Петр Иванович подумал, подумал и говорит:

— Знаете что, Николай Васильевич? Есть у меня одно предприятие, только пока что не работа, а так. А работа пабежит в дальнейшем. Вот адрес: угол Невского и Надеждинской, дом Яковлева. Живет там некая Кутузова Анна Петровна, акушерка, вдова полковника, промышленяет тем, что сдает комнаты жильцам, по преимуществу молодым людям. И есть подозрение, что сия Анна Петровна оказывает услуги Третьему отделению, ибо несколько курсисток, живших в ее квартире и привлеченных к дознанию по разным пустякам, говорят, что кое-чего полиция никак знать не могла, а — знает. Вот и подозрение, то ли его подтвердить, то ли рассеять. Потому что дело серьезное, и надо людей об этой шутке предупредить. Согласитесь поселиться у Анны Петровны под ви-

дом... да под каким особенным? Под вашим собственным и поселиться. Приискиваете работу. А может, она вам и найдет. У нее связи имеются.

— Понимаю. Скажите, Петр Иванович, а вот, так сказать... У кого подозрение-то возникло?

— Насчет Анны Петровны?

— Именно так. Кого, так сказать, сия загадка интересует?

— Меня, меня крайне интересует. Меня, Петра Ивановича. Мне и расскажете, если что удастся разузнать.— И глазами твердыми уперся в глаза, глядит, не мигая, черт какой-то. А ведь смело завернул! Рискованный господин.

Полезьа тут несомненная и перемена судьбы, потому что Третьим отделением пахнет. Но — у Николая Васильевича даже сердце слегка заколотилось — будет ли сил поднять? Вот о чем, сконфузясь несколько, бормотал:

— Боюсь не по Сеньке шапка... Тут ведь особое умение, войти в доверие...

— А вы попробуйте. Очень это нужно — мне, Петру Ивановичу.

Анна Петровна Кутузова оказалась дамой, что называется, в «последнем соку». Ее щеки и шея наливного, брусничного цвета постоянно блестели от того, что она мазала их каким-то кремом, очень жирным, похожим по запаху на крем Дриммера. По квартире бегала в капоте, с головой, обвязанной полотенцем, и только вечером капот заменялся другим капотом, более напоминавшим платье, а полотенце снималось, обнаруживая жиденькую постройку из сивовато-русых волос. С первого взгляда Николай Васильевич догадался, что та же грусть: волос падает. На эту тему и беседовали в начальных разговорах. Затем Николая Васильевича стали звать на чаек и на карточки. Анна Петровна обнаружилась лютой картежницей: могла сидеть за стуколкой до полуночи, до часу, а уж если карта ей шла, то отодраться от нее возможности не было. Чуть ли не выселеньем грозила: «Нет, государь мой, вы карточки не любите, буду других жильцов приглядывать!» — хохотала, лукавила остренькими глазками, а партнеры бледнели, Николай Васильевич замечал.

Играли обыкновенно вчетвером: отставной штабс-капитан Рында, старуха Богданович или же Вавичек, вольно-

слушатель из поляков, и Анна Петровна с Николаем Васильевичем. Иногда четверых не набиралось, тогда Анна Петровна заставляла Николая Васильевича играть с нею вдвоем. Роняла карты, он лез под стол, шарил по полу в коварной близости от могучей Анны-Петровниной ноги в лавандовых облаках. Как-то капот отпал, открылось розовое, в шелесте, в белых кружевах: Николай Васильевич, поспешно стукаясь макушкой, выдирался из-под стола. Скоро Анна Петровна примирилась с тем, что от нового жильца ничего, кроме мелких выигрышей в стуколку, ей не перепадет. Но мелкие — зато регулярные! — эти выигрыши и были нынче ежевечерним сладострастием Анны Петровны. Она не огорчалась теперь, если и не собиралось четверо. С Николаем Васильевичем, мужчиной тихим и безответным, играть под чаек с рябиновкой было куда как хорошо, даже, пожалуй, еще наслаждительней, ибо с томностью ожидалась в конце непременно радость: выигрыш рубля, а то и двух. Николай Васильевич играть в карты не любил, не умел, плохо запоминал и порой во время игры отлетал мыслью далеко, задумывался почти с ужасом: «Да зачем же я сижу здесь, жалкий человек? Приговорен я, что ли, с этой душой вечера убивать?» Анна Петровна, наслаждаясь, успевала, однако, и сама болтать и расспрашивать. То про мужа рассказывала, полковника артиллерии, из семьи знаменитого Кутузова, только не фельдмаршала, а другого, розенкрейцера, красномольника («Мы все, Кутузовы, вольнодумцы, у нас это истаря ведется!»), то заводила разговор про молодых жильцов, студентов и курсисток, которых очень жалела и всячески оправдывала. Николай же Васильевич стрижёных девок не уважал, называл их стригулистками, говорил, что, будь его воля, всех бы по монастырям заточил, пускай бы там полезное делали, монахам портки стирать — и то лучше. Анна Петровна не соглашалась. Спорил.

Но ничего и никак узнать про то, о чем просил Петр Иванович, не получалось.

Надоело Николаю Васильевичу — что он, панялся, в самом-то деле? — и решил от тошнотворной бабы съезжать. Сказал: работа не подыскивается, жизнь тут дорогая, последнее проживешь, надо возвращаться в провинцию, то ли к себе в Пензу, то ли в Крым, в тепло. Анна Петровна всполошилась. Такой милый жилец норовит утечи! И тихий, и непьющий, платит основательно, дур-

ных людей не водит и, главное, каждый вечер безотказно: хоть копейку, да принесет. Неужто в таком городе огромнейшем службы не найти? В том и лихо, что нету. Тут знакомства нужны, иначе никак, нет уж, лучше в провинцию, в простоту — там хоть нет таких роскошных кондитерских, газовых фонарей да французских артисток, зато люди добрые и житье дешевле. А ежели мы вам... Что? Подыщем что-либо подходящее, в случае чего. К примеру что же, Анна Петровна? К примеру, к примеру... — Поглядывала лисовато, красненьким брусничным глазком. — Есть племянник, к примеру, Гусев. Служит в Третьем отделении, человек уважительный, может поспросить. Авось чего есть там-то?

Николай Васильевич едва не подпрыгнул. Вот! Проговорилась, старая кляча. Значит, все верно, Петр Иванович прав: вдовица оттуда. В тот же вечер Николай Васильевич побежал, как условились, в квартиру на Песках и велел сказать, что хочет видеть Петра Ивановича. Просили прийти на другой день. Петр Иванович выслушал сообщение Николая Васильевича как будто без особенной радости, а когда Николай Васильевич сказал: «Ну, слава богу, теперь можно от этой Цирцеи бежать», Петр Иванович поглядел с изумлением: «Как — бежать? Пока не зачислены в штат Третьего отделения, бежать никуда нельзя». Николаю Васильевичу показалось, что ослышался. В штат? Третьего отделения? Шутка, вероятно? Никаких шуток, крайне серьезно, и даже гораздо серьезней, чем можно подумать. Поступить на службу в Третье отделение, в этот вертеп зла, в логово змей, сколопендр и всяческих гадин? Хотите, чтоб бедный Клеточников, которому и так не везет, и так судьба бьет его смертным боем, превратился бы, как Одиссеевы товарищи под Цирцеинными чарами — в свинью погапую? Да побойтесь же бога, милый Петр Иванович, пожалейте сироту, не просите невыполнимого. Ведь если просить будете — отказать нельзя, а если отказать нельзя — тогда гибель, конец.

Бормотал жалобно, в мыслях паника, а в душе, из глубины неведомой поднималось ликование: нет, не кощед, а начало, и а ч а л о! И знал уже, что согласится.

Петр Иванович слушал:

— Понимаете ли, Николай Васильевич, в чем горе: шпионов засилье. Расплодилось их на казенный счет — сила неборимая. Взять хоть дом, в котором вы живете, угол Невского и Надеждицкой: ведь там гнездо. А сколь-

ко таких домов по Петербургу? Да у нас на каждого честного человека по три шпиона, ей-богу, не менее, по улицам шныряют, в университете толкуются, в трактирах сидят, на конках катаются. Недавно в «Новом времени» стишок Некрасова покойного напечатали — не читали? «Праздному» называется. Без последней строфы, но нам-то она известна.

И прочитал, глядя на Николая Васильевича твердо-голубым, неотклонным взглядом:

Что сидишь ты сложа руки?
Ты окончил курс науки.
Любишь русский край.
Остроумно, интересно
Говоришь ты, мыслишь честно,
Что же, начинай!
Иль тебе все мелко, низко?
Или ждешь труда без риска?
Времена не те!
В наши дни одним шпионам
Безопасно, как воронам,
В городской черте.

Вот и надо, чтобы стало им небезопасно. Стрелять их, как псов бешеных. Только в этом спасенье. Иначе честным людям житья не дадут...

Николай Васильевич догадывался, что под «честными людьми» Петр Иванович подразумевал людей определенных. Спрашивать о догадке было не деликатно. Он слышал, что месяца два или три назад в революционной партии произошел разгром, арестовано много видных людей, вожakov, и уж конечно делалось это не без помощи шпионов: озлобление Петра Ивановича против мерзких существ вполне понятно.

— Если бы, Николай Васильевич, удалось вползти к ним за пазуху, а еще бы лучше — в нутро, в кишки...

— Попробую, Петр Иванович, — сказал Николай Васильевич, ужасаясь собственного голоса.

Вдова обрадовалась, узнав, что жилец, подумавши основательно, дал согласие. Племянник был приглашен в ближайшие дни. Это был рослый, плотный, сильно лысый субъект пожилых лет, который по виду мог бы быть мужем Анны Петровны. Из разговора выяснилось, что он женат вторым браком, у него пятеро детей, трое от первой жены, умершей при родах, и два сына от второй жены, немки, дочери фабриканта. Пили чай с вареньем, разговаривали о событиях, Николай Васильевич ругая, как

обычно, стриженных девок, Анна Петровна защищала. Племянник внезапно, безо всякого перехода, угрюмо и, как показалось Николаю Васильевичу, с неудовольствием произнес: «Так что пожалуйста в пятницу к господину Кириллову!»

Было видно, что тетка имеет на племянника влияние, тот выполнял ее просьбу через силу, не смея ослушаться. После его ухода Анна Петровна намекнула: он, мол, у нее в кармане, все сделает, что велят, потому что ждет от нее наследства. Николай Васильевич еще подумал: «Не дождется, бедный! Пережить такую бабищу — задачка...» Однако ночью, лежа без сна, вспоминая и обдумывая, потя от страшных мыслей, Николай Васильевич решил вдруг, что Анна Петровна все ему наплела: пикакой он ей не племянник и не ждет наследства. Да, да, наплела. Зачем бы это? И что ж этого субъекта с нею связывает, отчего он так послушен? Внезапно пришла простая догадка: да потому и послушен, что она его чипом выше. Когда утвердился в этой догадке, стало еще страшней, потому что: для чего же он-то, Николай Васильевич, места не имеющий жалкий чиповник, попалобился зловещей особе? В чем интерес для нее? Неужто только лишь по рублю клевать в стуюлку? Нет, другое что-то. Чувял Николай Васильевич, что вползает в какую-то страшную игру, в неведомую сеть: вроде хочет кого-то запутать, поймать, а его самого в то же время ловят и путают. Сна не было, и отступления не было, и выхода никакого! Успокаивался на одной мысли: польза под конец жизни, вот она, польза, грозная, ледяная, смертью дышащая, от нее поджилки трясутся, душа замирает, хочется «мама!» крикнуть, все так, да ведь бесполезность еще смертельней и ледяней. Бесполезность — это уж совсем лед, кровь застывает. Заснул под утро, маялся в кошмаре: Анна Петровна представлялась в зверином непотребстве, то с мордой кошачьей, с клыками во рту, то с эполетами на плечах, а то — капот параснах и ляжки белеют в синеватых лягушечьих разводах...

Господин Кириллов, заведующий агентурной частью Третьего отделения, беседовал с Николаем Васильевичем не так уж долго, но как-то странно, зигзагами, точно вел не простой разговор, а нечто неприятно-многозначительное, каждое слово с задней мыслью, в некотором роде *д о з н а н и е*. Шут его знает — может, разучился человек разговаривать по-простому, непременно с подвохом да

подковыркой? Например, интересовался: «А зачем вам понадобилось в семьдесят третьем году ездить в Вену на выставку?» Так как особых причин для той поездки у Николая Васильевича не имелось, то и объяснить зачем было совершенно невозможно, Николай Васильевич краснел, мялся, бормотал невнятицу, а господин Кириллов, кажется, торжествовал: ага, поймал! Внешность господина Кириллова могла бы показаться кому-то замечательной и выдающейся — большой лоб, нос длинный, греческий, усы и бакки черные с проседью, — но для Николая Васильевича в этом красивом лице было отталкивающее. Белизна почти мертвенная, бескровная. Когда-то мальчишкой лазал в пещеры, в заброшенные каменоломни, и там в потемках находил жуков и растения, не имевшие цвета, беловатые, слепые. И вот эта белизна — принадлежность к подземному, тайному — была на лице Кириллова. Моргая тяжелыми веками, господин Кириллов вдруг спросил:

— А как здоровье, Николай Васильевич? Не жалуемся?

— Нет. Отчего же? — как бы даже обиделся Николай Васильевич, а у самого дух занялся: экий мудрец, чего спрашивает. Да что за дело его насчет здоровья интересоваться?

Кириллов тут же объяснил строгим голосом:

— Нам больные люди определенно не нужны. Я смотрю, у вас наружность не сказать, чтоб очень цветущая. — Бесцеремонно щурясь, оглядывал. — Чахотки нет? А то заразите людей. Может, с этой целью и подсылают: перезаразить все Третье отделение к чертям, ненавистное, а? А? — Смеялся, выставляя зубы.

Николай Васильевич качал головой и руками махал: нет, нет, ничего подобного! А сам думал, содрогался: «Ну и народ! Ну и публика! Монстры какие-то. Гадилы отвратительные. Как же работать? Невыносимо. Неужто все там такие?» Кириллов меж тем достал из железного шкафа листок бумаги и толкал его щелчком пальца через стол, по стеклу: типографским шрифтом было напечатано «Письменное заявление». Ниже следовало заявлять, чтобы приняли в секретные агенты с жалованьем 30 рублей в месяц. Николай Васильевич заявил. Господин Кириллов поставил свой росчерк и, спросивши, кого на первый случай Николай Васильевич мог бы иметь в виду, велел приходить в понедельник, к десяти.

24 января Николай Васильевич встретился с Петром Ивановичем и все рассказал. Об одном предупредил: если

от него потребуют предательства или выдачи кого бы то ни было, он тотчас выйдет в отставку. Служить в тайной полиции! Да если б еще недавно кто-нибудь ему сказал: «Вы, Клеточников, с января начнете получать деньги в Третьем отделении», он бы посмотрел на человека с диким изумлением, как на полного идиота. А то еще, гляди, всади́л бы пощечину.

Петр Иванович улыбался мягко и дружески.

— Милый Николай Васильевич! В наши дни все так быстро и неостановимо меняется, ничего удивительного. Я, например, еще недавно жил в какой-то дыре в глухомани с беспоповцами, читал раскольничьи книги, совершал их обряды, и вдруг я здесь, в столице — курю дорогие папиросы, пью пиво и разговариваю запросто с сотрудником Третьего отделения. А? Разве не удивительно?

Николай Васильевич кивал уныло, как бы говоря, что он понимает шутку, но от этого ему не легче. Затем Петр Иванович сказал, где и как они будут встречаться, просил соблюдать очень точно назначенные дни и часы, а также обращать внимание на условные знаки, выставляемые обыкновенно на окна: то в виде книги, то лампы или какой-нибудь вазы с цветком. Вдруг спросил, сильная ли у Николая Васильевича близорукость и хорошо ли он видит в очках? Николай Васильевич сказал, что близорукость порядочная, очки слабоваты, но ничего, привык.

— Очки надо менять, — сказал Петр Иванович.

— Да, да, я знаю. Я имею в виду. Как-нибудь надо зайти к доктору...

— Очки нужно менять немедленно, — сказал Петр Иванович строгим и неприятным голосом. — Ваше зрение теперь не только ваше, оно принадлежит и другим. Вот вам адрес врача. — Вырвал листок из памятной книжки и дал Николаю Васильевичу. — Денги у вас есть, чтобы заказать сейчас же? Очки в хорошей оправе стоят пять с половиной.

Николай Васильевич, пряча листок в карман, произнес твердо давно заготовленное и все равно гадкое, но — выхода не было. Насчет того, чтобы получить, если есть возможность, взаимобразно ну хотя бы рублей двадцать. Потому что за комнату платить и, вообще, глотнуть немного петербургской жизни: а то каждый вечер в эту стучолку, фуколку, все средства профукал. Выговорилось как-то длинно, развязно и вместе жалобно, отчего, Николай Васильевич почувствовал, лицо залилось краской. Но

выхода не было. Петр Иванович кивнул все с тем же серьезным видом и, вытащив кошелек, отсчитал двадцать рублей и дал Николаю Васильевичу. Затем записал что-то в памятной книжке.

— Так,— сказал Петр Иванович.— Пожалуйста. И долги, вероятно, накопились?

— Долгов-то нет. Я долги избегаю, просто даже не терплю. А знаете ли, пойти с девушками, знакомыми — да они и ваши знакомые, на Песках, помните? — ну вот, в кондитерскую, на Невский...

— Это я вам не советую. Это нужно оставить.

— Почему оставить? Ваши же знакомые! Милые же какие, курсистки, вполне радикальные...

— Оставить, оставить, Николай Васильевич.— Петр Иванович, улыбаясь, делал рукою мягкий, успокаивающий жест, будто разговаривал с ребенком.— Вы теперь, извините за сравнение, Николай Васильевич, как женщина в интересном положении, должны всю жизнь свою перестроить. Лучше дома сидите. А то, не дай бог, споткнетесь или поскользнетесь на ровном месте. Зачем нам это нужно? Девуц этих я, конечно, знаю. Ничего в них особенного, пустынькие девицы. Забыть про них.

Вечером того же дня, 24 января 1879 года, Петр Иванович — он же Александр Михайлов — открыл тетрадь в розовой обложке с надписью «Кассовая книга Об. «З. и В.». Сюда заносил все мелкие, иной раз и крупные, рублей до ста, а однажды, в декабре, даже двести пятьдесят, отправленные в Саратов на поселение, расходы общества «Земля и воля». Тетрадь завелась три месяца назад, первые записи были, пожалуй, комические: «Пальто два и две шапки — 39. Две пары сапог и калош — 16». «Воробью (то есть Коле Морозову) на жизнь — 20». Но среди декабрьских трат уже значились пешуточные, под маленькой пометкой «дез.» — «дезорганизация». На третьем листе записал: «Января 24. Долг Льву — 17». (Утром встретились с Тихомировым.) И ниже: «В долг агенту — 20».

Итак, с завтрашнего дня страшный человечек — там, у Цепного моста! То, что казалось невероятнейшим, произошло. Чем же он их проиял? Почему так за него схватились — и Кутузова, и тот чиновник, будто бы родственник, и сам Кириллов? Влезть туда очень трудно, немисливо, а он — вроде бы без труда. Значит, есть в нем

что-то, невидное простому зрению, скрытые таланты, что-то мыльное, вазелиновое, позволяющее скользить и проникать. Очень интересно. Безумно интересно. Главный интерес, разумеется, впереди, а пока что — молчок. Рано торжествовать. Молчок, молчок. О нем не узнает никто из самых ближайших. Тем более теперь, когда страсти накалены и возникает положение, напоминающее лебедя, рака и щуку. Общество может просто разорваться преждевременно на куски, как худо приготовленная бомба. В октябре схвачены такие бойцы, как Ольга Натансон, Адриан Михайлов, кучер «Варвара», Обошешев, Малиновская, Булапов, Маша Коленкина — Маша, отважная душа, отстреливалась. Несчастье как будто сплотило уцелевших, но ненадолго. На собраниях — ничего, кроме пререканий, взаимных укоров и чуть ли не оскорблений. «Револьверщики» и «деревенщина» — вот два полюса, по которым разрывалось, треща и лопаясь, славное общество. И это значило, что о странном человечке Николае Васильевиче — ни тем, ни другим. Гробовая тайна. Ведь тут может быть самый громадный успех за последние годы, а может быть — крах, новые смерти. Что в нем привлекательного? Во-первых, то, что приезжий, провинциал, без родственников, без друзей, никаких связей и обязательств. Лучшие люди для дела — окаянные одиночки. Но это столь же прольстительно и для Третьего отделения. Во-вторых, непьющий, некурящий, смирный, вялый, слабогрудый, с курчавой бородкой и бледностью монашка. Облик очень важен. Когда этаким хилый, да ладап дышащий предлагает свою жизнь для общей пользы — это серьезно. Когда примерно то же предлагал Мартыновский или такой здоровило, как Шмеман, поневоле задумаешься: не игра ли тут, не театр ли шиллеровский? А кроме того, обнаружилось, что — образован, читал философов, о Парижской коммуне говорил однажды с восторгом.

Так размышлял, то окрыляясь надеждой и торжеством, то погружаясь в тревогу, Александр Дмитриевич Михайлов, прозванный Дворником. Перед сном, как обычно, забаррикадировал дверь шкафом и столом, под подушку положил заряженный револьвер.

Та польза, о которой хлопотал Клеточников, стала проявляться с отчетливой и необыкновенной быстротой. Не прошло и нескольких дней, как агент предупредил о готовящихся обысках у курсисток и студентов: всем удалось сообщить, но в одном случае какая-то радикальная

пидютка чуть не погубила дело. Вздумав поиздеваться над жандармами, пришедшими с обыском, она сказала насмешливо: «А, здрасте! Мы вас давно ждем!» Жандармы не нашли, разумеется, ничего предосудительного, кроме этой насмешливой фразы, которую сообщили начальству, и в Третьем отделении случился переполох: кто мог предупредить студентов об обысках? О готовящейся акции знали лишь Кириллов, его помощник Гусев, Клеточников и одна курсистка, предложившая услуги в качестве доносчицы. Кириллов и Гусев вызвали нового агента для сурового пытанья, и Клеточников — сам поразился своему хладнокровию! — твердо сказал, что разболтала, конечно же, курсистка. Вызвали ту, она растерялась, в слезы, все стало ясно, ее прогнали, Клеточников вышел сухим из воды. Но после этого едва не рокового случая землевольцы задумались: все ли сообщения агента нужно использовать для немедленного действия? Терять такого человека — его ценность увеличивалась с каждым днем, в геометрической прогрессии — было бы преступлением.

Ну разве не драгоценность те два десятка фраз, переданных Клеточниковым в конце января, сразу же по прибытии на место службы?

«В конце 78 г. писарь с фабрики Шау (за Нарвской заставой) Федор Францев, дал одному рабочему письмо от имени домашнего учителя Петра Николаева (шпиона) к Францу Матвеевичу Федоровскому (угол Казачьего и Загородного, 60/10, бельэтаж, 6 окон, три входа в дом), присяжному поверенному (бывшему). По этому письму рабочий явился к Федоровскому. Федоровский, узнав, что рабочий этот бежал из ссылки, принял в нем живое участие, дал ему 16 р. денег; спрашивал, не знаком ли он с работающими в «Вольной Русской Типографии», просил, не может ли познакомить с ними, так как, мол, я слышал, что они нуждаются в деньгах, и при этом, открыв шкатулку, показал векселей на 20.000, запрещенные издания и предлагал ими пользоваться. «Как бы мне познакомиться с самым главным-то, кто у них всеми делами-то управляет — я бы с ним в компанию вступил», — говорил он.

У Федоровского несколько раз был в гостях и почевал воспитанник учительницы Александровой (из Москвы), болтал и был обыскан ночью Федоровским. Федоровский одел его на свой счет.

Федоровский несомненно шпион. Приметы его: лет 40—45, брюнет, роста ниже среднего, католик, борода клином, есть бакепбарды...»

Все так, золотые россыпи, но дело пока еще не шло о жизни и смерти. Однако скоро, в начале февраля, возникла смертельная необходимость в агенте: завертелась история с Рейнштейном, слесарем. Михайлов его несколько знал, как знал многих из «Северного союза русских рабочих». Рейнштейн был послан в Москву для организации рабочего союза (филиала) там, но в Москве вскоре случился провал, были массовые аресты; Рейнштейн вернулся в Питер в начале февраля, числа шестого. Между тем в конце января был арестован вожак «Северного союза русских рабочих», Обнорский, а в середине февраля — Клеменц, один из редакторов «Земли и воли», за которым полиция охотилась безуспешно и долго. Эта цепь провалов вызвала подозрение. Обратились к агенту. Его раскопки принесли ошеломительные результаты: виновником московского разгрома, арестов Обнорского и Клеменца оказался Рейнштейн. Агент сообщил, что в Москве Рейнштейн получил несколько сот рублей от полиции, и, удачно справившись с московским подпольем, он будто бы обещал за тысячу рублей так же ловко разделаться с петербургскими революционерами. Помогала ему в этих предприятиях жена, Татьяна Алексеевна, бывшая любовницей Обнорского. Вот какие прелестные новости были узнаны в середине февраля, и тут же принято решение: Рейнштейна казнить.

15 февраля Михайлов записал в розовой тетрадке: «Родионычу спец. дело — 100». 21 февраля другая запись: «Оружие холодное — 20».

26 февраля шпион Рейнштейн, возомпивший, что совсем нетрудно заработать тысячу рублей на костях революционеров, был убит в Москве, в номере бывшей Мамонтовской гостиницы.

Когда Родионыч вернулся в Питер, он долго не мог связно рассказать, как все это произошло. Никто и не спрашивал. Потом сам стал рассказывать, и каждый раз начинали дрожать руки, краснело лицо, он задыхался, будто в приступе астмы. «Проклятая печавщина...» — однажды пробормотал. Совсем уж целепость! Пришлось объяснять, что печавщиной здесь не пахнет, что студент Иванов, убитый Нечаевым, никаким шпионом не был, а был лишь соперником Нечаева и спорщиком, а Рейнштейн

принес столько зла — да что говорить! Родионов все это попимал, но, кажется, где-то в глубине, душою, дрогну. Как раз в это время обсуждалось новое дело, новая нечуждая кровь: казнь Дрентельна, заменившего на пост шефа жандармов Мезепцева. Один Плеханов из членов Совета угрюмо воздерживался. Покушение вышло неудачным. Леон Мирский стрелял в Дрентельна на скаку, в Невском, не попал и умчался, это вызвало небывалое оплошенье властей: Петербург дыбом, облавы, аресты. Противники террора — Плеханов среди них первый — вновь подняли шум: «Вот результаты разбойничьей тактики! Мы гибнем!» Но главный словесный террорист Коля Мерзлов напечатал статью в «Листке Земли и воли», где черным по белому было сказано: «политическое убийство — это осуществление революции в настоящем». Все это знало, что разрывание общества продолжалось и коверкалось.

И тут как раз подоспели два удачливых молодца и южан: Гольденберг и Кобылянский. В феврале Григорий Гольденберг застрелил харьковского генерал-губернатора Кропоткина. Кобылянский ему помогал. Это было дело Осинского, то есть предприятие «Земли и воли», и хотя Валериан был уже в тюрьме — его руки действовали, его пистолеты стреляли. Кобылянский оказался молодым и ренастым поляком, он плохо говорил по-русски, и, стесняясь этого, часами упрямно молчал, зато Гольденберг говорил за десятерых. Его речь была по-южному торопливой, напевной, с резко меняющимися интонациями, как говорят в Киеве и в Одессе. Гольденберг очень гордился делом Кропоткина, много раз пересказывал одно и то же, с подробностями, и, когда, размахивая руками, впадал в особенную агитацию, на его губах даже прыгали пузыри.

Он чувствовал себя героем и любил, чтобы его водили по нелегальным квартирам, поили водочкой, и он бы болтал, болтал, болтал. Было похоже, что Гришка слегка очумел. Вдруг заявил — когда собрались впятером, он, Кобылянский, Михайлов, Квятковский и Зунделевич в одном известном трактире, где можно разговаривать свободно, относительно свободно, — что он приехал в Петербург неспроста. Пусть никто из товарищей не удивляется. Он решил нанести последний удар. Убить медведя. Доделать то, чего не доделал Митя. И не надо отговаривать, никаких разговоров, молчание, полное молчание.

«Медведь мой! — Стучал кулаком, пузыри прыгали. — И я его никому не отдам!»

Михайлов после одной из трактирных встреч сказал Квятковскому:

— Не знаю, говорить ли нашим в совете? С одной стороны, мы обязаны сказать...

— Пока не говори.

— Не стану. Но представляешь, что будет, если они узнают не от нас? Страшно подумать!

Решили пока не говорить. Да и делом еще не пахло, разговоры, похвальба. Правда, в Гришке при его склонности к трезвону и хвастовству была какая-то скрытая сумасшедшая сила: мог сдуру, наплевав на всех, кинуться в самое безумное. Нельзя было выпускать его из вида ни па день. И тут явился Соловьев. В Питер приехал он раньше Гришки, чуть ли не в декабре, но возник на горизонте и стал разыскивать Михайлова в марте. Все они чуть что начинали разыскивать Михайлова. Нашел, признался в своем твердом намерении: таком же, как у Гришки. Для того и приехал, бросил Саратов, поселение, друзей, никому ничего не сказал. Как быть? Пришлось знакомить с Гришкой и Кобылянским, обсуждать вместе — прежних пятеро и шестой Соловьев.

Но совету все еще — ни слова!

Опять трактир, тот самый. Задняя комната, стол с бутылками пива, копченая рыба и — тяжесть, духота переговоров. Тяжесть от того, что — он, Квятковский и Зунд не переступали в неведомое, оставались жить, а эти трое рвались туда, за черту. Михайлов знал, что и он будет там, за чертой, и наверное, скоро. Но еще не сегодня. Будто каким-то мечом, павшим с небес, разрубил надвое: трое сели на одной стороне стола, трое других напротив. И у тех, других, даже лица другие. При свете свечей — неживое что-то, застылое. Гришка попросил водки. Квятковский стучал в стенку, прибежал Федька, половой, приносил графин, никто не пил кроме Гришки и Кобылянского, но и эти двое не пьехали. Советовать им было не с руки. Сами должны решить, как и что делать. Соловьев твердил: он не отступится, пужек лишь сильный револьвер и яд. Может ли общество дать ему револьвер и яд? Они трое не могли отвечать за общество. Зунделевич сказал: стрелять не должны ни еврей, ни поляк, начнутел погромы. «Я знал, что вы это скажете!» — у Гришки исказилось лицо. Кобылянский отпал, Гольденберг

упорствовал, но всем стало ясно, что стрелять ему не дадут. Тогда Гришка стал просить Соловьева, чтобы тот решил ему быть запасным стрелком, Соловьев не соглашался: в этом деле (он все продумал) надо действовать моментально и в одпочку. Чем больше участников, тем скорее провал. Михайлов со страстным вниманием глядел на этого человека: знал его раньше, но теперь ему казалось, что не знал никогда. Соловьев с его серым, испытанным от первого напряжения лицом был похож на мелкого чиновника, проигравшегося дотла. Худыми пальцами пощипывал жидкие регистраторские усики. Разговаривал едва слышно: «Единственное, что мне нужно — яд». Заботился не о жизни своей — о смерти.

На самом-то деле нужно было много чего: а) организовать слежку, б) квартиру, в) оружие, г) лошадь для бегства, д) кучера. Все это Михайлов держал в уме, понимая, что без помощи общества не обойтись и видя наперед другое: получить помощь будет немыслимо трудно. Ведь шло к полному разладу. Однако все же не ждал встретить такое сопротивление и такую враждебность.

Родионыч чуть ли не кричал, что своей рукой убьет «губителя народного дела». Квятковский вспылал: «Мы тоже умеем стрелять!» В какую-то минуту Михайлов пожалел, что пришел с этим разговором, потом понял — так лучше, договорить уж до конца. Они требовали назвать фамилию. Михайлов не называл. И Плеханов, и Игнатов, и в особенности Родионыч кипели злобой к человеку, который был известен им лишь тем, что жертвовал собой, шел на мученья и смерть. Игнатов сказал:

— Я знаю, кто это: Гольденберг!

— Он сумасшедший! — кричал Родионыч. — Его надо связать и вывезти силой из Петербурга! В любом случае, удача или неудача, будет разгром всего движения. Вот запомните, я всех вас предупреждаю! Этот путь приведет нас к гибели!

— И это говоришь ты, месяц назад казнивший Рейнштейна?

— Да, да! Говорю я, казнивший Рейнштейна! И как раз потому, что знаю, что значит казнить, говорю о гибельности! — У него у самого был вид безумца. — И у меня рука не дрогнет...

Зувделевич, неизменно хладнокровный, толкая под столом, шептал:

— Пусть думают, что Гольденберг. Не опровергай...

Решено было ввиду разногласий никакой помощи обществом не оказывать, но некоторые члены, как Михайлов, Квятковский или Морозов, могут, если желают, помогать в частном порядке. И кроме того: всем нелегальным за несколько дней до покушения покинуть Петербург. В конце марта стали разъезжаться. Соловьеву достали яд, револьвер, купили большие патроны: сказали в магазине, будто для медвежьей охоты.

От всякой другой помощи — лошади для бегства, тайной квартиры и прочего — Соловьев отказался. Ночь с первого на второе апреля он провел у Михайлова.

Это была лучшая ночь перед смертью. Ясная, месячная. Натопили печь, открыли окно и разговаривали тихо. Никто не мог услышать. Да и о чем разговаривали? Просто так, о прожитой жизни, о детстве, о родителях, друзьях. Вспоминали саратовцев: ведь недавно еще были рядом, Михайлов в селе Синенькие под Саратовом, среди раскольников, а Соловьев волостным писарем в Вольском уезде. Мечтали, надеялись, верили фанатично в целительную и вековую мудрость народа. Михайлов грезил о какой-то новой, рационалистической секте, восхищался расколоучителями, Соловьев твердил о жизни «по справедливости», пародной правде, которая — там, в темных избах, в гуще крестьянской. И вот — года не прошло — оба здесь, в ненавистном Содоме, потому что все бесполезно, один выход: взрывать! Воздух очистится, и может быть, вся русская жизнь потечет по-иному. Никак иначе нельзя отомстить за друзей, никак иначе — вывести народ из оцепенения, из болотной спячки, из унылости тухлой, тысячелетней. Об этом не говорили, потому что слишком говорено раньше, все было ясно, очевидно, единственно.

Соловьев говорил: самая большая боль для него — муки родительские, не отвратить. Старики живы, в Петербурге. В пятницу он с ними простился, сказав, что уезжает в Москву. Никто им ничего не объяснит, да все одно: не поймут. Отец коллежский регистратор, лекарский помощник придворного ведомства. Постоянно — в страхе. Всю жизнь боялся нанести урон здоровью влиятельных лиц, трепетал малейших ошибок, случайностей, а сын его — с громадным револьвером для убийства...

Он был старше Михайлова лет на девять, но Михайлову казалось теперь, что — младше. Бородку он сбрил третьего дня. Ведь жизнь кончена. Ничего дальше не будет:

ни жены, ни детей, ни старости, ни любви. Михайлов еще надеялся, что у него — будет.

Никогда Михайлов не ощущал себя с кем-либо рядом — слабым. Всегда было сознание, что он сильнее, крепче на ногах, должен нести главный груз. И только в эту ночь...

Соловьев как будто понял, вдруг улыбнулся: в жидких усах, криво.

— Ты не гляди на меня, как на мученика христианского, которого — на растерзанье... Ведь и тебе — то же будет. Не завтра, так послезавтра.

— Да,— сказал Михайлов. И стало легче.

— Вот еще что. Скверная мысль, паскудная, но никак не уклонишься, вертится тут, как все равно... — Он отмахнулся, будто от осы. — А ежели напрасно, а? Ежели толку не будет? Все так и останется, как и было? Все то же самое в этом мире, только м и н у с я... Зачем же тогда?

Михайлов молчал. Он не мог опровергать это сомнение, такое человеческое, предсмертное, и не мог поддерживать. Он не мог ничего. Должен был молчать.

— Нет, это невозможно. Глупости, вздор! Никакая не мысль, а просто провокация на почве страха. — Соловьев и не ждал от Михайлова слов. Разговаривал с собой. — Человек так привязан к земле, что готов обманывать себя бессознательно. Я не боюсь смерти: это то, что мне твердо известно. И все ж боюсь, боюсь: это то, что я чувствую. Вот и выскакивают, помимо воли, разные мысли... Еще вот. Тоже мучает. Древние христиане, которых бросали в цирках на съеденье львам — где-то на дне их безумья, их веры, готовности страдать, не было ли капли тщеславия? Это горькая капля. Нет, нет, у меня этого нет совершенно, я лишен от природы! И когда я учился на юридическом факультете... Ведь в самом деле, если есть капля тщеславия и если ничего не взорвется, все останется на прежних местах — тогда зачем же? И огород городить чего.

Михайлов молчал. Соловьев тоже замолчал, потом спросил:

— Ты придешь завтра утром?

Он пришел и видел, как на тротуаре, ведущем от Певческого моста к Дворцовой площади, Соловьев, высокий, в чиновничьей фуражке с кокардой, в длинном своем пальто, стрелял в царя, тот бежал, делая прыжки в стороны, Соловьев стрелял еще, еще, все мимо, потом набросились, повалили, кто-то бил саблей, кричали.

В воскресенье, в первый день пасхи, Николай Васильевич Клеточников гулял с новым приятелем Чернышевым по Невскому. Заходили в портерные. Отказаться было пельзя: Чернышев уж очень одолел, пристаивал еще с пятицы, как узнал пасчет пособия, тридцати рублей, полученных Николаем Васильевичем от начальства. Ведь Николай Васильевич уже неделю на новой, прекрасной должности: переписчиком в агентурной части. Куда как лучше! И работа спокойней, и место тихое, всего трое в комнате, а там-то, в сыском, всегда шум, толкотня, дым коромыслом, агенты шныряют, дверьми хлопают, и, главное, не можешь знать, что тебе скажут через минуточку, куда поплут. Должность беспрекословная. А другим нравится, по роже видать: все ему мило, целый день на ногах, бегает саврасом, не спит путем, не обедает, где водочки хлыстанет, где пирожок, где рублик-другой казенный утаит, и доволен. Ах ты, господи, пришлось помыкаться два месяца полных, пока господин Кириллов не сообразил: у каждого человека свои дары природы. Николай Васильевич по этому делу тупица. Зато почерк необыкновеннейший, алмазный. И Николай Васильевич прилежно, хотя скромно и как бы вяло внушал: агент из него бесполезный, а вот по письменной бы части куда ни шло. Разрешилось: с конца марта, с понедельника Николай Васильевич в агентурной части вольнонаемным переписчиком. Пока еще не в штате, но обещают. Специальное пособие дали, три червонца, денежки немалые.

А Чернышев в той же комнате сидит. Человек малого роста, да нахальства немалого. Толстенький, молодой еще, глаза какие-то страшные, враскорячку, один глаз зеленоватый, другой — голубой.

То голубым глядит, все шутит, глупости разные, а то зеленоватым уставится — холодом обдаст. Пристал: пойдем да пойдем. Нехорошо с товарищами радостью не делиться, будто нехристь какой. Ежели вы, Николай Васильевич, человек православный и благородный, то обязанности о товарищах позаботиться, а не то что: схватил тридцатку и домой уполз, в берлогу гнусную, холостяцкую.

Терпел, слушал, сам болтал чепуху и поил Чернышева: в каждой портерной, как шли от вокзала правой стороной, остававливались. Вечер был ясный, теплый, истинно праздничный. Народ гулял, в портерных толкотня, веселье, хмельные чиновники, заводские рабочие в котелках, приказчики, дамочки, на улицах каретная гопьба,

крики, спешка, брызги черноты из-под колес, а из больших ресторатов, со вторых этажей, музыка летит. Николай Васильевич и сам немножко потягивал, лафитничка два, три, четыре, а то и пятый, чтоб не обидеть и не раздражить, то мозельвейна, то немецкого портера, то рябиновки под огурец, так что голова стала полегоньку пухнуть, соображение мутилось и возникало само собой сладкое удалство: вот она, петербургская жизнь, золотая, мечтательная! Но за всем тем помнилось: а шут его знает, кто таков? Хороших людей в этом гадюшнике не бывает. Толстяк был тоже холост, домой не спешил и намеревался, кажется, прокутить все товарищево пособие.

Николай Васильевич положил предел: шесть рублей. Да и то легкомыслие, это уж на полгода вперед. Это уж только потому, что нельзя отказать, подозрительно. Чернышев кого-то бранил, сварливо, с упорством пьяным, бессмысленным, Николай Васильевич не сразу разобрал, потом понял: Вольфа, столопачальника. «Это жаба, хамелеон подлый, вы его бойтесь, он наушничает. Слышите? Подальше от него. Я дурного не посоветую...» Николай Васильевич кивал, соглашался.

Вдруг, уставив зеленоватый глаз, цедил ледяным тоном:

— А я все про вас знаю, Клеточников. От меня ни-ни, не укроешься.

— Что я: вы можете знать? — смеялся Николай Васильевич. — Я человек откровенный.

— Все ваши секретности знаю.

— Ну и знайте на здоровье.

— Ах, вот вы как? — Чернышев будто бы сердился, по глазом голубым, веселым, уже шутил, проказничал. — А у кого дама сердца на Литейном проживает? Хорошенькая? Подруга есть? Велите, чтоб с подругой познакомила. Мне подруга нужна...

Николай Васильевич отшучивался, а у самого холодеет: болтает зря или вправду до чего донюхался? Никому же верить нельзя, все они там, гады воззучие, перекрученные. Может, он и не пьян вовсе, и ходить ему с ним, Клеточниковым, в светлый праздник по портерным никак не интересно, но — господи Кириллов послал? Неделю назад, сразу же, как перевели в агентурную часть переписчиком, Петр Иванович предложил ему посещать новую квартиру, где жила барышня Наталья Николаевна, одинокая. А он будто бы ее друг. Для всех понятно, и ни-

чего удивительного. Николаю Васильевичу очень понравилось, и барышня милая, тихая, бледненькая, на диване с книжкой, а они с Петром Ивановичем в соседней комнате. Но живет барышня вовсе не на Литейном, на другой улице.

Однако неприятное что-то колыхнулось, в голове прояснело.

— Никаких барышень знакомых на Литейном у меня, к сожалению, нет, — сказал со вздохом.

— А где есть?

— Да нигде нету. Я до барышень не охотник, и они до меня...

Чернышев стал тут же, с необыкновенной живостью и азартом тянуть Николая Васильевича к какой-то знакомой Рихтерше, в заведении. Насилу отбился. Чернышев, выпросив в долг, под честное-благородное слово три рубля, убежал.

На другой день, второго апреля, в понедельник, Николай Васильевич едва встал, голова раскалывалась, был одиннадцатый час. На службу мог не идти, но еще страстной пятницей договорился с начальником, что придет, побросает бумажки: ведь дело поручено огромное, из всех алфавитов составить один общий за десять лет. А еще обычной переписки каждый день горы. Когда ж успеть? На самом-то деле мацла замечательная праздничная пустота и тишь. Самое заветное переписать. Было что: в пятницу, поздним часом, доставлен список подозрительных, семьдесят шесть человек, который переписать тогда не случилось. И вот — спать бы, порошок бы каких-нибудь — а он тащился, ковылял, разбитый и жалкий, изумляясь: «Что ж это за люди такие, которые каждый день вино пьют? Каково здоровье надо иметь!»

Возле здания у Цепного моста творилось странное: подъезжали кареты, пролетки, оттуда выскакивали и божали опроретью к подъезду люди. Николай Васильевич определял: агенты. Некоторых узнавал. Зачем-то вызывают? В вестибюле кучками теснились чиновники, разговаривали вполголоса, возбужденно, на лицах — общее, одно, то ли переруг, то ли скорбная какая-то загадочность. Ага, вот и Вольф! Подбежал и, глаза тараща: «Покушение на государя... Слава богу, да, да — жив... жив... Схватили...» Произошло в десятом часу. Все сыскное отделение вызвано. Каццелиаристы и переписчики, разумеется, не нужны.

— А вы — как же? Не знали?

— Я не знал! Я совершенно ничего не знал! — лепетал Николай Васильевич, потрясенный, прижимая обе руки к груди. — Я своим алфавитом занимаюсь... Боже мой, в светлый праздник! Злодейство!..

Шел по коридору, шатаясь, держась за стенку. И правда, шатало: голова-то кружилась, во рту дрянь. Но в своей комнате, пустой, усидеть не мог. Рука дрожала, буквы не выводились. Вновь спустился на нижний этаж, там теснилось все гуще, у многих похмельные дикие лица, кто-то разгонял.

— Господа, вызванных прошу разойтись по комнатам!.. Всех прочих — по домам! Не мешать, господа, не мешать, не мешать.

Кто-то рыдающим голосом:

— В честь чудесного избавления... Ура-а!

Николай Васильевич кричал со всеми. Сердце колотилось. Возникла ужасная мысль: кто стрелявший? А вдруг? Прискакали из дома градоначальника, сообщили последнее: покушавшийся приведен в сознание, назвал себя Иваном Осиповым Соколовым. Ничего более не указал. Бил его шпагой и поймал офицер из охранной стражи Кох. Государь даже не ранен. Злодею лет на вид около тридцати, светлые усыки, самообладание фантастическое. Когда пришел в себя, сразу попросил папироску.

Николай Васильевич слушал, все более утверждаясь в ужасном: Петр Иванович! Он решил вдруг бежать к дому градоначальника. Но тут же понял, что безумие, попустят, невозможность. Мечась вниз, то сбегая по ступеням, то поднимаясь, не зная куда и зачем, вдруг увидел, как быстро, этаким клипом спускаются парадной лестницей начальственные лица: в острие клина помощник шефа, свитский генерал Черевич в полной форме, за ним господин Кириллов и адъютант Черевича жандармский капитан, позади еще двое в партикулярном платье. Николай Васильевич неожиданно рванулся к господину Кириллову (безумье, похмельный бред!) и пробормотал, прохрипел, а может быть даже крикнул:

— Позвольте, Григорий Григорьевич, содействовать! Ведь мог часом видеть и узнаю в лицо...

Господин Кириллов, на миг отстав от клина, воззрился металлическим взором.

— Где могли видеть?

— На Песках, в студенческих номерах, то есть собственно...

— Следуйте за мной!

Генерал Черевин с адъютантом поместились в первой карете, господин Кириллов и один из партикулярных господ сели во вторую и туда же по знаку, данному белой перчаткой господина Кириллова, всунулся Николай Васильевич. В начальственной карете пахло духами, как показалось Николаю Васильевичу, дамскими. Уловил запах крема «Греко». Партикулярный господин, видимо из агентов крупного чина, не теряя времени, докладывал: профессор фармации Трапп получил письменное предупреждение от злодейского комитета насчет того, чтобы воздерживаться от пыток арестованного при дознании, за что грозят смертью. Господин Кириллов, схватив протянутый агентом листок, пробежал быстро, ухмыляясь и как-то горделиво сверкая глазами.

— Запугивают, негодяи! Ах, маньяки! Ох, подлые души! А старик уже там, в доме Зурова, и делает все, что нужно. Собственно, сделал главное: спас злодея от смерти. Яд не подействовал...

У Николая Васильевича сжималось сердце. Было хорошо. Дыханье пресекалось. Он не чаял, когда доедут и можно вдохнуть воздуха. Лошади круто поворачивали, замедляли бег, карета наконец остановилась. В доме градоначальника встречали при входе. Повели через приемную и столовую в небольшой коридорчик, из которого дверь вела на черную лестницу. Поднявшись на один этаж, вопли в дверь с надписью: «Отделение приключений». Был длинный коридор, в виде галереи, с одной стороны сплошь окна, с другой белая стена и несколько дверей. Ближайшая дверь распахнута, в комнате толпилось много солдат в шинелях, с оружием: тут, по-видимому, была караульная. Белобрысый жокалый, бежавший впереди генерала, почему-то в парадном фраке, подскок к следующей двери и отворил ее со словами: «Он тут!»

Николай Васильевич был позади всех, остался на пороге, не в силах переступить. Зачем же пошел сюда? Ведь Петру Ивановичу не смеет ни словом, ни жестом обпаружить свое сочувствие и знакомство. Безумие продолжалось. Неодолимо тянуло: увидеть необыкновенного человека, которого успел полюбить, и хотя бы взглядом сказать. Он чувствовал, как охватывает,

одуряет озноб, ноги подкашиваются, и, однако, шагнул в комнату и увидел множество людей: статских, полицейских, каких-то военных в адъютантской форме. Слева у стены на кожаном диване полусидя, полулежа находился... слава тебе, господи, совсем другой! Нет, нет, не Петр Иванович, вовсе не Петр Иванович! Какой-то высокий, худой, с длинными светлыми волосами, заметно всклокоченными. Взгляд мутный, лицо измученное. Возле дивана на полу было набрызгано, стояла умывальная чашка с блевотой и в блевоте кровь. Кто-то сказал: давали противоядия. Николай Васильевич протеснился к господину Кириллову и дрожащим голосом объяснил: нет, человек незнакомый.

Господин Кириллов как бы не слышал.

Надо бежать отсюда. В коридоре какой-то молодой жандармский офицер рассказывал собравшимся, как он опрокинул стрелявшего ударом шпаги. «Повалился, а мы его молотить!.. Молотили, молотили... Во! — показывал изогнутую шпагу. — В ножны не лезет! Сломал к шутам!» Голос был ликующий. Кто-то спокойно обещал: «Ничего, другую дадут. Из золота...» Навстречу по коридору бодрым шагом, держа под мышкой портфель, спешил человек в вицмундире с судейским значком. Бежать, бежать!

К утру следующего дня добились — Николай Васильевич тотчас, как пришел на службу, получил сведения, — что стрелявший признал: зовут его Александр Константинович Соловьев, коллежский секретарь из дворян Петербургской губернии, имеет отца Константина Григорьевича, мать Татьяну Алексеевну, а также брата, служащего в Хозяйственном комитете Сенаата, сестер, и так далее. О себе показал подробно и верно, более — ничего и ни о ком. Видимо, кто-то вчера же его опознал. Мысль о цареубийстве возникла у него будто бы после покушения на жизнь шефа. В страстную субботу заходил на Дворцовую площадь, чтобы видеть, в каком направлении гуляет государь, в воскресенье совсем не приходил, а в понедельник произвел покушение. Ночь на второе гулял по Невскому, встретился с проституткой и почевал где-то у нее на Невском. Форменную фуражку купил в Гостином дворе. Револьвер подарил один знакомый, фамилию которого сказать отказался. Яд, цианистый калий, достал в Нижнем Новгороде года полтора назад и держал его в стеклянном пузыре. Приготовил его в ореховую скорлупу какануе покушения, и, когда били, он тотчас,

упав лицом на землю, раскусил орех с ядом, бывший во рту, а другой орех найдешь при обыске в кармане пальто.

Петр Иванович слушал сведения с окаменелым лицом. Не прерывал, не спрашивал, не видно было — новость для него или же знакома.

И только когда о проститутке — усмехнулся слабо и двумя пальцами слегка махнул, как бы говоря: «Не- правда!»

— Да. Чего я и боялся: выдохся яд, долго лежал...

Потом Николай Васильевич передал список семидесяти пяти заподозренных лиц и сообщил по памяти об арестах и обысках, произведенных ночью: обысканы 52 человека, большинство арестованы. Среди них доктор Веймар, присяжный поверенный Ольхин, все родственники и прежние знакомые Соловьева. Дворникам и швейцарам показывали карточки Соловьева и Мирского с целью узнать, не бывали ли эти лица у того-либо из квартирантов.

Потом Наталья Николаевна пригласила в соседнюю комнату, где был накрыт стол для чая. Ели кулич и пасху творожную, замечательно вкусную и на третий день, Наталья Николаевна сама готовила. Понемногу разговорились, разохотились. Петр Иванович рассказывал, как жил среди сектантов и раскольников, как молятся по-ихнему, интересно. А у одной его хозяйки висело на стенке, у образов, такое сочинение, в рамку вделанное, рукописное: «Известия новейших времен». И там разные смешные премудрости, этак ловко папридуманно, Петр Иванович запомнил и говорил все подряд. Вроде того, что благодать на небо взята, любовь убита, правда из света выехала, правосудие в бегах. Ну и так дальше. Много забавного! Кредит вроде, что ли, обанкротился. Невинность под судом. Ум-разум в каторжной работе. Закон лишен прав состояния. И конец, главное, очень интересный: а в конце концов терпение осталось одно, да и оно скоро лопнет.

Смеялись. Эх, народ, народ, никто лучше не сочинит, никакой писатель. Наталья Николаевна тоже рассказывала: как она «в народе» жила, фельдшерницей в Новохоперском уезде. Тоже много веселого. Хотя и горького наравне. И казалось: нет рядом Петербурга, обысков, страха, близкой казни того, несчастного, а только опитрое за столом при свечах... Хорошо было! Славно.

Уходить не хотелось, а — надо. Петр Иванович первый ушел, часов около десяти, а Николаю Васильевичу,

как другу дома, пришлось задержаться. Петр Иванович велел: «Вы уходите в четверть двенадцатого: не раньше, не позже. Если раньше — будет неубедительно, а если позже — на квартире вызывать подозрение». Умнейший человек!

Что ж, кончились ужасные испытания, миновала святая, опять присутствие, рапорты агентов, переписка, зампомпанье, страх почти ежеминутный, но уже привычный, как застарелая боль, и по утрам дурак Чернышев с его шутками глупыми, скабресными:

— А вы, Николай Васильевич, живете тусклой половой жизнью!

В конце апреля Петр Иванович сказал, что вскоре уедет на месяц, на полтора. Видимо, куда-то на юг, в свои края, к раскольникам. Вместо себя никого не назначил. Скучно стало. Одна радость: весна!

Голос Фроленко М. Ф.

Я, Фроленко, по кличке Михайло, пригласил Андрея Желябова на тайный съезд в Липецке, и с этого началось его восхождение на нашем горизонте. Из мало кому известного провинциального бунтовщика (Да какого бунтовщика? Народника, мечтателя!) он вмиг превратился в атамана, в вождя террора. И все после той истории с быком, которую я рассказывал. У меня не было доказательств, но я чуял в нем натуру бунтовщика. Все же я знал его чуть больше, чем другие. Бывал у него на одесской квартире, разговаривали, шумели, пели наши хохлацкие песни, и на тех «вечорницах» я слышал рассказы о всякого рода буйствах, проделках, стычках с полицией и прочих казацких подвигах. Он любил покрасоваться, малость побахвалиться: характер-то рыцарский, а рыцарство это всегда некоторая похвальба. И тогда я услышал историю про быка.

Запомнил такую фразу: «Я понял, что нет на свете такого страшного быка, которого нужно бояться».

Дело в том, что когда меня срочно вызвали после соловьевского покушения в Петербург совещаться по поводу съезда, в городе царил небольшое обалдение и паника. Правительство в ярости — и верно, как бешеный бык — бросалось из стороны в сторону, кидало рогами то либералов, то студентов, то вовсе невинных людей, кто попадаясь под копыта. Введены были военные губернаторства,

пошли аресты, обыски, ссылки: все враз закипело и сгустилось втрое. Ну и те, деревенщики, стали нас клясть: «Ага, вот ваш Соловьев! Вот к чему это приводит. Вся паша работа к бису». А мы отвечали: «А вы, други добрые, надеялись, что враг не будет сопротивляться? Эге, умники! Будет сопротивляться, будет злобствовать, будет нас убивать, но и у нас есть выход: убивать его». Разговоры паспех, в запале, один на один или, по крайности, двое на двое ничего не давали и только усугубляли сумбур. Собраться всем! Вызвать деревенщиков, горожан, бунтарей, все паличные силы. Объясниться начистоту, окончательно организовать или уж — окончательно враздробь. Где? Сначала придумали — Тамбов, потом остановились на Воронеже, где есть славный монастырь, Митрофаловский, и куда летом народу наезжает тьма. Но прежде Воронежа все мы, сторонники нового метода, то есть террора — Тигрыч, Воробей, Дворник, Александр, Зунд и еще несколько человек — постановили сойтись где-то отдельно, чтобы столкнуться заранее. Решили — в Липецке, близ Воронежа, городишко недурной, тоже удобен: там лечебный курорт, приезжает публика.

У меня спрашивали: кого можно пригласить с юга? Не в Воронеж, а в Липецк. Нужны, мол, верные хлопцы, которые поддержат наши идеи, чтобы к Воронежу сколотить большинство. Я пазвал Желябова. Его знали по Большому процессу. Были изумлены: «Да он же завзятый пародник!»

Я говорил: верно, народник, но в душе бунтарь. Да чем же он проявил свое бунтарство? Ничем, в том-то и дело. Доказательств нема. В юности какие-то паивные студесческие мятежи в университете, потом кружки пропагандистов, потом процесс, где вел себя вполне смиренно и незаметно, хотя и отказался отвечать суду. Но ведь отказалось большинство, почти все. И, однако, я угадывал, готов был поклясться, что он отчаяннейший бунтарь! Для того чтобы убедить товарищей, я рассказывал всем однуединственную бунтарскую историю: с быком Степкой. Слышал от Андрея. Однажды он работал в поле, вдруг крик матери, испуганный, он оглянулся и видит: по полю бежит страшный черный бык Степка, его вся деревня боялась, прямо на мать. Андрей выдрал из плетня дрын, бросил в быка, попал ему по ногам, и бык упал: это дало несколько секунд, мать спаслась.

Вот, собственно, вся история, как ее рассказывал Анд-

рей. Он говорил о том, что нечеловеческий, ужасный страх за мать заставил его в одно мгновение принять нужное решение — ничто другое, наверное, не спасло бы. Я же передавал эту байку, как героическую сагу: будто бы он схватил вилы, пошел на быка, и тот испугался и пустился наутек. И, как ни странно, «сказочка про черного быка» оказала действие. Мне сказали: «Давай, зови».

Некоторые потом говорили: тореадорские басни. Я, мол, изобразил его тореадором, каким он не был. Но я-то вышел прав. Он оказался великим тореадором, одним из величайших в истории.

В Одессе я нашел Желябова и спросил, согласен ли он принять участие в продолжении соловьевского дела. Он ответил: согласен. Но когда услышал про липецкий съезд, про то, что создается постоянная организация и будут, значит, другие дела, много дел, он заколебался и сказал, что нужно подумать.

Думали с ним долго, до глубокого вечера, и решили так: он согласен на единичный акт и останется с нами, пока этот акт не будет выполнен. Затем он свободен и может уйти. Потребовал, чтобы дали слово, что он волен поступить по желанию: уйти или остаться. Я с суровым и таинственным, партийным видом дал ему такое слово, хотя мы пасильно никого не держали. Думаю, что эта оговорка — расчет единичного акта и права уйти — была лишь бессознательной хитростью, компромиссом с народнической совестью, ибо то, к чему он пришел, давно уже зрело в его сознании. Вскоре в Одессе появился Дворник — была, кажется, середина мая, — я их познакомил, а сам уехал. Надо было выручать деньги, добытые под копом под Херсонское казначейство.

А когда в июне мы встретились с ним в Липецке, я его не узнал: законченный террорист! И не просто террорист, а страстный теоретик и обоснователь террора. Мне кажется, его главная сила, как личности, это сила рациональности. Он все железным образом додумывал до конца. Коли поступить так, то другим шагом должно быть это. А коли будет это, то неотложно то-то и то-то, между тем как то-то потребует того-то и так далее до логической точки. Коли дано согласие на единичный акт, значит, нужно этот акт как следует подготовить, значит, нужно создать организацию, а коли создавать организацию — и так далее. И в последний год, когда мы жили отчаянно и слепо, с каким-то смертельным легкомыслием — я говорю о той

зиме перед первым марта, иначе пельзья было, иначе сойти с ума,— он по-прежнему все докапывал до дна, до предела. И видел этот предел. Спокойно говорил о том, как его будут вешать, даже описывал казнь. Соня бывала вне себя! Она стучала его своим маленьким кулачком, требовала, чтоб он прекратил, но он не мог переделать себя: не мог перестать думать до конца.

Глава третья

Это носилось в воздухе: должен быть ответ, отпор, что-то непременно должно произойти и где-то уже готовится. И когда появился Михайло Фроленко с предложением поехать в Липецк, он не удивился. Не удивился и тому, что во всей Одессе Михайло к первому поехал к нему, да потом еще, кажется, к Коле Колодкевичу, и только прошло время, он вдруг задумался: «Почему же ко мне-то? Ведь знают же, черти, что я социалист, народник!» Но тут было искушение. Невозможно терпеть. И Михайло, гениальный хитрец, угадал верно: бил без промаха.

Ведь все, что медленно варилось в вековом российском котле, теперь бурно и кроваво вскипало: злоба властей, взаимное ожесточение, неуступчивость, желание мести. Какая уж тут пропаганда? Какие поселения? Тут дело пошло па жпвот и па смерть. В начале апреля одновременно с выстрелом Соловьева в Ростове вспыхнул рабочий бунт: захватили участки, избивали полицию. В середине апреля в Петербурге в военно-окружном суде начался процесс над подпоручиком Дубровиным, оказавшим сопротивление при аресте и, вообще, как видно, человеком дикой отваги, а двадцатого апреля Дубровин казнен. За что? Да вот за сопротивление при аресте, за то, что не хотел смирной овечкой идти па заклание. Но арест-то за что? Письма какие-то найдены у Малиповской, ничего существенного, ерунда. Казнь за письма. Главное: быстро, бесколебательно, по-военному.

Это «по-военному» стало главным принципом после соловьевского покушения. 7 мая открылся процесс Валеряна Осипского в Киеве, а через неделю Валериан и два его товарища, Брандтнер и Аптонев, уже повешены. Говорят, суд приговорил к расстрелянию, но государь самочинно распорядился перемелить па виселицу. В середине же мая начался в Киеве процесс братьев Избицких, а двадцать восьмого казнен Соловьев. Неужели эти верховные

идиоты, эти тухлые полунемецкие мозги, эти опричники с генеральскими эполетами не понимают, что кровь обернется еще более страшной кровью и падет на их голову? Нет, не понимают, не в силах, не хватает ума перешагнуть через сегодняшнюю злобу и заглянуть в завтра. Да разве же это государственные умы? Вся Россия видит, что надо выпустить пар, дать людям хоть немного свободы, научиться уважать и другое мнение: нет, уперлись, стоят тупо. ни пяди не отдают, и только давят, вешают, заселяют Сибирь. Хотят доказать, что вешают разбойников и убийц. Ничего не докажете, дураки вы, захребетники народные! Вешаете вы лучших и бескорыстнейших русских людей, и за все это будет отплата, очень скоро.

Докатилось до Одессы: над Софьей Лешерц, подругой Валериана, глумились во время суда, а при чтении ей обвинительного приговора устроили гнусный спектакль. Прodelали весь обряд смертной казни: надели саван, закрыли голову капюшоном, наложили на шею петлю и только после прочтения приговора сняли петлю и объявили Лешерц, что она помилована, смертная казнь заменится вечной каторгой. Не знали, что для нее это худшая мука, она хотела умереть вместе со своим Валерианом и впала в отчаяние, узнав, что остается жить. Нет, надо было поиздеваться над женщиной в такие минуты! Разве можно простить? Что ж они думают: все эти гнусности сойдут им с рук? Валериан в апреле передал письмо из тюрьмы — Михайло рассказывал — очень бодрое, ловкое, в его духе, но все же предполагал худой конец. «Сам, говорят, не знаю, какие прелести сулит мне будущее, все зависит от политического положения данной минуты, а оно после соловьевского покушения не очень розово». Михайло запомнил слово в слово: «Во всяком случае, что-нибудь вроде цепралки, а может, и вервия». Да, угадал, но того, что во время казни оркестр будет играть «Камаринскую», угадать не мог. Новое изобретение в палаческом производстве. Для толпы: чтобы не журились. Подумаешь, одним разбойником меньше!

Толпа, как обычно, стояла молча. Говорят, вешали неудачно, Валериан бился в судорогах, долго не умирал, и какой-то подлец, полковник, объяснял толпе, что мучается из-за того, что отказался принять священника. В толпе, говорят, были аресты, семерых гимназистов арестовали за то, что плакали. А несколько солдат и офицеров,

находившихся в строю, упали в обморок. Вот он, ответ толпы, лучший, на какой можно надеяться: плач да обмороки... О господи, да на что тут надеяться? Что можно сделать с этой несчастной страной?

Плач да обмороки — не от того же, что сочувствуют и понимают, а лишь только от жалости, от вида ужасного. А вешали бы полковника — тоже бы плакали.

Последние месяцы, живя среди рабочих на Молдаванке, в порту, в почлежных домах — наслушался всякого. Темна вода во облацех этих душ! Один грузчик, хохол, объяснял выстрел Соловьева так: папы, сучье семя, на царя-батюшку серчают за то, что волю дал крестьянам. Да ведь тебя эта воля раздела, разула, ты вон дом бросил, семью бросил, в город нищим пришел. То меня папы раздели, а царь мне волю дал!

Слышал однажды, как в трактире мужик разглагольствовал: когда, говорит, революционеры постановили убить царя, они разослали во все города своим людям приказ громить полицейские участки и перебить все начальство, и, если б Соловьев убил царя, по всей России произошло бы то же, что в Ростове. Но Соловьев промахнулся, потому из Петербурга выслали приказ повременить, а в Ростов то ли запоздали, то ли забыли прислать, и вот там бунт. Несколько человек слупали мужика с большим вниманием и серьезностью и верили, очевидно, каждому слову. Эта байка, услышанная случайно, как-то взбодрила и укрепила надежды: ведь наивным слогом выражалась программа! Приходилось в разговорах с рабочими и такое слышать: да, те, которые стреляют, люди, конечно, ученые, мы их уважаем, но они «своо добиваются, а нам своо нужно». Как-то в почлежке на соседних парах шептались, один рассказывал, другой переспрашивал и ахал в изумлении.

«Это все песчроста, — говорил рассказчик, — пету дыма без огня! А Каракозов, думаешь, проста стрелял? Я слышал такую вещь, когда Каракозов был под следствием, к нему пришел в тюрьму Муравьев и говорит: ты должен мне сказать все — знаешь, ведь я русский медведь! А тот ему в ответ: я тоже, говорит, белый медведь, и сказал ему что-то. Что сказал, не знаю, врать не буду. Только Муравьев, конечно, царю доложил, а тот приказал: никому, мол, эту тайну не выдавай и сохрани до гроба, а не то, смотри — и показывает шелковый шпурок. Ежели, мол, проболтасешься, вот что тебе будет, милый друг. Ну,

и никто не знает в точности. Но что-то такое есть...»

Кто-то сочинял, фантазировал, бредил, пытался догадаться и понять.

Михайло высказал одну простую мысль. Он ведь не теоретик, а прагматист, замечательно четкий, практический ум. С его расчетливостью ему бы не революцию делать, а коммерческие дела, мировую торговлю.

— Тут надо рассуждать здраво, — говорил он. — Ведь все равно погибнем? Верно же? Другой возможности нет? Нет. Погибнем. Но можем погибнуть из-за ерунды, из-за дрянн, а можем — сделав что-нибудь крупное. Прямой расчет делать крупное.

Он показал номер «Листка Земли и воли», вышедший месяца полтора назад, где была передовая «По поводу политических убийств», из-за которой разгорелся сыр-бор. Статью написал один из редакторов «Земли и воли» Коля Морозов, «Воробей». Андрей отлично помнил его по Большому процессу, худенький хлопчик в очках, похожий на золотушного, изнеженного домашним воспитанием гимназистика. И вдруг — этот дерзкий, карбонарский слог! Попятно, почему народ заволновался, а Жорж Плеханов объявил статью незаконной, ибо она прошла каким-то образом мимо него, тоже одного из редакторов. Скандал! Тигрыч, Дворник и Воробей — за статью, Жорж с Родионым, да еще Игнатов, деревенщики — против. Собственно, из-за этой статьи, да еще из-за споров вокруг соловьевского дела возникла пужда съехаться, наругаться всласть. Так вот:

«Политическое убийство — это прежде всего акт мести. Только отомстив за погубленных товарищей, революционная организация может прямо взглянуть в глаза своим врагам; только тогда она поднимется на ту нравственную высоту, которая необходима деятелю свободы для того, чтобы увлечь за собою массы. Политическое убийство — это единственное средство самозащиты при настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов. Нанося удар в самый центр правительственной организации, оно со страшной силой заставляет содрогаться всю систему. Как электрическим током, мгновенно разносится этот удар по всему государству и производит неурядицу во всех функциях. Когда приверженцев свободы бывает мало, они всегда замыкаются в тайные общества. Эта

тайна дает им огромную силу. Она давала горсти смелых людей возможность бороться с миллионами организованных, но явных врагов... Но когда к этой тайне присоединится политическое убийство, как систематический прием борьбы — такие люди сделаются действительно страшными для врагов. Последние должны будут каждую минуту дрожать за свою жизнь, не зная, откуда и когда придет к ним месть. Политическое убийство — это осуществление революции в настоящем. «Неведомая никому» подпольная сила вызывает на свой суд высокопоставленных преступников, постановляет им смертные приговоры — и сильные мира чувствуют, что почва теряется под ними, как они с высоты своего могущества валятся в какую-то мрачную, неведомую пропасть... С кем бороться? Против кого защищаться? На ком выместить свою бешеную ярость? Миллионы штыков, миллионы рабов ждут одного приказа, одного движения руки... По одному жесту они готовы задушить, уничтожить целые тысячи своих собственных собратьев... Но на кого направить эту страшную своей дисциплиной, созданную веками все развращающих усилий государства силу? Кругом никого. Неизвестно откуда явилась карающая рука и, совершив казнь, исчезла туда же, откуда пришла, — в никому неведомую область... Политическое убийство — это самое страшное оружие для наших врагов, оружие, против которого не помогают им ни грозные армии, ни легионы шпионов. Вот почему враги так боятся его. Вот почему три-четыре удачных политических убийства заставили наше правительство вводить военные законы, увеличивать жандармские дивизионы, расставлять казаков по улицам, назначать урядников по деревням — одним словом, выкидывать такие *salto mortale*, к каким не принудили его ни годы пропаганды, ни века недовольства в России, ни волнения молодежи, ни проклятия тысяч жертв, замученных на каторге и в ссылке... Вот почему мы признаем политическое убийство за одно из главных средств борьбы с деспотизмом».

Все верно, но на этом пути возникали опасности. Первая: чрезмерное увлечение убийствами отодвинет на второй план, а может быть, заставит вовсе забросить главную задачу — приготовление народа. Вторая: убийства будут разжигать жажду власти, стремление к тайному господству надо всем и вся, что может привести к перерождению.

дню движенья, к печавщине. Об этом Андрей прямо сказал Михайле. Тот ответил: партия вовсе не собирается превращаться в корпорацию убийц, в фабрику тайных казней по нечаевскому идеалу, Воробей увлекся, он романтик, поэт. Речь сейчас идет об одном убийстве. И, может быть, оно станет последним.

Последним? Да, последним, окончательным, убивающим все прочие убийства. Они сделаются ненужными. Если бы Соловьев не промахнулся, в стране уже сейчас, в мае, могла быть полная перемена: новое правительство, новый государственный строй. Ведь Ростов показал, что достаточно малой искры...

Последнее убийство — какой великий соблазн! И затем наступает царство разума. Торжество справедливости. Общество, организованное на новых или, правильнее сказать, забытых, истинных, народных началах. Но только — нужен толчок, удар, чтобы все затряслось, закачалось... И вот еще что: этот удар будет, конечно же, гибелью для того, кто его нанесет. Поэтому то, что Андрей сказал Михайле — согласен на это одно убийство, а потом должен иметь право, если захочет, уйти — было глупостью. Понял это в ту же секунду, как сказал. Куда уйти? И, главное — откуда? Из-под колес паровоза? Не надо себя обманывать: уходить будет неоткуда, некому.

Михайло быстро куда-то исчез, но тут появился Дворник, Александр Михайлов. У того были сложные дела в Одессе и вообще на юге: Андрей догадывался, что-то связанное с добычей денег. Лизогуб уже девять месяцев был в тюрьме, но кое-что из его громадных средств получать удавалось через его управляющего Дриго — до своего ареста этим занимался Валериан, а теперь пытался наладить связь с Дриго Михайлов. Но Дриго уклонялся, пропадавал, вел себя, по выражению Дворника, «недостоверно», и было неясно, как на него воздействовать: деликатной настойчивостью или, может быть, припугнуть? Дворник был мрачен, зол, Андрей видел, что дело клеится слабо, а деньги нужны как раз теперь, накануне съезда, потому что если дойдет до разрыва и дележа имущества — было бы что делить.

Подробностей операции Дворник не рассказал, но однажды в конце мая явился веселый и дал понять, что кое-что успел. Вид был победительный, даже подмигивал с каким-то не свойственным ему самодовольством.

— Ну, брат, история. Когда-нибудь расскажу. Только одно знаю: никто бы кроме вашего покорного слуги этого дельца не сварганил!

Много отличных людей встречал Андрей в жизни, и в Одессе, начиная с Феликса и Жебуневых, и по Большому процессу. Умел раскусывать сразу, сходилась легко, расставался быстро. Но так еще не бывало: чтобы мгновенно, с первой минуты почувствовать полное доверие. Этот парень, хотя и моложе несколько, года на четыре, всем своим обликом, крепостью тела, мыслями, разговором — да всем, всем, и, главное, каким-то основным, глубинным настроем души — мог бы быть Андреевым alter ego¹. Они все, конечно, чем-то похожи, у всех душевный настрой примерно одинаков, но этот оказался уж очень близок. И все же! Мало радости встретить точную копию себя, и, к счастью, такие ужасы бывают лишь во сне.

Михайлов был паделеп громадной деловой силой, теориями интересовался мало, споров избегал, человек действия, в то время как он, Андрей, пожалуй, человек размышления. Практичность Михайлова была поразительной, ежеминутной. Встретились на улице, шли по городу. Расспрашивал: а это что за площадь? Куда ведет переулок? Проходной двор есть? Почему-то особенно интересовался проходными дворами. Андрей понимал смысл такого интереса, но — в Петербурге, а здесь-то зачем?

— Вы, кажется, уезжаете отсюда через неделю? — Тогда, в первый день, еще говорили «вы», но уже в следующую встречу «тыкали» друг другу беззастенчиво, как два старых приятеля. — Не понимаю, зачем вам одесские проходные дворы?

— Во-первых, неизвестно, уеду через неделю или нет. А во-вторых — привычка.

А в другую встречу изумил: шли к порту, он повел каким-то немислимым путем, дворами, Андрей, старый одессит, возражал и говорил, что не выйти, тупик, но, к сраму его, вышли и — гораздо быстрее. Какое-то двойное зрение. Он как бы анатомировал улицу, смотрел сквозь дома. И еще такое: сразу видел все, что происходит на улице, всю картину мгновенно и в подробностях.

Шли по бульвару, вечером, очень жарким, уже наступила жара, публика фланировала на пяточке между

¹ Второе я (лат.).

памятником Ришелье и думой, они вдвоем — Фроленко уехал — проталкивались через толпу.

Вдруг Дворник шепнул:

— Вон стоит шпион...

Андрей оглянулся, увидел стоящего позади скамейки, на которой сидели люди, человека, известного в Одессе под кличкой Кузя. Это был обнищавший помещик, картежник, игрок на билларде, о котором, действительно, говорили, что он имеет связи с почтенным учреждением.

— Откуда ты знаешь? — спросил Андрей.

— Я не знаю. Догадка.

— Черт возьми, ты прав! Каким же образом?

— Объяснить не могу. У меня нюх на этих господ. Понимаешь, у них у всех — даже у самых важных и представительных — есть что-то неуловимо собачье. И я чую. Ну, в общем, по роже видать.

Говорил всерьез. Андрей улыбался. Этаким Макара: а ведь угадывает! Раза два ночевал на квартире у Андрея и опять удивил:

— Как! Ты не занавешиваешь на почь окна? — Вид был крайне обескураженный и даже, пожалуй, возмущенный. — Это нужно делать непременно. Я просто тебе приказываю. Солнечный свет портит глаза, а глаза для нас — первое дело.

Все было прекрасно, на пользу, и Андрей испытывал чувство благодарности к Дворнику за то, что постоянно учился мелким революционерским премудростям, но иногда хотелось другого: поговорить о серьезном, или, как Андрей шутил, о в о з в ы ш е н н о м. Например: что думают делать землевольческие деятели, авторы замечательных статей насчет политических убийств, на второй день после революции, буде она удачно разрешится? Какова предполагается система правления? Земский собор? Народное представительство? А ежели пародные представители выскажутся за сохранение монархии? При том уровне революционного самосознания и при жалком, да и забытом опыте народоправства это ведь вероятно. Как же быть? Михайлов ответил: что ж, подчинимся пародной воле. По... — помедлив секунду, вдумываясь, и с торжеством: — Но оставим за собой право снова уйти в подполье и бороться за наши идеалы!

Теоретические вопросы решал быстро, не толкаясь на месте. Все для него ясно. Главная задача и трудность:

дисциплина и централизация. Ведь деревенщики еще и оттого поют, что боятся дисциплины, подчинения центру, а без этого — гибель, партия развалится. Будем драться не кулаком, а растопыренными пальцами.

Незадолго до отъезда в Липецк, в начале июня, в Одессу пришел номер «Нового времени» с описанием казни Соловьева. Взяли две газеты, сели на отдаленной скамейке, на набережной, и читали. Жара вдруг спала, как бывает в Одессе после знойных дней конца мая, море было ясное, штилевое. Рыбачьи лодки, пароход с сине-белым греческим флагом, ключья тумана на горизонте — все не двигалось, стыло в безветрии.

Оба читали внимательно, молча.

Никогда еще не приходилось читать — да, пожалуй, и не печаталось — в обычной, подцензурной прессе такое тщательное описание в е р в и я. Репортер отмечал малейшие подробности. Каков был смысл этого скрупулезного и бесстрастного сочинения, похожего на то, как Марко Поло описывал китайские церемонии и казни Востока? Вот это и хотелось понять. И кроме того, завораживали подробности, нельзя было оторваться от мелких газетных строчек. Этот интерес — от которого пересыхало в горле — был естественным, но ненужным. В середине чтения Михайлов вдруг сказал со злобной насмешкой:

— Да черт возьми этого шута, фельетониста! Досталось свишье на небо взглянуть! — Он отбросил газету. — Нарочно, подлецы, разжигают плотоядное чувство. Намеренно же озверяют народ против нас... Прекрати! Довольно!

Хотел вырвать газету у Андрея, тот не давал, отодвигал локтем. Стали бороться руками, Андрей левой, тот правой, как бы шутя, но на самом деле с интересом пытая силу друг друга. Напрягались, пыхтели, было темно-го целовко, никто не мог сдвинуть другого.

— Ну и здоровая ты орысица!

— Ты тоже хорош бугай!

Михайлов вдруг отнял руку, встал со скамьи и, хмурясь, еще красный от борьбы, сказал:

— Ладно, читай эту гадость, ежели хочешь, ты Александра Константиновича не знал. А я не то, что его — я и родных его знал, сестру, отца. И не желаю эту гадость, этот садизм газетный читать.

— Я дочитаю, — сказал Андрей. — Нужно знать.

— Не нужно этого знать совершенно. Ни с какой точки глядеть — не нужно, — сердито сказал Дворник. — Сидят тут, я через полчаса вернусь.

И быстро куда-то ушел. Сквозь газетные строчки Андрей подумал: боится, что напугаюсь и в Лппецк, чего доброго, не поеду. Но Дворник уже привык к этим мыслям, не желает знать, потому что много, много об этом думал и все знает. Тут главное — привычка к мыслям. Как каторжник привыкает к кандалам и перестает замечать их. Главное, постоянно держать в голове, тогда образуется привычка, тогда можно привыкнуть ко всему, даже к тому, что с самого раннего утра густая масса народа обложила обширное поле со стороны Среднего проспекта Васильевского острова. Прибывшие ранее взгромоздились на находящиеся здесь постройки и торчащие рядом каменные стены. Среди публики, по преимуществу принадлежавшей к низшим слоям общества, можно видеть немало женщин, явившихся сюда даже в сопровождении маленьких детей. Достойные женщины! Милые дети! Они тоже вырабатывают в себе привычку, которая поможет им в жизни. Самый эшафот, воздвигнутый на середине Смоленского поля и доступный для простого невооруженного глаза с крайних его рубежей, состоял из деревянного помоста, в форме правильного прямоугольника, длиною 4, а шириною $2\frac{1}{2}$ сажени. Помост обрамлен решеткою из железных прутьев, и только спереди, в середине, оставлено отверстие в аршип. К середине продольных стенок помоста прикреплены две деревянные жерди, шириною в $2\frac{1}{2}$ сажени, вверху соединенные поперечною нерекладиною. К этим жердям прикреплена веревка, особенно толстая, вроде тех, которыми обвязывают большие чемоданы приблизительно в диаметре $\frac{1}{5}$ вершка. Большие чемоданы для переезда на тот свет.

Впереди ехала в двух колоннах сотня лейб-гвардии казачьего Атаманского полка, а за нею рота лейб-гвардии Гренадерского полка. Затем следовала колесница, окруженная цепью конных жандармов. Колесница с дороги свернула на поле, по направлению к эшафоту. Войска переднего фаса раздвинулись, чтобы впустить в каре колесницу, которая, подъехав к самому эшафоту, остановилась перед ведущей к нему лестницей. Репортер, как видно, специалист по военным парадам. Колесница, запряженная парюю лошадей, представляет собой обыкновенную русскую телегу, с задней стороны которой имеется

лестница. Поперек установлена скамейка с прилаженными к спинке четырьмя железными прутьями. Вот: Соловьев сидел на скамейке спиной к лошадям, причем руки его были перевязаны сзади веревкою и прикреплены к прутьям ремнями. На нем было платье, в которое обыкновенно одевают арестантов, принадлежащих к привилегированному сословию, именно: черный сюртук из толстого солдатского сукна, черная фуражка без козырька и белые панталоны, вдетые в голенища сапог. На груди у него висела большая черная доска, на которой были начертаны белыми буквами слова: «государственный преступник». А что же толпа? Все эти корреспонденты, солдаты, казаки, офицеры? Они — верят? Вот где загадка, вот затмение. Родные Каракозова просили о перемене фамилии. Хорошо, что окончательно, на глазах всех расстался с Ольгой. Несколько дней назад встретил на улице сына с Тасей, шли из магазина, с покупками, сын не заметил, а Тася смотрела прямо в глаза и не поздоровалась, не кивнула. Ну и лучше. Хорошо, что это так, но только неизвестно, ничего не известно. А вдруг — напрасно, все равно их будут терзать, замучают, убьют... Едва остановилась колесница, к Соловьеву быстро подошел палач, назначенный к совершению казни. На нем надета красная рубашка, а поверх ее черный жилет с длинною золотою цепью от часов. Подойдя к Соловьеву, он стал быстро отвязывать ремни и затем помог ему сойти с колесницы. Соловьев, сопровождаемый палачом, твердой поступью вступил на эшафот и с тем же, как казалось, самообладанием поднялся еще на несколько ступеней и занял место у позорного столба с завязанными сзади руками. Палач стал рядом, правее его, а у самого помоста находились два его помощника, на случай надобности. Раздалась команда «на караул», палач снял с Соловьева фуражку, офицеры и все служащие лица гражданского ведомства, бывшие в мундирах, подняли руки под козырек. Как только окончилось чтение приговора, к эшафоту приблизился священник в траурной рясе, с распятием в руках. Сильно взволнованный, едва держась на ногах, приблизился служитель церкви к Соловьеву, но последний киванием головы заявил, что не желает принять папущества, произнося не особенно громко: «Не хочу, не хочу». Ну, это понятно. Когда священник, убедясь, что его последняя христианская услуга отвергнута, отошел и

легким наклоном головы как бы закреплял творимую им молитву, Соловьев довольно низко поклонился ему. Наступил последний момент. Хор барабанщиков, бывших при каждом батальоне, забил учащенную дробь. Ровно в десять часов утра на Соловьева, спустившегося на несколько ступенек от позорного столба, надета была палачом длинная белая рубаха, голова покрыта капюшоном, и длинные рукава, обмотанные вокруг тела, были привязаны спереди...

На берег из громадного солнечного, голубого моря по-прежнему веяло теплой свежестью, пищали чайки, ничего не изменилось, и только греческий пароход отодвинулся далеко вправо, уменьшился, повернулся кормой.

Через несколько минут пришел Михайлов, держа что-то аккуратно завернутое в белую бумагу. Это оказались пироги. Развернув пакет, взял одно ореховое в виде кренделя, а пакет с другим протянул Андрею.

— Силь ву пле, мосье. Прекрасные у вас тут кондитерские, доложу тебе. Это я у Гроссберга схватил, на Дерибасовской. — И, пожевав немного с видимым наслаждением: — Ну-с вот, успел в городскую кассу за билетами. В понедельник едем.

Городишко был небольшой, чистенький, старинный, после одесского гама показался благостным и провинциальным. По улицам гуляли козы. В палисадниках старушки в плетеных креслах пили чай — совсем как на даче на Малом Фонтане. Были казистые особнячки с балкопчиками, в садах за железной оградой, попадались дорогие кареты, но все равно жалкота и бедность рядом с одесскими особняками и каретами! Номер в постоялом дворе Голикова сияли приехавшие раньше Барабаников с женой Марией Николаевной Оловенниковой — а то бы ничем не снять, сезон на водах разгорался, публика подваливала.

Обыватели смехотворно жаловались: «Ну, народ! Дороговизна! Вся Россия, что ли, взялась лечиться?» И это при пустых-то лавках и при том, что только в курортном саду вечерами, да на главной улице, освещенной газом, слонялись гуляющие, гимназисты с барышнями да едва ступающие подагрические старики, а кругом, на всех прочих улицах, могильная тишина и мрак. За курортным садом было озеро с длинной гатью, с очень прозрачной водой. Рыбы почему-то совсем не было. Спросили у ста-

рика, который давал лодку покататься. Тот объяснил: запруда сделана антихристом, оттого и рыба перевелась. Откуда же известно, что антихристом? А никому другому, кроме него, не под силу такую длинную гать насыпать. Когда отошли от старика, важно сообщившего эту историческую подробность, Михайлов спросил:

— Понял, о каком антихристе речь?

— Нет,— признался Андрей.— О царе Петре, что ли?

— Ну, конечно. Петр тут и первый завод построил, и железные воды открыл. Вот она, благодарная людская память!

Посмеялись, потом Михайлов сказал — вмиг, как обычно, перемешившись от смеха к серьезности.

— А я, как вшивый про баню. Все то же: не поймут нас, надо самим действовать, на свой страх. И нас с тобой назовут антихристами. А? Сомнения быть не может: назовут. Но лет через сто, двести, а то триста... Впрочем, другое: никто не понимает поистине и не поймет еще долго, но тебе скажу.— Он заговорил тише и слегка заикаясь. Всегда заикался, когда начинал волноваться.— Мы ведь антихристами стали от Христа. Это я верно тебе говорю. На меня, к примеру, евангельская история не менее влияла, чем история Гракхов или Вильгельма Телля. А «цель оправдывает средства»? Разве иезуиты придумали? Маккиавелли? Неправда, это есть в самом христовом учении, в подкладке, за всей красотой. Да и было бы иначе, была бы одна благостыня, разве могли бы два тысячелетия победить? Нет уж, мы, антихристы, должны твердо держаться: цель и в самом деле оправдывает средства.— И, высказав серьезное, опять рассмеялся, лицо стало легким, шутливым.— А все равно водь скажут: экую длинную гать насыпали! И рыба из-за вас перевелась.

Андрей видел: чем ближе день съезда, тем более — хотя и скрытно — Дворник нервничает. Он должен был докладывать проект Устава, составленный им вместе с Тихомировым. Андрею показывал. Все было разумно, жестко: централизация, суровая дисциплина, и вся ставка, разумеется, на политическую борьбу. Словом: создается организация. Не группа, не кружок, а организация, партия. Дворник боялся голосов, могущих помануть Нечаяева: если и не в Липецке, где собираются, в общем-то, единомышленники, то уж во всяком случае в Воронеже. И вот ежедневно в Одессе, дорогой и здесь, когда поселились вместе, разговоры с Андреем, обсуждения, толко-

вапья, споры. А споры большей частью по мелочам, из-за слов, тона: Дворник нетерпелив, грубоват, Андрея иногда коробило, а иногда пропускал мимо ушей, ибо во всем главном они сходились.

Наконец к середине июня те, кого ждали, съехались.

Андрей знал почти всех: одних по Одессе, как Гришку Гольденберга, Колодкевича и Фроленко, других, как Тихомирова с Морозовым, хоть и бегло — по Большому процессу. С Дворником — будто сто лет знаком. Баранников, по кличке Семен, оказался закадычным, с гимназических лет другом Дворника. Из одного города, Путивля, и с этим рослым, чернявым богатырем тоже спаялся сразу. Жена его, Мария Николаевна, только в первый день показалась чопорной, суховатой, чересчур дамой — она старше Семена, это заметно и по облику, и по манере разговаривать с ним как-то излишне твердо, но вскоре понял, что первое впечатление обманчиво, что Мария Николаевна образованна, умна, даже не по-женски, и уж скорей в ней заметно мужское, а не дамистое. У них у всех кидались в глаза какие-то не очень привлекательные черточки: у Марии Николаевны эта надменная, будто бы аристократическая суховатость, у Дворника резкий, безо всяких полутонов и сентиментальностей тон, у Тихомирова манера разговаривать язвительно, Гришка Гольденберг раздражал громким голосом, суетой и, видимо, большим самомнением, Семен же, наоборот, был сверх меры молчалив, мог целый вечер промолчать тумбой, это тоже не велика радость — но было ясно, что все это мелочи, наносное, а по сути они люди настоящие, крупные, может быть, даже необыкновенные. Не знал Андрей Квятковского, по кличке Александр Первый, о нем много рассказывал Дворник, не знал и молодого Степана Ширяева. Эти двое собрали в Питере недавно еще одну тайную группку, группку в группке, под названием «Свобода или смерть». Все это следовало упорядочить. Да, необыкновенные! Вдруг почувствовал это семнадцатого, утром: с крыльца гостиницы глядел на них всех, человек десять, стоявших кружком посреди двора и балагуривших с померными. Ждали извозчиков. Всех томило нетерпение. Дворник договорился с извозчиками накануне и даже ездил с одним за город, осматривал место для цыпки, нашел отличный лесок. Подсказали померные: в том месте всегда кушцы гуляют и молодые господа с барышнями.

— А у вас что ж одна барышня на всех?

— Будут, будут! Подвезут своим часом! Всем хватит!

Номерные подмигивали, слабились, давали советы: взять поплотней, подстелиться, а то земля сыра, не прогрелась еще. Бегом носили в пакетах и сумках то, что было заказано, складывали на скамейке: закуски, вино, папиросы и, конечно, очищенную. И вот, глядел с крыльца, слушал шуточные разговоры и думал: никто и не догадывается, что за люди тут собрались. На всю Россию таких раз, два и нету. Человек пятнадцать, не больше. Глядел как будто со стороны: все молодые, красивые, франтоватые, настоящие веселые петербургские господа! А ведь каждый из них своего рода знаменитость. За каждым громкое дело, по всей стране прокатилось, за границами отозвалось. Семен, Баранников, вместе с Сергеем Кравчинским — тот уже далеко, то ли в Англии, то ли в Швейцарии — казнил в прошлом году Мезенцева. Михайло прославился многими подвигами, освобождал Алешу Поповича, служил тюремным надзирателем и вывел на волю чигиринцев. Гольденберг застрелил князя Кропоткина. Коля Морозов, этот хрупкий, пепельно-румяный юноша — вон он дурачится, декламирует какую-то очередную глупость, сочинитель стишков, все покатываются со смеху и даже номерные разинули рты — один из самых отчаянных, решительнейший террорист. Уж наверно его статья напугала правительство не меньше, чем любое покушение. Тихомиров, ровесник Андрея, но по виду заметно старший, мрачноватый, бледный, насмешливо глядящий на дурачества молодых, за ним четыре года тюрьмы: опыт, какого нет ни у кого. Все говорят, что он блестящий талант, мог бы, если б захотел, посвятить себя легальной печати, стать Щедриным, Михайловским, Шелгуновым. Дворник сказал, что он куда острее Михайловского и Шелгунова. «В нем нет дряблости, жира, одни мускулы». А вон Мария Николаевна, красивая, сидит на скамье, курит, улыбается вяло и снисходительно, как взрослая дама, которой немного скучно с резвящимися детьми. Кто бы сказал, что эта белолицая матрона недавно принимала участие в бесстрашной попытке отбить от жандармов Войнаральского! Дворник рассказывал: поразился ее хладнокровию. В острейший момент, когда на тайной квартире она ждала товарищей после нападения — неизвестно, удачного или нет, — она, несколько утомленная, спокойно задремала. Грабдиозные червы! Говорили, что Мария Николаевна была близка к кружку известного Заич-

невского, якобинца, по-прежнему уповает на заговор и переворот...

То, что тут люди разные, якобинцы, бунтари, народники, пропагандисты — это нехудо, нестрашно. Это, может быть, даже хорошо в смысле наглядного доказательства: значит, все повяли, что выхода нет, все повернулись или, говоря вернее, всех повернуло на одну дорогу.

Вкатилась тряпка экипажа. Стали грузиться, рассаживаться.

Морозов, который веселился почему-то больше всех, запел вдруг по-итальянски. Номерные махали руками. День разгорался. Андрей сел по знаку Дворника в первую карету вместе с Дворником, Квятковским и Ширяевым. От солнцепека, мельканья, свежего июньского зноя, залетавшего в экипаж, от запаха травы и лета и от волнения, которое забирало исподволь, слегка кружилась голова. И, сидя в карете, толкаясь плечом в крепкое плечо Дворника, глядя на молодые, бородатые, смеющиеся лица Степана и Александра — вчера еще их не знал, а сегодня ближайšie друзья, — он испытывал странное, изумительное чувство: наступал миг полной жизни, наслаждения жизнью! Заспорили о чем-то с Дворником, хохотали, боролись, мальчишками хорохорились один перед другим: кто сильнее. Экипажи ехали низиной, которая, видно, заливалась по весне половодьем, еще теперь рукавами змеились не вполне высохшие протоки, белели песчаные островки, мели.

По мосту перескочили реку, поднялись на невысокий противоположный берег и, повернув вправо, против солнца, покатали по полю по большаку. Лес сипел на горизонте. Добрались, ехали не менее получаса лесом, и Дворник криком велел остановиться: тут были какие-то постройки, дощатый балагач, что-то вроде летнего ресторана, пока еще закрытого, с заколоченными окнами. Андрей спрыгнул на землю, и, когда подкатил второй экипаж, вдруг подбежал к нему, схватил за заднюю железную ось и поднял вместе с седоками.

— Стой! Вылезать!

Лошадь, бежавшая тихой рысью, остановилась.

Все были изумлены, извозчик ахнул: «Ну, и сильный господин!» Андрей усмеялся: фокус был старый, отработанный не раз в Одессе, еще в студенческие времена. Правда, силепок было тогда побольше, но и сейчас рванул ловко, только кожа на руке лопнула. Мария Николаевна

дала платок, чтоб остановить кровь. Дворник, уже занятый делом — нагряждал извозчиков закуской и водкой, чтобы не скучали здесь часа три, четыре, сколько понадобится, — едва заметил Андреево геройство. Пошел быстро по тропе в глубь леса, за ним гуськом остальные. Вскоре обнаружилась большая поляна, в середине которой рощица, несколько берез, какой-то кустарник, — удобное место, где легко было скрыться за кустами, и проглядывалась вся округа.

Разложили пледы, пальто, расставили на газетах бутылки, стаканы и закуску — сели, закурили. Хорош был день!

Квятковский и Михайлов стали читать по очереди: один — проект программы, другой — устав нового общества. Так как Андрей и то и другое знал, много раз обсуждал с Дворником, он слушал не очень внимательно. Опять вдруг отлетел куда-то, будто вон до той опушки, залитой солнцем, и оттуда — глядел.

И видел кучку людей, жалкую горсть, в тени берез.

Чего они хотят и что могут в этом необозримом мире, которому бросили вызов? Смешно, фантастично — по только па миг. Голос Квятковского сквозь жужжанье пчел звучал с непреклонной твердостью.

— ...Поэтому всякому передовому общественному деятелю необходимо прежде всего покопчить с существующим у нас образом правления, но бороться с ним невозможно иначе, как с оружием в руках. Поэтому мы будем бороться по способу Вильгельма Телля до тех пор... — По тому, как Морозов сиял и, как бы поддакивая каждому слову, кивал своей пышной шевелюрой, можно было догадаться, что он принимал в сочинении документа прямое участие, — пока не достигнем таких свободных порядков, при которых можно будет беспрепятственно обсуждать в печати и на общественных собраниях все политические и социальные вопросы и решать их посредством свободных народных представителей...

Еще два абзаца, дополняющих ту же мысль, — и вся программа. Кратко! Хотелось бы расширить, поясней сказать о тех идеалах и будущем России, ради которых все делается, но еще прежде из разговоров с Михайловым и Тихомировым понял, что краткость, даже, пожалуй, кудеватость программы намеренная: чтобы при обсуждении не устроилась болтовня. Чем больше фраз, тем больше толкований. Тут дело практическое, утвердить одпу-

единственную идею, для которой собрались. «Способ Вильгельма Телля!» Пышно сказано, романтично, но это и есть то единственное: террор. Никто не возражал, все торопилось дальше, к более интересному, к уставу. Андрею нетелось с первых же минут — все-таки новичок — выпить с критикой, затевать разговор о возвышенном. А бы сказать: для всякой партии программа важнее устава.

Но — не стал. Потом, потом! Будет время, будут разговоры, а сейчас — организовать, чтобы ломать. Дело потом.

Постановили печатать программу в первом номере души газеты или журнала, что станет выпускать вне образованный Исполнительный комитет. Затем Михайлов читал проект устава, сначала бегло все целиком, потом параграфам, и — обсуждали. Вот тут заварилась каша. Ехотели высказаться, перебивали друг друга, в возбуждении кричали чересчур громко, и Михайлов резко обрвал. Обычное дело, насчет программы, теории — гробовое молчание, мыслей вроде бы никаких, все ясно, а тут, где мораль, где быт, практика — сразу яростный интерес, клкотанье мнений. Гришка Гольденберг то и дело вскакивал и кричал что-то в азарте, с тарахтящей быстротой: разбрать невозможно. На зубах у Гришки пузыри, глаза тращились, Михайлов замахал руками.

— Все! Тихо! Нужен секретарь, у меня горла не хватает. Предлагаю Бориса, он мужик рассудительный. Кроме того, экипажи на ходу останавливает. Так что в случае надобности может кого из ораторов остановить...

«Борисом» звали Андрея. Согласились. Михайлов вновь читал, все сначала, с первого параграфа.

— Итак, параграф первый: В Исполнительный комитет может поступить только тот, кто согласится отдать в распоряжение всю свою жизнь и все свое имущество безвозвратно, а потому и об условиях выхода из него не может быть и речи. Есть возражения против этого параграфа?

— Нет! Никаких! — разом ответили все.

Но остальные параграфы вызывали споры.

Параграф второй: Всякий новый член Исполнительного комитета предлагается под ручательством трех его членов. В случае возражений на каждый отрицательный голос должно быть не менее трех положительных.

Параграф третий: Каждому вступающему читается этот устав по параграфам. Если он не согласится на ка

кой-нибудь параграф, дальнейшее чтение должно быть тотчас же прекращено и баллотирующийся может быть отпущен только после того, как даст слово хранить в тайне все, что ему сделалось известно во время чтения, до конца своей жизни. При этом ему объявляется, что с нарушившим слово должно быть поступлено, как с предателем. (Тут Гришка требовал, чтобы было точно указано, как именно должно быть поступлено с предателем. Андрей сказал, что для всех очевидно, как поступают с предателями, их убивают, а придумывать какие-либо особые способы убийства, вроде нечаевского — шпион сначала должен быть задушен, потом простреливается голова — нет нужды, это пахнет театром и одновременно изверством. Согласились, оставили так.)

Параграф четвертый: Члену Исполнительного комитета может быть дан отпуск, срочный или на неопределенное время по решению большинства, но с обязательством хранить в тайне все, что ему известно. В противном случае он должен считаться за изменника. (Мария Николаевна сочла этот пункт слишком мелким, чтобы включать его в устав. Дворник и Тигрыч возражали, особенно настойчиво возражал Тигрыч, из чего Андрей вывел, что он, может быть, является автором пункта. В самом деле, странно, какой может быть отпуск от революционной работы? Да еще — на неопределенное время? Гришка вновь попросил слова и, опять возбуждаясь до пузырей, кричал: «Это надо исключить! Это глупость. Мы люди конечные, у нас нет никакой жизни, кроме революции, и не может быть! Что за вздор! Отпуск, капикулы?» Андрей сказал, что надо, вероятно, ввести общий и более четкий параграф о дисциплине и туда в виде мелкого пункта вставить про отпуск. Как исключение. Революционеры такие ж смертные, как и все прочие, могут болеть сами, могут болеть их близкие, мало ли что, отпуск бывает внезапно и жизненно необходим. Но — никаких «неопределенных сроков»! И нельзя помещать этот пункт, исключительный и рядом со всем прочим действительно мелкий, где-то в первых параграфах устава. Едва приступаем к делу и уже думаем об отпуске.)

Параграф пятый: Всякий член Исполнительного комитета, против которого существуют у правительства неопровержимые улики, обязан отказаться в случае ареста от всяких показаний и ни в коем случае не может называть себя членом Комитета. Комитет должен быть пови-

дим и недосыгаем. Если же неопровержимых улик не существует, то арестованный может и даже должен отрицать всякую свою связь с Комитетом и постараться выпутаться из дела, чтоб и далее служить целям общества. (Оставил без изменений, споров не было, лишь Андрей заметил, что пункт вряд ли выполнимый. Нельзя одновременно отказываться от показаний и выпутываться из дела. Неопровержимые улики? Каждый, кто находился под следствием, знает, что между неопровержимыми и опровержимыми уликами есть много оттенков, которые неизвестно куда отнести.)

Параграф шестой: Член Комитета имеет право с ведома организации поступать в члены посторонних тайных обществ, чтоб по возможности направлять их деятельность в духе Комитета или привлекать их к нему в вассальные отношения. При этом он имеет право хранить в тайне их дела, пока они не вредят целям Комитета, а в противном случае немедленно должен выйти из такого общества.

Было еще несколько параграфов: об избрании редакции, о распорядительной комиссии из трех человек и двух кандидатов на случай ареста, о секретаре, который должен хранить документы и денежные средства, и об агентах Комитета — первой и второй степеней. Вновь возникали споры, недоумения. Морозов удивлялся, почему агенты первой степени должны быть с малым доверием, а агенты второй степени — с большим, на что Тихомиров ответил:

— А пусть никто не знает, сколько степеней надо пройти, чтобы достигнуть Комитета.

— Но ведь это иерархическое устройство! То, что мы отвергаем! — восклицал Морозов. — В теории отвергаем, а на деле...

— А у нас нет другого выхода.

— Выход есть: это наша малочисленность, это дух товарищества, равенства, это подбор людей по моральным качествам...

— О господи! — Тихомиров морщился, бледнел. — Оставь ты эти слова для своих стихов. Одно из двух: мы создаем кружок душеспасительных разговоров или же — боевую организацию для борьбы, для террора, о чем ты, черт побери, хлопчешь как раз больше всех! Ну? Куда же мы денемся без строгой тайны и без иерархии, которой ты так боишься?

— Иерархия поведет к разбуханию, — упорствовал Морозов. — Нижние чины будут размножаться почкованием, а верхние — надуваться от сознания собственной власти...

Спор был старый, оба волновались, говорили повышенными голосами, почти сердито. Вступили и другие: Михайлов поддержал Тихомирова, Квятковский тоже, но Фроленко сказал, что среди киевских бунтарей была попытка такого иерархического устройства, выбирался центр с диктаторскими правами, он мог иметь свои тайны, действовать по своему усмотрению. Что ж получилось? Все тайны скоро были раскрыты, даже тайны баллотировки в центр. И никто не хотел никому подчиняться по уставу. Подчинялись только в силу внутреннего уважения, подчинялись авторитету, как, например — Валериану. Гришка говорил:

— Да, да, это не для нас! Мы, русские, не умеем хранить тайны. И не любим подчиняться.

Так, из-за пустого вопроса об агентах первой и второй степени затеялся долгий спор. Андрей сказал:

— Тут дело не в иерархическом устройстве, а в том, что мы открываем военные действия. Значит, нужен командир, нужны команды. Правильных военных действий без этого вести нельзя. Наш командир — центр, ну, допустим, распорядительная комиссия, которую мы изберем. Если уж воевать с государством, у которого полумиллионная армия, тогда уж вести дело всерьез. У нас нет иной силы, кроме дисциплины и нашей готовности умереть. В стране за последние месяцы все резко переменялось к худшему. То, что созданы генерал-губернаторства, введено военное положение, массовые аресты, высылки — все это ошеломило общество, напугало либералов. Чтобы вывести страну из оцепенения, нужен мощный удар. Тогда в народе и в обществе воспрянут силы к сопротивлению. Может быть, даже не один удар, а серия ударов, точно продуманных: тут нельзя полагаться на стихийные акты, должна быть система, а значит, должен быть центр...

Видел, как его слушают. Смотрели на него новыми глазами: с некоторым изумлением.

Фроленко вечером, в гостинице, сказал:

— С тобой, брат, что-то стряслось. Стал какой-то другой,

— Лучше или хуже?

— По мне, так лучше. И Кот-Мурлыка заметил: «Нашто Андрей ни разу за целый день не сказал слова «конституция»!»

Андрей грозил чернобородому Колодкевичу: ишь, шутит! Сам ретивый конституционалист, в декабре мотался в Киев на тайную сходку революционеров с земскими деятелями. Там и Валерпан был, и Андрея звали, но он не смог.

На другой день избрали членов редакции — Тихомирова и Морозова, и распорядительную комиссию — Михайлова, Фроленко и Тихомирова. Кандидатура Тихомирова прошла с некоторой натугой. Морозов высказал сомнение: не много ли занятий у Тигрыча? Между ними все время шла какая-то пикировка. Воробей, кажется, надеялся на то, что Тихомиров откажется от распорядительной комиссии, но тот — лысоватую голову нагнув, надулся, молчал и был избран. А вечером Андрей навестил Фроленко, жившего в гостинице «Москва», и видел, как Гольденберг, заметно пьяный, чуть ли не в истерике кидался на хладнокровного Михайлу.

— Ответь мне: где справедливость? Создают организацию для террора, а главного террориста не выбирают ни в какую комиссию! Кто-нибудь из вас убил князя Кропоткина? Я тебя уважаю, Михайло, но ты пока еще никого не убил, извини меня. Андрей? Андрей, вообще, известный пропагандист. Я даже не знаю, что ты тут делаешь, Андрей? Удивляюсь, почему тебя не выбрали в распорядительную комиссию, если уж там Тихомиров, умный человек, но знаменитый трус; все знают, как он боится шпионов, весь Петербург над ним смеется. Семен? Семен помогал Кравчинскому, он присутствовал при казни Мезенцева, но ведь дело сделал Кравчинский. Среди вас нет ни одного настоящего террориста. И при этом меня, Гришку Гольденберга, меня, меня, — он хохотал, хватаясь за голову, — не хотят никуда выбирать! Смешно! Когда во всем мире газеты писали о моем деле! Нет, я не думаю заниматься обидами и капризностями, я просто смеюсь. Смеюсь, смеюсь, смеюсь! Со всеми вами, милые друзья, я остаюсь в добрых отношениях, буду по-прежнему вам верный Гришка и буду делать то, что мне скажут, но я смеюсь, смеюсь. Ха-ха-ха!

Так и ушел, хохоча. Куда-нибудь допивать.

— Ну и шум от него, — сказал Андрей.

— Насчет Гришки я Дворника предупреждал, — сказал Михайло. — Еще в апреле, когда толковали, кого звать в Липецк. Мы-то Гришку знаем лучше, а для северян он фигура, герой. Дворник сказал: руководства я бы ему не доверил, по пистолет в руки — дал бы. Человек он храбрый, хотя и сумасброд.

Возвращаясь от Михайлы темной улицей к себе на постоянный двор, Андрей встретил разгуливающего в одиночку Тихомирова. Тот любил променады перед сном, пекся о здоровье. Говорил, что за четыре года тюрьмы более всего истосковался по прогулкам и свежему воздуху. Тихим голосом сказал, взяв Андрея за руку:

— Мне не нравится тут один человек. Идем скорее!

— Кто?

— Да тут как раз... Может сидеть у окна... — понизил голос до шепота и тянул Андрея сильнее. — Мы впотьмах не видим, а он сидит и слушает, гнида. Сегодня пристал ко мне: «А вы откуда? А надолго ли? А не лечились ли у доктора Петрова?» Я сухо ответил: «Нет, не лечился». И рожа такая скверная, улыбающаяся...

Ночь была теплая. Пел соловей.

Как-то издали, кружным путем возникла мысль: а почему девушка, дочь генерала, которая считалась невестой, не приехала в Липецк? Перовская Сося. И вспомнилось то чувство, острое, уколотившее когда-то в коридоре предварилки, когда видел их вместе: зависть. Между ними что-то произошло. Может быть как раз по той причине, о которой говорил Гришка. Нет, не трусость, трусливых здесь быть не может, трусливые отскакивают на сто верст отсюда.

— Почему ты заподозрил шпиона?

— Слишком уж пазойливо он меня расспрашивал. Мне кажется, завтрашняя сходка — лишняя. Надо разъезжаться.

Андрей спросил:

— А где твоя невеста Сося?

Тихомиров посмотрел на Андрея. В темноте было видно, как его лицо — бледное — настороженно поднялось.

— Устаревшие сведения. Она давно мне не невеста, — помолчав, сказал Тихомиров. — Пойдем куда-нибудь подальше. Не хочу здесь, ночь теплая, все окна открыты и — могут слушать...

Нет, нет, Гришка неправ, это не трусость, это болезненная осторожность. Он как-то чересчур быстро постарел.

Ведь ровесник, а выглядит на десять лет старше. Осторожность это вроде подагры, глухоты: признак старости. Прошли в конец улицы, через площадь, в сад. На скамейках, замерши в темноте, ютилось что-то живое, наверное парочки. Иногда белело платье, долетал шепот. Тихомиров вел Андрея все дальше, в глубь сада, где не было скамеек, не могло быть живого. Такие ночи, как эта — безлунная теплота, душность от цветов, от свежей листвы. — бывают раз или два в году.

Наконец, когда зашли далеко, Тихомиров заговорил: что произошло между вами. Его, как видно, томило. Он сказал: когда женщина слишком страстно увлечена делом, она что-то теряет от своей природы. И вот это как будто случилось с Соней. Трещина пробежала почти сразу после освобождения по Большому процессу. Он, Тихомиров, собрался поехать на юг, повидать стариков — ведь и Андрей тотчас уехал в Одессу, к семье! — но Соня требовала сразу заняться делом, освобождением Мышкина, которого, по слухам, намеревались переводить в Харьковский централ.

— Понимаешь ли, я не мог отказаться, но несколько колебался. И она это почувствовала, и тут же возник холодок. Она мерзла по себе, а ее раздирало желание действовать. Но понять — просто по-человечески — такую вещь, что мы находимся с нею в разных состояниях, она не могла. Я — после четырех лет тюрьмы, намаившись, уставши, в мечтах поскорей увидеть родных, она же была на воле, на поруках, как дочь уважаемого генерала Льва Николаевича. Нет, понять такую разницу ей не дано! — Тихомиров говорил, волнуясь. Все это еще не отболело. — «Я, кажется, должна вас уговаривать?» И выражение лица этакое суровое, революционное и в то же время презрительное, графское. Ну, я поспешил сказать, разумеется, что я ни минуты не колеблюсь. Поехал в Харьков. Что там было, ты знаешь. Не хватило средств, не было связей, когда я бросился за средствами в Питер, Мышкина провезли на юг. Словом, чепуха. Но ты бы слышал, как она меня крыла! Металась по комнате, как бешеная рысь: «Проворонили! Растяпы! Неизвестно зачем ездили!» Крику и оскорблений было много, ну и возвращаться потом оказалось трудно... Почему ее нет здесь, я не знаю. Она все еще в Харькове. Михайло за нею почему-то не заехал, кажется, считает ее чересчур ярой

народницей и «русачкой». Конечно, ошибка, надо было заехать, и он еще за это поплатится!

Тихомиров засмеялся с каким-то тихим, злорадным самодовольством, но — скрытно, про себя. Весь этот рассказ был «про себя». Андрей был далек, мало знаком с нею и с ним, Тихомировым, и, наверное, только поэтому все рассказывалось с такими подробностями. Впрочем, Андрей привык к тому, что люди перед ним раскрываются. И подумал: здесь главная и, может быть, единственная мера — бесстрашие, готовность собою жертвовать. Ценится более ума, образованности и многих высоких качеств. И отчего-то сделалось весело, и, возвращаясь назад — опустелым садом, в разгар ночи, — даже пасивствовал. Тихомиров опять заговорил о том, что завтрашняя сходка необязательна, все вопросы выяснились и достигнуто основное: единство по поводу политической борьбы. Не пужно искушать судьбу. Каждое новое собрание — новый риск. А зачем это пужно, когда все вокруг кишит шпионами? Андрей не мог сдержаться — какая-то дурацкая напала веселость! — и рассмеялся.

— Ну, не так уж кишит, Тигрыч, не преувеличивай.

— Кишит, кишит. Я чувую, как вокруг нас стужается подозрительность. Мне не нравится, например, половой в трактире, такой чернявый, с бородавками.

— Но мы не можем разехаться, пока не сказано последнее слово!

— Ты имешь в виду? Ну да, понимаю. Все ясно, не падо никаких последних слов. Дворник любит эфффекты.

— Слова пужны, — сказал Андрей. — Потому что дело-то какво? Не шпиона заколоть, не купца тряхапуть. Этот эфффект через сто лет отзовется. Дворник совершенно прав: тут падо сказать все до конца, очень четко. Так, мол, и так. Другой падежды сейчас нет. И все мы должны с этим согласиться.

Тихомиров, помолчав, сказал:

— Ну, смотрите... — и рукою слабо махнул.

На другой день в лесу Дворник произнес обвинительную речь против Александра II. Это и было последнее, необходимое слово, которое должно объяснить, почему не отклонимо и единственно то дело, что не довершил Соловьев. Михайлов рассказал кратко обо всем царствовании лживого деспота, вот уже почти четверть века дурачившего русских людей пустыми обещаниями и посулами. Да, реформы были во благо и могли бы стать началом

величайшего возрождения России, свободной и процветающей, с исконным для русской земли справедливым земским управлением — почему же не стали? Почему спустя полтора десятка лет после введения реформ российская жизнь стала не лучше, а еще гаже, мрачнее, невыносимей? Потому что все эти уступки народу и обществу были обманом, лицемерием. А на деле: простор для хищников, разграбление страны, миллионы нищих, голодающих. Для видимости простил декабристов, вернул нескольких уцелевших несчастных стариков из Сибири, но беспощадно и бессмысленно подавил поляков, залил кровью Польшу, в ту же Сибирь погнал тысячи и тысячи. Для видимости, для одурачивания мира провозглашал громкие слова о свободе и конституции, ради которых будто бы затеял освобождение братьев славян от турок, но на деле всякий признак свободы и всякую мысль о конституции давил и душил в собственной стране. Никогда в России не было столько виселиц, как при царе-«освободителе». Казни в Киеве и в Петербурге, зверское обращение с заключенными в Петропавловской крепости, приведшее к бунту и избиениям, издевательства над жепщинами, нашими подругами, Малиповской, Витапцевой и Александровой, все это делалось с благословенья царя. Да что стоит хотя бы то, что сей миролюбец усилил наказание пропагандистам по Большому процессу! А кто ответит за погибших, за тех, кто сошел с ума, не дождавшись суда? Все полезное, что было сделано в начале царствования, император уничтожил за последние годы. Можно ли простить ему притеснения народа, казни и надругательства над лучшими людьми? Можно ли простить то, что развеялись и поруганы все надежды на то, что Россия может стать когда-либо свободной страной?

Ответ был единогласный: нет, простить нельзя.

Десять человек сидели кто на пнях, кто на траве: Мария Николаевна, Баранников, Тихомиров, Морозов, Ширяев, Гольденберг, Квятковский, Фролепко, Колодкевич и Андрей. Один стоял посреди лужайки, заложив руки за спину, бледный, с упорным, в одну точку направленным блистающим взглядом, и — говорил. Никогда Андрей не слышал такой страстной, возбуждающей речи. И сразу, как он копчил, встал Андрей.

— Если мы хоть сколько-нибудь считаем своей целью, — заговорил он, с колотящимся сердцем и с тем мощным чувством наслаждения жизнью, что уже было на

днях, — защиту прав личности, а деспотизм признаем вредным... Если мы верим, что только борьбой народ может добиться освобождения, тогда мы не имеем права относиться безучастно к таким проявлениям тирании, как зверства одесского и киевского губернаторов, Тотлебена и Черткова. Но инициатива этой политики расправ принадлежит царю. Партия должна сделать все, что может: если у нее есть силы низвергнуть деспота посредством восстания, она должна это сделать. Если у нее хватит силы только наказать его лично, она должна это сделать. Если бы у нее не хватило силы и на это, она обязана хоть громко протестовать. Но сил хватит, и силы будут расти тем скорее, чем решительнее мы станем действовать!

В Воронеж он приехал, ощущая себя по-новому. Это было радостное ощущение, он прятал его от других, но иногда — в краткое мгновение — получал от него тайное удовольствие. Конец провинциальному прозябанию! Теперь, в громадном деле, он покажет себя. Его уже разглядели, признали. С ним советуются, прислушиваются к его словам, то и дело он слышит: «Борис сказал... Борис считает...» Дворник, этот вожак, титан, с непостижимой быстротой стал ближайшим другом, они не расстаются, все обсуждают вместе, иногда спорят, по почему-то в конце концов Дворник всегда соглашается.

— Устал я от твоего мужицкого упрямства! — шутя, говорил Дворник.

— А меня удивляет твой практицизм, вовсе не дворянский. Врешь, братец, никакой ты не дворянин, а из купцов первой гильдии!

В Воронеже, как и в Липецке, поселились вместе. Сюда приехали все, кто были там, кроме Гришки Гольдсберга. Были сомнения: приглашать или нет? Дворник относился к Гришке неплохо, считал, что его наверняка удастся использовать, но Андрей сказал, что использовать можно и не приглашая на съезд. «Шуму от него много. А где шум, там опасности. И потом другое: ведь будет борьба, столкновения мнений, и не в наших интересах, чтобы нашу сторону защищал этот трескучий и несерьезный малый». Дворник, подумавши, согласился. Тем более что в Воронеже должны быть Родионич с Плехановым, у которых остались неприятные воспоминания, связанные с Гришкой:

о мартовских сходках в Питере, когда решалось дело о помощи Соловьеву.

— Ладно. Звать его в Воронеж не станем,— сказал Дворник.— Все равно будет раскол, разбежимся в разные стороны, и Гришка — к нам.

Все этого боялись и были уверены: раскол неминуем. Но — мивовало! И деревенщики и террористы не смогли разойтись сразу. Уж очень мало их было — всех — на Руси, чтобы еще дробиться. Жались друг к другу, искали тепла, силы, помощи. В Воронеж съехалось человек двадцать: десять заговорщиков из Липецка, составивших Исполнительный комитет, да еще столько же землевольцев, деревенщиков, кто из Питера, кто из Харькова — Перовская с Лебедевой,— кто из сельских мест, взяв краткий отпуск у хозяев или у земских властей. Вначале хотели собраться в Тамбове, многие туда съехали, но смешной случай помешал: во время прогулки на лодках по Цне Женя Фигнер, сестра Верочки, отличная певица, так замечательно пела арии из опер, что на берегах скопились слушатели, аплодировали, кричали «браво», все это привлекло ненужное внимание. Что за компания? Кто такие? Сочли за благо из Тамбова исчезнуть.

В Воронеже собирались в укромных местах, в Ботаническом саду, а то в Архиерейской роще, или же брали лодки и — на реку, на острова. В первый же день Дворник сказал, что есть возможность пополнить состав общества новыми членами, людьми с почтенным революционным опытом. Это всем известные Оловенникова, Желябов и Колодкевич. Вои они, проявляя деликатность и скрывая волнение, прячутся в близлежащем леске. Были приняты единогласно и криком приглашены. Тут же и деревенщики сообщили, что у них тоже — совпадение! — есть на примете три прекрасных кандидата в общество, которые, волнуясь ничуть не менее, затаились в леске с противоположной стороны.

Вот так легко, полушутливо, со смехом, все это пачалось. Но сразу за тем зазвучало горестное и мрачное. Михайлов сообщил, что по последним сведениям из Одессы над Дмитрием Лизогубом нависла рука палача. Казнены Валериан с Брандтнером и Аптоновым. Вот завещание Валериана товарищам, оно недавно получено, а написано было на рассвете в день казни, 14 мая. Дворник стал читать по тексту свежего «Листка Земли и воли»:

— «Дорогие друзья и товарищи! Последний раз в жиз

ни приходится писать вам, и потому прежде всего самым задушевным образом обнимаю вас и прошу не помянуть меня лихом. Мне же лично приходится уносить в могилу лишь самые дорогие воспоминания о вас... Желаю вам, дорогие, умереть производительнее нас. Это единственное, самое лучшее пожелание, которое мы можем вам сделать. Да еще: не тратьте даром вашей дорогой крови! И то все — берут и берут...»

Андрей слушал с тоской, душившей сердце. Видел милос, очкастое лицо Валериана, слышал его быстрый, веселый, полухохлацкий говорок, и — тоска еще от того, что горько ошибался, глупо избегал его, считал, дурак, в своей мужицкой спеси его каким-то аристократом. Да какой же аристократ? Простой человек, как все герои. Никто бы не мог так просто сказать: «умереть производительнее нас». А в кармане последнее сделанное им добро: паспорт на имя Чернявского Василия Андреевича. Дворник читал:

— «Мы не сомневаемся в том, что ваша деятельность теперь будет направлена в одну сторону. Если бы даже вы и не написали об этом, то мы и сами могли бы это вывести. Ни за что более, по-нашему, партия физически не может взяться. Но для того, чтобы серьезно повести дело террора, вам необходимы люди и средства... Дай же вам бог, братья, всякого успеха. Это единственное наше желание перед смертью. А что вы умрете и, быть может, очень скоро, и умрете с не меньшей безвестностью, чем мы — в этом мы ничуть не сомневаемся. Наше дело не может никогда погибнуть — и эта-то уверенность заставляет нас с таким презрением относиться к смерти. Лишь бы жили вы, а если уж придется вам умирать, то умерли бы производительнее нас. Прощайте и прощайте!»

Было что-то еще, прощальное. Андрей не слушал. Он читал это письмо накануне, в последнем, только что привезенном из Питера шестом номере «Листка Земли и воли». По лицам других видел, что такая же тоска и боль терзали всех, кто слушал... Дворник гениален! Надо было догадаться написать Валериану в тюрьму, в утешение ему перед смертью о том, что деятельность партии «будет направлена теперь в одну сторону!» И, получив ответ, это разрывающее душу письмо-завещание, — напечатать его немедленно в «Листке». Вот же смысл: дело Валериана будет продолжено. Даже само название, Исполнительный комитет, придумано Валерианом.

Да, трудно после того, как прочитано такое письмо, возражать против террора и мести. Все учел, мудрец. И, правда, в первый день дело ладилось без задоринки. Избрали единогласно председателем съезда Титыча, толкового, добродушного, громадного роста парня, тамбовского поселенца. Затем приступили к выработке программы. По пунктам читали старую землевольческую программу, принятую год назад, и каждую поправку ставили на обсуждение. Основное осталось неизменным. Главная работа партии должна была по-прежнему вестись в народе, но усиливалось значение дезорганизаторской (выражение Валериана!) части программы, то есть значение аграрного террора и мести агентам правительства на местах.

Все без исключения проголосовали за такую краткую резолюцию: «Так как русская народно-революционная партия с самого возникновения и во все время своего развития встречала ожесточенного врага в русском правительстве, так как в последнее время репрессалии правительства дошли до своего апогея, съезд находит необходимым дать особое развитие дезорганизационной группе в смысле борьбы с правительством, продолжая в то же время и работу в народе, в смысле поселений и народной дезорганизации».

Но уже следующий вопрос — о политическом терроре — оказался огнеопасным. Все как будто соглашались: да, да, необходимо, полезно, возможно, кто же спорит. Но по выражению кивающих лиц и по тону голосов — особенно Плеханова, настроенного песколько червно, и Попова, «Родиопыча», который держался угрюмо, резко, перебивал и вообще вел себя чересчур по-хозяйски, — Андрей чувствовал, что согласие какое-то патужное, неистинное. Все говорило о том, что свара будет. И Андрей сам уже рвался в бой. Наконец Плеханов, не выдержав, спросил напрямик:

— Послушайте, на что вы рассчитываете? Чего добиваетесь?

— Мы получим конституцию! — неожиданно выпалил Дворник. — Мы дезорганизуем правительство и припудим его к этому!

— Конституцию? Ах, вот как! Малопочтенная цель для революционеров.

— Конституция не является целью. Опа лишь средство в борьбе за социализм, — сказал Андрей. — В стране, где царит бесправие, нет возможности ни работать в

пароде, ни как-либо защищать классовые интересы. Есть только одна возможность: гибнуть из-за мелочей.

— Конституция отдаст власть буржуазии. Вы будете таскать каштаны из огня для других.

— Нет, конституция отдаст власть представителям всего народа — учредительному собранию! — Андрей умел иногда сокрушать противника голосом. Он заметил, что Жорж побледнел.

— Наивность и теоретическое невежество!

— Единственный путь для России. Политический переворот послужит освобождению не какого-либо одного класса, а всего народа русского. Всего, понимаете? И ради этого всего мы должны трудиться. Я, к примеру, знаю много умных, энергичных, общественных мужиков, которые сейчас сторонятся мелких дел, потому что не хотят становиться мучениками из-за пустяков. Конституция даст им возможность действовать по этим мелочам, но ставовясь мучениками, и они возьмутся за дело. А потом, выработавши себе крупный общественный идеал, они станут непоколебимыми героями, какие встречаются иногда в сектанстве. Народная партия так и образуется!

— И вы падаетесь вашим путем — царубийством, террором — прийти к этому парадизу?

— Господа, давайте не углубляться в слишком далекоо будущее! — крикнул Тихомиров, взяв на себя роль председательствующего, ибо Титыч молчал и прислушивался к спору. — Ведь решено же, что мы усиливаем дезорганизаторскую работу. Возражений ведь не было?

Дворник шепнул Андрею:

— Не веди к расколу!

— Да черта ли играть в прятки? — тоже шепотом отозвался Андрей.

— Не нужно. Не в наших интересах сейчас...

Плехапов не унимался.

— На этом пути вы не добьетесь ничего, кроме того, что к имени «Александр» прибавится третья палочка!

И все же, так как никто Жоржа не поддержал, удалось принять согласительное решение о терроре: призначается, как исключительная мера. Затем специально о царубийстве говорил Дворник и сообщил о том, что создана особая Лига, или Исполнительный комитет, твердо решивший довести дело Соловьева до конца. Всем было ясно: споры ничего не изменят, Комитет будет действовать несмотря ни на что, и после некоторых ворчливых пере-

палок большинство решило оказать Комитету содействие деньгами и людьми. Дворник прятал улыбку удовлетворения. Воробей же, который непрерывно что-то записывал в книжку, откровенно и по-детски лучезарно сиял. Но его лучезарность тут же померкла, ибо, как только началось обсуждение вопроса об органе партии, Плеханов поднялся с «Листком Земли и воли» в руках и нервным голосом стал читать знаменитую морозовскую статью о политическом терроре. Все слушали в напряженном молчании, хотя, разумеется, хорошо знали статью и помнили. Ждали, что будет. У Воробья был вид нашкодившего и одновременно готового на все, отчаянно-дерзкого школьника. Прервав чтение, Плеханов спросил:

— Господа, считаете ли вы, что редакция имеет право и впредь высказываться в таком духе?

Он с изумлением оглядывал всех, полулежавших на плащах, пледах, сидевших кружком на лужайке и смотревших на него. Фроленко сказал:

— Что ж, так и нужно писать, по-моему, в революционном органе...

Было сказано не слишком уверенно, но так как тягостная пауза длилась, выходило, что фроленковская неуверенная мысль одобряется всеми. Попов спросил у Морозова без всякой воинственности — это был скорее жест для Плеханова:

— Вы признаете это общим методом?

Воробей забормотал пылко:

— Видите ли, как только будет обеспечена свобода слова и низвергнут абсолютизм, сейчас же нужно будет действовать убеждением. Исключительно убеждением!

Кто-то из саратовцев прогудел одобрительное, остальные молчали, Плеханов, уже севший было на свой плащ, слова вскочил.

— Господа! В таком случае мне здесь больше нечего делать. Прощайте!

Качнулся, поднял плащ и, помахивая им, довольно медленно и с какой-то жалкой торжественностью — наверно ждал, что окликнут, — пошел в сторону леса. Никто не окликнул. У всех на лицах было написано виноватое, мучительное. Верочка Филиппова прошептала:

— Господа, нужно его вернуть!

Андрей и Дворник переглянулись. Поняли без слов. Дворник произнес бесцветным, директорским голосом, какой являлся у него в ипсы минуты:

— Нет, как пи горько, мы не должны его возвращать.

Жорж ушел. Ни один человек, даже из ближайших единомышленников — ни Попов, ни Щедрин, ни Преображенский с Харизоменовым, — за ним не последовали. Раскола не произошло. И, однако, тяжесть, смутно-гнетущая, чувствовалась всеми: пока еще никто не последовал; и раскола пока не произошло. Стали выбирать редакцию органа из трех человек: назвали Тихомирова, Морозова, а третьим вместо ушедшего Плеханова кто-то предложил «Юриста», Преображенского. Дворник неожиданно — первый у всех накалены — вспынул: «Ну нет уж, кого хотите, только не Юриста! Он же народник из народников!» Была пауза ошеломления, едва не грянул гром, но Мария Николаевна со своим бесподобным хладнокровием заметила: «Ах, Дворник! Как вы плохо воспитаны! Вы забыли, что о присутствующих так не говорят, а кроме того, не все такого мнения о Юристе, как вы». Этот полусушительный выговор всех слегка успокоил, Преображенский сам предложил Аптекмана, маленького, юношески-хрупкого человека, но, как говорили, дельного, честнейшего землевольца, однако Аптекман поотрез отказался. Тогда сошлись на Преображенском, и он попал третьим в редакцию. Затем выбрали трех человек в распорядительную комиссию: Михайлова, Фроленко и Тигрыча. Все как будто шло примирительно. Но тяжесть, возникшая однажды — чувство непрочности, — не проходила. Сялились ничего не сдвинуть, не нарушить, не изменить себе, но когда для дружбы прилагают усилия, тогда дело плохо.

И только Андрей — может быть, единственный из всех — не испытывал ни тяжелых предчувствий, ни угрызений совести. Старое рвалось, ну и ладно! Это было не его старое. Особенно суетились барышни. Ну острейшие, чувствительные натуры. Когда Софя Перовская, очень взволнованная уходом Плеханова, о чем-то шепталась то с одним, то с другим и, кажется, призывала к какому-то действию, Андрей, уловив минуту, спросил ее:

— Сильно огорчены?

Она, почувствовав в его тоне насмешливость, ответила резко.

— Да, огорчена! Не люблю заговоров и переворотов. Считаю, что заговорами и переворотами мы ничего не добьемся ни в нашей борьбе, ни внутри себя. Порядка не будет! — И вдруг повернувшись к Фроленко, который

сидел рядом с Андреем: — А вы, сударь, очень странно себя аттестуете!

Михайло покраснел, добрая душа, и даже привстал.

— Соня, ты о чем? — Знал о чем.

— Если уж звать Марью Николаевну... — Она понизила голос, так как Тихомиров и Морозов продолжали спорить с кем-то из деревенщиков, довольно шумно, Титыч их примпрят. Шептала, наклоняясь к Михайле: — с которой мы делали одно дело в Харькове, то почему ж меня забывать? И, вообще, что я, заразная? Черти вы такие, кощунственные! — И она как бы шутя, но вполне слабо шлепнула Михайлу ладонью по затылку.

— Соня, голубка моя, тебя никто не забывал, но я, ей-богу, считал тебя пейссправимой народницей, — бормотал Михайло, сконфуженный. — Прости, пожалуйста...

— Нет уж, не прощу никогда!

Она отошла, грозя пальцем, улыбаясь, но лицо было злое. И видно, что говорит правду: не простит.

Накопец долгий день споров, тягостных переживаний кончился, все устали, были голодны, женщины жаловались на головную боль. Как бы хорошо было всем пойти куда-нибудь в ресторан или в трактир, поужинать славно, с вином! Морозов и весельчак Титыч загорелись: «А что? Давайте! Пошли! А сарелла! ¹» Дворник, разумеется, тут же пресек: «Никаких а сарелла! расходимся небольшими группами». Так вышло, что, расходясь группами, Андрей и Михайло оказались вместе с Соней и Таней Лебедевой, затем Михайло и Таня, попрощавшись, куда-то исчезли, и Андрей остался с Соней вдвоем. Решили пойти поесть в трактир. Андрею правилась маленькая женщина. Он с удовольствием над нею подтрунивал. Не мог отделаться от мысли, что она — истинная аристократка, дочь петербургского губернатора! А вообще-то, как рассказывал Тигрыч, она праправнучка знаменитого Кирилла Разумовского, последнего гетмана малороссийского. Очень забавляло, интриговало даже: как могла порвать с семьей, с домом? Ведь революционерами становятся от отчаяния жизни, а тут...

— На вас посмотреть, Борис, — сказала она, — тоже не скажешь, что отчаявшийся. Такой здоровенный, физиономия бодрая, румяная...

¹ Ходом вместе (шутка)

— Природа мужицкая, что поделать. Но жизнь я хлебнул, знаю что почем. В народ ходить, долги какие-то отдавать, мне не требовалось.

— А знаете, что я скажу вам? Кичиться крестьянским происхождением так же пелено, как и дворянским.

— Да? По-моему, это не одно и то же.

— Одинаковая гадость. Вот я люблю простой парод, уважаю безмерно, может быть, к некоторым отношусь даже лучше, чем они того заслуживают: только потому, что преклоняюсь перед трудовой жизнью, перед страдающими, бедностью. Но когда вдруг сталкиваешься с таким самомнением, похвальбой своей народностью — в деревне это пет, но в городах, среди фабричных, даже в наших рабочих кружках приходилось встречать — противно бывает. И ради этого, думаешь, дурака, самолюба, жизнью жертвовать?

— А не приходило в голову, что бояре на Руси тыщу лет кичатся происхождением, а мы, людишки черные, тягло, быдло — только едва-едва, лет пятнадцать, как почувля, кто мы есть? Едва голову подняли, а вам уж противно.

Она посмотрела как-то сбоку, внимательно.

— Ладно. Знаете что? — Тронула пальцами его руку. Наверное, для нее этот жест, примирительный, был большого значения. — Давайте ценить людей не за их происхождение, ладно? Не за их племя, религию, образование, а за то, что вложили в них бог или природа.

Он кивал, улыбаясь. Как-то уж очень она всерьез. Вообще, была похожа на серьезную гимназисточку, из тех, которые берут книги в библиотеке, рассуждают о возвышенном и все, кроме занятий, считают глупостью. Не верилось, что эта розовощекая барышня прославилась многими подвигами. Например, гениальным бегством из-под конвоя в Чудове. После Большого процесса ее арестовали на юге, везли чугункой в ссылку, в Олонецкую губернию, и на станции Чудово, где поезд довольно долго стоял, она попросилась в дамскую комнату. Жандармы проводили, сели у входа, были, видимо, пьяны, задремали, она спокойно дождалась, пока поезд уйдет, перешагнула через спящих и скрылась. (Рассказывал Михайло в прошлом году.) В трактире Андрей нарочно, продолжая испытывать аристократизм своей спутницы, заказал самое грубое, дешевое, что было: щи со щеквиной, из соленых бычьих щек. Она ела с аппетитом, не замечая того, что ест. Он

наблюдал исподтишка. Нравилось: наблюдать. Вдруг она сказала:

— Когда-нибудь расскажу, почему я стала революционеркой.

— Когда-нибудь? А если — сейчас?

— Нет.

— Расскажите сейчас.

— Нет, сейчас неохота.

— Рассказывайте сейчас же! — Он взял ее маленькую руку с пухлыми пальчиками, стиснул. Стискивал все сильнее. Наверно, ей было больно. Она смотрела улыбаясь, и в глазах, нежно-серо-голубых, светилось неколебимое спокойствие.

Качала головой. Он отпустил: на руке отпечаталось белое.

— Началось у меня от ненависти к деспотизму. Когда-нибудь расскажу. Деспотизм ведь бывает всякий, домашний, семейный. Но дело в том, что самое страшное — когда заставляют делать вопреки твоей воле.

Потом долго разговаривали об обществе, об уходе Жоржа, о том, как все это будет дальше. Она упорствовала: нет, никогда не согласится ради террора оставить работу в народе. Политический террор может быть только подсобным средством, но вовсе не универсальным. Жорж умнейший человек, знаток Маркса, Лассаля, как теоретик он не имеет равных. А как практик: кто организовал демонстрацию на Казанской площади? Кто впервые поднял красное знамя «Земли и воли»? Да, но как раз потому, что больше теоретик, чем практик, он не видит всей безнадежности работы в народе. Нас всех перевешают, пока сдвинем эту глыбу, хотя бы на миллиметр. Нет, нас перевешают скорее, если вступим в открытый бой. Вот здесь наша гибель будет мгновенной. Почему же она пошла за Плехановым, если такая противница террора? Не противница, нет, но не считает террор спасением. Она противница раскола, разъединения, ибо тут пагуба и конец, и поэтому — не пошла за Плехановым. И как он ни спорил, как яростно ни доказывал, какие примеры ни приводил, она стояла скалой: нет, толку этим путем не добиться, Россию не освободить. Повалить самодержавие можно только долгим и кропотливым трудом среди народа.

— Я тоже так полагал, леший бы вас драл, упрямая вы бабенка! — кричал Андрей, потеряв самообладание.

Но теперь-то! Оглянитесь кругом! Неужели не видите, что творится? Неужели не понимаете, что через полгода всех нас переловят и передуют, как мышей?

— Вероятно. А что вы на меня кричите? Я ведь согласилась, никуда не ушла, буду заниматься и террором, если понадобится. И царубийством. Но мнение-то свое, независимое, могу иметь?

— Можете иметь. Но и соображать должны.

— Да вы-то чего хлопчете насчет террора? Зачем к террористам ладитесь? Вы же знаменитый конституционалист. Вы уж поближе к князю Васильчикову...

— А что вы обо мне знаете? — Андрей, рассвирепев, даже кулаком по столу грохнул.

— Вы прекрасные речи произносите. Большой говорун.

— Я большой говорун?

— Ну, конечно, готовитесь к учредительному собранию...

Из-за соседнего стола угрожающе поднялись трое. Какие-то темные рожи, кабацкая пьянь. Видно, давно прислушивались.

— Эй, господин, ты девку не обижай...

— Машка, айда с пами! Наплюй на его!

Один уж и руку тянул, чтобы Сою схватить. Трактир был, действительно, из последних. Андрей соображал, кого первого бить. Соия вдруг закричала на пьяных ярыжек так, что те ошелотились, отступили, да и Андрей вздумался. Вышли на улицу, в душную темпоту. Андрей смеялся: нет, не зря в пароду толкалась, умест разговаривать с простыми людьми! И пока провожал до дома, где она жила с Таней Лебедевой — спорили все о том же, до ругани, до хрипоты.

И на другой день спорили. Перетягивал к себе, в Исполнительный комитет. Убеждал: все равно разрыв неизбежен. На последнем заседании решались финансовые дела. Опять могли разгореться страсти: какую часть деревенщикам, какую на террор. Андрею посоветовали (Дворник особо просил) не выступать, чтобы не обострять положения. Он уже обозначил себя, как самый резкий сторонник нового направления, который к тому же вовсе не заботился о сохранении единства. Ему это было не дорого. Ну вот, и, подчиняясь просьбе, сидел в сторонке, слушал, что говорят, и рассуждал вполголоса то с Софией, то еще с кем-то, из колеблющихся.

Было постановлено не больше одной трети всех имеющихся средств тратить на террор, остальные две трети — на работу в деревне. Дворник пытался протестовать, не очень, правда, решительно, да и Андрей жестом остановил его. Ведь было ясно, что никакой работы в деревне не предвидится, все это миф, химера, любимая бесплотная мечта. Расставаться с химерами всегда мучительно. И Перовская, хотя твердила упорно: «Работу в деревне ни за что не оставлю!», было видно — страдает. Потом она, ее подруга Таня и Верочка Фигнер, она же Филиппова, молотили вздор насчет того, что Исполнительный комитет их пугает: нет ли здесь нечаевщины? Заговор, конспирация от товарищей, тяга к убийствам... Пришлось объяснять: заговор был направлен не против товарищей, а против общего врага. Тайна существовала лишь несколько дней, а теперь все открыто, каждый волен поступать по своему разумению. И не надо так уж трястись и скрипеть зубами при слове «нечаевщина». Ну, тут началось! Женщины бросились на Андрея с криком, с проклятьями, чуть ли не с кулаками. Да как он посмел? Что у них общего с этим грязным обманщиком, вымогателем? Так говорить, значит ничего не понимать в русском освободительном движении! Обманул умирающего Герцена! Шантажировал Огарева! Вера Засулич говорила о его бессовестных проделках! Бакунин от него отрекся! Когда его схватила швейцарская полиция, ни один русский студент (Верочка готова прыснуть) не желал шевельнуть пальцем для его освобождения! Убить невинного человека! Иезуит от революции! Весь вышел из книжечки Макиавелли «Монарх»: помпите, появилась в шестьдесят девятом году в переводе барона Затлера? Если уж говорить...

Тут грянул ливень. Кинулись с лужайки под деревья, сильный дождь доставал и там, вмиг потемнело, от травы шел пар, и тогда кто-то крикнул, что надо бежать в павильон, к пруду. Побежали, веселясь, женщины подобрали юбки, кричали, ахали, Андрей поднял на руки Верочку, кто-то подхватил Сою — добежали, допрыгали, Воробей потерял очки, Марья Николаевна, босая, поскользнулась и шлепнулась, хохотали, валялись от изнеможенья и хохота на пол, господин с дамой смотрели с недоумением, у всех блестели глаза, лица были мокрые, красные, Верочка вдруг запела сильным, счастливым голосом «Бурный поток», ливень с нарастающим гулом колотил в деревянную крышу...

Непрочность, о которой догадывался Андрей, проявилась скоро. Два месяца после Воронежа бились, терпели, сдерживали себя, шли обоюднo на всяческие уступки — мелкие, несущественные, но казавшиеся важными, — однако дело непоправимо разлаживалось. Деревенщики гнули свою линию, Исполнительный комитет — свою. И когда стало окончательно ясно, что нет смысла мучить себя и других, было решено разделиться. Разделили слова: сторонники политического террора взяли «волю» и назвали себя «Народной волей», а те, другие, взяли «землю» и придумали себе название «Черный передел». (Это была, собственно, исконная крестьянская мечта — душевой передел земли, — на которой строили свои надежды чигиринские пугачевцы, Дейч со Стефановичем.) Разделили имущество: типографию. Разделили средства. И с того дня, когда это случилось — в августе, в Лесном, под Петербургом, — террористы и будущие царубийцы, вздохнув с облегчением, приступили к своим делам. Они знали, что скоро погибнут, может быть очень скоро, той же осенью семьдесят девятого года, но были твердо убеждены в том, что смертью своей принесут родине избавленье и счастье. И поэтому очень торопились, старались не терять ни дня, ни часа.

Глава четвертая

В один из последних дней лета на даче в Лесном члены Исполнительного комитета приняли решение о казни императора Александра II на его возвратном пути из Ливадии в Петербург. Обыкновенно император возвращался с юга в поябре. За два месяца — сентябрь и октябрь — надо было успеть расставить такие капканы, чтобы покончить с императором пеминуемо. Перекрыть все пути. Не так уж сложно, если взяться за дело с умом. Путей было два: железной дорогой из Симферополя через Харьков, Курск, Москву и морем до Одессы, оттуда поездом. Скорей всего царь поедет из Симферополя железной дорогой, но все же Одессу нельзя было упускать: туда направили Михайлу Фроленко. Главные силы бросили на Московско-Курскую дорогу: Дворник вместе с Морозовым, Гартманом, Перовской (к исходу лета она окончательно сломилась в своем народническом упорстве и примкнула к терроризму) должны были приготовить мипную засаду под

Москвой, а Андрей вызвался устроить такую же каверзу на юге, где именно, еще не знал, где-то на степном просторе между Симферополем и Харьковом.

Андрей был убежден, что его мина окажется первой и решающей. Ну, а если нет — тогда Москва. Спасенье царю не предвиделось. В ноябре жалкий тиран испустит дух, а к рождеству вся жизнь в России переменится: новый государственный строй, конституция, представительное управление, свободная печать. А там уж пойдет настоящая борьба за народоправство!

В радостном нетерпении мчался Андрей на юг, сквозь зной и спелость осенних российских равнин. В Харькове остановился на «Монастырском подворье». Среди здешних людей было немало знакомых: один из лучших и верных — Иван Глушков, «Ионыч», старый приятель по одесским кружкам. Но теперь, в начале сентября, Ионыч подумывал насчет того, чтобы исчезнуть, ибо вокруг стужалась опасность. Новый генерал-губернатор Харькова Лорис-Меликов, заменивший на этом посту убитого Гришкой Кропоткина, действовал гораздо более хитро, но и решительно. Кружок Дмитрия Будинского, толкового молодого человека, близкого Андрею по духу, называвшего себя «государственником» (бегло познакомился в прошлом году, да и Соня Перовская много рассказывала), был сильно весною подорван, лорис-меликовские шпики искали убийц Кропоткина, выудили нескольких человек, и Будинский в апреле бежал из Харькова. Теперь все было в разброде, более затаенно, но сходки, вполне мирные, без кровожадности — чтение книжек и споры о социализме, — кое-где, по студенческим квартирам, продолжались.

Ионыч быстро свел Андрея с местными карбонариями. Самым заметным был, конечно, «Староста», Петр Абрамович Теллалов, ровесник Андрея или, может быть, на год младше, с немалым опытом: еще в семьдесят четвертом году, когда был студентом Горного института, попал в ссылку за участие в «беспорядках». Этому Старосте, или Абрамычу, Андрей вез поклоны из Питера. Гришка Гольденберг, появившийся вскоре, тоже знал Теллалова и рекомендовал его, как вернейшего человека. Ионыч и Староста — на этих двух можно было опереться, но Ионыч уже собирал пожитки. Остальные здешние были тощая молодежь, слегка напуганные, слегка легкомысленные, знавшие обо всем понаслышке. Шут знает, чем они занимались! Староста делился опытом, как они добывают деньги

ги для кружка: обрабатывают либералов, одну даму, например, жену председателя Харьковской судебной палаты дообрабатывали до того, что она ежемесячно вручает ему, Старосте, тридцать четыре рубля в пользу социалистов, а некий Легкий, восемнадцатилетний гимназист, нашел замечательный способ добывания денег. Он обещает гимназистам через мифического чиновника министерства просвещения, который тут будто бы проездом, достать фальшивый аттестат зрелости для поступления в университет, за шестьсот рублей, берет триста рублей задатка, и два осла на эту удочку уже попались. Чем рисковать много раз по мелочам, лучше однажды рискнуть хорошенько, но зато запасть средствами на год, два, три. Тут это понимали и носились с идеей подкопа под Полтавское казначейство. Впрочем, главное — на что тратить средства? — в Харькове представляли смутно.

На одной из первых же сходов, на квартире студентов Кузнецова и Блинова кто-то спросил: верно ли, что Петербургское общество изменения государственного строя разделилось на две фракции, террористов и народников? Пришлось объяснять, что общества с таким длинным названием вовсе не существует и что народники, признавшие террор одним из средств борьбы, не перестали быть народниками. Слухи о разделе докатились сюда еще летом, родили сумятицу в мозгах. Гришка Гольдберг сильно портил дело. Здесь, в Харькове, на месте своего геройства, он чувствовал себя непререкаемым авторитетом и пребывал в каком-то постоянном, именинном возбуждении: каждую минуту ждал дани восхищения, пускай даже молчаливого. Он запретил называть себя Гришкой, Давидом, Бикопсфильдом, велел звать Федором. Хвастался, что вряд ли есть хоть один другой революционер в России, который имел бы столько разных имен, как он. То и дело вынимал из кармана флакончик с прозрачной жидкостью и что-то писал (видимо, важные письма) этой жидкостью на листках бумаги. Как будто не мог заняться писаниной дома, насдине. Студенты глядели на него разинув рты, подавленные его значительностью. Еще бы: кто-то приведший Гришку в этот кружок впервые назвал его «певцом» и «одним из друзей Кропоткина». Свою славу певца Гришка старался подтверждать, и после серьезных разговоров, когда дело доходило до веселого застолья, всегда пел малороссийские песни. Но что касается рекомендации насчет «одного из друзей Кропот-

кина», то намек был, кажется, всем ясен. Вот этого мелкого фанфаронства, неутомимой самощекотки, Андрей не пощипал. Какой вздор! Тщеславиться перед мальчишками, рискуя из-за этого провалить себя, да и дело. Сказал ему об этом. Гришка удивленно поднял брови: «Ты учишь меня конспирации?» И хохотал. «Учит меня конспирации! Это уже анекдот. Милый Борис, я не проронил ни слова, ни полслова».

Верно, не проронил. Но ведь намекал же, черт тебя драл!

— Мы не будем, как прежде, заниматься такими мелкими делами, как убийства Кропоткина и Мезенцева. Мы начнем с главного, с царя! И пусть все, кто нам сочувствуют, но колеблются или трусят — что, впрочем, одно и то же. — знают, что мы не требуем, чтоб в этом деле принимала участие вся террористическая партия. Нам достаточно единицы, чувствующие к этому призвание. Остальные будут лишь содействовать. Одинкинжал нельзя держать десятью руками. Подвиг есть дело редкое и добровольное.

Все было так, но — тон, категоричность, тайное самолюбование, которое нельзя было скрыть, оно так и прыгало, вызывая раздражение. Из-за Гришки, чтобы сгладить впечатление, Андрей выступал помногу и долго. Один из почтительных Гришкиных слушателей, совсем молодой реалист, сын известного в Харькове доктора Сыцянка, робко возражал: они не трусят, нет, но колеблются, ибо террористический путь, как известно, влечет за собой репрессии, невинные жертвы. Привел в пример двадцатилетней давности покушение Орсии на Наполеона III, когда император с императрицей после взрыва бомбы спаслись, а полтора человека на улице вблизи театра были ранены и десять убиты. Гришка, рассердясь, сказал, что никому не советует попадаться под карету истории. Еще был вопрос: а какие пути предлагают террористы для достижения конституции? Гришка ответил загадочно: «Этого пока еще нельзя говорить, секрет».

Более всего Андрей боялся, что в Гришкиных речах может мелькнуть настоящая причина их приезда в Харьков. Сам он вовсе создавал видимость, что они приехали сюда, как истые пропагандисты: говорил на исторические темы, объяснял по Марксу суть борьбы классов, и, разумеется, о терроре, но без горячки, спокойно. В двадцатых числах приехал Колодкевич, а вскоре Барацкий (теперь он звался Ипполит Кошурников) и Андреев теза

Пресняков. С Пресняковым Андреем познакомился только теперь. Это был высокий блондин, несколько бледный, угрюмый, худой, похожий внешнею на петербургского мастерового, однако на самом деле был вполне образован: учился когда-то в Учительском институте. Потом, правда, слесарничал на каком-то заводе в Питере. Пресняков был мужчина серьезный. За ним числились дела: Казацкая демонстрация, бегство из полицейской части и — кровь. Говорили, что убил шпиона два года назад. Представляясь Андрею, жестко стискивая его руку, сказал внушительно: «Андрей Корнеевич». Взгляд у Андрея Корнеевича был какой-то странно застывший, водянистый. Андрей, поглядев на него, подумал: «Эге! Человек пужный». Пресняков с Баранниковым привезли динамит и проволоку.

Теперь надо было решать: где? Сидели ногами над картой. Баранников по поручению Комитета уже занимался рекогносцировкой на Варшавской дороге, теперь он помчался в Крым, но через несколько дней вернулся: подходящего места на юге не было. Снова колдовали над картой, сошлись на том, что может подойти Александровск, уездный городишко Екатеринославской губернии. Баранников в дни юношеских скитаний бывал там, да и Теллалов знал это место, его брат жил в Александровске, занимался торговлей. Итак, Александровск! Поехать, посмотреть. Времени еще было много, месяца полтора, однако Андрей спешил. Нетерпение не покидало его. Он должен был ехать один: Колодкевич возвращался в Одессу, где его ждали Верочка и Михайло, Пресняков отправился в Крым (ему дали адрес верного Теллалову человека, в Симферополе, где Преснякову надлежало обосноваться и следить за передвижением царя), а Баранников торопился в Москву. Там требовалась громадная физическая работа, затеяли подкоп, пужно много сильных мужиков.

Еще в середине сентября перед своим отъездом из Харькова Ионыч — Глушков — свел Андрея с человеком, который был теперь необходим: ведь пора уже было готовить мигу! Даже не одну, две. Человек был — мастер, золотые руки, Вапичка Окладский, он и слесарь, он и медник, и немного по электрической технике, и, главное, несмотря на юность, многоопытный в революционных делах, воспитанник петербургских кружков. Андрей познакомился с Вапичкой (все его почему-то так звали,

хотя парню было уже двадцать) в Одессе лет пять назад, но — бегло, едва запомнилось. Впрочем, запомнилось: мальчишка, а разговаривал и держался с достоинством, как-то по-столичному чванился. Теперь, хотя стал старше, выглядел попроще. Но тоже нет-нет, а мелькнет — этакое столичное, глуповато-важное.

Ионыч, уезжая, сказал: «Ваничка тебе все сделает».

Встретились на Университетской горке, вечером, мелкий дождичек зарядил, и дохнуло вдруг — зимой, холодом. Андрей зябнул, Ваничка напыжился, похвалился:

— Для нас, петербургских жителей, этакая погода — в самый раз.

Ну ладно, бог с тобой. Как все мастеровые, и этот, желторотый, набивал себе цену. Андрею все же он нравился, истинный работник, самостоятельный, но в то же время за годы вращения среди питерских революционеров, да и одесских — знал Заславского, Малинку, Родиопыча, многих — приучился, как младший, опекаемый, к послушанию. Где взять мастера, и опытного, и чтобы довериться полностью? А тут, хоть и молод, да свой.

Ведь таиться бессмысленно. Что за снаряд? Какой корпус? Для чего? Делать — ему. Должен знать.

И тогда же, вечером, гуляя под мокрыми деревьями, сказал все. Поразило: Ваничка писколько не удивился. Не взволновался, не дрогнул. Деловито и расчетливо, будто портной берет заказ на сюртук, стал расспрашивать, какой длины предполагается снаряд, каков вес динамита, из чего делать корпус, какого диаметра пужен земляной бур. Обсудили. Ваничка сказал, что работал в мастерской доктора Сыцянка, там можно листовую медь достать и все прочее, что надобно, а если будет какая недостача, есть другая мастерская, Якубовича, в том же доме, где доктор Сыцянка. Ребята везде знакомые, достать можно. Само убийство царя как будто не представлялось Ваничке важным делом, об этом даже не задумывался, а вот достать материал, сделать — это задачка. «Хорошо, хорошо, — соображал Андрей. — Нам такого и пужно, чтоб не задумывался».

Сняли дом на Москалевке, хозяйке Ваничка объявил, что будет работать на заводе Пильстрема, ждет жепу из деревни. Про дом на Москалевке никто, кроме Андрея, не знал. Корпуса изготовлялись из меди, цилиндрические, полтора аршина длиной. Следить нужно было, чтобы швы легли плотно, герметически, иначе нитроглицерин станет

просачиваться и убойная сила погаснет: об этом еще в Питере Гришка Исаев, ученый малый, предупреждал. Ванюшка старался всюду, стучал медницким молотком на оправке.

Андрей верил Ванюшке. Да, конечно, верил совершенно, потому что все верили. В Питере его, мальчишку, подобрал доктор Ивановский, известный человек, пропагандист, умница, благороднейшая душа. И все-таки — от того, что кому-то раскрыл тайну, кого-то посвятил, пускай своего и близкого, но ведь не совсем же своего и не окончательно близкого, — теперь бессонно томило беспокойство. А вдруг? Ведь молодой же, черт, хрупкий. И ничего поделать было нельзя. Андрей знал за собой эту нервность, знобящую, непобедимую, как привяжется — смерть, спасу нет. Вспоминал с завистью про жену Семена, Марию Николаевну Ошанину: как же могла заснуть в те часы, когда нападали на конвой? У него еще все далеко, но вот вломилась в башку тревога, и не то, что не спится, а — места себе не пайти. Накануне отъезда Баранникова в Москву Андрей ему сказал: Ванюшка работает, все в порядке, но хорошо бы малого как-то привязать покрепче. Он ведь не член партии, не агент, устава не знает, клятв не давал. Пугнуть, что ли?

Андрей вспомнил, как кто-то — не Марья ли Николаевна? — говорила, что для приема новых членов нужно выделять двоих: его, Желябова, — чтоб говорить, и Баранникова — чтоб устрашать. Верно, физиопомия у Семена неподвижно мрачная, диковатая, как у итальянского *bandito*. Мать наградила этакой красотой. Парень замечательный, Андрей за несколько дней сдружился с ним крепко. «Поговорим!» — согласился Семен.

Ванюшку вызвали, пошли втроем в столовую в Мордвиновском переулке, в дом, где бывали часто: столовую содержала вдова Заславского, того самого, одесского, который год назад умер, бедняга, в тюрьме. У женщины всегда были глаза на мокром месте. К Андрею она относилась тепло, даже нежно, помнила его по Одессе. Однажды подошла близко, бормоча невятное:

— Они мне ничего не сказали, но я узнала досконально: Женя сошел с ума. Они его домучили. Такого человека... — Губы ее дрожали, глаза были полны слез. Внезапно приблизив лицо вплотную и глядя как-то необычайно значительно, прошептала: — Вы должны это всегда помнить!

И отошла, не дожидаясь ответа.

Теперь, когда пришли с Ваничкой, Заславской не было. Прислуживала какая-то незнакомая толстая девка, и разговаривать нужно было с осторожностью.

Семен рассказывал о своем прошлом, о детстве в Путивле, о том, как вырвался из Павловского военного училища, симулировав самоубийство в Неве, о том, как бродяжил по России, как сражался в Черногории в отряде Пеко Павловича. Рассказывая, кидал черным, косящим зрачком — пронизывая — на Ваничку. Но тот никакой пронзительности не чуял, ел и пил беззаботно. Семен стал вспоминать, как черногорцы мстят изменникам: хоть малейшая выдача, хоть словцо случайное — кинжал в сердце.

— Понятное дело, — соглашался Ваничка. — А потому что им иначе нельзя.

— Очень месть уважают! — говорил Семен, хмурясь грозно.

— Обязательно.

— Такая есть поговорка черногорская: «без свете нема посвете». Без мести, значит, нет спасения. Понял?

Все было — мимо. Ваничка как будто не догадывался, куда клонится разговор. Тогда Семен сграбастал могучей ладонью Ваничкин тощий загривок, пригнул его голову к столу, почти носом к тарелке, и шепнул в ухо:

— Если хоть словцо из тебя просыпется... ясно? — Видно, шейку-то он Ваничке сжал, потому что Ваничка побелел вдруг, захрипел. Семен отпустил его. Он выпрямился, поводит, моргая, красными — но без тени испуга — глазами, вздохнул глубоко и улыбнулся радостно, догадавшись:

— Это вы мне предупреждение делаете? Ну, и правильно, правильно. Только я вам скажу, дядя... — Мигнул лукаво, а сам все шею, намятую, рукой тер. — Я же первой вас в революционном движении действую. Чего меня предупреждать? Меня мальчонкой, двенадцати лет, в первый раз в часть сволокли. Я вам так скажу, словами Стевкы Разина: «И доблесть рыцарская ничего не сможет пред силою летящего ядра!» Так меня инженер Левицкий учил, по книжке.

— Ладно, не болтай, а запомни. Насчет того, что без свете нема посвете. Спасения не будет.

— Зна-аю! — Ваничка, смеясь, рукой махал. — Это я раньше вас еще поплял! Мудрость какая!

Вдруг в компану ввалился Гришка Гольденберг, замолотил чепуху: про какой-то музей исторических вещей, который кто-то — певедомо кто! — предлагает организовать.

— Я должен дать револьвер, тот самый, ну вы знаете, про что я говорю, — тарыхтел вполшепота Гришка. — Туда же кияжал Сергея, который тоже прославился... Ты, Борис, можешь дать — хотя нет, рано, рано! Не говори гоп! Молчу, молчу!

Уезжая в Александровск, Андрей песколько тревожился: сможет ли Гришка как должно проследить за работой Ванячки? Увлечется ерундой, забудет главное. Гришка рвался вместе с Семеном ехать в Москву, но сказали твердо: поедешь, когда Андрей вернется из Александровска, наладив работу.

Александровск оказался захолустнейшим городком, одна слава, что уездный, на деле — большое село, тысяча на шесть жителей. При речонке Мокрой Московке, в двух верстах от Днепра. Вокруг — черные осенние хляби, овраги, курганы, и неподалеку, на Днепре, Хортица, знаменитый остров, где сидели когда-то запорожские сечевики, а теперь жили немецкие колонисты-мепоциты. В извозничьей повозке Андрей объехал окрестности, высматривая место для кожевенного завода: прикатил оп сюда будто бы из Ярославля, купцом Черемисовым, в надежде открыть производство кож и быстро обогатиться. Вид был вполне купеческий, разговор дельный. Его и в Харькове припимали за купца: ходил в черном бурпуге, в картузе, в русских сапогах. И вот, колося кругом города с биржевым извозчиком Миколой Сагайдачным — познакомились накануне, на вокзале, где Микола у извозничьей колоды дожидался седоков, — расспросил исподволь об александровском бытье, о купцах, исправнике, городском голове господине Демогани. «Эге! — почему-то обрадовался Андрей. — С греком договоримся, не впервой». Стал вспоминать отдельные, с юности застрявшие греческие словечки, но тут же себя перебил: ведь бесполезно, неоткуда их зпать ярославскому купчине.

Миколе объяснял: место нужно такое, чтоб вблизи яма, куда можно сваливать нечистоты. Такое место, и замечательно удобное, в двухстах саженьях от полотна железной дороги, нашлось в первый же день, но городская

дума воспротивилась, боясь, что станет грязниться река Московка. Андрей посулил господину Демогани благодарность за помощь — не так уж страстно желал он занять этот первоначальный, удобнейший участок, но, главное, так надлежало действовать купцу Черемисову, — однако грек не дрогнул и все-таки отказал. Время еще было. Не менее месяца. Царь приезжал в столицу обыкновенно в середине или в двадцатых числах ноября. Андрей наместил другой участок, от полотна подальше (тут было свое преимущество: не так подозрительно!), и, сняв двухкомнатную квартиру с кухней, восемь целковых в месяц, сроком на полгода, и заключив по сему поводу контракт, а также оставив новому приятелю Миколу десять рублей на покупку мебели, поспешил в Харьков.

Здесь все шло чередом, Ваничка работал, подбирались помощники: у Ванички появился некий Коля, Ваничкин знакомец, парень вроде бы верный, по ему, однако, всего не раскрыли, правильно сделали, из Ростова прикатил еще в конце сентября пресняковский дружок Яшка Тихонов, этому сказали все, согласился враз, его надо брать в Александровск, там нужна сила, землекопы, и, наконец, прибыла из Питера «жена купца Черемисова Марья Петровна» — Аня Якимова, по кличке Баска.

Все были не новички, народ каленый.

Баску Андрей знал еще по Большому процессу, весной она входила в ширяевскую группу «Свобода или смерть», эта группа, правда, ничего сотворить не успела, но создала перед съездом особое террористическое построение, а летом Баска хозяйничала в динамитной мастерской вместе со Степаном Ширяевым. Яшка Тихонов судился по делу о пропаганде среди петербургских рабочих (сам-то он ткач и слесарь, истинный пролетарий), ссылался в Архангельскую губернию, оттуда бежал. А уж сам Ваничка! Этот всех знал, и его все знали. Опыт у Ванички был громадный. Жизнь свою сразу перестроил: ни он ни к кому, ни к нему никто. Однажды, когда Андрей был в Александровске, Ваничка закатил скандал Гольденбергу, и поделом: Гришка вздумал в неурочный час к Ваничке на Москалевку наведаться, узнать, как идет дело. Ваничка на него чуть не с кулаками: «Да как же ты, идол, рассуждаешь? Дурак ты, дурак, а еще в Кропотки-на стрелял!»

И — прав, молодец. Гришка Андрею жаловался: «Он меня выгнал, показывать не стал. Сопляк! Пусть бога бла-

годарит, что я был без оружия. Я невежества ни от кого терпеть не стаду!»

Все дело в том, что Гришку мытуха разбирала: скорей в Москву! И вот не в силах дожидаться срока, побежал теребить, подгонять. Была же договоренность: в дом на Москалевке никто ни ногой. Встречаться только в условленных местах. Андрей, к примеру, встречался с Ваничкой на Университетской горке. Но Гришке с его фанаберией — попробуй, объясни. И еще случилась неприятность: с околоточным. Работая медницким молотком, выгибая цилиндр на оправке, Ваничка, конечно, стучал сильно. Пришел околоточный, сказал, что соседу, больному чиновнику, мешает звон. Нельзя ли прекратить? И что тут за мастерская? Ваничка не растерялся, наврал, что делает аппараты для перегонки спирта для винокуренного завода. Околоточный был грузен, неповоротлив, во двор лезть поленился и только лишь пригрозил угрюмо: «Бей тише. Беспокойство делаешь...»

А как войдет да станет смотреть — что за аппараты? Ваничка сообразил: судьбу не искушать, сняться с Москалевки тотчас.

Андрей жил теперь на сумском подворье. Встретясь первый раз с Ваничкой и узнав, что работа близка к концу, дня два осталось, он, успокоенный, решил эти два дня посвятить учению: почитать с толком книгу «Кожевенное производство», купленную еще в Петербурге. Читать было все недосуг, а нужно. Вдруг — сообщение, Колька принес, Ваничкин подручный, писано шифром. Здесь, в Харькове, ключевым словом было «ШТУНДИСТЫ». Андрей еще по привык читать сразу, в уме, пришлось набросать сетку: «Штундисты» написать колом, по-китайски, и затем к каждой букве приписать девять, следующих по алфавиту.

В результате прочитал: «Срочно искать другое место пять на горке». К пяти пришел на Университетскую горку, Ваничка уже расхаживал, мрачно-сосредоточенный. Рассказал про околоточного. Как быть? Уходить, что ли? Андрей спросил: долго ли до конца? Если ночью поработать как следует, так завтра к утру. Ваничка мялся, плечами подергивал: предоставлял решать. Ну ладно, рискнули до утра. Не тащить же недоделанные. Да и место еще нужно найти.

Вечером Гришка побежал к Старосте, с ним пошли к Блинову, студенту, предупредили: завтра, мол, принесем к вам вещь. Какую вещь? Необходимо схоронить. Воп-

росы неуместны. Дома будете днем? Блинов, слабогрудый болезненный, закашлялся, занял: «Да я не знаю, право. Я ж не один, надо Кузнецова спросить, а его нет, у него контроль по анатомии...» Но Гришка с ними распорядился по-своему. Он и жила у них, нахалом, без спроса, вторую неделю. «Ладно, Митрофан, мы все поняли! Вы человек честный, хотя и робкого десятка. Ну, ничего. Сидите дома и ждите». Утром на другой день Андрей взял извозчика, поехал на Москалевку. Ванюшка вынес ему оба цилиндра, связанные вместе, крепко упакованные в рогожу. Тяжесть была пуда два. Отвезли вместе с Гришкой к Блинову, сунули под кровать.

Блинов допытывался:

— А что ж все-таки за вещь?

— Динамит! Бух-бух! — с шутовским видом, подмигивая, говорил Гришка. — Я, я буду спать на этой кровати, нехай уж меня разорвет, леший меня заберит! Испугался? Ха-ха! Поверил? Ха-ха, не волнуйтесь, никакой не динамит, а просто железо. Феррум, айзен, ляфер. А вы хоршенький трусишка, Митрофан!

— Я только к тому, что Кузнецова нет... У него контроль по анатомии...

— Вот что, Митрофан, запомните. — Гришка тряс пальцем. — Первый закон всякой революционной партии есть доверие к авторитету и умение подчиняться. Второй закон — презрение к смерти. Это понятно? Не нужно разъяснять?

Блинов сказал, что не нужно, и умолк. За два часа, пока грели чай на спиртовке, болтали и обсуждали первый номер повой революционной газеты «Народная воля», только что присланной из Петербурга, Блинов ни разу взгляда не бросил под кровать, на «вещь», и даже вовсе не смотрел в ту сторону. Все же Андрей решил, что снаряды лучше перенести в другое место, более надежное. Отправляться в Александровск было еще рано, не все необходимое успели достать, нужен был земляной бур, листы цинка, кое-что другое, обещанное Ванюшке в мастерских. Андрей должен был ждать пока Ванюшка скажет: «Готово!» Кузнецов, сделавший контроль по анатомии и, видно, мало в этом успевший — отчего был раздражен, — поднял вечером шум: «На каком основании, пользуясь отсутствием хозяина...» Тут Ванюшка привел Сашу Сыцяпко, сына доктора, который мгновенно согласился взять таинственное железо к себе. Пожалуйста, у них есть не-

достроенный флигель и можно хранить что угодно хоть полгода. Потому что работы возобновятся только весной.

Кажется, и он, и Блинов с Кузнецовым думали, что в рогожу упакованы части типографского станка. Саша забрал «вещь» и увез. Гришка в этот день уезжал ночным поездом в Москву. В столовой у Заславской устроили что-то вроде прощальной закуски. Опять были споры о терроризме.

Саша Сыцянюк, самый юный и, как казалось Андрею, самый чистосердечный народник, с напряженной бледностью на безусом гимназическом лице давал, черт возьми, свое согласие на политическое убийство, но с одной — да, да, единственной, но крайне важной! — оговоркой:

— Жизнь за жизнь. Человек, который убьет, обязан и свою жизнь отдать: добровольно предоставить себя в распоряжение врагов. Это будет справедливо.

— О какой справедливости вы говорите, имея дело с правительством палачей? — кричал Гришка, распаляясь. — А с нами проявляют хоть малейшую справедливость? За что повесили честнейшего Лизогуба? За что казнили Горского, Бильчапского? Виттенберга и Логовепко? Ого, вы хотите быть джентльменами с бандой убийц!

— Тем более что ваше условие неотвратимо, — сказал Андрей. — Каждый, кто идет на террор, обрекает себя на смерть. Мы все это знаем.

— О, нет! Сила в том, чтобы отдать себя сознательно, а не просто потому, что тебя выследили и схватили.

— И не каждого хватают, к счастью, — заметил Блинов. — Вы же, Биконсфильд, слава богу, живы-здоровы!

Гришка от неожиданности замер с открытым ртом, желая что-то сказать. По-видимому, он был под хмелем, потому что был красен, говорил громко и скоропалительно, до пузырей, а тут — услышав этакую внезапность — как будто мгновенно на глазах протрезвел. Ведь никому из молодых не было в точности известно, что Гришка стрелял в Кропоткича, могли лишь догадываться, но говорить вслух было запрещенным приемом и нарушением правил конспирации.

Гришка спокойно сказал:

— Вы тоже, слава богу, живы-здоровы, Митрофан. О себе я могу сказать, почему я жив и здоров. Потому что моя рука еще крепка и умеет держать оружие. — Он вытянул перед собою костистый рыжий кулак. — И пусть еще послужит революции.

Андрей сказал: жизнь за жизнь было бы чересчур начетчиво, нас слишком мало. Однако Саша Сыцянюк не унимался. Каким же иным путем снять кровавую тяжесть? Гришка вскипел: ах так, вы хотите делать революцию на основе моисеевых заповедей? И это в то время, когда главный российский деятель сегодня — палач Фролов? И — загремело, покатилося. Все те же рго, те же contra. Господи, как эта шарманка наскучила! Никто из них (кроме Гришки и Старосты) не знал, что спорить поздно. Через день или два завернутые в рогожу мины, которым назначено перевернуть судьбу России, а может быть, целого мира, поедут в вагоне третьего класса в Александровск.

Обрушилась осенняя непогода, холода, дожди. Потоки воды катились с высот в пизпы и наполняли грязью громадный овраг, где пужно было лежать недвижно, как в гробу, выжидая. Будто кладбище, затопленное наводнением. Гробы плавают в холодной воде, в черном предзимнем мраке. Ведь всю работу приходилось делать ночью. Днем спали, болтали с хозяевами, играли с собачкой, дулись в карты, бегали по множеству важных дел насчет устройства кожевенного завода, сырмятни, шорни, покупки лошадей и телеги у извозчика по фамилии Шампанский, а ночью в могильной темноте ждали нужной минуты. Яшка Тихонов оберегал с одного бока, со стороны Лозовой, Ванпчка — со стороны Александровска. Сверлить насыпь буром и закладывать мины он обязан сам. Его дело! Одно худо — ночью плохо видел. И вообще-то зрение за последние годы ухудшилось, а в потемках совсем никуда. Несколько ночей прошло, пока научились — и он, и Яшка с Ванпчкой, у тех глаза хорошие, — находить свой овраг, а то плутали. Одну ночь всю проплутали, так и не нашли, вернулись домой, к Бовенкам. Баска привычно ужасалась: «Мать моя! Страхи!» Возвращались в земле, в грязи, во всем мокром. Печь топилась круглые сутки, чтоб платье сушить. Ночи две, а то и три ушли на укладку провода: от проселочной дороги, ведущей из Александровска в деревню Софиевку, параллельной рельсовому пути и саженях в полутораста от него, пужно было тащить к оврагу, пырять вниз, по дну, карабкаться склоном наверх, к насыпи. Как будто лехитро, да ведь крошечная тьма, и немисливо не только фонарем посветить

или спичкой фукнуть, но сделать самомалейший шумок, скрип. Сторожа ходят беспрестанно. Шут их знает, отчего такая подозрительность? То ли что-то прочуяли, то ли обыкповенный перепуг, не утихающий после соловьевского дела. А может, чья-то выдача, туманная, издалека? Потому что если б прямое указание, весь бы Александровск ватопило сипими мундирами и шпиками переодетыми, но ничего не заметно. Все тихо, только вдоль дороги шныряют. Еще вот какой перепуг: дожди. Вода, заливавшая овраг, несла всякий сор, ветки, комья земли, все это забивало трубу, проложенную в насыпи для стока, получалась пробка, в овраге образовывалось озерко, вода поднималась, пропитывала насыпь и разжижала грунт. Возникла опасность катастрофы, насыпь могла попросту расползтись, как было недавно где-то, газеты писали: рельсы разошлись, вагоны попадали под откос, их засосало грязью, люди погибли. Боясь такой истории, начальство посылало рабочих с фонарями осматривать насыпь и трубу. По четыре, по пять раз в ночь обходчики появлялись вблизи оврага, проходили, мелькая фонарями, переговариваясь,— дождь хлестал, сквозь шум было плохо слышно, да, верно, никаких особых разговоров, а просто ругань, проклятья ноябрю, дождям, начальникам,— а трупы лежали на дне оврага, в сырой черноте, замерев, не дыша. И тела их, как насыпь, пропитывались водой, становились жидкими, готовы были расползтись.

И вот — ждать минуты... Промежуток между проходами сторожей был часа два, но кроме сторожей вдоль полотна ходила вооруженная охрана, переодетые жандармы. Этих не интересовали коварства природы, неисправности техники, их занимало одно: злоумышляющее человечество. Ночью узпать сих господ, отличить их от дорожной челяди было трудно — тоже с фонарями, с руганью,— но днем они дважды попадались на глаза, и по бритым рокам, долгонолым плащам сразу было видать, что за публика. Говорят, ведомство Дрептельна разбросало их по всему пути от Симферополя до Москвы. Сторожа, жандармы, какие-то случайные путники, бредущие бог весть куда по шпалам, да проезжающие поезда — все было помехой, заставляло ждать, ждать, ждать. Лежали, ждали. Теперь оставалось: заложить цилиндры в пробуренные в насыпи дыры. Телега стояла на проселке, далековато, а подъехать ближе никак нельзя, нет дороги. Пропесли спаряды в овраг и ждали. Вчерашнюю ночь всю прождали

впустую, не удалось, то одно, то другое, как назло. Отчаянье брало, силы падали. Неужели же из-за какой-то ерунды, случайного пьяного дурака? Вдруг налетела дикая, секундная беспшабашность, помутнение мозгов: «А, была не была!» Тянуло рискнуть, поползти. Терпенье обламывалось, конец, невозможность, но — лежали не шевелясь, ждали. Снова ждали, ждали, медленно превращаясь во что-то сырое, бесчувственное, нечеловеческое. И так, не дождавшись, перед рассветом потащили снаряды назад к телеге и поехали домой.

Еще одна ночь: снова на телеге дотрюхали до оврага, потащили цилиндры, тяжеленные, пуда два, держали их бережно на руках, как детей, чтобы не рвануло непарком — в темную глубь оврага. Ваничка пополз вправо, Яшка — влево. Лежали, ждали. Ждали и ждали. Больше печего: ждать.

И в этом ожидании, беспроглядном, изнуряющем, как тяжелый дурман, возникали мысли. Возникла, например, такая мысль: вся жизнь есть ожидание смерти. Но мы не замечаем. Ожидание глубоко внутри, в недрах нашего существа, когда же оно поднимается из глубин, и заполняет, и охватывает — смертельное ожидание, — тогда это уже почти наступившая смерть. Ожидание смерти есть смерть. Последнее, что видел: в черной жидкой грязи склоп оврага. В секунды густейшего дурмана, полной омертвелости сознания представлялось, что он уже там, за земной гранью, и на все это — на грязь, дождь, холодный ветер, даже на дрожание собственных стынущих рук и колотье зубное — гляделось откуда-то от туда, из тех пределов. Потом были другие секунды, когда он как бы опоминался и думал завистливо и с тоской: почему же я не умер? Ведь так бы просто умереть в ту, давешнюю секунду, когда возникло полное ощущение смерти. И было бы тихо, легко. Но — невозможно, потому что нельзя. Ничего не сделано для смерти. Нужно ждать, ждать.

На исходе ночи минута пришла, Ваничка сполз по склону, схватили вдвоем, потащили. Было сделано быстро. Ваничка так ловко помогал, перехватывал. Но со второй миной — ее место пробурили саженьх в тридцати от первой — едва не случилось несчастья. Вдруг показался сторож, почему-то шел в одиночестве, без фонаря, поэтому заметили поздно — Яшка заметил, — пришлось выволочить наполовину засунутую мину из дыры, спуститься под насыпь. И там лежали, вжавшись в землю, боясь дышать.

Спасло то, что ветер внезапно усилился и вместо дождя повалил мокрый снег. Эта ночь оказалась удачной: заложили оба снаряда, и Ванюшка соединил их проводом. Теперь последнее: от второй мины протянуть провод по дну оврага к дороге. Но это уж легче, куда легче! Главное позади. Нужен был день отдыха.

Баска мыла, стирала, сушила, гладила, мужики таскали воду, кололи дрова, но все равно — отдых. Напряженье спало. Можно было почитать Гоголя, или «Кожевенное производство», или же газетку: перечитывали передовую с эпиграфом «*Delenda est Carthago!*»¹. Писал Тигрыч. Лучше его никто не напишет. Еще занимала мысль, что рядом Хортица, старинный запорожский лагерь, — было б время, съездить туда, поклониться развалинам казацкой вольницы. Ни Ванюшка с Яшкой, ни Баска ничего толком о сечевиках, об их великой праведной жизни, их славе и разорении не знали, и он рассказывал, благо недавно, весною в Одессе, читал с наслаждением Антоновича и Костомарова. Вольность всегда была высшей и благодатнейшей ценностью на этой земле. Никаких цепей не желало терпеть казачество: ни государственных, ни божеских, ни атаманских, ни семейных. «Ты, Баска, напрасно мечтаешь. В Сечь тебе бы не попасть, туда женщины не допускали. А если какая пробиралась: смерть ей!» И как же вышло, что на самой вольнолюбивой земле утвердилось самое гнусное самодержавие, которому по жестокости нету равного в мире, а из казаков — первых бунтарей и рыцарей свободы — образовались самые верные защитники этого деспотизма? Не сразу, не сразу, надо думать. Века протекли, дело творилось медленно, но вот нынче — так, упрочилось, кованой тяжестью припечатало к земле прошлое, будущее, стремленья, надежды. И уж не казакам теперь, не Разину с Пугачом отслопить и сдвинуть. Один выход: взорвать...

Вечером пришел со штофом водки приятель, биржевой извозчик Николай Афанасьевич Сагайдачный. Ванюшка с Яшкой быстро исчезли, они жили в другом доме. Вовсе отказаться от угощения было пельзя, но и пить немислимо: почью работать. Руки станут дрожать, внимание ослабнет. Что делать? Для отвода глаз выпил две рюмки, Баска помогала тихонько (Николай Афанасьевич был уже вахмелевщи, не замечал), пели песни, хозяин дома,

¹ Карфаген должен быть разрушен! (лат.)

Бовенко, оказался тут же, «пришей-пристебай», у даровой водочки, и получилась полная кутерьма до полуночи. Да тут еще Николай Афанасьевич стал проситься на ночь, не то что проспать, а попросту, по-казацки, повалился на пол: «А ну ее, бисову жпшкку...» Поругался дома и не желал возвращаться в хату. Это уж была громаднейшая опасность. Ночь терять невозможно, каждую минуту мог нагрянуть из Симферополя Пресняков и объявить: завтра! А еще провод тянуть от второй мины через овраг.

Честно говоря, не верилось, что может быть «завтра», дней пять в запасе еще как будто оставалось. Стал Бовенко трясти:

— Ради Христа, заведи ты его отсюда! У меня баба молодая, ей при чужом мужике стеснительно...

— А баба у тебя ладная.— Бовенко кивал понимающе.— Замучила?

— Ну!

— Эге, видать же: как огарок стоял, одна борода торчит...

Кое-как Сагайдачного спровадили на другую половину, там он захрапел, но Бовенко, странный малый, с каким-то особым, дурным интересом к тайной стороне жизни, не уходил, нес околесную, хохотал, подмигивал, выспрашивал. А приходилось делать все честь по чести: стелиться вместе, на одной лежанке. А то обнять и шлепнуть, и на колено посадить при пьяном госте. Бовенко, прод, смеялся:

— Ах ты, молодая, ты ж его и заездила! Без тебя приехал, такой бугай здоровущий, а нылче, гляди — мослы да кожа, один статуй остался! — Рыготал, довольный.— Ну и зла ты, мать!

— А с вами, дураками, так и надо: все соки из вас тянуть, чтобы глупостей не было...

Баска отвечала лихо, находчиво. И никто бы не сказал, что эта простоватая купчиха, белобрысая и скуластая жительница какой-то северной глухомани, знает французский, читала Спенсера, Милля. Бовенко, уже сильно окосевший, поровил незаметно — ему казалось! — ущипнуть Баску за мягкое, но получил хорошую плюху, вполне в духе Марии Петровны, отчего едва не слетел с лавки. Пришлось его, не думавши, вытолкать из горницы, он не сопротивлялся, только бормотал как будто с восторгом: «Ну баба, ну здоровуца!» Задули свечки, легли,

ждали часа полтора, пока за степкой не устатовилась мертвая почпая тишь. Разговаривали шепотом.

Он чувствовал, как женщина прикасалась к его руке своей рукой. Это было как всегда, как обыкновенно. Женщины тянулись к нему. От волос Баски пахло печным дымом. Это было как когда-то давно, как в другой жизни, но теперь одна страсть иссушала его: сделать так, чтобы за ночь все закончить. Ведь укладка провода должна пойти быстрее. Не так, как в первые дни, теперь есть опыт, споровка. Баска что-то рассказывала о себе: отец был сельский священник в Уржумском уезде, в селе, и не выговоришь вотяцкого имени, Тумьюмучатском. Девушки рожали детей до свадьбы. И чем больше у девушки детей, тем она лучше, завидней: значит, хорошо способна к деторождению. Верили в домовых, водяных, леших. В иных лесных деревеньках — отец рассказывал — гостю непременно предоставляли жепу. Да вообще: тьма, муть, серая призрачная жизнь. Тумьюмучать! Надо ж придумать: родиться в селе с таким названием. Потом училась в Вятском епархиальном училище. И удивительно: сколько же людей пришло в революцию из священнических семей? Множество! Вспомипали: Коля Кибальчич, Грачевский... А из харьковчан: Будинский, Кузнецов.

Он подумал о себе, вспомнил деда. Ведь вот что: умереть, пострадать. Это же евангельское. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Он сжал маленькую руку женщины и почувствовал ее тепло, и преданность, и готовность, и подумал: да, да, кроме всего, кроме высоких причин, научно обоснованных поводов, величайших закопомерностей есть еще простое искушение — душу свою за друзей своих. И если бы не было друзей... Вот этой теплой ладоши, в которой пульсирует пежная сила и вера, и там, на севере, не было бы другой женщины, не было бы Дворника, Семена, умного Тигрыча, Морозова с его стихами, Стенапа, Сашки, да всех, всех, их мало для страпы, но много для одного человека, а без них — не было бы ничего. Это, может быть, страшно: по не было бы ничего. Умирать пужно ради кого-то, для кого-то. И учитель из Назарета, не будь у него учепяков, не пашел бы силы для подвига.

Наверное, он очень сильно сжал руку женщины.

В окно постучали тихим, условным стуком. Была черная, дождевая ночь, и, выйдя на крыльцо, он не увидел

Вапичку в трех шагах. Тот потряс его за локоть, и они пошли: Яшка впереди, за ним Ваничка, он последним. В эту ночь обнаружилось ужасное дело. Дожди размыли почву, оголили провод. Особенные разрушения сделались на дне оврага. Местами там нарушилась изоляция. Это была почти катастрофа. Всю работу по укладке провода пужно начинать сначала! На миг их охватило отчаянье. Они сидели под дождем, без сил — от смертной тоски — и ругались шепотом. Решили тянуть провода не по дну, где накапливалась вода, а по краю оврага. Работали всю ночь и всю следующую ночь. И тут возник Пресняков с сообщением, что царский поезд надо ждать каждый день. Он привез деньги, полученные в Крыму от верных людей. Сказал, что тут же возвращается в Симферополь и чтобы ждали условной телеграммы: какой поезд взрывать. Пойдут два поезда, каждый с двумя паровозами, надо знать, в каком царь. Свита едет в свитском, царь в царском, но царь может переходить из одного в другой. Теперь уже не оставалось ни дня, ни часа. Все должно быть готово. Пресняков уехал. И как на беду, выпала такая пестовая бурная ночь, с 14 на 15 ноября, что, провозившись полчаса, увидели безнадежность, ураган валил с ног, опрокидывал, рисковали порвать провод, и — едва доползли до хаты. Наступили часы лихорадочной, бессонной жизни. Другая ночь была потише, но теперь появилось то, чего не было раньше: страх. Почему-то стало казаться, что их выслеживают, они предапы, окружены, с минуты на минуту из темноты выскочат жандармы. Кто мог их предать? Глупости, больной вздор, но страх — особый, не за себя, за других — не пропадал.

Страх был такой: он боялся, что обознается, примет подходящих в потемках Яшку или Вапичку за сторожей и выстрелит. Отступать и прятаться было теперь невозможно. Да и нервы уже на пределе. Поезд мог быть завтра. Завтра, завтра! В ночь на шестнадцатое чуть не застрелил Яшку: тот чересчур прытко перебежал овраг. И на рассвете шестнадцатого все было наконец сделано: провода протянуты ладно, скрытно, два копчика их придавлены камнем, на своих местах лежали цинковые листы и в норах под шпалами покоилось в медных панцирях божество, *deus ex machina*,¹ обязанное в пужную секунду перевернуть судьбу России.

¹ Бог из машины (лат.).

Вечером приехал черный, обросший бородой, со своим застылым, проваленным взглядом Андрей Корнеевич и сказал: «Восемнадцатого утром».

Когда Гришка Гольденберг в конце октября приехал в Москву, тамошний подкоп был сделан наполовину. Гришка поселился в доме, где под фамилией Сухоруковых жили Гартман с Сонечкой Перовской. Сонечка давно нравилась Гришке. В январе, когда готовилось убийство Кропоткина и Гришка метался между Киевом и Харьковом, он останавливался в Киеве на Ивановской улице, на квартире Сонечки. Там было подобье клуба. Сонечка правилась тайно, глубоко: и тем, что беленькая, юная, подросток, и тем, что отец знаменитый губернатор, и какой-то скрытой, необычной силой, он ее чувствовал. Нельзя не чувствовать. Такое странное сочетание: детскость и сила. Все было невысказанное, мучившее, а спаружи — шуточки, дурашливость. «Сонечка, ты мне подарить свои лобзанья, если я что-нибудь совершу?» — «Смотря что, мой дорогой Давид...» — «Ну, уничтожу какую-нибудь пещишь». — «Только Голиафа. На меньшее не согласна». Так вышло, что после того, как он уничтожил своего Голиафа, прошло почти полгода до их встречи, и изумление от подвига — ведь было решительное изумление, всеобщее, громовое! — несколько поутихло, заслонилось другими событиями, новыми целями. «А как с обещанным лобзаньем?» Разумеется, шутики, глупости, милая болтовня в паузах серьезного разговора. И она тоже отшучивалась, по, боже мой, как бесстрастно, с какой тупой детской непорочностью! Нет, по-видимому, слухи о том, что жепицина в ней не то что не прослушалась, по даже и не почевала, были, как ни грустно, справедливы. Остаться равнодушной к такому парню, как Гришка! Он и герой, и ростом высок, и выпить может, как русский извозчик, и песни поет, и на любое дело удал. Говорили, что она фанатик. Да ведь все фанатики. А кто не фанатик? И все же, зная обо всем и ни на что не надеясь, тянулся в Москву, к Сонечкиному делу, непобедимо. Никому не говорил и себе не признавался. Но истина-то была жалкой, стыдной: увидеть Сонечку.

И вот увидел: она теперь маленькая чиновница Мария Семеновна Сухорукова, круглый депь у плиты, с совком, с тряпками, над корытом со стиркой. Похудела, лицо

обтянутое, глаза блестят. У всех вид замученный. Работа оказалась адская и смертельно опасная. Начинали с семи утра и работали до девяти вечера, посменно, бесперебойно. За день прорывали саженей две. А вся галерея должна быть длиною саженей двадцать. Высота же — всего восемнадцать вершков, двигаться приходилось ползком или на четвереньках. Рыли лопатками, землю вытаскивали на железных листах, которые вытягивали веревкой. Своды галереи укреплялись досками, на пол тоже укладывались доски, но все равно снизу проступала жидкая грязь, сверху сочилось, дышать было трудно, свеча гасла от спертых воздуха. Гришка азартно полез в подкоп в первый же день и хватил такого страха, какого не испытывал, кажется, никогда в жизни. Будто живой оказался в могиле. Душная земляная сырость со всех сторон. Своды галереи потрескивают, шуршат, вот-вот обвалятся, вдруг — ужасающий грохот над головой, все дрожит, дрожат стены, своды, доски, на которых лежишь, и возникает ощущение мгновенной гибели, землетрясения. Проходил поезд. Дорылись до самой насыпи. Гришка чувствовал, как останавливается дыхание, немеют руки: предсмертное состояние. И как тут работали Дворник, Семен, студент Исаев, Гартман не минутами, а часами? Вылез едва живой. Сонечка улыбнулась:

— Стрелять легче? Конечно: прыгнул, дверцу открыл — паф! — и готово... А тут...

Ответить не мог: рот разевал и дышал, дышал. Наконец, отдышавшись, вымолвил:

— Привычки... нету...

Кажется, никто не понял, что дело не в привычке, а в диком страхе. Ведь все могло рухнуть каждую секунду. Недаром Алхимик — Гартман — брал с собой яд, чтобы не мучиться, если рухнет. Дворник и Семен не брали яда. Эти не боялись ни черта, ни дьявола, ни мучительной смерти, но, главное, волею и бесстрашием отбрасывали самую возможность того, что рухнет. Студент Исаев, которого тоже звали Гришкой, работал самозабвенней всех, мог находиться в подкопе долго, как никто. Правда, однажды потерял сознание: поняли по тому, что не потащил к себе опорожненный железный лист, и Дворник сразу же полез к нему и выволок беднягу. Тогда решили дать ему отдых. Из Александровска пришло от Бориса известие о том, что не хватило проволоки, пужко саженей семьдесят, и с проволокой послали туда Исаева.

Гришка работал на физически тяжелой работе: выгребал землю из подкопа, подавал ее в люк и выносил из люка. Тоже нелегкое дело. Землю сваливали в чулан, разбрасывали по двору. Если б Дворник разрешал хоть рюмочку в день для бодрости! Ничего, кроме чая и молока. И спорить с ним, уговаривать его бесполезно. Да, выдержать искус было дано не каждому: Колю Морозова попросту отстранили от работы по причине слабых рук, Арончика — потому, что ленился. Впрочем, Гришка догадывался, что лень Арончика, и слабые руки Коли, и его собственная не привычка были естественной, хотя, может быть, и бессознательной реакцией на ужас, который охватывал человека в подкопе. В начале ноября пала оттепель, почва размокла, в галерее сделалось настоящее наводнение. Откачивали воду. И новый страх: на улице, над галереей, образовалась промоина, земля грозила провалиться и проезжавший здесь водовоз мог обратить внимание на возникшую странную впадину. Ночью срочно навезли земли, засыпали, разровняли: водовоз, слава богу, на другой день не приехал, и улица утопталась и приняла обыкновенный вид. Каждый день случались какие-то непредвиденные, опаснейшие истории, приходилось выпутываться, и Сонечка опять поражала всех смелостью и изумительным хладнокровием: то являлась вдруг прежняя хозяйка дома с просьбой достать из чулана забытое ею варенье, а открыть чулан невозможно, ибо он до предела набит землей, даже доски вываливаются, и Сонечка разыгрывала по всем правилам театра сцену потери ключа от чулана, так что хозяйка уходила, пообещав прийти в следующий раз, когда ключ пайдется, но к следующему разу проклятое варенье будет благополучно добыто; то прежняя хозяйка со своей родственницей приходила утром забрать какие-то вещи и встречала Сонечку, которая возвращалась из лавки с корзиной, полной провизии, и дать хозяйке заметить количество провизии в корзинке, непомерно большое для двух человек, было непозволительным риском, и Сонечка под каким-то предлогом не заходила в дом, исчезала; то Гартман забывал запереть на ночь дверь на кухню, где был устроен люк, и утром притаскивался сосед, болтливый старик, желавший лишь дать совет о необходимости запирается на ночь и при этом всех мучавший: боялись, что он заметит на кухне беспорядок, землю. Однако все обходилось. Ждали добавочного динамита из Питера, но получилась задержка, и было решено

послать Гришку в Одессу, привезти динамит оттуда, так как из-за дурной погоды император, видимо, морем не поедет. Подкоп был почти завершен, оставалось заложить мину. Тут прибыло подкрепление: Степап Ширяев, главный техник и электрический мастер. Он ведь за границей работал, в лаборатории Яблочкова.

— Что тебе привезти из Одессы, моя крошка? — спрашивал Гриша Сонечку игриво-легкомысленно, как почему-то привык разговаривать с ней. Наверно, то была самозащита. На самом-то деле как-то слабел и трепетал, разговаривая. Сонечка просила привезти чего-нибудь сладенького. Чего бы, например? Ну, варенье. Хорошо, будет варенье. Алхимик шепотом, чтоб Дворник не услышал, просил привезти вина. Девятого ноября, сумрачным днем, попрощались, уехал.

Через два дня на станции Елисаветград встретил Колю Кибальчича, который направлялся к Борису в Александровск, тоже вез проволоку и спираль. Посмеялся: что, они там проволоку едят, что ли? Кибальчич ехал из Одессы. Он знал все одесские дела и сообщил, что Михайло уже заложил, вероятно, динамит под рельсы. Гришка разволновался: «Надо послать телеграмму! Пусть приготовят к моему приезду, достанут, привезут в город! У меня нет времени! Дорог каждый час!» Одесскими предприятиями распорядился Кот-Мурлыка, Колодкевич. Решили послать ему такую телеграмму: «Не посылайте напрасно вина, завтра приедет мой поверенный. Максимов». Под этой фамилией значился Коля Кибальчич.

Подъезжая к Одессе, Гришка всматривался во все домики будочников: где-то на четырнадцатой версте обособился Михайло, «будочник», со своей «жепой» Таней Лебедевой. Михайлу не увидел, но фигура Тани как будто мелькнула возле одной будки. И вот — Одесса, тепло, старые друзья: Кот-Мурлыка, Савка Златопольский, Михайло... И — новые, молодые, почтительные, вроде Герасима Ромапенко, перед которыми сладко было пощеголять и поважничать. Михайло обнаружил недовольство: не хотел отдавать динамит. Гришка на него кричал. 13 ноября привезли динамит, триста рублей для передачи Дворнику, а также несколько бутылок вина и варенье. Чемодан, в который упаковали динамит, был очень тяжел. Но Гришка, демонстрируя силу, поднимал его на вытянутой руке. Вечером того же дня, тринадцатого, в веселом настроении,

ибо считал вправе отметить завершение первой половины поездки, сел в поезд и покатил в Москву.

А между тем близился срок возвращения царя из Крыма. Власти все более будоражились. Среди разных мер предосторожности было также строжайше указано пристально наблюдать за багажом. В это наблюдение паравне с жандармами включилась вся железнодорожная челядь: весовщики, посыльщики, кондукторы. 14 ноября весовщик станции Елисаветград Полонский наблюдал интересный факт: небольшой чемодан, прибывший в багажном вагоне из Одессы, поражал необычной тяжестью. Полонский доложил станционному жандарму Васильеву. Тот задержал выдачу багажа. Владелец чемодана потомственный почетный гражданин города Тулы Степан Петрович Ефремов признал багаж своим, но на вопрос, что находится в чемодане, заметно смешавшись, ответил, что чемодан не его, а принадлежит его приятелю, живущему в Курске, и ключ от чемодана потерял. Странно и скропалительно бормочущего пассажира — некоторые его слова нельзя было разобрать, и он то и дело сплевывал с губ пузыри — тут же обыскали, нашли ключ. Пассажир, дожидаясь открытия чемодана, перемахнул маленькую железную оградку, побежал на перрон, через линию, в поле. За ним бросились жандармы, толпа зевак и несколько местных гусар. Бежать было бессмысленно, но Гришка не хотел оставаться в станционном помещении, где сгустилась толпа, его мог увидеть из окошка и узнать телеграфист: три дня назад Гришка давал отсюда телеграмму Колодкевичу.

Жандармский офицер майор Пальшау рапортовал в Третье отделение: «Наконец, Ефремов был окружен, но подойти к нему и взять его не было возможности: кто только приближался к Ефремову, на того он взводил курок своего револьвера и целил в каждого. Таким образом он постоянно наводил свой револьвер и чрезвычайно возбудил против себя толпу народа. Но как-то одному рядовому 7-го гусарского белорусского полка Буригину удалось вырвать револьвер из рук Ефремова, после чего толпа народа с ожесточением набросилась на Ефремова и стала наносить ему побои, но вмешавшиеся жандармы прекратили это. Однако ж и после сего едва удалось шести человекам связать руки Ефремова и отвести его на вокзал: так был силен Ефремов и к тому же зол, так что даже кусался».

Гришка на первом допросе держался гордо и врал: сказал, что его фамилия Ефремов, он православный, двадцати шести лет. Однако признал, что принадлежит к членам российской социал-революционной партии. (Динамит! Куда денешься?) Сказал, что не стрелял, лишь пугал народ револьвером, потому что был окружен частными лицами, а не жандармами, и не желал лишних жертв. От дачи каких-либо показаний твердо отказался. Майор Пальшау ни о чем не догадывался. Даже о том, что Ефремов еврей: это выяснилось лишь через четыре дня, случайно, во время врачебного осмотра. Утром восемнадцатого ноября, когда Андрей вместе с Ваничкой и Яшкой выезжал на телеге к оврагу, Гришка Гольденберг, насвистывая, расхаживал по тесненькой арестантской съезжей в Елисаветграде, потягивал из бутылки красное мускатное вино (жандарм сбегал в лавку за пятиалтынный), а на душе отчего-то было горделиво, радостно: пет, никогда, ни за что, все увидят, и Сонечка изумится силе духа! Да где, между прочим, доказательства? Динамит еще ничего не значит. Может, и удрать удастся. Из Архангельской ссылки как было хитро, а все же удрал. Чем более опорожнялась бутылка, тем светлей и радостней делалось в бедной Гришкиной душе. А колеса его судьбы уже катились с горы, набирая разгон — неотклонимо, беспощадно. Из Третьего отделения уже летели во все губернские жандармские управления фотографические снимки Гришки — насупленный, пышно-лохматый, с произительным полубезумным взглядом из глубоких впадин-пещер, — и через три дня киевский жандармский полковник Новицкий узнает его, покажет снимок Гришкиному отцу, мануфактурщику Давиду Гольденбергу, и старик, трясясь и белея, скажет: «Да, да, мой Гиршеле», и силы его оставят, а полковник Новицкий, наоборот, почувствует громадный прилив сил и станет бодро распорядиться...

Император был чувствителен к погоде. Неожиданные смены ветров, перепады температур ощущал болезненно, даже до слабой дурноты и головокружения. В ноябре стало скверно, начались дожди, погода менялась на дню семь раз: то голубизна, солнце, то пятапет с моря туман и сырость, а то дохнет прохватисто, до костей, севером, Петербургом. Надо уезжать, да что-то удерживало. Каждое утро, как всегда, вставал в четверть девятого, выхо-

дил в сад, вымокший за ночь, дышащий отчужденно и пропально, иногда на клумбах лежали ключья тумана, было холодно, море внизу белело. Дурак Кох выглядывал из-за дерева. Удерживало вот что: Катя, с нею проще здесь, там невыносимо, разговоры за спиной, презрительные взгляды, вражда, интриганство. И вообще, много гнусных забот ждало в Петербурге. Гуляя, спускался левой аллеей к морю, не слишком далеко вниз, чтобы потом не подниматься, по так, чтобы дворец скрылся из виду, чтоб было одиночество и возможность сосредоточенно думать. Впрочем, Кох все равно торчал где-то в кустах. Но это уж неизбежность: как туман и дождь.

Он думал о том, что старость напоминает правильную осаду. Как бы отчаянно гарнизон ни сопротивлялся, какой бы крепостью духа ни обладал, конец один: холодным зимним днем Осман-паша прибудет на Плевненский редут, чтобы отдать свою шпагу. Лицо турка было черным от унижения. Весь в бинтах, солдаты его поддерживали, почти несли. Вынув шпагу из ножен и протягивая ее: «Я не думал, что заслуживаю такого позора». Да, да, благородные слова и не менее благородный ответ: «Я возвращаю вам вашу шпагу. Храните ее в знак моего восхищения и уважения». Но старость страшна тем, что некому вернуть шпагу. Нет Александра, который мог бы внезапно пожалеть и сказать: «Я возвращаю вам...» Результат этой ужасной войны: он постарел. Никто не замечал, не смел замечать, но он-то знал, как отяжелел, огрузнел, не только могучим телом, но и, что пострашнее — душой. Грозный признак: душевная усталость и лень как раз в той области, где когда-то был радостно неутомим. Третьего дня представлялась прибывшая вместе с Гирсом из Петербурга баронесса Кампенаузен, свояченица флигель-адъютанта Вера, синеглазая фея, лет двадцати пяти, не более, отчетливо угадал совершеннейшую и мгновенную готовность. Хотя все последние годы после того, как возникла Катя, он постоянно отмечал появление разлого рода фей, засылаемых людьми, не оставившими глупой надежды перебить Катю одной из этих лазутчиц, он, несмотря на то что внутренне раздражался и даже приходил в ярость, не упускал случая взять свое. Получал злорадное удовольствие от того, что таким образом наказывал интриганов. Неужто эти люди там, в Аничковом дворце, не могут до сих пор уразуметь, что Катя Долгорукая — не увлечение, даже не любовь, а судьба?

Но третьего дня, разглядывая новую фсю, ее прелестные стати, ужаснулся тому, что левь и душевное бесстрашие остались непоколеблены: даже на миг не возникло желания отомстить пвтриганам!

И эта сырость, давящий воздух, круглая рожа Коха, мелькающая в мокром, вечнозеленом... Кофе пил в комнате. Грудь прочистилась, дышать стало легче. Катя пакануне тоже кисла, жаловалась на сердце, уехала к себе в Биюк-Сарай и там ночевала. Всегда успокаивала его, когда он говорил о недомогании: «Сейчас это у всех, Сашенька, от погоды, я сама очень слаба. А ведь я моложе тебя на тридцать лет!» Эти простые слова успокаивали. После кофе работал, читал бумаги, последние телеграммы и, как ежедневно по утрам, делал запись в памятной книжке о прошедшем дне. Эти изящные, с золотым обрезом книжечки, специально отпечатанные в типографии Брокгауза, с гравюрами, множеством полезных сведений, нужных чинов и фамилий, явились на свет благодаря Адлербергу, который упорно приставал насчет ведения ежедневных записей: «Ваше величество, каждое ваше слово есть историческая драгоценность. Если бы вы позволили себе ежеутреннее небольшое усилие...» — «А ты подай такую книжку, чтоб удовольствие было записывать. От этого очень много зависит». И верно, книжечки в темно-зеленых кожаных переплетах, с золотым тиснением, оказались так хороши, что он пристрастился всегда держать их на столе перед глазами. Мельчайшим почерком — так, что никто бы, кроме него, разобрать не смог — записал под числом 12 ноября, поведельник: «Вст. в $\frac{1}{4}9$. Гулял, сыро, тепло, но мелк. дождь цел. день. Кофе с К. в комнате. (Вчера была Катенька, и кофе вместе!) Раб. В 11 ч. Милютина и Адлер. Гулял, завтр. Обед в 7 ч. Лег в $\frac{1}{4}2$ ».

В полдень с докладом явились Гирс и Адлерберг. Отъезд определен: в субботу. Раньше предполагалось, что отъезд состоится в среду или в четверг, но как раз в четверг, как сообщил Гирс, в Петербурге в военно-окружном суде начнется процесс политических преступников Мирского, Тархова и других. Тот самый Мирский, что покушался на Дрептельпа. Кажется, тут уж остатки всей этой сволочи, последние поскребки, тем неожиданней может быть отклик в известных кругах. К открытым злоумышленникам присовокуплен адвокат Ольхин, либеральная скотина, допрыгался, докричался, очень правильно сделано. Присажать в Петербург во время суда не хотелось, но то было

тайное соображение, о котором статс-секретарю и министру двора знать не обязательно. Суд предполагено закончить семнадцатого, в субботу. Вот и ехать в субботу. Ах, какая была бы сласть: приехать в чистый Петербург, освобожденный от нечисти! Решительные действия давали заметную пользу. Особенно благотворен оказался августовский указ, согласно которому каждый обвиняемый в политическом преступлении мог быть судим без предварительного следствия, осужден без свидетельских показаний и приговорен к казни без права апелляции. Господа стреляльщики и кинжальщики поджали хвосты. Всю осень об их проделках не было слышно. Но вслед за добрыми вестями, как водится, шло неприятное: в октябре крестьяне волновались в Белоруссии, в Екатеринбургском уезде. Курс рубля в Европе продолжал падать. Началось во время войны и продолжалось, несмотря на все усилия, неотвратимо. Передавали облетевшие Петербург злобные слова Салтыкова: «Еще ничего, если за рубль дают в Европе полцены. А вот что, когда за рубль будут давать в Европе в морду?»

Слыша такие фразы, он с некоторым страхом изумлялся: и эти люди толкуют о конституции! Что же они будут писать и говорить тогда? Ведь злонаравие и злоязычие захлестнут общество. И первыми будут сожрапы как раз те, кто более всех сейчас хлопочет о представительном правлении и свободе печати, например Александр Агеевич: ему-то первому и дадут в морду за непрочность рубля! Только не там дадут, в Европе, а свои, домашние финансисты и правдолюбы. Высказал эту интересную мысль. Затем Гирс вручил давно обещанное — еще с тех времен, как он был посланником в Стокгольме. Наконец кто-то из доверенных людей Гирса сумел купить документ у наследников доктора Эрста. Стоило немало денег.

Отпустив сановников, тут же с жадностью стал читать.

«ЭЛЕКСИР ДОЛГОЙ ЖИЗНИ. ШВЕЦИЯ»

«Рецепт этот пайден между бумагами доктора Эрста в Швеции, умершего в 1873 году. Он жил 104 года и умер печально, упал с лошади. Секрет этот хранился в его фамилии несколько веков, его дед умер 103 лет, мать жила 109 лет, отец 102 года. Они дожили до этих лет, употребляя поименованный эликсир каждый день утром и вечером по 7 или 8 капель в двойном количестве красного

вина, чаю, бульону или жидкого тепловатого рассола. Состав его следующий:

- 7 унций лучшего лукрутанского алоэс
- $\frac{1}{4}$ лота белой цитвары
- $\frac{1}{4}$ лота генцшаны или горчичного корня
- $\frac{1}{4}$ лота лучшего шафрану
- $\frac{1}{4}$ лота мелкого ревеню
- $\frac{1}{4}$ лота белого трута, растущего на деревьях
- $\frac{1}{4}$ лота настоящего венецианского териаку
- $\frac{1}{4}$ лота русской бобровой струи.

Все это истереть в ступке или истолочь, просеять через частое сито как можно старательней, высыпать в бутылку из толстого стекла, влить в нее водки кубовой, пенной, а лучше водки, выгнато́й из французского вина, и хорошенько завязать пузырем или мокрым пергаментом, а когда он высохнет, проколоть булавкой, чтоб он не лопнул от спертых газов. Потом поставить бутылку в тени и оставить ее так на 9 дней, слить и снова налить кварту такой же, взбалтывая утром и вечером...»

Дальше на нескольких страницах расписывались благие свойства эликсира, но читать сейчас не было терпения: хотелось скорее поделиться приобретением с Катей! В Бюк-Сарае отправился верхом, на Конкорде, одном из жеребцов, что подарил султан Абдул-Гамид. Сопровождал, как всегда, только один казак. На балконе виллы — небо к середине дня просветлело, вдруг дохнуло теплом — сначала играл с детьми, с Гого и с Оленькой, но девочка капризничала, Катя сказала, что она, должно быть, больна, увела ее, потом вслух читали «Эликсир». Гого слушал с необыкновенным вниманием. Удивительное дитя! Разве могло ему быть понятно стремление к долголетию, не умирать, не исчезать как можно долее с этой земли — и зрелые люди не всегда понимают глубину этого вопроса, — но мальчик сидел и слушал, не прерывая. Только появление француза, который приглашал к занятиям, заставило мальчика оторваться от слушанья и уйти с неохотой.

Когда он ушел, Катя заплакала. Было много причин, от которых могли явиться слезы, поэтому он не спрашивал. Последнее время, ближе к отъезду, Катя плакала часто. Их лучшие дни были здесь, в Бюк-Сарае. Даже в Ливадийском дворце, где могло быть счастье, уединение — императрица проводила лето в Киссингене, потом в Капнах, тяжело болея, — даже там не было так хорошо, как

в этом маленьком доме, на веранде, увитой цветами, над морем.

К чему эликсир, долгая жизнь, если нет и не может быть полного счастья? Он успокаивал, обещал, объяснял: «При первой возможности...» Четырнадцать лет она слышит эти обещания! Скоро станет старухой, жизнь ей немила, она хочет умереть. А эти старые немки — трехжильные, переживут всех. Да, да, умереть, ей не пужно никакого эликсира долгой жизни, ибо нельзя жить без надежды, а ее надежды иссякли, силы кончились. В отчаянье она говорила неслыханные дерзости, но он не замечал, прощал. Пять лет назад, когда родилась Ольга, после некоторого колебания он издал секретный указ, узаконивший бедных детей: «Малолетним Георгию Александровичу и Ольге Александровне Юрьевским даруем мы права, присущие дворянству, и возводим в княжеское достоинство с титулом «светлейший». Через предков отца, князя Долгорукого, Катя примыкала к потомкам Рюрика, и одним из славных ее предков был князь Юрий, основатель Москвы. Указ для строжайшего тайного хранения был передан генералу Рылееву. И Катя была тогда счастлива, а теперь говорит, что хочет умереть.

Никто из жепцин, кроме Кати, в его присутствии не осмеливался плакать, хотя многим, должно быть, он причинял страдания. Даже императрица, страдавшая больше других, из гордости не показывала вида. Катини слезы иногда действовали угнетающе, он раздражался, как-то слабел духом, но сейчас отчего-то был спокоен: тайная радость. Внезапное просветление неба. Однако через час опять падуло туман с дождем, похолодало. Но Катя уже совершенно успокоилась. Она забывала о собственных слезах легко, и это было одно из изумительных свойств ее полудетской души. Ласкою он умел утешить любое огорчение. Теперь она радовалась тому, что отъезд назначен на субботу: на два дня позже, чем предполагалось.

— Я тебя умоляю, будь осторожен в дороге! Не выходи на станциях, как ты это любишь делать. Помни, что твой главный эликсир долгой жизни — твоя осторожность. Ты такой беспешанный...

— Можешь быть за меня полностью спокойна. Я никогда не рассказывал о парижской гадалке? В Париже, в шестьдесят седьмом году... Двенадцать лет, это невероятно! Ты помнишь калитку на углу Габриэль и авеню Марипьи? Так вот, парижская гадалка, старая цыганка,

предсказала, что я переживу семь злодейских attentатов.

— Не говори таких страшных вещей.

— Отчего же? Будем радоваться! — Он засмеялся, глядя на побледневшую Катю. — Такой замечательный жизненный простор, еще четыре attentата в запасе...

Вспомнилось: павильон «Бабигон» в Петергофе, жаркий июльский день, семнадцатипятилетняя Катенька с ледяными руками, и его собственное страшное волнение, и весною этот кошмар, каракозовский attentат. Потом Париж, Елисейский дворец, она проникла через калитку на улице Габриэль, после шестимесячной разлуки, и вдруг простое счастье разорвалось криками этих мерзких людей «Vive la Pologne!» и выстрелами поляка Березовского, когда он возвращался из Лопшана в одной карете с Наполеоном III. За что они хотели отнять у него жизнь? Именно тогда, когда он любил всех людей, ибо любовь к одной женщине есть любовь ко всем, к человечеству. В трагические минуты она была рядом, близко, и только с нею — единственным человеком — находил успокоение истерзанным нервам. И в нынешнем апреле, после attentата выродка Соловьева, когда охватила такая смертная, безумнейшая тоска и он не знал куда деться и как спастись, вдруг понял, что спасение только от нее, в ней, с ней: сделав безотлагательное, назначив генерал-губернаторов и дав им полномочия, помчался в Ливадию, в Биюк-Сарай...

В субботу, семнадцатого, в половине третьего дня, император выехал коляской в Симферополь. Все время шел дождь. В Симферополь прибыли в глубоких потемках, часу в двенадцатом, тотчас отправились в Москву. На другой день поступили телеграммы: сын Александр, недавно вернувшийся из путешествия по Германии, болел рожеем на поге. Императрица сообщала о себе скупо. Но было очевидно, что улучшения нет. За окном тянулась сырая, темная степь без снега. Мелькали на черном просторе какие-то хижины, блеснула на горизонте излучка Днепра.

Было холодно. Наверно, градус мороза. Выехали на телеге часов в десять утра. Ночью мерещилось, мшилось, тысячи мыслей, ужасное нетерпение, рвался вскочить и мчаться хоть на рассвете, но раньше десяти было незачем и опасно. Яшка и Ванюшка почевали тут же, в кате,

храпели без просыпа до утра, а Баска уехала накапуце. Остановили лошадь на грунтовой дороге напротив оврага. Все было серо кругом, дул ветер, порывами сеялась вводящая пыль, но в отдалении лил настоящий дождь: над горизонтом колыхались темно-серые завесы. Ваничка побежал с лопатой проверить провод. Яшка, возчик, похаживал позади телеги, осматривал, постукивал, потом стал возиться с колесом, сбивать чеку: будто зачем-то надо снять колесо.

До прохода поезда оставалось не более получаса.

Андрей сидел в телеге. И спираль Румкорфа была тут же, на дне телеги, покрытая дерюгой. Андрей чувствовал, что вдруг и окончательно успокоился. Сейчас появится поезд, приблизится, и в тот момент, когда вагоны пронесутся здесь, перед глазами, он сомкнет провода — вот тут, под камнем, — и все будет кончено. То, ради чего столько жизней, столько душевных сил, труда, риска. Какая простота! Сомкнул два тоненьких медных усика — и готово. Через несколько минут он будет убивать. И не только пожилого, усатого господина, но и всех, кто с ним рядом, старых генералов, министров, казаков, лейб-медиков, поваров, лакеев, любовницу, детей. Смерть одного, а значит — и пятнадцати, и двадцати восьми, и сорока трех человек не имеет значения, когда дело идет о жизни или смерти народа. Ведь и тот, кто сомкнет, примет смерть наравне с другими. В ту же минуту или на десять минут позже. Только смертью может быть исправлена эта жизнь. И только смерть, справедливейший суд, установленный природой, может взорвать нагромоздившиеся кругом неправду и зло. Ведь о чем идет речь, боже мой? О справедливости, более ни о чем. Дайте же справедливый мир, справедливый суд, справедливое распределение всего, всего. Народ может выносить какие угодно лишения, но не вытерпит бесконечной несправедливости. Ибо нет худшего грабежа. Что же вы натворили, что нагородили на земле, если такой человек, как Андрюшка Желябов, крестьянский сын, студент, мирный человек, любитель Лермонтова и Тараса Бульбы, через несколько минут будет убивать?

Ваничка Окладский между тем бежал, оскальзываясь, по мокрому склону оврага. Провод повсюду лежал хорошо, ничем не нарушен. Не добежав несколько шагов до насыпи, Ваничка внезапно остановился и подумал: зачем же я тороплюсь? Тут с ним случилось страшное.

Сердце сильно колотилось, а ноги дальше не шли. Такое бывало во сне. Ноги вовсе не двигались и не держали его: хотелось упасть или хотя бы присесть на землю. С отчетливой ясностью вдруг представилось то, что скоро произойдет: гром взрыва, скрежет, падающие вагоны, вопли множества людей, обезумевших. И — они трое со своей телегой. Куда бежать, где скрыться в голой степи? Никогда Окладский не испытывал такого внезапного, ураганного страха. Он содрогался, его гнуло от озноба, ввинчивало в землю: не мог шагнуть ни дальше, к насыпи, ни назад, к телеге. Но почему же? Зачем же? Его тело, трепетавшее, лишенное ног, окровавленное и почти бездыханное, кричало диким, беззвучным криком, как кричат во сне: я моложе всех вас! Мне еще двадцать лет, зовут Ванюшкой, потому что все любят, и жалеют, и хотят мне добра! Разве можно меня убивать? Я Ванюшка! Меня нашли на улице, воспитывали у доктора Ивановского, я любил конфеты с цукатной начинкой по двадцать копеек фунт, я бегал, носил, передавал, чинил, возил, ни от чего не отказывался, потому что я рабочий человек, у меня золотые руки, а вы хотите меня убить. Ведь Жорж, и Родионович, и Верочка Засулич говорили вам, что вы неправы? Зачем же вы, злодеи, делаете неправильно? Нужно сначала — народ, рабочих людей, забастовки, бунты. Нужно общество подготовить! Если перебежать через путь и остаться там, с той стороны, потом сказать, что никого и ничего не знаешь, они не признаются, им смерть, а он еще молодой. Говорят же вам, черти проклятые, упорные: от террора — вред, людям пагуба, пужно бросать, никуда это дело не годится!

И, выкрикивая все это с отчаянной силой, хотя и неслышно, он все-таки подошел к насыпи, к самой mine, и ударил острием лопаты в землю, в провод, потом подрывнял, утоптал и побежал назад к телеге. Провод повсюду был хорошо уложен и превосходно скрыт землей. Об этом и сказал Борису. Но то, что он сделал, наполняло его свободой и громадным облегчением. Очень скоро — почему-то раньше, чем думали — показался поезд.

Окладский крикнул весело:

— Жарь!

Авдрей соединил провода. Секунда, другая, третья. Никакого взрыва. Поезд промчался.

Некоторое время молчали подавленно, потом стали рассуждать: отчего? Яшка и Ванюшка спорили возбужденно,

ругались, кричали, по Андрею эти выяснения казались праздным делом. Величайшая неудача, не было сил выяснять. Сказал только:

— Ребята, духом не падайте. Здесь не удалось, в другом месте удастся...

Хотелось сказать им про Москву, хоть как-то ободрить, но — сдержался. Ванюшка между тем метался между пасыпью и телегой, что-то включал, отключал, проверял то батарею, то спираль Румкорфа, но ясности не было. Кажется, Андрей неправильно соединил провода. И вспомнилось, как весной, когда брал у одесских моряков уроки мирного дела, глушили рыбу шашками пироксилина, и однажды взрывом его сильно ушибло, кто-то — кажется, Пимка Семенюта — сказал: «Ты в практическую часть не вмешивайся, ты не исполнитель. С твоими нервами и технической неспособностью...»

Но было одно правило жизни, которое Андрей усвоил: после любого провала, несчастья огорчаться не более трех дней. Продав лошадь, телегу, мебель и объявив Бовенко, что до зимы устроить завода, как видно, не придется, а жить тут без дела не расчет, он покинул этот несчастливый городишко, запорошенный первым снегом: было 23 ноября. Ванюшка застрял в Харькове, а Андрей отправился в Петербург. Из газет узнал, что 19 ноября под Москвой состоялся взрыв царского поезда, но и тут неуспех: с рельсов сошел «свитский поезд», где был багаж царя и располагался персонал капцелярии, а поезд с Александром благополучно проследовал в Москву. Отчего так случилось, понять из газет было нельзя. Какая цепь неудач! Промахи Соловьева, полный нуль под Александровском и громадный бессмысленный взрыв под Москвой. Опять газеты трещали о чудесном избавлении. Однако было нечто, разгоравшееся все более, несмотря на неудачи: изумление общества и страх властей.

В Петербурге стояла зима. В маленьком доме на Николаевской улице к рассвету, когда выгорали печи, становилось холодно, дворники скребли тротуары, не давали спать. До полуночи при свечах и зашавешенных окнах женщины клеили и подписывали конверты, рассылали по всей России воззвания по поводу взрыва 19 ноября. Александр Первый — Сапша Квятковский — достал адресные книги разных городов, оттуда выбирали на авось и слали.

Работа шла лихорадочная. И воззвание Андрею поправилось. Сухо, по-деловому: «От Исполнительного комитета».

Это было первое, что Андрей прочитал, приехав в Питер. Напечатано было накануне.

«19 ноября сего года под Москвою, на линии Московско-Курской ж. д. по постановлению Исполнительного комитета произведено покушение на жизнь Александра II посредством взрыва царского поезда. Попытка не удалась. Причины ошибки и неудачи мы не находим удобным публиковать в настоящее время.

Мы уверены, что наши агенты и вся наша партия не будут обескуражены неудачей, а почерпнут из настоящего случая только новую опытность, урок осмотрительности, а вместе с тем новую уверенность в свои силы и в возможность успешной борьбы.

Обращаясь ко всем честным русским гражданам, кому дорога свобода, кому святы народная воля и народные интересы, мы еще раз выставляем на вид, что Александр II является олицетворением деспотизма лицемерного, трусливо-кровожадного и всерастлевающего... Нет деревушки, которая не насчитывала бы нескольких мучеников, сосланных в Сибирь за отстаивание мирских интересов, за протест против администрации и кулачества. В интеллигенции — десятки тысяч человек нескончаемой вереницей тянутся в ссылку, в Сибирь, на каторгу, исключительно за служение народу, за дух свободы, за более высокий уровень гражданского развития. Этот губительный процесс истребления всех независимых гражданских элементов упрощается наконец до виселицы. Александр II — главный представитель узурпации народного самоуправления, главный столп реакции, главный виновник судебных убийств; четырнадцать казней тяготуют на его совести, сотни замученных и тысячи страдальцев вопиют об отмщении. Он заслуживает смертной казни за всю кровь, им пролитую, за все муки, им созданные.

Он заслуживает смертной казни. Но не с ним одним мы имеем дело. Наша цель — народная воля, народное благо. Наша задача — освободить народ и сделать его верховным распорядителем своих судеб. Если б Александр II сознал какое страшное зло он причиняет России, как несправедливо и преступно созданное им угнетение, и, отказавшись от власти, передал ее Всенародному Учредительному Соб

рацию, избранному свободно посредством всеобщей подачи голосов, снабженному инструкциями избирателей,—тогда только мы оставили бы в покое Александра II и простили бы ему все его преступления.

А до тех пор—борьба! Борьба непримиримая!—пока в нас есть хоть капля крови... Мы обращаемся ко всем русским гражданам... Нам нужна общая поддержка. Мы требуем и ждем ее от России.

С.-Петербург, 22 ноября 1879.
Петербургская Вольная типография».

Это отлично составленное (писал Лев, его слог!) и мгновенно напечатанное воззвание, которое уже полетело по России, вселяло бодрость: даже из поражения можно извлечь силу. И сила будет прибывать. Типография работает, вольное слово звучит, значит, партия крепнет, жива! Так думал Андрей в первый день приезда в столицу, в тесной квартирке Марии Николаевны, где встретил друзей. И все же—скрытая горечь, растерянность чувствовались во всем. Преувеличенно рьяно занимались пустяками, клеили конверты, веселились без повода, говорили о несущественном. Вдруг вечером пришла Соля, худая, без улыбки, поглядела страшно, как на чужого. И прошел, может быть, час, отпили чай, кто-то собрался уходить, Соля вышла в коридор провожать, и Андрей вышел, и Соля спросила с тихим укором:

— У вас-то что случилось?

Он пожал плечами.

— А у вас?

И она не могла по-настоящему объяснить. Почему-то были сведения, что царский поезд пойдет вторым, и она дала знак Степану, тот сомкнул цепь, путь взорвало перед вторым, а первый проскочил. Жертв, к счастью, не было. Невишние жертвы — было б совсем ужасно. Кажется, перемена составов случилась под Харьковом, об этом не успели узнать. В этом-то беда: не успеваем узнавать, недоделываем, не учитываем подробностей. Что произошло под Александровском? Какая-нибудь дрянь, мелочь, ничтожная недоделка, а в результате — провал. Мы все еще кружок, а не партия. Нас губит любительщина, романтизм. То, о чем хлопочет Дворник — централизация и тайна, — по-прежнему наше слабое место.

Андрей говорил, раздражаясь против себя. Это были его подлинные мысли, мучившие, но на словах выходило

поучительно и свысока, и одновременно: будто бы оправдывался. Все это — от чувства вины. Не мог задушить. А чувство вины — от проклятого, мелкого самолюбия. Почему-то неуспех других представлялся делом возможным и допустимым, а его собственная неудача — невыносимейший позор, катастрофа. Разумеется, все это кипело и жгло внутри, а снаружи — полное спокойствие и даже поучительный тон. Но какое терзание: ничего не взорвалось! Полтора месяца работы, и какой работы, для этого полного ничего. Соня все понимала, смотрела сочувственно, с какой-то печальной насмешливостью.

— Нет, Борис, нет, нет! Беда у нас одна. Нас — мало...

Через три дня приехал из Москвы Дворник. Наконец встретились. Они были два равновеликих неудачника, два атамана-ротозея. Один проворонил одно, другой — другое. И все же Андрей, конечно, чувствовал себя гораздо виновнее. Ну что он мог поделать с собой? Дворник, как всегда, поразил хладнокровием и деловитостью. Выслушав рассказ Андрея, сразу спросил: куда дели неиспользованные мины? А как поступили с проводом? А спираль Румкорфа? Земляной бур? Затем сказал, что нужно создать комиссию по расследованию причин александровской неудачи. Ох, Дворник, ему бы министром! Никто не умеет так блистательно распорядиться, так четко и мгновенно принимать решения. Андрей почему-то успокоился. Комиссия — прекрасно. Нужно только дождаться главного техника Степана Ширяева, который появится вскоре.

Однако на этих же днях произошло событие, затмившее недавние неудачи: внезапный арест Квятковского и жившей с ним на квартире Жени Фигнер, сестры Верочки. Откуда сия напасть? Александр отличался большой осмотрительностью. Он вел сейчас очень важное — может быть, важнейшее из предприятий «Народной воли» — дело, связанное с Зимним дворцом, которое требовало полной тайны, сверхтайны. Все прочие дела, мелкие революционерские повседневности, которыми постоянно запыливались народолюбцы, он теперь отбросил и не мог провалиться ни где, а с тем, главным делом было, по-видимому, спокойно, так как из Зимнего никакой тревоги и просочилось. Могла где-то оступиться Жени, ее опыт велик, и в Петербурге она появилась недавно. Все было неясно. И крайне грозно. Даже не в том гроза, что К

митет понес первую потерю и что погиб для борьбы один из лучших, храбрейших, а в том, что нависла опасность над тем, сверхтайным. Еще досада и в том, что пропала отличная квартира в Лештуковом переулке. Очень удобная, где происходило столько встреч, совещаний и просто дружеских чаепитий. В тот же день едва не погибли еще двое: Морозов и Оля Любатович. Утром к ним на квартиру, на Знаменскую, прибежала Перовская и сказала, что есть сведения (от партионного агента, служившего в Третьем отделении) о том, что у Квятковского должен быть обыск. Может быть, уже был! А у Александра на квартире — бог мой, чего только нет! Требовалось предупредить. Морозов помчался на Николаевскую улицу — это рядом, перебежать Невский — к Марии Николаевне Ошаниной, она ни разу не привлекалась, ничем не запятана, ее можно послать в Лештуков переулок. Соня и Оля ждали, невероятно волнуясь. Воробей не возвращался долго. Оля Любатович, недавно ставшая его женой, хорошо знала редкостное Воробьево бесстрашие, но одновременно легкомыслие и рассеянность. Не выдержав ожидания, Оля сама побежала к Квятковскому. Со двора внимательно вглядывалась в окно, знака безопасности не видела, но был мороз, окна сильно замерзли, и она рискнула подняться. На звонок поспешно открыли: здоровенный городской. «Я, кажется, ошиблась? Мне сказали, что здесь живет портниха...» — «Да, да, заходите, заходите, милости просим!» — городской пастойчиво приглашал. Удрать невозможно. Она зашла. В квартире был разгром, валялись бумаги, газеты, куски проволоки, какие-то металлические предметы, каких Оля никогда у Александра не видела. Арест — это начало лавины, камнепад, один камень толкает другой, тот — третий, все грохочет, летит — однажды в Швейцарских Альпах, когда Оля была студенткой Цюрихского университета... Это она вспомнила потом, вечером, когда все обошлось, хохотали, шутили. А тут расхныкалась, как слабонервная дамочка, и, плача, говорила, что муж будет ее ругать. Наконец городской повел в участок. Когда спускались по лестнице, столкнулись с Марией Николаевной, Оля молча посмотрела на нее, та поняла, прошла на этаж выше. В участке Оля долго путалась, рыдала, обнаруживала ужасную бестолковость, не открывала своего адреса (из страха перед ревнивым мужем), выигрывала время, чтобы Морозов успел узнать об ее аресте от Марии Николаевны и очистить квартиру. Вечером,

когда прошло уже часов семь, она назвала наконец улицу и дом, поехали с околоточным. К Олиному изумлению, открыл Морозов. Квартира была чиста, как стекло. Околоточный все же оставил супругов — разыгравших мещанскую сценку в духе Островского — под домашним арестом вплоть до выяснения обстоятельств и под наблюдением городского, но городовому тут же, с морозцу, предложили чайку на кухне, а муж с женой, накинув, что было под рукой, летнее, вышли черным ходом.

Все это рассказывалось поздним вечером на квартире Марии Николаевны, куда пришел и Андрей. Двое спаслись, двое — там, в лапах. Поэтому веселье от рассказов Воробья и Оли было нерадостное. Теперь нужно остерегаться всем. Воробью и Оле непременно уж — затаиться, не показываться несколько дней никуда. «Залечь в камышах», как говорил Дворник. Лучшее место для этого — тайная типография, Саперный переулоч, туда и отправили.

О расследовании александровской неудачи думать было некогда, к тому же Андрею поручалось дело, которое вел Квятковский. Он должен был стать связным между Комитетом и тем человеком, который проник в Зимний.

Наконец 1 декабря приехал Степан Ширяев. Его жена Аня Долгорукова, или Нина, как ее звал Степан, только что родила сына, была еще в родильном приюте, и Степан тотчас устремился туда. Пропадал там два дня. Вот уж не думали, что Степан, этот кремневый нигилист, выученик Чернышевского (вернувшись год назад из Европы, он даже некоторое время, как герой романа, выдавал себя за англичанина, некоего мистера Моррисона!), окажется таким страстным родителем и мужем. Ни первого, ни второго декабря он не был досягаем. Андрей разыскивал его везде. Степан был очень нужен.

Они познакомились летом. Андрей почуял в Степане то же прочное, негнущееся, что отличало их всех: силою Степан не уступал ни Дворнику, ни Семену, ни кому бы то ни было. И еще в нем была какая-то умная доброта, какая-то славность. По-английски и по-французски он говорил не хуже дворянских сынков, а ведь -- из крестьян, мать поповна, отец вроде Андреева, то ли управляющий, то ли землемер. Да ведь и Дворника отец — землемер. Все они дети землемеров. Отцы колесили по степям, мерили и перемеривали эту землю, бескрайнюю, безурядную...

И вот сошлись втроем поздним вечером, почти ночью, третьего декабря — Андрей, Дворник и Степаи — на Гончарной улице, в меблированных комнатах, где Степаи поселился под фамилией Смирницкого. Андрей рассказывал об александровском деле, чертил план. Но иных технических подробностей объяснить не мог, это знал только Ванюшка. Решили ждать Ванюшку и тогда снова собраться. Ванюшка отчего-то застрял в Харькове. Ну хорошо, отложили. Теперь уж все это принадлежит истории и представляет исторический интерес. Был морозный, метельный вечер, за окном валил снег, а в соседнем номере за стешкой гуляли купцы, шумели, плясали, мимо двери с топотом бегали коридорщики, что-то таскали без устали. Потом провели женщины, стали слышны женский смех, пенье.

Сидели вокруг стола, на котором самовар, закуска. Дворник рассказывал: как теперь точно известно, на квартире у Александра были три мины в разобранном виде и магнетиального динамита около двадцати фунтов. Всяких бумаг, воззваний, корректурных листов и экземпляров газеты «Народная воля» множество. Но главная беда — мины. Спаситься, видимо, не удастся. Как же произошло? Как будто так: Женя Фигнер дала номер «Народной воли» знакомой курсистке, та показала своей знакомой, а та — приятелю, который вышел сукиным сыном и донес полиции. Черт бы с ним, дело возможно, не угадаешь, но вот что недопустимо: Женя назвалась этой курсистке той фамилией, под которой живет, — Побережская. Нельзя же такие вещи делать! Это же азбука, младенцу ясно, что — гроб, через адресный стол в два счета паходят.

Дворник, как обычно, не просто рассказывал, а — с поучением. Андрей спросил, откуда известно, что случилось именно так. Оказывается, Женя успела через кого-то передать оттуда. Конечно, в отчаянье, убита. Что ж теперь рыдать и плакать? Надо было прежде соображать. Сашу погубили, это как пить дать!

Степаи слушал, мрачней, теребя бороду.

— Жаль и его и Женю... — сказал, помолчав. — Знаете, други, скажу вам честно: никогда не было страха погибнуть. И вдруг сейчас подумал — содрогнулся. Не хочу! Не желаю, по имею права. Как же ей без меня, с мальчишкой?

Андрей подумал: а ему как же? Андрюшке семь. Живет человек, живет женщина, которую любил, и она любила, родные, отринутые навсегда. Легко ли было?

А — пужно, выхода нет, ради них же. И выпрямился влобно.

— А ты особенный, что ли?

— Почему?

— У нас родных людей нету? У меня сына нету, у Дворника — стариков в Путшвле...

Дворник сказал:

— А я думаю: нам еще большей жить. У нас родных больше. И не просто родных, а ближайших, на жизнь и на смерть. И когда теряешь — вот Валерьяна потеряли, Лизогуба, теперь Сашу — это как из живого тела, это же кровь своя...

В дверь стучали. Степан подошел. В чуть приоткрытую дверь — Степан ногу поставил, чтоб не открывалось шире, — гудел голос, как видно, соседа, гуляки.

— Ваше степенство, дозволейте убоготорить, так что премного обяжете... — Голос был невнятный, но крайне просительный. Кажется, приглашал на выпивку. Степан отказывался. Купец бубнил настойчиво, переходил на шепот, не отступал. Степан силился закрыть дверь. Наконец закрыл. Купец за дверью гаркнул зычно:

— Федька, дюжину! Дела-ай!

Беготня, топот, жещины хохотали, упало что-то и разбилось со звоном, стеклянное. Гости вывалились в коридор, мужские блажные голоса то ли пели, то ли орали хором, непонятно.

Степан замкнул дверь. Сидели минуту-другую, прислушивались. Пьяная ватага поволоклась из коридора назад, в комнату: вино там осталось, в коридоре только плясать. Стало немного тише. Жещина визжала пронзительно. Потом опять топотня, пляс. Дело подвигалось к большому скандалу: в коридоре слышались другие, непьяные разговоры, хлопали двери, кто-то надсадным голосом крикнул: «Околоточного позвать!»

Андрей усмехался.

— Ради этих пьяных харь и стараемся. Для них же...

— Не только, — сказал Дворник.

— Им дорогу торим, чертям чумазым. Всех передуют, и нас, и врагов наших... Они только силу пабирают, только еще в нумерах да в полпивных бушуют, а как мы им свободу дадим? Они же из России полпивную сдают.

— Ну и лучше, — сказал Степан. — Полпивная-то лучше, чем тюрма.

Прошло некоторое время, вдруг с ужасающим грохотом забарабанили в дверь. Дергали с такой силой, что дверь ходуном ходила, с потолка сыпалось. Степан сжимал кулаки, подходя к двери.

— Сейчас дядю успокою.

— Только тихо! — посоветовал Дворник.

— Покорнейше просим! — раздавались крики из-за двери. — Ваше степенство! Сделайте нам удовольствие! — Дверь трещала. Были еще какие-то вопли, дикие и невразумительные, но с оттенком мольбы. Кто-то прокричал в щель между створками дверей довольно внятно: — Мадамы про-сют!

Степан стоял в задумчивости, не зная, как поступить. Дворник сказал:

— Не открывай, ну их ко псам.

Не открыли, стихло, откатилось. Вновь тот же голос требовал позвать околоточного. Купцы продолжали бушевать, но не в коридоре, а в комнатах, что было несколько выносимей. Сколько же дещьжищ кидают па дрянь, на ветер! А единственная на Россию вольная газета сообщает: получено от неизвестного лица 5 руб., от господина Б. 10 руб., от друга 3 руб. 50 коп. Скуповаты православные. Вся Россия глядит, какой бой начался, неравный, отчаянный. А помочь? Рублем хотя бы? С интересом глядят, радуются, злобствуют тишком, а все же — со стороны веселей. Вот как эти обыватели коридорные, ведь ни есть, ни спать пезвозможно, такой тарарам, а они — по щелям, как тараканы, на кого-то надеются. Один пищит: «Около-о-точного!» А чего околоточного? Взять этих дуруломов да скинуть с лестницы. Ух, твари постылые, рабье стадо! Неясно было, на кого Андрей в ярости: на гуляк орущих или па тех, по щелям...

Вдруг, когда раздались жепские крики и стало похоже, что девок бьют, Андрей рванулся к дверям. Дворник схватил за руку.

— Ты что — с глузду съехал? Сейчас полиция явится...

Дворник рассказал: в Москве после покушения народ валит смотреть место взрыва и домик Сухоруковых, толпы несметные. Решили сделать среди народа подписку па сооружение часовни. Сколько же набрали? 153 рубля! Об этом даже в «Московских ведомостях» писали с возмущением. А возмущаться нечего, привыкнуть надо. Равнодушие пезсцелимое: и к царям и к царубийцам. Другого народа нет. Вот с этим, равнодушным, замороженным

и надо делать дело, а они потом разберутся. «Народ жить хочет,— сказал Дворник,— и боится смерти, а мы смерти не должны бояться. Это разница между нами». Посидели до глубокой ночи, все обсудили, выпили весь чай, разошлись в тишине. Купцы уgomонились. Обыватели спали. На Гончарной улице лежала крепкая зима. А на другой день ударила страшная вестъ: Степаца Ширяева арестовали ночью.

Еще один забытый голос: Сыцялко А. И.

Прошло семнадцать лет, но я отлично помню тот день, 22 ноября семьдесят девятого года, холодный, с ветром, сырым снегом, когда я бежал через Николаевский сквер и вдруг наткнулся на Старосту. Я именно наткнулся: он неожиданно вышел из-за дерева. Он был бледней обычного, черная борода взъерошена, вид какой-то нездоровый, измятый. И когда, сняв перчатку, он протянул мне руку для рукопожатия, я почувствовал, что у него рука горячая, как у больного. Мы не виделись недели две. Я знал, что он уезжал куда-то. Тогда, в конце ноября, Харьков опустел, все разъехались кто куда.

— Саша, ты мне нужен,— сказал он после нескольких минут разговора. Мы разговаривали, конечно, о взрыве под Москвой, случившемся три дня назад. В Харьков только что поступили московские газеты, об этом злощастном взрыве тогда говорили все.— Кое-что спрятать. На песколько дней. Завтра в полдень зайду?

Фраза была вопросительная, но тон вопроса таков, будто ответа не ожидалось: это было требование, чтоб я сидел дома и ждал. Снова я почувствовал его горячую руку. На этот раз он совал ее для прощания. Он был уверен в том, что слова «ты мне нужен» достаточны для того, чтобы я, не вдаваясь в подробности, немедленно предоставил себя в его распоряжение. Но, боже мой, ведь так оно и было всегда! В первую секунду я испытал нечто похожее на мгповенный страх, но то был не страх, а бессознательное, самозащитное отталкивание от себя чего-то ненужного и неясного, с чем я не мог согласиться. Но и не согласиться не было сил. Все это началось и терзало и мучило меня давно. Главное, что мне хочется сказать: не страх. Никакого страха. Хотя я был тогда совсем молодым балбесом, восемнадцати лет, реалистом последнего класса, но жизнь так сложилась,

что я пережил уже много разных потрясений, многим рисковал и на многое покусился. Поэтому то мгновенное отталкивание было вовсе не от боязни за свою судьбу — и не такое проделывал, и прятал! — а оттого, что сомневался и не мог до конца решить. Именно в те дни, в октябре, в ноябре, когда устраивались сходки, понаехали приезжие, и Гришка, и тот бородатый, Борис — теперь то я знаю, что то был знаменитый Желябов, а тогда Борис и Борис, обывковенный мужичица, на вид купец, приказчик, в поддевке, в саногах, но златоуст необычайный, говорить умел часами, — именно тогда я стоял на грани, я чувствовал, что должен определиться, что-то переступить, ибо дошло до порога, по последней решимости не было. Гришка говорил резче и отчаянней всех. Но как раз он производил меньшее впечатление. Хотя я догадывался о его подвиге. В нем все было паружу, все трещало и прыскало наподобие фейерверка, слова «кровь», «месть», «казнь», «суд» так и сыпались, но истинную силу я чуял в Желябове и, честно признаюсь, — силу страшноватую. Однажды он говорил о воле. О том, что человек, обладающий волей, неуязвим. Волею можно победить смерть, даже самую природу, а не то что такие человеческие установления, как государства, правительства. Выходило какое-то обоготворение личной воли. Я спросил: нет ли тут высочайшего эгоизма? Он говорил, что разумно направленная воля не может быть эгоистичной, ибо ее конечная цель — благо всех. Спустия столько лет не помню всего разговора в точности, но смысл такой, что-то в духе модных теорий, и особенно поразило одно замечание. По поводу отца. Дело в том, что больше всего меня мучили отношения с отцом. Я очень любил отца и жалел его. И вот я спросил Желябова, как старшего, как человека, к которому проникся какой-то странной почтительностью: как быть, если моя воля будет угрожать воле близких людей? И не просто угрожать, а смертельно? Ведь убивание бывает не только ножом, револьвером...

Сейчас-то все видишь ясно. Тогда ясности не было, но были предчувствия. А сейчас могу рассказать об отце и обо всех нас как о чужих людях: смотрю будто со стороны. Наш отец был прекрасный, добрый, простодушный, несчастный человек. Он был уроженец Витебской губернии, Осип Семенович Сыцкико, католик, принял православие и был женат на православной, нашей матери, которая рано умерла. Осталось нас четверо: отец, две дочери

и я. Сестры были старше. В Харькове отец преподавал в университете, был доцентом на кафедре электротерапии и содержал электролечебное заведение, в нашем же доме. Жили дружно, счастливо, в доме всегда было полно молодежи, друзей моих сестер, студентов, моих товарищей. Отец старался, чтоб мы не чувствовали себя сиротами, без женской ласки: часто приезжала и подолгу гостила тетя Викторья, сестра отца, по мужу Польцгоф, с тремя сыновьями — Сашкой, Витькой и Васенькой, они были помладше, совсем юные оболтусы, такие же, как я, страстные охотники, проказы, мормоны, квартероны. Вообще, было шумно, славно! Лучшего и не было никогда ничего...

Отец, правда, был незадачлив. Весельчак, которому не везло. Постоянно в доме не хватало денег, а он затевал какие-то предприятия «пур аржан»¹. Я будто слышу его небрежно-веселый голос: «Ну, это я делаю пур аржан!» Никаких «аржан» не получалось. То он организовывал какие-то особые платные лекции у нас дома, в лаборатории, то устраивал дешевую кухмистерскую для студентов, тоже в нашем доме. Она так и называлась «Кухмистерская Сыщянку». И то и другое прогорало. Лечебница тоже не пользовалась популярностью. К новым методам публика относилась настороженно. Появлялись люди безнадежно больные, но отец от отчаяния, а также от природной доброты и некоторого легкомыслия брался их лечить, что кончалось конфузом. В одну женщину он влюбился. Она казалась вполне здоровой, но был один пункт помешательства, один-единственный: она боялась часа, когда зажигаются фонари. Считала, что в этот час должна умереть. Отец влюбился в эту больную не на шутку. Мы были беспощадны. Когда мы поняли, что нам грозит, мы потребовали, чтобы он немедленно прекратил с нею встречи. Мы не смирились бы ни с одной. Вспоминаю все это сейчас и содрогаюсь от ненависти к себе, к сестрам. Какое злобное, детское себялюбие! Но главное зло — позже. Принес его я. Не желая того. Желая лишь одного: уничтожить все зло в мире, всю несправедливость... С Будинским я познакомился в пачале семьдесят девятого года. Занимался тогда химией вместе со студентами, готовился в университет. Будинский называл себя «государственником». У нас был кружок, который все разрастался. Мы читали нелегальщину, рассуждали о социализме, мечтали, спо-

¹ Ради денег (франц.).

рпли. Было дикое возмущение, когда Кропоткин казацкими пагайками разголял студентов. Отец пришел домой в гнев: «Это варварство! В цивилизованной стране!» Вдруг — Кропоткина убивают, прямо на улице. Никто толком не знал, чьих рук это дело. Таинственная социал-революционная партия. Наш кружок, может быть, и касался каким-то краем этих людей, но я не знал ничего определенного. Студенты ликовали. Отец был ошеломлен: «Все-таки, согласишься, тоже варварство — таким путем доказывать правоту...» Начались аресты. Буцинский исчез из Харькова, передав мне на хранение печатный станок и грудку запрещенной литературы.

Станок был неисправен. Я пытался его наладить. Однажды забыл запереть дверь в комнату, кузены зашли случайно и увидели. Они стали моими помощниками. Отец получил анонимное письмо, где говорилось, что я занимаюсь «распространением антиправительственных идей в народе» и что в нашем доме склад книг, газет и прокламаций. Верно, я читал кое-что вслух рабочим отцовской мастерской и лакею Никифору. Анонимный донос написал, возможно, студент Кржеменский, который был репетитором кузенов. Господи, какое все это было мальчишество! Кузены, видимо, по глупому бахвальству проговорились, репетитор — сам недавний мальчишка — стал приставать к ним, ко мне из чистого любопытства, я не решился посвящать его в тайну, и тут же последовала месть.

Отец потребовал, чтоб я уничтожил книги, газеты, все. Он был раздражен, напуган, к тому же возмущен недавним покушением Соловьева. «Это безумие: считать, что виновен один человек! Какие жалкие глупцы! И это в то время, когда дела мои палаживаются, появились пациенты, мы на пороге удачи...»

Он полагал, что немедленно начнутся репрессии против всех, мало-мальски чем-то запятанных. А себя после получения анонимного письма он считал как раз таковым. Я укладывал книги в сундучок, чтобы отвезти на дачу, верстах в семи от Харькова, и в это время в комнату зашел отец и увидел — моя оплошность! — печатный станок. Он побелел. «Это что?! Что за мерзость в нашем доме?!» В ярости схватил молоток, стал бить, ломать. Станок, над которым я трясся много бессонных ночей, был уничтожен в две минуты. «На! Получай! — рычал отец, нанося сокрушительные удары. — Миллю! Спенсеру! Берви какому-то Флеровскому! Черту в ступе!» Я испугался,

потому что, бросив молоток, он схватился за сердце и едва не упал.

Сестры меня ругали и тоже просили, чтоб я поскорей все увез на хутор. Было много пачек газеты «Земля и воля», журнал «Вперед», прокламации, все я затолкал в железное ведро, а шрифты — в другое ведро, поменьше. Лето я с сестрами прожил на даче. Отец оставался в городе, не приезжал ни разу. В августе он опять ударился в панику и стал требовать возвращения книг, газет и шрифтов с дачи, чтобы сжечь все это своими руками. Я привез. Разумеется, не все. Шрифты он расплавил сам в печи кабинета, бумаги сжег. Ему казалось, что дело кошчено. Но с сентября начались наши сходки у Яшки Кузнецова, у Митрофана, а иногда у учителя Маньча, о чем отец не догадывался. Мы жили самостоятельной жизнью. Я твердо был убежден, что нынешний экономический и политический строй глубоко неудовлетворителен и долг каждого стараться его изменить. Каким образом? Действовать в народе. Я не стал ходить далеко и приступил к действиям среди близлежащего народа: рабочих отцовской мастерской, сторожа Данлы и лакея Никифора. Был в мастерской слесарь Ванюшка, мой ровесник, питерский, сметливый парень: он тоже скоро сделался знаменитостью, как и Желябов. На процессе шестнадцати осенью восьмидесятого года (как раз через месяц после нашего процесса) этот Ванюшка прославился дерзкой фразой: «Я не нуждаюсь в смягчении моей участи, и если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это как оскорбление». Подобного геройства я не мог предполагать в этом простоватом, необразованном малом, который если и отличался чем-то, так примерной услужливостью перед старшими, особенно перед «генералами», вроде Желябова и Колодкевича. Много лет спустя в иркутской ссылке я слышал разговоры насчет того, что Ванюшка пускался в какие-то откровенности с департаментом и носему отхлопотал себе ласку судьбы: вместо смертной казни бессрочную каторгу. Было то воистину или же болтовня — не знаю. Ведь говорили о многих. Фаптазировали, гадали, предполагали, а то и врали незадорого. Делать-то нечего, почи длинные, тоска...

Осенью, когда появились на наших сборищах Желябов, Гольдсбергер, Колодкевич, а потом еще какие-то важные террористы — забыл имена, — я догадывался, что эта компания нагрянула к нам неспроста. Но затем лишь, как

объяснял Желябов, чтобы раскрыть нам, юным провинциальным вольнодумцам, суть происходящего в русском революционном движении. Тут дело касалось практики, а не теории. И я чувствовал, что были люди посвященные: например, Староста, тот же Ванюшка, другой рабочий по имени Николай. Вообще, Желябов, как я заметил, особенно благоволил к рабочим. Был ли я уязвлен тем, что все тайны мне не доверяют? Впрочем, не одному мне: и Яше Кузнецову, и Митрофану Блинову, Кашищеву, Филиппову, нашему самому молодому, отчаянному Граньке Легкому. Да, конечно, был уязвлен и одновременно боялся и не хотел этого доверия. Боялся не за себя, а за отца, за всю нашу семью, пострадавшую после смерти матери. И вот тогда в разговоре спросил Желябова: а если гибель врага повлечет за собой гибель близкого, невинного человека? Он, подумавши, ответил: «А вы готовы принести себя в жертву ради будущего России?» Я сказал, что лично себе — готов. «Так вот это и есть жертва: ваши близкие. Это и есть — вы». Признаться, его ответ показался мне чудовищным софизмом. Но затем я подумал, что и Спаситель на подобный вопрос отвечал примерно так же. Просто я не был готов к непомерной муке. У меня не достало бы сил и мужества превозмочь такую боль. А ему казалось естественным — тут-то и была страшноватость! — отдать в жертву гораздо больше себя.

В ноябре он исчез из Харькова, теперь-то я знаю куда. Он мелькнул на мгновение в двадцатых числах, накануне моей встречи со Старостой. Я почти уверен, что мысль отдать все причинодалы неудачного александровского дела мне — принадлежала не Желябову, а Ванюшке Окладскому. Потому что Ванюшка работал у отца, знал о подстроенном флигеле, был хорошо знаком со мной, и как раз поэтому — зная, что я странно боюсь подвести отца — он не стал предлагать сам, я бы отказался, а подговорил Старосту. Петр Абрамович Теллалов, Староста, был тогда вождем всего нашего подполья. Его все уважали. У меня к тому времени возник взгляд: не противиться террору, но и не заниматься им, а заниматься своим делом, пропагандировать социализм среди рабочих. В начале нашего разговора Староста намекнул на то, что покушение, подобное московскому, было предпринято и где-то на юге, но не удалось. Меня осенило: наверно, есть связь между этим намеком и просьбой что-то спрятать! Я спросил: — А что именно нужно спрятать?

— Как-то кинжалы, из Полтавы прислали. Земляной бур, батарею, еще какую-то дрянь...

Он говорил небрежно и с некоторым удивлением смотрел на меня. Ему казалось странным, что я как бы над чем-то задумался. А я просто задумался над тем, что случится с бедным отцом, если все это вдруг раскроется...

— В чем дело? — спросил Староста. — Тебя что-то смущает? Ведь более удобного места, чем ваш недостроенный флигель, нет во всем городе.

— Конечно, — сказал я.

— Значит, завтра в полдень ты меня ждешь?

— Да, — сказал я.

Пропзнести слово «нет» я не мог, хотя все мое утро, охватываемое предчувствием, говорило: нет, нет, нет! На другой день он привез завернутые в тряпки бур, батарею, спираль Румкорфа, кинжалы, револьверы, провод. Кое-что я спрятал в печке недостроенного дома, кое-что в чулане. Через три дня явился с обыском жандармский капитан. Кажется, мальчишка, сын сапожника, из мастерской Якубовича в первом этаже нашего дома, случайно что-то обнаружил во флигеле и сказал отцу. А может быть, как-то иначе. Может, проговорился лакей Никифор или кто-то другой. Никифор был загадочный человек, очень преданный отцу, но болезненный, истерик, и к тому же подверженный тайному дурному пороку. А Ванюшка Окладский, который спустя год откровенничал с властями в Петербурге, не мог разве слегка, мимолетно пооткровенничать с харьковскими чинами полиции? Ведь у него там были знакомцы. Еще летом, когда Ванюшка работал в отцовской мастерской, его таскали в полицию по делу некоего Коли, тоже нашего рабочего, застрелившегося случайно при починке револьвера. Полицейские знакомства не всегда кончаются безобидно. Отец уже тогда привлекал внимание: какая-то кухмистерская, лекции на дому, сборы, молодежь. Могли Ванюшку попытать, пощекотать и попросить кой о чем на будущее. Не грубо, прямым, а так, полегоньку, перстами легкими, как сон. Нам в Сибири все эти куштяки рассказывали. Бог знает, кто подал полиции сигнал! И все покатилося, все рухнуло, жизнь наша переломилась навсегда. Арестовали отца, меня, сестер, всех наших по очереди: Яшу, Митрофана, Грайку Легкого, Маныча, Данилова. Год нас терзали. Сначала держались бодро, потом стали выбалтывать. И даже кузнецов притянули к следствию, мальчишек, запугали до слез, и

они тоже выложили все, что знали. Кажется, и Инкифоров много помог следствию, и сторожиха на даче, где я прятал шрифт, и рабочие, которым я читал книжечки... Семнадцать лет! Сначала Верхотенский округ, потом Киренский, потом опять Верхотенский. Отец был оправдан, но не вынес горя и вскоре умер. Сестра Маша поехала за мной в Сибирь.

И вот я вернулся, выжил, сохранил зачем-то жизнь. Сейчас 1896 год. Мне кажется, все в России переменялось: другие дома, другие шляпы, другие писатели, другие газеты. В родном городе жить я не смог. Не узнаю людей, не понимаю, о чем они спорят, из-за чего хлопочут. Мои прежние товарищи, которые добились кое-каких чинов и положения, представляются мне ничтожными обывателями, с кем совершенно не о чем говорить, а я им кажусь, вероятно, одичалым неудачником. Поэтому я перешел в Воронеж. Иногда думаю: а что было бы, если б тогда, в Николаевском сквере, я ответил Старосте «нет»?

Клио-72

В Воронеже Александр Сыцялко примкнул к социалистам-революционерам, был арестован в 1897 году, пытан и мучим полковником Васильевым, который распространил лживую версию, будто Сыцялко выдает товарищей, первые не выдержали, в феврале 1898 года Александр Сыцялко повесился в своей одиночной камере, как раз в тот день, когда его сестре Марии после долгих отказов разрешили с ним свидание, но он об этом не знал. Надзиратели подбросили в камеру Сыцялко записку, где арестованным давался совет остерегаться его. Мария Сыцялко вскоре была выслана административным порядком в Сибирь, бежала оттуда, снова выслана и умерла от случайной простуды за три месяца до Февральской революции. Почти все товарищи Александра Сыцялко по процессу восьмидесятого года давали откровенные показания, особенно отличались в этом Мигрофан Блинов, Яков Кузнецов и юный атлет Евграф Легкий, который сделал попытку повеситься в тюрьме, не выдержав одиночного заключения. Этот Евграф Легкий за убийство надзирателя посредством отломанной от кровати железной ножки был казнен в Иркутске в 1882 году. В архиве на Пироговке находятся две толстые папки «Дела по обвинению доцента Харьковского

университета И. С. Сыцяно и других», где на пожелтевших и никому уже в мире не нужных клочках бумаги рассказана вся эта история харьковских полузаговорщиков, полутеррористов, полуподростков, полустойких и полуслабых бойцов за лучший мир. начавшаяся 27 ноября 1879 года, в четвертом часу пополудни обыском в недостроенном доме доктора Сыцяно. В одной из папок, сразу вслед за показаниями Гольденберга, во многом погубившими Сыцяно, имеется конверт с надписью «Вложение». В конверте лежат образцы найденных в доме Сыцяно проволоки и спирали Румкорфа, завернутые в вату. Проволока основательная, хорошо изолированная. Нужен довольно сильный удар, чтобы разрубить ее острием лопаты. Это куски той проволоки и той спирали Румкорфа, которые применял под Александровском Желябов. Телега, «жарь!», проволока, чулан, вата, конверт, папка с толстыми тесемками, Пироговка, август, троллейбус в сторону Лужников...

Глава пятая

После ноябрьского покушения на царский поезд под Москвой всему миру стало очевидно, что в России началось небывалое единопорство: с одной стороны могущественнейшая власть, с другой какие-то невидимки, загадочные «люди из подполья». Ни аресты, ни казни ничуть не помогали власти. Не находилось концов. Было похоже, что арестовывают не тех и казнят не главных. Напоминало сказку про страшный своей колдовской силой овсяный кисель: чем больше его едят, тем больше его становится. В лагере императора, по которому напосились прицельные, хотя пока еще не очень точные удары, зарождалось смятение: то возникало тягостное и почти паническое недоумение, незнание что делать и куда бежать, то разжигалась истерическая злобность. Либеральные бюрократы во главе с Валуевым схватились не на живот, а на смерть со своими врагами, сторонниками твердого самодержавия и лечения железом и кровью. Те всю вину за все несчастья возлагали на этих, а эти попросту называли тех изменниками. Все это не могло кончиться полюбовно.

Член Государственного Совета Победоносцев в письмах и устно внушал наследнику Александру Александровичу, что «все эти социалисты, кинжальщики и прочие не что иное, как собаки, спущенные с цепи. Они работают бес-

сознательно не па себя, а для польского гнезда, которое рассчитало свой план очень ловко и может достигнуть его с помощью наших государственных людей...». В декабре, па исходе смутного года, когда еще не утихла дрожь после московского взрыва, Победоносцев писал наследнику так: «От всех здешних чиновных и ученых людей душа у меня наболела, точно в компании полоумных и исковеркапных обезьян. Слышу отовсюду одно патверженное, лживое и проклятое слово: конституция... Повсюду в народе зреет такая мысль: лучше уж революция русская и безобразная смута, нежели конституция. Первую еще можно побороть вскоре и водворить порядок в земле, последняя есть яд для всего организма, разъедающий его постоянной ложью, которой русская душа не принимает... Народ убежден, что правительство состоит из изменников, которые держат слабого царя в своей власти. Все надежды на Вас! Валуев — главный зачипцак копституции...»

Надежды на то, что подобием конституции, представительным правлением, то есть введением делегатов от земств в Государственный Совет, можно как-то спасти дело и выровнять грозно шатающееся государство — пепурожай, голод, крестьянские волнения во многих губерниях, забастовки на фабриках, недовольство студентов, недовольство литераторов, удушаемых цензурой — эти надежды питал не только Валуев, но и военный министр Милютин, и великий князь Константин Николаевич. Составлялись проекты, писались записки, делались представления царю, но царь отвечал одним: он колебался. За исключением тех минут, когда его охватывал гнев, царь пребывал в состоянии колебания. Таков был этот странный сентиментальный характер, неспособный к сокрушительным решениям, к сотворению истории, а умевший лишь подчиняться обстоятельствам. Долго колебался перед крестьянской реформой и решил лишь оттого, что обстоятельства, события, времена выдавили из него это решение; долго колебался перед воротами Царьграда, не зная, вступать ему в город или нет, перекладывал ответственность на главнокомандующего, и так и не вступил, за что Россия поплатилась берлинским унижением; и давно уже, в течение почти двух десятков лет, колебался и трепетал перед сфинксовой загадкой: решаться или нет на робкие конституционные проекты? Как военному человеку, ему казалось, что тут будет некое понижение в чине:

вроде сейчас он полный генерал, а станет генерал-лейтенантом. Да и многие неглупые люди, вроде князя Урусова, министра Макова, советовали повременить. Зачем топиться? В западных странах, во Франции например, учредили конституцию, а беспорядки и анархия лишь усилились, приняли чудовищный образ. Хотя, с другой стороны, одними мерами подавления... Словом, царь колебался и намерен был колебаться долго. Природою колебаний царя была его неизбывная подозрительность. Он не верил никому. Был подозрителем к старшему сыну Николаю, а после его смерти сделался подозрительным к Александру. О генерале Потапове, бывшем шефе жандармов, сказал однажды: «Я, кажется, не сделал ему ничего доброго. За что же он против меня?» Временами эта вечно тлеющая подозрительность вспыхивала с дикой, необузданной силой, и однажды в такую минуту он харкнул в лицо своему старому другу князю Вяземскому, ехавшему в карете и раздражившему царя покорным молчанием. Однако, когда князь стал молча стирать со щек следы пыльного монаршего гнева, Александр вдруг кинулся к нему, стал обнимать и просить прощения. Сначала было гневно, подозрительно и несносно, потом стало стыдно и несносно, и все это в продолжение минуты. Иногда случалось наоборот. Сперва он простирая объятия и просил прощения, а потом плевал в лицо. Примерно то же произошло с реформами: сначала были праздничные лобызанья, а затем, очень скоро, вспыхнули разочарование и вражда. В памяти России этот царь останется с двумя ликами и двумя именами: Александр Освободитель и Александр Вешатель.

Вернувшись в столицу после московского потрясения, царь обнаружил не панику, а раздражительность. Недовольный тем, что Мирскому заменили смертную казнь бессрочной каторгой, он выместил раздражение на Гурко, петербургском генерал-губернаторе, заметив, что тот действовал «под влиянием баб и литераторов». Ни о каких конституционных проектах не могло быть и речи. Однако миновало несколько дней, царь успокоился, вернее, пришел в обычное свое колебательное состояние и вскоре опять обратился к брату Косте и к Валуеву по поводу их проектов.

Ах, беда была в том, что эти славные борцы за российский прогресс сами колебались не меньше главноколеблющегося! Один из истовейших реформаторов Миллю-

тин признавался в разговоре с другим реформатором, Абазой: нет, делегаты от земств не спасут дела, когда вся Россия на осадном положении. А главный либерал Валуев записывал в это же время, для себя самого, сокровенно: «Чувствуется, что почва зыблется, зданию угрожает падение». В пужный момент, на одном из первых, сверхтайных заседаний Особого совещания, когда обсуждался проект великого князя Константина Николаевича, Валуев неожиданно заявил: «Я желал бы знать, какую можно извлечь пользу из того, что скажет по законодательному проекту представитель какого-либо Царевкокшайска или Козьмодемьянска?» Все были огорошены этим странным прыжком, этой внезапной переменой фронта, которую приписали личной неприязни Валуева к брату царя, не понимая того, что и тут проявилось бессознательное и необоримое, почти мистической силы, колебательное движение. Все колесались, все обнаруживали дрожание колен, и даже столп охранительной партии, надежда Победоносцева наследник Александр Александрович, увы, не являл собою образец прочности.

Хотя вокруг Александра Александровича и группировались люди так называемой «партии Аничкова дворца», сторонники жесткой линии и враги всяческого попустительства, но они не столько находили опору в последнем, сколько старались зарядить его своей бодростью, своими идеями... Наследник перенял от отца несамостоятельность характера, ибо чем больше человек колеблется, тем сильнее на него можно влиять. Кроме того, отношения с отцом были сложны и все более напрягались по мере того, как забирала власть (пока что пад царем) княгиня Юрьевская.

И, однако, все сложности, неприязни и разномыслие меркли в этом году перед общей грозой и страшным для всех сверканьем молнии: ужасными политическими убийствами. Жизнь непоправимо меялась. Страх становился такой же обыкновенностью Петербурга, как сырой климат. Нужно было привыкать. В апреле, после выстрела Соловьева, наследник записал в дневнике своим перышковым почерком захудалого гимназиста: «Сегодня мне пришлось в первый раз выехать в коляске с копяем! Не могу высказать, до чего это было грустно, тяжело и обидно! В нашем всегда мирном и тихом Петербурге ездить с казаками, как в военное время, просто ужасно, а печего делать. Время положительно скверное, и если не взяться теперь

серьезно и строго, то трудно будет поправить потом годами. Папа, слава богу, решился тоже ездить с конвоем и выезжает, как и я, с урядником на козлах и двумя верховыми казаками сбоку».

Привыкали к страху, привыкали к конвойным казакам, а потом к самим покушениям. В ноябре наследник записал вовсе кратко и даже как-то мелахлично: «22 ноября. Вернулся папа из Ливадии, пробыв два дня в Москве, где опять было покушение на его жизнь и взорван был путь под поездом ж. д., но, к счастью, не его поезд, а шедший сзади второй поезд. Просто ужас, что за милое время!»

Невозможность уступить, «пойти навстречу чаяниям русского общества» заключалась для царя еще и в том, что выходило, будто он оробел, поддался угрозам подпольных людишек. Для обыкновенной царской гордости это было совсем уж *insupportement*¹. Да и попросту, как для всякого мужчины, оскорбительно. Другой момент: если бы хоть были найдены атаманы тайного комитета, обезврежены главные преступники! Чтоб была уверенность, что вся эта гадость пойдет на убыль, и — тогда с легким сердцем согласиться на некоторые уступки. Как с крестьянской реформой: чтоб была хоть какая-то видимость благодеяния сверху, а не действие под папоротом низменных сил. Но, как назло, легкого сердца царю все не было. Атаманы оставались неуязвимы, главные супостаты неизловлены. До сих пор не найдены убийцы Мезенцева, не пойман стрелявший в Кропоткина, не обнаружена тайная типография, вагло распространявшая листки и газеты — по точным сведениям это эдакое гнездилище расположилось в столице, но полицейские балбесы бьются месяцами впустую! Не пригласить ли умелых людей из Англии? Ни одного человека не удалось поймать и на месте московского взрыва. В чем цельзя отказать преступникам, так это в удивительной ловкости и какой-то совершенно звериной, лисьей хитрости. Случайные люди, залетавшие в сети полиции, не спасали дела. Все это была мелюзга, плотвица. А шуки демонские, черт бы их взял, хохотали беззвучно в своих потасяных логовах.

И вдруг в середине декабря — прекрасная новость. Сообщение из Одессы: в руки властей попал убийца Кропоткина некий Гольденберг, сын купца. Пока что он при-

¹ Невыносимо (франц.).

знался агенту, специально подсаженному в камеру. Получено много подробностей и о московском взрыве. Расследование ведется с громаднейшей осторожностью и возрастающим успехом. Ухватились за конец клубка. 18 декабря одесский прокурор Добржинский, очень хвалимый Тотлебенем и, как видно, действительно по чета петербургским нустоплясам, примчался в Москву с ворохом драгоценнейших сведений, добытых от Гольденберга. Царь хладнокровно радовался: наконец-то! Началось, слава тебе господи! Настроенные к рождеству заметно окрепло, и казалось, еще бы какая-нибудь небольшая удача — и можно снова повести разговор об уступках и чайных.

А Гришка тем временем, еще в конце ноября перевезенный из Елисаветграда в Одессу, в тюремный замок, вел отчаянную борьбу с царскими палачами и сатрапами. На Гришку орал и топал ногами сам одесский властитель Тотлебен, ему грозил револьвером и обещал все гольденберговское отродье сгноить в Сибири пачальник губернаторской канцелярии Папютиц, очень злобный мужчина, ненавистник, злость из него так и прыскала, обрабатывали Гришку и другие господа, жандармский полковник Першин с помощниками, угрожали, пугали, орудовали кулаками, за волосы дергали, спать не давали, измучивали смертно, но Гришка не сдавался. Заставить Гришку заговорить? Ого, мало каши ели, господа! Не родился еще такой человек, который Гришку принудил бы заговорить насильно. Ничего не дознались, кроме того, что бедный отец подтвердил по фотографическому снимку: да, сын, Григорий Давидов Гольденберг, рожден в Бердичеве в 1855 году. А никаких дел папаша и зпать не мог. Истерзаный, по гордый от того, что тюремщики бессильны сломить истинного революционера, возвращался Гришка в камеру, валялся на койку, а то, если сил не было, прямо на пол, и тут единственной радостью были слова участия и восхищения друга, Федьки Курицына: «Гришуня, как ты? Живой? Не поддался сволочам? Я для тебя чай берегу, пей вот! Ах, скоты, негодня, мерзавцы, протобестии...»

Федька ругался шепотом, боясь, что надзиратели услышат. Всего боялся, запуган, измучален тремя годами тюремной сидки: с семьдесят седьмого года он здесь, по делу о покушении на Горюповича. Гришка о нем и раньше

слыхал от одесских товарщиц. Был Федька весельчак, любитель музыки, пения, учился в Харьковском ветеринарном институте, а теперь сломлен, глаза провалились, голос дрожащий. Ночами не спал, Гришке жаловался: «Уморили меня, с ума схожу... Не выдержу больше... Поговори хоть со мной!» Гришка его жалел, разговаривал. Надзиратели, подкравшись тихо, слышали разговор, стучали кулаками, грозили карцером, одиночкой — почками разговаривать нельзя, — тогда Гришка и Федька шептались чуть слышно.

Иногда Федька плакал, а иногда отчего-то веселился, как сумасшедший, начинал петь — днем, если вдруг солнце, камера освещалась — из разных опер, даже женскую арию из «Опричннков»: «Соловушка в дубравушке звонко свищет...» Гришка очень его жалел. Такой голос чудный, и вот погиб, и человек погиб. Суд над Федькой и его товарищам Костюриным, Дробязгиным, Витькой Малинкой, Майданским близился, вот-вот, со дня на день. Раздали уже обвинительный акт. Федька истощился и ослаб невероятно, врач предписал ему больничную порцию и лечение бромом.

Вся Федькина радость была — разговоры с Гришкой. Ведь на три года оторван от жизни, от борьбы! Ничего не знал, ужасался, восторгался: и о покушениях на царя ничего подробно не знал, и об убийстве Кропоткина, и о новой партии террористов, которая образовалась и приступила к делам.

— Боже мой, а я здесь все эти годы! Руки связаны! — шептал Федька в отчаянье. — Ведь вы же замечательные дела творите...

А когда он узнал, что Гришка сам, собственной рукою казнил мерзавца и палача харьковских студентов Кропоткина, его изумлению, радости и преклонению перед Гришкой не было меры. Он только повторял, как счастлив, что оказался в одной камере с таким героическим человеком, как это ему важно, и нужно, и помогает жить и как прибавляет силы. Ну, рассказал Гришка и о московском подкове, и об александровской мице, ведь и там и здесь Гришкино участие было не из последних, а даже, можно сказать, самое капитальное, так что во всей России вряд ли найдется сейчас человек, более Гришки Гольдсберга прикосновенный к революционной кухне. Все самые горяченькие пироги пеклись при его участии. Эх-хе-хе, если б одесские дураки хоть на секунду пред-

положили, какую птичку-певеличку они заполучили в сети! Очумели бы с радости. Только шиш узнают. Никакие пытки не заставят Гришку заговорить...

В начале декабря был суд над одесскими бунтарями, и прекрасные люди Дробязгин, Малипка и Майдапский получили виселицу, Костюрину заменили смертную казнь каторгой. Федьке с учетом трех лет тюрьмы назначили административную высылку. Седьмого декабря троих повесили. Шепнул надзиратель. Федька страдал невыносимо: два дня лежал недвижно на койке, лицом в подушку, не хотел ни есть, ни пить. Гришка за него испугался. И опять единственным лечением для Федьки и последней радостью были разговоры ночью.

Тянулись дни, тюремщики от Гришки отстали, утомились, разуверились, таскали на допросы все реже, и днем он молчал, а почтами разговаривал. Федька готовился к выходу из тюрьмы, в ссылку. Администрация еще не определила места ссылки. Гришка передавал Федьке последние поручения, ибо Федьку прежде ссылки должны были отправить в Харьков, а уж оттуда — в Сибирь. Где-где, а в Харькове у Гришки было полно друзей, домов, квартир, где могли помочь. И вот он снабжал Федьку, давал от души, щедро все, что знал, лучших и закадычнейших, на которых можно положиться, как на него, Гришку: «Во-первых, пайти госпожу Заславскую, на Подольской улице, сказать «от Давида»... Во-вторых, Старосту, ему сказать, что с ним, с Гришкой, последний раз кутил... Приветы Митрофану Близову, Володьке Жебуневу, Яшке Кузнецову, которому надо сказать, чтоб он от него, Гольденберга, отрекался и пасчет той сходки, летней, многолюдной, не упоминал нигде... Сонечке Перовской, если она вернулась из Москвы в Харьков, передать горячий привет и лобзання...»

В начале января Федька уехал. Прощались горько, Федька едва сдерживался, чтоб не разрыдаться. Была одна просьба, от всех арестантов: спеть на прощанье. И Федька запел тонким, высоким голосом, прощая печалью, потому что три года в этих стенах не шуточки, жизнь обломилась, новая началась, а товарищи остаются.

Соловушка в дубравушке звонко свистит,
А девушка в теремочке слезно плачет...

Гришка слушал, стискивая пальцы. Федька наклонился к нему мокрым лицом: «Гришуля, умоляю: держись,

не сдавайся!» — «Да, да, да, да, — кивал Гришка. — Скажи друзьям: да!» Через два дня, 15 января, Гришку вызвали на первый официальный допрос. Допрашивали полковник Першин и одесский прокурор Добржинский. Все было иначе. Никто не топал ногами, не размахивал револьвером, не жидюкал, не хватал за шейсы, отросшие за два месяца. Добржинский, белокурый полячишко, вел себя чрезвычайно предупредительно и даже как бы благожелательно, ничего особенно не расспрашивал, а рассказы в а л с а м. По его словам выходило, будто следствию известно абсолютно все. Гришкины товарищи, захваченные недавно в разных местах, признаются и дают откровенные показания. Многие чистосердечно рассказываются, многие пишут пространные и очень содержательные разъяснения, называя имена, даты, квартиры. Торопятся облегчить совесть, соревнуются в откровенности, ибо все они молоды и еще надеются честным признанием улучшить свою судьбу, начать жить снова. Гришка слушал, потрясенный. Какие же товарищи? Кто именно? Ну, это не столь важно сейчас знать, суть не в персонах, а в том, что идет громадный, всероссийский процесс распада революционной партии.

И Добржинский опять рассказывал сам: о Липецком съезде, называл имена, клички, о собраниях в петербургских трактирах перед покушением Соловьева, о спорах по поводу орсишевской бомбы и револьвера, потом о московском подкопе, о планах подкопа под Малой Садовой. Это последнее известие особенно удручило Гришку, подтвердив, что в руки фараонов попал кто-то из близких Комитету людей. Разговор о подкопе под Малой Садовой, по которой царь каждое воскресенье ездит на разводы в Инженерный замок, Гришка слышал мельком в Москве, то ли от Дворника, то ли еще от кого-то, но эта идея была сугубо секретная, высказанная бегло среди верных людей. Неужели, когда Гришка шептал Федьке, мог услышать надзиратель? Мог услышать что-то одно, отрывочное, по не всю же кучу сведений. Значит, верно, какие-то люди попались и выдают. И все же, когда Добржинский, павострив перо, приготовлялся записывать: «От вас, господин Гольдепберг, мы ждем совсем совсем небольших разъяснений», Гришка мотал головой: «Нет!»

Теперь было много трудней, что-то надорвалось, какие-то подпорки упали, и даже казалось, что нет смысла упорствовать и молчать, но Гришка, однако, еще долго,

педели две, укрепляемый неясным предчувствием, продолжал все отрицать. Добржинский смеялся ему в лицо. Они знали такие подробности о Харькове, каких не могли знать петербургские главари: о Старосте, о Блинове и Кузнецове (эти двое, по словам Добржинского, уже арестованы и полностью созрелись), об аптекаре Дашилове, который тоже арестован.

Гришка решил, что выдаст Митрофан Блинов. Этот папаша всегда не правился. Дворянский недоросток, слабогрудая тварь, ездил в Крым лечить малокровие. Думая о Блинове, приходил в ярость: он, он выдает, собака! Весь харьковский разгром — его рук дело. А остальное? А Москва, Петербург? Вдруг пришла мысль, очень страшная. Кто же мог знать так же много, почти столько же, сколько знает он, Гришка? Да ведь никто другой: только он сам. Он сам и есть. Он и выдает. Через Федьку. Вот она, страшная, молниеносная мысль. Вспомнил: месяц с лишним назад, ночью, коридором мимо камеры вели Витьку Малышку, Дробязгина и Майданского, приговоренных к смерти. Витька успел крикнуть: «Товарищи, завтра нас казнят! Отомстите!» Крик так подействовал, разорвал душу, что в ту же ночь Гришка решил убить Папютина. Этот подлец, помощник Тотлебена, считался главным одесским палачом. Убить его собирались на воле, дело решенное, но зачем же, рассудил Гришка, гибнуть силе? Он-то уж все равно догнб. Обдумывал, как лучше сделать: во время допроса или же под каким-то предлогом замашть в камеру. Папютин им, Гришкой, очень интересовался и пришел бы, если придумать, как зазвать. И чем убить. Всю ночь советовался об этом с Федькой. Тот трусил, отговаривал. На другой день явились три жандарма и падали кандалы — на Гришку и на Федьку. Почему? С какой стати? Гришка очень тогда изумлялся и был возмущен. И несколько дней водили на допрос в кандалах, а потом кандалы сняли, допросы кончились. Так что же все это значит, боже ты мой? Ничего еще Гришка окончательно не решил, пока еще только мысль, только догадка, и вдруг улыбающийся пап Добржинский ошеломял повой ужасной вестью: в Петербурге захвачена знаменитая подпольная типография, та самая, что печатала прокламации и газету «Народная воля». Арестована ее редакция, было целое сражение, один из преступников застрелился.

И показывал фотографии: на одной узнал Буха, на другой еврей-наборщика, приехавшего недавно из Бер-

лина, на третьей женщину знакомую, видел ее в Петербурге, имени не знал. И на одной фотографии был Александр Квятковский. Еще фотография: на полу человек, запрокинутое лицо, вздернутые усики, рот ямой. Самоубийца.

— Вы видите: сколько жертв! Сколько молодых жизней! — говорил Добрынинский. — Когда же кончится кровавая жатва?

Гришка смотрел на доброе, строгое лицо Александра Первого и вспоминал, как год назад: трактиры, табачный дым, разговоры вполголоса, отчаянные, безумно-веселые, когда казалось, все решится через несколько дней. Мрачно-решительный Соловьев, заикающийся Дворник, молчун Кобылянский и они двое: Квятковский и Гришка. Да, еще шестой был — Зунд! Умница, хитрец... Вот уже и Квятковский схвачен. Никого нет. Кто же остался? Соловьев казнен. Кобылянский арестован в августе, Зунд — в октябре, в Публичке, в ноябре Гришка. Один Дворник, дай бог, еще на воле. И ничего не сделано, не решилось.

— Гибнут лучшие, цвет нации, надежда России... Ведь эти люди хотят России добра... — Кто это говорит? Чужим голосом — Гришкины мысли? Странно, горестный шепот и печальное кивание головой производит белокурый господин в вицмундире. — Хотят добра, а творят зло... Несчастное непонимание... Не понимают друг друга, в этом все зло...

И затем так же тихо, сочувственно:

— Господин Гольденберг, вы же прекрасно сознаете, что дело вовсе не в том, чтобы вы подтвердили: да, я убил Кропоткина. Это нам и без того известно. А дело в гораздо более существенном и великом. — Опять понизил до шелота и глазами враспор, глаза в глаза, то в один, то в другой. — Россию спасти надо! Драма происходит грандиозная. На глазах у целого света. А дела никому нет. Ведь нет дела, согласны?

— А когда же свету было до России дело? — сказал Гришка.

— Разумеется, разумеется, вы умный человек, господин Гольденберг, и понимаете мою идею. Кроме нас, русских, спасти нас некому. Должно быть достигнуто единственное: понимание! Власть должна понять молодежь, а молодежь — власть. Остановить эту вакханалию казней, смертей, злобы, взаимного недоверия. Вы думаете, наверно все гладко, единодушно? Вы думаете, там нет людей,

которым претят... — зашептал едва слышно, — панютинские и чертковские расправы? Я знаю лиц, очень высокопоставленных, которые приходят в ярость, когда слышат о новых арестах и военных судах. Да что же за несчастная страна! Какие-то болгары, румыны имеют конституцию, финны уже семьдесят лет пользуются благами представительного правления, имея свой сейм, дарованный еще императором Александром Павловичем. И только мы, коренные русские...

— Но почему же эти лица, высокопоставленные...

— В этом и есть парадокс момента. «Почему же?» Да потому, что роковое разъединение! Умные люди наверху и трезвые люди внизу разобщены. Я и говорю, что сейчас главная задача: понимание. Выбить револьверы из рук фапантиков и вырвать веревки из рук правительственных палачей, господ Фроловых в генеральских эполетах. Такие честные и умные люди, как вы, господин Гольденберг, осознавшие свои заблуждения...

— Я вам этого не говорил! — крикнул Гришка.

— Ваши заблуждения состояли в том, что вы, так же как и я, стремились приостановить кровопролитие, но применяли для этого средства, открывшие еще большую кровь. Сейчас медлить нельзя! Россия гибнет, истекает кровью, лучшей, молодой кровью, силы уходят, надежды гаснут. Если не предпринять каких-то решительных мер... Имейте в виду, господин Гольденберг, у нас с вами разговор приватный. О нем знают лишь несколько лиц, имена которых называть преждевременно... Если вы станете пересказывать наш разговор некоторым другим лицам, вы принесете большой вред. Но я буду все отрицать, вы ничего не выгадаете. Так что я не советую болтать. Но советую хорошо подумать, все обсудить, взвесить, посмотреть с исторической высоты, ибо, может быть, именно вы — да, да, вы, господин Гольденберг, — сумеете оказать России неоценимую услугу. Вы спасете целое поколение, и, я бы присовокупил, благороднейшее поколение, русских людей.

— Интересно, каким же образом?

— Было сказано выше: необходимость понимания. Необходимость спокойной и полной ясности. Для того чтобы возникло доверие и возможность действовать сообща. В этом никто, как вы, — не будем скромничать, господин Гольденберг, — помочь России не сможет.

Потом были почти бреды. Гришке представлялись ошеломительные картины. Он является, как мессия, как Иисус, сошедший с небес, он обращается к правительству и к революционерам, какое-то гигантское судилище, там судят всех: царей, министров, жандармов, террористов, сторонников мирной пропаганды, раввина Мишуриса, учителя латыни из Киево-Подольской классической гимназии, который так больно рвал Гришку за ухо, приговаривая «рго memoга¹», конвойных солдат в архангельской ссылке, однажды жестоко Гришку избивших, и кончается все величавым хорovým пением, все поют со слезами в глазах. Гришка просыпался, сердце колотилось, он садился на койке, охваченный какой-то шумящей, истонной энергией. В секунды пробуждения с особенной отчетливостью понимал: да, да, его жребий, его судьба, он может спасти тысяч людей, остановить кровавый разгул, дать благо всем, всем. Но никто не должен догадываться о разговорах с Добржинским. Боялся, что надзиратели заметят его волнение. Снова ложился, накрывался, сна не было, шум в ушах, в мыслях не утихал, хотелось двигаться, бегать, выпить водки, все равно какой, хотя бы английской желудочной, держать речь...

Через три дня Гришка признался, что убил Кропоткина.

Декабрь для Андрея оказался месяцем небывалого напряжения. Петербургская подпольная жизнь не шла ни в какое сравнение ни с одесской, ни с харьковской или киевской. Множество людей, квартир, громадные планы, бесчисленное переплетение связей, предприятий, возможностей. В августе Андрей едва хлебнул петербургского житья-бытья, но тогда все только еще разворачивалось, еще шла свара и дележка, народовольцы и чернопеределцы поспешно отъединялись, а теперь одни уже действовали вовсю, а другие, по слухам, собирали чемоданы для бегства в Европу. С утра до вечера Андрей носился по городу, окованному зимой, то скользкому, то сырому, то утопающему в морозном тумане: встречи с людьми в трактирах, библиотеках, на улицах, рабочие окраины, Кропштадт, мастерская Кибальчича, где готовился динамит, типография, редакция, встречи в условном месте с

¹ На память (лат.).

человеком, который под видом столяра проник в Зимний дворец и готовил там большое дело. Это был простой рабочий человек, замечательного бесстрашия, ума и притягательной силы: Степан Халтурин. Год назад Халтурин вместе с Обнорским организовал «Северный союз русских рабочих», более двух сотен человек входило в Союз, авторитет возрастал, выпускались прокламации, устраивались стачки, мощная стачка прогремела на Новой бумагопрядильне. Но в конце лета возникла возможность попасть во дворец под видом столяра. Халтурин советовался с Аней Якимовой. Он не принадлежал к народолюбцам, держался независимо — оберегая несколько ревниво свою рабочую особость и самостоятельность, и весь Северный союз был проникнут этим настроением, принимали туда только рабочих, — но тут открывалась блестящая террористическая перспектива, и он решил посоветоваться со знатоками.

Из людей, причастных к народолюбческому Комитету, был знаком хорошо с землячкой, витской, Аней Якимовой. Та с кем-то его свела. Сказали: «Что ж, давай, давай. Заодно и царя прикончишь...» Так все это начиналось, не очень-то всерьез. В сентябре Халтурин с паспортом Батышкова поступил в столярную службу, в Зимний, поселился в подвале. Связь с ним поддерживал Квятковский. Дело было сугубо тайное, такой же степени тайности, как и служба Клеточникова в Третьем отделении. Но если Клеточников с первых же дней непрерывно, вот уже почти год, снабжал Комитет беспримерными по ценности сведениями, то работа Халтурина не давала никаких плодов, удачный исход ее казался фантастикой. Андрей помнил, как Баска однажды намекала в Александровске, что есть какой-то человек, который намерен проникнуть во дворец в качестве рабочего, человек смелый, решительный, но как-то не верилось в успех: дворец казался местом, где кишмя кишат жандармы. Кроме того, тогда, осенью, мало думали — если не сказать вовсе не думали — об этом предприятии, все старания были направлены на Александровск и на Москву. Если бы там удалось, дело во дворце само собой бы отпало. Но там не удалось, Квятковского арестовали, и невероятное, совершавшееся в глубочайшем секрете халтуринское дело — неизвестное почти никому — стало вдруг главной надеждой партии.

Андрею было любопытно познакомиться с Халтуриным. Много успел послушаться о нем от Дворника, от

Баски, от Андрея Преснякова: говорили, что очень начитан, упорный самоучка, хорошо знает социалистских писателей, французскую революцию и спорить с ним по этим делам трудновато. Как многие рабочие, совсем равнодушен к мужику, к общине, не понимает крестьянской сути русской революции и всей будущей русской государственности. Склоняется к западу, к немецким социалистам: там идеал. Но, кажется, разгром Союза в нынешнем году, аресты почти всех товарищей сильно этот идеал подорвали. Как будто понял, что стачками да кружками на немецкий манер эту громаду не свалишь. Вот ведь история! И крестьянские народолюбцы и пролетарьятки, разуверившись и отчаявшись в своих путях, пришли с разных сторон к одному: к террору.

Познакомил их Дворник, на квартире. Халтурин был высок ростом, с небольшой бородой, усами, мрачноватый взгляд, скупая, с вятским окапьем речь: казался старше своих двадцати трех. По виду он был обыкновенный петербургский мастеровой, даже, пожалуй, мастер, благополучный и хорошо зарабатывающий. На нем были высокие сапоги, длинное черное пальто и нескладная меховая шапка, тоже черная, которую он, войдя в квартиру, снял и зачем-то надел на левый кулак и, разговаривая, все время на кулаке покручивал. Вообще, в повадках была какая-то спокойная развязность.

Сразу стал расспрашивать об аресте Квятковского. Видно было, что огорчен очень, именно не взволнован, не напуган — огорчен. Между тем мог бы напугаться: у Александра Первого на руках остался план Зимнего, листок с рисунком, который сделал Степан и дал Квятковскому незадолго перед его арестом. На рисунке столовая, которую намечалось взорвать, была отмечена крестом. Надеялись, что Александр успел рисунок уничтожить, но ведь — кто знает? Пока что ничего в точности не известно. Степан продолжал спокойно жить в дворцовом подвале, спать на подушке с динамитом, а полиция, может быть, уже витала рядом и в любую секунду готовилась схватить.

Андрей не мог сдерживать улыбки: с таким удовольствием смотрел на поразительного человека.

— Вот — Борис, — сказал Дворник. — Будешь теперь с ним. Место встреч назначайте новое.

Халтурин кивнул, поглядел на Андрея сурово-пристально, сощурился глазами.

— Вы, кажется, из студентов?

— Был студентом. Да ведь и вы где-то учились? Мне Баска рассказывала.

— Учился... — Халтурин усмехнулся, добавил пехотя: — В Вятском техническом. Это все пустота. Не пужное никому. Главное мое учебе не там было.

— Понятно, — сказал Андрей. — Оно у всех так.

Дворник быстро попрощался, сбежал. Как всегда, восемнадцать или двадцать пять дел на день. Андрей и Степан остались в комнате одни, темным полднем, пили чай, разговаривали вполголоса — о сверхтайном. Степан сказал, что перетаскал во дворец уже примерно два с половиной пуда динамита, но этого мало. Толща там громадная, пужно не меньше восьми пудов, чтоб уж паверняка. Стража теперь его признала, пропускает без осмотра. Вообще, перяшество и бестолочь во дворце страшные. Это, конечно, вам на руку, но все ж таки удивляешься вчуже: до чего безмозглый народ поставлен руководить! Среди дворцовой челяди — кражи, пьянки, безалаберщина, жандармы и управляющие, назначенные следить за работниками, только и делают, что воруют по мелочам да девок тискают. С жандармом, который наблюдает за работой столяров и живет там же, Степан свел хорошее знакомство и даже уверил дурака, что намерен взять за себя его дочь. Андрей слушал с восхищением. Дело представлялось все более реальным. Но кроме бумажки с планом, могущей попасть в руки полиции, волновало другое: не проговорится ли случайно кто-либо из рабочих, членов Союза, кто слышал о предложении поступить на работу во дворец? Ведь предложение было вначале сделано не Степану, а кому-то другому. Обсуждалось среди рабочих. Верные ли люди?

— Рабочий человек вернее всякого, — сказал Степан. — Если бы кто проболтался, я бы до декабря не дотянул. Да нет, об том не думайте!

— Значит, все-таки кто-то знает?

— Никто не знает ничего! — почти грубо отмахнулся Степан. — Ты запомни, милый друг: среди рабочих изменений всегда меньше, чем среди интеллигенции. Там косточки хрупкие, легко ломаются, а у нас кость тугая, гнется, да не хрустит.

Эти разговоры были знакомы, слышал такое же от одесских ребят, от Васьки Меркулова, от Макара Тетерки, да и от Ванички, и у самого таилась под сердцем на-

сторожешность к интеллигенции и дворянским сынкам, но в словах Степана почуялось и другое: недоверие ко всему прочему народу, который не рабочие. А ведь Россия пока что страна сырая, крестьянская. Значит, что ж: недоверие к России?

— А Шарашкип, Никонов, которых казнили за предательство — не рабочие? — спросил Андрей.

— Ну, мало ли кого назовешь! Да, может, и не рабочие, кто их ведает... — сердито отозвался Степан.

Знал отлично, что рабочие: Шарашкип, убитый Пресняковым, был мастером на Варшавской дороге, Никонов, убитый Ивичевичем в Ростове, тоже был истинный рабочий и истинный провокатор. Насчет убийства Никонова даже листовку выпустили спецальную, с печатью Исполнительного комитета. Андрею вспомнилась и другая история, рассказанная в Александровске Баской: о халтуринском приятеле и земляке Швецове, который жил со Степаном вместе и работал в одной столярной мастерской. Баска часто бывала в гостях у Халтурина, носила газеты, прокламации, а в августе передала заказ от только что организованной партии «Народная воля» — сделать ящик для шрифта. Степану отчего-то было не с руки, то ли некогда, он поручил заказ Швецову, а тот вздумал сделать дельце с Третьим отделением, подзаработать. Потребовал аванс, чуть ли не три или четыре тысячи рублей, а сам в виде аванса предал одну нелегальную, жившую с ним на квартире, ее тут же арестовали и выслали. Вся шведовская коммерция узналась на другой же день, от Клеточникова, так как сделка совершалась у Кириллова в присутствии Клеточникова. Баска рассказывала, как судили и рядили: что делать? Как ей себя вести со Швецовым? Обнаружить знание было нельзя, так как немедленно раскрылся бы Клеточников. Полиция очень рассчитывала на ящик: куда повезут? От ящика следовало под любым предлогом отделаться, но так, чтобы не вызвать подозрений. Этот подлец сколотил ящик очень быстро: Халтурин ли о чем не догадывался. Баска чуяла за собою непрестанную слезку. К счастью, ящик оказался из ярко-белых некрашеных досок и благодаря своей яркости — за версту видно! — благополучно отвергнут. Была длинная история — Андрей ее уже несколько позабыл — о том, как Швецов упорно приставал к Баске, зазывал ее на острова, в чайную, она отказывалась, наконец уговорились о встрече в Александровском сквере, где был

шведский пункт, она пришла под вуалью, туда же пришли шесть переодетых шпигов во главе с Кирилловым, и туда ж явились Дворник с Кибальчицем, чтобы поглядеть на Швецова. В общем, Баске удалось обмануть всех, зачутать шпигов — не только шпигов, даже Дворник с Кибальчицем потеряли ее из вида! — и исчезнуть. Баска очень гордилась тем, что Дворник спустя несколько дней сказал ей: «Сударыня, вы гениально обрубили концы. Моя школа. Интересно, куда ты делась после той табачной лавки, как выйти из Александровского сквера направо?» Баска много дней не показывалась на улицах, и Швецов, потеряв надежду встретить ее и боясь разысканий со стороны Третьего отделения, удрал на родину, в Вятскую губернию. Но там его, конечно, пашли, деньги отобрали и самого уехали куда-то. Он был настоящий предатель, за тридцать сребрешиков, но с каким-то мелким, местно-патриотическим изъяном, — Клеточников передавал по донесениям агентов швецовскую эпопею в подробностях — например, он обещал выдать всю революционную организацию поголовно за исключением двух земляков: Халтурина и Якимовой.

Якимова рассказывала об этом с гадливостью. Знал ли Степан? Андрей спросил:

— А твой бывший дружок Швецов — не рабочий?

— Нет! — быстро отвечал Халтурин. — Эта гнида так и не стал рабочим, хоть и терся тут... Как кулак истинный — за червонцы готов отца и мать...

— Тебя-то пожалел.

— Меня? Не знаю. Говорили, будто так. Только я-то не пожалею, рука не дрогнет...

И как довершение разговора, который клонился к приятному, к тому, что рабочие, дескать, не всегда бывают так прекрасны, как хотелось бы, Халтурин произнес задиристо:

— А нешто рабочие виноваты, что Союз развалился? Сам знаешь отчего. Только-только у нас дело наладится — хлоп! — интеллигенция опять кого-то шарахнула, и опять обыски, аресты. Поневолу задумаешь: как бы одним разом покончить. Тут другого конца не видно.

В тот день еще много разговаривали: о всероссийской рабочей организации, о которой Халтурин, теперь отчаянный террорист-одиночка, продолжал упрямо мечтать, и о Северном союзе, растрепанном и почти уже погибшем, об Интернационале, о Марксе, о легальных и нелегальных,

о том, что рабочий Союз должен строиться на легальности, тогда он может быть многолюдною силой, но легальные гибнут легко и быстро, ибо на дурном счету и полиция хватает их первыми. Потом Халтурин признался:

— А знаешь, Борис, отчего я решил на этот... как теперь ваши придумалы говорить? На пряник, что ли. Царя должен убить рабочий. То есть чисто народный человек. Понял почему? Потому, что царь народу изменил, а за измену — сам знаешь что. Пряник в глотку.

Потом встретились еще раза два. Андрей передавал Степану динамит в мешочках, тот подвешивал их на пояс, носил в штанах. Под рождество выделись последний раз. Степан был бледней и сумрачней обычного, по так же спокой, нетороплив. Сказал, что мучается головой: верно, от динамита, который в подушке, исходят нитроглицериновые испарения, и он за ночь падышитя, встает как чумной. Андрей спрашивал: не достаточно ли? Нет, говорил, пужко еще. Направлялся в Пассаж: покупать невесте, дочери жандарма, подарок к рождеству. Перламутровое ожерелье заказано, китайской выделки, достать нигде не возможно, потому что модная вещь, барышни нарасхват берут.

Удалился степенно, пропал в толпе. А толпа на улицах — клокотанье, бег, рождественская толкотня, в лавках и магазинах народу невпроворот, иные купцы на волю вытащились, кричат, расхваливают под мелким снежком, внезапная оттепель, сырость, пахнет рассыпанной хвоей, горячим конским запахом, пороховым дымом детских хлопушек и праздником, окончанием поста...

Решили отпраздновать Новый год на одной из спокойных квартир. Всех томила жажда какого-то, пусть краткого, веселья, согнать напряженность, освободиться на миг. Декабрь вышел тяжелый по всем статьям: и потому, что схвачены Квятковский, Ширяев и в один день с Ширяевым Сергей Мартыновский, хозяин «побесной канцелярии», со всем своим багажом, бланками, паспортами, печатями, и потому, что пришлось срочно съезжать со старых квартир, искать новые, а это всегда задача нелегкая, и еще потому, что декабрь оказался месяцем раздоров. Очень много и нешуточно спорили. Непримиимо столкнулись Тихомиров с Морозовым, и каждому из членов Комитета нужно было стать на чью-то сторону. В начале декабря Тигрыч сказал Андрею, чтобы тот зашел в Са-

перный и поговорил с Воробьем и с Ольгой в п у ш и т е л ь н о.

— А то там назревает истерика.— И усмехался по своему, подергивая краем губ.

В Саперном помещалась типография. Тайное тайных. Морозов и Ольга скрывались там, в безопаснейшем месте, после того, как квартира их рухнула. В эти дни готовился набор третьего номера «Народной воли» с программой, и вот как раз из-за программы разгорался сырбор. Морозов обвинял Тихомирова в том, что тот искажил программу, принятую на Липецком съезде, склоняется к якобинству и чуть ли не к печавещине. Андрей считал это вздором. Не о том надо сейчас печься, не сюда направлять пыл и жар. Какая сию минуту может быть программа, кроме единственной? Впдел бескровное лицо Халтурна, слышал его шепот побелевшими губами: «Еще рано... Не готово...»

— А ты с ними разговаривал?

— Я был там позавчера. Говорить невозможно.— Тигрыч махнул рукой.— Возбуждены, взвнчепы, переполнены раздражением. Я узурпатор, Наполсоп. Ольга кричала, что история мне этого не простит. Требуют срочного созыва Комитета...

— Ладно! — сказал Андрей.— Сегодня еду в Кропштадт, а завтра буду в Саперном.

Он уже привык к тому, что от него ждали помощи, обращались к нему как к судье и арбитру. Это получалось само собой. Почему-то считали, что именно он может поговорить в п у ш и т е л ь н о. И даже Тигрыч, этот желчевик, скрытно самодовольный и насмешливый, как-то легко и сразу склонился перед Андреевым авторитетом. Черт их знает, что на них действовало! Может быть, то, что он не умел хитрить, говорил то, что думал. А может быть, иное. Ведь и все не умели хитрить. Хитрецов среди них нет. Но вот что! Есть свойство, очень важное, он им гордится, решающее свойство для деятеля: умение вырвать из гущи, из пестроты нечто главное и одно. Сегодня, в середине декабря 1879 года, этим главным был столяр в подвале Зимнего. Как же не понимать такой простоты? Сейчас все программы, теории, да и будущее каждого из них, и всей партии, и всей громадной российской махны зависят от того, удастся ли этому человеку, который лежит ночами на суиудке, задыхается от запахов нитроглицерина... И ни о чем другом Андрей не мог думать.

Ночами не спал и пожирал мыслями, памятью, умом, всей силою воображения того, кто сейчас там, в подвале, на сундуке, тоже не спит и кашляет, кашляет.

В Крошштадте он затевал знакомства с морскими офицерами. Время для знакомств было прескверное. В Петербурге шли повальные обыски. Очумевшая после московского покушения полиция быстро догадалась, что взрыв на Курской дороге — «работа петербургская», и со всей яростью обрушилась на столицу. Хватали и обыскивали в театрах, на вокзалах, в меблированных комнатах: по случайному подозрению, по обрывкам фраз, по тому, что кто-то по рассеянности или близорукости не поклонился царской карете. Студентов обыскивали по землячествам: в первую неделю обшарили всех нижегородцев, затем вятчей, ярославцев. Было, как водится, много шуму, суматохи и дури. Дворник рассказывал про одного академика, лифлянца, шутника, который на вопрос пристава, нет ли у него взрывчатых веществ, отвечал «есть», вынул из кармана спички и стал зажигать их перед носом полицейского, сильно того перепугал. Кроме того, лифляндец, схватив какую-то бумажку, стал ее жевать и, отбиваясь от полицейских, угрожал проглотить. Силой отняли, оказалось — чепуха. На Гопчарной в том же доме, где схватили Степана Шпряева и где были дешевые номера, арестовали разом семьдесят барышень «с Невского» вместе с почивавшими у них отцами семейств, которых той же ночью развозили с городскими по домам, в целях удостоверения личности. Была потеха! Но в разгар такой потехи, столпотворения, слез и полицейского безумия легко было попасть в канкан и самому опытного и вовсе не причастному человеку.

В Саперном прихода Андрея ждали. Гости бывали тут редко: может быть, один-два человека в неделю. Хозяевами считались Бух и Иванова, они иногда выходили на улицу, прислуга тоже, остальные сидели в квартире безвылазно. Остальные — два типографщика и Воробей с Ольгой. Вид у всех был болезненно-серый. Особенно поразил Андрея один из типографщиков, Лубкин: необычайно худой, бледный, безусый, он был похож на юного монашка, говорил тонким женским голосом. Звали его почему-то Птичкой. На Андрея набросились с расспросами. Особенно волновала судьба арестованных. Что слышно нового? Нет ли предательства? Андрей сказал, что о предательстве речи нет, говорят о неосторожности, о несоблюде-

нии правил конспирации, по точных сведений ни у кого нет.

— Почему же дали себя арестовать? — спрашивала Соня Иванова. — Почему Александр не стрелял?

— Вероятно, не имел возможности.

— Торопился что-нибудь упычтожить, не было времени...

— Ведь знал, что ему грозит! — возбужденно говорила Иванова. — Я этого не понимаю. Нет, если придут за нами, мы не дадимся. Я первая буду стрелять!

— Думаю, он не хотел подвергать опасности Женю Фигнер, — сказал Морозов. — Если б ее не было рядом...

Молчавший все время Бух сказал:

— А меня беспокоит Мартыновский. Среди кучи бумаг, которые у него хранились, было что-то и нас касающееся. Но не могу вспомнить — что именно.

Бух был великий молчаливец, и если уж произнесил слово — звучало значительно. Все задумались, стали вспоминать. Никто ничего не мог вспомнить.

Соня Иванова с дерзкой и безнадежной отчаянностью махнула рукой.

— Ах, как говорит один наш автор: *vogue la galère!*¹ Будь что будет. Но я предупреждаю: я буду стрелять.

И она оглядела всех с какой-то мрачной торжественностью.

— Боже мой, Соня, о чем ты беспокоишься? Все будут стрелять, — сказал другой наборщик, Цукерман, пожимая плечами. — Почему бы нам не стрелять, если есть из чего?

Как Андрею хотелось сказать им, этим добровольным затворникам, каждую минуту ожидавшим нападения и гибели, о том, что нужно продержаться совсем немного, недели две, три, и произойдет величайшее событие, которое их освободит, взорвет их непосильную напряженность, их тюрьму! Но сказать невозможно. Единственное, чем он мог ободрить:

— Прошла неделя, и, слава богу, вы живы-здоровы. Будем надеяться...

— Неделя — не срок, — сказал Бух.

И он был прав. Коля Бух, сдержанный и бесстрастный, как герой Кунера, был среди типографчиков самым опытным: издавал еще первую нелегальную газету «На-

¹ Пльви, корабль! (франц.).

чало». Говорилл, что он фанатик своего дела. Без паборных касс, запаха краски для него жизни не существовало.

Был еще путь, и Андрей предложил:

— А переехать на другую квартиру?

— Легко сказать! — Иванова засмеялась. — Ты знаешь, что это для нас: переехать? Со всеми бебсхами? Кроме того, другой такой квартиры не найдешь во всем Питере. Ведь она совершенно уникальна. Мы можем тут жить годами, и никто не заметит.

Но Андрей и сам мысленно возразил: переезжать сейчас значило затормозить выпуск газеты. Вот уж чего нельзя делать. Нет, они будут жить дальше, рисковать дальше и ждать нападения и гибели. Бух ушел в другую комнату, типографщики тоже ушли к себе, в глубь квартиры, заниматься делами, Сося с прислугой, простоватой на вид, по какой-то первой, странно улыбавшейся девушкой, отправилась с корзиной в лавку — Андрей застал их на лестнице, они задержались, чтоб с ним поговорить, — и в гостиной остались Морозов с Ольгой Любатович и Андрей; Воробей и Ольга, кажется, с нетерпением ждали этой минуты.

— Я не хотел при всех, — начал Воробей вполголоса. — И вообще не хотел бы! Но нет другого выхода. Мы с Олей, как два члена Исполнительного комитета, требуем срочного собрания Комитета для обсуждения вопроса о программе. Лев пользуется нашим бессилием, тем, что мы здесь, на карантипе...

— А какая для него польза? — удивился Андрей.

— Польза в том, что он обегал всех членов Комитета со своим текстом, всех убедил, а у нас руки связаны! — Обычная Ольгина цыганская смуглота даже побледнела от гнева. — Чего же он хочет? Получить еще одно такое же письмо, как от Маши Крыловой? Он дождетя, я папшу.

— Не нужно никаких писем, нужно общее собрание. Откровенный разговор, — говорил Воробей, делая успокоительные жесты в сторону своей горячей подруги. Но сам то был спокоен ничуть не больше, руки его дрожали, худое лицо, блестящие глаза выражали крайнее волнение.

— Я очень хорошо помню письмо тети Маши, — говорила Ольга. — Оно меня тогда, летом, поразило. Как можно, думала я, в таком тоне писать товарищам? «Не хочу допускать той нравственной пытки, которой вы меня угождали... Слушайте, господа, посмотрите на ваши старания,

вам не удалось еще поселить во мне ни вражды, ни злобы к вам». Что-то в таком роде. И лучше, мол, не добивайтесь этого. Женщину довели до грапи, до катастрофы. Я не понимала. Но теперь вижу, как это делается.

— Ольга, успокойся! Нужно собрание, поговорить всем начистоту...

— А газета будет ждать? — спросил Андрей.

— Да, да! Газета будет ждать! — крикнула Ольга. — Потому что решаются слишком великие вопросы! Может быть — судьба России!

Письмо Крыловой Андрей читал в августе. Написано оно было раньше, в связи с расколом «Земли и воли», и по очень похожему поводу: Крылова была хозяйкою типографии и резко возражала против некоторых статей террористического направления, кстати, статей того же Морозова. Об этом Андрей и напомнил. Зачем ссылаться на Крылову, если она была недавней противницей? Тогда водораздел шел по линии террора, политических убийств, и дело пришло к полному размежеванию. Что же теперь? Камень преткновения: политический переворот, захват власти. Расширенный текст программы, предложенной Львом и самолично поставленный им для набора в третий номер, есть, как считает Морозов, уклонение в сторону якобинства. В программе, принятой на Липецком съезде, не говорилось о том, что партия ставит целью захват власти. Целью было — дезорганизацией и террором вынудить правительство предоставить народу самому выразить свою волю. «Народная воля» есть нечто иное, чем воля кучки заговорщиков, стремящихся захватить власть! Все морозовские статьи, написанные в последнее время, Лев под разными предлогами отвергает, гнет свою линию очень упорно. Тут наверняка влияние Марии Николаевны, она неисправимая якобинка, закваска Запчевского в ней сильна. Неверие в силы народа и даже скрытое презрение к народу — вот что это значит. Мария Николаевна однажды призналась, что не любит русских крестьян за их покорство и тупость. Да и сам великий теоретик Лев не очень-то верит в народ, а стало быть, и в революцию, о чем он как-то на квартире Марии Николаевны даже прямо сказал. Ольга тогда очень удивилась: «Зачем же вы работаете в революционном кругу?» Он сказал: «Потому что здесь мои старые товарищи». Для него главное — товарищи, кружок, кучка со своим кодексом жизни и

смерти. Неужели Борису не ясно, что надежды кучки на захват власти, во-первых — безправственны, во-вторых — эгоистичны и, в-третьих, что главное — неосуществимы? Если такова будет программа, тогда извольте изменить название: не «Народная воля», а какая-нибудь «Наша воля» или «Воля двухсот».

Воробей, говоря все это первое, быстро, хотя по-прежнему вполголоса, чтобы не привлекать внимание работающего в соседней комнате Буха, вертел в руках листки пробного набора передовой. Андрей знал эту передовую: ее сочинил Лев несколько дней назад и читал Андрею. О некоторых местах много спорили.

— Вот в этой статье, что у тебя в руках, — сказал Андрей, — есть места рискованные. Я сомневался: а пужно ли? Лев меня убедил. Дворник тоже. Там, где говорится о недостатке сочувствия. О том, что не только общество и народ остаются праздыми зрителями борьбы, но даже... — Он взял у Морозова листок, нашел нужные строчки и дочитал: — «...но даже сами социалисты часто склонны взваливать этот страшный поединок на плечи одного Исполнительного комитета». Так? И дальше там примеры: в кружке рабочих-социалистов затесался шпион, рабочие жаловались, им сказали: «Что ж вы его не отправите на тот свет?» — «Да мы уж доводили об этом до Исполнительного комитета!» Замечательно! Как будто нельзя без помощи Комитета расправиться со шпионом. Такой же случай был с кружком студентов. Также обращались в Комитет. И Лев пишет: «Не может русский человек без начальства».

— Я хорошо все это знаю, — сказал Морозов. — К чему ты цитируешь?

— Эту передовую он написал отлично, тут спора нет, — сказала Ольга.

— Нет, спор был: я полагал, что мы обнаруживаем перед всеми свои язвы, слабость движения. Но меня убедили в том, что полезней об этом сказать открыто. Равнодушие и пассивность радикалов! Что же говорить о народе? Вы были бы правы, если бы у нас в запасе было лет двести, триста. История движется слишком медленно, надо ее подталкивать. Захват власти есть подталкивание истории. Мы действуем от лица народа. И от лица народа ему же дадим конституцию и Земский собор.

— От лица народа! Нет ли тут самозванства?

— Нет, потому что мы от плоти народной. Мы — дети

крестьян, землемеров, священников, фельдфебелей, дети бывших рабов, вольноотпущенников...

— Ой, Борис, до чего же любишь красно говорить! — Ольга поморщилась: — Тебе бы проповедником, а не революционером.

— А революция — это проповедь.

— Ну, хорошо, мы требуем общего собрания! — сказал Воробей с тем выраженным капризным упрямством, которое сохранилось, видимо, с детских усадебных лет и временами вдруг у него проскакивало. Он даже шлепнул ладонью по столу. — И второе, друзья: подыскивайте нам квартиру. Жить здесь далее в качестве тусядцев, без дела и без пользы, невыносимо.

Квартиру и паспорта им вскоре нашли. Собрание состоялось, на сторону Воробья и Ольги стали немногие, в их числе Сося Перовская. Было поговорено много резкостей. Ольга считала, что причина их неудачи — сговор, организованный Тихомировым. В то время, как они сидели в Саперном в заточении, он обрабатывал членов Комитета, в особенности недавно принятых, не бывших на липецком съезде Алю Корбу, Грачевского, а также Наталью Николаевну Оловенникову, сестру Марии Николаевны. Некоторые мелкие исправления в программе все-таки были сделаны, но суть ее осталась прежней — той, какую отстаивали Тигрыч, Дворник, Андрей. Целью ставилось — политический переворот, отъем власти у правительства и передача ее учредительному собранию.

Подталкивайте историю! Подгоняйте, подгоняйте ее, старую клячу! Нельзя было терять время на долгие разговоры. Номер «Народной воли» обязан выйти в срок: это как появление адмиральского флага на броненосце, означающее готовность к бою.

А через неделю, две или, в крайнем случае, три...

Все, кто знали подробности, жили этим ожиданием, а те, кто не знали, неясно догадывались, что готовится нечто небывалое. И вот в таком состоянии смутного терпения и ожидания чего-то, когда раздоры и несогласия отошли назад, о них забыли на время, встречали несколько человек нового десятилетия. Никто не надеялся увидеть его конец, даже середину, даже один только год целиком. А ведь все были так молоды! И поэтому — на круглом столе посредине комнаты поставили большую суновую чашу, панолещную вином и ромом, с кусками сахара, ли-

мона и разными спедьями. Свечи были погашены, но когда зажгли ром, и возник одурающе-сладкий, спиртовой запах, и лица стоящих вокруг осветились багряным, дрожащим пламенем, Андрей вдруг почувствовал — он стоял вместе с Колодкевичем ближе всех к чаше, — что все эти лица, казавшиеся необыкновенно суровыми, все эти напряженные, направленные на плеча глаза объединяет нечто большее, чем любовь и ненависть, чем готовность умереть, чем даже идея, которыми они живут. Это большее, это громадное, спаявшее воедино несколько человек — среди беспечности России — было нельзя определить словами. Но Андрей чуял его кожей, как налетевший ветер, как нахлынувший внезапно ледяной жар, сердце его стучало, на глазах выступили слезы, кулаки сжимались, и, наверное, это же мгновенно и страстно передалось всем. Морозов вдруг выхватил из кармана кинжал и положил его на чашу, тут же Андрей положил свой кинжал накрест, кто-то еще, и Дворщик, и другие, и Андрей запел гайдамацкую: «Гей, подивуйтесь, добрые люди». И подхватили все: «Шо на Украине повстало!» Когда жженка была готова, разливали в стаканы, чокались, обжигались, и вот пробило двенадцать. Все стали обниматься, целовались, рядом с Андреем была Соня Перовская. Когда он обнимал ее, чувствовал, как она дрожит. Она была как девочка, совсем маленькая, прижималась к нему в тесноте, твердость ее исчезла. Губы были холодные. Между ними ничего еще не было, но он знал, что будет. И — скоро, потому что жизни оставалось мало.

Потом кто-то предложил спиритическое гаданье с блюдцем. Со смехом стали готовить бумагу, написали буквы, сели вокруг стола. Первым вызвали дух императора Николая и задали вопрос: какой смертью умрет его сын? Блюдце долго невнятно кружило, понять ничего нельзя, вдруг получился ответ: от отравы. Какая чепуха! Все были разочарованы. Ведь известно, что умрет от другого. Андрей вдруг сказал:

— Я предлагаю — за рабочего человека!

Те, кто знали, чокались и пили с особым воодушевлением, а те, кто не знали, тоже радостно поддерживали: да, да, за рабочего человека! За его удачу, конечно! За столбом не было ни одного рабочего человека, но все понимали, что в конце-то концов они ничего не смогут и ничего не значат без него. Кто-то завел «Марсельезу»,

потом еще кто-то запел вполголоса стихи, положенные на музыку:

Я видел рабскую Россию перед святыней алтаря.

Гремя цепями, склонивши выю, она молилась за царя...

Вышли в снеговую черноту. Какой-то человек, видимо здешний дворник, в тулупе, лежал поперек калитки. Андрей держал Сою за руку. Они шли быстрым шагом. Хрустела на морозе плотно утоптанная, твердая улица. Через час поднялись по железной лестнице на четвертый этаж, Сося открыла ключом дверь, вошли в продолговатую, холодную комнату. Не зажигая огня, стали раздеваться. Потом Сося нашла свечу, осветила кровать с клетчатым пледом, жестяную миску на столе, кувшин и нож на тарелке. Отчего-то пахло керосином. И в этой комнате была любовь, не имевшая ни прошлого, ни будущего, ни надежд, ни рассвета. Очищенная от всего, она упала, как снег, и ее судьба была судьбой снега: исчезнуть.

Прошла половина января. В условленном месте Андрей встречался со Степаном, эти встречи становились все более тяжкими. Степан вел невыносимую жизнь. Было ясно, что долго не выдержит. Иногда он даже не хотел ни о чем разговаривать с Андреем, кивнул, буркнул сквозь зубы «Ни черта...» и пройдет, не останавливаясь, как мимо чужого. Андрей шел следом, догонял где-нибудь в городе, в людном месте, пристраивался, терпеливо сносил мрачное и злое Степаново раздражение и кое-что узнавал. В январе порядки во дворце изменились, введены строгости, делают внезапные обыски, что-то ищут, выстукивают стены. Прямо объявили прислуге, что у арестованного социалиста найден план дворца с отметкой крестом на столовой. Что это значит, никто не понимал, но ничего хорошего, конечно, не могло значить. Поэтому — строгости, обыски. Придумали для дворцовых служащих и всех работников какие-то медные блянки, без них не впускают, не выпускают. Воруют крутом по-прежнему, и его, Степана, заставляют воровать, иначе — подозрительный человек. Так что: воруем помалу. Лачок воруем, кисти, инструментышко. (Степан постепенно разговаривался, раздражение и усталость спадали, он впервые веселел, рассказывал интересное.) Ведь он искусный полировщик, лучше его во дворце нету, как-то послали работать в царские покои, и вдруг — вошел Александр. Степан обмер от

неожиданности. Потом корпел себя за минуту растерянности: в руках был молоток, один удар и готово. И не нужны эти громоздкие и страшные предстоящими многими жертвами приготовления. Еще был эпизод, о котором Степан рассказывал с волнением. Вдруг ночью в подвал, где спали, с громом и звоном врываются жапдармы. Подъем! Запаляй свет! А у самих — фонари. Степан думал, что — копец, за ним. Оказалось: обыск. Но, как и все во дворце, обыск, к счастью, был дурацким, бестолковым. Поворошили сверху, постучали шашками и унеслись с тем же громом и звоном. Ух, папугали! Когда он улыбался, лицо становилось совсем юным, но улыбался Степан редко.

А иногда разговаривал с Андреем грубо, задиристо, с каким-то злобным нетерпением. Андрей едва сдерживался, чтоб не ответить такой же грубостью. Он не прощал никому. Но тут усилием воли смирив самолюбие, терпел. Потому что — разве сравнить? Этот парень жил в чудовищном напряжении. Вся его нервность была от этого и от болезни, которая обострялась, он кашлял сильнее. Споры возникали по одному поводу: мало динамита. Степан требовал больше, еще, еще, чтоб уж сделать за подлицо. Андрей считал, что достаточно, набралось около трех пудов, техники — Кибальчич, Исаев — полагали, что этого хватит.

— Лишний динамит — лишние жертвы, — говорил Андрей. — Этого нам не нужно. Партии нужен один царь.

— Один царь! Где я вам одного царя вылуплю? Скажут ересь! Поди попробуй! — Степан весь дрожал от нервности, чернел лицом. — Все равно будут жертвы. А вы как думаете? Будут, будут, человек пятьдесят, не месес, так и рассчитывайте. Ишь вы какие гладкие: одного царя!

Между подвалом и столовой был целый этаж, где помещалась кордегардия, жили солдаты расквартированной во дворце караульной роты. Кто-то из них непременно погибнет. Тут уж судьба распорядится: кто будет в тот миг нести службу, а кто отдыхать предсмертно в кордегардии. От мыслей об этих несчастных Андрей не мог отвязаться. Поэтому, не желая увеличения динамитного запаса, да и попросту сокращая риск — каждый день был величайшим риском, — Андрей торопил Степана. Динамит хранился теперь в сундуке, на котором Степан спал. Из-за сундука тоже была история. Столяры, печник и надзиратель удивлялись — зачем Степану нужна такая несуразная громадина, стоявшая порядочно денег. Степан объяснил:

хочет во дворце разбогатеть. И верно, он зарабатывал неплохо, а к рождеству получил даже сто рублей награды. Изображая из себя тупого, жадного деревенщину, деньги не тратил попусту, не пропивал, не прожирал, а покупал вещи, пабивал ими супдук, пряча под скарбом, на дне супдука, мшну с днпамитом. Андрей поражался печеловеческой выдержке: несмотря на все растущее напряжение, ежеминутный страх быть открытым, он продолжал упорствовать и копить днпамит. Как истинный мастер, хотел уж сделать, так сделать: з а п о д л и ц о.

Спорить с ним было совсем нельзя.

В одну из встреч сказал:

— Все, друг! Днпамита больше не будет. Нету его, не сделано.

— Как же так не сделано?

— Ну, не сделано, не готово, у нас ведь не фабрика. А люди не машины. Тебе за глаза хватит — взрывавай.

Степан, сощурив красные веки, смотрел недобро.

— Не машины? А я, видать, машина. — Он помолчал, обдумывая. — Взрывать недолго, только будет ли прок. А ежели нет — кто виноватый?

— Прок будет. Нельзя тянуть, искушать судьбу... Готовься взрывать, ясно? Дождешься, жандармы опять придут.

Напоминание о почпом обыске подействовало. Хватил тогда страху. Хмурясь, вздыхая с неудовольствием, наконец согласился: ладно, все готово, теперь будет ждать удобного дня и часа. Вот если бы еще хоть фуштов пять днпамитцу, тогда бы уж совсем з а п о д л и ц о. Андрей обещал в следующий раз принести пять фуштов, дьявол с ним. И — *vogue la galère!*

В середине января вышел третий номер «Народной воли»: тот самый, из-за которого ломались копыя. Утром Дворник прибежал на квартиру Андрея с пачкой номеров.

— Эта бомба пострашней иного покушения! — Дворник рассыпал по столу веером свежие, пахнущие краской, журналчики. — Все-таки молодцы Коля Бух с компанией. Гениально работают. Посмотрите, какая печать, какой набор! «Голос» не выходит с такой печатью, не говоря уж о «Ведомостях», хе-хе! А вы представляете, какие слова сегодня вечером будет говорить Александр Николаевич Александру Романовичу?

Да уж, Дрептелю достанется! Ярость там будет пелонисуемая: уже третий номер подлой газетки выходит не

где-то в заграничных дебрях, недоступных, а в самом Петербурге, и концов не сыскать.

У Андрея почевал Кибальчич. Все трое схватили номера, стали с наслаждением щупать, шуршать, шелестеть, читать, хотя читали почти все раньше. День начинался весело. За чаем опять затеялся разговор о программе. Вот она, напечатана: открыто, ясно. Весь мир читай. «По основным своим убеждениям мы — социалисты и народники. Мы убеждены, что только на социалистических началах человечество может воплотить в своей жизни свободу, равенство, братство, обеспечить общее материальное благосостояние и полное всестороннее развитие личности, а стало быть, и прогресс...» И дальше, после нескольких мощных, кратких абзацев, рисующих нынешнее положение страны, идут пункты программы. «Ее мы будем пропагандировать до переворота, ее мы будем рекомендовать во время избирательной агитации, ее мы будем защищать в учредительном собрании».

Отлично помнили, и все же Дворник читал вслух:

— Постоянное народное представительство... Широкое областное самоуправление... Самостоятельность мира! Вот что важно! Вот чему я очень рад, что это у нас впереди, третьим пунктом. Самостоятельность мира как экономической и административной единицы. Так! Принадлежность земли народу. Пункт пятый: система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фабрики. Шестое: полная свобода совести, слова, печати... Седьмой: всеобщее избирательное право. Ну что ж, по-моему, превосходная программа! А? Как?

Дворник смотрел смеющимися глазами. Андрей с Кибальчицем согласился. Все были счастливы, что наконец это обнародовано и люди прочитают и поймут: партионцы «Народной воли» не просто террористы, разрушители, но люди твердых идеалов, знающие, чего хотят. Лучшей программы общественного жизнеустройства до сей поры, до отметки 1880 года, человечество еще не выработало. Да, да, бесспорно! Здесь весь сок тысячелетней мысли, страданий человеческих, опыт коммунистов древности, социалистов всех времен, фурийеристов, мечтателей, несчастных коммунаров Парижа, русских расколоучителей и новейших знатоков прибавочной стоимости и производственных отношений: все заключено в семи пунктах.

В этом же номере было письмо Гропьяра-Михайловского — о необходимости ввести закон наподобие амери-

канского о принадлежности земли земледельцу. И два материала Льва: передовая и статья «Кошачий концерт», замечательно отстегавшая российских борзописцев, с эпиграфом из Вальяна: «Общество имеет только одно обязательство относительно государей — предавать их смерти». Все в этом номере дерзко, лихо, отчетливо! А Воробей подготовил только два раздела: хронику преследований и об агентах полиции, по сообщениям Клеточникова. С Воробьем надо как-то решать. Он нервничает по-прежнему и сказал Дворнику, что чувствует, что бесполезен в газете и пусть ему дадут другую работу.

Это было единственное, что удручало радостное утро: предстоящий разговор с Воробьем. Слишком их мало, чтобы трещины и разрывы не причиняли боль. Дворник условился о встрече в трактире на Лиговке в час дня.

Когда Андрей и Михайлов туда пришли, Воробей уже сидел в углу, отгороженном низкой деревянной оградкой и грязным куском парусины, что делало столик обособленным от остального зала. Низко нагнув лохматую голову, Воробей погрузился в газетный лист. Кажется, все трактирные газеты ворохом лежали на его столике. Дворник и Андрей начали наперебой расхваливать новый номер, Воробей слушал рассеянно, потом сказал:

— Вы говорите так, будто я автор и принимаю поздравления. Вы же знаете, что роль моя сведена к минимуму: хроника преследований и тетради Николая Васильевича, которые я получаю от тебя, Саша. Холодовский, Михаил Ефимович, лет тридцати восьми, роста среднего, лицо красноватое, нос неправильной формы, усы, заметны следы нетрезвой жизни. Жена его, слушательница акушерских курсов, молодая женщина, тоже шпионка... Да боже мой, с такой литературой справится первый встречный!

— Ты написал отличную хронику, — сказал Андрей. — Не приедайся уж так.

Воробей поглядел на Андрея внимательно и, как показалось Андрею, насмешливо.

— Спасибо, Андрюша. Премного тебе благодарен. Но дело-то в том, что в трех номерах я сумел напечатать только одну по-настоящему серьезную статью: «По поводу казней», во втором номере. Остальное забраковано. Да, возникли разногласия, и серьезные. Что же мне делать? Хорошо, я уйду из редакции и отправлюсь с Ольгой, ну

хотя бы на юг. Работать среди молодежи вы мне разрешите?

— Нет, — сказал Дворник, помолчав. — Наверное, нет, Коля.

— Потому что ты ведь против программы, — сказал Андрей. — Против Земского собора. Что ж ты будешь говорить молодежи?

— Да, верно, верно... — Он кивал грустно. — Буду говорить то, что думаю. Что Земский собор — утопия, мечта, которая принесет вред, ибо отдаст власть другим работодателям, в других шляпах, с другими эполетами.

— А мы считаем, что собор выразит волю народа, — сказал Андрей. — Верим, что девять десятых его составят крестьяне, люди наших взглядов на землю.

— Наивность. Вам не останется иного выхода, кроме как декретировать ваши взгляды.

— Наше декретирование будет лишь оформлением бессознательного народного чувства.

— Декретирование — это великий риск. Централизация и декреты — вот где наша гибель.

— Не гибель, а единственная возможность победить.

— Ну, значит... — Воробей засмеялся и развел руками.

— Значит, ты не можешь, Коля, ехать на юг и работать там от имени партии.

Потом разговаривали о другом. Воробей был подавлен. Андрей жалел его, но иначе поступить было нельзя. Воробью подыскали наконец новую квартиру, и они с Ольгой собиравшись завтра переезжать. Вот об этом и разговаривали, и Дворник, как всегда, давал умнейшие советы.

А через три дня Дворник разбудил Андрея сообщением: типография провалилась! Он пошел в Саперный район утром и, как делал обычно, прежде чем войти в парадное, на миг остановился на другой стороне улицы и поглядел на окна квартиры четвертого этажа: есть ли знак безопасности. Окна выходили в узкую щель, в торец соседнего дома. Расположение квартиры всегда так радовало обитателей! Хоть и свету мало, зато никто не заглядывает, перед носом кирпичная стена. Не то что не было знака безопасности, не было самих окон: выломаны «с мясом», с рамой. На земле валялись осколки. Главный сор и стекло подмели дворники, но кое-что осталось. Видно, окна выбивались наспех, в последнюю предрестную минуту, что-то выбрасывали, и — предупредить. Все это Дворник сумел оценить в секунду и прошел дальше. В до-

ме наверняка была засада. Только к вечеру узнались подробности. Полиция пришла ночью, с парадного хода. Из квартиры стали стрелять. Пристав Миллер вызвал отряд жандармов из казарм на Кирочной, начали правильную осаду, длилось долго, стреляли с обеих сторон. Птичка, молоденький, похожий на тонкошеего мопашка, застрелился, остальных схватили. Кажется, храбрее всех вела себя и упорно отстреливалась Сося Иванова. Вот и конец. То, о чем старались не думать — произошло.

Андрей еще днем, как только узнал от Дворника, побежал на новую квартиру к Воробьям и передал новость. На обоих подействовало сокрушительно. Опять чудом спаслись! Ольга, обычно пескольво суховатая и резкая, не могла сдержкать слез.

— Господи, как жалко! И Колю, и Сою, и всех! А бедный Птичка... Такой молчаливый... И никто о нем толком ничего не узнал.

Реакция Соии Перовской была мгповешпой, в духе Перовской.

— Они в крепости? Надо продумать, нельзя ли попытаться спасти.

— Эти времена прошли, — сказал Андрей. — Когда-то пытались. Теперь — шип. Они научены. Но есть, правда, возможность, на которую я надеюсь.

Да, в эту возможность верили. Громадный взрыв, все-российское ошеломление, хаос, переворот. Тут могло быть спасение всех, кто сейчас в крепости. Но Сося сказала вдруг одну вещь — когда они остались вдвоем, — поразившую Андрея:

— И только Сося Иванова, наш милый Ванька, испытывает сейчас какую-то страшную радость...

— Почему? — не понял Андрей.

— Без Саша Квятковского у нее не было жизни. И даже ребенок не радовал. Я знаю, я ее видела дважды после Сашинного ареста. Поэтому она шла на все, она отстреливалась, она готова была погибнуть...

— Но ведь с нею вместе погибло дело.

— Да. Но... Это очень глубоко женское, и ты, может быть, не поймешь...

— Пойму.

— Это даже не радость, а какая-то, наверно, бессозпательная тяга: соединиться с ним. Понимаешь? — Он обнял ее. — Под одну крышу. Пускай даже это крыша крепости.

И каждый день теперь значил не только приближение казнь тирана, но и — спасенье друзей. К концу месяца Степан набрал все-таки динамита почти девять пудов. Теперь уж и Кпбальчич, ученый взрывальщик, изучивший Зимний дворец по книгам и определивший нужный заряд математически, сказал: довольно. Андрей передал Степану шнур и трубку с особым, медленно горящим составом. На его горестье, как сказал Кпбальчич, должно уйти двадцать минут.

— Успеешь за двадцать минут уйти? — допытывался Андрей.

— Успею! Как раз рихтих, аккурат, как немцы говорят. — Степан был возбужден и даже весел в последние дни. Теперь уж и он стремился к концу. — Я по часам смотрел. До Адмиралтейской площади, вот до тебя, где стоишь, ровно шестнадцать минут.

С тридцатого января каждый день ждали взрыва. Нужно было совпадение двух условий: чтобы царь находился в столовой и чтобы в эту минуту в подвале не было людей. Царь приходил обедать около шести, иногда чуть раньше, чуть позже. Андрей обязан был ежедневно дежурить на площади с четверти седьмого и ждать Степана. Начались дни последнего напряжения. Нужные условия никак не совпадали. Андрей замучился ждать, а на Степана было тяжело смотреть. Веселость его давно пропала. Он подходил мрачный, бурчал: «Нельзя было» или «Никак не готово», и Андрей не решался спрашивать: почему? Так длилось неделю, до пятого февраля.

Это был темный, метельный день. Говорили, что на дорогах заносы. На некоторых улицах не ходила копка.

Ждали приезда принца Александра Гессен-Дармштадтского, брата императрицы, и его сына Александра Баттенберга, нынешнего князя Болгарии. На шесть был назначен обед: семейный, в Желтом зале запасной половины дворца. Поезд из-за снежных заносов опоздал и пришел лишь в три четверти шестого. Придворные ждали карету принца со стороны Салтыковского подъезда, все крайне нервничали, государь не терпел опозданий, и, кроме того, ощущалось, что он как бы заранее раздражен и утомлен предстоящей встречей. К шурину государь относился холодно. Внезапно пришло известие, что принц по чьей-то оплошности прибыл к другому подъезду. Заведующий дворцом генерал-майор Дельсаль побежал на другую поло-

виду, какие-то мелкие церемонии пужно было срочно менять, возникла пеловкость, мерещилось ледяное, с застывшей, увячтожительной улыбкой лицо царя. Александр в своих покоях ждал прихода князя Голицына с известием о прибытии высоких гостей и действительно — чуть сановников не обманывало их — испытывал раздражение. Давно забытые сентиментальности сорокалетней поры: когда-то была юность, мечты, поездка в Европу с Кавелиным и Жуковским, двор в Дармштадте и пятнадцатилетняя девочка, ошеломившая мгновенно, пасмерть, небывалой романтической любовью в душе Бюргера, и ее брат Алекс, долговязый охотник, стрелок, собиратель монет. Девочка стала русской императрицей Марией Александровной, а ее брат — сначала стал кавалергардом русской службы, потом генерал-майором, потом служил австрийцам, неудачно воевал с пруссаками и кончил тем, с чего начал: величайшей чепухой, собиранием монет. Жалкий человек прислал несколько лет назад описание своего «Мюнценкабинета», коллекции монет, изданное в трех томах в Граце. Этот захудалый немецкий род был случайно благодетельствован: просто колесница истории по прихоти судьбы прокатилась через Дармштадт, и были юность, весна, спектакли в шлоссе, казачий мундир, пятнадцатилетняя свежесть. Теперь бывшая девочка, родившая ему восемь детей, лежала в своей спальне в образе безнадежно большой и довольно уродливой старухи. Ее мучили припадки удушья. Жизнь ее, полная многих радостей и дивных императорских удовольствий, подошла к концу. И сегодня на семейном обеде, как ни горестно, императрицы не будет. Ее брат и племянник сделают непроницаемо-кислые, гессенские лица, когда им сообщат об отсутствии императрицы. Теперь он знал, что томил: ожидание этой гессенской княгини на физиономиях родственников. Слово некто виноват в болезни императрицы. Разумеется, все последние слухи о Кате, о том, что во дворце скрыты ее тайные покои, сегодня же вечером будут им переданы. Мой бог! Хоть немного понять и разделить те страдания, ту великую тяжесть, что он принял на себя как отец миллионов русских людей, им не дано, это выше их княйшадтского разумения, но зато они будут полны безмолвной и папыщенской укоризны.

Чем дольше задерживался приезд генерала от нумизматики, тем сильнее росло раздражение Александра. Сияющая цветами и вишнетками карточка обеденного меню

казалась глупой. Устрицы? Окстейль и эстрагон? Пирожки? Какая мерзость: пирожки! Пользуются его рассеянностью. Форель гатчинская. Шофруа из цыплят. Барашки. Бараний вкус Адлерберга. Мандариновый пунш. Пудинг Нессельроде. Меню всегда кажется глупым, когда к обеду опаздывают. Эту остроумную мысль он решил приберечь для застольной беседы: надо же как-то кольнуть эти толстые гессенские ляжки. И в ту минуту, когда он вдруг задумался о третьеводняшней записке Шувалова насчет борьбы с нигилизмом и о его предложении вызвать редакторов, в кабинете с шумной одышкой, слегка выпучивая глаза, появился Голицын и прокричал, как о светлом празднике:

— Его высочество принц Александр Гессенский прибыли со станций во дворец и ожидают ваше величество в малой фельдмаршальской зале!

Император направился навстречу гостю.

Спустя две минуты, когда дружная российско-немецкая familie¹ входила в столовую, взорвалась земля, померк свет, пронзил леденящий ужас, и император умер, но через секунду воскрес — в полной тьме, среди грома, криков людей и удушающей пыли. Император побежал по лестнице вверх, в комнаты княгини, полагая, что она погибла, но Катя, живая, бежала ему навстречу, крича: «Саша! Сашенька!», и они обнялись в темноте, как могли бы обняться в раю на другой миг после смерти.

Андрей расхаживал вдоль ограды Александровского сада, ожидая, как обычно, около двадцати минут седьмого появления со стороны дворца высокой фигуры Степана. Тот несколько запаздывал, и Андрея охватило волнение предчувствия. Вдруг увидел Степана. Тот шел своим обыкновенным, размашистым шагом, но без особой спешки, именно шел, а не бежал, — а Андрею казалось, что если произойдет, то Степан должен побежать, во всяком случае эти последние сотню шагов побежать, значит, опять, неудача, волнение спикло, — и, подойдя к Андрею вплотную, сказал очень спокойно: «Готово». Через полминуты раздался грохот взрыва. Они оба, уже направлявшиеся прочь от Дворцовой площади, остановились и оглянулись. Во дворце погас свет. Оттуда доносились крики. Какие-то люди бежали через площадь, которая вмиг ста-

¹ Семья (нем.).

ла темпой, как почью. Понять, что там и как произошло, было сейчас невозможно. Ждать рискованно. Андрей повел Степана к ожидавшему извозчику, своему человеку, и — помчались.

В квартире, на Большой Подьяческой, где было приготовлено убежище, Степан спросил:

— Оружие есть? Я живой не дамся!

Оружия было достаточно. Аня Якимова, землячка, хлопотала вокруг самовара, ставила на стол закуски, но Степан отмахивался:

— Чай не хочу! Только пил! Ничего не хочу!

Его спокойствие, так поразившее Андрея, исчезло. Теперь он не мог ни сидеть, ни лежать, и кружил, не останавливаясь, по комнате, рассказывал одно и то же: как протекали минуты перед взрывом. Как ему непременно нужно было помешать тому, чтоб зажгли лампу, а ои, черти, все поровнили зажечь. И тут еще печник, Аверьянов, зашел и спрашивает: «Чего вы впотьмах сидите?» Понять рассказ было трудно, и всех трясло дикое, пьяное возбуждение. И думали совсем о другом. Итак, этой медленной колымке дан могучий толчок! Не иначе, перевернется! Завтра утром Россия вспрянет ото сна: повый император? Новое правительство? А может быть — республика? Земский собор?

Андрею не терпелось побежать в город, на улицы, чтобы узнать: что же там рухнуло, под обломками?

Степан же все твердил про какого-то печника Аверьянова, столяра Богданова, как они сидели с пяти часов в подвале, пили чай, и никак их, чертей, не прогнать было на вечернюю работу, а другой столяр, Разумовский, такая гнида, все хотел зажечь лампу, а Степан на него кричал, чтоб не трогал, потому что керосину мало, а если фитиль поднять, то лопнет стекло, а сам следил за часами, время было половина шестого, они все не уходили. Ведь о них, чертях, заботился. Наконец, Богданов ушел, печник Аверьянов ушел, а Разумовский хотел достать из шкафчика петли и замок для шкатулки, которую он делал, Степан опять на него закричал, и зажег огарок свечи, а тотчас же потушил. Потому что, если б горела лампа, еще бы дураки набежали, и тогда уж конец. В шесть часов семейный обед, с немецким принцем. Наконец около шести ушел Разумовский, но тут пришел еще какой-то и спрашивал: дома ли Петроцкий? Петроцкий, надзиратель, дома как раз не был...

Андрей побежал на тайную квартиру, где мог быть Михайлов. В Петербурге все шло чередом. Метель прекратилась. Дворники сгребали снег, лавки торговали, в ресторанах играла музыка. Богатые кареты стояли перед театром.

Михайлов оказался на месте. Он знал о взрыве, но ничего — о результатах. В глубине комнаты, на диване сидел п куря в черной шерстяной фуфайке, в сапогах Андрей Пресняков. Он не виделся с Александровска.

Пресняков смотрел пристально своим недвижно-светлым, водянистым взглядом — не на Андрея, сквозь.

— Теперь я братишку устроить не смогу. Ты, Митрич, похлопочи, — сказал Пресняков.

— Непременно, — сказал Дворник. — Я записал.

— Ты через Грачевского. У него есть мастер знаковый, золотых дел...

— Не волнуйся! Устроим твоего братишку. — Кивнув на Преснякова, сказал Андрею: — Вчера казнил предателя Жаркова, Сашку саратовского. На певском льду. Так что будет теперь скрываться, как и Степан.

Это было идеей Дворника: одновременно со взрывом во дворце убить шпиона. Половина замысла удалась, шпион заколот. А что же с императором?

И только поздним вечером пришло известие от Кибальчича, который был связан с газетами: император и вся его семья живы. В нижнем этаже, в помещении кордегардии, погибло одиннадцать солдат и около пятидесяти ранено, в их числе несколько человек дворцовой прислуги.

Степана это известие сразило. Он на глазах помертвел, когда в полночь пришел Андрей и сказал. Силы оставили, повалился на пол и лежал, обхватив руками голову. Подняли, перенесли на кровать. Он стонал: «Ведь говорил же... Борису никогда не прощу...» Наутро Россия не воспрянула ото сна. Император остался прежний. В конке публика разговаривала о смягчении морозов, о засылке медиуме, о рысистых бегах на Неве, где первой пришла кобыла Венгерка графа Адлерберга. Но в глазах людей горело жуткое, тайное любопытство: хотелось скорее выскочить из конки и к кому-то бежать, передавать, узнавать, советоваться, изумляться, восхищаться. И бедный граф Адлерберг, кобыла которого пришла первой!

Глава шестая

Стали кругами расходиться слухи, разговоры, догадки и совершенно достоверные, из первых рук, известия. Например, о том, что все дворцы минированы и скоро начнут взлетать па воздух. Невский тоже минирован. Ждут сигнала не то из Варшавы, не то из Женева, и, как сигнал придет, сразу — бух! Многие из городских обывателей, у кого была возможность, потянулись из проклятой столицы в деревню. Говорили, что дороги из Питера перекрыты. На вокзалах обыскивают. Ищут какого-то мужика с громадной черной бородой, но она у него фальшивая, иногда ходит вовсе без бороды, в золотых очках и в цилиндре, так что поймать невозможно. Мужик этот, который, конечно, вовсе и не мужик, работал в царском дворце главным надзирателем, поставленный туда от Третьего отделения, по всех обманул, и тех и этих, мину нафугавил и был таков. Все эти и многие иные подробности Андрей слышал в трактирах, на Сепной, в Гостином дворе. Но притекали и более существенные сведения.

Граф Адлерберг, как передавал Тигрыч от некоторых своих знакомых, легальных журналистов, сильно подорвал кредит тем, что отказывал Гурко в обыске дворца полицейскими силами. Не хотел, чтобы открылись тайные покои княгини Долгорукой. А между тем найденное у Квятковского «кроки» Зимнего с подозрительными отметками не давало покоя. Гурко вызывал Дельсали, вызывал полицеймейстера Комарова, всем совал в нос загадочный рисунок, чуя солдатским чутьем, что тут скрыто мерзкое, по настоящей тревоги возбудить не смог. Обыск предельвала специальная дворцовая полиция, ротозеп, безответственная и наглая публика, и вот результат. Балкапский герой лишился губернаторства. Но главная монаршая ярость обрушилась па Третье отделение. Было ясно, что участь этого учреждения решена. По некоторым сведениям, просочившимся из дворца, император, подавленный и растерянный, мучимый припадками астмы, проводил почти непрерывные совещания с ближайшими сановниками, министрами и вызванными в столицу генерал-губернаторами из других городов. Харьковский губернатор граф Лорис-Меликов проявил, как говорят, наибольшее хладнокровие, и в то время, как прочие сановники, охваченные паникой, бормотали невразумительное, предложил программу: обеспечить единство распорядительной власти.

Создать учреждение с самыми широкими полномочиями и поставить во главе одного человека. Рассказывали, император восторженно, вышел вдруг из состояния мрачного оцепенения и, указывая на армянского графа, сказал: «Этим человеком будешь ты!» Так была создана Верховная распорядительная комиссия во главе с Лорис-Меликовым.

Странные дни! В партии царил уныние: гибель типографии, аресты лучших работников, неудача со взрывом. Но и во вражеском лагере было невесело. Если революционеры хозяйничают в царском дворце, как у себя дома, то — кто же хозяин в стране? Кто истинный император — Александр II или Исполнительный комитет?

Прошла неделя, другая, появились иностранные газеты с подробным описанием русских событий, с картинками паники и ужаса, охвативших петербургских вельмож, и сделалось очевидно, что унынию предаваться не следует. И Андрей сказал Степану, который все еще был тяжело удручен: неудача со взрывом дворца есть на самом-то деле величайшая и весь мир ошеломившая удача. Степану показали газеты. Он немного ободрился. На улицах слышались полные трепета разговоры о Комитете: в том смысле, что теперь, мол, для него нет ничего невозможного. И донесся из-за границы отклик Жоржа Плеханова, неуступчивого противника, в январе покинувшего Россию: «Остановить на себе зрачок мира — разве не значит уже победить?»

— Нет, не значит, далеко не значит, — говорил Андрей на заседании Комитета, пожалуй, единственный, не разделявший радости от того, что глава «Черного дела» склонил голову, изъявил восторг. — Потому что дело надобно довершить. А наш уважаемый Жорж в форме восторженного признания как бы призывает нас: остановитесь! Вы уже победили! Нет, господа, мы находимся лишь на пути к победе и останавливаться не должны.

А все же неисцелимая горечь: так долго, так кропотливо готовиться, превозмочь столько трудностей, проявить такую выдержку нечеловеческую...

Было решено начать подготовку к новому покушению на царя: в Одессе, куда царь заедет весной по дороге в Ливадию. В Одессу к Вере Фигнер направляли Саблина, пемного позже к ним должны присоединиться Софья Перовская и техник Исаев. Все меньше делался круг бойцов: одни гибли, другие уезжали. Незадолго перед взры-

вом уехали за границу Морозов и Ольга Любатович. Андрей их провожал. К Воробью он испытывал дружеские чувства, еще со времен Большого процесса. Поразило мужество, с каким этот юноша, на вид тщедушный, порвал со своей средой, богачами, аристократами. По-видимому, в характере была эта твердость: расставаться решительно. Что можно было сделать? Андрей уговаривал повременить, но — вяло, понимая безнадежность. Пойти им на уступки было нельзя, они же не соглашались на третьи роли. Воробей со смехом рассказывал, как Михайло предложил ему дело: вырезывать печати. Ничего себе «дело» для террориста! Интересно, кому пришла такая блестящая мысль? Андрей торопил: нужно было уехать до взрыва, а взрыв мог быть каждый день. Они успели.

В Кронштадте был дом, куда Андрея зазывали много раз в гости и, кажется, вполне искренне и хлебосольно: дом Сергея Дегаева, отставного артиллерийского офицера. С Дегаевым Андрей познакомился еще осенью через семью моряка Николая Суханова, а к Суханову он явился почти сразу по приезде из Александровска в Питер: сестра Суханова Ольга Евгеньевна Зотова была женою хорошего приятеля Андрея по Одессе и Крыму Коли Зотова. Так завертелось это знакомство, очень важное. Андрей еще в Одессе, год назад — всего год, а будто десять прошло, так переменилась жизнь, его жизнь! — понял, что без военных никуда не денешься, если думать о восстановлении всерьез. Без их опыта, дисциплины, оружия.

Тогда, в конце ноября, Николай Суханов еще не был таким готовым на все, убежденным революционером, каким стал теперь, к февралю. Тогда он был просто ожесточившийся, разочарованный в своей службе и в будущем человек. Он вернулся с Дальнего Востока, где служил офицером в сибирской флотилии. Служба длилась несколько лет. В последний год Суханов был назначен ревизором на одно из судов и сразу же столкнулся с чудовищным произволом и казнокрадством. В заграничном плаваньи командиры, старшие механики, а заодно и ревизоры привыкли наживать громадные состояния. С помощью ложных ведомостей и фальшивых справочных цен на уголь — при содействии консулов и подрядчиков, которые, разумеется, получали свой куш, — они легко загребали большие деньги. Суханов отказался подписывать фиктивную кви-

танцию. Командир корабля ему угрожал. Старшие механики обещали: камень на шею и за борт. Суханов упорствовал. Дело дошло до суда, на котором другие командиры, такие же прожоратели угля, стремились выгородить своего коллегу, но все же были вынуждены временно отстранить его от командования. Суханова же, придравшись к какой-то формальности, отставили от производства в следующий чпн.

Он приехал в Питер, переполненный гневом, уязвленный, и в таком состоянии — говорил о своей службе на востоке только с проклятьями! — познакомился с Андреем. Было нетрудно объяснить, что гниль и воровство, цветущие в сибирской флотилии, есть лишь маленькая деталь общей картины разложения. Те же воровство, продажность, та же слайка худших людей, убийство лучших царят повсюду: в армии, в министерствах, в судах, в земских учреждениях. Мичман Луцкий, сербский доброволец, рассказывал о порядках в «Освободительной армии»: интенданты занимались дневным грабежом, и никакие протесты не помогали. Ничего нового. Об этом говорила вся Россия. Но чем помочь? Как переделать все это, чтобы порядочные люди могли порядочно жить? Суханов в Сибири познакомился с политическими ссыльными. Да и в юности, в морском училище, принадлежал к «китоловниному обществу», имевшему туманные поползновения к революции или, во всяком случае, к переустройству мира на разумных началах.

Он был высок ростом, строен, белокур, с каким-то особым обаянием доброго, мягкого, но в чем-то непреклонного человека. И Андрей, кажется, понравился ему сразу. Это Андрея не удивляло. Он знал за собой: умел нравиться. Но — людям определенного склада. Зато были другие — и это тоже хорошо знал, — которые, ни о чем не догадываясь, сразу, на дух, не принимали его. Вокруг Суханова собирались, к нему тянулись.

Люди с обостренным чувством совести всегда группируются вокруг себя, невольно, по страшным законам человеческого тяготения.

— Что будем делать? — спрашивал кто-нибудь из гостей, приходя с мороза, озябший, в теплую квартиру, где всегда ярко горели свечи, кто-то играл на рояле, кто-то разливал морской шотландский напиток и пахло сигарами.

— Как что? Писать конституцию! — говорил Суханов.

И приносил бумагу и карандаш. Все смеялись. Это была шутка, ставшая, впрочем, навязчивой. На бумаге записывались робберы. В один из первых вечеров, между востом, напитками и молодым балагурством — среди гостей были две барышни, подруги Ольги Евгеньевны по консерватории, — разговор неожиданно затеялся всерьез. Моряки стали жаловаться на невзгоды офицерской жизни: притеснения командиров, оскорбительный тон, один стрелял в старшего по чину и попал на каторгу, другой, не выдержав, покончил самоубийством. Но главная беда: материальное положение. Даже необходимые расходы не покрываются жалованьем. Все четверо моряков, кто были в компании, оказались в долгах. А как иначе жить? Простой ремонт одежды требует ежегодно рублей сто пятьдесят, двести, взять их офицеру нелегко. «Странная страна Россия!» — думал Андрей, слушая эти признания. Барышни ввиду позднего часа ушли, кто-то поехал провожать. Поразительная страна! Треть бюджета тратится на войско, становой хребет, на войске все держится, вот на этих, вышколенных с детства служаках и если уж они не довольны... Кому же сладко в этой стране? Поэт был прав, мучаясь над загадкой. Понять еще немислимо. Царю, кажется, тоже не велика радость жить, когда взрывают на дому и взорвут — теперь уж ясно — непременно.

Моряки заговорили о революционных делах. Представления были весьма смутные, ничуть не яснее обыкновенных обывательских, но эти дела и таинственные фигуры их, как видно, интересовали. Сухапов, знакомя Андрея, намекнул на то, что Чернявский — так звался Андрей — имеет какое-то отношение к тем людям. Кто-то из офицеров спросил: «Чего же вообще эти господа хотят?» И Андрей прочитал тогда целую лекцию морякам, свою первую лекцию о сути социальных идей, о том, чего «эти господа хотят», его слушали со вниманием, но, как он заметил, без особого энтузиазма. Чего-то он не учел. Не нашел верного тона. Говорил о том, о чем привык говорить с рабочими, студентами: о необходимости сбросить «правительственный гнет и рабство». Но офицеры, несмотря на их недовольство, все же не чувствовали себя рабами. И еще другое. Сухапов сказал Андрею, когда они остались вдвоем: «Вы их соблазнили лучшими видами на их личную жизнь. Это не совсем то, что может воспылать. Поймите, мы все, дворянского отродья, несколько романтичны. И хотя мы жалуемся, и ворчим, и сидим в

долгах, но зажечь нас может одно: самопожертвование!»

Потом была другая сходка, на той же сухановской квартире. Андрей приехал с Колодкевичем. Суханов заранее пригласил гостей, объявив, что у него будут «очень хорошие люди». Пришло много моряков, человек пятнадцать. Теперь все произошло не так произвольно и как бы случайно, как в первый раз, а открыто, четко, по-военному. После нескольких минут общей пустой болтовни Суханов вдруг встал и, обращаясь ко всем, сказал:

— Господа, эта комната имеет две капитальные стены, две другие ведут в мою же квартиру. Мой вестовой — татарин, почти ни слова не понимает по-русски. А потому нескромных ушей нам бояться нечего, и мы можем приступить к делу. — И к Андрею: — Ну, Андрей, начинай!

За несколько недель они перешли на «ты», Суханов знал теперь настоящее имя Желябова. Но, как у всех военных, нелюбовь к конспирации была у него какая-то упорно-болезненная. Скрывать и мистифицировать не умел, не любил и, кажется, в глубине души считал делом непорядочным. По этому поводу уже были столкновения. И вот: звал то Борисом, то Андреем, а то Тарасом. Желябов поднялся и заговорил просто, как о деле самом обыкновенном и житейском.

— Ну что ж, господа, если вас интересует, как сказал Николай Евгеньевич, программа и деятельность нашей партии — извольте, я расскажу. Мы, террористы-революционеры, требуем следующего...

При словах «террористы-революционеры» в комнате наступило поистине могильное молчание и все уставились на Андрея с изумлением и, кажется, даже слегка оторопев. Он понял, что большинство моряков не ожидало таких категорических определений от «очень хороших людей». Один молоденький мичман сделал порывистое движение встать, но остался сидеть. Андрей валил все в открытую. Он испытывал тот особый, отчаянный подъем всех сил души, когда не задумываешься о последствиях, когда не разум и логика говорят за тебя, а — смелость и правда. О чем он говорил? О бедствиях России. И о том единственном пути, который был у русских людей, чтобы выжить и победить. Говорил о могуществе партии, поставившей для себя девизом волю народа. О ее громадных возможностях, связях в обществе, отделениях в других городах, друзьях за границей, о бесколебательной увереп-

ности в том, что очень скоро — невероятно скоро, даже не стоит говорить, как скоро, ибо могут не поверить, — все в России капитально переменится.

Наверно, было безумием говорить все это людям в вопиющей форме, в большинстве незнакомым, которые смотрели на него в ошеломлении. Но Андрей не мог остановиться. Его «заносило», как бывало в юности, на одесских студенческих сходках, кончавшихся потасовками. А если начнут возражать, он станет говорить еще резче! Он скажет им, что высшее рабство есть служение тому строю, который считаешь несправедливым, и что все они, посаженные мундиром русской службы, должны отвечать за прелесть самодержавия, за высылки, рудники, за Чернышевского, за поляков... Но моряки не возражали. Слушали молча. По лицам было видно, как что-то у них внутри, в глазах, непреодолимо меняется. Андрей чувствовал: в них переливаются его одушевление и азарт. Это были совсем не те люди, что час назад пустословили, сыпали анекдотами и спорили о вокальных и иных достоинствах мадам Рейналь. Андрей ощущал привычную и сладкую власть. Он знал, что если крикнуть сейчас: «В пожари!», или «Взломать цейхгауз, забрать оружие!», или же «Поднять якоря и ввести корабли в Неву!», они встанут, как один, и пойдут за ним в сей же миг. Но еще через час, два, когда кончится сходка — исчезнет угар, остынет кровь, померкнут глаза, и они вернутся назад — даже не к мадам Рейналь, а к своим долгам, невестам, к бедным матерям в захолустных деревеньках, и к страху потерять, лишиться, пропасть.

И только немногие из них как Коля Суханов, на щеках которого горят воспаленные пятна...

Нет, было несколько человек, кого Андрей зорким глазом заметил: Карабанович, живший на квартире Суханова, Завалишин, Серебряков, Юнг, молодой артиллерист Дегаев. На этих, кажется, можно рассчитывать. Когда начался общий разговор — о программе, — они с удивлением признавались, что не ожидали того, что революционеры требуют учредительного собрания и национализации земли. Полагали, как видно, что революционеры лишь разрушители. Милое дело! Нечто вроде разъяренных горилл.

— Если бы не пункт о терроре, — сказал один моряк, — я бы тотчас подписался под вашей программой.

И в тот вечер так думали, кажется, все.

Суханов был в восторге от речи Андрея, от впечатления, какое тот произвел на моряков, и в следующую встречу пообещал: набрать в Кронштадте, среди офицеров, триста человек в партию! Андрей его охладил. Если бы тридцать — было б великолепно. Многие ли из тех, что горячились в тот вечер и хотели подписаться под программой, искали с Сухановым встреч, ждали продолжения? Человека трп. Четвертый под вопросом. Так Андрей и думал. Уловление душ — дело медлительное. Слова, даже самые пылкие, действуют на короткое расстояние, как слабосильные старые мушкеты, нужны — потрясения, взрывы.

После взрыва во дворце Андрей поехал в Кронштадт с Соней, Котом-Мурлыкой и Асей Корба. Была середина февраля. Метели не утихали. Поезд шел медленно, останавливался, путейские работники разгребали снег. А в Одессе тепло, сухо, ходят без пальто, и Соня туда собиралась через несколько дней. Андрей и Кот-Мурлыка, недавние одессыты, вспоминали, шутили, давали советы. Колодкевич, черный, заросший густой бородой, с темноватыми, сверкающими глазами, рассказывал с акцентом смешные одесские истории и был похож на истинного еврея-корчемника. Смеялись, пастропение было веселое. сосед по вагону, чиповник в дорогой шубе, смотрел сурово: то ли не одобрял издевательства над акцентом, то ли решил, что едут действительно внородцы и ведут себя недопустимо развязно. А ехали в гости: к Сергею Дегаеву. Этот двадцатидвухлетний артиллерийский штабс-капитан, теперь в отставке, с осени горячо прилепился к Суханову и к его петербургским посетителям и, кажется, всерьез намеревался стать революционером. Андрей не был с ним вполне откровенен, Суханов располагал к откровенности больше, но мелкие дела Дегаеву поручались, и тот выполнял их всегда необыкновенно ретиво. Андрей велел ему закручивать связи с петербургскими артиллеристами и кружками студентов. Зимой Дегаев привез в Кронштадт из Харькова семью: мать, двух сестер, старшая из которых была замужем, и младшего брата. Ему очень хотелось познакомить домашних со своими новыми друзьями, перед которыми он, видимо, благоговел (однажды сказал Андрею, что если б увидел когда-нибудь Морозова, то непременно его расцеловал бы), и стал приглашать Андрея и других в гости. Было некстати, откладывалось, переносилось, Дегаев стал обижаться, а когда после взры-

ва в Зимнем Андрей встретил его на улице, Дегаев сухо и церемонно поклонился.

— Я вас поздравляю с мондиальным успехом! Разумеется, у вас нет времени посещать каких-то штабс-капитанов в отставке, которые пылают к вам бесполезным сочувствием.

Андрей что-то сказал в свое оправдание. Ему стало плохо. У Дегаева было какое-то мелкос, в ранних морщинах лицо, побелевшие губы сжаты в пучок.

— Если вы не желаете или вам некогда — скажите прямо. Иначе я должен расценить, что вы мой дом избегаете!

На слове «избегаете» было сделано ударение, и Андрей понял, что человек болезненно уязвлен. Зачем же отталкивать? Решили в первое свободное воскресенье поехать, тем более что у Андрея возникло дело к Суханову. Он полагал, что настало время побуждать моряков организоваться. Женщины с Колодкевичем пошли на квартиру Дегаева, Андрей сказал, что придет попозже.

Разговоры о революционной организации среди морских офицеров — не только для рассуждений, но и для дела — Андрей с Сухановым уже заводил. Тот соглашался, но все откладывал, говоря, что есть несколько пунктов, которые не всех устраивают. Централизация, строгая дисциплина — от нее устали на службе — и тайные убийства. Вообще — конспирация. Гораздо привлекательнее была бы открытая борьба, баррикады, восстание. Андрей узнавал свои сомнения полуторагодичной давности.

— Я преклоняюсь перед тем, что вы патворили во дворце, — шептал Суханов. Ольга Евгеньевна не слышала, разговаривая в соседней комнате с каким-то гостем. — Сам по себе акт изумительный. Но, во-первых, вы убили невинных людей. А, во-вторых, — Суханов страдальчески сморщил лицо, — согласись, что тайное приготовление убийства отдаст несколько Цезарем Борджиа...

— Позволь, ты говоришь о восстании, но каким образом ты надеешься его поднять?

— Этого я еще не знаю.

— А мы знаем. Если бы царь был взорван — была бы взорвана идея царской власти, данной богом, а в народе, к сожалению, нет ничего крепче и долговечнее этой идеи — и в результате возникшего хаоса могло начаться восстание.

Суханов молчал, обдумывая. Андрей знал: перемены в этом человеке будут происходить быстро. То же было и с ним. Из соседней комнаты вышли Ольга Евгеньевна с незнакомым Андрею моряком. Представили: барон Штромберг. Слышал о нем от Суханова. Худой, яспоглазый, с рыжеватой раздвоенной бородой, похожий на пастора, лейтенант только что прибыл с Дальнего Востока. Но успел уже кое-что прознать об Андрее.

Пожимая руку, сказал насмешливо:

— А у вас тут бог знает что! Какие-то взрывы, какие-то собрания недозволенные, споры о французской революции. Да вы с ума сошли? В то время как империя напрягает все силы для борьбы с исконными врагами, турками внутренними и внешними...— И неожиданно переменяет тон на серьезный: — Надо писать устав и программу кружка.

Суханов и Андрей расхохотались.

— Набрался от каторжан крамолы — ужас! — Суханов шутливо толкнул Штромберга плечом. — Нет, господа, раньше осени затеваться нечего. С марта начинаем готовиться к плаванию, затем поход на полгода, вернемся к октябрю, и тогда...

«Можете и опоздать», — подумал Андрей.

Осень казалась невероятной далью, дожить — задача. Штромберг рассказывал о сибирских делах, встречах с ссыльными поляками, интересно, но у Дегаева, наверно, нервничали, и там Соня, нужно было идти. Сестра Суханова, беременная, с большим лицом, идти не захотела, к тому же, как она сказала, «Сергей Петрович скучнейший господин, а с его дамами можно говорить только о шляпках». Суханов и Штромберг тоже остались дома. Настроение в этом доме — не только из-за тяжелой беременности Ольги Евгеньевны, но и из-за каких-то ее дурных предчувствий, страха за брата и полной неизвестности о судьбе мужа, который бедствовал где-то в Сибири, — было перадоистное. Они и Андрея отговаривали идти к Дегаевым.

— Далась вам эти гости. Что вы, чаю не видели? У них жидко заваривают, а мы дадим настоящего, английского, — шутила Ольга Евгеньевна. — Имейте в виду: мать Дегаева большая дура, хотя и гордится тем, что дочка писателя Полевого.

— Сергей человек неплохой, но суетный, — сказал Суханов. — Он меня утомляет.

Все так, но Дегаев сделал шаг: ушел молодым человеком в отставку, чтобы плотней заняться революционными делами. И его работа среди студентов и особенно среди петербургских артиллеристов была явно полезной. Но, правда, было что-то, — может быть, та самая суетность, какая-то нервическая, душевная неопределенность, которую Андрей чувал, — что мешало сойтись коротко. Было, конечно, загадкой: зачем так настойчиво зазывать? И обижаться, когда людям не до гостей? Но пужно было идти. Андрей собрался, Суханов вышел в коридор проводить.

— Когда ты будешь в следующий раз? Я позову людей.

— Вот что, Коля. Ты зовешь всех подряд. Эту манеру Запорожской Сечи надо оставить — иначе нарвемся. Мне уж и так от Колодкевича попало.

— Среди моих знакомых нет предателей! — покраснев, сказал Суханов. — И вообще, предательство не моряцкое дело. Я считаю: если хороший человек, пусть приходит и слушает. Не требовать же аттестата?

— Ты делишь людей на хороших и плохих, героев и предателей. Но между светом и тенью есть множество оттенков, верно же? Так вот, милый друг: мы гибнем от оттенков.

Было темно, девятый час вечера, аптека в доме, где жил Дегаев, с освещенной газом вывеской — ориентир — закрыта, фонарь не горел, и Андрей долго плутал переулками. Все здесь было гранитное, гулкое, мертвеиное, сырое. Вломился в какую-то ночлежку, где человек двадцать лежаки вповалку на полу, старик молился под лампадой и кто-то, когда Андрей открыл дверь, вскрикнул: «Ай! Стой!» Потом попал в мастерскую, где при свете керосиновых ламп работали дети, что-то резали на низких длинных столах, пахло квасцами. Накопец добрался до квартиры Дегаева и сразу увидел Сою: она выбежала раньше хозяев в коридор открыть.

— Почему так долго?

— Там приехал Штромберг, разговаривали...

У Сои, как всегда, когда она нервничала, под глазами белело: вдруг пятнами исчезал ее румянец.

— Сергей говорит, тут вечерами облавы. Третьего дня все гостиницы и ночлежные дома перерыли.

— Ну как? — спросил он шепотом, обнимая ее.

— Скука смертная... — успела шепнуть, по тут в коридоре появился Дегаев в праздничном клетчатом сюртуке,

в белой рубашке с пышным галстуком по последней моде, раскрасневшийся, в заметном подпитии.

Что-то напоминало давнее, одесское: у Андрея тяжело шевельнулось в груди. Мать Дегаева с видом напряженно-гостеприимной члпвницы, пироги, домашнее печенье, одна дегаевская сестра за фортепяно, другая, старшая, в экстравагантном платье — также видел в Одессе, у Олпных приятельниц — пела романс за романсом, с необыкновенным упорством, Золотая Рыбка, Ласточка, Шуберт. Потом она же читала пз Шиллера и Крылова. Аня Корба и Соня, как знатоки-театралки, делали деликатные замечания. Младшая сестра, очень похожая на брата, с таким же мелким, пезначительным лицом, маленькая, с короткими руками, в промежутках между пением п театром исполняла фортепянные пьесы. Андрей не мог сосредоточиться. Так же было и тогда, когда пела Оля. Но ведь у Олп голос! Мысли Андрея были заняты моряками. Плавание, пять месяцев, разбивает все планы. Но уйти в отставку, как Дегаев, нет смысла: надо быть па судах, среди матросов, потому что военные суда в день восстания могут оказаться решающей силой. Сейчас пужно привлекать офицеров. Землевольты, чернопередельцы тоже пытались пропкнуться во флотскую среду, но работали с нижними чинами, это их слабость, там можно пропагандировать двести лет и все на том же месте. Такие люди, как Суханов, Штромберг, стоят целого экипажа. Они подымут и поведут. Наконец, из общего разговора стало ясно, что старшая сестра Дегаева, тоже некрасивая, но какого-то другого типа, большепосая, с самоуверенными мацерами, задалась целью попасть на сцену. Переезд из Харькова в столицу был, кажется, проникнут этой мечтой. Нельзя ли как-то помочь? Ведь у вас, господа, такие громадные связи! Соня, улыбаясь озадаченно, пожимала плечами:

— Какые у нас особенные связи?

— Ну не говорите, не говорите! — Мать Дегаева, копфузясь и восторгаясь одновременно, махала па Соию рукой, шептала: — Мы знаем, какие! Но мы па это не претендуем, боже упаси...

— О чем вы?

— Мамап, вы наседаете па гостей непозволительно, — сказал Дегаев. — Никаких таишственных связей у наших друзей, разумеется, нет. Кое-что в газетах, в журналах это пустяки.

Намеки на Тыгрыча, который под псевдонимом Кольцова печатался в «Деле», и на Кибальчича, писавшего в «Слове». Было бы забавно, если б они взялись протектировать певце с большим носом. Мать тотчас сказала, что в литературном мире у нее самой достаточно связей — она как-никак дочь Николая Полевого, издателя «Московского телеграфа», и сестра Петра Полевого, профессора. Ее отца называли якобинцем. А дед, отец отца, был купцом, владел фаянсовым заводом в Иркутске, вышел из простого народа.

Слушая эти страшные разговоры, угощаясь закусками и печеньем, Андрей думал: время потрачено впустую. Но зачем звали? Мать Дегаева радовалась гостям, кажется, вполне искренно, умильная и какая-то искательная улыбка не сходила с ее грузного, аляповатого лица замордованной вдовством и бедностью старой дамы. Младший брат Дегаева сидел насупленный и молчал. Сам же Сергей Петрович непрерывно проявлял суетность: бросался развлекать, что-то рассказывал, прерывался внезапно, приставал с угощением. Но у Андрея было ощущение, что Дегаев хочет улучшить минуту и сказать важное. И верно, он такую минуту улучил и шепнул:

— Я очень рад, что выбрали время и зашли к нам. Мать страшно довольна. Давно не видел ее такой...

Когда в полной тьме вышли на улицу — ехать в Петербург поздно, решили идти почевать к Суханову, в большую квартиру, — Андрей сказал Соне:

— Появил наконец, зачем нас так настойчиво звали и так прекрасно кормили. Мы же знаменитость, генералы. И в этой семейке, где постоянно чем-то гордятся: отцом, дядей, «Московским телеграфом», вокализмами, теперь будут еще гордиться знаменитыми знакомствами — а? — Он засмеялся, довольный своей пропицательностью и чем-то еще, многим, а Соня сжимала в темноте его руку.

— А мне ваш Сергей Дегаев не правится, — вдруг произнесла Соня и прыснула, будто сказала какую-то неожиданныю глупость, самой стало смешно. — И даже не знаю, почему. Не обращайтесь внимания. У меня бывает: чую, как собака, а объяснить не могу.

В Петербурге готовились к празднику: двадцатипятилетию царствования Александра. Приготовления шли первю, суматошно, в сопровождении множества слухов,

страхов, надежд. Говорили, что к 19 февраля, дню юбилея, революционеры припасли градиозный сюрприз. Царь не решался выйти из дворца даже в Казанский собор. Говорили, что Лорис готовит какие-то замечательные реформы. Близка эра невиданной либерализации. Крестьянам будет отдана вся земля, отменят цензуру, закроют Третье отделение. И возможен даже созыв Земского собора! Однако передавали и другое. Лорис будто бы сказал Суворову: «Не толкуйте, пожалуйста, о свободе и конституции. Я не призван дать ничего подобного, и не ставьте меня в ложное положение». Слухи о готовящемся восстании ходили упорные, и дворники советовали жильцам запастись водой и свечам, ибо во время восстания будут взорваны водопроводы и газовые трубы.

Наконец обнаружались юбилейные блага: рабочие получили трехдневный праздник без вычета платы. По городу, иллюминированному флагами и огнями — обывателям предписывалось в каждое окно выставить две горящих свечи, — шатались толпы, слегка взбудораженные нашествиями, а возле дворца теснилось несколько тысяч народа, глазевшего на мундиры генералов, придворных, наряды дам, сверканье карет. За два дня до девятнадцатого Михайлов сказал Андрею, что возник человек, никому не известный, недавно приехал в Питер, который хочет испортить праздник: посягнуть на новоявленного диктатора. Не просит никакой помощи. Но, может быть, помощь дать? Собрались наскоро и решили: пусть действует а là Соловьев, на свой страх и риск. Были дни неясности, общество трепетало, смутно надеялось — куда Лорис повернет? — поэтому партии стоило выждать. Ведь назначение графа Лориса-Меликова, покорителя Карса, победителя ветлянской чумы, энергичного администратора и, по слухам, человека умеренных взглядов, скрытого либерала, означало в некотором смысле капитуляцию императора под натиском левых сил. Только что появилось обращение графа «К жителям столицы», вполне спокойное и с зарядом тайного либерализма — его вычитывали между строк, — где как будто главная надежда возлагалась на «поддержку общества». Все это уже было, было! И такие обращения, и такого рода возлаганья надежд. И, однако, неисправимые мечтатели о тихом прогрессе в салонах, гостиных, в редакционных комбатах и даже в присутственных местах жужжали о новых веяньях...

20 февраля, в два часа пополудни, молодой человек — как потом выяснилось, по имени Ипполит Млодецкий, мещанин города Слуцка, — встретил Лорис-Мелкова возле его особняка, когда граф выходил из экипажа, и выстрелил. У подъезда стояли два часовых, тут же находились верховые казаки, конвоировавшие экипаж, и поблизости торчал городской. Граф упал, но сразу вскочил, доблестно бросился на стрелявшего и повалил его. Казаки накинулись, схватили. Следствие закончилось в тот же вечер, а суд назначили на другой день. Все делалось энергично, по-деловому, в новом стиле. (Лорис сгоряча подумывал повесить мгновенно, без суда, как это приято на войне или, скажем, во время эпидемии чумы.) Петербург kloкотал от восторга перед графом (сам бросился, повалил!), от негодования против террористов и какого-то мистического страха перед ними: несть им числа!

На Большой Подьяческой спорили всю ночь: как следовало поступить? Дворник, полагавший раньше, что партия должна была поддержать Млодецкого или хотя бы доставить ему средства спасения, теперь говорил: «Вот и неудача, оттого что не помогли». Андрей же считал, что исход лучший, какой можно было ожидать. Убивать было преждевременно, Лорис еще не показал свои зубы, но это случится непременно. Каждая казнь должна созреть. Надо открыто, в какой-нибудь прокламации, объяснить, что партия не имеет отношения, и для властей это будет еще страшней.

На другой день, 21-го, в Петербурге говорили только о Млодецком и о суде над ним. Исход был ясен: смертная казнь. Стало известно, что Млодецкий во время следствия вел себя вызывающе, отказался отвечать на вопросы и приговор — виселицу — встретил равнодушно. Вечером пришел Тигрыч и рассказал, что в журналах повсюду возбуждение, придают предстоящей казни фатальный характер и гадают, как она отразится на политике Лориса и чем ответят революционеры.

— Я заметил, что господа лябералы очень бы хотели, чтоб мы ответили! — говорил Тигрыч, посмеиваясь.

— Ну да, они бы нам аплодировали в своих теплых клозетах, — сказал Андрей.

Отвечать решили словесно. На другой день, когда было уже объявлено о казни, Тигрыч опять принес известие, почерпнутое утром от каких-то газетчиков: писатель Гаршин, болгарский доброволец, явился чуть ли не на рас-

свете домой к Лорис-Меликову и умолял его простить и помиловать Млодецкого. Диктатор будто бы что-то пообещал Гаршину — чей поступок сам по себе смехотворен, если не безумен! Но, кажется, высочайшее утверждение приговора уже произошло. Андрей стоял в толпе народа на Знаменской, когда Млодецкого везли из крепости на Семеновский плац, через весь город. Одной минуты, пока провозили мимо и Андрей вглядывался в проваленное, улыбающееся несколько застыло и высокомерно лицо Млодецкого — лицо уже неживое, свечной белизны, — было достаточно, чтобы все понять и увидеть. Внезапно увидел себя в этой выпрямленной фигуре, в этих взглядах, бросаемых отрешенно и презрительно сверху вниз, на толпу. Публика стояла в угрюмом оцепенении. Праздник был нарушен. Это никому не нравилось. И вообще, было непонятно: в кого стреляют, зачем? Графа только что назначили, он еще никак не определился, и почему-то стреляют. Видно, что-то кому-то ведомо. Неспроста делают. Женщина, стоявшая рядом, крестилась незаметно и шептала: «Господи, спаси людей твоих...»

И еще один человек, писатель Федор Достоевский вдруг увидел себя — но не в будущем, скором или дальнем, а в прошлом, почти забытом, никогда не забываемом — в высокой фигуре Млодецкого этим же сырым февральским днем. Третьего дня, когда произошло покушение, но еще было о том неизвестно, явился в гости Суворин, и затеялся именно об этом, о покушениях, разговор. Ничего ведь не знали! Но ужас от дворцового взрыва еще не рассеялся. Недавно случился припадок, было то чувство освобождения, покоя и возвращения к жизни, слаще которого ничего не бывает. Может быть только мгновение перед припадком: оно еще слаще, еще прозвительней, но это уж совсем блаженство, которое Магомет называл райским. И как всегда после припадка было жарко, лицо заливало потом, и был вид человека только что из бани, с полка.

Люди изумляются, видя его в таком распаренном состоянии. Суворин тоже изумился, пришлось объяснить да, четверть часа назад. Аня была суха с ним — не любит, когда приходят, беспокоят сразу после припадка, — но, боже мой, как же не могут понять, что как раз в эти

минуты он здоровей, счастливей и яснее умом, чем самый здоровый человек!

Суворин был приятен, как всегда приятны люди живые, меняющиеся. Человек должен меняться, куда-то двигаться, превращаться во что-то иное. Впрочем, то же и с обществом. И вот тогда, третьего дня, еще до прихода Суворина, когда пабивал папирсы и обдумывал — почему все это продолжается, и пету конца? — возникла эта мысль. Дело в том, что общество уже не только равнодушно, но выработало какую-то особую, вывернутую паизнанку стыдливости в отношении террора, покушений и всей бесовщины. Ах, старое слово — бесовщина! Все стало гораздо запутанней и страшней. И не поймешь с палету, как казалось когда-то, девять лет назад.

— Представьте себе, Алексей Сергеевич, — стал рассказывать Суворину, — что мы с вами стоим у окон магазина Дацпаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

Суворин сказал: нет, не пошел бы. В том-то и дело. Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Вот пабивал папирсы и думал, перебирал причины, по которым нужно было это сделать: причины серьезные, важнейшие, государственной значимости и христианского долга. И другие причины, которые не позволяли бы это сделать. Эти прямо ничтожные. Просто — боязнь прослыть донощиком. Представлялось, как приду, как на меня посмотрят, станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат паграду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаянья. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых...

А вечером жена принесла эту новость: опять пападение террористов! Никто не убит, не ранен, но было по-

кушение убить, злоумышленник схвачен. Какая-то ужасная и непонятная тяжесть, когда сообщали: сегодня казнь, на Семеновской площади. Накануне читал в Коломенской женской гимназии, по просьбе Вейнберга. Отрывок из Карамазовых. Была такая радость, такое ликование души, понимающие лица, слезы, благодарность, не хотели отпустить, разговор о Христе, и где-то за всем этим неотступно: завтра отнимут жизнь. Там же, на той же площади. И не мог удержаться и, ничего не сказав, поехал, ибо тут была не только жажда памяти, но и необходимость увидеть, разделить и понять. Преступление и наказание есть поистине преступление и страдание. И еще истинней: страдание и страдание. Семеновский плац был так же уныл, безграничен, бел от снега, как тогда, в декабре, тридцать лет назад. Но снегу тогда было очень много, глубокого, и, когда велели выходить из карет, они выпрыгнули прямо в снег, на мороз, невероятный мороз, и все были в легком, веселом, как их забрали в апреле. Алым углем в тумане тлело солнце. И так, по глубокому снегу, проваливаясь, пошли к середине площади, где стояло что-то деревянно-квадратное, обтянутое черным трауром. Но тогда никто из них не мог предположить, что сейчас будет смерть, не соображали, были как во сне и шли, как во сне, вдоль длинного каре войск, сомкнутых вокруг эшафота. Вдруг увидели столбы на эшафоте, потом долгая расстановка, шапки долой, мороз давил сердце, убивающий мороз. невозможно дожидаться конца чтения, ноги подламывались, и вот слова: «всех смертной казни — расстрелянем». Было мертвое ошеломление, священник звал к исповеди, целовать крест, но никто не мог сделать ни шага...

Преступник был высок ростом, с матово-белым длинным узким лицом. Он кланялся на все стороны, прощаясь с народом. В его облике было какое-то печеловеческое спокойствие, и это было страшно. Страшней всего. Потому что чувалось: человек того и хотел, оттого спокоен. К этому страданию — чтобы вот кланяться так в предсмертную минуту, на площади, на глазах у молчаливой толпы — человек и стремился, и мучился своим скудным, темным разумом, и достиг. Из толпы крикнули что-то глумливое. Но зачем же годы труда, терзания духа, вся задача жизни (развитие анархизма), если человек находит в этом последний, высочайший покой? Алеша Карамазов пройдет монастырь и станет революционером. Нет, не в поисках

анархического или какого-то иного социального строя, а в поисках правды. В бегстве от того самого отрицателя — презирателя человечества, — который хлебы, башню Вавилонскую и рабскую совесть назовет счастьем. И Алешу непременно казнят. Будет так же стоять, блея лицом, и кланяться, и потом крикнет что-то толпе. Приговоренный крикнул, по из-за отдаления услышать было нельзя. Потом узналось, крикнул: «Я умираю за вас!» И было так больно, поразительно, потому что Алеша мог крикнуть именно эти слова.

Ее отъезд в Одессу был неминуем, уговоры не помогали, теперь он все ближе и ощутительней узнавал этот характер, не поддающийся чужой воле: делать себе самое большое! В Одессу отправлялись большие силы. Фигнер была там, готовила казнь Панютина, правителя губернаторской канцелярии, злобного чербера, на совести которого все одесские жестокости и расправы последних полутора лет. Вслед за Соней в Одессу должны были поехать Саблиц, Гриша Исаев и Якимова. И в самой Одессе были верные люди, на которых можно положиться: Лео Златопольский, Тригони, кое-кто из рабочих. Комитет решил казнь Панютина отложить, готовить покушение на царя. Весною, по дороге в Ливадию, Александр мог проехать — была такая вероятность — через Одессу.

Но зачем непременно — Соня? Ведь они расставались. Теперь каждая разлука могла быть навсегда. И уже было сказано между ними, не известное никому, потому что было слабостью и касалось только их двоих: постараться до конца быть вместе. Постараться! Но в первую же минуту, когда возник разговор об одесском покушении на царя (снять лавочку под видом жены и мужа, затеять торговлю и оттуда, из лавочки, подвести мину под улицу, которой Александр поедет от вокзала к паровой пристани), Соня сразу потребовала, чтоб в Одессу послали ее. И конечно, Комитет согласился, потому что с ролью простонародной бабенки, Сухоруковой, она справилась блестяще. Андрей мог бы быть отличным для нее напарником, — Соня, оправдываясь, говорила, что тотчас подумала о нем и лишь потом сообразила, что это невозможно, — но он не мог ехать в Одессу. Слишком хорошо его там знали. Итак, она назначалась главным ответственным лицом: Вера Фигнер и Баска придавались ей в помощь, Саблиц,

агент Комитета, назначался «мужем», а Гришка Исаев отвечал за техническую, динамитную часть. Вот и все. Должны были прощаться. Может быть, навсегда.

И он знал, что чем мучительней было для нее расставание с ним — тем окончательней ее решение расстаться. Все самое трудное, самое мучительное должно доставаться ей. Больно? Значит — туда, в эту боль! Она рассказывала, как ушла когда-то из дома, не желая мириться со своеволением отца, который требовал, чтобы Соня перестала дружить с какой-то подружкой, бедной девушкой. То был деспотизм в домашнем халате, убогий и отвратительный, который великолепно воспитывает сплу и творит судьбу, — так и вышло с Соней, она покинула дом и сотворила судьбу. Но расставаться с матерью было первую мукой жизни.

Остановить ее было нельзя.

Чем жил Петербург, те несколько партизцев, которые были Петербургом? Спорам вокруг новой секретной инструкции «Подготовительная работа партии», составленной еще в январе Тигрычем с помощью Андрея и Дворника, поисками квартиры для типографии, освобождением Гартмана, свиданиями с Клеточниковым, сколачиванием рабочих и студенческих кружков: повседневностью! Это могли делать все. Так считала Соня. Но она, копецко, обязана была заняться чем-то исключительным и роковым. Ведь она освобождала Мышкина и Войнаральского, она хозяйничала в доме Сухоруковых и теперь мчалась в Одессу, ибо действия рока перемешались туда. Ее волновала судьба бывшего «супруга» по сухоруковскому домику, Льва Гартмана, Алхимика. И это помного задерживало отъезд. Гартмана в начале февраля арестовала французская полиция, не без помощи тайных русских агентов и русских делег. Царское правительство добивалось его выдачи. Партия прилагала все силы, чтобы этому помешать: составлялись воззвания, сочинялись письма президенту и французскому народу, подпали в Европу нарочно. Лавров во главе депутации ходил к председателю палаты депутатов Гамбетте, Гюго выступил с открытым письмом: «Вы не выдадите этого человека!» Гартмана не выдали. Его освободили в конце месяца, и он уехал в Англию.

Был шум на всю Европу. Алхимик сделался всесветной знаменитостью, а партия могла торжествовать: она спасла товарища, она победила — «жалкая кучка заговор-

щиков, подпольные людишки» — в состязании с могущественной империей. За счет чего же? Это было загадочно. Стоило поломать голову. Две странные силы, небывалые прежде, возникли на европейской арене: одной силой обнаружило себя мировое общественное мнение, другой — русский терроризм, таинственный и всемогущий. Если взрывают дворцы в Петербурге, то где гарантия, что эти дьяволы не доберутся до Елисейского дворца в Париже? Поджигалочки-то небось дрогнули, когда выпрыгнуло из снежной дали и легло на стол письмо от «Народной воли»...

И Андрей теперь испытывал временами новое ощущение. На улице, в конке, толкаясь среди людей — по всегда один, без товарищей, — ловил себя на какой-то внезапной, горделивой, почти мальчишеской радости: «Ха-ха! А ведь сила громадная! Дрожайте, милые!» Так он бежал, возбужденный, в середине марта на тайную квартиру, куда должен был прийти Клеточников.

А поздним вечером к Андрею прибежит Соня протрещаться.

С Клеточниковым обычно вел дела Дворник, но сегодня Дворник занят. Андрей видел агента дважды, последний раз в январе. Агент был довольно спокоен, говорил тихим голосом, кашлял, вид болезненный. Андрея тогда поразило одно: ничего не записывал, все выкладывал по памяти. Как можно запоминать такие горы сведений? Даже высказал потом, когда Клеточников ушел, сомнения: неужели все так уж точно? Дворник сказал: все точно, это проверено.

Николай Васильевич ждал. И Андрей сразу увидел: агент сильно взволнован. Он даже как-то привскочил со стула, когда Андрей вошел. На столе стояли три чашки, из двух пили чай Николай Васильевич и Наталья Николаевна, третья пустая — приготовлена для Андрея. Но Наталья Николаевна тотчас взяла свою чашку и ушла в другую комнату. Хотя ее не так давно приняли в члены Комитета и она могла бы присутствовать при разговорах с агентом, но из деликатности всегда уходила. Иногда ее звали, иногда — нет. Клеточников был высшей тайной партии, доступ к которой имели два-три человека.

— Гольденберг выдает! — сказал Николай Васильевич. — Десятого марта Третье отделение получило телеграмму от полковника Першина, из Одессы: «Гольденберг решил сознаться во всех своих преступлениях, объ-

яснить организацию террористической фракции, указать всех известных ему членов ее» и так далее. По сему поводу среди наших рептилий огромное ликование.

О том, что Гришка выдает, доносились неясные слухи из Одессы и из Харькова. Но, по-видимому, выдачи были смутные, незначительные, полувыдачи. Телеграмма Першина была грозной. Гришка знал много. Что же произошло? Человек неуравновешенный, вздорный, с самомнением, но — предать? Указать всех известных ему членов? Может быть, смертельно запуган? Но ведь он не трус.

Телеграммы от Першина идут почти каждый день. Дает подробные показания. Значит, будут готовить обширный процесс и завернут туда Степана, Квятковского, Буха, Зунда, всех, кого успели схватить.

— Одну телеграмму, сегодняшнюю, я все же переписал, — сказал Николай Васильевич. — Вопреки своему правилу. Потому что тут объяснение. Вот, от того же Першина.

Он разгладил пальцем на столе свернутый в трубочку листок тонкой бумаги.

— «Не скрою от Вашего превосходительства, что меры, употребленные нами для убеждения Гольденберга к сознанию, не могут быть названы абсолютно нравственными. Но, истощив все другие средства, мы должны были прибегнуть к разным хитростям, при помощи которых у него сложилось убеждение, что дело террористов окончательно проиграно, и он, чтобы уменьшить число напрасных жертв, решил выдать всех, кого знает, отнюдь не щадя самого себя...» — Помолчав, Николай Васильевич заметил: — Миленькие хитрецы! — и читал дальше: — «Гольденберг дает нам свои показания под влиянием полной уверенности, что мы действуем в тех же видах, а вчера заявил, что если бы он хотя на минуту пожалел о своей откровенности, то на другой день мы не имели бы удовольствия с ним беседовать, намекая на самоубийство».

Следствие по Гришкиному делу вел Добржинский. А, Добржинский! Андрей помнил. Белокурый, вежливый, курил тонкие папироски, шурился, улыбался. Почему-то, узнав про Добржинского, Андрей пал духом: предчувствие говорило, что этот господин вывернет Гришку наизнанку.

И весь вечер, даже разговаривая о другом, Андрей отрывно думал о Гришке, о том, что Гришка знает и чего,

слава богу, может не знать — второго было гораздо меньше, чем первого. Практически он знал все, кроме взрыва в Зимнем. Убийство Кропоткина, покушение Соловьева, съезды, раскол на две партии, Александровск, Харьков, Москва, Одесса: везде торчал Гришка.

Николай Васильевич медленно диктовал по памяти, а Андрей записывал: Якубович Александр Филиппович, кандидат СПб. университета... В 1876 году скрылся из Петербурга, замотавши пятнадцать тысяч доверенных ему денег. Жил в Париже, путешествовал по Америке, находясь в близких отношениях к русскому посольству... Имеет большое знакомство среди столичного и провинциального общества... Борода и усы темные, выражение глаз испуганное, нос большой, греческий... Янов, Александр Иванович, роста среднего, губы толстые...

Как только появится типография, все эти сведения будут переданы гласности. Шпионов пужно убивать: физически, как Пресняков, или же вот так, гласностью. Вечером пришла Соня, и он рассказал про Гришку. Ах, как надо поехать сейчас в Одессу! Ведь никто, как он, не знает темных одесских пизов, подполья, контрабандистов. Можно бы пойти ходы в тюремный замок, через уголовников, и попытаться заткнуть Гришке рот. Когда его перетащат в Петербург — будет поздно.

Соня слушала подавленно. Все это — мечты, в Одессу Андрея не пустят. Ну хорошо, есть люди, которые кое-чем помогут. Он дал несколько имен, адресов и — письмо к Ваське Меркулову, рабочему.

— Самое страшное — не гибель... Что говорить, все погибнем, — сказала Соня. — А вот такое превращение. Из бабочки в гусеницу...

Она не могла отделаться от мыслей о Гришке.

Ведь Гришка, кажется, был в нее влюблен: мимолетно, вздорно, как все, что творилось в пределах Гришкиных чувств. Дворник рассказывал, как однажды застал Гришку в полупьяном бреду, лепечущим какие-то признания Соне, и грубо его приструнил. Соня очень смеялась. Она жалела Гришку. И прощала ему многое за безрассудную храбрость, но опасность зрела уже тогда, ибо храбрость без рассудка может быть злом.

Соня сказала — гримаса безразличия мелькнула на ее лице, — что Гришкой они заниматься не станут, потому что это помешает главному делу. И потом она сказала:

— Ты знаешь, кого я хочу увидеть в Одессе?

Он молчал, вдруг догадавшись.

— Нет, — сказал он, — не нужно их разыскивать.

— Но я хочу увидеть твоего сына!

— Не пужно.

— Только увидеть, и все. — Она глядела псподлбья, и он подумал, что с таким же непокорством она глядела на отца, когда тот что-то ей запрещал.

— Ну, как угодно, — сказал он. — Но мне об этом не рассказывай. Мне это неинтересно.

Глава седьмая

Вот откуда все покатилося: с того дня, 2 февраля, когда он призвался насчет Кропоткина. Разумеется, они знали превосходно, и теперь уже он догадывался, что сам вручил им это знание через Федьку, сам себя сгубил, но ведь он мог заператься, все отрицать и, однако, признаться и подписать. Ночью, в одну секунду, возникла ярчайшая мысль: да, признаться, подписать, по раскрыть на суде причины, для всего мира очевидные. Рассказать об избивении студентов Харьковского университета, о насилии над арестантами в Харьковской тюрьме. Мир содрогнется! И твердо заявил Добржинскому:

— Подпишу только в том случае, если дадут возможность обратиться с открытым призывом к русскому правительству.

— Что значит: с открытым призывом? — спросил Добржинский. — С каким именно?

— Призывом крайне простым. Прекратить братоубийственную войну, то есть террор — это первое. И дать конституцию — второе.

Добржинский как бы несколько смутился, поблелел, но затем подвинул лист бумаги и сказал:

— Пожалуйста, в конце вашего показания можете изложить. А мы передадим в Петербург.

Гришка так и сделал. Призыв к правительству удался па славу, не в тоне мольбы или увещавания, а в тоне резкого, благородного требования. Через три дня пришло известие о взрыве в Зимнем дворце. Добржинский был в ужасном волнении. Он кричал:

— Вы понимаете, господин Гольдсберг, как сейчас пужны России ваши знания, ваша помощь!

Известие о взрыве Гришку оглушило. Он тоже кричал:

— Я требую доказательств! Мне нужны гарантии! Ни один волос не должен упасть!

Были дни недоумения и сумбура. Полковник Першин и Добржинский выглядели растерянными дураками. Ждали перемен. Гришке разрешили покупать в лавке вино. Разрешили свидание с матерью. Старуха плакала, целовала руки жандармам, умоляла Гришку смириться, признаться, пожалеть отца, и ей позволили несколько дней жить в Гришкиной камере. Ни одной ночи старуха не спала. Возбужденный вином, Гришка ходил по камере — не ходил, а бегал, иногда кричал, размахивал руками — и произносил громовые речи. «Господа судьи! Позвольте в кратких словах обрисовать картину, от которой спирается дыхание и кровь стынет в жилах...» Мать, забившись в угол, смотрела на Гришку глазами, полными слез. Наконец Добржинский объявил:

— Ваше обращение, господин Гольденберг, передано лицам власти предержащим. Имею вам конфиденциально сообщить, что оно приято благоприятственно и с особым интересом. В Петербурге громадные перемены. Создана Верховная распорядительная комиссия, во главе граф Лорис-Меликов, известный своей умеренностью. Я же говорил, я предсказывал... — и тряс пальцем в радостном возбуждении, — что наверху не одно мракобесие, есть силы разумные. Теперь одна задача: им надо помочь! Потому что предстает титаническая борьба...

Итак, новая петербургская власть во главе с Лорис-Меликовым ждала от него, Гришки Гольденберга, помощи. Теперь это было очевидно. Почти о том же умоляли Гришку мать и несчастный отец, письмо которого мать привезла: шестеро детей и приемная дочь киевского купца оказались в ссылках и в тюрьмах, семья разгромлена, молодые жизни загублены, старики на пороге одинокой смерти. Ради чего столько страданий? «Россия великая страна, пускай о ней заботятся русские юноши», — говорила мать. «Судьба российской молодежи, а стало быть, судьба России сейчас в некотором смысле в ваших руках, господин Гольденберг!» — говорил Добржинский. Гришка попросил чернил и бумаги. Половину февраля и начало марта он беседовал с Добржинским, обсуждал, спорил, разъяснял — тот ничего не записывал, записывал сам Гришка, вечерами. 9 марта Гришка представил обширную рукопись, восемьдесят страниц, мелко написанных — рассказ обо всех делах, начиная с дела Засулич. Затем напи-

сал на семидесяти четырех страницах приложение: характеристику известных ему революционных деятелей, их взгляды, труды, заслуги, особенности характера и даже внешность, что помнил. А помнил он, как оказалось, очень много. Сам удивлялся. Вспомнил и описал сто сорок три человека! Да кто в России, кроме него, Гришки, мог бы похвалиться таким кругом знакомств в революционной среде? Всех этих людей нужно было спасти от неминуемых казней, от бессмысленного разрушения собственных жизней. Гришка писал о них, прекраснейших людях, любовно, восторженно. Желябова назвал «личностью необыкновенною и гениальною».

Добржинский сообщал, что работа Гришки высоко оценивается людьми, которые ведут титаническую борьбу, что Россия не забудет Гришке его заслуг и в скором времени он будет вызван в столицу для личного разговора. В начале апреля подтвердилось: требуют в Петербург! Спешно собрались. Добржинского требовали тоже. Единственное, что несколько озадачивало: отправляли Гришку, как вивесть какого важного и опаснейшего преступника, в кандалах, под конвоем одиннадцати человек. Гришка обратился к полковнику Першину: я, мол, удивлен, и нельзя ли снять кандалы, на что Першин с неожиданной, злобной усмешкой ответил:

— Что ж удивляться? Вы убийца и обязаны быть в кандалах. Удивляется, хорош гусь!

Слава богу, этот мерзавец и солдафон оставался в Одессе, а с Гришкою поехал Добржинский. Прокурор объяснил — усиленный конвой придаи в видах возможного нападения, отчаянные головы не дремлют, это естественно и не должно смущать. Ну, а кандалы — формальность. Не стоит обращать внимания. «И кроме того, — шептал Добржинский, — мы же с вами знаем, что не все разделяют наши взгляды. Все вытерпеть, все снести — ради великой цели...»

Гришка был согласен с умным человеком, готов был терпеть, но возникла тревога — а все ли поймут, как пужно? На душе было как-то пудно, в дороге не спал, мучился жаждой, страхами — ни нападений, ни смерти, ничего не боялся, а только того, что не поймут. И от этого страха отвязаться не мог. Четверо суток катили в Питер, тринадцатого апреля, в холодный, синий день — даром что весна — загревели по мостовой, запахло гарью по-петербургски, в щели мелькала солнечная пестрота, и

Гришка, задрожав, чуял запах трактиров, жаренья, немецких сигар, пива, всей этой навсегда отрезанной красоты, которой он дышал вместе с милыми товарищами еще год назад на этих улицах. Привезли в крепость, в Грубецкой бастион. Сняли кандалы, доставили собственные, отобранные при аресте вещи, арестантский халат заменили штатским платьем и — бумагу и перья.

Добржинский, с новым, холодным блеском в глазах, казенным тоном — будто стал здесь, в Питере, другим человеком, очень смешно, Гришка впутренне потешался над этой переменной бедного провинциала — объяснил, что времени пустой болтовни кончились, надо готовить формальные показания для суда.

— Который имеет быть когда? — поинтересовался Гришка.

— Это вам знать не нужно, — отрезал Добржинский.

Гришка, не сдержавшись, воскликнул:

— Я главная фигура суда, и мне знать не нужно? Да я требую, чтоб вы мне ясно сказали!

— Вы ничего требовать не можете, — тем же тоном ответил Добржинский.

У Гришки что-то двинулось и упало в глубине живота. Ах, в сущности, чепуха — разве важно, когда начнется суд? Нет смысла поднимать шум. Он прибыл сюда не для бесед с Добржинским — хватит, побеседовались, — а для переговоров с важным лицом. Может, даже с самим графом. Добржинский намекал. Стали разговаривать о том, как нужно записать, по правилам — годно для суда — сведения о людях. Добржинский диктовал, Гришка записывал. Работали долго. Камера была просторная, метров шесть в длину, метра три в ширину, изолированная — ни с одной из сторон, ни сверху, ни снизу не доносилось ни малейшего звука.

Когда кончили трудиться, Гришке померещилось, что Добржинский стал прежним, одесским: все может понять. И он строго погрозил прокурору пальцем.

— Но имейте в виду, господин Добржинский, если хоть один волос упадет с головы моих товарищей, я себе этого не прощу!

— Уж не знаю, как насчит волос, а то, что много голов слетит, — это верно. — И ушел, не прощаясь. Впрочем, всегда уходил так.

Гришка остолбенел от этих слов. Шутка, что ли? Дурацкая, неуместная. Он барабанил в дверь, звал, требо-

вал. Добржинский не возвращался. И только на другой день — а ночью-то каково! — прокурор явился, как ни в чем не бывало, ни сном ни духом, улыбающийся, и подтвердил, что сказанное давеча было шуткой. В среду состоится высокое посещение: его сиятельство граф Лорис-Меликов. Нужно продумать, как и что отвечать. Граф знаком с показаниями. В своей борьбе он, несомненно, будет опираться на них, но необходимы дополнительные сведения. Особо в связи с покушением Соловьева...

Граф был смуглый кавказец, с большими и пушистыми, черновато-седыми усами. Похож на кота. И разговор был кошачий, вкрадчивый, холодный. Запахнувшись в плащ, держась от Гришки в отдалении — разумеется, не от страха, а от брезгливости, — сидел не на стуле, а на краю железного котельного листа, вделанного в виде стола в стену, покачивал лакированным сапогом и, сверля Гришку неморгающим угольным взором, задавал вопросы. Гришка начал было о конституции.

— Граф! Убеждение государя в том, что без дарования конституция...

Лорис-Меликов прервал мягким движением руки.

— Сей материи мы коснемся в другой раз.

Гришке понравилось: голос, мягкое движение, и «в другой раз». Он согласился: «Как угодно, ваше сиятельство». Да есть ли хоть один политический арестант в России, к кому в камеру пришел бы запросто и сидел бы на столе, ногой качая, граф Лорис-Меликов? Не любопытства ради, а как истинный интересант. Гришка ему нужен, а не он, граф, — Гришке. И хотя гордость и ликование переполняли Гришку, он душил свою обычную скорострельную речь, заставлял себя говорить медленно, веско, сидел на железной кровати в небрежной позе, привалившись спяною к стене, ногу на ногу, и одной ногой в казенной, растоптанной туфле без шнурков и без задника, тоже покачивал.

Говорили о предстоящем суде, на котором Гришке надлежало выступить. Нет, не свидетелем, не дай бог, объяснителем, пророком, Моисеем, который выведет заблудший народ из пустыни горестной к обетованной земле — к миру, успокоению.

— Мы с вами не коренные российские граждане, — говорил граф, сверля глазом, — тем выше наша ответственность. Сделать все мыслимое ради покоя этой страны. Каждый на своем посту.

— Но я бы хотел... еще раз... подчеркнуть... — Гришкин голос слегка дрожал, паузы были внушительные, — мои товарищи должны быть в неприкосновенности... Это неперемennое условие.

— Вас не убедило то, что за три месяца никто из ваших товарищей-революционеров не пострадал?

— А казнь Розовского и Лозипского в Киеве?

Об этой казни, происшедшей в начале марта, Гришка слышал от надзирателя в Одессе.

Лорис-Меликов, улыбаясь в усы, — отчего его лицо стало еще более кошачьим, — сказал, разведя руками:

— Какие же это революционеры? Мальчишки, пемьшленные дураки. Они потерпели от своей глупости. Я повторяю! — Он возвысил голос. — За время деятельности Верховной распорядительной комиссии никто из настоящих революционеров не пострадал. И не пострадает, если вы будете себя разумно вести. Вы, вы! Именно от вас сейчас зависит судьба ваших друзей.

Потом были расспросы о деле Соловьева, о съездах, обо всем, что Гришка изложил на полтора часа страпцах, по графу многое казалось недостаточнo ясным. Он викал в разные тонкости, удивлявшие Гришку. Например, о приготовлении динамита Гришка написал со слов уж не помнил кого, то ли Алхимика, то ли еще кого-то, что динамит делается из глицерина и магнезии. Теперь изволь точно сказать: в какой пропорции, какой глицерин и какая именно магнезия, черная или белая. Особо интересовали графа харьковские дела, где как раз в это время — полгода назад — он губернаторствовал, многих лиц, упоминаемых Гришкой, хорошо знал и подробно о них расспрашивал. И еще допытывался — откуда ведом факт, будто революционеры задумали напасть на государя посредством поджога в столице, на улице Малой Садовой? Гришка и сам забыл. Оказывается, он дал такое сведение в конце декабря, в январе передали в Питер, а откуда это Гришке залетело в ум — теперь уж не знал. Видно, кто-то давно говорил, предполагалось, запомнилось, пустое, до дела не дошло.

— Молодежь должна себе уяснить, что страна сворачивает на новую колею. Если не будет понято — тогда катастрофа.

— Молодежь готова попятить, граф!

— Открытое разъяснение. Если хотите — покаяние. И в результате — примирение всех сословий, успокоение,

труд во имя счастья и процветания России. Не правда ли, таким видится суд?

— И возвращение сотен наших товарищей из тюрем и ссылок. Уничтожение централов, Третьего отделения...

— Все это — как результат суда. Суд, как прилюдное, всенародное — по русскому обычаю перед миром — разбирательство, должен разрубить этот гордиев узел, в который стянулись несчастные российские обстоятельства.

Когда Лорис-Меликов вместе с сопровождавшими его двумя важными господами, — один, кажется, был из Петербургской судебной палаты, а другой — седоусый полковник, — покинул камеру, прокурор Добржинский, до этого напряженно молчавший, с внезапным восторгом, хотя и очень тихо, стал стучать ладонью в ладонь, изображая аплодисменты.

— Bravo, bravo нам, господин Гольденберг! Мы победили! Можем поздравить друг друга! — И он действительно схватил Гришкину руку и стал трясти. — Вы понимаете, что это значит: первое доверенное лицо государя посещает вас в камере? Я не верил до последней минуты! Какой фурор! Все злопыхатели, интриганы, которые нам с вами рогатки ставят и волчьи ямы копают, теперь, слава создателю, заткнут уста...

Гришка и сам испытывал радостное волнение. Ведь то, к чему стремились, что единственное могло спасти Россию — взаимное понимание власти и молодежи, — кажется, только что произошло. На втором этаже, в камере для подследственных Трубецкого бастиона. Добржинский даже остался в камере, когда смотритель припес вечерний чай — две глиняные кружки и трехкопечную французскую булку. Чай всегда носили в двух кружках.

— Принеси-ка еще булку! — приказал Добржинский смотрителю.

Видно, проголодался. Прихлебывая чай и жуя булку, достал левой рукой из кармана пакет, развернул его на котельном листе и разбросал веером фотографии. Пальцем указал на одну: кто? Гришка узнал Сашку, Александра Первого. Так и сказал: Квятковский. Смотритель пришел со второй булкой, и Гришка тоже стал рвать зубами хлеб, жевать жадно и хлебать чай.

На другой день Добржинский доложил Лорис-Меликову письмом:

«Гольденберг, как человек до крайности самолюбивый, был польщен посещением Вашего сиятельства и, видимо,

еще больше стал убеждаться, что им интересуются... Подметив в Гольденберге болезненное самолюбие, я пользовался этой стороной его характера, внушая ему, что он рассматривается не как доносчик, а как человек, сознавший свои ошибки и желающий искупить их услугой обществу, раскрыв всю преступную организацию... Гольденберг уже начинает свыкаться с мыслью открыто, путем показания при дознании и на суде, сознаться и изобличить своих помощников. Он уже начинает заговаривать о том вступлении, которое сделает к своему показанию, и о той речи, которую произнесет на суде в защиту себя против упреков сообщников за сделанное им разоблачение».

То, что Гришка назвал Квятковского, показалось Добржинскому значительным поворотом дела, и он немедленно сообщил Лорис-Меликову, а тот — в докладе государю. Александр II сделал пометку на докладе: «Считаю это весьма важным открытием».

От Клеточникова пришло известие, что Гольденберг уже с середины апреля в Петербурге, в крепости. Дает обширные показания. Значит, одесситам не удалось ни обезвредить, ни прищугнуть Иуду. В Одессе ничего не удалось, все кончилось конфузом: вовремя не узнали о приезде царя, не успели приготовиться. Одесских работников ждали со дня на день. А кто виноват? Несчастное безденежье, чтоб они провалились, проклятые деньги! После гибели Лизогуба с его громадным состоянием отпал главный источник средств. Не было денег, чтобы снять нужную квартиру, изобразить богача, приобрести новейшие аппараты, завербовать дорогостоящих шпионов, например из дворцовой челяди. Высчитывали по копейкам, выгадывали на своем жалком житье-бытье...

Андрей бежал на квартиру курсистки Даниловой, где, по сведениям, были накапуне Пресняков с Окладским. Вапичка не так уж нужен, главное — Пресняков. Посоветоваться с «грозою шпионов» — нельзя ли как-то достать сукиного сына Гришку?

Пресняков последнее время всюду ходил с Окладским. Здоровенный, мрачный, угрюмо баящий Пресняков, и малорослый, смешливый, вертлявый — по ловкий и быстрый во всякой работе чертенок — Вапичка Окладский. Где они жили постоянно, никто не знал. Кажется, жили не

было. Раза два вечерали вместе в трактирах, и на улице, когда прощались, Пресняков говорил Окладскому:

— Ну, Ванюха, пойдем искать логово!

Да ведь и все так... Окладский вызывал нерадостные чувства. Ничего дурного, просто воспоминания: александровские хлябц, крик «жарь!», неудача. Встречался с ним редко и к делам близко не привлекал.

Но сегодня оба были пужны, и Пресняков — крайне.

Аня Дашилова, серьезная девица в пепсе, медичка и литераторша — писала какие-то рассказы из народного быта — саратовская подруга Степы Ширяева, встретила Андрея привычной конспираторской полуулыбкой.

— Я догадываюсь: вы не ко мне. Их нет.

— Будут?

— Трудно сказать. Вчера заходили. Подождите полчаса, если до восьми не придут, значит...

Андрей прошел в комнату. Данилова знала Андрея под именем Захара, считала его рабочим, близким к революционной партии, может быть, даже к ее верхушке, но подробнее — ничего. Как все политически-воспаленные девицы радикального толка — Андрей узнал таких в Питере много, — Данилова несколько преувеличивала свою революционность. Она тут же, с места в карьер, затеяла острый разговор, даже в некотором роде с претензией: чего партия ждет? Почему наступила пауза? Почему нет ответа на казнь Розовского и Лозинского? Розовский совсем мальчиш, казнен ли за что: нашли какой-то литографированный листок и список некрасовской поэмы «Пир на весь мир». А Лозинский погиб за одну прокламацию. И партия молчит!

— Вот у нас на курсах, когда профессор Трапп — тот самый, что приводил в чувство Соловьева, он читает у нас фармакологию — вздумал рассказать об этом случае, о том, как цианистый калий разложился и Соловьев не смог себя умертвить — знаете, что мы сделали?

— Что же?

— Все, не сговариваясь, встали и покинули аудиторию! Было сказано очень гордо. Андрей едва подавил улыбку.

— Вы прекрасно поступили. Но, может быть, и партия не теряет времени даром?

— Теряет, теряет. В Александровске потеряли, в Одессе потеряли. Радикалы кипятятся попусту, но в чем-то правы. Уходит драгоценное время, мы ждем каких-то фанта-

стических благ от Лорис-Меликова, по ведь ли черта не будет, умные люди это понимают.

— Пауза, я думаю, вызвана тем, что общество — ну, я имею в виду толпу, читающую газеты, — пока загнило-тигнировано обещаниями Лорис-Меликова. Но через полгода блеф обпаружится.

— И партия начнет действовать? — Ее глаза под стекляшками пепсне, добрые, близорукие, горели нетерпением.

Подумал: и эта милая женщина торопит убивать, взрывать, подталкивать историю. Что же такое: мода? Потребность души? Или же громадная, всеобщая невозможность жить по-прежнему?

Он усмехнулся.

— Два месяца нет покушений, никого не убивают — и уже скучно? Что за безобразие, да? — Все больше веселился. — Почему бездельничают? Совсем разленились в этом своем подполье!

— Вы пародируете одну мою знакомую, — сказала Давилова. — Я к таким идиоткам себя не отношу. Но правда вот в чем: да, мы привыкли к существованию этой силы. Скажу больше: мы ее мистифицируем. Как древние мистифицировали силы природы. Нечто неотвратимое, роковое. Летом должна быть гроза, блистать молния, гром должен поражать грешников. Вот и удивляешься: почему нет грозы? Я знаю многих, которые причастны к этим небесным явлениям, — знала Степана, знаю Преснякова, Ваню, вас, других, — по какая странность: отношусь к вам как к обыкновенным людям. Не могу поверить, что вы громовержцы!

— Мы и есть обыкновенные люди. Громовержцы — это другие.

— Ну-ну! — Она погрозила пальцем. — Не приближайтесь. О вас, Захар, я ничего не могу сказать, но о Преснякове знаю точно: он убивает шпионов. Одного из тех, кого он прикончил, я даже хорошо знала: Жарикова, наборщика. Ничтожный человек, жалкий какой-то, первый. В Саратове его звали «Суслик». И все же, когда представляю, как ражий Андрей Корнеевич где-то его сграбастал и стал душить, такого щуплого...

Тут доброжелательная болтушка понесла вовсе вздор: да, Жарков выдал типографию, смерть по заслугам, но само убивание, мольбы жертвы — Пресняков рассказывал, что тот даже не сопротивлялся, — представить невыносимо.

Вот они, наши радикалы: жаждут большой крови, а от малой падают в обморок. Почему-то особенно обозлился Пресняков. Расписывать свои подвиги перед курсистками: что может быть глупее?

И когда в девятом часу оба приятеля явились, Андрей был с ними сух. Пришла и подруга Даниловой, курсистка Макарова, сели пить чай, Окладский принес какие-то сласти, банку меда, колбасу — видимо, тут было принято ужинать в складчину, потому что никто его не благодарил, наоборот, девицы помыкали им, как прислугой.

— Ваня, самовар! Ваня, нарежь хлеб, только не по-позвочичьи!

Окладский все делал проворно, летал из комнат на кухню, из кухни на двор, выносил мусор, прочищал газовую горелку, балагурил, дурачился, а его здоровенный друг сидел на кушетке, ногу на ногу в смазных сапогах, и мрачно смолит папироску. Улучив минуту, Андрей сказал Окладскому:

— Завтра будь здесь, утром придет Дворник, ты ему нужен. Станок наладить.

— Будет сделано, ваше благоутробие! — выпучивая глаза и козыряя, выпал из Ваничка.

Подруга Даниловой хохотала. Ваничка ее потешал. Да, тут веселая компания, и он вроде бы пятый лишний. Пресняков тоже потешал, по-своему. У Даниловой оборвался шнурок от пенсне, Пресняков сделал из него петлю, накинул на шею и стал затягивать. Девицы с гневом на него набросились.

— Что вы делаете? Перестаньте сейчас же!

— А что? Привыкать надо, — был невозмутимый ответ.

Ваничка в восторге хохотал. Поговорить о деле не удалось. Андрей сделал Преснякову знак, вышли.

— Слышь, тезка! Ты зря болтаешь о своих подвигах на Невском льду.

— Кому болтаю? Степан об Аннушке говорил как о родной сестре...

— И сестрам знать не нужно. Ну ладно, дело твое. Не маленький. Сам знаешь, ищут тебя днем с огнем. — Самолюбивый Пресняков побледнел от выговора, и Андрей положил ему руку на плечо. — Я тебя по другому делу ждал. Вот, от нашего агента. По твоему ведомству.

Протянул листок с фамилиями: Клеточников передал сведения о шпионах-рабочих. Преснякову, который знал-

ся только с рабочими, яхшался с ними по трактирам Петербургской стороны и Васильевского острова, иметь такую бумажку было необходимо. Схватил ее и при свече в коридорчике читал, скрипя зубами. Андрей спросил:

— Знакомые есть?

У Преснякова было свойство не отвечать сразу.

— Ну! Есть, что ли?

— Есть, вроде. Двое... — Опять пауза, скрипенье зубами, рассмотрение бумажки. Тяжелый человек Андрей Корнеевич, все у него пудовое: кулаки, мысли, молчание. — Но я об них догадывался.

Аккуратно свернул бумажку тяжелыми пальцами, заступил куда-то за пазуху, тщательно.

— Еще к тебе, Корнееч, дело. Богородский не знаешь где? Богородского третий день не можем пайти...

В квартире снимали две комнаты какие-то люди, в коридоре говорить не дело, спустились по черной лестнице вниз. Андрей рассказал недавно услышанное от Клеточникова: о Гольденберге, о том, что готовится процесс, где будут судить Степана, Квятковского, Зунда, вероятно и типографщиков, очень скоро, летом, и Гришка намерев выступить с большими разоблачениями. Как воспрепятствовать? Это сейчас первейшее дело. Заткнуть Гришке рот. Казнить его там, в Трубецком бастионе, теперь уж, верно, не удастся. Андрей произнес «верно», потому что глупо надеялся на то, что Пресняков, самый изобретательный и беспощадный из «громовержцев» — еще три года назад организовал особую группу для казни шпионов, — вдруг скажет: «Почему же не удастся?» Нет, Пресняков молчал, даже голову опустил, соглашаясь. Гришку там не достанешь. Напугать? Он не из пугливых. В этом деле есть какая-то тайна. Не просто предательство. Зная Гришку с его пузырящимися мозгами, можно догадаться, что тут возникла путаница, включилась в действие некая сила, невидимая со стороны. Словом, нужен Богородский: установить с Гришкой связь. Через Зунда, который там же, в Трубецком бастионе. Сначала пригрозить, трахнуть кулаком. Пускай он очухается. Потом открыть дураку глаза...

Пресняков сказал, что Богородский может быть на одной квартире на Васильевском, Двенадцатая липия. Они разговаривали во дворе. Был одиннадцатый час, но светло, как днем.

Пресняков стиснул руку Андрея, от порывистого, могучего пожатия вся Андреева злость на Преснякова — за его хвастливость, пустомельные вечера с курсистками — исчезла. Этот парень делает все: возможное и невозможное.

— Пойду попрощаюсь. И падо топать на Васильевский! — И он побежал к двери на черную лестницу.

«И чай пить не станет», — подумал Андрей. Подождал две минуты, верно: Пресняков, грохоча сапогами, сбегал вниз.

После долгих поисков Дворник присмотрел квартиру на Подольской, где поставили новую типографию. Хозяевам назначили Кибальчича и Паню Ивановскую под фамилией супругов Агаческуловых, прислугою, под видом бедной родственницы, — Лилочку Терентьеву.

Андрей часто заходил на Подольскую, в дом одиннадцать: он был нужен там как помощник, советчик, дело налаживалось туго, станок скверно работал, первый номер «Листка Народной воли» никак не мог выйти, да и отношения между «супругами» и между «хозяином» и «прислугой» складывались негладко. До того, как сойтись на Подольской улице для совместного житья, женщины в глаза не видели Кибальчича, а между собою были едва знакомы. Дворник со смехом рассказывал, как он «сватал» Кибальчича, устроил «смотрины»: женщины приехали крайне взволнованные, нарядились, пафарфорились, желая не столько понравиться своему будущему сожителю, сколько попятить, что он за человек. Еще бы, жить взаперти втроем много педель! Кибальчич же держался каким-то небрежным букой, едва цедил слова, куда-то торопился: женщины были обескуражены. Ну, ясно, Техника падо узнать, чтобы полюбить. Он слишком углублен в себя, в свои идеи, фантастически непрактичен, а со стороны может показаться: равнодушен, даже не очень умен. Вот это равнодушие и напугало.

Лилочка Терентьева, которую Андрей давно знал по Одессе, призналась в один из первых дней:

— Ваш Николай Иванович, может быть, добрый человек, по немпожко... какой-то тупой.

Андрей расхохотался.

— Николай Иванович тупой? Ну, Лила! Да он один из блестящих умов России! — Говорил искренне, хотя, наверно, перехлестывал. Просто за последние месяцы близ-

ко сошелся с Кибальчицем и даже как-то увлекся им.— Живи он не в такое гнилое время, он был бы Декартом, Ломоносовым!

— Возможно, но как господин Агаческулов он вовсе не образец: всегда молчит, всегда в своей скорлупе, в кнжгах, в бумагах...

Так было вначале, когда «семейство» еще только обособывалось, теперь отношения стали лучше, и женщины, кажется, смирились с характером Кибальчича и лишь подшучивали над ним. Он был на редкость неловок в домашних делах, не умел ни поставить самовар, ни приготовить еды, в его комнате был постоянный хаос, жепщии он туда не пускал, говоря, что растеряют его бумаги. Но теперь, в конце мая, главной заботой было не сглаживающие отношения в «семье», а то, что станок работал худо. Настоящая печатъ — такая великолепная, чистая, какая выходила у типографчиков на Саперном,— никак не получалась.

Станок представлял собою тяжелую стальную раму с оцинкованным дном. Гранки с набором вдвигались в раму и укреплялись в ней туго с помощью винтов. Рама весила пуда три, и Паяя с Лилой любили рассказывать о тринадцатом подвиге Геракла: Барапников однажды подъехал — они видели из окна — к дому на пролетке, в непривычной для него морской офицерской палке, легко спрыгнул, легко прошел мимо каких-то стоявших у подъезда людей, поднялся быстро на третий этаж, а в квартире, покачивувшись, едва не рухнул. Оказывается, он пролез под тальмой эту самую трехпудовую раму. На шрифт, смазанный краской, набрасывался лист бумаги, по нему катали тяжелый, обтянутый сукном вал — и вся мудрость. Но черт знает почему набор получался нестрый, с проплешинами, в каких-то ужасных пятнах. И в чем дело — понять никто не мог. Ведь настоящих наборщиков не осталось. Подряд провалились три типографии: в Саперном, затем чернопередельская, выдающая Жарковым, и затем еще одна, устроенная рабочими. Каждый раз гибли десятки людей, знающих дело. И вот: Паяя, Лилочка и Коля Кибальчич, голова которого занята не типографией, а расчетами, высокой философией. Три дня возились со станком все, кому не лень, Андрей тоже. Даже Тигрыч давал советы и высказывал догадки, хотя в качестве механика он — как и Андрей, впрочем, — представлял пулевую величину. Но Тигрыч написал большую статью для

«Листка», единственную, другого в «Листке» не было, и очень волновался: хотел, чтоб радикалитет, как он выражался, поскорей со статьей познакомился. Все хотели того же. Тигрыч зло написал о Лорис-Меликове. Это было крайне нужно, полезно, чем скорей появится, тем полезней: промыть идеалистам мозги. И вообще, партия жива, пока жива печать, а тут молчание затянулось на пять месяцев — почти уже гробовое...

Но толку от всех стараний не было: набор выходил неудобочитаемый. И только в последний день мая, вечером, прибежав на Подольскую, Андрей увидел веселое, раскрасневшееся, как когда-то в Одессе, когда дурачились на Ланжероновской, лицо Лилочки Терентьевой.

— Ура! Поздравляйте нас! А мы — вас! — И она вдруг быстро обняла его и поцеловала. Поспешно втягивая его в квартиру, зашептала: — Набор идет замечательный. Еще лучше, чем в Саперном. Завтра с утра начинаем печатать.

— Кто же наладил станок?

У Лилочки блестели глаза, и она всегда улыбалась, когда смотрела на Андрея. Замечательно красивая русая коса. И вообще, замечательная девушка. Если бы не...

Она все еще держала его за руку, и вдруг резко отпустила.

— С тех пор, как Соня Перовская уехала в нашу милую Одессу, — сказала Лилочка, — вы стали со мной ужасно сухи. В чем дело?

— При чем тут Соня Перовская?

— Ну, просто так, я болтаю. Соня на всех действует немножко как дама-патронесса, а когда ее нет — можно чуть-чуть рассупониться, правда же? А то что за оказия: я на него бросаюсь, обнимаю, как паяда, целую горячо, а он стоит каменным и спрашивает: «Кто починил станок?»

И Лилочка, устав изображать обиду, расхохоталась и побежала по коридору. Милейшее существо! Удивительно, как на ней сохранился одесский загар. Все одесситы давно полиняли, а она по-прежнему смугла — щеки смуглы, руки смуглы, и только русые волосы поблекли.

— Все-таки кто починил станок? — крикнул ей вслед.

— Ванюшка! Окладский!

В комнате сидели человек пять. Дворник и Тигрыч, не удостоив Андрея ни кивком, ни взглядом — так были увлечены, — спорили о каких-то строчках статьи, кажется,

той самой, тихомировской. Кябальчч был на стороне Дворника. Уговаривали снять особо ругательные слова.

— Не в этом же дело, Лев. Еще одна брань, еще один сукин сын — это никого не убедит...

— Ладно, соглашаюсь! Читай, как будет без этого...

Тигрыч чем хорош: не стоит насмерть. Поспорит, поспорит и, вляв разуму, соглашается.

— Итак, читаю с этого места,— сказал Дворник.— Тарас, садись, не засть света! Слушай внимательно, завтра идет в печать.— Алдрей сел на кушетку рядом. Дворник, слегка запинаясь, но громко и внятно читал: — «Вместе с тем Лорис ловко эксплуатирует лакейское чувство разных газетчиков, милостиво допуская их до разговоров с собой: убытку ему никакого, а газетчики млеют и рады на стену лезть ради доброго барина. Отрывая от нас либеральную партию, Лорис намеревается то же сделать и относительно молодежи. Недавно вышедшее правительственное распоряжение сулит не только помилование, но даже полное возвращение прав ссыльным по студенческим историям. Со студенчеством Лорис заигрывает и лично, призывая к себе их представителей...»

— «Представителей» непременно в кавычках! — сказал Тигрыч.

— Да, в кавычках, далее: «...обещает всякие льготы. То же распоряжение, очевидно, имеет целью внести разделение в ряды самой радикальной партии, открывая возможность отступления всякому изменщику, всякому слабому духом. Нужно думать, что в скором времени Лорис разделит радикалов на более и менее опасные фракции и пачнет покровительствовать более мирным революционерам.

Что ж, политика не глупа! Сомкнуть силы правительства, разделить и ослабить оппозицию, изолировать революцию и передуть всех врагов порознь — не дурно! И заметьте, что всех этих воробьев предполагается обжечь исключительно на мякине, не поступившись ничем».

— Насчет мякины — это прекрасно, Тигрыч! — сказала Ивановская.

— Дальше идет пассаж, который мы вычеркиваем. Так? — спросил Дворник.— Насчет гнусного лицемерия, собачьих мозгов и так далее. Ты согласен?

— Согласен, чиркай. Братцы, вы не представляете, как трудно нам, нишущим в легальной печати, находить

верный тон! Я вспомнил случай с Кривенко... — Тигрыч засмеялся. — Помните, он писал для нас статейку о Маковском циркуляре? В первом варианте ни черта не получалось, одна площадная ругань. Спрашиваем: Сергей Николаевич, что с вами? А я, говорит, когда почувствовал свободу от цензуры, так переполнился злобой к правительству, что не мог найти других выражений, кроме отборной брани!

— Ну хорошо, не отвлекай анекдотами, поехали дальше, — сказал Дворник. — Дальше все без изменений. А концовка теперь выглядит так: «Увенчается ли политика армянского дипломата успехом? Это, конечно, зависит от количества ума и гражданского чувства, какое окажется в наличности у российских людей. Политика Лориса вся построена в расчете на глупость и своекорыстность общества, молодежи, либералов, революционеров. Мы сильно надеемся на то, что расчет окажется неверным, что общество не проведешь одними обещаниями, что молодежь не подкупишь стипендиями и предоставлением карьеры, что революционеры сомкнутся теснее, чем когда-либо». Ну, и далее весь абзац как был. Сразу затем — Тарас, слушай, ты этого не знаешь, вчера получено! — пойдет письмо Шмидта, начальника Третьего отделения.

Письмо, которое прочел Дворник, было кратким посланием Шмидта начальнику одного из губернских жандармских управлений. По-видимому, распространялось секретно по всем губерниям. Смысл такой: в обществе ходят слухи о каких-то якобы намечающихся преобразованиях, об упразднении некоторых государственных учреждений (читай: Третьего отделения!), и господин Шмидт по поручению Лорис-Меликова спешит сообщить, что все это — измышления, не имеющие ничего общего с правительственными намерениями. Великолепно! «Листок» выходил хорошенькой бомбой, которая взорвет надежды некоторых тупоумных мечтателей, расплодившихся за последние месяцы бесчисленно, как вороны.

Лиля из соседней комнаты звала пить чай. Все были возбуждены, веселы: партия опять на коне и завтра подаст голос! За чаем Лиля рассказывала, как проворно, толково Ванюшка паладил станок. Дворник привел его в десять утра, а в четверть двенадцатого работа была закончена, и пошел отличный набор.

— Но должна вам сказать, Григорий, — она пазывала Андрея по одесской привычке Григорием, впрочем, ипо-

гда и Тарасом, и Борисом,— этот ваш Ванпчка занятый фрукт. Моя бабушка умела определять людей по носам. И вот таких, как Ванпчка, остроносых, называла «Хитрый нос». Ух, он и каналья, этот Ванпчка!

И опять, глядя на Андрея и как будто рассказывая ему одному, она улыбалась, и глаза ее блестели.

— Почему же каналья? — спросил Андрей. — Он, кстати, обладает профессией, чего нет ни у кого из нас...

— Ванпчку не обижайте. Он мой воспитанник,— сказала Паня Ивановская. Все знали, что ее брат, доктор Василий Великий, нашел Ванпчку лет восемь назад среди фабричных мальцов, взял в свою школу-коммуну, и с тех пор Окладский воспитывался среди революционеров как приемный сын.

— Воспитание ты ему дала не блестящее. Все норовил меня потискать,— сказала Лиля, шутливо подмигивая,— тоже этак проворно, умело, как унтера тискают прислугу в сенях.

— Ой! Когда же это? — испугалась Паня.

— Знаем когда. Ты не заметила. Но я не об этом. Это как раз ничего, допустимо.

— Нет, это совершенно недопустимо! — возвысил голос Дворник. — Я ему уши надеру, сморчку.

— Да вы с ума сошли. Бог с вами! Господи, я еще доносчицей вышла. Человек нас выручил, исправил станок...

— За это ему спасибо, а за то — получит по сусалам. — Дворник показал кулак.

— Дворник, не смейте! Я на вас смертельно обижусь, если вы что-либо предпримете. Все это вздор. А вот что мне действительно не понравилось, так это его постоянное: «жарь!», «жарь!». Чайник ставит на стол: «жарь!» Станок запускает: «жарь!» Ведро с мусором попросила вынести, он возвращается, протягивает пустое ведро: «жарь!» Ну, что за дурачок, скажите на милость?

Кибальнич вдруг заговорил — как у него это бывало, без всякой связи с предыдущим — о выкупе частных железных дорог государством в Пруссии, разговор об Окладском прекратился. Но Андрею история с «жарь» тоже не понравилась.

На улицу вышли поздно, втроем: Тигрыч, Дворник и Андрей. Правилom было втроем по возможности не шататься, Тигрыч быстро отпал, растолкал сонного «Ваньку», поехал к себе на Литейный. И Катенька, наверно,

места не находила, нервничала. Дворника и Андрея никто не ждал. Они шли медленно, дышали белой ночью: похоже было на ранний сумеречный вечер, и только пустые улицы и темные окна домов говорили о полночи, о сне города. Дворник рассказывал, как днем встретился с Богородским — Пресняков вчера его отыскал — и передал задание насчет Гришки.

Богородский был сыном смотрителя Трубецкого бастиона полковника Богородского. Через него, сына, удавалось иногда сноситься с заключенными: он доставал для тюремной библиотеки книги, и в некоторых делались особые знаки, наковки иглой. Потом, на свиданиях, сообщалось, какую книгу взять. Зунделевичу надлежало взять роман Писемского «Взбаламученное море».

На другой день Андрей забрал пачку только что отпечатанных номеров «Листка Народной воли» и понес на квартиру Ани Корба: к вечеру все разлетится оттуда по рабочим и студенческим кружкам. Мог бы не брать на себя роль носильщика, послать кого угодно из новых друзей, хоть Коковского. Но тянуло самому: показать, изумить. Приехал на извозчике. Кожаная сумка, с какими ходят питерские мастеровые, держа в ней инструменты, была набита тяжелой бумажной кипой, а сверху насыпано чуток картофельной, черно-гнилой мелочи: Папя дала для маскировки.

Отворилась дверь, и по сияющим глазам Ани — в их наивной, хохлацкой открытости все отпечатывалось мгновенно — угадал какую-то радость. Нет, не «Листок», что-то другое, внезапное.

— Тарас, а знаешь... — заплела Аня.

— Пока не знаю!

Из комнаты вышла Соня. И как тогда, осенью, когда встретились после двухмесячной разлуки, с одного взгляда на это лицо, обращенное только к нему, его лицо, почувствовал удар теплой волною в грудь. Она протянула руку, он пожал.

— Тарас, здравствуй. И опять ни с чем...

Тогда он обнял ее. Щеки были горячие, она похудела, стала совсем легкая, волосы и руки были влажные. Два часа, как с вокзала, только что приняла ванну. В коридоре почему-то никого не было. Они оказались одни. Она обнимала его очень сильно крепкими руками, прижима-

лась к его груди, опустив голову, и он поцеловал ее в макушку, в пшенично-блестящие, влажные, пахнущие мыльным детским запахом волосы, сразу все поняв: страданье, несчастье, любовь.

За ужином Соия рассказывала: как Верочка Фигнер раздобывала деньги, как покупали бурав, бакалейный товар для лавочки, как сняли помещение на Итальянской, мучились с буравом, почва глинистая, бурав двигался с громадными усилиями, как Саблин заболел, Грише Исаеву при взрыве запала оторвало три пальца и он угодил в больницу, остался в Одессе, Баска ходит за ним, Верочка тоже там, но из последних сил, просит ее сменить, разрешить вернуться в столицу. Приехали пока двое: она и Саблин, «супруги Прохоровские».

Андрей вдруг почувал, как шевельнулось едва ощущимое, неловкое — к Саблину. Было как-то внове. Он спросил:

— Жили-то дружно?

— Кто? — спросила Соия.

— Супруги Прохоровские.

— Конечно! А разве мыслимо жить с Колей недружно?

— Коля человек положительный, благородный, по может при случае уморить, — сказала Мария Николаевна, подняв предостерегающе палец. — Стихами, каламбурами. В особенности каламбурами. Было это?

— Было!

— О, это ужасно!

— А я привыкла, мне даже нравилось, — сказала Соия беспечно и, поглядев на Андрея, онять улыбнулась. — Его поэму «Малюта Скуратов» я слушала чуть ли не каждый вечер. Знаю теперь наизусть. И каламбуры, это верно, с утра до вечера. Коля, где полотенце? Вам нужно пол-отенца или целое отенце? Коля, деньги возьмите у Верочки. У каких Вер, какие очки? И в таком духе неистощимо...

Все хохотали, Андрей улыбался, вероятно, криво.

И все же Соини рассказ был печален. Столько стараний, труда, риска, столько убито дней, и впустую: вовремя не получили известия. За тот короткий срок, что оставался до приезда царя, довести мину до пужной точки не удавалось. Засыпали колодец, продали, что могли, лавку оставили, разъехались. Глупость. Вечное наше недоумение: кто виноват? Самы виноваты. Нечего лезть в дыры,

в провинцию, там все сложней, меньше людей, меньше сил. Казнить царя нужно в Петербурге, более нигде. Потом Соля спрашивала, ей рассказывали: про типографию на Подольской, про суд над Оболеншевым и Адрианом Михайловым, бывший две недели назад, обоих к смертной казни, они сейчас в Трубецком бастионе, там же, где Гришка Гольденберг. Смертную казнь заменили: Адриану Михайлову и Оболеншеву двадцать лет каторги. И кажется, как ни горько говорить, Адриан, кучер знаменитого Варвара, как-то постарался для этой милости...

Шли набережной вдвоем...

— Никогда не уеду от тебя, — сказала Соля.

Он сжимал ее руку. Странно: держать живую Солю за руку, идти рядом, а еще днем сегодня не знали, когда встретятся.

— Только с тобой вдвоем.

— Да, — сказал он. — Никогда больше.

— Это же чистое безумие! Сколько нам осталось?

Какой-то человек в длинной чуйке, покачиваясь, медленно шел навстречу, ночной бродяга или пьяница. Его лицо в утренне-ночном свете казалось белым, мертвым. И у них, верно, были такие же лица. Бродяга посмотрел долгим взглядом, щуя глаза, как слепец. Когда прошли несколько шагов, Андрей оглянулся: бродяга уходил.

— Осталась нам целая жизнь, — сказал Андрей.

— Иногда кажется, что я живу очень давно, что я уже старая, усталая бесконечно. А иногда: будто только все начищается. И страх как хочется жить! — Соля засмеялась. — И я ничего не помню. Прошлого как будто не было. Ехала сегодня с вокзала мимо нашего дома, отцовского, смотрела в окна и думала равнодушно: «Может быть, мама случайно здесь?» Маму я люблю, хотела бы ее увидеть. Но все остальное — исчезло, чужое. Ехала спокойно, как мимо чужого. А когда в Одессе сидела на Александровском сквере и ждала, что сейчас пройдет твой сын — я узнала очень сложным путем, что в тот день его поведут к портному заказывать морской костюмчик, — волновалась почему-то ужасно, сердце колотилось. Самой было смешно!

— Ну, как он? — спросил Андрей, помолчав.

— Он очень красивый. Такой крепкий, деревенский румянец. И знаешь, у него твоя походка: грудь выпячивает, голову держит высоко, уморительно похож!

— С кем он был?

— Он шел с какой-то пожилой дамой. Конечно, пе-
мать... Оглянись!

Андрей оглянулся и увидел, что бродяга в чуйке идет
за ними шагах в тридцати. Было подозрительно, решили
остановиться. Бродяга тоже остановился и стал закури-
вать. Серные спички не вспыхивали, он бросал их в реку.
Теперь было очевидно, что слежка. Какой-то из ночных
шпионов, которые шляются по городу в поисках случай-
ной работы.

— Вот тебе новые либеральные веяния,— сказал Анд-
рей со злобой.— А шпионов и бутырей развелось вдвое
больше...

Он взял Союю плотно под руку, как берут девиц на
Невском, и быстрым солдатским шагом повлек Союю че-
рез мостовую к домам, и они прыгнули в ворота.

Зунделевич получил книгу Писемского «Взбаламучен-
ное море», прочитал о Гришке и ахнул: теперь понятно,
откуда следователь дознался о многом! Особенно подроб-
пы и ужасающе точны были знания следователя о соловь-
евском деле, о встречах в трактирах на Большой Садовой
и в «Северном» на Офицерской, о том, кто что говорил, об
отъезде Гришки в Харьков и о том, чем он, Зунделевич,
перед этим Гришку снабдил. Прокламациями по поводу
убийства Кропоткина и газетой «Земля и воля». Кто мог
все это так досконально знать? Один Гришка, этот под-
лец, восторженный идиот. Раньше были только догадки,
теперь же явился факт. И приказ: заставить замолчать.
Потрясло и то, что Гришка — здесь, рядом, в Трубецком
бастионе. На книге, которую Зунделевич сумел благода-
ря чистой случайности переправить в камеру на второй
этаж, он написал чернильными точками: «Предателю
смерть».

Гришку охватила паника. Он знал, что в Трубецком
бастионе сидит Зунд, и стал просить с ним свидания.

Теперь он имел дело не только с Добрякинским, но и с
прокурором судебной палаты Плевее, наблюдавшим за до-
знанием. Плевее, господин суровый, хотя, по Гришкиным
впечатлениям, понимающий и по взглядам близкий к
Добрякинскому, то есть к партии, ведущей титаническую
борьбу, все же в свидании отказал. Но Гришка понял,
что, если не увидит Зунда и не объяснится с ним, он
просто не сможет жить. На той же книге, которую полу-

чил, он написал точками: «Друзья, не клеймите меня, поверьте, я три раза отдавал вам и делу жизнь, верьте, что я тот же честный и искренний Гришка».

Отклика не было. Тогда Гришка схитрил: стал говорить, что, если ему разрешат свидание с Зунделевичем, он сумеет склонить того поступить точно так же, и это будет замечательно полезно для следствия, ибо Зунделевич — важная птица. Заодно обещал уговорить Людвигу Кобыляевского, своего напарника по делу Кропоткина, тоже сидевшего в крепости. Свидание разрешили. Гришка и Зунделевич встретились во время прогулки. Зунд был неузнаваемо худ, бледен, оброс черновато-рыжей бородой. Он смотрел на Гришку без всякого выражения, как на чужого, не двинулся с места, а взгляд был необыкновенно надменный, ледяной. Взгляд из дальнего прошлого. Зунда, из вилевского равнинского училища, где самые ученые талмудисты были преисполнены высокомерья от большого знания. Гришка бросился к Зунду и стал объясняться со всей скорострельностью, на какую был способен. Он говорил на жаргоне. Стоявший рядом надзиратель вичего не понимал. Гришка выпалил главное: все делается ради спасения России, остановить кровопролитие, прекратить, понять, примириться, и пусть его имя будет предано теперь проклятию, будущая Россия скажет ему спасибо.

— Ты сумасшедший. — сказал Зунд. — Тебя обманули, как последнего идиота. По твоим доносам будут нас убивать — и за это тебе спасибо? Ты предатель тысячу раз!

И, не став более слушать, Зунд ушел.

Началось предсмертное Гришкино безумие. Нет, он был в здоровом уме и в твердой памяти, но при этом ощущал себя, как бы глядя со стороны, совершенно безумным. Он стал умолять Плеве, Добржицкого и через них Лорис-Меликова поместить его в одну камеру с Зунделевичем. Плеве обещал ему — хотя это крайне трудно и недопустимо — добиться такого разрешения, требуя взамен все новых сведений. Он вытряхивал из Гришки последние крохи. И Гришка соглашался, отдавал, вспоминал, отчаянно напрягал память ради единственного: еще раз встретиться с Зундом и все ему объяснить. Вот о чем он мечтал. Выходя на прогулки во двор, бросал записки, пацарапанные на мундштуках папирос, надеясь, что хоть одна из записок дойдет до товарищей. Побросал их с десятком, все одного содержания: «Друзья мои, не клеймите

п не позорьте меня именем предателя; если я сделался жертвою обмана, то вы — жертвы моей глупости. Я — тот же ваш честный и всей душой вам преданный Гришка. Мыслью о вас и любовью к вам я живу 6 лет, живу и теперь...»

Откликка не было. Гришкино безумие было понимаемым. Люди от этого и сходят с ума: когда вдруг понимают нечто о себе, чего прежде не понимали. Он потребовал бумагу и на первом листе написал: «Исповедь. Друзья, приятели, товарищи, знакомые и незнакомые честные люди всего мира...»

Это был рассказ о всей жизни, о великом обмане, предательстве, несчастье, и чем дольше и подробнее он писал, тем более успокаивался. Началось-то все с Федьки Курицына. «В силу своей доверчивости к людям, в силу сентиментального проклятого характера... Он мне говорил, что выйдет на свободу, и я, увлекшись любовью к товарищам и желая им передать мой привет, называл фамилии, и те были арестованы...»

Когда Гришка был в упоении работы над «Исповедью», его неожиданно вновь посетил Лорис-Меликов в сопровождении солидного господина: Добржинский потом объяснил, что это был управляющий Третьим отделением Шмидт. На этот раз Гришка не испытывал никакого волнения, ни малейшей гордости, разговаривая с графом. Речь шла о предстоящем суде. Лорис-Меликов сказал, что смертные приговоры неизбежны.

Гришка разговаривал с графом как в полусне. Он хотел одного: свидания с Зунделевичем. Пускай не в камере, не на целую ночь, пускай во дворе, на прогулке, на несколько минут, в присутствии кого угодно.

Граф объяснял, пронзая Гришку черным кавказским взором, что и как тот должен говорить на суде.

— Да, да! Буду, ваше сиятельство! Непременно! Буду!.. — кивал Гришка, почти не слыша, не понимая.

Когда граф ушел, Гришка написал на его имя письмо с просьбой не делать ему никакого списхождения на предстоящем процессе. Тек июнь, сна не было, Гришка работал. В начале июля «Исповедь» подошла к концу. И все подошло к концу: силы, желание жить. Разрешили свидание с Зунделевичем. Прокурор Добржинский стоял неподалеку и пагло прислушивался: как одессит, наверно, кое-что понимал в жаргоне.

Зунд был мягче, какая-то искра сочувствия мелькнула в его глазах. И не отнял руки, когда Гришка бросился с рукопожатием.

— Ко мне приходил Лорис-Меликов. Я совсем одурел... — бормотал Гришка, grimасничая. — Кому еще такая честь?

— Не одному тебе.

— Кому же еще?

— Адриану Михайлову. Лорис был у него в мае, знаю точно от верных людей. Адриан в сорок второй камере. Был смертник, сейчас каторжанин: значит, неспроста, товар за товар...

— Меня казнят вместе со всеми! — вспыхнул Гришка. — Я сам потребовал!

— Ты казнил десятки людей, — сказал Зунд. — Палач Фролов на сегодня — ты, Гриша Гольденберг.

Гришка стоял оцепенело, молчал. Когда Добржинский повернул свою выбритую, румяно-рыжую физиономию, привлеченный каким-то криком из окна, Гришка показал на него сжатым кулаком и шепнул:

— Вот кто меня погубил!

15 июля 1880 года был очень жаркий день, камера накалилась, стало невыносимо душно, жизнь истекла, Гришка сделал из полотенца петлю, другим концом привязал полотенце к крану раковины. На докладе с сообщением о Гришкином самоубийстве Александр II написал: «Очень жаль!» Революционеры узнали о случившемся на следующий день от Богородского и вздохнули с облегчением: казнь совершилась. На суде от злосчастного предателя останутся одни бумажки.

И еще голос: Драгоманов М. П.

Я, Драгоманов Михаил Петрович, в начале лета 1880 года неожиданно получил в Женеве письмо от Андрея Желябова. Посланец, прибывший из Петербурга с письмом, несомненно принадлежал к новейшим российским нигелистам, к так называемой социально-революционной партии, которая успела за последний год прославить себя дерзкими и кровавыми подвигами. Мое отношение к революционерам этого толка известно. Нас разделяет многое: великорусский централизм, народнические иллюзии, макиавеллизм средств (вроде подложных манифестов

Я. Стефановича, ограбления банков, казначейств и почт с убийствами сторожей) и, главное, возведение политических убийств в принцип борьбы. Еще в 1878 году я разобрал в «Листке Громады» террористическую прокламацию «Смерть за смерть», а в том году, когда явился гонец из Петербурга, выпустил брошюру «Терроризм и свобода». Тем более удивительно было получить послание от Андрея Желябова, которого я знал по старым временам как радикала, а затем как одного из руководителей — это были не достоверные знания, но очень авторитетные слухи, — одного из атаманов террористической партии.

И в то время как я усаживал гостя за стол, к окну, угощал его кофе, снабжал газетами и журналами, чтобы он не скучал, пока я стану читать, — по ему, как в первые часы всем приезжающим в этом городе, было не до газет, и он, высунувшись в окно, жадно смотрел на улицу, крыши, на блистание Роны вдаль, — я вспоминал наши встречи с Желябовым. Их было две. Первая: осенью 1873 года в Клеве, на квартире моего старого знакомого, где пытались спетаться и палатить единство действий радикалы и украинофилы. Из этой попытки не вышло ничего.

Вторая встреча произошла зимою 1875 года, на заседании комитета, который отправлял волонтеров в Герцеговину. Желябова не узнать: он был оживлен, разговаривал громко, повелительно, во всем чувствовалось напористое желание и умение действовать. Он был уже притянут тогда к Большому процессу, по оставался пока на воле. Кто был там еще? Двое сербов, трое украинцев, один поляк, интереснейший человек по фамилии Магер, и я, допущенный на собрание как представитель другого такого же комитета, сплошь украинского. Помню, как Желябов заседал на Магера: почему польская молодежь проявляет холодность к русскому социалистическому движению? Магер сказал, что для поляков слишком важен национально-политический вопрос, и они не могут сейчас, подобно русским, отдаться чисто экономическому, социальному направлению.

— Ну так ставьте свой национально-политический вопрос! — воскликнул Желябов с горячностью.

Затеялся спор, я подлил масла в огонь, сказав, что нужно сначала понять, что есть польская нация и что полякам следует добиваться не исторической, а этнографической Польши, Желябов меня поддержал, а Магер,

прощаясь, сказал: «На все пужно, господа, время!» Когда он вышел, Желябов со злой усмешкой заметил:

— Вот они всегда так!

Эту его фразу и злое выражение лица я запомнил хорошо: он был раздражен тем, что поляки, даже такие радикальные, как Магер, не понимают, что историческая мечта о Правобережье ничуть не помогает кружению русского абсолютизма, а кроме того, по природе мышления он был крайне нетерпелив. Все решить махом, кардинально, поскорей. Мы опять с ним поспорили, на сей раз о социалистическом идеале, и я сказал, по обыкновению: це діло затяжне! Он свысока посмеивался, считая меня, конечно же, оппортунистом. Четыре с половиной года прошло. Я жил в Европе, он — там, в российских водоворотах, все более грозных, зловещих, и сам их, наверно, раскручивал, как гусяр Садко на дне моря. О чем же можно писать оттуда, с морского дна?

«Понедельник. 12 мая 1880 г.

Многоуважаемый Михаил Петрович!

Два раза пришлось нам встретиться, теперь приходится писать, и все при обстоятельствах крайне своеобразных. Помню первую встречу в 1873 году в Киеве, на квартире X. и У. Сидит кучка старых-престарых нигилистов за сапожным столом, сосредоточенно изучая ремесло. То знаменитые «движения в народ» для жизни честной, трудовой... Программа журнала «Вперед» прочтена и признана за желательное. Но какова-то действительность? — спрашивал себя каждый и спешил погрузиться в неведомое народное море. Да, славное было время!.. Наступила зима 1875/76 г. Тюрьмы переполнены народом; сотни жизней перебиты; но движение не унялось; только прием борьбы переменился и на смену пропаганде научного социализма, умудренные опытом, выдвинули бойцы на первый план агитацию словом и делом на почве народных требований. В то же время всколыхнулась украинская громада и, верная своему основному принципу народолюбства, замыслила целый ряд предприятий на пользу родной Украины. В эту зиму Вы приехали в ... и мы повидались с Вами вторично... Много ли времени ушло, подумаешь, а сколько перемен!.. Взять хоть бы этот уголок... Я видел расцвет тамошней громады, ее живые начинания. Медленно, но непрерывно сливались там в одно два революционных потока — общерусский и украинский;

не федерация, а единство было недалеко, и вдруг... все пошло прахом. Соблазнились старики выгодой легального положения, медлили покинуть насиженные гнезда, и погибли для борьбы славные люди, погибли начинания. На месте их грубое насилие нагло праздновало победу. Но что смутило торжество злорадных, пагнало папику на них? Не совесть ли проснулась в гонителях беспощадных? То остатки пародников-революционеров начали наступление, но уже по новому плану борьбы. Трусливые тираны инстинктивно познали, что слабое место их открыто, что власть и сама жизнь их — на кону. Как зверь, почувствовавший глубокую рану, стало правительство рвать и метать, не разбирая своих и чужих, а дамоклов меч по-прежнему недосыгаем, грозно висит над его головой... Пришло раздумье на начальство: не поступиться ли? Правительству стало ясным положение его: все считают дни его сочтенными; нравственной поддержки ему ни от кого; только трусость, своекорыстие и неспособность к солидарному действию в одних да расхождение в понимании задач между другими удерживают правительство от падения. Своевременно уступить под благовидным предлогом — таково требование политики; но не того хочет властолюбивый старик и, по слухам, его сын. Отсюда двойственность, колебание во внутренней политике. В расчете лишить революцию поддержки Лорис родит упования; но, бессильный удовлетворить их, приведет лишь к пущему разочарованию. Какой удобный момент для подведения итогов! А между тем все молчат; молчат, когда активное участие к делу революции всего обязательнее, когда два, три толчка, при общей поддержке, и правительство рухнет. От общества, всегда дряблого, многого требовать нельзя; но русские революционеры, какой процент из них борется активно? Расхождение в понимании ближайших задач...

Неужто и Вы, Михаил Петрович, не признаете близких реальных выгод для народа от нашей борьбы? Этого не может быть: за нас Ваши литературные произведения, Ваша отзывчивость на живое дело, Ваша склонность найти практический исход. К сожалению, недосуг, а также расходы на неотложные дела мешали поездкам нашим с целями организационными и, в частности, для защиты своей программы. С провалом типографии мы лишились возможности разъяснить ее путем печати. Выходит в результате, что комментаторами ее вообще, а за границей

чуть ли не исключительно являются лица, отрицающие ее вполне или в значительной мере. А нам крайне интересно было бы знать Ваше личное мнение о программе, и было бы очень хорошо, если Вы пришлете критику ее через ZZ, пока не будут установлены между нами непосредственные отношения, а может быть, и сотрудничество Ваше в «Народной воле». Это первое, о чем пишу я по поручению товарищей. Второе: Вы, конечно, согласитесь склонять общественное мнение Европы в нашу пользу, о чем подробно сообщит податель письма. Третье: Ваше положение, как представителя украинского революционного направления, как деятеля, известного в России, как революционера с исключительным прошлым, обязывает Вас, Михаил Петрович, принять деятельное участие в злобе дня родной страны. Ведь недаром же на Украине многие зовут Вас «батькой»! А что делают они? И кто повинен, кроме них? Нас, убежденных автопомистов, вины в централизме... за Учредительное Собрание. Во-первых, не хотят понять, что Учредительное Собрание в наших глазах только ликвидационная комиссия, а во-вторых, можно ли в программу ближайших требований вносить такие, за которыми нет реальной поддержки, а есть иступленные враги? Где наши фении, Парнелль? Таково положение вещей, что исходишь от реальных интересов крестьянства, признаешь его экономическое освобождение за важнейшее благо, а ставишь ближайшей задачей требования политические, видишь спасение в распадении империи на автономные части и требуешь Учредительного Собрания. Не велика заслуга перед отечеством аскета — хранителя общественного идеала. Мы, по крайней мере, предпочли быть мирянами.

Еще одна просьба к Вам, Михаил Петрович! Не согласитесь ли Вы быть хранителем нашего архива? Материал там весьма ценный для истории современного движения, а между тем он проваливается здесь чуть ли не периодически. Хранение это мы предлагаем Вам на следующих условиях: 1) право собственности на архив остается за нами; ни одна вещь оттуда не может быть отчуждена; 2) в отношении пользования материалом будет поделен на две части, из коих одной можете пользоваться свободно; другая связана с живыми людьми и текущими делами; пользоваться ей Вы могли бы, получив в каждом частном случае наше согласие; 3) передать архив на хра-

нение можете с нашего согласия; 4) узнавать нас (редакцию «Народной воли») по паролю, зашифрованному нами ключом, Вам известным...»

Ключ, о котором шла речь, был мне как раз неизвестен. Но это не имело значения. Письмо показалось мне произведением нервным, писанным спешно, страстно, в том особом же лябовском, сбивчивом, разговорном стиле (он так и в Киеве выступал!), когда мысли перегоняют слова, когда много искренности, но много и противоречий и неясности. Тут были какие-то отдаленные раскаянья в прошлых спорах, и просьба о помощи, и желание примириться, и довольно грубая лесть (я — «революционер с исключительным прошлым»), и даже некоторая бесцеремонность («обязывает Вас, Михаил Петрович, принять деятельное участие...»). Ого, каким бы языком заговорили со мной, будь я в России! Впрочем, я тут же себя прервал: хорошо рассуждать о нервности и неряшливости письма, сидя здесь, на жедевском балконе...

Заговорили о Лорис-Меликове. Я сказал, что написал статью «Соловья баснями не кормят» по поводу назначения графа российским диктатором и что считаю все его обещания пустой болтовней. Посланец Желябова со мной согласился. Но дальше стали говорить о том, что нас разделяет: политические убийства, партийная правственность, чего я не могу понять, и самая страшная идея, которая лежит в деятельности террористической партии, идея личного произвола. Разве можно бороться с произволом помощью произвола? Я поиздевался и над пазванием: «социально-революционная партия». Все равно, что сказать «мебельно-топорный магазин». И наконец — о Парселле и фениях.

— Напрасно Андрей Иванович пазывает меня Парселлем, — сказал я. — И если он сокрушается о том, что у нас, украинских федералистов, нет «наших» фешив, то я этим обстоятельством вовсе не огорчен. Они заняты тою «топорной» работой, которая мне не по душе.

Гость из Петербурга оказался неожиданно уступчив и со мною соглашался. Он сказал, что Тарас (Желябов) не столько меня пазывает Парселлем, сколько сам по-сматривает на сего ирландца как на образец. Он мечтает об учредительном собрании, где играл бы роль Парселля: так же, как тот опирается на тайную силу фешив, так и он, Тарас, опирается бы на подпольное мо-

гущество своей партии. Верно ли это? Было похоже, что верно. Поговорить с Андреем Желябовым мне не удалось: он погиб через девять месяцев после того, как я читал его письмо. Но все, что творилось накануне его гибели и несколько лет спустя — волна крови, виселиц и убийств, прокатившаяся по России, как и по Ирландии, — показало всем, что ирландские фении и русские народовольцы в чем-то смертельно похожи. Помните, как фении взрывали стену тюрьмы? А нападения на тюремные кареты? Убийство лорда Кавендиша и его секретаря Борка? А убийства судей? Расправы с предателями? Все это, как в России, сопровождалось, разумеется, виселицами и расстрелами, но общего восстания — на что надеялись отчаянные головы в Ирландии и в России — поднять не удавалось, не было ничего похожего. И сейчас, в восемьдесят девятом году, когда здесь, в Болгарии, я вспоминаю о русских несчастных фениях, до восстания далеко, как никогда. Они ничего не приблизили, но только отдалили.

Что я мог ответить посланцу из Петербурга? Я почувствовал муки этих людей, видел их будущую святость, преклонялся перед обаянием их энергии, но сказать, что я с ними, не мог, ибо они не хотели понять главного: что же дило затяжке. Под деликатным предлогом я отказался склонять Европу в пользу «Народной воли» и взять на себя представительство. Посланец, кажется, был мало огорчен, и мы еще долго с ним беседовали о всякой всячине: где лучше поселиться, в какой лавке покупать вино, в какой табак, с кем из русских следует подружиться, а кого избегать. Потом пошли гулять, был чудесный вечер, и мы совершили длинную прогулку по бульвару до Ропы, через мост и затем по набережной до парка Мон Репо.

Глава восьмая

22 мая скончалась императрица Мария Александровна. Это не было неожиданностью, императрица долго и безнадежно болела, но смерть случилась внезапно: не успели позвать детей. Царь находился в Царском Селе. Спустя полтора месяца Александр тайно обвенчался с княгиней Долгорукой. Об этом никто не знал, кроме самых преданных друзей: графа Адлерберга и генералов Рыльева и Баранова, последние двое были шаферами. Венчание про-

исходило в уединенном зале Большого Царскосельского дворца, о чем не подозревали ни караульные офицеры, ни слуги, ни генерал Ребиндер, комендант дворца. Александр был в голубом мундире гвардейского гусара, Долгорукая в скромном суконном платье цвета беж.

Протоиерей, глядя остекленело на молодых, возгласил:

— Обручается раб божий, благоверный государь император Александр Николаевич с рабой божией Екатериной Михайловной. — Сказать «облобызайтесь» у протоиерея не хватило духу.

Через несколько дней Александр вызвал Лорис-Меликова. Доклад Лориса, очень серьезный, содержащий капитальные предложения, с которыми Александр успел познакомиться, был делом второстепенной важности, а первостепенной — извещение графа о том, что произошло 19 июля. Наследник, лечившийся ваннами в Гапсале, пребывал в неведении. Россия ни о чем не догадывалась. Двор будет поражен, когда спустя месяц княгиня Долгорукая — теперь светлейшая княгиня Юрьевская — отправится в Ливадию в одном поезде с царем! Умнейший совет в запутанной ситуации мог дать один человек: Михаил Таризлович. Царь ждал его с нетерпением. Теперь уже и враги Лориса должны процедить сквозь зубы: «Ты победил, галилеянин!» В стране воцарилось спокойствие. Покушения, слава богу, вот уже полгода как прекратились, да и о других, мелких проделках злоумышленников не было слышно. Если к первому марта по всей империи находилось в производстве по государственным преступлениям 1087 дел, то нынче сократилось наполовину: всего 500. Сам факт вычитан из доклада Лориса. Число пересмотренных дел также значительно сократилось: 65. Замечательно! Можно сказать, что впервые за последние годы в этой области наведен порядок. Лорис уменьшил количество подпаздорных — несмотря на сопротивление Третьего отделения, — доказав, что пышущая система не может удовлетворительно осуществлять надзор за слишком большим числом лиц, что ведет к увеличению побегов и укрывательства. Не расставлять пальцы как можно шире, чтобы схватить больше, а собрать их в кулак и держать крепче. Ради этой идеи Лорис добивается главного: объединения действий жандармерии, полиции и судебных органов. По его мнению, Верховная распорядительная комиссия выполнила свой урок, ее следует упразднить, так же как Третье отделение, а власть сосредото-

чить в руках министерства внутренних дел. Bravo! Смело! Недоброжелатели Лориса вновь станут говорить, что он загрызает с обществом, ищет популярности, как говорили, когда он валил графа Толстого с поста министра народного просвещения, когда устраивал ревизию Третьего отделения или жаловал 2500 рублей студентам на оплату слушания лекций. Говорить можно что угодно, но истина очевидна: впервые после кошмарных тревожений Россия задышала спокойно. И как ясна теперь глубина пронзительности, поставившей к государственному рулю кавказского генерала!

Когда Лорис вошел, Александр заставил его поклясться, что сообщенное ему останется тайной. Затем объявил о своем новом браке. Лорис слушал с умнейшим, все понимающим, сочувственным и братским выражением лица.

— Михаил Тариевич, ты больше, чем кто-либо, знаешь, что моя жизнь в опасности. Я могу быть убит завтра же. Если это, не дай бог, случится, не покидай дорогих мне людей. Я рассчитываю на тебя.

Лорис-Меликов преданно и в молчании, прилестившем минуте, склонил голову. Хитрец, он не хотел касаться словами этой нежной материи, где всякое движение могло ранить государя. Но Александру не терпелось выманить у умнейшего человека мнение: не о самом поступке, разумеется, а о том, что за сим последует.

— Признайся, ты несколько поражен?

— Благородство вашего величества не может поражать, оно беспредельно, а стало быть, всегда естественно.

— Но ты, как умный человек, Михаил Тариевич, не можешь не знать, — заговорил Александр, слегка раздражаясь, — что не все обнаружат такое же хладнокровие, как ты, узнав о событии.

— А покорному дитяти все кстати! — ответил Лорис пословицей. Сейчас же его смуглое лицо как бы окаменело и напряглось. — Если говорить всерьез, ваше величество, то нынче как нельзя более удобный момент для проведения намеченных преобразований. Ибо одно впечатление ослабляет другое...

Заговорили о деле. Листая страницы доклада, скользая глазами по строчкам: «Я далек от мысли, что преступная деятельность социально-революционной партии прекратилась, а тем более не смею приписывать исключительно трудам комиссии...» — Александр думал не столько о том, что читал — он уже все это читал раньше и про-

думал, — сколько, с особенным покойным удовольствием, о Лорисе: «Светлая голова!» Министром внутренних дел предполагалось, разумеется, быть Лорису. Товарищами министра — Каханову и Черевину. Превосходные кандидаты, дельные люди, главная гарантия дельности: рекомендация Лориса. Функции Третьего отделения передать департаменту полиции. Благороднейший человек! Честное солдатское сердце! Отказаться от неограниченной власти, какую давала Верховная комиссия, перейти в ряд министров...

— А не кажется тебе, Михаил Таризлович, что будешь несколько попижен в чине?

— Думаю о пользе дела, но не о чинах, ваше величество.

Хорошо сказано. Славный ответ. Кабы все на Руси думали о пользе дела — далеко бы паша страна продвинулась.

Вскоре приехал из Гапсала последиик. Разговор был тяжел. Но наконец все позади, кончилось, забыто, и 17 августа Александр и княгиня Юрьевская с двумя старшими детьми отправились — к изумлению свиты, адъютантов и секретарей — одним поездом в Крым.

Утро 17 августа было ясно, холодновато. Намекало на осень. Андрей зябнул, он поднялся рано, почью не спал, брел длинным Вознесенским проспектом, набережной Фонтанки и, не торопясь — заставляя себя не торопиться, потому что раньше известного срока появляться там, у моста, невозможно, — вышел на безлюдную, чисто метенную Гороховую. Царева улица! По Гороховой скачет царь из дворца на Царскосельский вокзал и с вокзала во дворец. Михайлов еще в начале лета приметил: улица замечательная. Особо замечательным показался старый арочный мост, каменный, что перебрасывал Гороховую через Екатерининский канал. Дворник срочно уезжал на юг, все по тем же делам: добывать деньги, завещанные Лизогубом. Приготовленные мины под мостом поручили Желябову.

В июле катались на лодке, пели, дурачились, шутили с бабами, полоскавшими на плотках белье, и приглядывались к высоте арки, кладке стен, мерили дно. Глубина порядочная, веслом не достать. Тогда, в июле, на первой рекогносцировке были Баранников, Пресняков, одесский малый Макар Тетерка, старый приятель, Грачевский

и Андрей сам-пят. И еще Васька Меркулов, шестой, тоже одесский паренек, только что приехавший из Одессы вместе с Верой. Думали, гадали: куда закладывать динамит? Кладка каменная — страшная, циклопическая, без большой работы, сверленья и шума мипу не заложить, а шуметь на Гороховой нельзя, кругом штики рассыпаны. Андрей предложил: сядет под аркой с ящиком динамита, зацепится как-нибудь и взорвет с собой вместе. Предлагал просто, по-деловому и обсуждалось по-деловому: какой выигрыш для партии, какой проигрыш, какой риск? Техники Кибальчич и Гришка Исаев сказали, что гибель Андрея, конечно, неминуема, а вот погибнет ли царь, неясно. Вероятность небольшая. Кибальчич подсчитал: нужно пудов семь, не менее. Кто же такую глыбищу и в каком ящике удержит? Андрей взглянул на Сою: лицо как мертвое, а когда Кибальчич заговорил — вдруг зарозовело. Но ни слова не вымолвила, даже не посмотрела. Решено было опускать динамит на дно. Упаковать в гуттаперчевые подушки и — туда, под арку. Через несколько дней Пресняков, Тетерка и Андрей взяли лодку, погрузили на дно четыре гуттаперчевые подушки, укрыли рогожей и отправились на взморье, потом вошли в Фонтанку, проплыли вдоль набережной Галерного острова, день был жаркий, коломенские обыватели прятались от солнцепека под тень домов, вошли в Крюков канал и медленно повернули направо, в Екатерининский. Пресняков, полудежка на корме, отчего-то особенно веселился, насвистывал — на него непохоже, он ведь мрачен обычно, — перебранивался с бабенками на берегу, и все это отчетливо запомнилось: солнечный блеск, скрип весел, запах рогожи, веселое, худое лицо Преснякова. Вплыли под тень моста, Андрей быстро свалил за борт связанные проволокой подушки, конец провода держал в руке и, когда причалили к прачечной, Пресняков выпрыгнул из лодки на плот — поглядывал, пет ли бутырей¹ поблизости, — а Андрей прикреплял провод ко днищу плота.

Пресняков насвистывал: «Как на Шпалерной в трактичке...»

Макар Тетерка был, как видно, сильно взволнован, почти не разговаривал, усердно греб и, глядя на Андрея, все морщил с какой-то напряженной, безмолвной преданностью свое и без того сморщенное, рябое лицо. Ма-

¹ Б у т ы р ь — городской (жарг.).

кар — человек верный. Еще в Одессе Андрей это понял; он из бедной казацкой семьи, по профессии резчик по дереву, любит «художество», даже учился в Одессе в скульптурной мастерской. Но главная фанатическая любовь Макара: к будущему социализму, о котором он много книжек перечитал, к революции и даже, точнее сказать, к людям революции. Вот сказал бы ему Андрей тогда: прыгай, Макар Васильевич, в канал, а провод в зубах держи — и он бы, не думавши... И приезд его летом был как пельзья нужен. Людей-то убавляется. Запомнился Пресняков с его свистом, балагурством, потому что — последний раз виделись. Двадцать четвертого июля Андрея Корнеевича, «потрошителя шпионов», схватили на Среднем проспекте — выдал кто-то из рабочих, и уже есть подозрение, кто именно, — потому что полицейский был в партикулярном, помогли ему швейцар с дворником. Пресняков отстреливался, ранил двоих, одного смертельно — по сведениям Клеточникова, швейцар умер неделю назад в госпитале, — по все же беднягу Андрея одолели.

А в начале июля арестовали Ваничку Окладского. Уж вовсе странно: жил Ваничка по фальшивому виду на имя Ивана Петровича Сидоренко, жил очень скромно, расчетливо, ничем взбудоражить властей не мог. И вдруг — арест! Клеточникову пока что дознаться не удалось, по как будто дело связано с проверкой паспортов. Даже такой слух прошел: будто власти додумались паспорта всех без исключения приезжих подвергать проверке, то есть посылать запросы на места, где паспорта выданы. Слыша обо всех новомодных хитростях и кознях Лорис-Меликова, Андрей приходил в ярость: и этого сладкогласного фараона считают либералом! Преснякова и Ваничку жалко безмерно, главная сила была: свои люди среди рабочих, особенно Пресняков. Появились, правда, новые помощники: Макар с Васькой, Валентин Коковский, вновь возникли старые друзья — Андрей Франжоли, Мартын Лаганс, преданные бесконечно. Но такой железной руки, такой ясной беспощадности, как у Андрея Корнеевича... К этим неприятностям прибавлялись другие. Месяц назад докатилась наконец весть из Европы, ответ Драгоманова. Нет, не согласен шаповиный батько представлять «Народную волю» за границей. По причине дюже большой занятости научной работой и некрепкого здоровья. Представителем партии в Европе назначили Льва Гартмана. Конечно, не тот авторитет, не те возможности, связи, по

выхода нет. Зато человек свойский. Обидно было за письмо к «батьке» — эва расшаркивался! Соня сразу сказала: не согласится. Причины предполагались разные: упорный федерализм Михайлы Петровича, известная русофобия, возраст, здоровье, характер...

Но Андрею мерещилась — ко всем другим причинам — одна ядовитейшая: момент неверия. Ведь все мимо, все невпопад. Из пяти выстрелов почти в упор ни разу не попадаем. Взрывом калечим свитский поезд, другим взрывом — кордегардию. И полное болотное оцепенение в ответ, даже круги не бегут: истинное болото.

Нужен, нужен, как воздух, как кислород, этот недосягаемый мистический п р я н и к! Иначе — гроб, все не имеет смысла. Превратиться в смехотворных неудачников, над которыми будет потешаться история.

А если п р я н и к произойдет — все оправдается, переменится мгновенно, ибо этого жаждут, может быть, и бессознательно, повсюду, и трясина заколыхается, и Европа зашевелится, и Драгоманов спохватится: «Зачем же я не согласился таких людей поддерживать?» Но поздно, дорогой Михайла Петрович, раньше надо было думать, а теперь — извиняйте, у нас другие планы.

Андрей, задумываясь о чем-то особенно неприятном, как ответ Драгоманова — даже письма не прислал, на словах! — не замечал того, что идет быстрее, чем нужно.

Нельзя было являться к Каменному мосту ранее половины восьмого. Остановился, поглядел, как праздный гуляка, по сторонам, побрел не спеша все той же набережной к Чернышеву мосту. Теперь начало подниматься волнение, и ни о чем больше думать не мог. Договорились с Макаром встретиться у Чернышева моста и оттуда идти назад к Каменному, к плотам. Сесть там и мыть картошку. Макар должен принести корзину с картошкой, а у Андрея — его рабочая, мастеровая сумка, где спрятана электрическая батарея. Решено было так: дело берут на себя двое, он и Макар. Соединить проводники с батареей должен Андрей.

Возле Чернышева моста Макара не видно.

Андрей прохаживался по набережной, стараясь не обнаруживать нетерпения и тревоги, возраставших с каждой минутой. Что случилось? Арестовали ночью, что ли? Половина восьмого, надо бежать сломя голову к Каменному, иначе — конец. А вдруг Макар не понял и сразу пошел к Каменному? В Петербурге он недавно, заблудил-

ся, перепутал. Но если побежать сейчас туда, Макар явится к Чернышеву мосту, не увидит Андрея и растеряется. Андрей не знал, как поступить. Без двадцати восемь он бросился бежать к Каменному, наплевав на Макара с его картошкой — черт с ним, теперь уж не до маскировки! — и вдруг крик «Тарас!» остановил его.

Макар вывалился из-за угла с тяжелой корзиной, от которой гнулся набок, держа ее в правой руке, левой махал Андрею. Подбежал, потный, взъерошенный.

— Ты что?.. — Гнев сжимал горло.

— Часов-то нету... время... Перепутал... — бормотал Тетерка.

— Тетеря ты, а не Тетерка! — гаркнул Андрей. — Попли!

Двинулись быстрым шагом, почти побежали по набережной. Макар задыхался, сопел, Андрей стискивал кулаки: бог мой, был бы здесь Пресняков! Да кто угодно: Степап, Дворник, хоть Вапья Окладский... Нету людей, нету, нету. Сам виноват, надо было брать Семела, Грачевского, они вызывались. Вот и Каменный мост, горбатая арка. И по мосту скачет царь. Веселым, бешеным скоком летят кони, сверкает что-то лакированное, блестящее, черное, мелькнуло красное, башлыки казаков — проскакали, исчезли. В Крым, к теплему морю.

— Вот и все, братец мой, — сказал Андрей. — Протетерились...

Макар вдруг бросил корзину, закрыл руками лицо, сел на корточки. Плачет, что ли? Злоба и жалость переполняли Андрея, но не к нему, к этому плачущему, с мелким, сморщенным личиком педотепы, а — к себе, ко всем, кто так жаждал, и надеялся, и делал, что мог, не заботясь о жизни и смерти.

Спустя несколько дней подплыли на лодке под мост, поздней ночью — ночи стали темны, — и кошками пытались поднять гуттаперчевые подушки со дна, бились долго, ничего не вышло. Так и уплыли попусту. Андрей был мрачен: все не ладилось, рушилось, а время шло, люди гибли. Единственная радость: в конце лета вышел второй номер «Листка Народной воли» со статьей о Лорисе. Написал Михайловский, зло: «благодарная Россия изобразит графа в генерал-адъютантском мундире, но с волчьим ртом спереди и лисьим хвостом сзади». Разбор всей действительности

сти Лориса отменный. С треском даются либеральные обещания, а на деле: высылки, шпионство, в предварилке оскорблению подвергаются женщины, Малиновская сошла с ума... «Листок» вышел, про шумит, испортит графу и кое-кому настроение, вызовет мигрень, приступы грудной жабы — ну, а что дальше?

К сентябрю мысли Андрея — по-прежнему мрачные — приняли новое направление. Отовсюду приходили вести о голоде, бескормице, повальных болезнях. Голод может стать вернейшим помощником революции. Идея крестьянского восстания и раньше завораживала Андрея, он видел себя новым Пугачом, мечтал, но все казалось невыполнимым, народ был прибит к земле, сыр, неподвижен, и только теперь как будто начиналось движение — от несчастий, от голода! — и загоралась надежда. Андрей собирал сведения, узнавал, где мог, выпрашивал крестьян, мастеровых, торгашей на рынках, извозчиков, мелких чиновников и бродяг в трактирах. Картина российской жизни возникала страшноватая. Дворник, приехавший с юга, говорил, что в Екатеринославской губернии крестьяне во многих селах все побросали и разбрелись с семьями кто куда. На Самарщине голод. Саратов, Камышин, Царицын перепознаны пришлым людом, ищут работы, но работы нет. На юге свирепствуют саранча и жучок, хлеба уничтожены, неимоверный падеж скотины. В Орловской губернии едят мякину, а в Пермской — голодная смерть среди татар...

Да тут еще болезни! Чиновник, хохол с Полтавщины, рассказал, что дифтерит душит без пощады, в деревнях мрут сотнями. Один студент из новых знакомых, Коля Рысаков, был капикулами на родине, где-то на севере — и там жучок, посевы поедены, людей мучит сибирская язва, а трупы зарывают халатно, сам видел, едва землей присыпают, чтоб комиссии глаза отвести. Когда же лучшее время для бунта? Все бунты на Руси — голодные да холерные. Бунтуют кое-где самочинно, когда уж сил нет терпеть: в западных краях, на Черниговщине, на Смоленщине, то бунт при межевых работах, то при опиисе крестьянского имущества, в Великолуцком уезде битва с целой военной командой, старшина застрелен, много раненых, пристава — кольем...

И Андрею с совершенной ясностью представлялось, что расколыхать это море — то ли мощным кличем, примером вожака, то ли призывком, то ли новой ка-

кой-нибудь неудачной войной — и не остановишь, города с кремлями своротит, мосты снесет, затопит. В июньской книжке «Юридического вестника» в уголовной хронике открыто писано: деревня оголодала, обнищала, и оттуда покатила по Руси вся эта голь перекатная, рвань пемытая, беспаспортная, что толпится и гибнет на наших пристанях и ватагах. У диких зверей, сказано, есть норы и логовища, а у этого одичалого люда нет ничего. Им Сибирь не страшна, они туда стремятся. Голодный человек ничего не боится. Обобранные крестьяне, фабричный яростный люд — вот армия! Стать во главе, двипуть на Питер — затрещит империя.

— Покушения отложить на какое-то время... А? Как считаешь? — Еще ни с кем не советовался, никому не высказывал крамольной мысли, Соне первой. — Проклянут меня наши ортодоксы?

В октябре поселились вместе, по 1-й роте Измайловского полка. Квартира небольшая, две комнаты с кухней, но, что удобно: один выход на улицу, другой во двор, а со двора вход в табачную лавочку. Соня поселилась под фамилией Войновой, а он — ее брат, Слатвинский Николай Иванович. Что решать будем, госпожа Войнова, куда подадимся? Опять землю рыть, динамит варить или же по старому призыву — парод бунтовать? И Соня устала от неудач. Сказала, что готова с ним — на Волгу, на Дон, куда угодно, но Комитет, наверно, решит иначе.

Андрей потребовал срочного созыва Комитета.

На другой день оповестили всех, кто был в городе. Никто, кроме Сони, не догадывался, зачем понадобился срочный сбор, знали только: по просьбе Тараса. Андрей начал с того, что сказал кратко о положении в крестьянстве, мятежных настроениях, о том, что Россия близка, по его мнению, к восстанию, как никогда. Говорил властно, уверенно, расхаживал перед столом, а все сидели и слушали в напряженном молчании.

— Если сейчас остаться в стороне, не подхватить этих настроений, не откликнуться на них — то есть не помочь народу свергнуть власть, которая его душит, — русский народ нам этого не простит. Мы потеряем всякое значение в его глазах и никогда уже его не приобретем. Крестьянству надо внушить, что тот, кто самодержавно правит страной, ответствен за жизнь и благосостояние населений, — отвечает головой, понимаете? — и отсюда право на восстание, коли правительство не может защитить на-

род от голода, вымирания. И еще вдобавок отказывается помочь народу средствами государственной жизни. Мы обязаны воспользоваться моментом истории. Воспользоваться неурожаем, голодухой, мором, жучком, сарангой, бескормицей, падежом скота. Все это нам на пользу, на благо, как ни горько говорить!

Речь Андрея обладали особым свойством: их не удавалось перебивать. Заставлял себя слушать. И вот сейчас: по лицам видел, что товарищи пасторожены, сурово суняты, хотят возразить, но — молчат.

— Я сам отправлюсь в приволжские губернии и встану во главе крестьянского восстания. Я чувствую в себе силы: смогу. Правительство надо заставить признать права народа на безбедное существование. А будет упорствовать — долой, смести его! Знаю, вы поставите мне вопрос: а как быть с покушением? Отказаться от него? И я отвечу: нет, ни в коем случае. Но я прошу у вас отсрочки. Ибо именно сейчас, в октябре восьмидесятого года — тот самый момент истории.

Первой, и очень решительно, высказалась Фигнер:

— Я против отсрочки!

Ее поддержали все подряд: Исаев, Баранпиков, Кибальчич, Тихомиров, Опанина, Корба, Грачевский, даже Дворник... Говорили скупно, чувствовалась неловкость: «Я против... Я тоже против... И я...» Андрей смотрел на суровых товарищей, верных ему до последнего вздоха, и думал: «Трудно отказываться от того, чему в жертву отдана жизнь!» Он предполагал, что так и будет. Но должны правильно понять: это не усталость, не отчаянье от неудач, а весьма трезвое соображение и, если хотите, холодный расчет.

Верочка, когда возбуждалась, краснела пятнами, глаза расширялись, и непонятно было — то ли это гнев, то ли изумление.

— Как можно прервать сейчас то, ради чего потрачено столько сил, трудов? Ради чего погибли товарищи? Смысл нашей работы — как раз в непрерывности возмездия!

— Тарас, а ты уверен в том, что нас не схватят завтра, сегодня? — спросил Исаев. — Отсрочка — гибель. Мы рискуем не выполнить то, что обязаны выполнить: казнить царя.

— Придут на наше место другие, — сказал Андрей.

— Не очень-то густо приходят. Мы больше терлем, чем находим. Нет, если не сделаем мы, никто не сделает!

Дворник сказал:

— Я, конечно, понимаю Тараса: мы должны расширять нашу деятельность в пароде... Это верно, разумеется, и в таком с-смысле я с-согласен...— Дворник запялся сильней обычного и вообще был смущен.— Но говоря в целом: я тоже против отсрочки...

Соня, которая высказалась в поддержку Желябова, предложила вопрос баллотировать, по Андрей отказался: не имело смысла. Он подчинился. Вечером обсуждали с Соней всю эту историю, было чувство какой-то саднящей и несколько неожиданный обескураженности: неожиданной оттого, что уж больно единодушно отвергли. Понимал, что отвергнут, но — чтоб ни один не поддержал!

— А знаешь, Соня, еретическая мысль,— вдруг сказал Андрей.— Ведь в нашем Комитете я единственный — сын крестьянина.

— Почему же единственный?

— А, вот и ты не задумывалась! Как же: Дворник из дворян, ты из дворян, Семен из дворян, Марья Николаевна то же самое, Михайло сын фельдфебеля, Тигрыч — воеводы фельдшера, Кот-Мурлыка, Фигнер, Корба, Суханов — все из дворян, Баска, Кибальчич — дети священников... Ну, кто еще? Мартын Ланганс из пемцев-колонистов, Богдапович из дворян... Я один крестьянский сын. Больше нема.

— Если ты полагаешь...— заговорила Соня внезапно чопорным тоном, какой изредка прорезывался у нее и Андрея смешил,— что мы меньше думаем о народном благе, то это заблуждение. Для тебя неппростительное.

И взгляд сделался почти высокомерным, «губернаторским». Он обнял Соню, засмеялся, уже успокоенный. Конечно, это шутка! Но ведь то, от чего отказались, придет само, никого не спросясь.

Он умел отрезать свои псудачи. Отбрасывать даже память о них. (Правда, память, совсем исчезающая, вдруг печально воскресала.) Вернувшийся с юга Дворник привез не только порядочную сумму денег, около двенадцати тысяч, собранных у жертвователей, но и чрезвычайно ценные сведения для документов. Эти документы, паспорта на имя крестьян Кобозевых, мужа и жены,

предназначались для нового предприятия на Малой Садовой. (Баранников, гуляя однажды по улицам — а гулять он любил, одевался франтом, в цилиндре, с тросточкой, — обнаружил подходящее помещение на Малой Садовой, сдававшееся внаем. Решили затеять тут предприятие наподобие одесского, на Итальянской улице.) И вот часть денег, привезенных Михайловым, пошла на это дело, другая часть — на устройство типографии.

А в конце месяца, по слухам, должен был начаться суд. От него зависело многое. Как покажет себя Лорис? И сам царь? И есть ли действительно поворот во внутренней политике или же все — вздор, говорильня? Пожалуй, исход суда определял и царскую судьбу, о чем никто не догадывался. Царь и его генералы полагали, что подпольная партия стараниями Гришки Гольденберга обнажилась догола, одни схвачены, других схватят завтра, и долгое затишье подтверждало такой жизнерадостный взгляд, а люди Комитета, помнившие о приговоре царю, который они вынесли в августе прошлого года, лишь смутно чуяли — и никому не говорили о том, — что в исходе суда крылся роковой для царя смысл. Если проявит великодушие, не даст воли кровожадности — тогда, может быть, это будет воспринято как знак... А если станет мстить, тогда — казнь!

25 октября процесс начался. Объявлено было так: дело о дворянине Александре Квятковском, крестьянине Степане Ширяеве и других, преданных военному суду временно командующим войсками гвардии и петербургского военного округа по обвинению их в государственных преступлениях. Судилось шестнадцать человек: Квятковский, Ширяев, Пресняков, Окладский, Тихонов, типографщики Бух, Цукерман, Иванова, Грязнова, связанные с убийством Кропоткина Кобыляцкий, Булич, Зубковский, предатель Дриго (выдал Лызогуба), Мартыновский и сестра Верочки Евгения Фигнер, Зунделевич.

Через день стало известно, что Степан произнес прекрасную, полную достоинства речь о второстепенности террора для партии, о том, что главное, к чему стремятся народовольцы — признание верховенства народа, созыв Учредительного собрания. И другие держались неплохо. Это была первая — словесная — схватка народовольцев с правительством, и народовольцы, кажется, ее выигрывали. Некоторое дрожание проявляли люди, далекие от партии: Булич, Зубковский, первая бабенка Гряз-

нова. Почему к революционерам присоветовали предателя Дриго, было неясно. Но Квятковский, Степа Пресняков и даже молодые рабочие Окладский и Тихонов держались героями! И, конечно, Соня Иванова — «Ванька» — показала замечательное мужество. Впрочем, другого от нее не ждали.

И все же это были дни горя. Товарищи погибали, и спасти их было нельзя.

30 октября, накануне объявления приговора, Андрей пришел, как условились, на квартиру Михайлова, в дом Фредерикса в Орловский переулок. Было несколько неотложных дел. Михайлов показал письма, только что полученные из крепости тайным путем: одно от Ивановой, другое от Преснякова. Иванова передала некоторые материалы суда, защитительную речь Степана, а сама записка от нее была краткой: «...Относительно себя самой и других сообщу, если будет возможность, теперь же голова у меня совсем пуста, так что я даже ничего не могу сообразить. Трудные минуты приходится переживать, мои дорогие. Писать больше не могу. *Ваш Ванька*».

— Их распустили до приговора, — сказал Дворник. — Объявят завтра, в девять вечера. Вот письмо Преснякова.

Письмо было паспех, карапдашом. На Преснякова навешивали больше, чем на других: убийство двух шпионов и еще убийство, при вооруженном сопротивлении, швейцара Степанова. Где ж тут спастись? Но Пресняков на что-то надеялся. Просил прислать денег, просил устроить братишку в ученики к мастеру. Просил в случае казни ответить как следует врагам, «только без пролития посторонней невинной крови». И в заключение так: «Не знаю, как я пойду на виселицу, желания особого жить нет, да и умирать, с другой стороны, не хочется, помилования просить не буду. Ну, затем прощаюсь со всеми товарищами обоих полов — обнимаю всех в последний раз. Живите, наслаждайтесь, наполняйте землю последователями и обладайте ею. *Андрей*».

И была еще маленькая записка, где говорилось о предателе Янке Смирнове, выдавшем Андрея. «Смерть шпионам вообще, а рабочим в особенности... Прощайте, друзья, до встречи в будущей жизни».

Андрей усмехнулся: «в будущей жизни...» Хотелось сказать: а все же мало мы знаем друг друга!

В трактире на Лиговке ждал Клеточников.

Сегодня — день условленной встречи, по почему-то не в обычном месте, на квартире Натальи Николаевны. Дворник объяснил: Наталья Николаевна больна. А трактир — верный, как дом родной. По дороге на Лиговку Дворник выговаривал Андрею: наябедничал Валька Коковский. Да, было дело. Каюсь, виноват. Дней десять назад, еще до начала суда, Андрей с Коковским попали на сходку студентов. Настроение было — хуже некуда. Уже шли разговоры о суде, предрекали виселицы, и мысли Андрея были совсем не здесь, где шумела молодежь. Выступил он вяло, неудачно. Зато Валентин работал за двоих! С этим молодым парнем Андрей особо сблизился в последнее время, Валентин стал помощником во всех предприятиях с рабочими и в издании «Рабочей газеты». Вдруг в разгар споров отворяется дверь и появляется усатая рожа местного дворника. Валентин мгновенно перестроился и тем же громким голосом продолжал речь о каком-то фельетоне «Голоса». «Господа, что у вас тут за собрание?» Хозяин объяснил, что он сегодня империалист, пригласил гостей. Рожа пробубнила: «Как вам будет угодно, но я должен донести в участок. Ныпче этого не дозволяется...» Ушел. Как быть? Единственный нелегальный среди всего общества — Андрей. Ему надо исчезать немедленно, потому что дворник приведет околоточного. И вот это-то — бежать сейчас же, как зайцу — представлялось Андрею невозможным. Понял, что каждая секунда грозит гибелью, и не мог заставить себя подняться и уйти. Наоборот, вдруг возникло желание, какого не было минутой назад — разговаривать, шутить, он оживился, стал рассказывать какую-то историю из одесской жизни. По лицам присутствующих видел, что люди испытывают от нетерпения, страха за него, всех охватывает безумное раздражение, но ничего не мог поделать с собой. Наконец Валентин схватил его пальто, набросил на плечи и крикнул, толкая к двери: «Да уходите же, черт возьми! Назло вы, что ли?» Ушел благополучно. Через несколько минут явился дворник с околоточным.

— Уж ты, паверно, смылся бы в тот же миг? — спросил Андрей.

— Разумеется, — сказал Михайлов.

— Поэтому ты великий революционер, а я — неисправимый дилетант. Впрочем, в одном я уверен: на эшафоте я буду держаться великолепно! — И Андрей шутли-

во стукнул приятеля по спине, дразня его. Дворник очень не любил шуток на эти темы.

Стал поучать Андрея: тот обязан был думать о других, кого мог скомпрометровать, если б его арестовали. Все верно, азбучно, не подлежит обсуждению, но бывают минуты затмения разума: он затмевается не безумием, нет, а какой-то яростной вспышкой самолюбия. Так невыносима эта вечная несвобода, эта ужасающая, ежеминутная подчтенность ничтожным обстоятельствам!

— Я этого не замечаю, — сухо сказал Михайлов.

Он шлп под сильным дождем.

— Дождя тоже не замечаешь? — спросил Андрей.

— Нет, — ответил Дворник.

Пришлось побежать и спрятаться в подворотню. Дождь был холодный, тяжелый, почти уже и не дождь, а снег. Через полчаса добрались до Лиговки, вбежали в трактор, гудящий народом, в дым, в толкотню. Хозяин был пемец, какой-то родственник Богдановича, человек услужливый и приятный. Повел по деревянной лестнице наверх, на второй этаж в особую, упрятанную в конце коридора комнату. Николая Васильевича еще не было. Половой притащил снизу чай, закуску и бутылку легкого немецкого вина: от хозяина.

Пока ждали Клеточникова, Андрей рассказывал о Валентине. Парень замечательный, преданный, горит делом, и не в поэтическом смысле, а в истинном: болен, стареет. Все принимает близко к сердцу. Ведь Преснякова, его товарища, арестовали у него на глазах, и он видел, что — по знаку Яшки Смирнова, который считался пресняковским другом. Яшка себя спасал: ему грозила административная ссылка, и вот он от нее откупился. Валентин был потрясен: «Что же это за люди? Есть ли у них душа?»

И как раз во время разговора о Преснякове и Яшке вошел Клеточников. Андрей не видел его месяца четыре. Николай Васильевич подобрел, слегка округлился, у него был вид мелкого, довольного жизнью чиновника.

Он повесил мокрую шпатель на вешалку, аккуратно расправив плечи, на двух крючках, чтобы шпатель сохла и не портилась, стряхнул воду с фуражки, положил ее бережно на стул, потом стал перчатки стягивать.

— Если не ошибаюсь, помните Андрея Корнеевича Преснякова? — От Клеточникова пахло, как обычно, приторными духами. Глядя на этого человека с маленькой

жалкой бородкой, маленькими руками, с каким-то мягко-податливым взглядом из-под стекол в золотой оправе, Андрей всегда удивлялся: откуда что берется? — Так вот, могу сообщить, господа, если не знаете: сегодня утром Пресняков в последнем слове сказал, что признает свою солидарность с «Народной волей» и разделяет ее идеалы...

Андрей с Дворником вскинулись: откуда известно? Один из чиновников департамента был на суде, только что рассказал, полтора часа назад. Очень возмущался. Почти все, говорит, держались смело, нахально, не просили о снисхождении. Люди совершенно пропащие. Этот чиновник промышляет репортерством в какой-то газете, кое-что записал, а Николай Васильевич у него сдул.

— Знал, что вам будет интересно. Стиль, разумеется, наш, департаментский... — Николай Васильевич достал из кармана видмундира листок, сложенный вчетверо и прищепленный с помощью маленькой шпильки к другому листку. Все было аккуратно расшпилено, развернуто, и Николай Васильевич стал читать: — Квятковский: Длинная речь с попыткой оправдать свои злодеяния. Заявил, что лучше смерть в борьбе, чем нравственное и физическое самоубийство. Степан Ширяев: Мы принадлежим к разным мирам, соглашение между которыми невозможно. Как член партии, я действовал в ее интересах и лишь от нее да от суда потомства жду себе оправдания. Говорил с особенным, наглым спокойствием. Иванова: Неприятная внешность, фанатичка. Единственное желание, чтобы меня постигла та же участь, что и моих товарищей, хотя бы даже смертная казнь. Говорят, прижила ребенка от Квятковского. Хорошенькие нравы в этой среде... Ну, тут идет комментарий по сему поводу, малоинтересный... Мартыновский, Цукерман и Бух ничего не имели прибавить в свою защиту. Тихонов и Окладский: вызывающе дерзко. Тихонов выкрикивал неуместные слова, председатель суда его прерывал. Тихонов: Я знаю, мне и моим товарищам осталось несколько часов до смерти... Окладский: Я не прошу и не пуждаюсь в смягчении моей участи. Напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это как оскорбление... Об остальных — ничего.

— Вот тебе и Ваничка Окладский, — сказал Дворник. — Мы привыкли: Ваничка, Ваничка. Сделай то, принеси это... А он — герой.

— Вапичка человек общественный, — сказал Андрей. — Как мир, так и оп. Видит, что стоят насмерть, не гнут-ся, ну и он — чтоб не отстать.

Николай Васильевич бумажку передал Дворнику, а другую, со шпилькой, положил обратно в карман.

— Говорят, будет пять виселиц.

— Все тот же репортер?

— Да, он близок ко второму судье, полковнику Баб-сту, чуть ли не родственник.

Затем Николай Васильевич позвал несколько шпион-ских фамилий и перешел к главному: он добыл наконец известный «Обзор социально-революционного движения в России», сделанный по заказу бывшего Третьего отдела и изданный секретно в небольшом количестве экземпляров. Долго Николай Васильевич раздобывал этот плод полицейского исследования, и вот — удалось. Сочине-ние примечательное. С помощью статистики автор, не-кто Мальшинский, опровергает многие предрассудки: о том, что революционеры в большинстве мальчишки, ин-теллигенты, инородцы и что вообще вся крамола вывезе-на из-за границы. Все это разбивается цифрами. Боль-шинство преступников дает Ярославская губерния, затем Петербургская, Курская и так далее. Православные со-ставляют громадное большинство, католики только двена-дцать процентов, а процент евреев совпадает с процентом еврейского населения: четыре процента. И много другого, занимательного. Обзор надо, конечно, печатать в чет-вертом номере «Народной воли», который сейчас готовится, но тут загвоздка: как быть с автором? Ведь это тот са-мый Мальшинский...

— Тот самый, непременно, — кивал Николай Василье-вич. — О ком весною предупреждал вас, Петр Ивано-вич.

Клеточников, умница, золотой человек, еще в марте сообщил: в Европу посылают агента, будет издавать в Женеве якобы революционную, а на самом деле провока-торскую газетку «Вольное слово». Послали предупрежде-ния Лаврову и Драгоманову. Лавров внял, а Драгоманов заносчиво отозвался: мол, признает за собой право дейст-вовать по собственному усмотрению. Андрей тогда силь-но разъярился: это было в конце лета, уже после того, как жевевский «батяка» отказался быть представителем пар-тии. Ладно, не хочешь связывать себя с террористами, но не связывайся, черт побрал, с полицией! Вопрос таков:

публикуя «Обзор» в «Народной воле», следует ли прямо называть Мальшинского полицейским шпионом?

Сей ребус надлежало решать вместе с Тихомировым, Кибальничем, Аней Корба. Андрей полагал, что называть шпионом не следует. На Драгоманова это уже не подействует, он мужичина упрямый и, как видно, страсть как хочет заполучить свой орган, а читателям «Народной воле» такое примечание не впрок: сразу возникнет недоверие к «Обзору». Ну ладно, будет решено редакцией. За «Обзор» спасибо великое. Что еще? Да, собственно, более ничего. Анекдоты. В департаменте несколько дней бушевала паника: из Саратова пришла телеграмма, что, по агентурным сведениям, на царя готовится покушение служащими Севастопольской дороги, руководитель Иван Какаин. Что за Иван Какаин? Явилось уточнение: Ванька Каин. Начался такой шурум-бурум, не приведи господь: всех Вапек Каинов повытаскивали из почлежек. Откуда пошел слух? От кого? Человек тридцать похватали. Занимался всей этой ахинеей полковник Гусев. А вчерашним днем отправлена телеграмма в Ливадию — Николай Васильевич сам видел — о том, что получено сведение, будто злоумышленники во время обратного путешествия государя из Ливадии намерены пустить в Черном море минопоску, которая будет лавировать там в виде красивой лодки. Об этом сообщено Управлению морского министерства. Подписал сам барон Велио, директор департамента полиции. Ну не потеха ли?

Потеха, потеха. Три человека, сидевшие в тайной комнате над трактиром «Плевна», знали, что потеха затеяна ими — страх, ожидание, фантастические планы, паника сотен людей, обязанных паниковать по службе, — и они могли бы смеяться, как смеются, сознавая свое могущество.

Но были мрачны. Ничто не веселило их.

Николай Васильевич рассказывал, кривя маленький рот в улыбке, а глаза под стеклами очков были темны, печальны. Завтра в девять объявят приговор. Андрей заторопился: должен в одиннадцать встретить Сою на Вознесенском, так договорились. Куда в следующий раз Николаю Васильевичу прийти? Нужно подыскивать квартиру. Милая Наталья Николаевна, которая так полюбилась Николаю Васильевичу, кажется, окончательно сдалась. Тяжелейшее первое напряжение: сидеть взаперти, никого не принимать, ни с кем не встречаться. А как было у

нее чудесно: чай с домашним печеньем, булочки ароматные...

Голос Николая Васильевича слегка дрожал. Страннейший человек! Скрытность — как бы его природа. Ведь не печеньем же Наталья Николаевна привлекала, не из-за булочек печаль. А прикрывается всегда чем похуже: пустяками, булочками, интересом каким-нибудь мелкотравчатым. Еще скажет, что и в Третье отделение из-за денег пошел.

— Квартирu подберем, все наладится, — сказал Дворник. — Вы не огорчайтесь, Николай Васильевич.

— Да я, собственно, не так уж, Петр Иванович, огорчен. Попросту сказать, привык... И поговорить иногда...

— Найдeм еще лучше квартиру, — сказал Андрей, — тоже чай будете пить, разговаривать. Все в наших силах.

— А к Наталье Николаевне... никогда уж?

— Никогда. Наталья Николаевна больна.

Пришла весть: Квятковского, Ширяева, Преснякова, Тихонова и Окладского — к виселице. Остальных к каторге разных сроков в рудниках, Зунделевича к бессрочной. И как узнали об этом страшном, жесточайшем, так решили сразу: не отвлекаться ничем, все прекратить, одна цель — рассчитаться с царем. Не желает уступать. Ну, коли так... И даже когда два дня спустя газеты сообщили, что Ширяеву, Тихонову и Окладскому царь заменил смертную казнь каторжными работами без срока, его собственная казнь уже не могла отодвинуться, и история только выбирала свой день.

4 ноября в девятом часу утра перед строем войск Квятковский и Пресняков были повешены на левом фесе Иоапловского рavelища Петропавловской крепости. Два с половиной года назад Квятковский на рысаке Варваре спас Преснякова от каторги, устроив ему побег из коломенской части, тогда была весна, середина апреля, и жизнь открывалась перед ними, полная приключений, борьбы и счастливых побегов. Теперь они висели рядом, и люди, проходившие рано утром на Кропиверкский проспект со стороны Большой Дворянской, видели возвышавшуюся на крепостной стене правес ворот виселицу и двух повешенных в савацах,

Ширяев очень скоро погиб в Алексеевском рavelине, Кобылянский так же быстро угас в Шлиссельбургской крепости, Тихонов умер на Каре от чахотки, Цукерман покончил с собой в Якутской области. Через два года после взрыва в Зимнем дворце Степан Халтурин был казнен за покушение на военного прокурора Стрельникова. Некоторые вынесли все и прожили долгую жизнь, как, например, Иванова, Евгения Фигнер и Бух, умершие при Советской власти. Что касается Окладского, то судьба его сложилась так: спасая жизнь, он согласился сотрудничать с полицией в разоблачении своих бывших товарищей, за что и заслужил от царя бессрочную каторгу вместо петли. Заодно уж, чтобы не вызвать подозрений, такая же милость была оказана Ширяеву и Тихонову. Окладский стал предателем и провокатором, он выдал все, что знал, сгубил всех, кого смог. Он называл квартиры, даже ездил в полицейских каретах и показывал эти квартиры. Он опознавал арестованных. Его сажали в соседней комнате, он смотрел в глазок на людей, которых вводили, и говорил: такой-то. Его известность в революционных кругах была велика, особенно после героических слов на процессе: «Если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это как оскорбление!» Его подсаживали к нужным арестантам, он перестукивался, выспрашивал, узнавал. Иногда назывался чужим именем, например — Тихонова. Он опознал труп Гриневецкого. Он сгубил Колодкевича, Фриденсона, Клеточникова, Ивановскую, по всей вероятности Тригони и Желябова, и многих, многих. И после разгрома народовольцев он старался всюю, сначала на Кавказе, потом снова в Петербурге. В течение тридцати семи лет получал жалованье от департамента полиции, которое все росло и достигло солидной суммы: сто пятьдесят рублей ежемесячно. Последний раз он получил жалованье в феврале семнадцатого. Он был печатно разоблачен лишь в 1918 году, когда открылись архивы. Где он находился и был ли жив вообще, никто тогда не знал. Шесть лет спустя он был неожиданно арестован в Ленинграде под фамилией Петровского. Это была странная оплошность чудовищного хитреца, пережившего трех царей и три революции. В Луге у него был пятикомнатный домик, конфискованный революцией. Он уехал с семьей в Саратов, жил в Сердобске, работал механиком в частном

кинематографе, в 1922 году вернулся в Питер, а в 1923 году поступил на завод «Красная заря» начальником электротехнической мастерской. Электротехника кормила его всю жизнь: еще с мастерской доктора Сыцяню почти полвека назад. И вот, заполняя анкету, он зачем-то указал на принадлежность свою к партии «Народная воля» и на репрессии, которым подвергался царским правительством: двухлетнее заключение в Петропавловской крепости. Между тем среди рабочих ходили слухи, что Петровский был членом «Союза русского народа». Одно с другим не вязалось. Ленинградский Губотдел ОГПУ послал запрос в Политическую Секцию Единого Архивного Фонда, откуда вскоре пришло уведомление о том, что если интересующее ОГПУ лицо имеет перечисленные признаки, то это знаменитый провокатор «Народной воли» Окладский. Зачем же было сделано это сверхпредательство? Всю жизнь выдавать, выдавать, выдавать, и напоследок, когда уж никого не осталось — выдать себя! Дело простое: полагал, что уже все забыто, не докопаются, а бывшие революционеры имеют право на льготы. Почему же не воспользоваться? На допросе в здании губернского суда, хорошо знакомом Окладскому — здесь, у Цепного моста, помещалось раньше Третье отделение, куда его привезли в шоле восьмидесятого года, а затем находился департамент полиции и Окладский, вольный человек, захаживал сюда для дружеских бесед с господином Дурново, — он энергично все отрицал, говорил, что носит фамилию Петровский с детства, что в конце семидесятых годов служил на Закавказской железной дороге и на заводе «Сименс и Гальске» и что о «Народной воле» написал в анкете «так как это давало гарантию удержанию на службе». Лишь когда ему показали фотокарточки 1880 года и некоторые документы, он сознался, что он — Окладский. Впрочем, узнать его по карточке было нельзя. Ванька превратился в грузного, сивого, неопрятного старика, который медленно двигался, опираясь на палку, курил трубку и зорко, не по-стариковски глядел из-под нависших бровей. Взгляд стал неузнаваемым: пустым и жестким.

Таким взглядом он смотрел на публику со сцены Колонного зала в январе 1925 года когда шел его процесс. В первом ряду белели головами несколько стариков и старух: ветераны «Народной воли». Среди них были сухонькая старушка Якимова и седой, бородатый Фроленко. Москва отмечала первую годовщину смерти Ленина. Газеты

сообщали, где можно купить траурные флаги, печатали циркуляр: «О практических мероприятиях по поднятию производительности труда». В кинотеатрах шла «Розита» с Мэри Пикфорд. Театр МГСПС показывал пьесу молодого драматурга Шаповаленко «1881 год» о героях «Народной воли», и Якимова вместе с Фроленко должны были после процесса отправиться в театр смотреть спектакль и потом высказать свое мнение.

Якимова глядела на старика в кожаном истертом бушлате, в каких-то нищенских брюках и в громадных, с толстой подошвою, рабочих и, даже точнее сказать, пролетарских башмаках и думала: никогда этого старика не звали Ваничкой. Никогда он не бегал, быстрый и живой, как зайчик, в лавку за хлебом и керосином; когда жили в Александровске у Бовенко, Желябов говорил: «Одна нога здесь, другая там!», и он мчался. Тот Ваничка исчез бесследно, как многие. Как большинство. Как почти все. А этот старик, упорно глядящий в зал — откуда он? Большевик Сольц, председатель суда, читал сердитым голосом обвинительное заключение:

— «Окладский, Иван Федорович, он же Иванов, он же Александров, он же Петровский, шестидесяти пяти лет, происходит из крестьян деревни Оклад Новоржевского уезда Псковской губернии, женатый, окончивший два класса городского училища, по профессии электромеханик, служивший до ареста на заводе «Красная заря» в должности механика для лабораторных изысканий, бывший член террористической организации партии «Народная воля», привлекавшийся по политическим делам к ответственности и судившийся в тысяча восемьсот восьмидесятом году Петербургским военно-окружным судом по «процессу шестнадцати», коим признанный виновным в покушении на жизнь Александра Второго, произведенном под г. Александровском, приговоренный к смертной казни через повешение, замененной бессрочными каторжными работами, ссылкой на поселение в местности Закавказского края и в тысяча восемьсот девяносто первом году освобожденный от дальнейшего наказания с возведением в звание сначала личного, а затем потомственного почетного гражданина; ныне к партиям не принадлежащий — обещается...»

Эксперты и свидетели спорили. Одни говорили, что падение произошло в ночь после объявления приговора, когда в камеру к смертнику пришел жандармский генера-

Комаров. У жандармов того времени было в обычае посещать заключенных, для которых исчезла всякая надежда. Из них выдавливали последнее. Комаров намекнул на возможность помилования, и Окладский сразу кого-то выдал. Тогда Комаров распорядился перевести Окладского из Трубецкого бастиона в Екатерининскую куртину, и тот побежал босиком, на радостях забыв надеть носки. Другие полагали, что договор с властями наметился раньше, на первом допросе в июле, когда Окладского допрашивал Плева. А некоторые подозревали, что связи с полицией были еще раньше, бог знает когда. Ведь эти связи богаты оттенками: кроме платных агентов были бесплатные, полуплатные, полуагенты, были агенты, которые не числились ни в каких списках, о них не знало начальство и, однако, их мелкие, едва видимые старания текли ручейками на полицейскую мельницу. Окладского таскали в полицию еще мальчишкой, когда ему было тринадцать лет. И если в человеке не заложено самое главное, что отличает его от зверья — умение ради мысли или ради чувства презреть смерть...

От страха смерти он превратился в пожирателя жизни: он глотал дни, годы, десятилетия, поедая их вместе с костями, высасывал сок, пожирал все, что попадало в эту пьяную похлебку, ради которой колотилось его сердце, сжимались пальцы и даже теперь, на краю могилы, вдруг сверкали — под вспышками магния — пустые нечеловеческие глаза. И седенькая старушка, давая свои показания, не смотрела в его сторону. Он получил десять лет лишения свободы. Второй раз в своей жизни сгинул, на этот раз навсегда.

Глава девятая

Нужны были фотографии героев процесса: сохранить для истории, посыпать сочувствующим в другие города. За это взялся Михайлов. Казнь Квятковского и Преснякова — особенно любимого им старого друга Александра Первого — Дворник переживал, как болезнь. Никто, как он, мучительно не ощущал долга товарищества. Любимая его притча: герой томится в турецкой неволе и ждет спасения от матери и отца, но те стары и слабы, ждет спасения от жены, но она беспомощна, его спасают друзья. Лишь друзья могут спасти! Однако никакого из шестнадцати друзей не спасли. Единственное, что было в силах

Михайлова, он сделал: в ночь после приговора написал письмо товарищам: «Братья! Пишу вам по поводу последнего акта вашей общественной деятельности. Сильные чувства волнуют меня. Мне хочется вылить всю свою душу в этом, может быть последнем, привете...» Длинное письмо, которое кончалось грозным обещанием, предсмертной радостью для тех, ожидавших конца: «Знайте, что ваша гибель не пройдет даром правительству, и если вы совершили удивительные факты, то суждено еще совершиться ужасным».

И вот — фотографии. Хотя бы уж фотографии. Разумеется, это непросто: государственные преступники известны многим полпцейским агентам в лицо. Дошла записка «Ваньки» от второго ноября, она передавала просьбу Степана: переснять его карточки, которые находятся там-то, и передать его жене, брату Коле и землякам.

В один из последних дней ноября Андрей и Аня Корба работали на комитетской квартире. Было написано от Исполнительного комитета письмо к Карлу Марксу, и Аня, хорошо знавшая французский, делала перевод. Письмо было важное, на него возлагались надежды. Начинаясь с обращения: «Гражданин!» Говорилось о громадном уважении к Марксу, о том, что «Капитал» стал ежедневным чтением интеллигентных людей. Далее говорилось, что Льву Гартману поручается организовать в Англии и в Америке доставку сведений о развитии общественной жизни в России, и была просьба к Марксу помочь Гартману в этой задаче. Конец письма был такой: «Твердо решившись разбить оковы рабства, мы уверены, что недалеко то время, когда родина наша многострадальная займет в Европе место, достойное свободного народа». Пришел Дворник, тоже стал горячо помогать Ане в переводе — французский все знали понемногу, давали советы — и сказал, что Алхимик, Лев Гартман, должен непременно понравиться Марксу хотя бы по одному тому, что он Алхимик. Вель Маркс давно уже назвал террористов — пасмешливо, разумеется, — «алхимиками революции».

Дворник был необычно возбужден. Сильно заикаясь, он вдруг стал ругать каких-то студентов, Андрей не сразу понял, о ком речь. Потом сообразил, это были люди не самые близкие, но искренне сочувствующие. Так вот — проявили свехосторожность, то есть трусость. Их просили заказать снимки карточек Квятковского и Преслякова в любой фотографии, они отказались, заявив прямо: да, бо-

яется попасть в лапы полиции. Да что б им сделалось? Ничем не запятнаны, живут легально. Вольнодумцы домашние, черт бы их драл! Нечего их приваживать, гнать поганой метлой болтунов, прохвостов, попросили такую малость — и сразу полные штаны...

Дворник топтался на этих несчастных студентах подозрительно долго, и Андрей, потеряв терпение, спросил:

— Ну и чем дело кончилось?

— Пошел к Таубе и Александровскому на Невский и заказал.

— Ты заказал?! — крикнул Андрей.

— Я. А что было делать? Как видите, все благополучно, я жив и певредим. Очепь уж меня разозлили.

— Милый, ты на себя не похож, — сказал Андрей. — Что с тобой происходит?

Аня побелела от испуга.

— Дворник, вы с ума сошли!

— Я с-с ума не сошел, — сказал Михайлов. — Я понимал, что рискую, но простите меня: ведь была единственная просьба Степана...

— Ворчишь на нас из-за всякой ерунды, а сам творишь безобразия. Когда будут готовы карточки?

Михайлов, несколько смущенный — обыкновенно он сам делал распеканции за малейшую халатность и неосторожность, а тут приходилось оправдываться, — объяснил, что карточки должны были быть готовы как раз сегодня, он туда заходил, но они не готовы. Андрей вовсе рассвирепел.

— Ах, ты заходил туда второй раз?

— Второй раз.

— На Невский? К Таубе и Александровскому?

— Ну да.

— Дворник, ты же понимаешь, что эта модная фотография не может быть обделена вниманием полиции. Какого же черта...

Дворник понимал прекрасно, кивал и поддакивал. Слава богу, все кончилось хорошо. Правда, был один загадочный и даже, пожалуй, неприятный момент. Когда Дворник протянул хозяину фотографии квитанцию — тот сидел за столом, рылся в ящике с бумагами, а за его спиной стояла женщина, по-видимому жена, такая рыжеволосая, посатая немка — и хозяин, порывшись, ответил: «не готово, придите завтра», в это время рыжая женщина, посмотрев на Дворника в упор, провела рукою по шее.

Что означало сие? То ли ее догадку о том, что это снимки казненных преступников, то ли секретное от мужа предупреждение: тебе, мол, самому петля? Рассказывая, Дворник сконфуженно посмеивался. Андрей сказал:

— Сей знак означает одно. Ходить тебе туда ни в коем случае нельзя.

О том же было сказано вечером, на заседании Комитета. Дворник согласился: нельзя так нельзя. А на другой день, двадцать восьмого ноября... Понять, как и почему это произошло, невозможно. Какая-то непостижимая, трагическая чепуха. Потом уж, спустя несколько дней, когда сопоставились некоторые свидетельства и были узнаны факты от подавленного горем Николая Васильевича, нарисовалась такая примерно картина. Дворника в тот день кто-то ждал в Гостином дворе, он шел, следовательно, Невским, проходил мимо злосчастного заведения «Таубе и Александровский» и... что его толкнуло туда? Какая-то минутная слабость, затмение духа или же совсем не свойственный ему фаталистический задор? Или, может быть — и скорей всего — простая мысль: «Если не я, то — кто же!» Он вошел в заведение, немец сказал: «Подождите айн момент», — вышел в соседнюю комнату, Михайлов ждать не стал, побежал вниз, дорогу загоразивал швейцар, оттолкнул его, вскочил на ходу в проходящую конку, за ним туда же вскочил переодетый в партикулярное платье околоточный Кононенко, выбежавший следом из фотографии. Михайлов спрыгнул на ходу, околоточный — за ним, догнал, навалился, подбежали дворники, скрутили. Михайлов протестовал: «Вы будете отвечать за свои действия! Я — отставной поручик Константин Михайлович Поливанов!» — «Где вы живете?» — «Орловский переулок, дом два, квартира двадцать пять. Мою личность установит хозяйка квартиры!»

Почему так рвался на квартиру? По-видимому, надеялся, что путешествие по городу даст случайную возможность бежать, как уже бывало, — ведь ускользал из таких капканов! — а кроме того, необходимо было поставить на квартире «сигнал гибели», чтобы предупредить товарищей. Бежать не удалось. Но сигнал — книгу на подоконник, к стеклу — поставил. При обыске пайдепы: прокламация «от Исполнительного комитета», палка со скрытым в ней кинжалом, медный кастет, много фотографических снимков государственных преступников и динамит в двух жестячках. Очень скоро было узнано настоящее имя Михай-

лова. Николай Васильевич полагал, что его показали кому-то, хорошо его знавшему.

Эта ужасная догадка Николая Васильевича удручала более всего: значит, есть предатель? А ведь ничего странного. Партия разрастается, к ней примыкают все новые рабочие, студенческие кружки, а сейчас, когда вернулись из плаванья моряки, создается военная организация. Михайлов известен многим. Если есть Клеточников в департаменте полиции, то не столь уж невероятен полицейский Клеточников в партии. Кстати, сам Дворник об этом часто думал и говорил: «Кто-то возле нас должен быть. Не может не быть!»

Окладского подвели к глазку, вделанному в дверь, и он увидел Дворника в измятом, испачканном землею мундире поручика. Дворник был бледен, сидел спокойно на стуле и смотрел в окно. Рядом стоял жандармский офицер. Дело простое: поглядел секунду в глазок и сказал. В этот день Окладскому вместо обеда, который полагался по сырьло-каторжному режиму, дали обед как для подследственного арестанта: борщ с мясом, жаркое из дичи и на сладкое апельсин.

Николай Васильевич вдруг закрывал ладонями глаза, качал головой и шептал:

— Как же без Петра Ивановича? Как нам теперь без Петра-то Ивановича?

Отнимал ладони, на глазах были слезы. Сидевшие в комнате молчали. Семеч начал с внезапной яростью доказывать, как следовало поступить: напять любого уличного мальчишку за пятиалтыпный, дать ему квитанцию... Все вздор, пустое! Неужели не ясно, что судьба каждого окочнется так же или как-то похоже? Андрей чувствовал, что от него ждут ясной твердости, какой обладал Дворник.

Он сказал Николаю Васильевичу твердо:

— Извольте успокоиться, Николай Васильевич. Мы сожалеем о нашем друге не менее вас, но жизнь продолжается и дела нас ждут.

— Да, разумеется... Это совершенно понятно... — Николай Васильевич поспешно надевал очки, но глаза его были слепы, слезы катились по щекам. Не стесняясь, он вытирал их ладонями.

— Успокойтесь, пожалуйста. Вот ваш новый Петр Иванович — рыцарь без страха и упрека. — Андрей показал на Баранникова. — Называйте его Семеном, а если хотите — Петром Ивановичем. Встретаться будете по тем же числам вот по сему адресу.

Николай Васильевич посмотрел на бумажку с адресом, покивал, потом взглянул на Баранникова, вдруг громко, как женщина, всхлипнул и опять снял очки. Было тяжело. Ждали, пока он совсем успокоится. Наконец успокоился, взял шляпу и пошел к двери. Баранников двинулся, чтоб проводить его по коридору, но Николай Васильевич неожиданно сел на стул.

— Плохо, плохо, плохо, плохо... — бормотал он, ни к кому не обращаясь, разговаривая с собой и глядя мимо всех в окно. — Совсем уж плохо... Это уж, можно сказать... Вы понимаете, что значит, когда человек совершенно один, как я? И еще работает в полиции.

— У вас родных нет? — спросил Андрей.

— Конечно, нет. Никого нет. Я один. И вот Петр Иванович иногда спросит: «Николай Васильевич, как ваша жизнь-то идет?» Я ему что-нибудь скажу...

— Я буду вашим другом, Николай Васильевич, — сказал Баранников.

— Да, конечно, я понимаю, благодарю вас... — Николай Васильевич низко опустил голову и, держа ее одушевленной, кивал. Андрей смотрел на него с изумлением. Не подозревал, что Николай Васильевич может быть в таком состоянии: как будто слегка помешался. — Вы все мои друзья, я знаю, благодарю, но я для вас чужой человек...

— Николай Васильевич, вы для нас самый близкий, самый драгоценный, самый нужный на этом свете человек, — сказал Андрей.

Колодкевич и Баранников тоже что-то сказали вместе. Николай Васильевич помахал шляпой.

— Все плохо, господа. Я очень огорчен, вы должны меня извинить... — Вдруг быстро встал и вышел.

Гибельность этой раны обнаружилась не вдруг. А вдруг была смертельная горечь, сиротское оцененение: как же без Дворника? Сося говорила: «Он тебя жалел. Вот недавно, когда обсуждали, кто будет хозяином на Малой Садовой, он сказал: «Только не Тарас!» Тебя не было, ты ездил в Кронштадт». — «Что значит жалел? Вздор ты говоришь, матушка!» Ему это не понравилось, он не поверил. Но Сося упорствовала: «Нет, он тебя жалел. Он теб:

берег для Учредительного собрания». Может, так и было. Одно ясно: такого друга в его жизни не будет. Но гибельность обнаруживалась, разумеется, не в личных страданиях, а в том, что страдало дело. Ну хорошо, Клеточникова возьмут Баранников с Колодкевичем, замечательные бойцы, однако один смел и удал до дерзости, другой не очень ловок в практических делах, вот и выходит, что двое могут быть слабей одного, такого, как хладпокровнейший, расчетливый храбрец Дворник. Так попасться! Глупо, несчастно! Теперь дело в том, чтобы Николай Васильевич проникся к Семёну и Коту-Мурлыке таким же доверием, как к Дворнику. Дворник был единственный человек, связанный с литератором Зотовым Владимиром Рафаиловичем, который взялся храпеть архив. В прошлом году кто-то из «своих» адвокатов свел Колю Морозова с этим Зотовым, а уезжая за границу, Морозов познакомил Зотова с Дворником. Там все донесения Клеточникова, печати для паспортов, разного рода документы, заметки. Как проникать к Зотову? Одна надежда: вернется Коля Морозов. Его вызывали, не специально по этому поводу, а просто потому, что нужны люди. Соня написала в Женеву, и Воробей, может быть, явится в январе. Далее: никто, кроме Дворника, не изучал так пристально врагов, Третье отделение, полицейскую кухню. Он знал всех видных чиповников и агентов по фамилиям, многих в лицо, следил за передвижениями по службе, собирал сведения об их жизни, пристрастиях. Эти исчезнувшие, дорогие знания невосполнимы. Никто, кроме Дворника — после смерти Валериана — не был так удачлив в добывании денег. И наконец, никто, кроме Дворника, не мог быть Дворником — таким беспощадным, внимательным многооком, недремлющим Аргусом, каким был Михайлов...

Днем не было времени на тоску, встязанье души, дием — беготня, напряжение, тяжесть револьвера в кармане, моряки в Кронштадте, рабочие по всему Питеру, студенты, типография, «Рабочая газета». А вечером, когда притаскивался домой, в Измайловский, едва волоча ноги, и Соня тоже разбита усталостью — ей целый день, бедняге, приходится быть на улице, она руководит группой, следящей за выездами царя — то и дело влезанно вспоминался Дворник.

Соня рассказывала о дневных приключениях, а у него вырывалось:

— Дворник никогда бы так не сделал. Он бы — сначала в кухмистерскую, а потом, переждав две минуты...

— А помнишь, как он говорил: «Если партия мне прикажет мыть чашки, я буду мыть чашки»? (Это перед сном, когда он мыл посуду, а Соня стелила постель.)

Иногда он думал о Саше ночью, во сне. Просыпался от мысли о нем. Однажды, проснувшись так, ночью, он разбудил Соню, потому что мысль, пронзившая сон, была острой, больной. Обнимая Соню, сказал:

— Вдруг ужасно пожалел Сашу. Знаешь почему? Потому что не был счастлив, не любил, откладывал, откладывал... Он сказал как-то: «Судьба наградила меня деловым счастьем». Но вот — простым, человеческим... Говорил, что ему не нужно, что когда-нибудь, в другой жизни, появится женщина, и он будет ее очень сильно любить.

— Я была такой же, как он. Пока не встретила тебя...

Они обнимали друг друга, думая о Саше и о себе. О Саше с жалостью, разрывавшей сердце, о себе — спокойно, мудро и нежно. Все было так, как они хотели.

Любимые разговоры: о новых людях, пристававших к партии. Их становилось все больше. Это было хорошо, говорило о том, что партия притягивает, забирает за живое, по тут же крылась опасность: чем шире круг посвященных, тем вероятней провалы. Кронштадтские моряки во главе с Сухановым и Штромбергом наконец-то создали настоящую организацию, «Центральный военный кружок», подчинившийся Исполнительному комитету. Студенты образовали «Центральный университетский кружок», и если число военных в кружке насчитывало два-три десятка, то число молодежи, примыкавшей к Центральному университетскому, насчитывало сотни. Среди студентов были такие энергичные парни, как Паний Подбельский и Коган-Бернштейн. Андрей к ним присматривался: еще немного, несколько живых дел, и эти двое станут совсем близкими людьми. Члены Комитета? Ну, об этом говорить рано. Васька Меркулов и Сергей Дегаев, имеющие заслуги перед партией, уж вои как скулят оттого, что их не вводят в Комитет, и вообще, как им кажется, не оказывают полного доверия — а что поделаешь? Полное доверие — вещь чересчур серьезная, загадочная и страшная. Оно не возникает арифметическим способом, с помощью большинства голосов. Вернее сказать, именно так и возникает, но то лишь видимость,

а поистине — как-то иначе. Оссеяет вдруг, как пекая благодать. Бывает непонятно: один участвует во многих предприятиях, показал себя достойно, а все же нет пужды тащить его в Комитет, а другой еще мало себя проявил, но для всех почему-то ясно — человек необходимый, свой. Вот так внезапно почувялось, что свой — Тимофей Михайлов, рабочий-котельщик.

Чем-то напомнил Пресеякова: такой же большой, тяжелорукий, молчун, со светло-угрюмым взглядом. И так же, как тот, известен рабочему Питеру отчаянной беспашностью: ничего не стоило шпиона приколоть или мастера ненавистного, живоглота, подстеречь в темном дворе и измолотить до полусмерти. Из молодого Тимохи — а парню всего-то двадцать один — вырастал поистине Андрей Корнеевич, истребитель шпионов.

Близким помощником во всех делах среди рабочих стал Валентин Коковский. С ним писали ногами главнейший труд, которым Андрей гордился: «Программу рабочих членов партии «Народная воля». С ним делали и «Рабочую газету»: первый номер вышел в середине декабря. Андрей написал передовую. Одни сказали: ничего, живо, в народном стиле, рабочий читатель поймет. Другие говорили, что много риторики. Тигрыч морщился: «Не твое это дело, Тарас, фельетоны строчить!»

Прав, наверно, старый бумагомарака. Пропади она совсем, эта несчастная журналистика, фельетонистика, казуистика, беллетристика. Его дело — мысли, идеи. Вот «Программа рабочих членов» — это произведение! Тут есть пад чем башку поломать. Тигрыч два часа читал, оторваться не мог, потом сказал:

— Сочинение, доложу вам...

Андрей знал: это то, что от него останется.

Умирают поступки, жесты, слова, фразы, единственное, что будет жить вечно, пока существует человечество — идеи. Их немного. Они могут быть ошибочны. Но они несокрушимы, они будут возникать снова и снова, в разных обличьях, оставаясь самими собой. Ночью он разбудил Сою и потребовал, чтоб она слушала. Соия продрогла на улице, у нее был жар, глаза слипались, и она не могла повернуть голову от слабости. Через несколько минут он заметил, что она дремлет.

— Ты не слушаешь? Я читаю важнейший документ! Ничего серьезней мною не написано!

Соия, открыв глаза, силилась улыбнуться.

— Я теперь уличная баба, торговка, дворничиха... Единственное, на что я реагирую — карета царя... Но прости меня, я готова, я слушаю!

И она выпрямилась и с напряженно-отчаянным видом приготовилась слушать, но он спохватился: мучить человека! С утра и до вечера Соня на ногах, на улице, в наблюдательном отряде. Читать будем завтра.

— Нет, сейчас,— протестовала Соня.— Я хочу сейчас.

Но через секунду она спала. А утром спешила на какую-то важную встречу, но он заставил ее прослушать: все, от начала до конца. Ему так нравилось читать это сочинение вслух. Потом, в декабре, читал его много раз в рабочих кружках. Программа делилась на шесть глав. Глава «А» начиналась так:

«Исторический опыт человечества, а также изучение и наблюдение жизни народов убедительно и ясно доказывают, что народы тогда только достигнут наибольшего счастья и силы, что люди тогда только станут братьями, будут свободны и равны, когда устроят свою жизнь согласно социалистическому учению, т. е. следующим образом:

1) Земля и орудия труда должны принадлежать всему народу, и всякий работник вправе ими пользоваться.

2) Работа производится не в одиночку, а сообща (общинами, артелями, ассоциациями).

3) Продукты общего труда должны делиться, по решению, между всеми работниками, по потребностям каждого.

4) Государственное устройство должно быть основано на союзном договоре всех общин.

5) Каждая община в своих внутренних делах вполне независима и свободна.

6) Каждый член общины вполне свободен в своих убеждениях и личной жизни; его свобода ограничивается только в тех случаях, где она переходит в насилие над другими членами своей или чужой общины.

Если народы перестроят свою жизнь так, как мы, социалисты-работники, этого желаем, то они станут действительно свободны и независимы, потому что не будет более ни господ, ни рабов. Каждый может тогда работать, не попадая в кабалу к помещику, фабриканту, хозяину потому что этих тупеядцев не будет и в помине...

Работа общинною, артелью даст возможность широко пользоваться машинами

всеми изобретениями и открытиями, облегчающими труд, поэтому у работников, членов общины, производство всего нужного для жизни потребует гораздо меньше труда, и в их распоряжении останется много свободного времени и сил для развития своего ума и занятия наукою... Личная свобода человека, т. е. свобода мнений, исследований, всякой деятельности, снимет с человеческого ума оковы и даст ему полный простор.

Свобода общины, т. е. право ее вместе со всеми общинами и союзами вмешиваться в государственные дела и направлять их по общему желанию всех общин, не даст возникнуть государственному гнету, не допустит того, чтобы безправственные люди забрали в свои руки страну, разоряли ее в качестве разных правителей и чиновников и подавляли свободу народа, как это делается теперь».

В главе «Б» говорилось о том, что народ темен, забит и не сознает тех принципов, на основе которых должна строиться новая российская жизнь. В главе «В» — помощником и союзником народа станет социально-революционная партия. В главе «Г» намечались те необходимые перемены, которых следовало добиваться в государственном строе и народной жизни:

1) Царская власть в России заменяется народоправлением, т. е. правительство составляется из народных представителей (депутатов); сам народ их назначает и смещает; выбирая, подробно указывает, чего они должны добиваться, и требует отчета в их деятельности.

2) Русское государство по характеру и условиям жизни населения делится на области, самостоятельные во внутренних своих делах, но связанные в один Общерусский Союз. Внутренние дела области ведаются Областным Управлением; дела же общегосударственные — Союзным Правительством.

3) Народы, насильственно присоединенные к русскому царству, вольны отделиться или остаться в общерусском союзе.

4) Общины (села, деревни, пригороды, заводские артели и пр.) решают свои дела на сходах и приводят их в исполнение через своих выборных должностных лиц — старост, сотских, писарей, управляющих, мастеров, конторщиков и пр.

5) Вся земля переходит в руки рабочего народа и считается народной собственностью...

6) Заводы и фабрики считаются народною собственностью и отдаются в пользование заводских и фабричных общин — доходы принадлежат этим общинам.

7) Народные представители издают законы и правила, указывая, как должны быть устроены фабрики и заводы, чтобы не вредить здоровью и жизни рабочих, определяя количество рабочих часов для мужчин, женщин, детей, и пр.

8) Право избирать представителей (депутатов) как в Союзное Правительство, так и в Областное Управление принадлежит всякому совершеннолетнему; точно так же всякий совершеннолетний может быть избран в Союзное Правительство и Областное Управление.

9) Все русские люди вправе держаться и переходить в какое угодно вероучение (религиозная свобода); вправе распространять устно или печатно какие угодно мысли или учения (свобода слова и печати); вправе собираться для обсуждения своих дел (свобода собраний); вправе составлять общества (общины, артели, союзы, ассоциации) для преследования каких угодно целей; вправе предлагать народу свои советы при избрании представителей и при всяком общественном деле (свобода избирательной агитации).

10) Образование народа во всех низших и высших школах даровое и доступное всем.

11) Теперешняя армия и вообще все войска заменяются местным народным ополчением...

12) Учреждается Государственный Русский Банк с отделениями в разных местах России для поддержки и устройства фабричных, заводских, земледельческих и вообще всяких промышленных и ученых общин, артелей и союзов...

Городским рабочим следует только помнить, что отдельно от крестьянства они всегда будут подавлены правительством, фабрикантами и кулаками, потому что главная народная сила не в них, а в крестьянстве. Если же они будут постоянно ставить себя рядом с крестьянством, склонять его к себе и доказывать, что вести дело следует заодно, общими усилиями, тогда весь рабочий народ станет несокрушимой силой».

И были еще две кратких главы: «Д» — о том, как составлять рабочие кружки, и «Е» — как поднимать и развивать восстание.

Андрей читал программу не во всех рабочих кружках, а только в так называемых кружках высшего разряда, где народ был грамотный и осведомленный хоть немного в социализме. Иерархия рабочих кружков определилась к зиме такая: в низших кружках, где занимались по пять-шесть человек, на квартире кого-нибудь из рабочих, шли уроки грамоты, арифметики, географии. В кружках второго разряда читались лекции по истории и социалистическим учениям. Андрей на этих занятиях рассказывал об Ирландии. И наконец, кружки высшего разряда, маленькие клубы заговорщиков, куда попадали люди подготовленные, настроенные твердо революционно: членами кружков были рабочие, руководителями — студенты или бывшие студентки. Тут действовали Подбельский, Коган-Бернштейн, или попросту Левка, Дубровин, Энгельгардт, а среди рабочих тот же Тимоха, Гаврилов, Беляев и другие. Раза три читал Андрей программу и всякий раз ощущал, как возникает волнение, возбужденность, люди вдруг сознают, что они, жалчайшие обитатели трущоб, вовсе не пыль истории, а ее двигатели, ее дружины.

А ведь это главное: заставить человека поверить в то, что он может творить историю, перелопаживать мир!

Картина переустройства общества, нарисованная в программе, не вызывала возражений, зато недоумения и вопросы возникали в связи с последней главой, где говорилось о восстании. Тут было, пожалуй, самое слабое, неразработанное место. И понятно, почему на него так кидались. Написать можно все, а подя-ка возьми! Написали: «Одновременно нужно расстроить правительство, уничтожить крупных чиновников его (чем крупнее, тем лучше), как гражданских, так и военных». А те спрашивают: «Это как же, примерно, расстроить правительство?» Кабы было понятно и ведомо как, не писали бы, а давно уж расстроили. «Нужно перетянуть войско на сторону народа, распустить его и заманить пародным ополчением...» Слова вопрос: «Каким же путем войско перетягивать? Уговором, либо силой, либо командиров подбить?» Дело неясное. Из всего громадного российского войска перетянул пока что человек, может, тридцать: лейтенантиков крошадтских да артиллеристов. Андрей соглашался: да, тут еще не все продумано. Но ведь главное в восстании — что? Начать! Навалимся, там разберемся. Толкнуть барку в воду, она самоходом пойдет.

В кружках споры, шум, мировые проблемы, дерзкие социалистские мечты, а на комитетской квартире — толки все о том же: подкоп, динамит, четыре фунта, два аршина. Гриша Исаев, умница, один из самых начитанных, много рассказывавший об ирландских делах, теперь от всего отбился, ничего не читал и разговаривал только о приготовлении динамита. О том же единственно мог говорить Кибальчич. Динамитная горячка обуревала всех. Подкоп под Малой Садовой был делом решенным, а в Кишинев направлялась группа во главе с Фроленко для другого подкопа: для кражи из Кишипевского казначейства. И вот, когда встречались на квартирах Ани Корбы или Геси Гельфман или в большой типографии, где хозяйничал Грачевский, разговоры были однообразные:

— А как ты считаешь, сколько фунтов нужно...

— А какова предположительно окружность взрыва?

— Господа, проблема уличных жертв, от которой вы отмахиваетесь...

Кибальчич сказал Андрию: наши женщины более жестоки, чем мужчины. Он вывел это из каких-то расспросов его по поводу возможных жертв на Малой Садовой. Вздор, разумеется! Обычное для Коли непонимание женщин. То, что он принял за жестокость, есть чисто женские — страстность, совершенное отдавание себя чему-то: идее, товариществу, динамиту. И подумать только, что эти женщины — Верочка, Соня — полтора года назад были перпрошибаемые пропагандистки! Вот как все переменялось на этом свете. Какие были споры о высоких материях с Михайловым, Квятковским, с Колей Морозовым, с Марией Николаевной, с ядовитым Тигрычем. Одних уж нет, а те далече. Мария Николаевна, отчаянная философка, ушла в практическую жизнь. Тигрыч — в семейную, отдалился, вот и свадьбу даже хочет устраивать.

Тигрыч еще раз читал «Программу рабочих членов», изучил внимательно, сказал:

— По-моему дельно и неглупо. Но... чем мы сейчас занимаемся? Хотим взорвать царя. Хотим взорвать казначейство. Об этом ни слова: я имею в виду террор.

Был прав: дело не в конспирации, партия уже обнаружила себя многими террористическими актами, так что секрета нет. И достаточно шума было на процессе. Тигрыч подцепил за больное: непоследовательность, братцы! Или уж готовить армаду рабочих кружков, пролетарское войско по принципу Маркса, объединять его с крестьян-

ством, или же — взрывать динамитом монархов. Если взрывать — то нужны ли кружки, вся эта муравьиная, кропотливейшая работа?

Наша задача — открыть ящик Пандоры, выпустить на волю ураганы и бури, которые сметут все, нам ненавистное. Взрыв монарха есть лишь приспособление, отмычка для того, чтобы сорвать крышку. Но это мы берем на себя — мы, социально-революционная партия! А рабочие и крестьяне вступят в дело потом: они будут исполнять роль бури.

София рассказывала: группа слежки за выездами царя, действовавшая уже почти полтора месяца, определила следующее. Обыкновенно он выезжает из дворца в половине второго, направляясь в Летний сад. По воскресеньям скачет на развод в Михайловский манеж — лошади несутся, как на пожар, — сопровождаемый конвоем из шести-восьми казаков. Казаки — рядом с каретой, прикрывают дверцу. В манеж скачет Малой Садовой, а возвращается часто другим путем, по Екатерининскому каналу.

— Поворот на Екатерининский канал очень удобен, — сказала София. — Тут кучер сдерживает лошадей, карета едет почти шагом. Я видела это раз десять, следила нарочно.

Андрей подсчитал: окончание ремонта, устройство магазина, рытье, закладка займут месяца полтора, от силы два. Где-то во второй половине февраля. Какой же день? Подсчитать нетрудно. Должно быть, воскресенье. Стало быть: пятнадцатое февраля либо двадцать второе. Либо — какое же следующее? — первое марта.

А все зависело теперь от того, насколько быстро будет сделан подкоп. Помещение уже куплено: воронежский купчина Евдоким Ермолаев Кобозев приобрел подвал в доме Менгдена, намереваясь открыть здесь торговлю сырами. Помещение было дряпное, нуждалось в ремонте, асфальтовый пол потрескался, заливало водой. Пока шел ремонт, купец жил в гостинице, являлся ежедневно, гнал, торопил. Купцом определили, по предложению Веры, ее приятеля по саратовскому поселению, честнейшего Юрия Богдановича. У того был вид истинно купеческий, рожа красная, борода лопатой, разговор шустрый, нрав веселый, находчивый — он и сился, и сместь, и враз дровишки наколет, как простой мужичок, хотя из

дворян, псковский помещик. Лучшего Евдокима не придумать! А вот с купчихой, женой Евдокима, получилось затруднение. Сначала вызвалась Баска, ее назначили, но Соня запротестовала: хотелось самой.

Соня имела обыкновение все валить в открытую. На заседании Комитета сказала, что будет лучшая купчиха, чем Баска, хотя она и дворянского происхождения, а Баска — дочь сельского священника.

— Но я подхожу больше, — сказала Соня. — Поймите, я думаю сейчас о пользе дела. Баска, у тебя манеры не те, что нужно. И ты куришь папироски!

Баска сказала, что не будет курить папиросок. Возникла неловкость. Богданович, как деликатный человек и рыцарь, сказал, что ему крайне трудно выбрать жену: обе жены прелестны, очаровательны и исполнены многих достоинств. И запел басом из «Аскольдовой могилы». Засмеялись, решили отложить окончательный выбор на следующий день. Вечером Соня с горячностью убеждала Андрея, чтоб он отстоял ее кандидатуру. Андрей хмуро молчал, потом сказал:

— Нет! У тебя не должно быть преимуществ перед кем бы то ни было...

Комитет подтвердил: женою купца Кобозева Еленой Федоровой Кобозевой быть Ане Якимовой, Баске. 1 января 1881 года купец с женой вселились в отремонтированный подвал и приступили к торговле. Малая Садовая считалась улицей особого режима, по ней проезжал царь, поэтому полиция была внимательна ко всем жильцам и особенно к приезжим. Паспорт Кобозевых был не просто пропущен в участке, но проверен посылкою запроса на место выписки, в Воронеж, откуда пришел положительный ответ: Евдоким Ермолаев Кобозев, мещанин города Воронежа, действительно получил документ в таком-то году. Итак, все устроилось, можно начинать. Начали в первую же ночь. Занавесли окно в комнате, оставили слабое освещение в окне магазина, где горела лампадка перед иконой Георгия Победоносца. Сняли деревянную обшивку. Открылась кирпичная, цементированная стена, которую надлежало пробивать. Взяли ломы. Первые удары нанесли два силача: Андрей и Семел...

А накануне праздновали на квартире у Геси Гельфман. Такой веселой кутерьмы, топота, плясок Андрей не помнил. Наверно, никогда в его жизни не было ничего

пумпей. Были и танцы, и трепак, и жжепка, и «Гей, подувитесь», и «Звучит труба призывная», и соседи из нижней квартиры прибежали, стучали в дверь, пришлось достать револьверы, приготовиться, и, увидев перепуганные лица, радостно извинялись, обещали утихомириться.

— Простите студентов, господа, лекциями замученных. Когда ж и повеселиться, как не на Новый год?

Андрей плясал до изнеможения, хохотал до упаду, пел до хрипоты: в буквальном смысле лишился голоса, си-пел — еще п морозу хватил, выскакивал с Семеном и Колей Саблиным во двор, в одних рубахах, боролсь па снегу — Соня отпайвала горячим чаем. Но за всем этим шумом чуялась Андрею громадная тишина. Может быть, это была смертная тишина. Он смотрел па лица друзей, вдруг понимая, что видит их вместе в последний раз. Милые, незабвенные. Всех — запомнить, унести с собой, взять в свое сердце. Геся, маленькая, темнолицая, похожая па тех девочек, которых он когда-то учил русскому языку в Одессе, неслышно бегала из кухни в комнату, из комнаты в кухню, приносила, уносила, разливала, спрашивала, заботилась обо всех. Ах, эта великая доброта и великая сила маленьких женщин! Бородатый, бледный — ему нельзя много пить — Коля Колодкевич помогал Гесе. Богданович со своей рыжей лопатой, громогласием: весь вечер говорил «по-купецки», помирали со смеху. А Баска ему в ответ, вятской скороговоркой. Коля Саблип со своими каламбурами. Верочка, конечно, блистала: и красотой, и голосом, и платьем. Милая Верочка, ты всегда должна быть прекрасней всех... И когда в минуту тишины произнесли тост за друзей, за тех, кто в руках врагов, за дорогого Дворпика, за Степана — он в Алексеевском равелипе, получена весточка — и опять раздались стоны по поводу несчастной ошибки Дворпика, его всех поразившей и совершено непопятной неосторожности, Верочка вдруг прочитала стихи. Их все знали, читали когда-то, они были посвящены Николаю Гавриловичу, но — забыли, а теперь прозвучало как будто о Дворнике. И — обо всех.

Не говори: «Забыл он осторожность»,
«Он будет сам судьбы своей виной».
Но хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.

Но любят он возвышенной и шире,
В его душе нет помыслов мпрских,
Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других.

Так мыслит он, и смерть ему любезна,
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна,
Его судьба давно ему ясна...

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте.
Его послал бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Кто-то поправил тихо: «Царям земли». Да, да, да, слушать добру, не жертвуя собой. Невозможность. В том-то и дело. Кто сидел опустив голову, кто — сжав кулаки, у Гесп на глазах были слезы. «Ну, что ты?» — «Сашу так жалко...» А через короткое время, когда опять полилось вино, Кибальчич сел к роялю, застучали каблуками танцоры, и Богданович, продолжая неукоснительно свою роль, растолкал всех и под вальс стал плясать вприсядку, с уморительно-каменным, «кобозевским» лицом, он подумал о том, что счастье заключается в незнании тайны. Самой большой тайны жизни: когда и как эта жизнь прекратится. Вспомнил о предсказаниях Казотта. На каком-то великосветском балу, накануне французской революции, Казотт вдруг прервал веселье и открыл гостям их судьбу: «Вас через год повесят... Вас выбросят из окна... Вы будете обезглавлены».

И была еще пирушка, через несколько дней после новогодней: Тихомиров устроил зачем-то — бог знает зачем, странный человек! — венчанье в церкви, потом пригласил человек шесть на ужин к Палкину. Андрей не бывал в ресторанах, наверно, с год. Да и никто не бывал. Все — по дешевым трактирам, кухмистерским. Соня не пошла, было какое-то ведомоганье, а может, не очень хотела — с Тигрычем у нее до сих пор шероховатости, чего никто, впрочем, не замечал, кроме них двоих. Была Верочка, был Иванчип-Писарев, красивый малый, литератор, писавший в «Народной воле» и соединявший редакцию с Михайловским. И был сам Михайловский, которого Тигрыч просил быть шафером на свадьбе. Они прибыли из церкви, из полковой, на Царицыном Лугу, а Андрей приехал сразу к Палкину, едва отбаярившись от каких-то кропштадтских дел. С Михайловским был знаком раньше, по бегло, под

чужим, разумеется, именем, и хотя Николай Константинович поздоровался с ним, как со старым знакомым, Андрей не был уверен в том, что маститый писатель имеет о нем ясное представление. Держался Михайловский очень дружественно и просто. Для начала он сообщил со смехом, что Лев Александрович заставил его впервые в жизни надеть фрак, который он взял напрокат. Потом вдруг нагнулся к Андрею и, со страшной озабоченностью округляя глаза, зашептал:

— Послушайте, надо непременно сбрить эту ужасную бороду!

— Почему же?

— Ваша борода — единственная в Питере. Я запомнил вас по бороде. Это какая-то скала, поросшая дремучим бором! Какой-то ночной Гефсиманский сад, в котором таятся ваша погибель!

— Нет уж, я расстанусь с бородой, когда буду терять и голову, — сказал Андрей.

— Как знаете, сударь, как знаете... — вдруг перестав улыбаться, сухо сказал Михайловский. И сразу включился в разговор, который вели Тигрыч с Писаревым. Как-то новые слухи о том, что Лорис будто бы гальванизирует проект представительного правления.

— Все ковчигится, как и прежде, одними разговорами...

— Посулили обещать!

— Отмена акцизного налога на соль — это максимум Лориса...

— Кстати, не такая дурная мера. Другое дело, газеты подняли неприличный трезвон...

— Это не мера, господа, а чепуха! Ничто их не спасет: ни отмена акциза, ни сабуровские благодеяния студентам...

Тигрыч, как и полагалось якобинцу, был за этим делом самым крайним. И все же, все же! Сося, пропигательнейший ум, сказала однажды: «А Лев от нас тихо отпиливает». Дело не в том, что он измещал свои взгляды, иначе писал статьи, он писал так же зло, беспощадно, как прежде, писал великолепно, но вот решил повенчаться, устроил свадьбу, Катя ждет ребенка: это и есть отплытие. Это делают, когда собираются жить. А они собираются умирать. Андрей слушал разговор умных людей, и ему было скучновато. Он думал о Сове, которая ждала дома. Думал о том, что у него мало времени в этом мире.

Верочка пошла танцевать кадрили с Писаревым, а Семен с Катей. Тигрыч смотрел на жену с испугом: она сле ходила, оставалось недели две до родов.

Михайловский подозвал лакея и заказал кофе и кюрасо. Андрею вдруг захотелось пощекотать «властителя дум», которого уважал безмерно, ценил его талант, готовность помогать, а статьи за подписью Гроньяра считал образцом революционной журналистики, — и, подсев к нему, напомнил о предсказании Казотта.

— Николай Константинович, помните Лагарпа? Казотт предсказал: «Вы будете гильотинированы, вас разорвет толпа...» Ну, а что вы скажете о нашей милой компании? — Андрей обнял жестом уютный палкинский кабинет, где три пары танцевали кадрили и жуковидный тапер дергался и махал головой за роялем. — Сделайте предсказание!

Михайловский погладил бороду, кашлянул и как-то очель всерьез, с сознанием ответственности — хотя Андрей предлагал полушутливый тон — оглядел всех, кто был в кабинете. На Андрея он воззрился последним. Взгляд из-под стекол пенсне был суров.

— Не могу сказать о каждом в отдельности, по вся ваша компания прославится. Это я вам предсказываю. И еще: когда-нибудь нынешнее время покажется удивительным! Самые опасные террористы разгуливали спокойно по городу, сидели у Палкица, танцевали кадрили, пили кюрасо.

Андрей, помолчав, сказал:

— Не знаю, как слава, а шум будет.

В конце обеда подали счет: пятьдесят рублей. У Верочки вытянулось лицо. Таких денег, кажется, ни у кого не было, и вообще это недопустимое мотовство. Но более всего недопустимо, чтобы платил «властитель дум». Николай Константинович уже достал портмоне, но Тигрыч вскочил: «Нет, нет! Плачу я!» Слава богу, мы бедны, но горды...

Денег не было. Касса почти пуста. Надеялись на поправку дел кишиневским подкомом, но дружина Фроленко вернулась ни с чем: рухнули громадные средства, труды. Каким-то образом обратили на себя внимание полиции, и пришлось срочно узязать из гостиницы, откуда уже начали рыть.

Васька Меркулов, один из главных кишиневских «казноконов», в чем-то вишил Михайлу Фроленко, Тая Лебе-

дева выпила Ваську, Фриденсон сказал, что мало людей, не хватило сил: в подкопах надо работать непрерывно, в несколько смен. С деньгами стало постолько худо, что Андрей даже попросил денег у полунитшего Рысакова, парня, которого Андрей еще мало знал и только лишь вовлекал в дело: Рысаков переходил на нелегальное положение, и Андрей обещал ему платить от партии такое же содержание, какое тот получал от копторы Громова и К°, в которой служил отец Рысакова. Тридцать рублей ежемесячно. А пока что Андрей научил парня, чтоб тот требовал в копторе содержание за три месяца вперед и дал хотя бы рублей пятьдесят в кассу партии.

Нет, все правильно, разумно — не пропадать же деньгам? Он становится нелегалом и лишается пособия. Но язва в том, что партия, которую мальчишка обязан считать могущественнейшей в мире, берет у него в долг пятьдесят рублей! И все это надо было пережить, перетерпеть, сжать зубы, не обращать внимания на недоумевающие взгляды. «Нам не так важны деньги, как важна форма символического участия».

И все же — борьба, лютая, на живот и на смерть: государство с миллионной казной и несколько человек, для которых важны пятьдесят рублей...

Рысаков и кое-кто из молодых, почуввавших скудость сил, насторожились. Васька Меркулов стал наглеть. Васька был одним из старейших знакомцев Андрея, еще по Одессе. Солдатский сын, с детства без надзора, ничому путем не научившийся — не то столяр, не то резчик по дереву, не то разбитной одесский возчик, балагула, — Васька пристал к революционным делам как бы случайно, но цепко, вроде Ванички Окладского: он и то, и это, и пятое, и десятое. И всем знаком, всем он «Васька». Правда, в отличие от Ванички, у которого был отменный характер, Васька вспыльчив, капризен, легко надувается, всегда у него какие-то просьбы, жалобы, глупые обиды.

Едва приехал из Кишинева, сразу — жалоба:

— Иваныч, почему Верочка со мной зпаться не желает? Ни в кофейную, ни в театр не ходит?

— Я не знаю, Василий. Наверно, недосуг. Ты уж у него спроси.

— Спросишь! Она фыркнула и пошла. А почему никогда домой не пригласит? Я знаю, она теперь с Гришкой Исаевым, на новой квартире. Там у вас сборы, разговоры, чай пьете, а рабочего человека не очень-то привечаете...

— Если рабочий человек не член Комитета — нельзя.

— А что ж, если просто так, от сердца, работает, жизнь ставит на кон ежечасно...

— Вася, голубчик, пойми: эта квартира комитетская. Туда только члены Комитета допущены. Вера, может, и хотела бы тебя позвать, да не имеет права.

Махал рукою презрительно:

— Говорите только: рабочие, рабочие. А на деле-то не особо...

Всех прпехавших из Кишнева сейчас же снарядили на работу на Малой Садовой: копать. А Ваську определили «молодцом» в сырную лавку. Но Богданович и Баска вскоре от него отказались: для «молодца» негоден, ростом невелик, ухватки как-то не «молодецкие», все та же капризность. Вдруг с покупателями начинал говорить высокомерным тоном: «А вы не попускайте! Не запрягли!»

В подкопе работали только ночью. Все, кто были здоровы: Колодквич, Баранников, Исаев, Саблин, Ланганс, Фроленко, Фриденсон, лейтенант Суханов, недавно приятый в члены Исполнительного комитета, Дегаев и Васька Меркулов. И — Андрей. Землю из подкопа складывали в задней комнате, прикрывали на дель сеном, каменным углем. Первые дни работа двигалась споро, паткнулись на железную водопроводную трубу, ее пришлось обойти, слегка изменив направление подземного хода, это было несложно, однако через несколько дней возникло другое препятствие: огромный деревянный водосток размером примерно аршин на аршин. Миповать его низом было нельзя, снизу поднимались подпочвенные воды, а обходить верхом рискованно: близка мостовая, мог случиться обвал. Суханов и Исаев, два главных специалиста по этим делам — их пикто не выбирал, но так получилось само собой, Исаев оказался фантастическим энтузиастом копания, а Суханов был сведущ в миппой науке, — определили, что деревянная труба наполовину пуста. Решили ее прорезать, чтобы в дырку вставить бурав и затем проталкивать снаряды с динамитом. Как только водосток прорезали, подкоп наполнился ужасным зловонием. Дальше трех минут не выдерживал никто, даже Исаев, и это несмотря на то, что на нос и рот надевали респираторы с ватой, пропитанной марганцем. Но когда бурав был вставлен и прорезь тщательно заделана, зловоние прекратилось. Все пошло дальше спокойней, хотя медленней: работа с буравом требовала больших физических усилий. Боялись шу-

меть. Недалеко был пост городского, и Баска, наблюдавшая в окно, давала сигнал, когда фараон удалялся в конец улицы и когда приближался.

И так все это шло, двигалось, ладилось, хотя и с помехами, но непрерывно вперед, и Андрей всем существом, всей кожей своей, пропитанной земляной сыростью, чувял, что цель близка. И там, под землей, в адовой темноте, вдруг осеняла минута покоя: скоро конец! Скоро, скоро конец. Еще неделя, другая, день, два, и — конец.

Общественная квартира, о которой прослышал Васька Меркулов, снятая Верой и Гришей Исаевым для заседаний Комитета, находилась на Вознесенском проспекте. Три больших, неуютных комнаты, мало мебели, плохие печи, всегда холодно, и особенно холодно — на улице калил крещенский мороз — было в тот вечер, когда пришел занпдевший Исаев и со странной улыбкой показал всем сидевшим за столом свернутую трубкой бумажку.

— Как думаете, господа: от кого письмо?

Только что был тяжкий, малоутешительный разговор о возможных попытках инсurreкции, ни о чем другом говорить не хотелось, и неясный розыгрыш Исаева остался без отклика. Андрей спросил хмуро:

— Ну?

— От Нечаева, — спокойно сказал Исаев и положил бумажку на стол. — Из равелина.

От Нечаева? Что за вздор! Разве он жив? Тот самый? Сергей Гепнадиевич? Который вызвал такую бурю? Которого знали Герцен, Бакуини, Огарев, Маркс? Которого проклинали? Который был — министр, чудовище, царский враг номер один? И, получив двадцатилетнюю каторгу, исчез бесследно лет восемь назад в каких-то безднах, казематах... Так вот, господа: Нечаев в Алексеевском равелине. Он жив, не сломлен, борется, полон грандиозных замыслов и шлет привет Исполнительному комитету. До ноября в равелине, кроме Нечаева, был всего лишь один узник, какой-то загадочный арестант, сошедший с ума, а в ноябре в равелин поместили Леона Мирского и затем Степана Ширяева, с которым Нечаеву удалось наладить связь. Степан переправил через верного Нечаеву копвойного солдата его письмо Исполнительному комитету на адрес Дубровина, своего гимназического приятеля. Того самого Евгения Дубровина, которого Андрей отлично знал по рабочим кружкам, студента-медика.

А Дубровин передал печаяевское письмо Исаеву, своему товарищу по Медико-хирургической академии. Вот каким путем оно — здесь, на столе.

Письмо было поразительное по прямоте и деловому тону. Нечаев просил, впрочем и не просил, и не требовал, а предлагал Комитету принять меры к его освобождению. Не было ничего лишнего, никаких излияний, сантиментов, громких фраз, покаяний, самооправданий, намеков на прошлое — может, и не догадывался о том, какую ненависть вызывало его имя среди молодежи? Да ведь прошло десять лет с первого процесса, когда судили еще не его самого, а «нечаевцев». Но имя Нечаева прогремело впервые тогда. Просто и четко, в том стиле, в каком были писаны знаменитые прокламации «Народной расправы», Нечаев предлагал способы действовать. Солдаты конвойной стражи находятся под его влиянием. Многолетней работой среди них — что ж это была за работа! какие упорные, без устали разговоры! — сумел их распропагандировать. До тонкости выведено все, что касается крепости: количество войск, оружия, число солдат и командиров, расположение помещений. Единственное, что нужно: помощь извне. Согласен ли Исполнительный комитет помочь Нечаеву?

А Андрею вспоминалась Одесса, лето после второго курса, ощущение силы, удачи, полная стипендия, пюль, купанья и беготня по утрам в городскую библиотеку за «Правительственным вестником». Там печатался отчет о процессе. И все было слитно в то лето: почти, девчонки, драки на набережной, а по утрам — страпная, чем-то мапившая, чем-то ужасавшая фигура учителя закона божия в приходском училище в Петербурге, ивановского мещанина Сергея Нечаева. Создал «организацию». Обманывал, врал, выдавал себя не за того, кто есть, никому не говорил правды, морочил голову эмигрантам, даже бедному Герцену перед смертью, вымогал у них деньги, брехал, мистифицировал, писал фальшивые записки, будто его везут в Петропавловку, распускал слухи, что бежал из крепости, выпрыгнув из окна уборной, оказывался внезапно за границей, убивал, связывал круговой поручкой и кровлю — и все ради того, чтобы до конца разрушить этот поганый строй!

Вспомнилось, как кто-то украл из библиотеки номер «Правительственного вестника», где печатался «Катехизис революционера», тогда это называлось «Общие прави-

ла организации» или что-то в этом роде, и читали вслух на квартире то ли Мишки Тригопи, то ли Заславского. Точно не знали, кем написан «Катехизис», одни говорили, что самим Нечаевым, другие намекали на эмигрантов, на Бакунина. Сочинение это было найдено в бумагах нечаевцев. Какая была сеча, какой стоял крик! «Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей... Он знает только одну науку, науку разрушения... Он презирает общественное мнение... Он презирает и непавит общественную нравственность... Все изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены единой холодной страстью революционного дела...»

Эти железные строчки, из-за которых было так много шума и брани, врубались в память. Ну как же! Говорилось: «Это провокация, устроенная парочно, чтобы общество возненавидело молодежь!», «Нечаев мастьяк!», «Нечаев смельчак! Он говорит то, о чем все боятся сказать прямо!», «Подлец! Обольститель!». А знаменитое деление общества на шесть категорий?

«Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий...» Поражал стиль сочинения, полный ярости и страстной злобы, проникавшей в каждое слово. Он не писал: общество должно быть разбито или разделено на несколько категорий, а — раздроблено. Даже в словах спешил дробить проклятое общество. Да, да, все делилось на шесть категорий. Первая категория — неотлагаемо осужденные на смерть. Будет составлен список по степени зловредности каждого. При составлении списка надо руководствоваться не личными злодеяниями человека, не несправедливостью, им возбуждаемою — это даже полезно для народного бунта, поэтому главных злодеев надо «лелеять», — а руководствоваться мерой пользы, которая произойдет от убийства для революционного дела. Во второй категории — особо зверские злодеи, которых для пользы дела убивать не сразу... Третья — высокопоставленные скоты, которых надо эксплуатировать, опутать, сбить с толку и, овладев их грязными тайнами, сделать своими рабами...

Десять лет прошло с тех пор, как читал «Правительственный вестник», а некоторые выражения, например — «овладев их грязными тайнами», изумившие тогда, помнились от слова до слова. Революция, это чистое, святое

дело, и — тайны каких-то скотов? Копаться в чужой грязи? Делать кого-то рабами? Да ведь против грязи и рабства все затевается! В четвертой категории были, кажется, честолюбцы и либералы, которых тоже следовало шантажом прибрать к рукам... В пятой — революционные болтуны, доктринеры, которых тянуть и толкать к делу... И, наконец, шестая категория — вызывавшая в Одессе самые шумные споры — женщины. Они делились, кажется, на три разряда. Первые: бессмысленные, бездушные, которыми нужно пользоваться, как третьей и четвертой категориями мужчин; другие — горячие, преданные, но какие-то еще не вполне свои, их надо употреблять, как мужчин пятой категории; и, наконец, женщины совсем наши. На них следует смотреть как на драгоценнейшие сокровища наши, без которых нельзя обойтись.

Все это было ближе не к Карлу Моору, не к декабристам, не к благородному, твердому, как сталь, Рахметову, а к маленькой книжонке, выпущенной года за два перед тем: «Монарх» Макпавелли. Но главное, что оттолкнуло многих, заключалось, конечно, не в словах, напоминавших книжонку, а в рассказах про грот, убийство, кирпич на шею. Заманливы, пабросились втятером. Николаев кричал: «Не меня, не меня!» Душили в темноте. Иванов кусал Нечаеву руки. Не возмездие за предательство, а сведение мелких счетов, и — порука кровью. Нужна была кровь, чтоб связать. Один из нечаевцев, говорят, предлагал, будучи в заключении, найти и убить Нечаева. Все его ненавидели. Ни один человек на суде не сказал о нем доброго слова, хотя некоторые изумлялись его особым свойствам: он умел не спать, обладал чудовищной работоспособностью, решительностью, доходящей до изуверства. Александровская, бралившая его на все лады, говорила: «Он убежден, что большинство людей, если ставить их в безвыходное положение, способно на храбрость и отвагу».

Вот это и было его задачей, целью, страстью: ставить людей в безвыходное положение. Через два года пришло известие: Нечаев арестован в Швейцарии и передан русскому правительству как уголовный преступник. Это уж подробно рассказывала Верочка, которая училась тогда в Цюрихе. Нечаев, оказывается, жил в Швейцарии, то у Огарева, то у агентов Мадзини, зарабатывая рисованием вывесок, был выдан каким-то провокатором, и русские студенты, хорошо помпившие нечаевское дело, не слишком ему сочувствовали и не сделали попытки отбить его у

швейцарской полиции. В Петербурге был суд, Нечаев вел себя дерзко, с вызывающим непокорством, был приговорен к двадцати годам каторжных работ в рудниках, и, когда его выводили из зала, кричал: «Да здравствует Земский собор! Долой деспотизм!» После этого — сгинул. Были хождения в народ, разочарования, бунтари, троглодиты, «Земля и воля», выстрел Засулич, громкие, на весь мир прогремевшие дела и процессы, а Нечаев прозябал в пещерных тартарах. И, судя по письму, не прозябал, а неуемно боролся с тюремщиками, боролся без надежды, в могильной безвестности и мраке, просто в силу своей натуры, для которой жить, дышать, тлеть означало — бороться. Он дал пощечину шефу жандармов Потапову, который пришел к нему с предложением оказать услуги полиции. От пощечины у генерала пошла кровь носом и из рта. Нечасва избивали, увечили, надевали на него кандалы, два года держали в цепях, прикованным к стене. И на воле об этом никто не знал! Все вынес, переборол, пережил своего главного мучителя Мезенцева, и вот — не мольбы и не вопли о спасении, а спокойные, трезвые слова: «Если Исполнительный комитет сочтет возможным...»

Андрей вспомнил, как Феликс Волховский, давний друг — и привлеченный первоначально как раз тем, что был нечаевцем, судился по процессу, и в Одессе жил под надзором, — рассказывал: «Сам худенький, безбородый, как мальчик, лицо серое, почти обгрызены, а рот у него сводила судорога. И подумать только, что у этойкой невзрачности — сила воли гигантская, гипнотическая!»

— О чем же тут думать? — сказала Вера. — Разумеется, мы должны сделать все, чтобы спасти его!

Андрей засмеялся.

— Верочка, я вспомнил, как яростно ты поносила его в Липецке. И я тебя охлаждал.

— Я и сейчас возмущаюсь его действиями. И ты прекрасно знаешь, Тарас, что для меня нет худшего ругательства, чем «нечаевщина». Но я преклоняюсь перед его подвигом и страданиями!

Баска, знавшая о Нечаеве много по рассказам своей подруги Лины Кутузовой-Нафiero, бакунистки, тотчас поддержала Веру: да, да, конечно — помочь, но нельзя забывать, что он был осужден всеми, даже Бакуниным, который называл его иезуитом, абреком. А как он выманил у Огарева деньги, остатки Бахметьевского фонда? А как нытался обольстить некоторых наших знакомых? Чисто

женское: все в кучу, важное и пустяки, и все одинаково ранит душу. Но Соня отлпчалась от всех. «Теперь это не имеет значения,— сказала она.— После того, что мы узнали».

— Это первое! — подхватил Андрей.— А второе: два, три года назад мы действительно были далеки от него и имели право возмущаться, а сейчас, дорогие друзья, мы заметно к нему приблизились.

— Как!

— Что ты говоришь?

— Доказательства! Такие обвинения не бросаются!

— Господа, мы почти выполняем программу «Катехизиса». Там было сказано, что революционер должен проникнуть всюду, во все сословия, в барский дом, в военный мир, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец. Я помню отлично, потому что это место меня тогда поразило и показалось сказкой. Теперь мы знаем, что вовсе не сказка, все выполнено: мы проникли к военным, к литераторам, наш агент есть у Цепного моста и побывал в Зимнем дворце!

— Тарас, ты можешь убить человека? — спросила Вера.— Не предателя, не шпиона, не врага, а просто — потому что его смерть даст тебе пекую власть?

— А для чего убивающему некая власть? А вдруг — для всеобщего блага? Вдруг — получить власть и с ее помощью навести на земле порядок? Ведь мы собираемся в одно из ближайших воскресений казнить царя, а он — не шпион, не предатель, не личный враг. Но мы надеемся этой казнью приобрести пекую власть над историей, повернуть колесо российской фортуны. Убиваем ради блага России! В этом-то вся трагическая сложность: мечтаем о мирном процветании, а выпуждены убивать, стремимся к Земскому собору, чтоб убеждать словами, а сами готовим снаряды, чтоб убеждать динамитом.

— Позволь, ты сравниваешь разные вещи: убийство несчастного Иванаова и царя...— Слабо сопротивлялась одна Вера. Мужчины молчали.

— Разные по размерам. Модель одна. Мы тоже начали с бессмысленных убийств: какого-то Гориневича, какого-то дурака Гейкинга... А если бы Сергей Геннадиевич не был сейчас в рavelине, он бы сидел с нами и руки у него были бы такие же черные, как у Гриши Исаева, от динамита.

Кто-то из мужчин сказал угрюмо:

— Ну, довольно теорий! У нас времени в обрез. Давайте решать: что делать, чтобы спасти его? Он нам нужен, людей-то нет.

Решили дело освобождения Нечаева и Ширяева возложить на военную организацию, руководство поручить Андрею и Суханову. Все шло чередом. Катился в сыром тумане не слишком морозный январь, все дальше углублялся подкоп, все больше земли нагромождалось в задней комнате, в пустых кадках, кучами на полу, прикрытыми рогожей и коксом. А в конце января внезапно повалились беды: 24-го арестовали Фриденсона, через день у него на квартире полицейской засадкой был схвачен Бараников, и в тот же день на квартире Семена арестовали Колодкевича, и 28 января самый страшный удар — засадою на квартире Колодкевича схвачен Николай Васильевич Клеточников. Лучшие люди партии провалились в течение четырех дней! Что это значило? Кто ворожил полиции в этих сокрушительных, без промаха, нападениях? Ведь не только же оплошность партионцев! Хотя и оплошность была. Привыкли к тому, что Дворник заботился о безопасности всех, а Клеточников заранее обо всем предупреждал. Но Дворника не было, а Клеточников пополуночи утратил всеисильность, ибо право обысков и арестов получило теперь и градоначальство, куда Клеточников не достигал. Вот и попадались дурным образом: одна засада за другой, какое-то дьяволовое наваждение! Была ночь, когда Андрей и Сося не сомкнули глаз ни на минуту: гадали, пытались понять — откуда моровой ветер?

Сося требовала, чтоб Андрей прекратил безоглядно ходить по городу, толкаться в трактирах, встречаться со множеством людей, знакомых и незнакомых. Он обещал. Прекратит. Оставит только главное: рытье подкопа, равелин, метальщиков. Но видел, что — не сможет. Кто же, если не он? Людей становилось все меньше, катастрофически. И опять считали, считали: ну, кто остался? Исаев и Кибальчич, эти двое на дппамите, Баска и Богданович в лавке, Гесья, Сося, Вера, Аня Корба, Мария Николаевна, ее сестра, женщины сохранились, а мужчины — бойцов — почти нет. Тетерка, партионный извозчик, и Лев Златопольский арестованы в те же дни. Итак: Фроленко, Саблиц, Суханов, Ланганс, большой Франколи... И какие-то не вполне ясные новобранцы: Рысаков, Тимоха, Гриневский, Подбельский. Какого-то долгоязого юнца прислала Аня.

Но все это уже не имело значения. Когда подсчитывали силы сочувствующих, выходило — человек пятьсот. Ни о какой инсurreкции думать нельзя. Но из этих-то пятисот десять человек для одного дела — найдутся?

И он сказал тогда в бессонную ночь:

— Знаешь, Соя: ничто нас не остановит. Даже если бы мы сами пытались себя остановить.

Всю Владимирскую заплотила толпа, медленно двигавшаяся в сторону Невского. Перейти на другую сторону улицы не было никакой возможности. Андрей возвращался с Лиговки, где была встреча с Подбельским, на комитетскую квартиру и очень спешил. Впрочем, он спешил теперь каждый день. Он перестал спать. Иногда засыпал днем, внезапно, где-нибудь в комнате на стуле. Теперь была понятна пугавшая всех способность Нечаева не спать: так же, как Андрей, он не мог спать, и это было постоянное, естественное, неутрачиваемое. Потому что надо было дожить. Толпа шла шагом, плотно, в странном молчании. Над головами колыхались лавровые и пальмовые венки. Что это было? Похороны, что ли? Да, конечно, он вспомнил: умер Достоевский. Третьего дня кто-то говорил, кажется Саблин. Достоевский жил в том же доме, где жили Семен с Марией Николаевной. Семен рассказывал: несколько раз видел его на лестнице, возле дома, и однажды даже разговаривал о чем-то, о птицах. Семен подкармливал крошками птиц в морозный день. И вот уже неделя прошла, как Семена нет. Мария Николаевна с ее замечательным везением, как обычно, удалось спастись, и сейчас она, слава богу, уехала из этой квартиры на Кузнечном, ибо сразу за тем там арестовали Колодкевича. Но как перейти на другую сторону улицы?

Толпа замедляла шаг, останавливалась. Андрей, поднявшись на ступеньки каменного крыльца, смотрел в сторону головы колонны, там высоко поднимали венки, какую-то черно-желтую хоругвь, и оттуда несло пение хора. Был светлый, туманный, не по-зимнему теплый день. Шествие остановилось возле Владимирской церкви. Люди в толпе спрашивали: «Почему остановка?» Кто-то объяснял: «А как же, поют литию...» Было много бледных, угрюмых, заплаканных лиц, но много было и вовсе спокойных, даже довольных чем-то: как будто довольных тем, что удалось попасть и присутствовать. Колонну ограждала цепь студентов, державшихся за руки. Андрей

решил пойти быстрее вперед, тротуаром и попытаться обойти шествие спереди, тем более что оно делало остановки, а хвост, наверное, был велик, его не обойдешь. Где быстрым шагом, а где протискиваясь между цепью студентов и стенами домов, он продвинулся далеко вперед, почти к самой голове и, приподнимаясь на цыпочки, уже мог видеть гроб, усыпанный цветами и окруженный вместе с песущими людьми громадной гирляндой листьев. На тротуаре стоял народ, глазевший на похороны и пытавшийся угадать, кого хоронят. Андрей слышал, как один говорил, что хоронят штатского генерала, второй сказал — учителя. И в другом месте Андрей услышал: «Учителя хоронят, который на каторге четыре года без вины...» И это напоминание о каторге почему-то больно задело Андрея, и он подумал со злой радостью: «Подождите, скоро другие похороны будут!» Он сумел протолкаться в толпу, намереваясь пересечь ее поперек. Тут были солидные люди в дорогих шубах, может быть, адвокаты, профессора, литераторы, было много женщин и молодежи. Все это двигалось, а вернее сказать, плыло в сторону Невского так слитно, перасторжимо, что пробиваться сквозь эту объятую густой взволнованностью толпу было не то что трудно, а попросту невымыслимо. Андрей понял, что совершил ошибку, сойдя с тротуара и углубившись внутрь шествия. Его несло вместе со всеми, шатало вместе со всеми, вдруг останавливало, и он стоял, обтиснутый со всех сторон, покачиваясь, потому что все вокруг покачивалось. Поневолу прислушиваясь к разговорам, и мысли его, занятые рavelином, Нечаевым, арестами друзей, голодом в Оренбургской губернии, обращались к писателю, великому и враждебно-далекому, ненавистнику. Призывал к смирению и одновременно так страстно ненавидел. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сложи свою гордость!» И вдруг так ясно, внезапно подумалось: а ведь ненависть у них к одному — к страданию. И поклонение тому же, и вера в силу искупительную — того же самого, страдания человеческого. Пострадать и спасти. И, значит, где-то в самой дальней дали, недоступной взгляду, есть точка соединения, куда стремятся они каждый по-своему: исчезновение страдания. Только он-то хотел — смирением победить, через тысячелетия, но ведь никакого терпения не хватит! Нет у рода людского такого запаса терпения, нет и быть не может.

Толпа несла. Пробраться к левой стороне шествия и выйти на тротуар казалось почти невозможным. Он слышал тихие разговоры, вздох, шарканье ног, всхлипы-ванья, испуганные голоса и даже стоны женщины и почти непрерывное, доносившееся и спереди и откуда-то сзади пение хоров. И все же это было единство, это был поток, кативший к единой, всем ведомой цели — в Лавру? На кладбище? Смирись, гордый человек, и теки вместе со всеми.

Но времени более не оставалось ни минуты.

И он нажал плечом, расшиб, растолкал и выскочил опрометью на тротуар. Через полчаса, в середине дня он был на Вознесенском.

Собралось человек семнадцать. Приехал Михаил Тригопи, срочно вызванный из Одессы. Глядя с радостью на своего необыкновенно плечистого, могучего друга, Андрей подумал: «Сегодня же его в сырную лавку! Вот из кого землекоп!» Опять говорили об инсurreкции, обсуждали, подсчитывали, и опять выходило то же: сил мало. Суханов сказал, что в лучшем случае можно поднять сотни две военных, считая моряков и артиллеристов. А по всем рабочим, студенческим кружкам, по всем городам — человек пятьсот. Так и они с Соней считали. Конечно, огромный рост могло дать удачное покушение. Тригопи, как человек провинциальный и восторженный, восклицал:

— Черти соломенные, чего вы плачете? Пятьсот человек — это же армия! Наполеон начинал с пуля, а у нас — пятьсот!

— Господин адвокат, ваше дело копать землю, — сказал Андрей. — Сегодня же ночью — за лопату!

Тигрыч вяло махнул рукой.

— Какие пятьсот? Откуда? Выдаем желаемое за действительность...

И, конечно, Старик был по сути прав: истинных бойцов было не пятьсот, а пятьдесят. И даже, быть может — тридцать. А если еще точнее, то — вот эти семнадцать, что сидят в комнате. Эти пойдут до конца, на смерть, остальные будут помогать, горячо, пылко, могут вступить в драку, но вопрос жизни и смерти ими еще не решен.

Второе, что обсуждалось: как действовать с равелином? Андрей и Гриша Исаев прочитали последние исчаевские письма, которые тот передавал через верных ему ка-

раульных солдат на волю. В этих письмах было много здравого, но была и совершеннейшая фантастика. Нечаеву казалось уже недостаточным освобождение себя, Ширяева и третьего, безумного узника. Он предлагал теперь не больше не меньше как захватить в плен всю царскую семью в тот день, когда царь прибудет в Петропавловский собор на богослужение. План излагался подробно: его солдаты заранее займут все входы и выходы собора, поместятся на хорах, а Нечаев, заблаговременно освобожденный, появится внезапно в форме полковника, объявит Александра II низложенным, посадит его в камеру, а Александра III назовет императором. Одновременно будет захвачена вся крепость. Поражало одно: абсолютная уверенность в преданности своих солдат.

Одни смеялись, другие были изумлены, третьи высказывали догадку: а не тронулся ли Сергей Геннадиевич слегка? Тихомиров сказал, что занятное заключается в том, что, если бы Нечаев взялся осуществлять свой план, он бы у него почти удался. Ведь у него все всегда почти удавалось! Нет, он несколько не тронулся, это был обычный, ясный, нечаевский стиль. Он предлагал на выбор и два простых плана своего освобождения: один — через водосточную трубу, крышка которой находилась во дворе, где Нечаев гулял, а выход был в реку, невысоко над уровнем воды; второй — солдаты переоденут его и выведут за ворота, где будут ждать партизаны с пролеткой.

Суханов сказал, что если использовать водосток, то дело, вероятно, придется отложить до весны, когда сойдет лед. Но главная сложность была не в этом. Все смутно догадывались, Андрей сказал:

— Друзья мои, а ведь нам придется делать выбор: казнить царя или освободить товарищей. Два таких предприятия рядом — немислимо! Одно повредит другому.

Комитет решил: Желябову как можно скорей выяснить все возможные способы освобождения, имея в виду, что все-таки казнь царя — предпочтительнее для дела, для России. Как ни горько, а похоже на то. А что было делать? Ведь и в «Катехизисе» говорилось, что действия революционера должны руководиться мерою пользы, а не какими-либо септиментальными соображениями.

Водосток был отвергнут. Слишком узка труба, большой риск задохнуться. План с переодеванием был бы хорош, если бы не надо было его готовить и тратить по меньшей мере месяца полтора. Откладывать взрыв на Ма-

лой Садовой невозможно. Он намечен если не на пятнадцатое, то на двадцать второе. Значит, до взрыва — невозможно. А после?

Ночью работали в подкопе. Другую ночь тоже работали в подкопе. И третью ночь работали. Днем приходил домовладелец и спрашивал у Кобозевых, довольны ли они ремонтом, не трескается ли асфальтовый пол. Домовладелец проявлял обыкновенную хозяйскую прыть. Богданович басил, гремел, размахивал руками, пытаюсь положение дел обрисовать на словах, в то время как домовладелец интересовался попросту зайти и взглянуть. И он чуть напирал на Богдановича, поровня сдвинуть его в сторону, что было трудно: тем более что в комнате лежала свеженарытая земля. Но тут вмешалась Баска, своим бойким вятским говорком объявив, что в горнице белье развешено, а немного погода могут зайти и поглядеть чего нужно. И четвертую ночь работали в подкопе, который здорово продвинулся. И пятую ночь таскали землю. Андрей приходил домой под утро или днем, мылся, падал в постель. Сна не было. Иногда просто лежал без сна, с закрытыми глазами, иногда дремал несколько минут, вдруг что-то спрашивал у Соны. Ей казалось, что он разговаривает во сне. От него пахло землей. Он сам постоянно чувствовал этот запах от собственной кожи, от рук: запах сырости, погреба.

Вдруг, очнувшись, увидел, что Соня сидит на стуле рядом с постелью и смотрит на него. В ее глазах за последние дни появилось какое-то страшное, умоляющее выражение. Некогда было задумываться, но — похоже на страх. У Соны страх? Совершенная невероятность. Иногда в дремоте ощущал жалость к ней, просыпался от этого ощущения, но сейчас же — лишь просыпался — все пропадало. И вот теперь, очнувшись, он какую-то секунду жил еще не угасшим, из сна, чувством острого страдания к ней, тут же вскочил, спросил: который час? Половина первого. В час начинался годичный «акт» в университете, и он обещал непременно там быть. Вдруг Соны голос:

— Прошу тебя не ходить.

— Что ты! — Он засмеялся. — Как же я могу?

Он обещал Папию, Льву Матвееву, всем остальным, что придет и увидит все это своими глазами. Вместе с Папием Подбельским писали прокламацию, печатали в типографии на Подольской — от имени «Центрального

университетского кружка». И они знали, что он придет, будет в зале, все разыграется, как по нотам: сначала выступит Лева, потом Папий, потом Лева разбросает прокламации. Университетский «акт» бывает раз в году. Присутствие Андрея было для них важно. Оно придавало им сил.

— Тарас, я тебя никогда ни о чем не просила...

— Почему ж сегодня такой исключительный день?

— Потому что они — на твоих следах. Все эти аресты не случайны: неужели ты не видишь, что они подбираются к тебе?

Он видел. Но бунт в университете, если он состоится, это такая награда, ради которой стоит рискнуть.

— Ты уже не чужой в Петербурге... Тебя знают сотни людей... И ты идешь в этот Вавилон, где полно доносчиков и шпионов... Я знаю: будешь стоять на виду, будешь хохотать, размахивать своей бородой, еще и в драку влезешь, а драка будет наверняка...

Он сказал: да, наверно так и будет. Но отступить он не может. Если он не придет, если Папий и Лев не увидят его перед началом — все может сорваться. Рухнут все приготовления. Да и стоит ли так уж бояться риска? Ведь жизни все равно осталось немного.

— Я ненавижу эти твои разговоры!

Он молча одевался, зашнуровывал тяжелые, разбитые башмаки. Давно бы надо купить другие, и деньги есть. Только зачем? Соня злым голосом выговаривала:

— Ты не имеешь права! Твоя жизнь не принадлежит тебе одному... Комитет поручил тебе удар книжкой... Как можно ставить под угрозу все предприятие?

Неожиданно Соня закрыла руками лицо, села на кровать и согнулась, сжалась. У нее была одна такая поза: вдруг превращалась в какого-то маленького зверька, сжималась клубком.

— Зачем, зачем, зачем? Мне стыдно... — Она шептала сквозь зубы. — Ведь я была счастливым человеком — ничего в жизни не боялась...

Он ее уснокаивал, стоя на коленях возле кровати, обнимая ее.

— А теперь боюсь, боюсь — за тебя...

— Ты не бойся. Не надо. Поминишь, как говорил Дворник: «Человек, который победил страх смерти — всесилен, как бог».

— Какой же страх смерти? Говоришь чушь...

— Ну, страх моей смерти. Тоже чушь. Тоже надо преодолеть.

— Нет! Нет, нет, нет! Я хочу, чтоб мы жили с тобой долго. Хочу, чтоб мы были счастливы. Неужели нельзя? Ведь говорили: потом, когда сделаем дело, поселимся на хуторе, будем пахать землю и читать книги...

— Ну да. А какие книги?

Она посмотрела на него.

— Какие? «Тараса Бульбу»...

— Тебе не надоело?

— Сама, конечно, читать не стану, но когда ты читаешь, могу слушать без конца. Что еще? Лукьяпова о Гайдамачине, Антоновича, Жорж Санд. И, конечно, наши «Самоохранительные записки...»

«Самоохранительные записки» — их излюбленное чтение вечерами, уморительная чепуха. Он видел: она успокаивалась. Надо было уходить. Не уходить, а — бежать. Левка Матвеев, он же Коган-Бернштейн, и Папий Подбельский ждали на улице в условленном месте.

А у Соши было предчувствие: сегодня непременно что-то случится, поэтому такая мольба к нему — не ходить. Сама же, между прочим, в два часа пополудни собирала свой наблюдательный отряд на Забалканском. Ее тоже знает пол-Петербурга.

— Так вот, Сося.— Взяв ее руки в свои, очень серьезно взглянул ей в глаза, из которых еще не исчезло прежнее, умоляющее.— У меня к тебе тоже есть просьба: не ходи, пожалуйста, сегодня на Забалканский. Ладно?

Сося усмехнулась. Поцеловал ее, схватил пальто, шапку, выбежал бодро, одеваясь на ходу, ощущая, как с каждой секундой вливаются силы. Подойдя к университету, сначала увидел приземистого Папья, курившего папироску, стоявшего в одиночестве, потом в толпе — долгового, рыжего Левку, который что-то громко говорил студентам, заметил Андрея и сделал движение броситься к нему, но сдержал себя. «Очень нервен». Левка должен был прервать оратора криком, но следовало точно выбрать минуту. В толпе студентов Андрей разглядел и Суханова. Сделали вид, что не знают друг друга. К университетской годовщине министр просвещения Сабуров, эта хитрая лиса, достойный сатрап Лориса, приурочил отмену временных правил и восстановление университетского устава шестьдесят третьего года. Вот и надо было показать все лицемерие этой «уступки». Андрей поднялся на хоры. За-

тели стройно «Коль славен». Профессор Градовский читал отчет, довольно нудно; наличный состав, вольные слушатели, почетные члены, число стипендий увеличилось благодаря новым пожертвованиям со стороны таких-то господ. Назвали графа Менгдена, и Андрей вздрогнул: хозяин дома на Малой Садовой! Вспомнил, что сегодня он отдыхает, ночью работают Тригопи, Исаев, Фроленко и кто-то еще. Долго старался сообразить, кто же четвертый, и это мешало слушать и наблюдать. Наконец вспомнил: Дегаев! Дегаев по-прежнему чем-то не нравился, хотя проявлял необычайное рвение. Но что было делать? Людей нет. Если попадется, придется звать на помощь таких юнцов, как Левка и Папий. Впрочем, Левка отчаянно горяч и способен на что угодно, а Папий, этот уральский здоровячок, сын священника, может быть безусловно полезен. Одну штуку он проделывает гениально: приседает на одной ноге. Да, да, гимнаст. А гимнасты будут пужпы в случае заварухи.

Вдруг с хоров кто-то заорал. Это был горловой бас Левки:

— Не уважили требований всех университетов!..

Он перебивал уже не Градовского, а Мартенса. Мартенс продолжал бубнить, как пономарь. Снова тот же бас:

— Оратор, молчать!

Сразу возник шум, возня, крики раздавались в разных местах, и вблизи тоже. Андрей увидел: Папий в черном сюртуке, бледный необыкновенно, вышел из толпы, теснившейся на сцене позади стола, за которым сидели саповники, раздвинул стулья и, подойдя к Сабурову, дал ему пощечину. Многие не увидели, но поняли, зал был переполнен, народу тысячи четыре, но Андрей знал, что будет пощечина, поэтому следил внимательно, как следят в театре за сюжетом хорошо знакомой оперы. Сабуров сидел неподвижно вытянувшись, лицо его на глазах превращалось в маску. Папий исчез. Откуда-то посыпались листовки. Это Левкино дело. Тут пошло все стремительно: папка, крики: «Держи!», «Бей!», «Вот они!». Громадная толпа поднялась с мест, задвигалась, заматалась. Начались драки, Андрей вязываться не стал, быстро спустился большой лестницей вниз. Он видел, как Левка, под охраной своих приятелей — первокурсников, тоже благополучно проскочил на улицу. Куда делся Папий, Андрей не видел.

Через полчаса встретил обоих на конспиративной квартире Геси Гельфман и Сабзина, на Троицкой. План удался во всех подробностях. Оба были возбуждены, обсуждали со

смехом, перебивая друг друга, поведение каких-то своих знакомых, схватку, возгласы, крики, выражение лиц саповников: еще долго не могли остыть от босвой горячки. И были счастливы! Андрею так хотелось посидеть с ними на переломе их жизни — сегодня они стали нелегалами, будут жить некоторое время здесь, у Геси, пока им не принесут паспорта, платье, деньги, — хотелось поболтать с ними, обнадежить, успокоить и поесть что-то вкусное, что готовила Гесья, но обязан был уходить. Сегодня его ожидало еще одно дело, крайне тяжкое и секретное, о нем не догадывался и не имел права знать ни один человек, кроме Гриши Исаева. Не знала даже Соня. Да уж Соня тем болсе! Жесточайшее нарушение постановления Комитета. Он брал этот грех на себя, ну и на Гришу тоже, потому что без Гриши ничего бы не состоялось.

Прибежал Саблин с пачкой газет, как всегда в бойком и балагурственном расположении духа, возмущался какими-то стихами из «Санкт-Петербургских ведомостей» на смерть Достоевского. Он был у Иванчина-Писарева, туда зашел Глеб Иванович Успенский, и они читали эти стихи и хохотали.

— Послушайте-ка: «Почий на лоне Авраама замечательный писатель, ты был за обиженных великих воздыхатель, за которых ты неустанно писал и ратовал, потому что сам за правду в изгнании жывал...» А, каково? Чистый Лебядкин. Стихи капитана Лебядкипа. Подписано: Максим Ковалев, крестьянин. Газетные ослы демонстрируют народное признание. Кстати, о народном признании: вот некоторая сумма в нашу кассу! — И он положил на стол несколько ассигнаций.

— Откуда же? — спросил Андрей.

— От Глеба Ивановича. Я не просил, он сам. Был шутейный разговор: интересно, мол, что сейчас задумывают террористы? Где соединят провода? Ну, и я важно сообщаю: я бы, говорю, избрал памятник Екатерины и под шлейфом ее устроил приспособления. Да вот беда — денег нет! Такое, говорю, оскудение в нашем кармане — вместо «Палкина» ходим в съестную лавочку, а крепкие папютки давно забыли. Да, говорю, с этой революцией всякое пьянство запустишь!

Папий и Левка во все глаза смотрели на шутника, который так запросто беседует со знаменитым писателем. Саблин не был знаком ни с Папием, ни с Левой, видел их на своей квартире впервые и тем не менее про-

должал весело — и неосторожно, как отметил про себя Андрей, — болтать.

— И тут как раз Глебу Ивановичу доставляют гоно-рар от «Отечественных записок». На квартиру к Писареву почему-то. Ну и он всю сумму — мне! Пожалуйста! Это зачем, спрашиваю? Для проводов под шлейфом или для поддержания пьянства?

Папий с Левкой хохотали. Андрей сказал:

— Милый ты парень, Коля, но — болтун...

— Это я так: «от большого остроумия говорю глупости», как говорила моя матушка...

Хотелось сказать: «Когда-нибудь вляпаешься от большого остроумия», но промолчал. У Саблина на такие предостережения один ответ: «А мне не страшно. Я ведь живым не дамся». Надо было бежать, а Геся уже несла на стол горячие пирожки и чай. Ах, Коля Саблин, счастливец, зачем тебе ходить к «Палкипу»? Гриша Исаев ждал в Пассаже. Андрей попрощался и, взяв пару пирожков, жуя на ходу, побежал. На улице стемнело. Уже зажглись фонари. Андрей шел быстрым шагом, почти бежал по привычке, и в мыслях мерещилось что-то легкое, какая-то слабая радость: что ж это было? Ах, да: деньги! От Глеба Ивановича. Нечаев в письмах корил: зачем печатаете в «Народной воле» такие ничтожные суммы пожертвований, два рубля, пять рублей, полтора рубля? Надо печатать: господин икс пожертвовал в фонд партии пятьсот рублей, господин игрек — тысячу двести. Надо преувеличивать, пугать, создавать видимость, приводить в трепет.

Но как этот человек, видящий только цель и только пользу, сможет понять то, что касается его собственной жизни?

Сегодня будет сделана попытка его увидеть. И сказать ему честно о репении Комитета. Очень трудно его увидеть. И не менее трудно — сказать. В Пассаже, на второй галерее, где была назначена встреча с Гришей, Андрей прохаживался перед входом в музей Лепта, от нечего делать читая зазывные афиши: «Новости! Чудо нашего времени! Комическое поющее верхнее туловище сврея! Никогда не бывалые лучшие изобретения в механике!» Толпа двигалась беснеребойно: гимназисты, солдаты, молодые чиновники, девицы, заводские мастеровые в черных пальто, в цилиндрах с модными узкими полями. Для всех этих людей «Автомат-негр, играющий на флейте», или «Автомат-гусар, играющий на корнет-а-пистоне», или

«Механическая танцующая пара», или «Трехголовый шведский соловей», или взрыв в Зимнем дворце, или казнь человека рано утром на Семеновской площади — чудеса примерно одинаковой силы и развлекательности. И Андрей знал это прекрасно и несколько не сердился на толпу, со страстным любопытством стремившуюся в музей господина Лента. Где кроме всего прочего: пытки в воске и железе, галерея разных преступников, большая коллекция старых и новых орудий пытки, мечи, употребляемые при казни, и иные редкости.

В другое время Андрей непременно зашел бы посмотреть орудия пытки и мечи, употребляемые при казни, — такие вещи его неизменно интересовали, но он боялся покинуть галерею и пропустить Гришу. Вскоре Гриша возник из толпы, улыбающийся, с несколько отросшей — теперь уже и не французской, а полурусской — белокурой бородкой. Следом за Гришей шел высокого роста солдат. Гриша быстро познакомил Андрея с солдатом, назвав имя солдата невнятно, так что Андрей переспросил.

— Звать меня Добрый Человек, — сказал солдат.

— Так просто — Добрый Человек, и все тут? — усмехнулся Андрей.

— А смешного ничего нету. — Солдат нахмурился. Был он богатырского роста, глядел угрюмо. — Больше вам знать не положено, господин.

Гриша объяснил: Нечаев всем своим солдатам дал ключки, двойные, одну для употребления в рavelине, другую для города. Этого солдата зовут Добрый Человек и Аннушка. Он в рavelине уже не служит, переведен в петербургскую местную команду. Сейчас проводит Андрея на квартиру одного обер-фейерверкера, где Андрею дадут солдатское платье, и другой человек поведет его к рavelину. Гриша попрощался. Пошли с Добрым Человеком вдвоем. Солдат был на редкость молчалив и мрачен. На всякий вопрос Андрея он отвечал не сразу и с явной неохотой. В какой камере сейчас Нечаев? Пауза, потом мрачный ответ: «Да в пятой... В какой ему быть». Откуда рavelинские солдаты родом? Тоже после изрядной паузы: вологодские да архангельские. И когда уж дошли почти до Малой Пушкарской, где жил обер-фейерверкер. Андрей решился спросить о Нечаеве: сильно ли его уважают?

Добрый Человек остановился и поглядел на Андрея, как бы чему-то дивясь.

— А попробуй не уважай.

— Что же так?

— Да он как глянет!..

Сделалось совсем темно. Андрею дали шпатель, солдатскую шапку, и какой-то другой солдат по кличке Пила повел его в крепость. Откуда в Нечаеве эта сила? Что он делает с людьми, отчего так безропотно подчиняются? Пила был более разговорчив и успел рассказать, что «наш орел» — так они зовут его между собой — все про всех знает, про все домашнее, деревенское, не хуже ведьмака. Сам-то в камере, а народом оттуда командует. Я, говорит, сказал, чтоб моя партия дворец взорвала? Так и вышло. Приказал в царя стрелять? Стреляли. А его и начальство ржевское боится, потому что его никакой мор не берет: два года кацдалы таскал, мясо гнить стало, а он — живой, нетленный. Вот и боится: потому что, не ровен час, прикажет — к ногтю. Ему наследник престола подчиняется. А царя, говорит, я все одно изведу, потому что он народную измену сделал. Какое-то темное облако наивности, страха, одновременно бесстрашия, фатализма и безоглядной доверчивости окружало этого загадочного человека. И тут был обман, и тут мистификация — ради великой пользы.

Когда на заседании Комитета Андрей занкнулся было о том, что мог бы попытаться поговорить с Нечаевым с глазу на глаз, хотя бы через решетку камеры — такая возможность есть, ведь он все равно должен осмотреть ржевщиц в видах будущей попытки освобождения, — все стали ужасно на него орать. Не смеет и думать! Глупость! Абсурд! Преступный риск! Можно в письме объяснить сложность положения и невозможность откладывать покушение на царя. Кто-то предложил передать право выбора — казнь царя или освобождение — самим узникам, Нечаеву и Шяряеву, по это было тут же отвергнуто. На первом месте — казнь! Ради казни создана партия, погибли люди. Осматривать ржевщиц, подступы к нему — пожалуйста, пытаться увидеть Нечаева — строжайше нельзя. По грозному тону товарищей Андрей угадывал страх не только за его жизнь, но и за исход дела: ведь ему, Андрею, в процедуре казни поручался окончательный акт. Если царя не взорвет мина, его взорвут метальщики; если чудо спасет и от метальщиков — Андрей довершит дело кинжалом.

И все же, понимая страх товарищей и степень риска,

Андрей решился на эту попытку. Знать никому не нужно. Риск? Не больший, чем его обычный, постоянный, ежедневный, с которым он свыкся, как свыкаются с грыжей. По словам солдата Орехова, первого посланца Нечаева, осмотреть рavelни с внешней стороны не представляло больших трудностей.

Было около восьми вечера, когда Андрей и Пила спустились со стороны Зоологического сада на лед Кронверкского пролива и двинулись к рavelну. Крепость темной глыбой высилась слева, а рavelн казался низким и плоским островом. Солдаты, дежурившие у стен, были товарищами Пилы. Он окликнул кого-то, отозвались, и Андрей поднялся по деревянным мосткам и по лестнице — тут, наверное, летом полоскали белье — на невысокий берег. Нечаев в последнем письме прислал нарисованный им план рavelна с указанием своей камеры. Рavelн представлял собою треугольник. В нем было девятнадцать камер, но лишь пять из них имели окна на внешнюю сторону, остальные смотрели во двор и были недосыгаемы. Камера Нечаева была из этих пяти. Она располагалась в той стороне треугольника, что находилась прямо против крепости, в углу, близшему к проливу, а рядом с нею было нежилое помещение, цейхгауз. Теперь уже два солдата сопровождали Андрея. Возле первого же окна остановились. Окно было высоко, выше человеческого роста, но под ним стоял ящик, на который Андрей вскочил.

— Кто это? — донесся хриплый, очень явственный шепот из темноты.

— Желябов, — ответил Андрей.

— Ага, Желябов! Очень хорошо! Послушайте, Желябов, у меня есть важные идеи, я кое-что набросал нынешней ночью, зная, что вы придете... — В камере горел какой-то слабый светильник, может быть керосиновая лампа, но лицо человека, прижатое к решетке, было совершенно темно, ибо свет находился сзади. Андрей разглядел лишь, что человек очень худ, это было лицо юноши, почти мальчика. — Вы меня слышите? Хорошо слышите?

— Да, да! — ответил Андрей.

— Так вот, Желябов, вы пришли как раз вовремя. Я предлагаю срочно распространить следующий манифест: «По совету любезнейшей супруги нашей государыни императрицы, а также по совету князей, графов и так далее и по просьбе всего дворянства мы признали за благо...» Вы слышите меня? «...возвратить крестьян помещи-

кам, увеличить срок солдатской службы, разорить все старообрядческие молельни...»

По-видимому, читал по-писаному. Другая бумага должна была быть разслана священникам от имени святейшего синода, где говорилось, что император заболел недугом умопомешательства, что надо молиться с алтарей о его исцелении, но никому не открывать этой государственной тайны. Потом еще какие-то манифесты: к крестьянам, к русскому воинству, к гвардейским, гренадерским и армейским полкам, к коннице и к местным командам. Все читалось с необыкновенной, лихорадочной поспешностью, без пауз. Андрей слушал в ошеломлении. И мало-помалу — проходили секунды — чувствовал, как его одурманивает странная гипнотическая сила, проникавшая из зарешеченного окна. В какой-то миг вдруг показалось: гениальная идея! И не нужно казнить царю. Вся Россия подымется. Однако через секунду сказал себе: вздор! Все это уже было и рухнуло: чыгырская затея, манифесты стефановичевские... Человек в камере был отрезан от мира. До него долетали лишь осколки событий. Он боролся в одиночку, фантазировал в одиночку. Как же ему сказать, что свобода и истинная жизнь — отодвигаются? На какой срок — неизвестно.

— Как вы пишете? — спросил Андрей. — Вам дают чернила?

— Нет, я пишу сажей, которую собираю в душнике. Сажу развожу в керосине, — последовал быстрый ответ. — Грозится сделать душники, чтоб я не собирал сажи. Тогда буду писать кровью. Я уже пробовал, написал одно письмо кровью, потом.

— Нечаяв, я осмотрел рavelин, — сказал Андрей, — и нахожу, что попытку освобождения вас и Степана предпринять можно. В этом месяце мы обязаны казнить царя. Все приготовления уже сделаны. Я сообщаю вам высшую тайну для того, чтобы вы поняли. После казни царя будем освобождать вас, но, если начнем с вас, казнь царя может не состояться.

Было молчание. Андрей видел темную голову на фоне слабого дымного света. Услышал голос:

— Вы правильно решили. Мы будем ждать и желаем вам успеха.

Потом недолго поговорили о делах, о способах связи, о том, кто из солдат особенно надежен, кто нуждается в деньгах и кому надо подыскивать работу, и — попроща-

лись. Андрей возвращался льдом пролива, охраняемый Пплюю и еще каким-то солдатом, всю дорогу молчал, на душе было тяжко. Он будто ощутил гнет, внезапное отчаянье, что принес — тому, в пятую камеру. Но при этом было и облегчение. Потому что ложь есть тоска без исхода, а правда, даже самая ужасная, убивающая, где-то на самой своей вершине, недосыгаемой, есть облегчение.

Арестанту из камеры номер пять оставалось ожидание. И — гордость силой своей души: он выбрал! Всем понятно, что его выбор означает смерть. Едва держась на ногах от усталости, Андрей пришел домой. Соня лежала на кровати с грелкой. Непонятно было, что у нее за болезнь: вдруг терзали мучительные боли в боку, вдруг пропадали. Идти к врачам не хотела, старалась не обращать внимания, не выдавать себя, но Андрей видел.

— Где ты был так долго? Приходила Аня, сказала, что ты был днем у Геси, потом куда-то исчез...

Она улыбалась, худо дело: значило, что у нее сильные боли. Он подошел ближе, нагнулся, увидел слезы в темных глазах.

— Я осматривал Алексеевский рavelин. Лазил черт знает по каким откосам. Ну что ж — побег возможен, но надо долго готовить.

— Мне сказали, что в университете аресты, и до самого прихода Али я ничего не знала и страх как себя изводила. Ну, и сразу началась боль. А теперь совсем хорошо и ничего не болит!

Он приготовил еду, принес от хозяйки самовар, и Соня стала рассказывать: наблюдатели проследили сегодня весь путь царя с минуты до минуты. Сегодня он ехал через Певческий мост, а в Михайловском дворце задержался дольше обычного. Обратное все так же: Екатерининским каналом и Мойкой.

Глава десятая

Ночи и дни стали — одно. Все перемешалось, слилось, одинаково пахло земляной сыростью, могилой. Дни перестали существовать, кроме единственного — воскресенья. Два воскресенья отлетели впустую: однажды еще не были готовы снаряды, в другой раз царь почему-то не выехал на развод.

И осталось для жизни еще одно воскресенье: первое мартовское. Теперь или никогда, потому что и сил больше не было. Странная срунда преследовала Андрея: вдруг на несколько секунд он терял сознание. Эти мгновенные обмороки случались днем, на квартирах, во время разговора, но однажды было и на улице, в копке. Никто не замечал. Он не рассказывал. Боялся одного: потерять сознание под землей. Собственно, тут не было потери сознания, было лишь секундное затмение и потом ощущение, будто приплываешь издалека. Но после двадцатого лезть под землю было не нужно, кротовая работа кончилась, и Исаев с Кибальчичем ждали субботы, чтоб заложить мину. Отряд метальщиков составил: Тимофей Михайлов, Рысаков, Гриневицкий и Емельянов. Эту дружину, которую называли террористической, Андрей набирал постепенно, с января, присматривался к каждому, разговаривал подолгу, прощупывал на стойкость — да выбирать, правда, не приходилось. Самые стойкие были за решеткой.

Соня очень хвалила Гриневицкого. Сам Андрей был уверен в Михайлове: может, потому, что тот напоминал ему Преснякова. Рысаков был как-то смутен: то проявлял отчаянность, то заметно робел перед пустяками. На совещаниях был суетлив, перевозен, вдруг хохотал глупо, употребляя ученые слова вроде «индифферентный», «эксцентричный», «диапазон», «кафедральный социализм», да все не очень кстати. Емельянов, которого привела Аня Корба, хорошо знавшая его через Анпенского, статистика и литератора, был совсем юнец. Но необыкновенного роста юнец на улице возвышался надо всеми на две головы, и Андрей за рост прозвал его «Сугубым». Все это была молодежь, еще не выработанная, не прочная, и, говоря по-серьезному, ей бы надо было повариться в революционном котле хотя бы год, другой. Но что делать, когда людей нет и ждать нельзя — не то что года, даже месяца?

По своей привычке во всем добираться до корней, выяснять происхождение, Андрей пытался понять — что двигало молодыми людьми? Какой волной прибило их к тайной квартире, где говорилось о снарядах, книжках и открыто о царубийстве? Гриневицкий — поляк, тут дело понятней. Михайлов истинный пролетарий, работал на многих питерских заводах, входит в рабочую дружину. Рысаков? Бедность, одиночество, прозябанье. Родители далеко, близких нет. Тут — целеность. Книжки, чте-

ние? Желание вырваться из круга придавленности, нищеты? Про Емельянова и этого не скажешь. Сын псаломщика, воспитывался у дяди, русского дипломата в Константинополе, потом попал в семью либералов Анненских, и вот здесь, может быть: разговоры, книги, обыски и даже высылки хозяина дома...

А в общем-то волна, прибывшая их, — дух времени, недовольство и тревога, царившие всюду.

В четверг на Тележной улице, в квартире Геси Гельфман и Саблина, только что нанятой — с прежней, в Троицком переулке, пришлось срочно съехать в середине февраля, обнаружилась слезка, — он собрал метальщиков, добровольцев, и Кибальчич объяснял им устройство снарядов. Самых снарядов еще не было, Гриша Исаев, Грачевский и Кибальчич трудились над ними в лихорадочной спешке. Но чтоб не терять времени зря, решили ознакомить добровольцев пока что с теорией. Кибальчич объяснял по чертежам. К следующему дню, к пятнице, техники обещали приготовить один пробный снаряд, который надлежало испытать где-нибудь в укромном месте, за городом. Кибальчич просил: чтоб не больше четырех человек. Иначе — подозрительная толпа. Математическое мышление Кибальчича всегда поражало: почему непременно не больше четырех? Почему не больше трех, пяти? Нет, категорически точно: не больше четырех. В его сознании сперва возникали цифры, потом понятия. Когда кто-то спросил, нельзя ли приготовить из гремучего студня снаряды для самозащиты, Кибальчич ответил: «Можно, если использовать по пять или шесть фунтов на каждый снаряд». Что это значило? Не очень охотно пояснил: «Снаряды будут маленькие».

И вот — ресторан Детроа, здесь условились встретиться, пообедать и схватить потом в укромное место. Всех этих молодцов еще надо кормить: они лишились заработка, стали нелегалами. Приехал Кибальчич и сказал, что снаряд не готов. Когда же? Завтра, в субботу. В девять утра за Смольным монастырем, перейти реку. Разошлись. Андрей поехал домой. Соня была дома. Они легли рядом на кровать и лежали обнявшись минут сорок. Соня говорила, что у нее ничего не болит, но он видел: болит. Сам чувствовал, что будет терять сознание, и боялся заснуть. Лежал с открытыми глазами. Соня спросила: «Куда же все-таки поедем?» Он сказал, что всякий кулик свое болото хвалит. Лучше Феодосийского уезда места нету

Можно еще в Брацлав Подольской губернии. Вдруг вспомнил деда: как прощались на бугре густым, синим утром, потом была долгая, в пылюке, дорога, жара, печаль. Воспоминания — сушь души. Отгонял их. Если что и вспоминалось — случайно, секундно. В половине пятого встали, оделись, вышли на улицу. Взяли извозчика. На Большой Садовой, около Публичной библиотеки, остановились, отпустили извозчика и расстались: Соня где-то здесь встречалась с Аней Корба, а у Андрея было назначено несколько свиданий на Невском. На заснеженном тротуаре перед входом в Публичную сказали друг другу: «Ну, прощай!» — и Соня еще добавила, как обычно: «Будь осторожен». И это было — последний раз. На большой Садовой какой-то тип привязался сзади, губастая сволочь, пришлось сделать несколько кругов — паука Дворника, уходить «кругами», не по прямой — прежде чем от него отделался. Человек из Москвы, ожидавший в кофейной, прождал лишние полчаса. Потом была встреча с равелинским связным, передавшим письмо от Нечаева. Тот проникся особым уважением к Андрею. На конверте стояло: «Тарасу в руки». А несколько дней назад Нечаев в письме требовал установления диктатуры в партии, на роль диктатора предлагал Андрея. Тогда очень смеялись. Тут же в трактире Андрей попытался разобрать письмо, написанное шифром. Какие-то сообщения о солдатах и советы, как с ними обходиться. Пила любят выпить, Дьяком всех умнее, преданнее, его сделать целовальником в небольшом кабачке. Главное, не оставляйте их без дела, в праздности: они непременно запьянствуют. Платите скромное жалованье, никак не более двадцати рублей, и делайте подарки за ловкость, но требуйте... Чего требовать, Андрей разобрать не успел, время вышло, надо бежать к Тригони. Письмо не слишком важное. Думать об устройстве солдат после побега, который неизвестно когда состоится, сейчас ни к чему. Тригони жил в меблированных комнатах г-жи Мессюро, на углу Невского и Караванной. Он должен был вернуться от Суханова. Поднявшись на второй этаж, Андрей увидел, что дверь номера, расположенного напротив номера «12», где жил Тригони, приоткрыта, и в щели что-то дернулось, блеснуло: будто человек, стоявший у самой приоткрытой двери, отпрыгнул.

Тригони сидел в жилете, напевал, читая газету и одновременно ковыряя в трубке. Настоящий «диди», как Андрей привык называть Мишку с детских лет.

— Здравствуй, дядя. У тебя в коридоре, кажется, полпция.

Мишка вскочил со своей всегда поражавшей Андрея прыткостью: семь пудов богатырского веса поднял с кресла вмиг.

— Капитан? — спросил Мишка.

— Какой капитан?

— Напротив живет какой-то флотский капитан. Позавчера он мне стал подозрителен, был услужлив, приставал с разговорами. Я решил отсюда ретироваться.

— Подожди! — Андрей остановил Мишку, который двинулся к двери. — Ты куда?

— Попрошу самовар.

Он вышел. Андрей услышал его громкий голос:

— Катя, принесите самовар!

Затем топот ног, шум борьбы: Мишку куда-то тащили. В кармане был «смит-вессон» и в конверте письмо от Нечаева. Собаки шифр разберут. Уничтожить? Попытаться прорваться? Он вышел в коридор, видя, как Мишку, такого слона, заталкивают в комнату напротив, там было человек шесть, но в ту секунду, когда Андрей вышел, коридор был пуст, и он быстро рванулся к лестнице. Кто-то сильно схватил его сзади за руки выше локтей, а внизу на лестнице стоял тот губастый, что пристал на Большой Садовой. Выхватить револьвер из кармана не удалось, вокруг стояли, держа его за руки, четверо.

— Дворянин Слатвинский? Николай Иванович? — Усатый жандарм глядел то в паспорт, который дал ему Андрей, то с суровостью — с какой-то даже нарочитой, театральной суровостью — на Андрея.

— Совершенно правильно. Что вам угодно?

Один из шпиков вынул из кармана Андрея «смит-вессон».

— Угодно получить сию вещьцу, — сказал усатый, указывая на револьвер. — И кое-что еще. Прошу следовать за мной.

Спускались по лестнице. Горничная и двое жильцов, пожилой господин с дамой, стояли в вестибюле у лестницы и смотрели с отчетливым ужасом на лицах. Пожилой господин что-то шепнул даме по-французски. Перед домом стояли две кареты. В одну уже садился Мишка. Два конвойных солдата стояли по сторонам дверцы. Андрей сказал усатому:

— На улице вы бы меша не взяли...

Усатый побагровел, насутился еще суровей, но ничего не сказал и сделал жест, повелевая садиться в другую карету. Повезли в канцелярию градоначальства. И первый, кого Андрей там увидел, был светло-рыжий, заметно раздобревший, но как-то поблекший цветом лица Добрянский.

— Желябов! — вскрикнул с искренней и такой знакомой одесской живостью прокурор. — Да это вы?

Спустя час в тех же каретах повезли в дом предварительного заключения. Въехали в ворота. Еще не было понятно, что это конец. Вдруг вспомнилось: из этих ворот вышел три года назад после Большого процесса, тоже зимой, и кругом был чужой город, лютый мороз, неясность, молодость и надежды.

На другой день, 28 февраля, в субботу, произошло следующее. Метальщики рано утром, в девять, встретились, как договорились, на углу Невского и Михайловской, сели в конку и поехали на окраину города испытывать снаряд. Выбрали пустынное место, и Тимофей Михайлов бросил банку с гремучей ртутью. Все взорвалось, как надо. Желябова не было, и метальщики удивлялись, куда он делся. Потом поехали на квартиру к Гесе, ждали Желябова там, но он не пришел. Гесья сказала: «Значит, у него дела, он занят». А в квартире на Вознесенском уже знали, что Желябов и Тригоии арестованы. Перовская ждала Андрея всю ночь, утро и день в необычайном волнении, и когда около двух часов пришел дворник Петушков, глупый и простодушный человек, сказал, что начальство требует справиться, все ли жильцы почевали на квартирах, и спросил, дома ли ее братец Николай Иванович, она поняла, что — конец. Андрей схвачен, и там доискиваются его квартиры. Объяснив Петушкову, что братец почевал, разумеется, дома, а сейчас на службе, Перовская взяла самое необходимое и вышла черной лестницей во двор, а оттуда через табачную лавочку на улицу. На Вознесенском был Суханов, и Перовская попросила его помочь ей очистить квартиру и вынести тяжести, нитроглицерин. Это было сделано тотчас.

В сырой лавке между тем тоже происходили события: неожиданно явилась санитарная комиссия во главе с генерал-майором, инженером Мровицким. В лавке находился Богданович.

Все последние дни тревога вокруг торговли Кобозевых сгущалась. Доносились разговоры о том, что дворники подслушали что-то крамольное, что соседние торговцы нечто заподозрили и донесли, что на днях шпионы погнались за Сухановым, который вышел из лавки, и тому удалось спастись, взяв лхача. Все это значило, что сырная мистификация рухнет со дня на день.

Поэтому Богданович обомлел и сказал себе: «Ну, все!», когда увидел шествие во главе с господипом в черной меховой шубе, генеральской фуражке, пристава и дворника. В магазине около задней стены был сделан деревянный короб, на котором помещались выложенные из бочки сыры. Мровинский постучал тростью по коробу и сказал, что крошки сыра могут падать в щели и там разлагаться. Щели нужно зашпаклевать. Умный совет! Богданович радостно благодарил, обещая тут же исполнить. В лавке стояли бочка и кадка, наполненные землей, лишь сверху прикрытой сырами. Мровинский спросил: «Это что же? Все сыр?» Богданович сказал: «Точно так, ваше превосходительство, все сыр!» Изображая образцового дурака, кричал и глаза выпучивал. Увидев на полу возле бочки сырость, Мровинский спросил: откуда? На масляной сметану разлили. Так, дальше, в жилую комнату. Тут была деревянная обшивка от пола до окна, которую снимали, когда лезли в подкоп, потом ставили обратно. Мровинский подошел к обшивке, постучал тростью, подергал рукой, но — слабо, ленливо, так что обшивка не шелохнулась. У Богдановича сердце остановилось. «Это зачем тут?» Богданович прокричал, что сырость душит, от сырости. Подойдя к подоконнику, Мровинский сильно надавил на него сверху, испытывая прочность. Подоконник не дрогнул. Затем комиссия направилась в заднее помещение, выходящее во двор. Там были большие кучи земли, замаскированные сеном, углем, рогожей. Мровинский пнул одну кучу ногой.

После этого комиссия удалилась. Вскоре пришла Якимова. Богданович встретил ее сумасшедшей пляской и криками:

— Ему поправилась наша Мурка! Ура, ура, ура! Он влюбился в нашу кошку! Он все время поглядывал на нее, а когда уходил, нагнулся и погладил! Да здравствуют генералы, которые любят маленьких кошечек!

В три часа дня на квартире Фигнер: Перовская, Корба, Суханов, Грачевский, Фроленко и хозяйка квартиры

Фигнер с Исаевым. Перовская ходила из угла в угол. Просили: «Соня, сядь!» Она не слышала. Лицо ее стало внезапно старым, застывшим, вся она как-то согнулась. Ни откладывать, ни отступать было теперь невозможно. Значит — завтра! Завтра, в воскресенье, в середине дня. Осталась одна ночь, чтобы доделать снаряды. Ни один из четырех еще не был готов! Соня говорила:

— Это должно быть непременно завтра, для того чтобы спать с тех, кто там — вам понятно? — как можно больше ответственности...

Всем было понятно. Она думала о нем каждую минуту. Вдруг замечали: отсутствует, не слышит. И в глазах — мука. Но через секунду снова: с непреклонной твердостью распоряженья, команды, мгновенные решения. Новая квартира Геси и Саблина на Тележной по некоторым признакам тоже небезопасна, значит, надо перенести все сюда, на Вознесенский. В первую очередь перетащить нитроглицерин и все технические приспособления для приготовления снарядов. А как поступить, если царь не поедет по Малой Садовой? Ответ на вопрос Перовской одногласный:

— Действовать одними снарядами!

Метальщиков, как и сигналистов, предупредить не успевали, но им со вчерашнего дня известно, что делать: в десять утра должны быть на Тележной. Перовская займет место Желябова. Они знают ее так же, как его. А о том, что он арестован, сообщать им не нужно.

— Я вам хочу повторить слова Тараса, — сказала Перовская и улыбнулась. — Он сказал недавно: «Теперь уже ничто нас не остановит. Даже если б мы сами хотели себя остановить».

Гришу Исаева она отправила в лавку Кобозевых: закладывать мину. В пять вечера Суханов, Кибальнич и Грачевский начали работу, имея в виду работать всю ночь и приготовить к утру четыре снаряда. Перовская и Фигнер им помогали, делая самое несложное: отливали грузы, обрезавали жестяные банки из-под керосина, служившие оболочками снарядов, наполнили их гремучим студием. Все остальные ушли, чтоб не мешать. Ночь напролет пылал камин и горели лампы. Женщины не устояли и свалились в пятом часу утра — Перовская легла сама, зная, что ей понадобятся силы, — а когда проснулись в восемь, два снаряда уже были готовы окончательно, а два других почти готовы, оставалось наполнить

жестянки студнем. С двумя снарядами в узле Соня поехала извозчиком на Тележную, следом за ней отправился Суханов. А через короткое время два других снаряда понес туда Кибальчич.

Утром пришли метальщики. Перовская призналась им, что Желябов арестован. Признание вырвалось внезапно, помню волн, оттого что думала о Желябове каждую минуту. Кто-то из метальщиков сказал: «А здесь будет стоять Захар!», и она не выдержала и сказала. Метальщики смутились. Было видно, что тут не только испуг за себя, страх за дело, но и истинное сострадание, и она посмотрела на них с любовью. Вдруг увидела, какие они молодые. Гриневецкий был красив, с темной бородкой, усталым взглядом. Он сказал, что ночь не спал, сочинял письмо — «на всякий случай» — и хотел бы ей прочесть или чтоб она сама прочтала, если есть желание. Она сказала, что желание есть, непременно прочтает, но за спешными разговорами забыла и вспомнила, когда он уже ушел. Рысаков курил папироски. Тимофей Михайлов выглядел спокойнее всех, но сжимал кулаки. Долговязый Емельянов щурился и страшно улыбался большим ртом. Лицо у него — совершенно мальчишеское.

Перовская объяснила каждому, где кто должен стоять и какие будут сигналы. Про Малую Садовую сказала: «Его там будут ждать», и они подумали, что там будут стоять такие же метальщики, как они. Взяв с Гесиного стола какой-то конверт, рисовала план: здесь Малая Садовая, Итальянская, Манеж, здесь Екатерининский канал, надо стоять здесь, здесь и здесь, отсюда будет сигнал платком, здесь крест, казнь. Глядя на юношей, пожиривших ее глазами, слухом и колотящимся сердцем, Перовская думала: эти мальчики остались взамен героев. Выбор нет. Потому что никто уже не может остановить. Да, четверо юнцов — бледный, исхудавший Гриневецкий, всегда молчащий Михайлов, скуластый, с серым, в угрях, лицом голодного семинариста Рысаков, огромный и хилый, с детской головкой Емельянов — взяли эту заботу на себя: одним ударом повернуть Россию в другую сторону.

Императора страстно занимали две задачи: возможность коронования княгини Юрьевской и проект Лориса о выборных людях. Две задачи, казалось бы столь далекие друг от друга, на самом деле крепчайше перепле-

лись и объединились, имея одних врагов. Партия Аничкова двorca, цесаревич и близкие к нему лица вроде Победоносцева ненавидели Юрьевскую точно так же, как конституцию. А сама Юрьевская и те, кто склонялись под ее крыло, были конституционалистами единственно для того, чтоб насолить своим врагам. Впрочем, Лорис понимал необходимость уступок. Хотя бы таких мизерных, как-то намечались проектом. Это были даже не уступки, а некий милостивый, символический жест: «Мы уступаем!» Предлагалось вот что: в общую комиссию, которая должна подготовить ряд законопроектов по результатам организованных Лорисом сенаторских ревизий, включить наряду с сановниками выборных лиц от губернии, где существовало земство, а также от некоторых значительных городов. Рассмотренные комиссией законопроекты должны быть внесены в Государственный совет, а в его состав предполагалось ввести — с правом совещательного голоса — также нескольких представителей от общественных учреждений, «обнаруживших особые познания, опытность и выдающиеся способности».

Вот эта тень реформы даже не самих законов, а только лишь порядка подготовки законов почему-то приняла в петербургских светских и полусветских кругах, питающихся слухами, — смеху достойно! — название конституции Лорис-Меликова. Одни возлагали на эту конституцию непомерные надежды, другие трепетали ее, третьи злобствовались, и даже германский император Вильгельм был встревожен и просил племянника сделать все, чтобы сохранить власть за правительством. Как будто речь шла о каком-либо ущербе самодержавию!

За последний год Александр все прочнее доверял Лорису. Что ж, граф доказал: в стране, по-видимому, наступило успокоение (мелкие деревенские бунты не в счет), авторитет власти повысился, циники притихли и в то же время твердая рука департамента вылавливала их бесперебойно, одного за другим.

Вот и в субботу Лорис принес радостное известие: арестован вождь террористов Желябов. Александр так взволновался этой новостью, что тотчас поспешил наверх рассказать княгине. Однако Лорис, как всегда, умел не только воспламенять, но и охлаждать тут же: сказал, что по некоторым признакам злоумышленники способны на отчаянный акт и ехать в Михайловский манеж на развод не следует. Александр протестовал: когда же, мой бог,

кончится этот карантин? Ведь все главари схвачены. Это известно доподлинно благодаря указаниям Окладского. Злодейская партия раздавлена. Кого бояться? Два развода уже были отменены...

И опять вспомнили гадалку в Париже, предсказавшую, что он переживет семь покушений.

— Я пережил пока только шесть. Еще одно есть в запасе!

Вечером в гостинице княгини, играя в ералаш, Александр случайно задел рукой и сбросил со стола свою фотографическую карточку. Она упала на ковер. Этот пустяк как-то внезапно и тяжело расстроил императора, сразу вспомнившего о других дурных знаменьях последних дней: накануне видели в небе звезду необыкновенно яркую, с двумя хвостами, одним вверх, другим вниз, а неделю полторы назад Александр стал замечать каждое утро убитых голубей на своем окне. Оказалось, огромный хищник — то ли коршун, то ли орел — поселился на крыше Зимнего дворца, и все попытки его убить были напрасны в течение нескольких дней. Наконец, поставили капкан, и птица попала в него, но все же смогла взлететь, таща капкан за собой, и упала на Дворцовой площади. Чучело испанского коршуна должно быть помещено в кунсткамере. История с птицей была настолько нелепа, что Александр даже не рассказывал княгине, щадя ее. Было и другое неприятное: вновь страшный сон с кровавым полумесяцем. Сон этот давно являлся царю, и лет пять назад русский посол в Константинополе запрашивал турецкого волшебника Али-Эфенди. Волшебник объяснил так: между Россией и Турцией будет война, и в кару за нее аллах пошлет царю убийцу из его же народа.

Все вспомнилось разом от упавшей на ковер фотографической карточки, охота продолжать игру пропала. Княгиня, все прочтав по его помрачневшему лицу, просила не ездить на развод завтра. Другая партнерша по ералашу, придворная дама, тоже стала умолять его не ездить в манеж, и это его раздражило, потому что теперь все считали своим долгом руководить им и заботиться о его безопасности.

Утром 1 марта Александр встал, как обычно, в девятом часу. Долго гулял с Юрьевской по залам дворца, разговаривал о лорис-меликовском проекте, который вчера уже стал государственной реформой, сегодня будет подписан, а завтра, в понедельник, опубликован в виде

указа. Вчера Лорис явился на прием совершенно больным, и Александр послал к нему скорохода справиться о болезни. В случае, если граф по-прежнему нездоров, было велено передать, что государь заедет к нему сам. Документ должен быть подписан сегодня — и гора с плеч! Через четверть часа Лорис приехал. Держался он браво, по военному, но вид был нехорош, лицо землистое, в глазах краснота. Александр знал по рассказам, что граф болеет крайне мучительно не только для себя, но и для врачей: не дает себя осматривать, требует, чтоб лечили по его рассказам о болях и ощущениях, даже не разрешает ставить градусник под мышку. А все же никуда не денешься: азиат! Граф твердо отвел разговор о болезни и после того, как документ был подписан, сообщил, что на Малой Садовой осмотрена одна подозрительная лавка, но ничего не найдено. Вокруг этой Малой Садовой уже более года шли разговоры, еще с прошлой зимы, когда Тотлебен сообщил из Одессы о каких-то слухах, переданных Гольденбергом. Но вот — ничего же не находят. Лорис, однако, вновь настойчиво просил не ехать на развод. И Александр, уже было решивший с утра поехать, опять заколебался.

Погрузившись в привычное для себя колебательное состояние, Александр смутно слушал рассказ Лориса о каких-то тонких ходах Валуева и кознях известных лиц, оснащенный, как всегда, красочными русскими поговорками, вроде «тара бара, крута гора» или «аль у сокола крылья связаны, аль пути ему все заказаны?». И когда Лорис ушел и доложили о приезде великой княгини Александры Иосифовны, жены брата Константина, он почти совсем победил колебания и решил не ехать. Великая княгиня, узнав, что он не едет, огорчилась: сегодня на параде в манеже впервые участвовал ее сын Дмитрий.

Тогда он внезапно решил: поехать!

И так как очель хотелось поехать, это решение его обрадовало, и он, вдруг повеселев, быстро поднялся к княгине и сказал, что подписал указ о выборных людях и что из Михайловского дворца, от великой княгини Екатерины Михайловны, которую он посетит после развода, прибудет прямо домой не позже половины третьего. И потом весь день они проведут вместе, до обеда у великого князя Владимира. Княгиня просила его не ехать по Малой Садовой.

— Скажи Фролу, чтоб ехал по Екатерининскому, — просила она напоследок. — По Екатерининскому, слышишь?

Караул внизу проорал свое оглушительно-ретиво «Здравия желаем, ваше императорское величество!» Плицмейстер Дворжицкий стоял у кареты. Его собственны сани, на которых он с двумя полицейскими чинами до жеп следовать за каретой царя, находились тут же, по навесом закрытой галереи. Эта галерея у царского под езда была сделана недавно с особой целью: чтобы зл умышленники не могли видеть приготовлений к выезде Кучер Фрол Сергеев умел с места переводить орловски на рысь.

Плицмейстер полковник Дворжицкий, состоявший при особе царя, зорко выглядывал из саней своих людей: только что он самолично проехал весь царский путь от двора до манежа, расставив наряды полиции и конных жандармов. Впервые за много месяцев Дворжицкий чувствовал себя покойно в теплых полицмейстерских санях. Всем приходит конец. И безумию тоже. В девять утра сегодня он был вызван к градоначальнику Федорову в числе других полицмейстеров и приставов столицы, где услышал подтверждение слуха, разнесшегося еще вчера: о том, что арестован главарь анархистов Желябов. Ба, ба, тот самый, кого давно и безуспешно искали! Осталось схватить двух, трех человек — и с крамолой будет покончено. Федоров, человек глупый и суетливый, Дворжицкий его тепеть не мог, высокопарно торжествовал, рисуя себя чули не главным искоренителем крамолы.

— Я пригласил вас сюда, господа, чтобы объявить вам душевную благодарность. Всем русское спасибо, господа!

Развод 1 марта был от лейб-гвардии Саперного батальона. Громобойный бас манежного глашатая прокричал о приезде императора. Раздалась команда: «Смирно! Ворота распахнулись, и Александр в мундире саперного батальона въехал верхом в манеж, сопровождаемый свитой. Доехавши до середины манежа, император повернул лошадь к батальону и сделал знак рукой. Оркестр заиграл гимн. Две минуты длилось «ура!».

Саперы два раза прошли перед царем. Было замечено, что после парада Александр несравненно долее, чем с другими, разговаривал с французским послом гелерлом Шанзи.

После парада Александр отправился в Михайловский дворец к любимой кузине Екатерине Михайловне, у которой пил чай. В четверть третьего снова сел в карету

и поехал во дворец. По Ипжеперной улице царский кортеж стремительно промчался до набережной. Казаки галопом сопровождали карету. Повернули вдоль Екатерининского канала. Набережная была пустынна, мальчик волок по снегу корзину, шел навстречу офицер, какой-то молодой человек без шапки, со свертком в руке стоял на тротуаре и, когда карета поравнялась с ним, вдруг бросил свертки под ноги лошадям.

Это был Рысаков, который оказался первым в ряду метальщиков, вовсе не желая того: просто Тимофей Михайлов дрогнул и в последнюю минуту не занял назначенного ему места. Утром в кондитерской договаривались, где кому стоять. Блондинка, руководившая делом — Рысаков не знал, что ее зовут Перовской, про себя называл «блондинкой», — велела им распределить места между собой, кому с кем удобней, по принципу дружбы. Чтоб более близкие друзья стояли рядом. Но никакой дружбы между ними не было. Слишком недавно узнали друг друга. Все делалось поспешно и в то же время как-то вязко, будто сквозь сон, будто под влиянием какой-то диктующей воли. Рысакову казалось, что и блондинка, при всей ее необыкновенной властности и силе соображения, действовала не сама от себя, а от имени этой громадной, подавляющей воли. В кондитерской никто ничего не ел, кроме Котика: под этой кличкой Рысаков знал Гриневицкого. Было сказано: «Я махну платком, и это значит: вам идти на Екатерининский». Он шел с Котиком по Михайловской улице и увидел, как блондинка сморкается в белый платок, и тогда они сразу пошли на Екатерининскую. Но Тимофей Михайлова не было. Они стояли на набережной вдвоем, в пескольных шагах друг от друга. И со стороны Манежа приближалась долгоногая — за версту видать — каланча Емельянова.

Блондинка уже находилась на другой стороне канала. Она махнула белым. И это значило: рысаки вывернулись из-за угла и с громом, цоканьем черной сверкающей бурей покатались на...

По мистическому совпадению Рысаков оправдал свою фамилию, но не более того: он казнил рысаков. Царь вышел невредимый из кареты. Дым рассеялся. Кричал смертельно раненый мальчик, что волок корзину по снегу. На Рысакова набросились, свалили. Подошел царь. Кто-то больно выламывал руки.

— Кто таков?

— Мещанин Глазов...

— Хорош! — сказал царь, и лицо его показалось Рысакову белым, взбухшим, как тесто.

Кричали вокруг: «Ваше величество! Немедленно! Толкото назад! Скорей во дворец! Слава богу, государь ранен!» Еще слава ли богу? Крутили руки. Давило шею как железом. Царь сделал несколько шагов в ту сторону, где стоял Гриневицкий, и — с громом треснул воздух, окутало дымом. Через минуту царя тащили к саням, стоявшим за разбитой каретой. Народу стало очень много. Все ужасно кричали.

Гриневицкий, взорвавший себя вместе с царем, был доставлен в придворный госпиталь конюшенного ведомства, где и умер спустя восемь часов. На короткое время перед смертью он пришел в сознание и на вопрос о своем имени и звании ответил: «Не знаю». Царь скончался через час двадцать минут во дворце. Только несколько человек, знавших о предсказании гадалки, вдруг сообразили, что парижская ведьма права: царь благополучно пережил седьмое покушение, бомбу Рысакова, убившую двух казаков, мальчика и лошадей, и погиб от восьмого. И это, разумеется, было вздором и случайностью. Однако один человек, вовсе не оракул, твердо знал, что произойдет в воскресенье, и, расхаживая в третьем часу полудня по загончику двора дома предварительного заключения — было время послеобеденной прогулки, — прислушивался к звукам, доносившимся из города, надеясь услышать взрыв. Он не услышал, да и не мог услышать. Все равно он упорно и страстно прислушивался. Происходило на что иное в эти минуты, в третьем часу полудня — не было способно его существо.

Глава одиннадцатая

Первым показанием Андрея в день ареста, в пятницу 27 февраля, после того как прокурор Добржинский вкликнул радостно: «Желябов, это вы?», была следующая краткая собственноручная запись:

«Зовут меня Андрей Иванович Желябов, от роду 30 лет, вероисповедание... (тут он не написал ничего) крестьянин Таврической губернии, Феодосийского уезда села Николаевки; службу для освобождения родины;

родных имею отца, мать, сестер, брата (Александр, Марию, Ольгу, Михаила); все они живут в том же Феодосийском уезде; женат, имею сына; где находится семейство, не знаю; полагаю, у тестя моего Яхненко, в Тираспольском уезде, Херсонской губ. Был судим по процессу 193 и оправдан. Жил на средства из фонда для освобождения народа. Жил под многими именами; называть их считаю неуместным. Признаю свою принадлежность к партии Народная воля. Признаю, что организовал александровское покушение и смыкал батарею, т. е. покушение взорвать императорский поезд 17 ноября 1879 года под г. Александровском, где жил тогда под фамилией Черемисова. Настоящей квартиры моей в Петербурге, а равно и знакомых назвать не желаю. При задержании меня взят при мне заряженный револьвер системы Смит и Вессона и несколько патронов, а также в запечатанном конверте два листа, написанные шифром, открыть который, попятно, не желаю. Всему зачеркнутому прошу верить. Взят также ключ. *Андрей Желябов*».

Две ночи он замечательно спал, впервые за долгое время.

Третью ночь, с первого на второе марта, спать не пришлось. Подняли внезапно среди ночи, часов около двух, велели одеться и повезли к Цепному мосту, в департамент полиции. Думал спокойно: «В «комиссию», что ли? Пытать?» Давно ходили слухи, что в «комиссии» бывшего Третьего отделения происходят истязания: будто бы проваливается кусок паркета и пад человеком, провалившимся наполовину, совершается экзекуция. Говорили, будто Каракозова пытали. Делается втайне. А зачем же еще среди ночи? С мыслями о возможных пытках Андрей свыкся давно. Споров об этом было много, большинство считало, что пыток все же нет, времена изменились, некоторая законность существует, но Андрей задавал себе вопрос: а что им делать, если попадетесь в руки такой господин, как я? Ведь ни словечка не скажу. Правда, и под пыткой не скажу. Но опи-то, дураки, не знают.

Вот о чем он думал, качаясь в могильно-темной камере и с трудом отделяясь от сна. В комнате, куда ввели, сидел за столом старый генерал, смотревший не мигая и очень пристально, весь сморщившись от пристальности, на входящего в дверь Андрея. Был генерал похож сморщенной мордочкой на комнатную собачку, из таких ма-

леньких, противных. В комнате находились еще два чина: один жандарм, другой из судейских, а четвертый был знакомый, но уже безо всякой радости на лице, а наоборот, с окаменелой физиономией — Добржинский.

Привели какую-то бабу, она посмотрела на Андрея и покачав головой, сказала:

— Нет, вроде не тот...

Баба показалась знакомой. Потом уж сообразил, что это хозяйка квартиры, которую снимал Рысаков и где Андрей у него бывал. А через минуту вошел сам Рысаков. Но в каком виде! Был бледен невероятно, под глазом громадный кровоподтек, взгляд померкший. Пожали другу руку. Андрей понял: били. За что? Где? Вдруг догадка: толпа, как Соловьева...

— Знаете сего субъекта? — спросил генерал.

Андрей сказал, что знает. Под какой фамилией? Ответил, потому что понял: им известно. Но уже страшно мучило любопытство, он уже догадывался по измороженному Рысакову, по застылым, смертельным лицам чиновников, что нечто произошло! Спросил у прокурора палаты — потом узнал, что фамилия прокурора Плеве, — что случилось, отчего будят в два часа. Прокурор после молчания длившегося секунды две, во время коих он грозил лицом и как-то напыживался, объявил:

— Совершенно покушение на священную жизнь почтеннейшего в бже государя императора.

Так! Конечно. Ему хотелось расхохотаться, и он улыбнулся, глядя на окружавшие его злобные лица. Рысаков увел. Что же там делается? В городе, в стране? Что в университете? В Кронштадте? Страна, разумеется, молчила пока еще не прочухала, не поняла, а в столице, может быть — началось. И что с Соней? Всё — бури, проносились мгновенно, безответно. Его что-то спрашивали. А так: что он знает о злодеянии?

— Господа, сие не злодеяние, а величайшее благодеяние для освобождения народа и большой праздник для революционной партии...

— Прекратить! — крикнул, хлопнув по столу ладью, генерал. — Прекратить пронагаторство! Докладывай факты!

— Я говорю, как умею. Так вот, цель партии осуществилась. Со времени казни Квятковского и Пресникова дни императора были сочтены. За ним следили даже тогда, когда он ездил по институтам. Могу сказать

что не принял участия в покушении только потому, что лишен свободы, но нравственно — полностью сочувствую этому революционному подвигу.

Что-то спрашивали о форме снарядов, о составе взрывчатого вещества, он подробно объяснял. С удовольствием говорил об этом. Как выбиралось место действия? О, вопрос сложный! Место действия выбирается в зависимости от привычек объекта, а привычки выясняются путем длительного и регулярного наблюдения за объектом...

— Прекратить! — кричал генерал.

А его вновь терзало желание расхохотаться, но он сдерживал себя, лишь улыбался. Жандармский подполковник глядел на него как бы в ошеломлении. Генерал хлопал ладонью и кричал. Допрос длился несколько часов. Потом генерал и прокурор Плеве ушли, а Добржицкий с жандармским подполковником повели Андрея лестницей вниз, в подвальный этаж, и длинным коридором без дверей, по-видимому подземным ходом, прошли в помещение, где было холодно, как на дворе, поднялись вновь этажом выше и остановились у двери. Добржицкий сказал:

— Сейчас увидите человека, хорошо вам известного.

Открылась дверь. Два жандарма, как видно дремавшие на лавке, вскочили и вытянулись. В глубине помещения на столе лежал покойник. Стол был специальный, для покойников. С того края, что ближе к стене, на столе было сделано валиком возвышение, отчего голова оказывалась приподнятой и ее было хорошо видно. Покойник был Игнатий Гриневицкий. Он казался значительно старше, белое лицо имело строгое выражение: какой-то презрительности или скуки. В жизни у него не было такого выражения.

Андрей сказал, что не желает давать никаких объяснений относительно мертвого тела. Все было измочалено бессонной ночью. Добржицкий и жандармский подполковник не приставали к Андрею и более не расспрашивали ни о чем, записали кратко в протокол и повели тем же путем назад. Привезли в предварилку. Оставшись один в камере, он лег на койку, блин подушки сукул под голову и стал думать.

Одновременно с радостью возникало что-то другое. Вдруг он стал думать о себе. Партия победила, по какое дьявольское, проклятое невезенье! Его собственное невезенье. К которому он приговорен. Все, за что бы ни брался, оказывалось неудачей: коффуз под Александров-

ском, неудача в Зимнем, неудача под Каменным мостом, и вот теперь, когда все было подготовлено для последнего удара, судьба вырывает его из дела — накануне... И жалкий Коля Рысаков, с его сырыми гимвазическими мозгами, у которого все перемешано, револьверы, робеспьеры, девочки с Невского и которого одновременно с желанием перевернуть мир одолевает желание съесть большой бутерброд с колбасой, запивая чашкой кофе, — этот юнец будет представлять партию! Кому нужен такой процесс? Бессмыслица, ерунда. Процесс важнее бомбы. Если бомба не сможет расшевелить гнилое болото, тогда — процесс, речи, открытый бой на всю Россию!

Он потребовал бумаги, чернил. И вот что он написал на имя прокурора судебной палаты:

«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении царубийц старой системы; если Рысакова намерены — казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1-го марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению.

Андрей Желябов.

2 марта 1881 г. Д. пр. закл.

P. S. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две.

Андрей Желябов».

Получив заявление, следственные власти были так поражены его содержанием, что составили особый протокол осмотра этого документа, подписанный жандармским майором Беком, товарищем прокурора судебной палаты Муравьевым, будущим обвинителем на процессе, и двумя понятыми. Андрей же почувствовал огромное облегчение. Теперь было все, как надо. Одно огорчало: мысль о Соне.

Для нее это страшный удар, ведь она, конечно, надеется на его спасение, строит, наверно, какие-нибудь сумасшедшие планы, а после такого письма — какое же спасение? Тут виселица. Очень скорая. Может, через неделю, а может, и через два дня. Соня будет сокрушена, убита, товарищи станут восхищаться, а некоторые добрые друзья — есть и такие — скажут: «А все же Тарас любит эффекты!» Но суть в том, что иначе поступить невозможно.

Все, что происходило с ним за последний год, было единственно возможным. Никаких других путей не существовало. Он катился по желобу, как дождевая вода в бочке. А для Сони вот что: ведь она любит его так же сильно, как гордится им. И это ей останется: гордиться. В ночь на третье марта он опять замечательно крепко спал.

Третьего марта мальчишки-газетчики орали на улицах: «Новые телеграммы о злодейском покушении!» И Соня, куда-то бежавшая с Аркашей Тырковым по Невскому, купила телеграмму и прочитала. Было сказано: «Недавно арестованный Андрей Желябов заявил, что он организатор дела 1 марта». Аркаша Тырков, милый юноша, студент, тайно влюбленный в Перовскую, тоже прочитал, и некоторое время шли молча. Соня держала телеграмму в руке. Раза три разворачивала ее и читала. Аркаша спросил:

— Зачем же он так сделал?

— Верно, пужно было, — ответила она.

Нет, надежды не рухнули, силы не покидали ее. Начиналась последняя неделя ее свободы: неделя великого облегчения и одновременно отчаянья. Отчаянья — оттого, что была с ним в разлуке, облегчения — оттого, что пропал всякий страх и все стало ясно.

Нужно было одно — с ним соединиться каким угодно способом. Про нее говорили: «Соня потеряла голову». Никто не понимал, что именно в эту неделю она была изобретательной, гениальной и спокойной, как никогда. Хотя всем казалось, что она мечется и сходит с ума. Кругом все сыпалось, валялось, гнило. Ночью 3 марта полиция пришла в квартиру на Тележной, Гесья открыла, тут же была арестована, а Коля Саблин, не желая даваться живым, застрелился. На квартире осталась полицейская засада, и через несколько часов в эту засаду попал Тимофей

Михайлов. Дворник спросил его: «Вам куда?» Михайлов наобум назвал квартиру двенадцать, какой на лестнице не было. Чины полиции, дежурившие за дверью, тотчас вышли и пригласили Михайлова зайти в квартиру. Михайлов кинулся бежать, отстреливался, тяжело ранил двух полицейских, но был схвачен. В городе шли повальные обыски. На улицах хватали подозрительных, очкастых, длинноволосых. Были случаи избияния толпой. И в эти дни Соня почти постоянно была на улицах, рыскала по городу, встречалась со множеством людей, иногда еле знакомых, пытаясь найти хоть как-то, пускай фантастические пути к спасению Андрея. Она искала способы проникнуть в Окружной суд, где должно было слушаться дело, и присматривала свободную квартиру на Паптелеймоновской, около департамента полиции, надеясь организовать нападение, когда Андрея будут вывозить на суд. Договаривалась с военными. Ничего не удавалось, не устраивалось. А провал квартиры на Тележной, случившийся сразу после убийства царя, означал, что выдает кто-то из только что схваченных и бывавших на этой квартире. Думали не долго: Рысаков! Поэтому Богдановичу и Баске приказали не терять ни мгновения и, не дожидаясь очищения мины от динамитного заряда, бросить магазин и выехать из Петербурга.

В эти дни о людях, ждавших суда и казни, неотступно думал писатель граф Лев Толстой. С того ростепельного утра, когда встретил на непроезжем от талого снега шоссе мальчишку-итальянца, шарманщика с птицами, который рассказал, что царь убит бомбой, ни о чем другом думать не мог: только об этих безумцах и предстоящей казни. Постепенно возникало то иссушающее душу, хорошо ведомое состояние мучительства одной мысли, которое само собой никогда не проходило, а должно было непременно найти исход в каком-то действии, и он уже догадывался — в каком. Наконец, за утренним кофе признался Алексееву, учителю старших детей, что мучается желанием написать письмо сыпу убитого и попросить о помиловании убийц. Алексеев, бывший нигилист, фурьерист, поддержал горячо: «Главное то, что вы этим письмом спимете с себя в вашем сознании вину участия вашего в казни». Софья Андреевна услышала, вбежала в гостиную и в гневе накинулась на Алексева: «Василий

Иванович, да что же вы говорите?! Если бы здесь был не Лев Николаевич, который в ваших советах не нуждается, а мой сын или дочь, то я тотчас же приказала бы вам убираться вон!» — «Слушаю, уйду...» Был соблазн сказать резкое.

И уже твердо знал, что напишет.

И вот смутным часом перед вечером, свечей не зажигали, сидел на кожаном диване внизу — только что пообедавши — и думал о том же. Вдруг вспомнил, как ребенком видел, как вели мужика наказывать. Запомнилось детское недоумение: я ли глуп и дурен, что не понимаю — зачем, или же они, взрослые? И уверился, что взрослые правы и твердо знают — зачем. А они-то, бедные, и не знали!

Болезнь зашла глубоко, и доктора отчаялись, испробовав все средства: и сильные, решительные, и переставали давать сильные, а давать свободу отправлениям болезни, надеясь, что болезнь сама источит себя из организма. Но облегчения не было, болезнь разгоралась. Что же осталось? Испробовать еще средство, о котором врачи не знают, — средство странное. Убивая, уничтожая их — нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий недостаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который был бы выше их идеала, включал бы в себя их идеал. Французы, англичане, немцы борются с ними, и так же безуспешно. Есть только один идеал, один путь, которым уничтожится зло. Блеснуть, как молнией, с высоты тропа примером величайшего милосердия! И тысячи, тысячи поймут! Миллионы поймут. Сын простил убийцу своего отца. Но только как убедить? Теперь все должно решиться, судьба России на столетье вперед. И, думая так, задремал незаметно на кожаном диване и увидел площадь, черный помост, приготовления к казни, по казням не этих безумных, а его самого выводят в балахоне на черные доски, палач готовится петлю, рядом стоят Александр III и судьи, и вдруг все переменяется, и вместо палача он сам держит петлю и собирается казнить.

Проснулся в ужасе, с помертвелым сердцем. И тогда же пошел и сел писать.

«Я, ничтожный, не призванный и слабый, плохой человек, пишу русскому императору и советую ему, что

ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали...»

Письмо вышло на многих страницах.

В конце написал так: «Они скажут: выпустить всех, и будет резня, потому что немного выпустить, то бывают малые беспорядки, много выпустить — бывают большие беспорядки. Они рассуждают так, говоря о революционерах как о каких-то бандитах, шайке, которая собралась, и когда ее переловить, то она кончится. Но дело совсем не так; не число важно, не то, чтобы уничтожить или выслать их побольше, а то, чтобы уничтожить их закваску, дать другую закваску. Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше... Есть только один идеал, который можно противопоставить им: тот, из которого они выходят, не понимая его и кощунствуя над ним, тот, который включает их идеал — идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло».

После некоторых переделок письмо было послано Страхову с просьбой передать недавно назначенному обер-прокурором Синода Победоносцеву, а того просить передать царю. Знали, что нет для царя человека более чтимого, чем Победоносцев, многолетний, со времен юности, наставник и собеседник. А кроме того, Алексеев вспомнил, как лет шесть назад Победоносцев помог выволить из тюрьмы алексеевского друга, «богочеловека» Маликова. Толстой направил Победоносцеву записку о том, что знает его как христианина и оттого смело обращается к нему с важной и трудной просьбой.

Бывший правовед жил в эти дни предчувствием громадной перемены в своей судьбе. И мысли его были совсем иные. Только что он отправил царю письмо: «Если будут вам петь прежние сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, — о, ради бога, не верьте... Злодеи, погубившие родителя вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только расшвирепеют. Их можно унять, злое семя вырвать только борьбой с ними на живот и па смерть, железом и кровью». Следом за тем спешно направил царю другое письмо с чрезвычайно важными советами: «Ради бога, примите во внимание нижеследующее:

1. Когда вы собираетесь ко сну, извольте запирать за собою двери — не только в спальне, но и во всех сле-

дующих комнатах, вплоть до выходной. Доверенный человек должен внимательно смотреть за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты.

2. Непременно наблюдать каждый вечер, перед сном, целы ли проводники звонков. Их легко можно подрезать.

3. Наблюдать каждый вечер, осматривая под мебелью, все ли в порядке.

4. Один из ваших адъютантов должен бы был почевать вблизи от вас, в этих же комнатах.

5. Все ли надежны люди, состоящие при вашем величестве? Если бы кто-нибудь был хоть немного сомнителен, можно найти предлог удалить его».

И вдруг является Страхов с письмом Толстого. Победоносцев, тут же прочитав, отказался передать письмо царю. Вероятно, оно ошеломило его и показалось чудовищным. А Толстого ужаснул отказ Победоносцева. «Дай бог, чтобы он не отвечал мне,— писал он Страхову,— и чтобы мне не было искушения выразить ему мой ужас и отвращение перед ним». И далее в том же письме: «Не могу писать о постороннем, пока не решено то страшное дело, которое висит над всеми ними». Однако дело быстро приближалось к решению. Ветра над Россией переменялись круто.

Толстой еще пытался действовать и передать письмо царю другими путями, и Победоносцев, по-видимому, об этом узнал. Да тут поразил столицу философ Владимир Соловьев: в публичной лекции двадцать восьмого марта, уже во время суда, он внезапно заговорил о предстоящем приговоре и призвал царя «простить безоружных», чем вызвал смятение и восторг в зале. И тогда Победоносцев написал отчаянное, последнее в этом месяце письмо царю о том, что в ход пущена мысль, которая приводит его в ужас. «Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить вашему величеству извращенные мысли и убедить вас в помиловании преступников. Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы вы перед лицом всего народа русского в такую минуту простили убийц отца вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется... В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые ковы.

Ради бога, ваше величество, да не пропикнет в сердце вам голос лестн и мечтательности».

Александр III написал сверху: «Будьте покойны, с подобными предложениями ко мне не посмеют прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за что я ручаюсь».

Голос Рысакова Н. И.

А почему я должен был бросать первый? Такого уговора не было. Произошло трагическое недоразумение. Я, как самый молодой, обязан был стоять как бы в запасе, третьим или четвертым номером, и держать снаряд на всякий случай, но Михайлов струсил или, может быть, схитрил, номера перепутались, и — вот так случилось. Блондинка махнула платком, я и бросил. Если говорить конфиденциально, то я, как самый молодой и незрелый, не обязан был стоять на этом номере, и Желябов никогда бы меня туда не поставил. Но его арестовали. А без Желябова у них все пошло вкривь и вкось. Желябов держал всех в узде, он из каждого умел веревки вить.

Вот и из меня — свил веревку. Наверно, ту самую, о которой рассказывал господин Добржинский, — в первый день. Рассказывал, как это делают. Уж он-то знает, видел. Господин Добржинский, по-видимому, очень умный и незлой человек, никогда не сердится, не кричит, разговаривает спокойным тоном и угощает папиросками и, что главное — к человеку относится сочувственно. Ну вот видит, к примеру, что я молод, неопытен, он и объясняет мне, как и что. Ставят на скамейку. Накидывают белое, вроде балахона или какого-то савана. А потом уж, когда ты в саване, на голову петлю, спускают ее до шеи и слегка натягивают, но не чересчур, не до хрипа. Веревка, говорит, не очень толстая, он смотрел, руками щупал. Потому что, если толстая, петля сразу не затянется, а тут в том и хитрость, чтоб — сразу, в одну секунду. Делается, конечно, из пеньки, вытрепанной и прочесанной на гребне, а толщина измеряется по числу шнуров: есть двухшнуровые, четырехшнуровые, шестишнуровые. И русская, говорит, пеньковая веревка хорошо ценится и идет за границу. Все это господин Добржинский рассказал мне в первый же день, и без всякой злобы.

И я тоже стал ему рассказывать все, что знал, с первого же дня, потому что — смерть-то страшна! Ох страш-

на, страшна. Непереносимо страшна. Ведь совсем не жил, ни чуточки, ничего хорошего не видал: один голод, бедность, пустота. Мне девятнадцать, родители мои мещане, отец заведует лесопильным заводом в Вытегорском уезде Олонецкой губернии. Учился я в уездном училище, потом в Череповецкой реальной школе, там был учитель Васильев, пикилист из ссыльных. Что я видел в детстве и в отрочестве? Только нужду, одну нужду. Нужду родителей, нужду крестьян, рабочих. Помню, как после 6-го класса проживал на каникулах с отцом в поселке Ковжинская Запань, там была масса рабочих, около 300 человек, плотящих лес — работа ужасно тяжелая, — и я сознательно, можно сказать, научно отпесся к их экономическому положению. Тогда уже я читал книги Васильчикова, изучал германскую конституцию и книгу Шерра «Комедия всемирной истории». В 1878 году поступил в горный институт и ввиду крайней бедности получал от администрации денежную помощь. Познакомился с Ширяевым. Был близок с одной женщиной, которая была близка с Ширяевым, ее вскоре арестовали после его ареста, и меня тоже тогда притащили в полицию.

Но что я мог рассказать, какие тайны раскрыть? Одно я знал основательно, одну тайну постиг: тайну голода. Я голодал, если можно так выразиться, по всем статьям. Меня терзал обыкновенный голод по куску мяса, и голод по лишнему рублю, чтобы зайти в лавку и купить башмаки, и голод по людям, голод по женщинам. Всего я жаждал, во всем был пессит и несчастлив. Мне пужна была хоть какая-нибудь женщина. Хотя бы старая, дурная. Нужны были друзья, которые могли бы меня понять и обещали бы мне другую жизнь, без одиночества и без бедности. Человек, ни на что не имеющий права, я познакомился с социалистами и увидел, что они носят свое право в кармане: в дуле револьвера. Желябов перевернул мою жизнь. Вдруг я увидел, что этот человек, такой же нищий, одинокий, нестроенный и бездомный, как я, однако — могуч и почти всемогущ!

Желябов говорил как-то особенно увлекательно, уничтожая всякую возможность отнестись к нему критически и в то же время составить себе определенное понятие о сказанном. Оставалось впечатление чего-то блестящего, но и только. Но это «только» обладало громадной силой, может быть, гипнотической. Желябов убедил меня в том, что террор есть неизбежность в социалистическом движении.

Если правительство, говорил он, из своих интересов делает поправку в законе божьем «не убий», то партия ради блага народа имеет на это большее нравственное право. После каникул, когда я ездил к отцу и видел бедствия народа, болезни, массовую гибель от сибирской язвы, голод и прочее, и был сильно огорчен виденным, Желябов умело воспользовался моим настроением. Я вступил в террористическую группу. Мне было очень нелегко. Я не мог побороть инстинктивного отвращения к крови. Прошу обратить внимание на то, что есть большая разница в способах совершения убийства. Задушить руками возможно, смакуя мучения жертвы, точно так же, как вонзить кинжал, как именно этот цинизм проявился в словах Перовской 1 марта. Выстрел требует уже меньше нравственного напряжения. Бросить снаряд и не видеть его действия можно уже почти без мужественной, сердечной боли. Но если убийство выходит за рамки обыкновенных преступлений, если результатом его будет истинное, социалистическое благо — например, лучшая жизнь крестьян и рабочих — тогда нравственных мучений может не быть совсем. Я не считал покушение даже убийством, ни разу не рисовались моему воображению кровь и страдания раненых, покушение представлялось мне каким-то светлым фактом, переносящим общество в новую жизнь. До чего этот человек меня одурманил! Нет! я не сразу, не сразу стал рассказывать все. Конечно, я наговорил много в первый день, раскрыл квартиру на Тележной, назвал убитого Котиком и Михаилом, рассказал о Перовской и Желябове, но о многом умалчивал, кое-что путал нарочно. Про Перовскую, например, сказал, что она брюнетка. А ведь она блондинка, очень яркая. Только на другой день я назвал ее блондинкой. Про Желябова говорил, что у него русая, французская бородка, хотя у него темная большая борода, за что его и прозвали Бородачом, Папашей. Я путал, бессознательно стараясь принести пользу им. Но в первую ночь... Я увидел свою смерть — на четырехшпуровой веревке, о которой говорил господин Добржинский, — так ясно, что стал задыхаться, хрипеть, я думал, что не доживу до утра.

Почему я должен умереть только оттого, что произошла нечаянность, номера перепутались и я оказался на первом номере? Я думал: ведь не я же стал виновником смерти государя. От моей бомбы он, слава богу, остался жив. Дайте же хоть немного пожить, хотя бы четыре го-

да. До двадцати трех лет. Хотя бы два годика! Это так ничтожно, несущественно, а для меня так огромно — два года. Я совсем не жил, едва прикоснулся к жизни. Два годика, а потом согласен — добровольно в петлю, и еще скажу спасибо. Великое спасибо за два года счастья, потому что жизнь — вот счастье. Мудрецы-то ломают голову: «В чем счастье?» А оно в такой простоте. И со второго марта я стал говорить все, что знал. Господин Добржинский вытряхнул меня до нитки, вывернул наизнанку; я был как солдатская добыча, по которой прошелся полк. От меня осталась оболочка. А все утро со всеми мыслями, словами, надеждами, памятью я отдал господину Добржинскому. Но и эта оболочка, оставшаяся от меня, была мне дорога бесконечно, я хотел ее сохранить. Все равно — как. Теперь уж, когда осталась одна оболочка, мне было решительно все равно.

Господин Унковский, мой адвокат, указал на триппер, которым я был болен, как на средство, могущее смягчить мою участь. Я понимал, что могу быть скандализован, но согласился. Эту болезнь я получил осенью, она была в слабой форме и мало меня тревожила, но адвокат настоял, чтобы меня подвергли медицинскому осмотру, и двадцатого марта это сделали. Я знал, что выгляжу ужасно, как мертвец. На лице появились сине-багровые пятна. Врачи не могли понять, откуда эти пятна, и предполагали разное. Я-то знал откуда: от страха смерти. Когда мне делали очную ставку с Аркадием, тот от меня отшатнулся, а за несколько часов перед тем меня свели с Перовской, и я понял, что в первую секунду она меня не узнала. Но врачи, эта бездушная сволочь, заключили так: «никакого первого заболевания нет, расстройства умственных способностей тоже нет, а что касается хронического уретрита, то эта болезнь никакого дурного влияния на психическую сферу не имела». Я старался изо всех сил, отвечая на вопросы господина Добржинского, и, если в первые два дня мне было важно его обещание, как благородного человека, что мои откровенности с указанием лиц и адресов не будут занесены в протокол, — и верно, не заносились, зато записывались мои пространнейшие рассуждения о социализме, рабочей организации, экономическом перевороте, и Добржинский никогда не прерывал, наоборот, слушал с искренним и горячим интересом, — то вскоре эта важность для меня пропала. Я понял, что кроме этих протоколов составляются другие, и рано или

поздно все узнается, а кроме того, какое значение имеет теперь, что обо мне скажут и подумают? Ведь решила не о скромности и бесстыдстве, а о жизни смерти.

И когда меня вызвали на допрос 11 марта и предъявили Софью Перовскую, я тотчас сказал, что это та самая блондинка, которая руководила нами в воскресенье первого марта и чертила на конверте плач. Она же принесла снаряды в узле. Перовская глядела своими маленькими синими глазками с такой ненавистью, что я изумлялся: почему я не смущен, почему голос мой не дрожит? Да потому что все из меня вытряхнулось. А то наружное, что осталось, не обладало способностью ни дрожать, ни смущаться.

Потом я признал Аркадия Тыркова, Елизавету Олевенникову, Кибальчича, потом по карточке признал Вер Фигнер, назвал всех рабочих по фамилиям, какие помнил из тех, кто болтался в рабочих кружках. А знаете, что такое ночные допросы? Когда не дают спать, и чуть только задремлешь на стуле, повалишься на бок, тебя толкают грубо: «Не спать! Отвечать на вопросы!» Они обещали мне жизнь. До самого конца я верил обещанию, и когда в суде услышал «подвергнуть смертной казни через повешение», все равно продолжал верить. Мне казалось, что это объявляется для других, а мне потом будет сказано особое. Ничего не было сказано. Зато все из меня выдавили две капли. Даже за пять минут до казни Добржинский и меня что-то выпытывал. А я все верил. И уж саван надели, петлю накинули, а я еще верю, что мне сейчас будет пощада объявлена: палач из-под меня скамейку вышибает, а я за скамейку ногами цепляюсь, он ругается, слышу, как ругается, бьет ногой по скамейке, а я цепляюсь, цепляюсь, цепляюсь, потому что надеюсь до последней секундочки...

Вот когда первого марта набросились на меня воевшие, публика, прижали к панели, кто-то кричал: «Дайте нам его, мы его разорвем!» — и потом вдруг новый вары ужасная паника, все попадали, а я говорю им: «Не бойтесь умирать, все равно когда-нибудь». И не было в ту минуту на земле человека, который бы меньше меня боялся смерти. О вы, люди милые, дорогие, что будете жить через сто лет, неужто вы не почувствуете, как воеет моя душа погубившая себя навеки?

Громадная российская льдина не раскололась, не треснула и даже не дрогнула. Впрочем, что-то сдвинулось в ледяной толще, в глубине, но обнаружилось это десятилетия спустя. А в ту весну лишь несколько недель страха: вот все неприятное, что испытала петербургская власть. Носились вздорные слухи. Ждали новых покушений. Стало известно дерзкое письмо Исполнительного комитета новому царю с требованием всеобщей политической амнистии и созыва представителей от всего народа. Советчики молодого царя предлагали объявить Петербург на военном положении и съехать с проклятого места в Москву. Душою всех действий правительства в марте 1881 года был страх: нерешительность с коронацией, откладывание суда над цареубийцами, колебания вокруг уже подписанного покойным государем проекта и, наконец, окончательное убийство лорис-меликовского детища. Могущество самого графа таяло с каждым днем. Вместо него вблизи русского трона выросал новый демон: Победопосцев.

А между тем партия, вселявшая почти мистический ужас, на самом деле была без сил. Людей не оставалось совсем. 10 марта на Невском арестовали Перовскую: ее узнала в лицо хозяйка мелочной лавки, где Перовская покупала провизию. Через четыре дня были арестованы члены наблюдательного отряда Аркадий Тырков и Елизавета Оловеникова. 17 марта схвачен Кибальчич. Его арестовали при выходе из библиотеки-читальни отставного генерала Комарова, которую часто посещали революционеры. Полиция приспособила ее для своих нужд. Было устроено особое помещение для агента, который мог в щелку наблюдать за посетителями читальни и вылавливать нужных людей. Этим агентом был Окладский. После ареста Кибальчича на его квартире арестовали Фроленко, затем в течение десяти дней в руки полиции попали Подбельский, Арончик, Исаев. С помощью предателей Меркулова, а затем Дегаева Исполнительный комитет был окончательно разгромлен. Тихомиров, прозванный Тигрычем, уехал вскоре за границу, издавал там революционное издание «Вестник Народной воли», но через шесть лет подал царю прошение с выражением полного раскаяния. Он стал искренним монархистом, редактировал «Московские ведомости» и умер в 1923 году. Четыре должителя пережили все невзгоды, двадцатилетнее заключение и

Шлиссельбургской крепости и умерли в глубочайшей старости: Морозов, Вера Фигнер, Якимова и Фроленко. Д старости дожили и умерли при Советской власти Ан Корба и Софья Иванова. Остальные народовольцы погибли очень скоро на эшафотах и в казематах. Моряк Су ханов был казнен в Кронштадте в присутствии матросских команд. Баранников, Колодкевич, Ланганс и Тетерка не долго выдержали Алексеевский рavelин и сгорели кто от цинги, кто от чахотки. Клеточников уморил себя голодовкой, протестуя против убивающего режима рavelина, Арончик обезумел и заживо сгнил в своей камере, в Шлиссельбурге. Исаев погиб от чахотки, предавшись перед смертью богу. Грачевский в отчаянной борьбе с тюремщиками сжег себя, облив керосином из лампы. Смерть Ширяева и Лилочки Терентьевой была странной: они дико кричали перед смертью и вдруг падали бездыханными. Ходили слухи, что им давали яды, чтобы выведать какие-то сведения. Александр Михайлов, прозванный Дворником, прожил в Алексеевском рavelине два года без десяти дней. Его умерщвляли в изолированной камере, в отдельном коридоре, без соседей. Товарищи Михайлова по «процессу двадцати», так же, как и он, приговоренные к вечной каторге, пользовались последней отрадой: перестукивались друг с другом. Михайлов же умер в полном и совершеннейшем одиночестве, и никому не известно, что он чувствовал и о чем думал в предсмертные месяцы.

Глава двенадцатая

Теперь он желал одного: чтобы скорее суд.

На допросах, производимых жандармскими офицерами и судебным следователем Книримом, отвечал скупо, небрежно. Кой черт тратьте порох в пустых комнатах наедине с чернильницей и восковой чиновничьей рожей! Поговорим на суде. И хотелось их напугать. На допросе четвертого марта сказал, что когда в январе он бросил ключ среди боевых дружин насчет царубийства, вызвались сорок семь добровольцев. Вместе с майором Бекон в тот день допрашивал прокурор Муравьев, который даже вздрогнул и слегка побледнел, услышав о сорока семи. Тогда же Андрей старательно умалял свое значение: «мне выпала честь организовать нападения... мне было поруче-

по...» Вполне могло быть поручено кому-либо другому из агентов. Ведь он лишь агент Комитета, да и то — третьей степени. Умаление было нужно вовсе не для... — да о чем речь? вервие обеспечено! — а для того, чтобы создалось впечатление, будто главная сила осталась в неуязвимости на воле. Пугать, пугать. Вспоминал, усмехаясь, Нечаева. Бедному Сергею Геннадиевичу, как видно, не удастся переменить судьбу. К концу третьей недели, когда уже стали известны обвинительный акт и то, что судить будет Особое присутствие правительствующего сената, внезапно среди ночи — а сна опять не было, как раньше — пришла мысль. Зачем ждать начала суда? Нанести удар первому. Правило драчунов.

Накануне суда, 25 марта, он послал первоприсутствующему такое заявление:

«Принимая во внимание: в о - п е р в ы х, что действия наши, отданные царским указом на рассмотрение Особого присутствия сената, направлены исключительно против правительства и лишь ему одному в ущерб, что правительство, как сторона пострадавшая, должна быть признана заинтересованной в этом деле стороной и не может быть судьей в своем собственном деле; что особое присутствие, как состоящее из правительственных чиновников, обязано действовать в интересах своего правительства, руководствуясь при этом не указаниями совести, а правительственными распоряжениями, произвольно имеваемыми законами, — дело наше неподсудно Особому присутствию сената;

в о - в т о р ы х, действия наши должны быть рассматриваемы как одно из проявления той открытой, всеми признанной борьбы, которую русская социально-революционная партия много лет ведет за права народа и права человека против русского правительства, насильственно завладевшего властью и насильственно удерживающего ее в своих руках по сей день;

единственным с у д ь е й в деле этой борьбы между социально-революционной партией и правительством может быть лишь весь русский народ через непосредственное голосование или, что ближе, в лице своих законных представителей в Учредительном собрании, правильно избранном;

и, в - т р е т ь и х, так как эта форма суда (Учредительное собрание) в отношении нас лично неосуществима, так как суд присяжных в значительной степени представ-

ляет собою общественную совесть и не связан в действиях своих присягой на верную службу одной из заинтересованных в деле сторон;

на основании вышеизложенного я заявляю о неподсудности нашего дела Особому присутствию правительствующего сената и требую суда присяжных в глубокой уверенности, что суд общественной совести не только вынесет нам оправдательный приговор, как Вере Засулчч, но и выразит нам признательность отечества за деятельность особенно полезную. 1881 г. 25 марта. *Андрей Желябов*. Петропавловск. крепость».

Было ясно, что судилище пойдет так, как его наметили власти, но важно ставить им препятствия. Заявления будут обсуждать, читать вслух, может быть, оно попадет и печать. Ночью не спал, мучило нетерпение: скорее бы свет, утро! Начало суда назначалось на одиннадцать. Ходил по камере и думал: как говорить? От защитника отказался. Будет защищать себя сам. Впрочем, не себя. В том-то и суть, потому-то и отказался, что защищать не себя, а — дело. Какой же защитник сможет лучше него? В середине ночи зашелестел замок и тихо вошел с фонарем тот самый жандармский офицер, который привел его сюда из дома предварительного заключения. Андрей знал фамилию: Соколов. Приземистый, коренастый, с каким-то поразительно застылым, как будто заспиртованным лицом. Таких глаз, как у этого тюремщика, Андрей у обычных новеньких людей не видел: глаза были самой неживой, самой неподвижной частью лица.

Наставив на Андрея свои выпуклые, пчеловеческой ледяной светлоты буркалы, Соколов тихо сказал:

— Бежать по камере об этот час нельзя. Лягте и отдохните.

— Я не бегаю, я хожу. Имею на это право.

— Нет, бегайте. Ишо следите за вами: либо голову расшибете с паскою.

— Не дождетесь. Еще чего. Голова мне завтра попадется.

Тюремщик не уходил. Андрей глядел в его глаза: нет жизни в них тлела, но какая-то своя, ужасная, может быть, жизнь земноводных или тритонов. Подумал, усмехаясь: а может, это послапек оттуда? И там все так же с глазами тритонов?

— Лягте и не бежите,— сказал Соколов.— Иначе переведу в другую камеру, там не разбегаешься.

Тюремщик вышел так же бесшумно, как вошел. Прощелестел замок. Шторка над глазком поднялась, и Андрей опять увидел выпуклое, ледяное око, наблюдавшее пристально. Вспомнились слова Жоржа: «Остановить на себе зрачок мира — разве это не значит победить?» Вот он, зрачок, который остановился и смотрит. Пока шторка не опустится. Андрей сел на койку. Ходить не хотелось. Он подумал о том, что, когда жизни остается мало, возникает страстная жажда, хочется жить: но в прошлом. И он стал вспоминать то, чего не вспоминал годами: каменный дом гимназии в Керчи, лица, разговоры, голоса, пыльную акацию, закатное багровое небо.

Было солнечно, сверкал весенний день, встретились в большом коридоре, и он успел тронуть Сою за руку, но жандарм сильным ударом отбросил его руку назад. Он увидал, что Сося очень худа. Все были худы, желтолицы, с бескровными губами. Спокойней всех выглядел Кибальчич. Он улыбнулся Андрею, и, когда сгрудились на несколько секунд перед дверьми в зал заседания и очутились рядом, сказал быстро:

— Я работал над проектом летательного аппарата.

— Коля, ты гений! — Андрей даже засмеялся в изумлении. — В камере?

— Да, это мои старые мысли, но все не было времени. А тут — совершенно ничто не мешало...

Кибальчича потянули вперед. Стали входить, выстроившись цепочкой: между каждым из них шел жандарм. Крепко пахло начищенными сапогами. Привели и посадили так: первого Рысакова, рядом с ним Михайлова, за ним Гесю, потом Колю, Сою и его последним. Но удачей было то, что с Соней оказались рядом. Когда сели, она наклонилась и шепнула:

— Мое единственное было желание: чтоб мы — рядом... Как хорошо, правда?

— Хорошо. — Он кивнул.

Как будто кто-то сильной рукой сжал сердце: он увидел, как Сося улыбнулась. Первоприсутствующий сенатор Фукс и члены суда, аксельбанты, мундиры, ленты, фражки, ордена, золотое шитье, седые головы, скрип, шарканье, откашливание по случаю студеного ясного утра: вошли почти одновременно с обвиняемыми из другого входа и стали рассаживаться. Если б отец вдруг очутился

здесь и увидел эту гору мундирного золота, эти важные лица в бакенбардах и то, что они все смотрели на него, Андриюшку Желябова! Не было никакого страха, хотя все это было приготовление к смерти. Люди, сидевшие перед ним, были палачами. Они желали скорее убить его и товарищей. Ради скорой их смерти тщательно паряжались утром, причесывались, долго смотрели на себя в зеркало, плотно завтракали и радовались тому, что их смерть наступит не сразу, а через четыре, пять дней, так что удовольствие будет длиться. Но он думал о них, об их вурдалачьем любопытстве без всякой злобы. И смерть его не пугала. Материя вечна! Молекулы, составляющие его существо, просто перейдут в другое состояние, вот и все. Но не исчезнут. Исчезновения быть не может. Первоприсутствующий сенатор Фукс о чем-то просил обер-секретаря, тот стал читать какое-то предложение министра юстиции — ага, формальность, почему дело отнесено к ведению Особого присутствия сената. Простое убивание не годится, все должно сопровождаться бумагами.

— Я получил документ...

— Прежде объясните суду ваше звание, имя и фамилию, — перебил Фукс.

— Крестьянин Таврической губернии, Феодосийского уезда, села Николаевки Андрей Иванов Желябов... — Голос звучал хорошо. Вообще было полное спокойствие. Вокруг совершеннейшая глубокая тишина, и лица в зале глядели на него с пожирающим интересом. Нет, никакой злобы к ним. Вдруг: начало июня, большой зал гимназии, директор, учителя, старичок протоиерей Бершадский, толстый Кондопуло, и в таком же прочном молчании все смотрели на него и ждали. И тогда после бессонных ночей, возбуждения было такое же внезапное спокойствие. Все повторяется, все уже было, испытано, только тогда речь шла о громадной неизведанности, о медали, праве на чин четырнадцатого класса, а теперь о хорошо известном: о смерти.

— Я двадцать пятого числа подал в Особое присутствие из крепости заявление о неподсудности моего дела Особому присутствию сената как суду коронному...

Фукс кивал.

— Сейчас я разрешу ваши сомнения. Господин обер-секретарь, прочтите определение присутствия, состоявшегося в распорядительном заседании сегодня.

Обер-секретарь прочитал нечто громоздкое, составленное из пунктов, статей, параграфов и номеров, из чего следовало: заявление Желябова оставить без последствий, о чем ему и объявить.

— Я этим объяснением удовлетворен.

Да, удовлетворен, ибо сказал вслух о главном, и это занесено в протокол, слышали в зале, где не только саповники, но и много корреспондентов газет. Есть даже художники, вон один чиркает в альбоме. Первое маленькое сражение выиграно!

— Теперь приглашаю вас ответить на мои вопросы.— Фукс тоже понял, что несколько потеснен, отчего выражение его лица сделалось еще более непреклонным, а голос бесстрастным. Выглядит стариком, хотя не стар, лет сорока пяти: лысина, пенсне, сивая борода. Директор гимназии господин Падрен де Карна тоже любил папускать на себя вид бесстрастного ревнителя справедливости: хотя ты сын крестьянина, а он дворянин, я осуждаю его, а не тебя, но и ты понесешь соответствующее наказание.— Сколько вам лет?

— Тридцать.

— Веры православной?

— Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю... Я признаю, что вера без дела мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых и если нужно, то за них и пострадать: такова моя вера.

В зале задвигались, закричали, пробежал ропот. Кажется, это значило: возмущение. Фукс продолжал с той же казенной бесстрастностью:

— Где проживали в последнее время и чем занимались?

Жил там-то, служил делу освобождения народа. Единственное занятие, которому много лет он служит всем своим существом. Опять задвигались, шум: не понравилось! Господа, надо привыкать, так будет все три дня. Нравиться здесь вам ничего не должно. Затем заговорил прокурор Муравьев: из той породы молодых людей, кого зовут осанистыми и представительными. Требовал, чтоб читались показания Гольденберга. Андрей же потребовал, чтоб вызвали в качестве свидетелей Семена и Колю Колодкевича, дело обреченное, не вызовут, но все равно, уж хорошо то, что удалились совещаться. Соня шепотом рас-

сказала: было свидание с мамой, Лорис, оказывается, вызывал ее, просил воздействовать, но мать, умница, сказала, что давно уже потеряла на дочь влияние. А что на воле? Что в городе? Мать не знает. Она далека от всего этого. И разговаривать было невозможно: жандарм сидел впритык, колени в колени, и слушал. Вот, попросила маму прислать для суда это платье и белый воротничок.

Прокурор Муравьев сверлил Андрея и Соню взглядом, на Фукса смотрел осуждающе: как видно, недоволен тем, что разговаривают, а первоприсутствующий не прерывает.

— Кольку Муравьева я знаю с детства, — шептала Соня. — Когда отец был вице-губернатором в Пскове, мы жили с их семьей по соседству. Он приходил в наш сад играть.

Вернулись члены присутствия. И началось чтение обвинительного акта. Все было известно, изучено. Он думал: кто остался из старых учителей в гимназии? Кто будет читать отчеты о процессе и ужасаться? Тригопи рассказывал, что имена окончивших с медалью выбиты золотыми буквами на доске. Что же им делать, беднягам? Они не понимают, что исчезновение невозможно. Даже если уничтожить всю мраморную доску с именами. Свидетели рассказывали о последних словах и жестах царя, о «холодно, холодно», и о «во дворец, там умереть», и о «Кулебякин, ты ранен?», и о том, как наклонился к умирающему мальчику, в зале всхлипывали, вытирали слезы. Потом показывали о Рысакове, о Кобозеве, говорили эксперты. На третий день говорил Муравьев, был театрален, подробен, стремительно делал карьеру, и когда сказал, что из кровавого тумана выступают мрачные облики царевубийц, Андрей захохотал своим пушечным, пугавшим женщин хохотом, и Муравьев, приосанившись, крикнул: «Когда люди плачут, Желябовы смеются!», и все было решено и не имело смысла, но был какой-то громадный, отдаленный смысл, поэтому Андрей много раз брал слово, рассказывал, откуда и почему пришли к убийству царя. Мы не анархисты, а государственники, мы признаем, что государственность неизбежно должна существовать, поскольку будут существовать общие интересы. Но мы критикуем существующий экономический строй, вот в чем дело. Фукс: Я должен вас оставить. Пользуясь правом возражать против обвинения, вы излагаете теоретические воззрения.

— Нет, я лишь поддерживаю слышанное от прокурора: то, что событие 1 марта нужно рассматривать как событие

историческое. Если вы, господа судьи, взглянете в отчеты о политических процессах, в эту открытую книгу бытия, то увидите, что русские народолюбцы не всегда действовали метательными снарядами, что в нашей деятельности была юность, розовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виною. Фукс: Подсудимый, вы выходите из тех рамок, которые я указал. Говорите только о своем отношении к делу.— Я возвращаюсь. Итак, мы, переиспытав разные способы действовать на пользу народа, в начале семидесятых годов избрали одно из средств: положение рабочего человека... мирную пропаганду социалистических идей... Движение совершенно бескровное, отвергавшее насилие, не революционное, а мирное — было подавлено. Целью моей жизни было служить общему благу. Долгое время я работал для этой цели путем мирным и только затем был вынужден перейти к насилию. Я сказал бы так: от террористической деятельности я, например, отказался бы, если бы изменились внешние условия.

— Более ничего не имеете сказать в свою защиту? — Нет, в защиту свою более ничего.

София все время глядела на него, пока он говорил. В три часа почти Особое присутствие возвратилось из совещательной комнаты, были прочитаны вопросы, снова все исчезло надолго и в шесть часов двадцать минут утра возникли опять: к смертной казни через повешение.

Позорные колесницы оказались обыкновенными телегами, только гораздо выше. Скамейка, на которой сидеть, была сажени на две от мостовой. Выглядело пелепо, впрочем, как все остальное: серые штаны колом, черный арестантский армяк, черная шапка без козырька. Был седьмой час, разбудили в шесть, дали чаю, а сейчас был ледяной рассветный двор, лошади постукивали подковами, и у Рысакова, которому велели первому садиться на телегу, ноги не слушались, гнулись, весь он был какой-то глупый, помогал себе руками. Андрей все время, когда можно было, смотрел на Софию, а она на него. Такого взгляда, как у нее теперь, он никогда не видел. Вот и он влез на высокую телегу и сел рядом с Рысаковым на скамью, спиною к лошадям. Подошел человек громадного роста, с разлапистой бородой, с лицом серым, как из серого, измытого дождями камня, и в этом сером сверкали малюпкие, как у медведя, голубые глаза. На человеке была синяя поддевка, черные широкие брюки. Он сразу сильно рванул Андреевы руки назад, было

мгновенное желание сопротивляться, но тут же: зачем? Догадался, что человек — палач. Знаменитый Фролов, душегуб из московской тюрьмы, которого возят по разным городам для казней. Помогали ему два мужика. Сначала ремнями прикрутили к скамейке руки, потом туловище, потом ноги, так что двинуться ни в какую сторону было нельзя. Все трое перешли ко второй колеснице и стали прикручивать к скамейке Кибальчича, Михайлова и Сою. Он все это видел хорошо, потому что сидел к ним лицом. Геси не было, казнь над нею из-за ее беременности постановили отложить. Он слышал, как у Соии, когда ей прикручивали руки ремнями, вырвалось: «Больно!», и кто-то сказал, то ли палач, то ли стоявший рядом жандармский офицер: «Ничего, еще больней будет». Но все это несло мимо сознания, ибо он рвался за ворота, скорее увидеть улицы, толпу, лица людей, встретить их взгляды, голоса. Все его существо напрягалось от последней, безумной жажды. Надели на грудь доску с надписью «царевубийца». Сердце колотилось. Скорей, скорей! Он увидит, поймет. Никакой награды, никакого прощания с этой землей: только глаза людей. Наконец, выкатились, тяжело переваливаясь, за железные ворота, колеса скрипели, вокруг двигались войска, а день прояснялся. В воздухе была сырость, запах весны, горами на панели лежал сколотый лед.

Народ, толпившийся все гуще, стоял молча. Было много сонных, каких-то утренних лиц, некоторые зевали, некоторые глядели с угрюмым любопытством. Там что-то кричали. Грозил кулаками.

На второй колеснице Михайлов силился встать, как бы выпрыгнуть из ремней,— Андрей видел его могучую спину, напряженно выгибавшуюся,— и непрерывно что-то кричал толпе. Расслышать из-за барабанного боя было нельзя. Вдруг Андрей увидел, как молодая женщина, стоявшая на цоколе фонаря и державшаяся за фонарь рукой, другой рукой сделала робкий, приветственный взмах: в тот же миг ее стащили вниз, мелькнуло в толпе лицо, пропало. Было похоже, что бьют. Когда въехали на плац, небо совсем очистилось, сверкало голубизной, и от земли восходил одурманивающий, как в детстве, запах талого снега и луж.

Содержание

<i>А. Турков. Быт, человек, история</i>	5
Рассказы	
Путешествие	23
Маки	27
Кепка с большим козырьком	33
Бако	41
Очки	45
Последняя охота	58
Доктор, студент и Митя	72
Старая песня	107
Беседа с герпетологами	110
О воде	113
Старика в Каушуте	117
Одиночество Клыча Дурды	121
Песочные часы	127
О любви	130
Дети доктора Гриши	134
Однажды душею ночью	137
Прозрачное солнце осени	141
Вера и Зойка	149
Был летний полдень	165
Самый маленький город	175
Голубиная гибель	186
В грибную осень	199
Победитель	212
Игры в сумерках	218
Ветер	226
Возвращение Игоря	234
Петерпение. Роман	256

Трифонов Ю. В.

Т 69 Избранные произведения. В двух томах. Т. I. Рассказы. Нетерпение. Роман. Предисл. А. Туркова. М., «Худож. лит.», 1978.

653 с.

В первый том избранных произведений Юрия Трифонова вошли двадцать шесть рассказов на современную тему и посвященный героям «Народной воли» роман «Нетерпение».

Т $\frac{70302-107}{028 (01)-78}$ 94-78

P2

**Юрий Валентинович
Трифонов**

**Избранные проповеди
в двух томах**

ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор

Т. Сумарокова

Художественный редактор

Ю. Воярский

Технический редактор

Г. Лысенкова

Корректоры

Л. Лобанова и И. Филатова

ИБ № 830

Сдано в тип. кодиров. ориг. макет
17.10.77. Подписано в печать А02954 от
17.09.77. Бумага типографская № 1. Фор-
мат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Обыкновен-
ная». Высокая печать. 34,44 усл. печ. л.
36,058+1 вкл.=36,149 уч.-изд. л. Тираж
100 000 экз. Заказ № 2054. Цена 2 р. 50 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

**Ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Москва, М-54, Вилковая, 28.**

